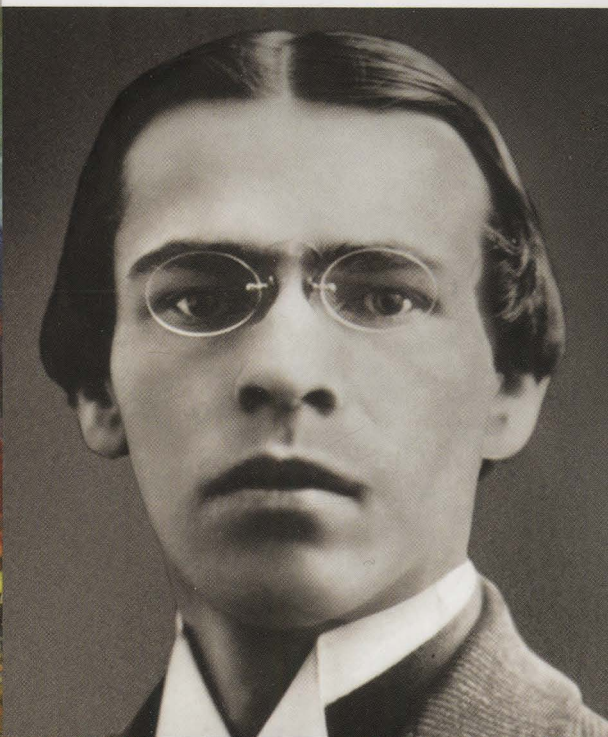


ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ



Валерий
Шубинский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1534

(1334)

Валерий Шубинский

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ
ЧАЮЩИЙ И ГОВОРЯЩИЙ



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2012

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Ш 95

*Автор выражает благодарность
Роману Давыдовичу Тименчику и Всеволоду Владимировичу Зельченко,
которые прочитали книгу в рукописи и высказали
множество ценных замечаний, а также
Игорю Валерьевичу Булатовскому и Павлу Валентиновичу Матвееву
за помощь в работе над книгой.*

ISBN 978-5-235-03479-2

© Шубинский В. И., 2012
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2012

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Посмертная судьба Владислава Ходасевича парадоксальна. С одной стороны, он давно и прочно признан одним из великих русских поэтов XX века. Горячий интерес вызывают и его проза (мемуарная и биографическая), и историко-литературные труды, и критические статьи. Всего за последние два десятилетия произведения Ходасевича переиздавались более пятидесяти раз общим тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Причем многие из этих изданий отличаются высоким научным качеством, обстоятельно и дельно прокомментированы. Правда, значительная часть наследия поэта (в основном поздние газетные статьи, а также письма) все еще остается несобранной или даже неопубликованной.

В то же время в сравнении с другими первостепенными поэтами Серебряного века литература о Ходасевиче довольно ограничена. Три монографии, посвященные творчеству Ходасевича в целом, написаны на английском языке (Дэвид Бетеа), немецком (Франк Гёблер) и французском (Эммануэль Демадр)¹; на русском ни одной работы такого рода не существует. Крупные, авторитетные ученые, такие как И. П. Андреева, Николай Богомолов, Сергей Бочаров, Олег Лекманов, Джон Малмстад, Ирина Сурат, Роберт Хьюз, Рашит Янгиров, Андрей Зорин, осветили в своих научных работах (в основном — статьях) многие частные вопросы биографии и творчества поэта. Но конференций, чтений, семинаров, научных сборников, посвященных Ходасевичу, к сожалению, до сих пор не было.

Что же до биографий в прямом смысле слова, то настоящая книга — первый опыт в этой области. Помимо опубликован-

¹ См.: *Bethea David M. Khodasevich: His Life and Art.* Princeton, [1983]; *Göbler Frank. Vladislav F. Chodasevic: Dualität und Distanz als Grundzüge seiner Lyrik.* München, 1988; *Demadre Emmanuel. La quête mystique de Vladislav Khodasevic: Essai d'interprétation de l'œuvre poétique du dernier symboliste russe.* Villeneuve, 2000.

ных материалов автору в момент работы над книгой были доступны московские и петербургские архивы.

При работе над биографией Ходасевича невольно вспоминаются его собственные книги и статьи, посвященные судьбам поэтов — предшественников и современников. С одной стороны — «Державин», который заслуженно считается блестящим образцом героизированного, очищенного от случайных (а иногда и неслучайных) пятен и теней жизнеописания поэта-классика. С другой — столь же замечательные мемуарные эссе из «Некрополя», в которых основное внимание уделено именно пятнам и теням.

По какому пути идти биографу самого Ходасевича? Видимо, ни по первому, ни по второму. Соккрытие человеческой и жизненной изнанки, сглаживание углов лишь оскорбляют память художника. Но изображая живого человека в его слабости и несовершенстве, мы не должны ни на минуту забывать о его силе и величии, которые проявляются прежде всего в творчестве.

Удалось ли автору выполнить эту задачу — судить читателю.

* * *

В книге используются следующие сокращения:

ГЛМ — Государственный Литературный музей;

ГМП — Государственный музей А. С. Пушкина;

ГРМ — Государственный Русский музей;

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея;

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького;

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом);

МГИА — Московский государственный исторический архив;

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства;

РГБ — Российская государственная библиотека;

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив;

ЦИАМ — Центральный исторический архив Москвы.

Глава первая

ИСТОКИ

1

Владислав Ходасевич родился в Москве, в сердце «коренной России», но в семье католического вероисповедания, говорившей дома частью по-русски (причем московским выговором, без акцента), частью по-польски. Корни его — в сотнях километров к западу от места рождения, в современных Литве и Белоруссии.

О предках по отцу известно немногое — да и то лишь со слов самого поэта и его близких.

Вот что вспоминает Анна Ивановна Ходасевич, урожденная Чулкова, вторая жена Ходасевича:

«Отец его, Фелициан Иванович, был из литовской обедневшей дворянской семьи. <...> Я видела документы деда, носившего фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом, на котором был изображен лев, стрелы и еще какие-то атрибуты — все ярко-синее с золотом»¹.

Анна Ивановна разделила с Ходасевичем десять лет жизни; столько же прожил он с Ниной Берберовой. В некрологе Владиславу Фелициановичу Берберова писала:

«Отец его был сыном польского дворянина, одной геральдической ветви с Мицкевичем, бегавшего “до лясу” во время восстания 1833 года. Дворянство у него было отнято, земли и имущество тоже»².

А вот строки самого поэта — из стихотворения «Дактили» (1928):

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туто,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.

¹ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 391.

² Берберова Н. Памяти Ходасевича // Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 73.

Что из этих семейных легенд соответствует действительности, что нет? Видимо, для ответа на этот вопрос требуются дополнительные изыскания. На сегодня можно сказать следующее: дворянский род Ходасевичей (Масла-Ходасевичей) существовал, причем именно в исторической Литве (включавшей часть современной Белоруссии). В XIX веке Ходасевичи числились в дворянских книгах Минской губернии. Кроме того, существовали виленская и трокская ветви рода. Судя по описанному Анной Ивановной гербу, ее свекор происходил из трокской ветви. Древнейший известный Масла-Ходасевич, Ермак (Ермолай), жил примерно в XVI веке. О более отдаленных предках можно лишь догадываться. Как известно, западные русские княжества в самом начале XIV века вошли в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского, которое позднее вступило в унию с Польским королевством и было им постепенно поглощено. Масла-Ходасевичи, как и Рымвиды-Мицкевичи, происходили, возможно, от местных бояр или дружинников, сперва смешавшихся с литовскими воинами-язычниками, а потом перешедших в католицизм и постепенно ополячившихся. Но отдаленные потомки их вновь оказались в России, и один из них стал великим русским поэтом: круг замкнулся.

Как же польские шляхтичи стали русскими разночинцами? Польского восстания в 1833 году не было. Дед Владислава Ходасевича мог участвовать в восстании 1831-го или 1863 года. (Художница Валентина Михайловна Ходасевич, племянница поэта, приводит вторую дату.) Фелициан Иванович родился предположительно в 1834 (или 1835-м, или 1836-м) году. Либо семья утратила состояние и дворянское достоинство за несколько лет до его рождения, либо почти до тридцатилетнего возраста отец поэта был «шляхтичем» и землевладельцем... либо утрата Ходасевичами дворянства и имений не имела никакого отношения к польским восстаниям, и перед нами — всего лишь красивая семейная легенда. В Российском государственном историческом архиве документов о лишении Ходасевичей дворянства найти не удалось¹.

Еще сложнее — с обучением в Академии художеств. В архивах академии нет никаких материалов о студенте Фелициане

¹ Зато есть документ «зеркального» содержания: «хлебопашцы» Фаустин Кондратьевич и Захарий Константинович Ходасевичи представили в Сенат Российской империи документы, доказывающие, что их предки были дворянами Великого княжества Литовского и владели именьями, и были (в том же 1863 году!) возведены в дворянское достоинство (СГИА. Ф. 1151. Оп. 6. Ед. хр. 1863). Несомненно, речь идет о другой ветви того же рода.

Ходасевиче или Масла-Ходасевиче. Скорее всего, Фелициан Иванович посещал рисовальные классы академии в качестве вольнослушателя. Не исключено, что по возвращении в Литву Фелициан Иванович действительно расписывал церкви. Но и дарование его, и уровень профессионализма были, видимо, невелики.

В «Дактилях» отречение отца от живописи описывается как жертва, принесенная ради семьи:

Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца — свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!

Противопоставление «художника» и «человека» — один из главных мотивов поэзии (и автобиографической прозы) Ходасевича. Эти два пути были для него на самом глубинном уровне несовместимы, а какой путь выше и достойнее — на этот вопрос он каждый раз отвечал по-разному. На самом деле Фелициан Ходасевич, скорее всего, и не смог бы состояться как художник. По словам Валентины Ходасевич, ее дед «талантом не блистал, любил живопись, но плохо в ней разбирался. У него не было чувства цвета и тона»¹. Далеко не сразу смирился он с этой жизненной неудачей, и обида его выплескивалась на близких. Как вспоминает Валентина Михайловна, «в тяжелые времена дед заметил у старшего сына (моего отца) любовь и способности к рисованию. Он стремился пресечь это, боясь, что сын будет влачить такое же жалкое существование, как и он сам. Мой отец рассказывал, как нещадно он бывал бит, когда дед обнаруживал, что его учебники и тетради испещрены рисунками. После порки ремнем дед гнал сына по лестнице на чердак, бросал ему веревку и говорил: “Иди и там удавись — я не хочу пачкать руки!” Попав на чердак, отец падал на пол, — у него было ощущение, что он летит куда-то, терял сознание. Впоследствии выяснилось, что это были припадки эпилепсии, которыми отец страдал потом всю жизнь»². «Незлюбивая душа» отца, о которой пишет Владислав Фелицианович, — это, видимо, уж позднее, под старость.

Кстати, в старости неудачливый живописец попытался вернуться к искусству, хотя бы в качестве дилетанта. В прозаическом плане стихотворения, сохранившегося в архиве Владислава Ходасевича, есть такие фразы: «Помню — на муштабель уже неуверенный локоть. Бол. палитра. Пучок кистей. <...> Под-

¹ Ходасевич В. М. Портреты словами. М., 1988. С. 23.

² Там же.

московные цветы. Портреты внуков — для себя»¹. Валентина Ходасевич вспоминает, что ее дед бесконечно копировал картину Яна Матейко «Коперник» — с копии, которую он в свою очередь сделал с копии, находящейся в Румянцевском музее (знаменитый польский художник был несколько моложе Фелициана Ходасевича и жил в австрийской Польше, встречаться они не могли). «Пятерых своих детей он уже одарил “Коперниками” и заготовлял впрок внукам. Писал он иногда и с натуры бездарную вазочку с воткнутым в нее одним или двумя цветами — любил нарциссы и веточки сирени»².

Творчески преображая биографию отца, подчеркивая его высокую жертву, Ходасевич упоминает лишь о том, что тот стал «купцом по нужде». Но превращение посредственного живописца-недоучки (или даже самоучки) в купца 2-й гильдии было, можно сказать, поэтапным. Сперва Фелициан Иванович занялся коммерческой фотографией, что опять-таки не означало полного разрыва с искусством. (Два великих русских поэта XX века были сыновьями профессиональных фотографов; второй — Иосиф Бродский.) Сначала Фелициан Ходасевич с семьей жил в Туле, и там в его фотографическом заведении однажды снималась семья Льва Толстого. После переезда в Москву Фелициан Иванович держал фотографическое заведение на Мещанской, в доме Вятского подворья — по крайней мере, до 1889 года, но видного положения среди московских фотографов не занял, и его работы не сохранились. Зато основанный им в 1873 году на углу Столешникова и Большой Дмитровки, в доме Бучумова магазин фотографических принадлежностей, судя по всему, пользовался успехом — во всяком случае, оказался достаточно долговечным. Это был не первый в Москве и тем более в России магазин такого рода, как в 1922 году утверждал Владислав Фелицианович в автобиографическом письме Петру Зайцеву, но один из первых.

Вот, собственно, почти все, что мы знаем о Фелициане Ивановиче Ходасевиче, человеке «незловивой души», шестипалом отце шестерых детей.

2

О матери Владислава Фелициановича, Софье Яковлевне, вспоминают лишь одно — она была еврейкой по крови, крещенной в католичество и выросшей в католической семье. Немногое говорит о ней и сам поэт:

¹ Ходасевич В. Собрание сочинений: В 2 т. Ann Arbor: Ardic, 1983; 1990. (В дальнейшем: СС-2.) Т. I. С. 386.

² Ходасевич В. М. Портреты словами. М., 1988. С. 23.

В детстве я видел в комодке фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!

О сотнях, тысячах любящих и добродетельных женщин можно сказать то же самое.

Между тем единственный из предков Ходасевича, чья биография известна в деталях — дед по матери, Яков Александрович Брафман. Имя этого яркого, хотя и одиозного человека знакомо всем, кто интересуется историей российского еврейства XIX века. Вот как вкратце излагается его биография в предисловии Николая Богомолова к тому Ходасевича в «Библиотеке поэта»: «Перейдя из иудаизма в православие, он всячески старался выслужиться перед новыми единоверцами и поставлял им материалы, обличающие зловещую природу иудаизма, не стесняя себя особыми доказательствами их подлинности»¹. Эта фраза верно передает прижизненную и посмертную репутацию Брафмана, но фактически она неточна. Яков Александрович не был ни тривиальным карьеристом, ни фальсификатором. Все обстояло сложнее и интереснее.

Яков Брафман родился в 1825 году в городе Клецке, в той же Минской губернии, в чьих дворянских книгах записан был род Ходасевичей. В семье он родился бедной, к тому же рано потерял родителей.

Одинокому еврейскому мальчику-подростку грозили в те годы не только голод и холод. Дело в том, что в 1828 году на евреев была распространена рекрутская повинность (до этого они, как и некоторые другие религиозные и национальные меньшинства Российской империи, вместо службы платили особый налог). При этом, по распоряжению царя, у евреев брали, как правило, не взрослых рекрутов, а двенадцати-тринадцатилетних мальчиков, которых направляли в школы военных кантонистов². Лишь после пятилетнего обучения в таких школах они приступали собственно к службе. Официально это мотивировалось необходимостью освоения ими русского языка, но основная цель заключалась в том, чтобы склонить мальчиков к принятию православия.

В случае крепостных крестьян рекрутов обычно назначал барин или его представитель. У евреев решение принимал об-

¹ Ходасевич В. Стихотворения. М.; Л., 1989. (Библиотека поэта. Большая серия.) С. 6.

² Сегодня в сознании многих эти школы ассоциируются именно с малолетними еврейскими рекрутами; в действительности они, по первоначальному замыслу, предназначались для солдатских сыновей вообще, приписывавшихся с рождения к военному ведомству, и еврейские мальчики в николаевскую эпоху составляли лишь некоторую часть их учеников, процентов десять-двенадцать.

щинный совет — кагал. При этом имели место злоупотребления: богатые и влиятельные семьи откупали своих сыновей от службы; нужное количество рекрутов набиралось за счет бедняков, причем зачастую вместо тринадцатилетних мальчиков в кантонисты направляли десятилетних, даже семилетних. Существовала особая профессия, называвшаяся колоритным словечком — «хаперы». Эти люди отыскивали сыновей ремесленников и мелких торговцев, которых родители пытались спрятать. Сирота был конечно же особенно беззащитен. Якову Брафману приходилось годами скитаться из местечка в местечко, чтобы избежать рекрутчины. Страх, пережитый в детстве, определил его убеждения: он проникся смертельной ненавистью к еврейским общинным институтам и их законам.

В ходе своих скитаний Брафман женился, и приблизительно в 1846 году у него родилась дочь. По-видимому, молодой отец сразу же оставил семью. Неизвестно, узнал ли он, что его дочь взята на воспитание и крещена в католическую веру. О судьбе жены Брафмана источники ничего не сообщают. Но в 1890-е годы в семье Ходасевичей жила «бабушка», которая, как вспоминал ее внук, говорила на ломаном русском языке: «Закрой фэн-стер» (то есть окно). Так говорить могла лишь женщина, чей родной язык — немецкий или идиш, а не польский или литовский. Другими словами, можно предположить, что это была мать Софьи Ходасевич, а не ее мужа. Как же могла молодая женщина бросить дочь, отдать ее на воспитание, позволить обратиться ее в католичество... чтобы спустя долгие десятилетия с ней воссоединиться?¹ Еще одна загадка в истории семьи.

Спустя несколько лет после рождения дочери сам Брафман принял в Киеве крещение по лютеранскому обряду. Поселившись в Минске, он занялся (примечательное совпадение!) фотографией, которая в 1850-е годы была новым и экзотическим ремеслом. В 1858 году в его жизни произошел перелом: при проезде императора Александра II через Минск Брафман подал ему «записку о евреях», которая так заинтересовала государя, что ее автор был вызван в Санкт-Петербург и делал доклад Синоду. В Минск он вернулся уже православным и был приглашен преподавать еврейский язык в местной семинарии. В 1866 году появилась в печати его первая статья — «Взгляды еврея, принявшего православие, на реформу еврейского народа в России». Статья вызвала живой интерес и помогла скромному семинарскому преподавателю обрести влиятельных покровителей, среди которых были генерал-губернатор Северо-Западного края Констан-

¹ Впрочем, вероятно, и «бабушка» выкрестилась — иначе ей не позволили бы жить в Москве.

тин Петрович фон Кауфман и товарищ министра просвещения, директор Публичной библиотеки Иван Давыдович Делянов.

Брафман получил место главного цензора еврейских книг в Вильно и государственное финансирование для своих «изысканий». Отныне его сочинения появлялись одно за другим, в периодике и отдельными изданиями. Наибольший успех имела «Книга Кагала» (1869). Понять этот успех на первый взгляд трудно: книга представляет собой сборник постановлений минского кагала и общинного суда (бет-дина), относящихся к концу XVIII века, которые случайно попали в руки Брафмана и были переведены им с помощью ассистентов на русский язык. Назвать это занимательным чтением нельзя никак. Соль была, однако, в той интерпретации, которую давал Брафман канцелярским бумагам, и в том значении, которое он им приписывал: «Эти документы как нельзя лучше показывают, каким путем и какими средствами евреи, при самых ограниченных правах, вытесняли чужой элемент из местечек своей оседлости, завладевали капиталами и недвижимым имуществом этих местностей и освобождались от конкурентов другой национальности в делах торговли и ремесленничества. <...> И наконец, что важнее всего, в этих документах лежит ясный ответ на вопрос: почему все попытки нашего правительства изменить жизнь евреев не увенчались успехом в продолжение текущего столетия»¹.

Что же увидел Яков Александрович в бумагах семидесятилетней давности? Во-первых, доказательства тому, что евреи составляют «государство в государстве» и не считают нужным подчиняться общим законам. Во-вторых, примеры того, как кагал манипулирует христианами, эксплуатируя их и с помощью различных махинаций присваивая их имущество. Сам Брафман в это, видимо, искренне верил. Верили и его читатели. Нелучайно Императорское географическое общество, к примеру, объявило, что «Книга Кагала» «прямо отвечает на многие задачи, предложенные к исследованию этнографической экспедицией в Западный край». Людям вообще нравится, когда документы подтверждают их картину мира. А подлинность документов, представленных Брафманом, никто из его многочисленных евреев-оппонентов опровергнуть не мог. Что же до ошибок в их понимании, вызванных плохим знанием права, и традиционного еврейского, и магдебургского, на основании которого действовали в Восточной Европе самоуправляющиеся общины, то это никого особенно не интересовало. Да и не бы-

¹ Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского народа: В 2 т. / Собрал и перевел Яков Брафман. Вильно, 1869; 2-е изд.: СПб., 1875. Т. 1. С. XV.

до нейтральных специалистов, которые могли бы уличить бывшего фотографа в невежестве и передержках и которым поверили бы (евреям — не верили).

Но для самого Брафмана был гораздо важнее другой аспект проблемы, до которого его православным читателям не было никакого дела. Прежде всего он был убежден, что кагал¹, в котором заправляют богатые и родовитые евреи, эксплуатирует не только «гоев», но и трудовые еврейские массы, обратив их «в доходную для себя статью, в слепое орудие для своих целей»². В голове Якова Александровича сложилась стройная, хотя и совершенно фантастическая картина того, как и почему это случилось. Все началось, ни много ни мало, в I веке нашей эры, во время Иудейской войны, когда жестокий завоеватель римский император Веспасиан вручил «управление внутренней жизнью оставшегося Израиля»³ членам «ученого братства» во главе с трусом и коллаборационистом Иохананом Бен Закаем⁴.

Во всех еврейских общинных институтах, во всех «братствах» — ремесленных, погребальных и т. д. — Брафман видел средство для закабаления «плебеев» «патрициями». Он подробно расписывал механизмы этого закабаления, показывал, как руководители общин мелочно регламентируют жизнь бедняков, обкладывают их различными поборами. С особым личным чувством (которое можно понять) описывает Брафман махинации с рекрутскими наборами. В этой, да и в других претензиях к еврейскому общинному укладу он был отнюдь не одинок. Еврейские писатели, связанные с Гаскалой (национальный вариант Просвещения), описывали те же явления ничуть не менее язвительно. И однако Брафман не видел в еврейских просветителях и прогрессистах своих союзников. Именно они-то и были для него злейшими врагами. Он не верил в то, что евреи могут стать «русскими (немцами, французами) Моисеева закона», о чем всерьез мечтали многие адепты Гаскалы; в то же время он резко отрицательно относился к «палестинофильству» (слова «сионизм» еще не существовало), считал его вредным и опасным для России, хотя многие царские чиновники придерживались иного взгляда на переселение евреев в Палестину.

¹ Строго говоря, учреждения с таким названием не существовало с 1844 года, так что Брафман употреблял это слово расширительно, имея в виду вообще всю систему еврейского общинного самоуправления.

² *Брафман Я.* Еврейские братства, местные и всемирные. Вильно, 1868. С. 19.

³ Там же. С. 13.

⁴ В реальности Бен Закай — выдающийся законоучитель, способствовавший сохранению еврейской религиозной традиции после разрушения второго храма. С этой целью он сотрудничал с римлянами, и многие современники в самом деле видели в нем предателя.

Европеизированные казенные еврейские училища он считал еще более вредными, чем старинные ешивы (духовные школы), и предлагал их закрыть.

Правительственная политика, по мысли Брафмана, должна была заключаться в том, чтобы «уничтожить все то, что создает из евреев отдельную общину, чтобы подчинить их в этом отношении общим государственным законам»¹. Надо, чтобы единственной возможностью выхода из «гетто», из ненавистного и Брафману, и его оппонентам местечкового мира, было крещение. Яков Александрович испуленно верил: только отказ и от национальности, и от религии отцов может избавить угнетенных «плебеев» от власти «патрициев». «Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства», — Брафман охотно подписался бы под этими словами Карла Маркса, хотя как монархист и царский чиновник едва ли симпатизировал радикальному немецкому философу.

Евреи Российской империи Брафмана ненавидели. И потому, что его труды повлияли на политику царских властей (и на последующую публицистику по «еврейскому вопросу» на русском языке), и из-за суровости, которую проявлял он в качестве цензора. Между тем историки отмечают, что у Брафмана был своего рода «двойник» — писатель Григорий Богров, чьи «Записки еврея», напечатанные в 1871—1873 годах в «Отечественных записках», как и последующие повести «Пойманник» и «Маниак», вызвали горячий интерес и в еврейской среде, и за ее пределами. Пафос этих книг, пронизанных неприязнью к еврейской религиозной и финансовой «олигархии», во многом напоминает пафос книг Брафмана. Но Богров (формально до последних лет жизни сохранявший верность иудаизму) апеллировал не к ненавистным царским властям: его записки появились в журнале, издававшемся культовыми прогрессивными писателями — Николаем Некрасовым и Михаилом Салтыковым-Щедриным. Едва ли, впрочем, они относились к евреям лучше, чем Кауфман и Делянов (вспомним хотя бы карикатурных еврейских банкиров из некрасовских «Современников»), зато сама еврейская молодежь находилась под обаянием их освободительных идей.

Почему об этом стоит вспомнить сейчас? Дело в том, что у Григория Исааковича Богрова был внук: Богров-внук, странная искаженная тень аксаковского Багрова-внука. Тот самый Дмитрий Григорьевич Богров, помощник присяжного поверенного из Киева, чей выстрел в Петра Столыпина в 1911 году сыграл роковую роль в российской истории. И у Якова Александровича Брафмана был внук — поэт Ходасевич.

¹ Книга Кагала. Т. 1. С. 355.

В какой же семье выросла Софья Яковлевна Брафман? Вацлав Ледницкий, ссылаясь на устное свидетельство самого Ходасевича, называет князей Радзивиллов, знаменитых литовских аристократов, породнившихся и с польскими королями¹. Но Ходасевич упоминает о «бедной, бедной семье», в которой встретил «счастье свое» его отец. Семья эта жила «там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит», то есть на территории современной Литвы, Литвы в узком смысле. Анна Ходасевич утверждала, что ее свекровь воспитывалась «в католическом пансионе». Так или иначе, родным языком Софьи Яковлевны был польский, родной культурой — польская.

Этой культурой пыталась она заразить и своего младшего сына в самые первые годы его жизни.

«По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел золотой образ Божьей Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал “Отче Наш”, потом “Богородице”, потом “Верую”. Потом мама рассказывала мне о Польше и иногда читала стихи. То было начало “Пана Тадеуша”. Что это было за сочинение, толком узнал я гораздо позже, и только тогда понял, что чтение не заходило далее семьдесят второго стиха первой книги. Всякий раз после того, как герой (которого имя еще не было названо) только что вылез из повозки, побежал по дому, увидел знакомую мебель и часы с курантами и с детской радостью

Вновь потянул за шнур, чтобы знакомый вал
Мазурку старую Домбровского сыграл...

мать начинала плакать и отпускала меня»².

«Пан Тадеуш» — поэма Адама Мицкевича, написанная в 1834 году в эмиграции и посвященная воспоминаниям о старом шляхетском поместном быте. Ничто, вероятно, не связывало Софью Ходасевич с этим миром, кроме родного польского языка, чудесным образом преображенного гением поэта. Мы не знаем, от кого унаследовал Владислав Ходасевич поэтический дар, но поэтический слух, способность воспринимать стихи, любовь к ним — это, видимо, от матери. Любовь к покинутой родине заключалась в первую очередь в любви к родной поэзии.

¹ Ледницкий В. Литературные заметки и воспоминания // Опыты. 1953. № 2. С. 166.

² Ходасевич В. К столетию «Пана Тадеуша» // Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996—1997. (В дальнейшем: СС-4.) Т. 2. С. 309.

Сам Ходасевич вспоминал свои детские беседы с матерью не только в прозаическом эссе, но и в лирическом наброске, относящемся к 1917 году и оставшемся в рукописи:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

Но памятны мне утра в детстве,
Когда меня учила мать
Про дальний край скорбей и бедствий
Мечтать, молиться — и молчать.

Не зная тайного их смысла,
Я слепо веровал в слова:
«Дитя! Всех рек синее — Висла,
Всех стран прекраснее — Литва».

Но все же — Польша или Литва? Вилия или Висла? В старинной русской поэтической традиции две страны сливаются, но на деле это не так. На Литве (старинная форма, подобная старинному же «на Руси» и дожившему до нашего времени, но ныне тоже вытесняемому под влиянием неумных политических соображений «на Украине») поляки были иноязычной элитой или колонистами. Для родителей Ходасевича (как и для Мицкевича) Литва была физической, земной родиной, а Польша — родиной духовной, мистической¹. Так воспринял ее и маленький Владислав:

«Я никогда не видел ни Мицкевича, ни Польши. Их так же нельзя видеть, как Бога, но они там же, где Бог: за низкой решеткой, обитой красным бархатом, в громе органа, в кадилном дыму и в золотом, страшном сиянии косых лучей солнца, откуда-то сбоку падающих в алтарь. <...>

Бог — Польша — Мицкевич: невидимое и непонятное, но родное»².

Верность этому волнующему, но абстрактному образу не могла быть прочной; «окончательное обрусение» наступило уже в детские годы. Только что процитированное стихотворение было полностью переписано в 1923 году. Вторая строфа этого позднего, гораздо более известного варианта звучит так:

России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше —
И в них вся родина моя.

¹ Интересно, что в упомянутом письме П. Зайцеву Ходасевич называет своего отца не поляком, а литовцем.

² Ходасевич В. К столетию «Пана Тадеуша» // СС-4. Т. 2. С. 309—310.

Восемь томов — это собрание сочинений Пушкина. Как и для матери, для сына истинной родиной были стихи. Но не «Пан Тадеуш», а «Евгений Онегин», «Цыгане», «Медный всадник». Конечно, Мицкевич, как и другие польские классики (прежде всего Словацкий и Красиньский), составлял важную часть внутреннего мира Ходасевича. Важную, но все же не первостепенную.

Вот что можно сказать о польских корнях и польском самоощущении Ходасевича. Что до его еврейских корней и еврейского самоощущения, тут и вовсе все странно. Софья Яковлевна едва ли всерьез ощущала себя еврейкой. О сыне ее нечего и говорить. И тем не менее в известный период жизни он не раз декларировал свое еврейское происхождение в общении не только с евреями, но и с людьми, пользовавшимися репутацией антисемитов. Думается, это был не просто эпатаж и не просто благородное стремление выразить солидарность со страдающим меньшинством, встав в его ряды.

Такие высказывания Ходасевича особенно бросаются в глаза по контрасту с поведением другого великого поэта этого поколения, Бориса Пастернака. Для Пастернака еврейское происхождение было своего рода проклятием, тяготеющим над ним и не дающим ему как следует «развернуться» в качестве русского писателя. Мысли о желательном для еврейского народа исходе, высказанные в «Докторе Живаго», местами мало отличаются от рассуждений Якова Брафмана.

Подобные настроения возникали не на голом месте, и уж конечно не были просто малодушной реакцией на государственный антисемитизм. Перед лицом последнего евреи, начиная с 1890-х годов, как раз могли рассчитывать на сочувствие (пусть не всегда искреннее и деятельное) всей прогрессивной общественности. Гораздо сложнее, однако, обстояло дело с участием евреев в русской литературной жизни. Довольно много сторонников имела точка зрения, изложенная в статье Андрея Белого «Штемпелеванная культура» (1908): евреи («не дурной народ, но иной народ») имеют право на гражданское равенство и на развитие собственной культуры, отражающей их «расовый тип», однако их участие в «арийской» культурной жизни является, в большинстве случаев, вредным и разлагающим. Ходасевич был близок к Белому именно в те годы, когда «Штемпелеванная культура» писалась. И все же он помнил и напоминал другим о своих собственных «неарийских» корнях, которые для него самого едва ли могли иметь существенное значение и о которых без его признаний никто из окружающих не узнал бы.

Почему? Возможно, дело, помимо прочего, в той болезненности, с которой Ходасевич воспринимал свою «измену» Поль-

ше и польскому языку. Мысль о том, что он все равно «не совсем настоящий» поляк, что в его жилах течет кровь двух страдающих, уязвленных и зачастую плохо ладивших народов, что он изначально, от рождения «всем чужой», могла парадоксальным образом смягчить эту травму.

Позднее судьба распорядилась так, что Владиславу Фелициановичу, внуку Якова Брафмана, знавшему об исторической роли своего деда и о том, что «таким еврейским родством гордиться не приходится»¹, выпало самым активным образом участвовать в деле перевода еврейской поэзии на русский язык, и эта работа оказала известное влияние на его собственное творчество. Видимо, такова была внутренняя логика жизни поэта: в ней не было ничего случайного.

Неслучайным было и то наследие, которое поэт получил. Здесь были разные составляющие — шляхетский гонор и мелкобуржуазное смирение, пышный католицизм и строгий иудаизм, условность академической живописи и точность фотографии, наконец, верность (говоря о матери, Владислав Фелицианович употребляет именно это слово) и предательство (которым объективно стала жизнь Якова Брафмана, местечкового бунтаря и чиновника-мракобеса). Все это так или иначе отразится в его биографии и его стихах.

¹ Яффе Л. Владислав Ходасевич (из моих воспоминаний) // Ходасевич В. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998. С. 17.

Глава вторая
МЛАДЕНЧЕСТВО

1

Человек редко правильно понимает свою эпоху и свое поколение: завершители кажутся себе самим зачинателями, дни расцвета видятся временем провинциальным и «второсортным», и наоборот. Вот и Ходасевичу казалось, что он опоздал родиться, не успел в великую символистскую плеяду. В действительности он принадлежал к плеяде куда более яркой, да и сам был гораздо значительнее любого из русских поэтов-символистов, кроме Александра Блока и Иннокентия Анненского. Он родился как раз вовремя: в один год с Николаем Гумилёвым, Борисом Эйхенбаумом, Михаилом Лозинским. Николай Клюев и Велимир Хлебников были немного старше его, «великая четверка» (Ахматова—Цветаева—Пастернак—Мандельштам) — на несколько лет моложе. Расцвет его творчества совпал с расцветом русской поэзии, с необыкновенным интересом к ней, которому не могли помешать даже грандиозные социальные потрясения эпохи.

Владислав Фелицианович Ходасевич родился 16 мая 1886 года¹, в полдень. Он увидел свет в Москве, в самом центре Москвы, в день основания Санкт-Петербурга. Так получилось, что само сочетание дня и места его рождения намекает на то примирение московской и петербургской линий русской поэзии (и самого духа двух столиц, их энергетики), которое, пожалуй, произошло в его стихах.

Ходасевичи жили в Камергерском переулке, идущем от Тверской к Большой Дмитровке, рядом с Манежной площадью. Переулок был полон исторических воспоминаний (и поныне остается), а ведь изменчивая московская городская среда не всегда бережна к теням прошлого. Название «Камергерский» напоминает о домовладениях двух камергеров — В. И. Стрешнева и С. М. Голицына, находившихся здесь в XVIII веке. В ту же — допожарную — эпоху существовал и Георгиевский мона-

¹ Все даты до 14 февраля 1918 года приводятся по старому стилю.

стырь, давший название соседнему переулку. Дом, в котором жили Ходасевичи, принадлежал в то время монастырю, а после его ликвидации — Синодальному ведомству. «Дом был кирпичный, нештукатуреный, двухэтажный — верхние этажи надстроены позже — и приходился как раз напротив того дома, в котором тогда помещался театр Корша, затем — увеселительное заведение Шарля Омона и, наконец, — художественный театр, существующий в этом здании и по сей день»¹. Описанию более всего соответствует дом 4, расположенный в точности перед зданием МХАТа и знаменитый, между прочим, тем, что в нем некогда, задолго до рождения Ходасевича, располагалась гостиница Шевалье, а в гостинице этой останавливался в молодые годы Лев Толстой. Художественный театр открылся, когда Ходасевичу исполнилось двенадцать лет. Еще позже — в 1910-е годы — в Камергерском переулке располагалось кафе «Десятая муза», которое часто посещали ненавистные Владиславу Фелициановичу футуристы, а еще позже, в середине XX века, в доме 6 жил композитор Сергей Прокофьев. Другими словами, едва ли не все эпохи отечественной истории и культуры оставили здесь о себе память. Впрочем, уже через несколько месяцев после рождения сына Владислава семья Ходасевичей покинула Камергерский, хотя и осталась в том же районе старой Москвы, с которым ее связывали торговые дела Фелициана Ивановича.

В семье было уже четыре сына и две дочери. Старшим был Михаил. Поженились «Фелицианы» (как позднее все за глаза называли чету старших Ходасевичей) в 1862 году² и, видимо, почти сразу же покинули Литву, переселившись во «внутреннюю» Россию. Михаил Фелицианович родился в 1865 году в Туле и, из-за отсутствия там костела и католического священника, был — единственный в семье — крещен в православие. Затем по старшинству шла, видимо, Мария; затем два сына — Виктор, 1871 года рождения, и Константин-Станислав (Стася, как звали его в семье), 1872 года рождения; затем Евгения, родившаяся в 1876 году. К тридцати годам Софья Яковлевна была матерью пятерых детей — больше рожать, возможно, и не собиралась. Но десять лет спустя у очень немолодых родителей появился еще один сын.

При крещении мальчик получил, согласно метрическому свидетельству, двойное имя — Владислав-Фелициан. Но второе имя употреблялось лишь в деловых бумагах, и то не всегда.

¹ Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 191.

² См.: Похороны С. Я. Ходасевич // Московская газета. 1911. 23 сентября.

Интересно, что в 1927 году Ходасевич подписал шуточное стихотворение, написанное силлабическим стихом и в манере русских виршеписцев XVII — начала XVIII века, которые находились под влиянием польской культуры, а зачастую были и уроженцами Речи Посполитой, именем Фелициан Масла; в то же время он, как журналист и переводчик, начиная с 1908 года и почти до конца жизни, иногда пользовался псевдонимом Ф. Маслов. Второе имя, совпадающее с именем отца, и вторая, шляхетская, фамилия стали объектом тонкой игры, можно сказать — прозвищем тайного *alter ego*.

Поздний ребенок родился на две недели прежде срока и оказался слабым и болезненным. Уже в первые дни жизни у младенца вскочил огромный типун на языке; он отказывался принимать пищу и умер бы, если бы доктор Смит, натурализованный англичанин, не догадался прижечь волдырь ляписом. Кормилицы одна за другой отказывались от ребенка, «говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно “не жилец”». Наконец нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: “Бог милостив — я его выхожу”¹. Это была крестьянка Тульской губернии Одоевского уезда Касимовской волости села Касимова Елена Александровна Кузина (по мужу Степанова).

Мальчик выжил, но часто и подолгу болел; над ним тряслись, как часто трясутся над поздними и болезненными детьми. Родительские страхи доходили до абсурда и не всегда шли на пользу. «Боясь, как бы не заболел у меня животик, Бог весть до какого времени кормили меня кашкою да куриными котлетками. Рыба считалась чуть ли не ядом, зелень — средством расстраивать желудок, а фрукты — баловством. В конце концов у меня выработался некий *вкусовой инфантилизм*, то есть я и по сию пору ем только то, что дают младенцам. От рыбы заболеваю, не знаю вкуса икры, устриц, омаров: не пробовал никогда»². В зрелые годы Ходасевич питался почти исключительно мясом и макаронами. Этот не слишком здоровый рацион, возможно, способствовал склонности к нарушениям обмена веществ и порожденным ими недугам, мучившим поэта всю жизнь, — фурункулезам, экземе, а также расстройствам желудочно-кишечного тракта. Подвержен он был и простудным легочным заболеваниям (уже в детстве и отрочестве его преследовал призрак роковой в то время чахотки), и болезням позвоночника.

Кормилица Елена Кузина на долгие годы осталась нянькой Владислава. Ее собственный ребенок вскоре умер в воспита-

¹ Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 191.

² Там же. С. 190.

тельном доме. А воспитанник подарил ей, как и своим родителям, бессмертие. Стихотворение, посвященное кормилице, набросанное в 1917-м и завершенное в 1922 году, — один из прославленных шедевров Ходасевича:

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна
И встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она...

Само наличие русской няньки было для Ходасевича символичным. «Измена» Польше была травмой, которую надо было как-то пережить, но и «мучительное право» быть русским поэтом (или просто — быть русским) не подразумевалось само собой. Молодой Ходасевич приобретал это право, прежде всего в собственных глазах, через самоуподобление Пушкину (ведь и молодой Мандельштам щеголял «пушкинскими» бакенбардами). Как и у Пушкина («француза», выходца из космополитической светской среды, да еще с экзотической африканской кровью), у полуполяка-полуеврея Ходасевича была любящая няня из русских крестьян. Только она «не знала сказок и не пела», в отличие от Арины Родионовны Яковлевой¹.

Связующее звено с «громкой державой» и ее «волшебным языком» — не фольклор, не народная культура. Эта связь физиологична, материальна — связь через грудное молоко, заменяющая отсутствующее кровное родство.

Падение из окна подробно описано в «Младенчестве»: «Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе.

¹ Ср. в «Других берегах» Владимира Набокова, дружившего с Ходасевичем и любившего его поэзию, о его собственной няне, перешедшей к нему от матери: «Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Ольеньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас)» (*Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 153*).

На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною — покатая железная крыша — навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедem на дачу, а вот какие-то счастливицы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, все переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, встаю — и вдруг двор, который был подо мной, стремительно подымается вверх, все перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед. Рядом со мною с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблукom в желоб и остаиваюсь. Потом — нянин крик и занесенная надо мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкою под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу и долго молится и прикладывается ко всем иконам и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не насмерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол»¹.

В это время, начиная уже с осени 1886 года, Ходасевичи жили на Большой Дмитровке, 14, в доме Нейгардта, всего в двух кварталах от прежнего адреса. Сюда же переехал и магазин Фелициана Ивановича. Название «Большая Дмитровка» — одно из древнейших в Москве: здесь в XIV веке находилась ремесленная слобода, населенная выходцами из города Дмитрова. За два года до смерти Ходасевича (узнал ли он об этом?) Большая Дмитровка стала более чем на полвека улицей Пушкина. Пушкин, впрочем, никогда здесь не жил. Единственное важное происшествие его жизни, связанное с этой улицей, было не слишком приятным: в 1830 году в особняке на углу Кузнецкого Моста и Большой Дмитровки он проиграл 24 800 рублей шулеру Огонь-Догановскому.

Несмотря на аристократическое прошлое этого уголка Москвы (о котором поныне напоминает здание Дворянского собрания, построенное в конце XVIII века Матвеем Казаковым), среда, окружавшая семью Ходасевичей, была даже не разно-

¹ Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 203—204.

чинной, а попросту мещанской. Поэт запомнил своих соседей: акушерку Баркову, портного Раича, сварливую торговку яблоками Аксинью. Московская культура многоквартирного доходного дома была моложе петербургской и всегда отличалась от нее. Жизнь такого дома в большей степени шла во дворах, которые были просторнее и зеленее петербургских «колодцев». Вкус Ходасевича к чужой жизни, тоскливой и чарующей, отвратительной и загадочной (вспомним знаменитые «Окна во двор»), — все это, возможно, воспитано московским детством.

Даже такая незначительная, казалось бы, черта его личности, как любовь к кошкам, связана с московским происхождением. Если разделить всех людей на «собачников» и «кошатников», Ходасевич явно принадлежал ко второй категории. Первым словом младенца было «Кыс!», одним из последних стихотворений поэта — «На смерть кота Мурра». Кошкам и их превосходству над собаками посвящен красочный пассаж в «Младенчестве», «идиотское количество серошетиных собак» с неприязнью и брезгливостью описано в одном из стихотворений «Европейской ночи». Конечно, воинственная и служилая собака — скорее петербургское существо, а надменный, независимый, источающий уют кот — примета московского купеческого и мещанского («шей горшок да сам большой») быта.

Связь с «миром державным» в Москве ощутить было труднее, чем в Петербурге. Тем не менее Ходасевичу в младенчестве довелось лично встретиться с царем. Вот как сам он описывает эту встречу: «Однажды, когда мы с няней шли домой и собирались переходить улицу, городской нас остановил, и в ту же минуту по коночным рельсам, у самой ограды сквера, в трех шагах от меня, проехала открытая коляска. Толстый кучер правил парюю вороных лошадей, шедших тяжелым, медленным “тропцем”. В коляске, ближе ко мне, сидела дама, вся в черном, а рядом с ней человек в военном мундире. Кто-то рядом сказал: “Государы!” Няня сдернула с меня шапочку. Я хорошо разглядел и навсегда запомнил повернутое к государыне лицо Александра III, с ровно подстриженной бородой, лицо, показавшееся мне милым и добрым в своей крупной, мясистой мягкости, и тяжелый взгляд из-под бровей, крепко сдвинутых»¹. Ходасевич как будто намеренно выстраивает биографические параллели с Пушкиным — по контрасту: его нянька успела снять с питомца шапочку, и правнук Павла I (заметим, кстати, что Ходасевич относился к «романтическому императору» с

¹ Там же. С. 201.

живым интересом и задумал написать его биографию) не имел повода пожуричь ее¹.

Позднее, в 1895 году, в ярославском Толгском монастыре² девятилетнему Владиславу довелось встретиться и с одним из духовных вождей эпохи — протоиереем Иоанном Кронштадтским, столпом и защитником традиционного православия, имевшим репутацию чудотворца. Родители, несмотря на свою строгую католическую набожность, позволили Владиславу вместе с другими детьми получить благословение почитаемого православного священника.

Время было — по определению Блока — «глухим»: укрепление экономики, мир в Европе, внутривосточное затягивание гаек, расцвет прозы и упадок лирики, живопись передвижников и псевдорусский «петушиный стиль» в архитектуре. Большой мир был, однако, открыт, известия из него доходили и до семейного круга Ходасевичей. В 1889 году Фелициан Иванович ездил (вероятно, в качестве фотографа) на Всемирную выставку в Париж, а вернувшись, рассказывал о новопостроенном чуде инженерной мысли — Эйфелевой башне. Пока Мопассан и Верлен возмущались безвкусицей этого сооружения, «испортившего» Париж, скромный московский фотограф им восхищался. И как оказалось, он был прав.

2

В 1920-е годы Ходасевич составил для Нины Берберовой конспективную хронику своего детства:

«1886 — родился.

1887, 1888, 1889 — Городовой. Овельт. Париж, грамота. Маня.

1890, 1891 — Конек-горбунок (Ершова). Балеты. Танцы. Мишины книжки. Мастерская отца, портвейн, дядя Петя. Бабушка. Овсенские и т. д.

1892 — Покойница в Богородском.

1893 — Щенковы, торговля, индейцы. Балы. Зима — стихи, котильон. Корь.

1894 — Чижики. Война. Фромгольд. Школа. Бронхит.

1895 — Толга. Школа. Оспа.

1896 — Экзамены. Коронация. Озерки. Сиверская. Майков»³.

¹ Ср. у Пушкина: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку...» (*Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 370*).

² Ходасевичи, отправившиеся в гости к старшей дочери Марии, которая жила под Ярославлем, остановились в монастырской гостинице.

³ *Берберова Н. Курсив мой. М., 1999. С. 180.*

Некоторые из этих записей поддаются расшифровке. Речь идет, например, об уже упоминавшейся отцовской поездке в Париж. Овельг — это ксендз, крестивший Владислава, которому младенец во время таинства «явственно показал нос». Городовой — в Петровском-Разумовском, на даче. Общение с городовым, который дал мальчику подержаться за палец и поцеловал ему ручку — первое воспоминание поэта («мне совестно и даже боязно перед моими левыми друзьями...») — с иронией огоривается автор «Младенчества»: ничего отвратительнее, чем городовой, для свободомыслящего русского интеллигента не существовало). «Маня, грамота» — и об этом Ходасевич вспоминает: грамоте его научили не родители, а почему-то старшая, уже замужняя сестра Мария Фелициановна. Оспа, которую, наряду с тривиальными корью и бронхитом, перенес хрупкий мальчик, — не ветряная, а черная, что странно для конца XIX века, но не оставившая следов на лице.

Понятно и упоминание о балете. О своей «балетомании» Ходасевич подробно пишет в «Младенчестве». Уже первое посещение балетного спектакля («Кипрская статуя») произвело на него неизгладимое впечатление: «Справа от меня, вдали и внизу, открылось просторное, светлое пространство, похожее на алтарь в костеле. Какие-то удивительно ловкие и проворные люди там прыгали и плясали то поодиночке, то парами, то целыми рядами. Одни из них были розовые, как я, другие — черные, арапы. Они мне казались голыми, потому что были в трико, и очень маленькими вследствие отдаления: почти такими же маленькими, как пожарный, что ходит на каланче против дома генерал-губернатора. Замечательно, что музыки я словно не слышал, и она выпала из моей памяти. Потом вдруг там, где плясали, все вновь потемнело, а вокруг меня опять стало светло, и в то же мгновение услышал я шум проливного дождя. Но дождя не было, и я, осмотревшись, понял, что шум происходит оттого, что много людей одновременно бьют в ладоши»¹.

Сравнение балетного представления с мессой, Большого театра с католической церковью неслучайно. Для Ходасевича и то и другое было воротами в иной мир — красивый, пышный, торжественный — из прозаичного московского двора. Но вот еще один парадокс: в зрелые годы, в своей поэзии, он будет принципиально чуждаться всякой пышности, красоты, всяких романтических эффектов, а путь в иные миры искать как раз в самом тусклом и прозаичном. (Вспомним такие стихотворения, как «Брента» или «Весенний лепет не развежит...».)

¹ Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 196.

Российский балет переживал в то время не лучшие свои дни. Даже в Петербурге, где в предшествующие десятилетия сложилась блестящая, получившая европейское признание школа во главе с великим Мариусом Петипа, с начала 1880-х ощущался некоторый застой. А уж московская сцена находилась во власти в лучшем случае квалифицированных эпигонов, таких как Хосе Мендес, возглавивший труппу в 1889 году. Основное место в репертуаре занимали эффектные феерии. Московская постановка «Лебединого озера» в 1877 году провалилась: настолько Чайковский оказался чужд стилистике тогдашнего Большого. Но если тот балет, который видел ребенком Ходасевич, и не был искусством высочайшей пробы, если в нем и был элемент китча, тем привлекательнее он оказался для детского воображения. Неслучайно поэт с нежностью вспоминал о наивно-безвкусных декорациях Вальца, которого вскоре вытеснили «настоящие художники», такие как Константин Коровин.

Разумеется, были среди тогдашних танцовщиков Большого театра и выдающиеся мастера, к примеру, прославленная пара Лидия Гейтен — Василий Гельцер. Но в 1890-е годы их карьера уже завершалась: Ходасевич смутно помнил «очень пожилую», уже сходящую со сцены Гейтен. Ей, впрочем, не было и сорока; покинув Большой театр, она основала (в 1895-м) собственный «Летний сад и театр», где продолжала выступать. Ее партнер, который был старше ее, танцевал до шестидесяти лет, одновременно со своей дочерью, знаменитой Екатериной Гельцер. Ходасевич упоминает «восходящую звезду» Гельцер наряду с другими молодыми балеринами. Ему помнились «и милая Рославлева с мягкой задушевностью ее танца, и хрупкая Джури с ее игольчатыми движениями, и вся быстрота и огонь — Федорова 2-я, и чистый профиль Домашевой 2-й»¹.

Дома мальчик «вертелся на ковре в гостиной, импровизируя перед трюмо целые балеты»². Естественно, родители стали давать ему уроки танца. Учителем был артист Большого театра Дмитрий Спиридонович Литавкин. Владислав проявил немалые способности, родители даже помышляли о том, чтобы отдать его в театральное училище — но с мечтой о балетной карьере пришлось распрощаться из-за слабого здоровья. В своих ностальгических воспоминаниях Ходасевич упоминает только женщин-балерин и признается: «В балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика»³. В раннем детстве мальчик проявлял женственные черты харак-

¹ Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 197.

² Там же. С. 198.

³ Там же. С. 199.

тера: предпочитал играть с девочками, был очень внимателен к одежде и капризен в ее выборе, обожал модные магазины. Это кажется парадоксальным, учитывая вполне мужественный характер поэзии Ходасевича, да и его личности — какой она в зрелые годы представляла стороннему наблюдателю. Видимо, женственное, нежное и капризное начало с годами ушло вглубь, проявляясь лишь в общении с самыми близкими людьми. В детстве же оно стимулировалось внешними обстоятельствами: воспитанием мальчика занимались почти исключительно женщины — мать, бабушка, нянька и сестра Женя, к которой мальчик был особенно привязан (ее именем открывается шутливый «донжуанский список», составленный так же, как и биографическая хроника, в 1920-е годы для Нины Берберовой).

«Школой» Ходасевич в «Младенчестве» и «Краткой хронике» именуется (видимо, то же, что в очерке «К столетию “Пана Тадеуша”» называет «детским садом») частное детское училище Л. Н. Валицкой на Маросейке (смешанное, для мальчиков и девочек), которое Владислав посещал два года перед поступлением в гимназию. «В классе, состоявшем поровну из мальчиков и девочек, поражал я учительниц прилежанием и добронравием. Смирение мое доходило до того, что даже на переменах я не бегал и не шумел с другими детьми, а держался где-нибудь в стороне. Только уроки танцев выводили меня из неподвижности. С необычайной тщательностью выделял я свои па, а когда доходило дело до вальса, воображал себя на балу и предавался сладостным мукам любви и ревности. Эти муки были небеспродуманными. Сердце мое было уязвлено моей одноклассницей, Наташей Пейкер, в самом деле — прелестной девочкой. Не думаю, чтобы я танцевал с ней больше двух или трех раз: до такой степени я перед нею робел, столь недоступной она мне казалась»¹.

Танцевальная тема впоследствии получает неожиданное продолжение: от странного на первый взгляд определения Ходасевича-поэта как «балетмейстера» («но танцы, которым он учит, священные танцы»), данного Гумилёвым в 1914 году, до знаменитой строчки про дачные балы в Останкине («Перед зеркалом») — чтобы завершиться образом чарующе-вульгарного танца «двусмысленных дев» в «Звездах», как будто пародирующего, выворачивающего наизнанку тоже безвкусные, но невинные балетные впечатления детства и «сладостные муки» детской влюбленности. Впрочем, не исключено, что более серьезная эротическая инициация поэта в отроческие годы тоже была связана с танцевальными вечерами — об этом чуть ниже.

¹ Ходасевич В. Младенчество. С. 208.

Именно к последним годам перед гимназией относится зарождение интереса Ходасевича к литературе. Интеллектуальным развитием маленького Владислава — и, в частности, выбором книг для чтения — занимался по большей части Михаил Фелицианович, относившийся к самому младшему из своих братьев скорее по-отцовски (он и по возрасту годился ему в отцы). Первой книжкой, которая полюбилась мальчику, стал «Конек-Горбунок» Петра Ершова. После этой колоритной и занимательной сказочной поэмы пушкинские сказки, изначально и не предназначенные для детей, показались Владиславу пресноватыми.

Зато любимцем маленького Ходасевича стал Александр Круглов. Этот невероятно плодовитый автор был прочно забыт уже к концу своей жизни. Сам Ходасевич характеризует его так: «Проза его слабовата. Но стихи, стихи для детей, у него есть прекрасные: очень какие-то светлые, главное же — не слащавые, без пошлого подлаживания “под детское понимание” и без нравоучений. В стихах Круглова — какое-то ровное и чистое дыхание»¹. Любовь к Круглову с Ходасевичем, по его собственному признанию, разделял и Валерий Брюсов.

Не всякий современный читатель, открыв книгу Круглова, согласится с этими оценками. Вот характерный пример его поэтического искусства:

Близ «Прилук», в убогой хате
Дед Антип живет.
Бел как лунь, годам давно уж
Потерял и счет.

В хате деда вечно тихо.
По зимам он спит
Днями целыми, а летом
Над рекой сидит².

Эта несложная форма стиха (чередование четырехстопного хорея с трехстопным, с рифмующимися второй и четвертой строками) была у Круглова любимой — так написано большинство его стихотворений; но даже в приведенных строках видно, как неуверенно он ею владеет. Сюжеты стихотворений таковы: старый ослепший рыбак дед Антип продолжает ловить рыбу, так сказать, из любви к искусству; дворовые дети играют в снеж-

¹ Ходасевич В. Парижский альбом (VI) // СС-4. Т. 4. С. 211.

² Круглов А. Вечерние досуги. Сборник рассказов и стихотворений. СПб., 1894. С. 1.

ки, а барчонок, которого не пускает на двор гувернер Карл Иванныч, им завидует («В морозные дни»); крестьянский мальчик вместо забав любит красота природы — обеспокоенному деду объясняют, что его внучка ждет великое будущее («Дед и внук»). Можно ли сказать, что в подобных стихах нет слащавости? На нынешний взгляд, этим недостатком грешат и стихи Алексея Плещеева, которому Круглов явно подражает.

В то же время Александр Круглов был истинным передовым интеллигентом своего времени — он пытался обсуждать с детьми серьезные общественные вопросы, причем делал это с простодушной прямоотой. Вот, например, описание ужасающего материального оснащения сельской школы в длинном стихотворении «Ваня»:

Худо, что в школе вот нету столов,
Вместо них доски на бочках;
Нет и чернильниц-то даже: за них
Несколько баночек, белых, простых
Служат уж много годов¹.

Популярность Круглова объяснялась простым обстоятельством: другие стихи и рассказы для детей в то время были, по большей части, еще хуже. Привязанность Ходасевича-мальчика к книжкам Круглова тоже не слишком удивляет — в столь юном возрасте читательские вкусы часто формируются по причинам случайным и причудливым. Но то, что поэт и на склоне лет, пережив лучшие творческие годы, сохранил верность этим вкусам, нуждается в каком-то объяснении. И единственное объяснение — трепетное отношение к своим первым воспоминаниям, другими словами, сентиментальность, такая же очевидная и такая же скрытая, как уже отмеченная женственная мягкость и капризность характера. Говоря о «младенчестве» поэта, приходится все время говорить о нем взрослом, и взрослый он с самого начала оказывается совсем не таким, каким хотел бы казаться.

Другой любимый поэт маленького Владислава был не в пример достойнее. Аполлон Майков и сегодня занимает видное место в пантеоне русских лириков XIX века. Уже при жизни имени Фета, Майкова и Полонского соединились в сознании читателей в своего рода триумvirат. Но триумвиры различались и по масштабу дара (Фет — поэт великий, Майков и Полонский — просто очень хорошие), и по поэтике. Импрессионист Афанасий Фет был зачинателем, прорывавшимся в XX век, последний романтик Яков Полонский — блистательным завер-

¹ Круглов А. Вечерние досуги. С. 100.

шителем, а неоклассик и эстет Аполлон Майков всецело принадлежал своему поколению. Современниками его во Франции были парнасцы, в Англии — Теннисон и Браунинг, в Америке — Лонгфелло. Как и эти поэты, Майков разрабатывал традиционные темы любви и природы, пересказывал поучительные сюжеты из античной и средневековой истории, стремясь в первую очередь к красоте и благородству тона, но с гораздо меньшими, чем у западных собратьев, формальными изысками. Образцом для Майкова служил Пушкин, но заметно ослабленный и упрощенный. Упадок стиховой культуры, наметившийся в России в 1840-е годы и достигший апогея к 1880-м, в известной мере отразился и на нем. Валерий Брюсов в 1905 году писал, что «даже такие сильные художники, как Майков, Полонский и Некрасов, знали о “тайне” стиха лишь смутно, “по слухам”»¹. В случае Некрасова Брюсов был явно неправ, про Полонского можно спорить, а Майков... Пожалуй, виртуозностью и блеском он и в самом деле уступает некоторым даже совсем небольшим поэтам пушкинской поры, вроде Андрея Подолинского, не говоря уж, например, об Антоне Дельвиге. Нет в его стихах и особой мудрости, и смелых образов, и остроты чувств. То, что заставляет и сегодня перечитывать Майкова, что делает сколь угодно строгую антологию русской поэзии XIX века неполной без десяти-пятнадцати его лучших стихотворений — это только ему присущая трепетная, возвышенная и ясная интонация. Слова о «ровном и чистом дыхании» применимы к нему гораздо больше, чем к Круглову. Можно сказать, что Майков — идеальный поэт для школьных хрестоматий (стоит вспомнить, что статью под названием «А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии» опубликовал в 1897 году Иннокентий Анненский — еще безвестный поэт, однако опытный и заслуженный гимназический преподаватель). Но Владя Ходасевич полюбил его еще до поступления в гимназию.

В июле 1896 года, гостя у дяди под Петербургом, на станции Сиверская (той самой, которой позднее суждено было сыграть такую важную роль в детских впечатлениях Владимира Набокова), мальчику довелось лично встретиться со старым поэтом, жившим на соседней даче.

«Однажды Майкова выкатили в кресле на дорожку к обрыву и здесь оставили одного. Будь с ним люди, я бы никак не решился. Но Майков был один, неподвижен — уйти ему от меня было невозможно. Я подошел и — отрекомендовался, шаркнул ногой, — все как следует, а сказать-то и нечего, все куда-то вон вылетело. Только пробормотал:

¹ Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. М., 1990. С. 217.

— Я вас знаю.

И закоченел от благоговения перед поэтом — и просто от страха перед чужим стариком.

Прекрасно было, что Майков не улыбнулся. <...> Минут с десять мы говорили. О чем — не помню, конечно. Остался в памяти лишь его тон — тон благосклонной строгости. Скажу и себе в похвалу, что, начав так развязно и глупо, я все же имел довольно такта, чтобы не признаться ему в любви. Сказал только, что знаю много его стихов.

— Что же, например?

— «Ласточки»...

Тут я снова не выдержал и тотчас угостил Майкова его же стихами. «Продекламировал» «с чувством», со слезой, как заправский любитель драматического искусства¹.

«Ласточки» — на самом деле главный шедевр Майкова, его, можно сказать, визитная карточка в истории поэзии:

Мой сад с каждым днем увядает;
Помят он, поломан и пуст,
Хоть пышно еще доцветает
Настурций в нем огненный куст...

Мне грустно! Меня раздражает
И солнца осеннего блеск,
И лист, что с березы спадает,
И поздних кузнечиков треск.

Встреча и разговор с автором этих строк выглядит, в контексте судьбы Ходасевича, гораздо важнее, чем случайные свидания с Александром III и Иоанном Кронштадтским. Ходасевичу, единственному из больших поэтов его поколения, довелось лично встречаться и разговаривать с крупным поэтом домодернистской эпохи, поэтом, дебютировавшим в печати всего через год после смерти Пушкина. И пусть десятилетний мальчик Владя читал Майкову его, а не свои собственные стихи, биографическая параллель продолжает выстраиваться: как Александр III становится в пару Павлу I, а Елена Кузина — Арине Родионовне, так парализованный семидесятипятилетний Майков «намекает» на благословляющего «старика Державина».

Сам Ходасевич тоже уже писал, конечно, и влияние Майкова ощущалось в его первых опытах — в формах более чем простодушных. В «Младенчестве» поэт вспоминает стихотворение, которое было «навесяно вербным торгом, который в то время устраивался на Театральной площади и лишь несколько позже был перенесен на Красную:

¹ Ходасевич В. Парижский альбом (VI) // СС-4. Т. 4. С. 212.

Весна! выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

На площади тесно ужасно,
И много шаров продают,
И ездют мимо жандармы,
И вербы домой все несут.

Недостатки второй строфы очевидны. Первую же, как уже заметил читатель, я взял у Майкова — не потому, что хотел украсть, а потому, что мне казалось вполне естественным воспользоваться готовым отрывком, как нельзя лучше выражающим именно мои впечатления. Майковское четверостишие было мной пережито как мое собственное. В этом нет ничего удивительного. Одна современная поэтесса по той же самой причине первым *своим* стихотворением считает “Казачью колыбельную песню” Лермонтова¹. «Одна поэтесса» — это Берберова, которая, правда, сама называла своим «первым стихотворением» не «Казачью колыбельную песню», а «Молитву».

Только что приведенное «наполовину украденное» стихотворение не было первым. Ему предшествовал «мадригал», написанный в шестилетнем возрасте и посвященный старшей сестре:

Кого я больше всех люблю?
Ведь всякий знает — Женичку.

Была еще баллада о разбойнике, который «по лесной чаще пробирался к мирному домику с ужасными целями, но “глаз он выколол о сук”»², «четверостишия или шестистишия нравоучительного содержания... разумеется, чрезвычайно наивные», и, наконец, подражания салонным и «цыганским» романсам (таким, как «Очи черные» и «Глядя на луч пурпурного заката»), которые пели старшие братья, сестра Маня и их друзья. «Как-то мне подарили целую пачку карнэ де баль; то были кусочки разноцветного глянцевого картона, сложенные пополам; на второй странице отпечатано было золотом распписание танцев, а прочие три оставались чистыми. К каждой такой тетрадочке на розовом или голубом шелковом шнурке был привешен тоненький лакированный карандашик, тоже розовый или голубой. Этими-то карандашиками и писал я, покрывая чистые страницы тетрадочек томными стихами, в которых неизменно фигурировали такие поэтические вещи, как ночь, закат, обла-

¹ Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 206.

² Парижский альбом (VI) // СС-4. Т. 4. С. 210.

ка, море (которого я никогда не видел) и тому подобное. Моя “поэзия” явно носила оттенок салонный и бальный, сам же я казался себе томным, задумчивым и несчастным юношей, готовым умереть от любви и чахотки»¹.

Эпоха просто купалась в уютной безвкусице, и юный поэт с наслаждением дышал этим воздухом, не чувствуя никакого противоречия между ним и той аристократической культурой, культурой хорошего вкуса, тонкости, меры, одним из поздних носителей которой был Аполлон Майков. Да и как почувствуешь это противоречие в восемь-десять лет? Безвкусица имела свои уровни, градусы, как по сходному поводу выразился Даниил Хармс. Романс какого-нибудь Павла Козлова — это был нижний уровень, а высший сорт аляповатой «восьмидесятичестной» поэзии составляли надрывно-риторические стихи Семена Надсона, доподлинного чахоточного красавца.

Впрочем, был уровень еще более высокий: мелодраматическая, сентиментальная составляющая романов Чарлза Диккенса, которые были неотъемлемой частью чтения всех культурных подростков в тогдашней Европе. Именно Диккенс (наряду с писателем меньшего ранга, сентиментальным немецким натуралистом Фридрихом Шпильгагеном) питал воображение чувствительного мальчика. «Мне виделись душераздирающие семейные сцены. <...> Я в них играл роль жертвы, столь несчастной и столь благородной, как только можно себе представить. При этом я думал о себе в третьем лице: “он”. Каждый раз все кончалось тем, что “он”, произнеся самую сердцещипательную и самую самоотверженную речь в мире, всех примирив, все устроив, всех сделав счастливыми, падал жертвою перенесенных страданий: “Сказав это, он приложил руку к сердцу, зашатался и упал мертвым”. Далее воображал я уже надгробные о себе рыдания — и сам начинал плакать»².

Сам Владя прозу писать не пробовал — зато у него были опыты в драматургическом роде. От одной из таких пьес (комедии) осталось лишь название — «Нервный старик», от другой — диалог, предвещающий, можно сказать, грядущий театр абсурда:

«Г-жа Петрова. Ах, что это такое? Кажется, выстрел!

Г-жа Иванова. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой муж застрелился».

Раннее детство поэта прошло среди людей и вещей умирающего XIX столетия. Наивная мещанская «пышность», преувеличенная сентиментальность и аффектация, и рядом — благо-

¹ Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 207.

² Там же. С. 205.

родные реликты «высокой культуры», как вкрапления ампира среди архитектурной эклектики. Впрочем, в ампирном здании вполне мог находиться кафешантан: так и было в доме на другой стороне Большой Дмитровки, на который выходило по меньшей мере одно из окон квартиры Ходасевичей.

Дом этот вскоре снесли; началось наступление купеческого модерна, беспощадного к «домикам старой Москвы» и к ее устоявшемуся быту. Двадцатый век — с трамваем, авто, электричеством, телефоном, радио — стремительно прорастал сквозь распадающийся мир детства. Ни одно поколение не пережило такого стремительного изменения материальной реальности за время своего детства, как люди, родившиеся в 1886 году. Может быть, лишь люди, родившиеся в году 1986-м...

4

Весной 1896 года Ходасевич сдал экзамены в Третью московскую гимназию. Спустя несколько дней или недель он, в новенькой фуражке с кокардой, «из ворот Толмачевского дома на Тверской видел торжественный въезд Николая II, налюбовался иллюминацией Кремля, надышался запахом плошек...»¹. В старой столице происходила коронация — вторая за пятнадцать лет. Поэт в данном случае не счел нужным специально упомянуть о трагическом происшествии, которым завершилась церемония и в котором многие увидели мрачное пророчество. Эмигрантским читателям 1930-х годов, несмотря на обилие грандиозных событий, случившихся позднее, слово «Ходынка» еще было памятно. Фигурирует оно и в стихах Ходасевича: рядом с братской могилой «царских гостей», многочисленных жертв бессмысленной давки, случившейся при раздаче гостинцев во время народных гуляний на Ходынском поле, в свой срок нашла упокоение Елена Кузина.

Тем же летом Владислав впервые увидел Санкт-Петербург. Историки (от Владимира Курбатова до Николая Анциферова) задним числом усматривали в этой эпохе «помутнение лика» великого города. Уже выросли бесчисленные доходные дома с вычурными фасадами во «флорентийском», «старомосковском» и бог весть еще каком стиле, но с дворами-«колодцами»; растреллиевское барокко ценили и сохраняли, но архитектура ампира считалась «казарменной»; для оживления ландшафта дома в центре города красили в яркие и кричащие тона — как будто по давнему совету маркиза де Кюстина. Зимний дво-

¹ Ходасевич В. Парижский альбом (VI) // СС-4. Т. 4. С. 210.

рец и здание Главного штаба были свекольно-красными. Тяжеловесный и душноватый «дух времени» царил повсюду, так же как и в Москве. На мальчика, впрочем, большее впечатление произвели Озерки — тогда пригородное дачное место. «Пейзаж Озерков, с горой, поросшей сосновой рощей, с песчаным белесоватым скатом к озеру, с гуляющей публикой, с разноцветными дачами — смесь пошлого и сурового — запомнился навсегда. Как фантастично и правдиво он передан через десять лет Блоком — в “Незнакомке” и “Вольных мыслях”!»¹

В Озерках вся семья жила вместе. В июле родители отправили младшего сына к дяде в Сиверскую (где и произошла его встреча с Майковым), а сами, видимо, вернулись в Москву. Осенью Владислав приступил к занятиям в гимназии.

Третья московская гимназия, основанная в 1839 году, первоначально имела статус «реальной». Это означало, что в ней «практические» дисциплины, необходимые для государственной службы (прежде всего юриспруденция), преобладали над древними языками. Однако в 1860-е годы, когда была упорядочена система государственного образования и все средние учебные заведения разделены на «классические гимназии» и «реальные училища», Третья гимназия утратила практико-юридический уклон и вернулась в лоно строгого классицизма. На рубеже веков здесь изучали не только латынь, но и греческий язык (что предусматривалось изначально, но практиковалось в то время уже не во всех классических гимназиях). В остальном программа была обычна: хороший курс математики, ограниченный — физики, обилие слабо структурированных эмпирических сведений из истории и географии, основательное изучение русской литературы — от летописей XI века до Лермонтова и Гоголя (но без более поздних авторов), более или менее приличные познания во французском и немецком. Можно было, однако, закончить гимназию, не овладев толком никаким иностранным языком — как позднее советскую школу; сам Ходасевич свободно читал по-французски и по-немецки, но в эмигрантские годы, по свидетельству хорошо знавших его людей, испытывал трудности в бытовом общении: первоначально он не мог даже объясниться в немецкой лавке без помощи Берберовой.

В уже упомянутом письме Петру Зайцеву и в очерке «Виктор Гофман» Ходасевич вспоминает своих «прекрасных учителей» — поэтов и знатоков поэзии: Владимира Шенрока, Тора Ланге, Георга Бахмана, Митрофана Языкова (классный наставник у Ходасевича), П. А. Виноградова. Сегодня имена эти мало

¹ Там же.

что говорят (или вовсе ничего не говорят) широкому российскому читателю, но специалистам некоторые из них известны. Тор Нэве Ланге, датский поэт, в 1875 году переселившийся в Россию и преподававший классические языки в гимназиях, опубликовал на родине книгу стихов, но большим признанием пользовался как переводчик, главным образом античной и русской (а также древнерусской и украинской) литературы. Среди переведенного им — «Слово о полку Игореве», сочинения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Островского, Льва Толстого, Достоевского, Чехова. Кроме того, ему принадлежит монография об Алексее Константиновиче Толстом. Георг (Егор Егорович) Бахман, преподававший в гимназии немецкий язык, писал на этом языке стихи, дважды выходявшие отдельными изданиями, второй раз — посмертно. Немного сочинял он также по-русски и по-французски. Бахман держал нечто вроде литературного салона, в котором по субботам собирались многие московские поэты, в том числе и символисты — Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис. Брюсов вспоминал о нем: «Поражая своим знанием литературы всех народов, всех стран, всех эпох, Бахман поражал еще более своей способностью видеть красоту во всех ее проявлениях, и не только видеть, но и открывать ее другим. Его душа была обширнейшим пандемониумом, в котором встречались Виктор Гюго с Бодлером, Теннисон с О. Уайльдом, Шиллер с Демелем, а Пушкин с Фофановым, и все поэты, древние, старые, новые и новейшие, с его первым кумиром, с обожаемым им Гёте»¹. Владимир Иванович Шенрок стихов своих не публиковал, зато был одним из ведущих специалистов по русской литературе первой половины XIX века, в особенности по творчеству Гоголя. Также он занимался историей русского театра. Ходасевич пропустил еще одного стихотворца, преподававшего ему словесность, — Виктора Ивановича Стражева, который был старше своих учеников лишь несколькими годами (о нем у нас еще будет повод упомянуть не раз). В гимназии в меру поощрялось поэтическое творчество, ежегодно устраивались литературно-музыкальные вечера и любительские спектакли. Казалось бы, идеальная среда для формирования поэта.

Но в очерке «Черепанов» (1936) Ходасевич рисует совсем иную сторону московской гимназической жизни, вызывающую в памяти не мандельштамовские и набоковские описания Тенишевского училища, а скорее агеевский «Роман с кокаином» (сам Ходасевич в рецензии на этот роман² не преминул отме-

¹ Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. С. 238.

² Возрождение. 1937. № 4060. 17 января.

тить явные параллели). Гимназисты очень рано вовлекались в то, что можно назвать московским полусветом, причем порою посвящение в эти далеко не ребяческие сферы жизни происходило прямо в гимназических стенах. Так, в конце 1901 года¹ эlegantный преподаватель греческого языка А. П. Ланговой был обвинен в сексуальном совращении старшекласников. От суда его спасло то, что он «пригрозил, что... сделает разоблачения относительно одной особы из высших московских сфер»² (как указывает Берберова, речь идет о великом князе Сергее Александровиче, московском градоначальнике). Многие ученики казенных и частных гимназий были завсегдаями публичных балов в Благородном собрании, в Охотничьем клубе, а также «дачных танцулек». На эти балы юноши являлись в особенных щегольских костюмах: узкие брюки, крохотная фуражка на черной муаровой подкладке, «поразительные куртки с высокими воротниками, в талию, с боковой застежкой на крючках»³. В таком же виде фланировали они по Кузнецкому Мосту и Петровке, появлялись в театрах, привлекая внимание не только одеждой, но и изысканно-экстравагантными манерами. Эти малолетние денди имели успех в Первопрестольной. Иные находили зрелых и щедрых покровителей или покровителей и становились на сомнительный путь. Так, весьма известным московским жиголом стал некто Сергей Николаевич Дурасович, учившийся в Третьей гимназии на несколько классов старше Ходасевича. Репутация его была такова, что когда он закончил юридический факультет Московского университета, ни один присяжный поверенный не соглашался записать его к себе в помощники, что было необходимо для начала адвокатской карьеры. Единственным, кто согласился, был Алексей Сергеевич Шмаков, ставший изгоем в адвокатском сословии из-за своей безумной юдофобии (несколько лет спустя он прославился, выступив в качестве гражданского истца на процессе Бейлиса). Однако карьера в «черной сотне» у Дурасовича также не удалась — выяснилось его собственное полужидкое происхождение. Другой соученик поэта, некто П-в, тоже прожигатель жизни со скверной репутацией, из числа «любимцев» педагога Лангового, закончил тем, что стал героем уголовной хроники: он застрелил в ресторане, из ревности, свою молодую жену, дочь содержателя борделя.

Не все «щеголи» вели *настолько* бурную жизнь, и, конечно, не всякая биография заканчивалась так бесславно. Иные впо-

¹ А не в 1902-м, как значится в автобиографической хронике Ходасевича.

² Ходасевич В. Черепанов // СС-4. Т. 4. С. 298.

³ Там же. С. 296.

следствии вошли в историю России: например, Донат Андреевич Черепанов, сын неудачливого антрепренера, в прошлом — владельца народного театра «Скоморох», о котором и написан очерк Ходасевича. В 1917 году Донат Черепанов примкнул к левым эсерам и вскоре вошел в число их руководителей — наряду с Марией Спиридоновой, Прошем Прошьяном и другими. В 1918 году он принял участие в «левоэсеровском мятеже», а год спустя, 25 сентября 1919-го, связавшись с группой «Анархисты подполья», участвовал в организации взрыва в бывшем особняке графини Уваровой в Леонтьевском переулке, где находился Московский комитет РКП(б). Взрыв произошел во время собрания столичного партактива, на котором обсуждались вопросы предстоящей «эвакуации Москвы» в связи с раздвигающимся наступлением армий Деникина. Предполагалось присутствие Ленина и Троцкого, но последний на собрание не приехал, а Ленин опоздал. Таким образом, обезглавить «большевистскую гидру» анархистам не удалось; всего же в результате взрыва погибло 12 коммунистов, в том числе глава Московского комитета РКП(б) Владимир Загорский (Лубоцкий), и еще 55 были ранены и контужены. Взрыв в Леонтьевском переулке стал крупнейшим за весь период Гражданской войны террористическим актом в отношении коммунистических правителей России. Ходасевич был крайне удивлен, узнав, что отчаянный террорист — не кто иной, как «Донька» Черепанов, циник и пустельга¹.

Впрочем, с Черепановым Ходасевич не был короток — в отличие от иных щеголей, например, Григория Ярхо, впоследствии переводчика и «немножко поэта». Сам Владислав к числу этих беспутных хлыщей не принадлежал, но *примыкал*: дело было во все той же неутоленной любви к танцу, в ностальгии по балету. Однако позднее у него образовался «обширный круг бальных знакомств, в первые годы совершенно невинных, но затем... классе в пятом, получивших иную окраску»². От том, каковы именно были эти знакомства, можно только догадываться. О любовной жизни Ходасевича-подростка мы знаем мало.

¹ В судьбе Д. Черепанова в самом деле немало странного. Схваченный чекистами на московской улице в феврале 1920 года, он, если верить официальной версии истории Гражданской войны и «красного террора», не был расстрелян, как другие арестованные участники теракта, несмотря на свое вызывающе резкое поведение на допросах. В «Красной книге ВЧК» написано, что Черепанов был сослан в Сибирь и там вскоре умер. Роман Гуль пишет, что Черепанов был задушен в камере на Лубянке по приказу Дзержинского, которому он нахамил на допросе. Вопрос о точных обстоятельствах гибели однокашника Ходасевича остается невыясненным и по сию пору.

² Ходасевич В. Черепанов // СС-4. Т. 4. С. 296.

В «донжуанском списке» к этому времени относятся два имени: под 1898 годом — Женя Кун, под 1903-м — некая Тарновская. Вероятно, что «мальчик, в Останкине летом танцевавший на дачных балах», был уже не похож на того «паиньку», прилежного ученика, читателя книг и собирателя бабочек, каким, по свидетельству самого Ходасевича, был он в первые гимназические годы.

Обстоятельства вокруг него тоже изменились. Владислав был в седьмом классе гимназии, когда его отец разорился. По предписанию Московской казенной палаты от 6 сентября 1902 года Фелициан Иванович Ходасевич был исключен из купечества 2-й гильдии и причислен в московские мещане¹. К этому времени, слава Богу, все дети, кроме младшего сына, были уже «пристроены»: Михаил закончил юридический факультет и стал известным адвокатом; Константин (Стася) сперва учился на медицинском, потом тоже перешел на юридический и, закончив, занимался адвокатской практикой, но с меньшим, чем старший брат, успехом. Евгения Фелициановна вышла замуж за адвоката Кана; старшая сестра, Мария, была замужем с конца 1880-х. Виктор, видимо, получил фармацевтическое образование: он владел аптекой в Москве, но в 1905-м тоже обанкротился. Скорее всего, Михаил не оказал Виктору помощи, на которую тот рассчитывал. Во всяком случае, между братьями произошел разрыв: Виктор не бывал в гостях, если там можно было встретить Михаила², а после смерти родителей, по свидетельству А. И. Ходасевич, вовсе перестал общаться с братьями и сестрами.

Впрочем, это все было позднее. Пока же (в 1903-м) Владислав переехал от стариков-родителей к Михаилу, ставшему, по существу, главой семьи. (В том же доме, что и Михаил Фелицианович, на углу Тверской и Пименовского переулков жил Григорий Ярхо.) Он и прежде часто бывал здесь — подолгу возился со своей маленькой племянницей Валентиной, которая обожала его и беспрекословно слушалась. «Родители, помню, говорили, что Владя для меня “царь и бог”. Это звучало загадочно, ибо я не понимала ни первого, ни второго слова. И если я упрямылась, мама говорила: “Владя, скажи ей”. А я ему говорила: “Ты же мой царь и бог — поиграй со мной”, или позднее: “Царь и бог! У меня не получается, сколько будет пять и три, — помоги”»³, — вспоминала Валентина Михайловна Ходасевич. Обычно Владя читал девочке вслух, или они играли «в театр»:

¹ МГИА. Ф. 418. Оп. 318. Д. 1279. Л. 4.

² См. письмо С. Я. Ходасевич В. Ф. Ходасевичу от 1 августа 1911 года (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 93. Л. 1).

³ Ходасевич В. М. Портреты словами. С. 37.

делали декорации для несуществующих пьес. Но к тому времени, как Владислав переехал к брату, он был уже слишком погружен в свои «взрослые» переживания и едва ли обращал много внимания на маленькую Валу.

Видимо, ухудшившееся материальное положение семьи пока на жизни Владислава особенно не сказалось; денег на куртки с косыми воротничками и прочие аксессуары хватало. С другой стороны, следить за поведением юноши толком теперь было некому — и он с головой окунулся в «бальную» жизнь.

Не исключено, что и «пылкое увлечение театром», о котором поэт кратко упоминает в письме Петру Зайцеву, как-то связано с этой светской жизнью московского гимназиста. Но к 1903 году жизненный выбор был сделан: Владислав Ходасевич почувствовал себя поэтом и решил навсегда посвятить себя поэзии.

5

Занятия литературой (и любым другим искусством) в начале XX века почти неизбежно вели юношу в тот волнующий, экзотический, тревожный мир, который большинство современников звали странным и непочетным словом — «декаданс». То есть — «упадок». Сами «декаденты» с вызовом принимали эту кличку.

Если на то пошло, «стильные» костюмы фланирующих гимназистов и гривуазные похождения некоторых из них были тоже проявлением — низовым и гротескным — новой эпохи, разрушавшей уютный мир «русского викторианства». Одновременно перед юным поэтом раскрывалась другая, высокая сторона нового времени.

В «модернистской революции» 1890-х годов между Москвой и Петербургом установилось своего рода разделение труда. Петербуржцев — Дмитрия Мережковского, Зинаиду Гиппиус, Василия Розанова, Акима Волынского — привлекали прежде всего «новое религиозное сознание» и связанная с ним новая жизненная этика. Обновление собственно художественного языка стало в большей мере заботой москвичей. «Старший» символизм, сосредоточивший внимание на вопросах формы, был скорее московской затеей, и центральная роль здесь принадлежала Валерию Брюсову.

В сущности, само слово «символизм» было во многом случайным — то, что обозначалось этим словом в России и в других странах (прежде всего во Франции, в Бельгии, Скандинавии), было хотя и родственно, но не вполне идентично. Одна из примет «догоняющих» культур, в том числе русской — за-

имствование иностранных «брендов», которые призваны легитимизировать собственные художественные поиски. Первый сборник «Русские символисты» появился в 1894 году, всего через восемь лет после появления школы символистов во Франции — но в России слово появилось едва ли не раньше обозначаемых им текстов. Причем на практике двадцатиоднолетний Валерий Брюсов, внук московского пробочного фабриканта и сын рантье-домовладельца, ориентировался не только (и не столько) на символизм, сколько на всю традицию французской поэзии второй половины XIX века, начиная с Парнаса.

Тридцать лет спустя Осип Мандельштам так описал это: «Русской поэтической мысли снова открылся Запад, новый, соблазнительный, воспринятый весь сразу, как единая религия, будучи весь из кусочков вражды и противоречий»¹. Но в 1890-е годы это было мало кому понятно. Достаточно прочитать некоторые обличающие «декадентов» статьи, чтобы увидеть, каким было представление российского интеллигентного обывателя о современной ему европейской культуре. И не только современной. Андрей Белый вспоминал: «Когда с нами спорили о поэзии, то оказывалось, что спорящие не знают ни взглядов на поэзию Реми де Гурмона, Бодлера и других “проклятых”, ни Гёте, ни даже Пушкина...»² «Декаденты» открывали России не только наполовину придуманный Запад, но и подлинное прошлое собственной литературы. Сначала — себе самим и друг другу.

Но как пишет тот же Андрей Белый, «не прошло и пяти лет, как эти “чайные столы”, за которыми отдыхали изгнанные отовсюду, стали кружками, салонами, книгоиздательствами — сперва для “немногих”, таких как мы»³. Сборники «Русские символисты» были восприняты читающей публикой как курьез. Но уже на рубеже веков, то есть всего несколько лет спустя, Бальмонт стал самым читаемым живым поэтом в России, его слава уже была сопоставима со славой Надсона. Брюсов не был настолько популярен у широкого читателя, но в литературных кругах его имя звучало все более весомо.

Разумеется, не обошлось без борьбы. В январе 1903 года гимназист Ходасевич стал свидетелем одного из ее эпизодов: «контрабандой» он попадает на заседание Московского литературно-художественного кружка (своего рода клуба московской интеллигенции, основанного в 1899 году при участии Чехова, Станиславского, Кони и находившегося первоначально

¹ Мандельштам О. Слово и культура. Письмо о русской поэзии // Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 264.

² Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 37.

³ Там же. С. 36.

на Воздвиженке), чтобы послушать знаменитую речь Брюсова о Фете¹.

Как вспоминал впоследствии Владислав Фелицианович, «литературная комиссия состояла из видных адвокатов, врачей, журналистов, сиявших достатком, сытостью, либерализмом. В ней председательствовал председатель правления — психиатр Баженов, толстый, лысый, румяный, курносый, похожий на чайник с отбитым носиком, знаток вин, “знаток женского сердца”, в разговоре умевший французить, причмокивать губами и артистически растягивать слова, “русский парижанин”, автор сочинения о Бодлере — с точки зрения психиатрии. Он с явным неодобрением слушал речь непризнанного декадентского поэта, автора “бледных ног”, восторженно говорившего о поэзии Фета, который, как всем известно, был крепостник да к тому же и камергер. Неодобрение разделялось и остальными членами комиссии, и подавляющим большинством публики. Когда начались прения, поднялся некто, имевший столь поэтическую наружность, что ее хватило бы на Шекспира, Данте, Гёте и Пушкина вместе. То был Любошиц, фельетонист из “Новостей Дня”. Рядом с ним Брюсов имел вид угнетающе-прозаический. Любошиц объявил напрямик, что поэзия Фета похожа на кокотку, скрывающую грязное белье под нарядным платьем. Этот образ имел успех потрясающий. Зал разразился бурей аплодисментов. Правда, говоря о Фете, Любошиц приписал ему чьи-то чужие стихи. Правда, бурно выскочивший на эстраду юный декадентский поэт Борис Койранский тут же и обнаружил это невежество, но его уже не хотели слушать. Ответное слово Брюсова потонуло в общественном негодовании»².

Но по крайней мере либеральные адвокаты уже готовы были слушать речь «декадента» о «крепостнике» — даже они чувствовали, что времена меняются. Пятью годами раньше выступление кого-то из символистов в подобной аудитории едва ли было бы возможно. (Кстати, тот же Любошиц еще чуть позже, по свидетельству Белого, стал «другом» декадентов.)

Издательство «Скорпион», основанное в 1900 году ближайшим другом Брюсова Сергеем Поляковым, меценатом из текстильных фабрикантов, лингвистом-любителем и переводчи-

¹ «Контрабандой» — потому что хотя лекции были публичными и вход стоил не особенно дорого, 50 копеек, гимназисты в «Кружок» не допускались. Владиславу пришлось сшить себе взрослый костюм: черные брюки и к ним двусмысленную тужурку — не гимназическую, потому что черную, но и не студенческую, потому что с серебряными пуговицами.

² *Ходасевич В.* Московский литературно-художественный кружок // Воспоминания о Серебряном веке / Сост., предисл. и коммент. В. Крейда. М., 1993. С. 389—390.

ком, выпускало книги русских «новых» писателей наряду с сочинениями Верлена, Гамсуна, Уайльда. Во втором выпуске скорпионовского альманаха «Северные цветы» счел возможным напечататься чуждый символистам, иронически к ним относившийся (но чтимый ими) Антон Чехов.

И наконец, в 1904 году, когда Ходасевич закончил гимназию, начал выходить самый значительный символистский журнал «Весы», субсидируемый Поляковым и редактируемый Брюсовым. Но к тому времени русский символизм был уже несколько иным. Именно 1900—1901 годы стали точкой перелома: смерть Владимира Соловьёва, издававшегося над «старшими» символистами и так почитаемого «младшими», выход «Кормчих звезд» — первой книги старшего по возрасту из «младших», Вячеслава Иванова, которого Соловьёв как раз ценил и, можно сказать, благословил, первая публикация Блока. С этого момента два крыла движения — те, для кого символизм был лишь средством «выразить тонкие, едва уловимые настроения рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя»¹, и те, кому он казался «упреждением той гипотетически мыслимой, собственно религиозной эпохи языка, когда он будет обнимать две отдельные речи — речь об эмпирических вещах и явлениях и речь о предметах и отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте»², — существовали бок о бок, словно и не догадываясь о своей розни, чтобы лишь десять лет спустя осознать, что под одними и теми же словами подразумевали разное. Но к тому времени солнце русского символизма давно уже минует зенит.

Пока же символистская поэзия (воспринятая вперемешку с более или менее наивным бытовым «декадентством») завоевывает все новых поклонников среди российского юношества. Положение таких местных «декадентов» было разным: Гумилёв и Ахматова чувствовали себя одиноко в чиновничье-пенсионерском Царском Селе, над косоглазым «Гумми» сверстники даже в открытую смеялись. Ходасевичу повезло больше: в Третьей московской гимназии он был отнюдь не единственным «декадентом». Более того, обстоятельства очень рано позволили ему соприкоснуться с самим центром нового эстетического движения.

Кроме Григория Ярхо, с которым Ходасевича сближало не только бальное щегольство, но и любовь к поэзии, известны имена еще двоих его одноклассников — Георгия Малицкого,

¹ Брюсов В. Предисловие к сборнику «Русские символисты» // Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. С. 35.

² Иванов Вяч. Заветы символизма // Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971—1987. Т. 2. С. 593.

впоследствии ученого секретаря Государственного исторического музея, и Александра Брюсова. Оба останутся рядом с Ходасевичем и во взрослой жизни, но общение с Александром Брюсовым будет особенно важным. Бок о бок с этим нервным, инфантильным, не находящим себя скитальцем Владислав Фелицианович провел самые трудные годы своей молодости. (Потом их пути разошлись: Ходасевича ожидали слава и изгнание, Александра Брюсова, лишь в сорок лет получившего университетский диплом, — карьера ученого-археолога, ставшего к концу жизни корифеем в своей профессиональной области.) В юношеском стихотворении, посвященном Александру, Ходасевич пишет:

Меня роднят с тобою дни мечтаний,
Дни первых радостей пред жертвенным огнем.
И были мы во власти обаяний,
И сон ночной опять переживали днем.

Но важнее всего, пожалуй, то, что именно через Александра Брюсова Ходасевич сблизился с двумя людьми, сыгравшими важнейшую роль в его жизни. Первым из этих двоих был старший брат Александра — составитель «Русских символистов», издатель «Весов», первый и главный мэтр московского символизма.

То, что для тысяч юношей и девушек стало скандальной и притягательной легендой, для Александра Брюсова было частью его детства. Знаменитые строки про «лопасти латаний на эмалевой стене» сочинялись в его присутствии, и он хорошо знал, что речь идет об экзотических растениях в кадках на фоне кафельной печи в одной из комнат брюсовской квартиры на Цветном бульваре. Ходасевич познакомился с Валерием Яковлевичем, когда ему было одиннадцать, а Брюсову-старшему — двадцать четыре. «Его вид поколебал мое представление о “декадентах”. Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были “декаденты” по фельетонам “Новостей Дня”) — увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычного покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке»¹.

Контраст между дерзаниями символизма и бытовым, житейским обликом его виднейших представителей обыгрывался многими насмешливыми современниками, но ни у кого из русских символистов этот контраст не был так явен, как у Брюсова. И если бы речь шла только о внешности!.. Сам склад лич-

¹ Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 19.

ности Валерия Яковлевича был глубоко буржуазен и гораздо больше соответствовал его семейным корням, чем поприщу. Аккуратный, деловой, невероятно работоспособный, властолюбивый, изысканно-вежливый по манерам и жестко-авторитарный по существу — таким описал его Ходасевич в «Некрополе», и по этому великолепию в своей выразительности описанию мы до сих пор Брюсова и представляем. Но Ходасевич знал и другую, более привлекательную сторону брюсовской «буржуазности». Дело не только в том, что «этот дерзкий молодой человек... <был> способен подобрать на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены»¹. В самой поэзии раннего Брюсова грандиозное и экстравагантное сочеталось с простым, наивным, домашним, трогательно-пошловатым. «Все эти тропические фантазии — на берегах Яузы, переоценка всех ценностей — в районе Сретенской части»². И конечно, Ходасевич своими глазами видел латании и криптомерии, которые разводила Матрена Александровна, дочь купца-графомана Бакулина, жена ленивого домовладельца, мать главного русского декадента. Даже много лет спустя, давно разочаровавшись в Брюсове как поэте и человеке, Ходасевич находил особое обаяние в этом «остром изломе». Сегодня это обаяние уже неощутимо. Те «две строки в истории мировой литературы», о которых Брюсов, по словам Ходасевича, мечтал, он получил, и вполне заслуженно — и может быть, целую страницу в истории отечественной словесности. Другого посмертия (и бессмертия) он не искал — и не удостоился его. Ни разу не удалось ему остановить время внутри строки или строфы.

Но трагедия Брюсова была даже не в том, что собственно лирический талант уступал в его случае критическому чутью, уму, трудолюбию, эрудиции — и сам он именно в силу своего ума и критического дара не мог этого не понимать. Хуже то, что первый русский символист стал символистом, можно сказать, по расчету. «Талант, даже гений честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало!.. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. И этим вождем буду Я!»³ Едва не каждый элемент той мировоззренческой и эстетической системы, утверждению которой Брюсов способствовал активнее, чем кто-либо другой, противоречил

¹ Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 19.

² Там же.

³ Брюсов В. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М., 2002. С. 28.

его внутренней органике, писательской и человеческой. И он эту органику сознательно насиловал и коверкал. Холодному мастеру-«парнасцу», ему приходилось имитировать душевный жар и постоянное эмоциональное напряжение (современники верили, восторгались и подражали, но уже спустя поколение искусственная взвинченность брюсовских стихов перестала действовать на читателей). Рационалист, он смолоду заставлял себя писать суггестивные, импрессионистические стихи и исто-во переводил Верлена. В иное время он остался бы, возможно, честным позитивистом-агностиком, но эпоха и школа подра-зумевали причастность к «тайнам», и он стал адептом сомни-тельного оккультизма и завсегдатаем спиритических сеансов. Именно здесь, в этой внутренней искривленности, несоот-ветствии себе самому и таятся, возможно, корни той болез-ненной суетности, того желания «не отстать от времени», ко-торое предопределило многие стороны поведения Брюсова в 1910-е годы и особенно после 1917-го.

В начале века, когда Брюсов был молод, ярк, полон сил и наделен исключительным умением завлекать людей на свою психологическую и интеллектуальную орбиту, предсказать эту драматическую эволюцию было трудно. Как и трагедию Вик-тора Гофмана, тоже выпускника Третьей гимназии, учивше-гося на класс старше Ходасевича, Георгия Малицкого и Алек-сандра Брюсова.

Ходасевич и Гофман подружились на переменах, которые они проводили в разговорах о новой поэзии. Особенно сбли-зило их совместное участие в постановке «Камознса» Васи-лия Жуковского, предпринятой в 1902 году преподавателями и учениками гимназии. «От скольких уроков избавили нас репе-тиции! — вспоминал впоследствии Ходасевич. — Сколько го-ворено было в те часы! Ведь какие времена были! В те дни Баль-монт писал: “Будем как Солнце”, Брюсов — “Urbi et orbi”. Мы читали и перечитывали всеми правдами и неправдами раздо-бытые корректуры скорпионовских “Северных Цветов”. <...> Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы! Весна, солн-це светит, так мало лет нам обоим, — а в этих стихах целое от-кровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычай-но. <...> Какие счастливые дали открываются перед нами, какие надежды! И иногда от восторга чуть не комок подступает к гор-лу»¹. Времена в самом деле были славные — тот пролог XX ве-ка накануне Первой мировой, который был прозван «прекрас-ной эпохой», время великой революции в мировой культуре. Тем, чья юность пришлось на подобную эпоху, повезло. Но-

¹ Ходасевич В. Виктор Гофман // Последние новости. 1925. 14 октября.

стальгию по этим веселым и вдохновенным дням Ходасевич пронес через всю жизнь.

Гофман уже носил Брюсову свои стихи и удостоился его поощрительного отзыва. Понятно, какую зависть это вызывало у Владислава: он-то общался с мэтром пока лишь шапочно, в качестве одноклассника его младшего брата. А Гофман, тоже еще ученик восьмого класса, регулярно бывал на знаменитых брюсовских «средах». Более того — он стал любимым учеником Валерия Яковлевича, его другом и конфиденнтом; в литературных кругах юного Виктора, играя словами, называли «брюсовским ликтором»¹. Брюсов бывал у своего молодого приятеля дома, посвящал ему стихи. Одно из них начиналось так:

Три имени в веках возникли,
В них равный звук и смысл один,
И к ним уста любви привыкли:
Валерий, Виктор, Константин.

Сколько юношей отдали бы все, чтобы их имя прозвучало в таком контексте — рядом с именами кумиров поколения, знаменитейших поэтов молодой России!

Гофман увидел свое имя в печати (в том числе в «Северных цветах») прежде, чем получил аттестат зрелости. Любопытно, что благодаря дружбе с Брюсовым он стал если и не на равных, то в неофициальной обстановке общаться со своими гимназическими учителями, Бахманом и Ланге. Бахман оказал на него особенно сильное влияние. Немецкий язык (предмет, преподаваемый «Егором Егоровичем») Гофман, сын иммигранта из Австрии, и так знал превосходно, знал и немецкую литературу, зато Бахман в личных беседах открыл ему англоязычную поэзию.

И вдруг все в одночасье кончилось: Брюсов порвал с Гофманом. Почему — объясняет Ходасевич в поздней версии воспоминаний о своем гимназическом товарище: «Гофман имел неосторожность перед кем-то прихвастнуть, будто пользуется благосклонностью одной особы, за которой ухаживал (или, кажется, даже еще только собирался ухаживать) сам Брюсов»². Утверждая, что после этого перед Гофманом закрылись двери всех символистских издательств (и «Скорпиона», и новосозданного «Грифа»), Ходасевич, разумеется, сгущает краски: для «Грифа» Брюсов был не указ, и в грифовских изданиях Гофман участвовал. Да и с Брюсовым он через некоторое время почти помирился, и в «Весях» стал сотрудничать. Необходимость зарабатывать на жизнь газетно-журнальной поденщиной в слу-

¹ Ликтор — человек, сопровождавший (в качестве порученца, оруженосца или телохранителя) должностное лицо в Древнем Риме.

² Ходасевич В. Виктор Гофман. К двадцатипятилетию со дня смерти // СС-4. Т. 4. С. 287.

чае Гофмана отнюдь не была результатом «остракизма». Но все же низвержение из рая состоялось: прекрасный юноша, допущенный в круг бессмертных, превратился в профессионального литератора не самого высокого разряда, редактора «Нового журнала для всех», сочинителя салонных любовных новелл и автора двух книг благозвучных до излишества стихотворений; некоторые из них (к примеру «Летний бал») стали популярны у широкого читателя и вошли в антологию «Чтец-декламатор», что, однако, не принесло автору ни денег, ни репутации в профессиональных кругах.

В сущности, этот статус вполне соответствовал масштабу личности Гофмана. Даже расположенные к нему люди отмечали узость его душевного мира, а нерасположенный Андрей Белый писал прямо: «Слащавенький, розоволицый, капризный красавчик, весьма некультурный во всем, что не стих»¹. Кроме стихов у Гофмана был еще один конек — романтическая любовь. Но этот заурядный, а главное, очень несложный человек впитал жизненную этику декадентства, согласно которой смысл человеческого существования заключался в «лихорадочной погоне за эмоциями, безразлично за какими»², в «непрестанном горении, движении — безразлично во имя чего»³, «непрестанном самоодурманивании»⁴, в культе исключительного и необычного. Результат был банален: тяжелое нервное расстройство и самоубийство в Париже в 1911 году. Причем Гофман был далеко не единственным из близких Ходасевичу людей, которых ждал такой конец.

Судьба «малых сих», соблазненных сверкающими огнями прекрасной эпохи, была временами страшна, да и судьба соблазнительей незавидна. Но это была плата за выход из того душно-уютного мира, в котором прошло детство и где юноше было уже тоскливо и тесно. Готов ли семнадцатилетний Владимир Ходасевич платить такую цену? И знает ли он о ней?

6

Некий ответ на этот вопрос дает, как ни странно, школьное сочинение Ходасевича, случайно сохранившееся в его архиве⁵.

Название его — «Правда ли, что стремиться лучше, чем достигать?».

¹ Белый А. Начало века. М., 1990. С. 229.

² Ходасевич В. Конец Ренаты // СС-4. Т. 4. С. 10.

³ Там же.

⁴ Ходасевич В. Виктор Гофман. К двадцатипятилетию со дня смерти // СС-4. Т. 4. С. 286.

⁵ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 26.

Предоставим слово поэту. Мы впервые слышим его собственный голос (не считая двустушия о любви шестилетнего брата к «Женичке»):

«Принято считать, что успех какого-либо предприятия в большей степени зависит от той энергии, с которой оно ведется, от силы стремления к достижению конечной цели. “Тому в истории мы тьму примеров слышим”. Но однако, никто никогда не говорил, чтобы само стремление было ценнее предприятия. <...>

Человек, говорящий, что находит удовлетворение в самом стремлении, в “роковом горении”, — человек беспокойный и для общества более чем бесполезный. А раз человек для общества, в котором он живет и благами которого пользуется, бесполезен, то все его стремление — не более чем удовлетворение личных прихотей, да и то удовлетворение его весьма и весьма сомнительно»¹.

И это пишет юноша, более того — молодой поэт, да притом «декадент», зачитывающийся скорпионовскими книжками? Впрочем, о декадентах сказано ниже:

«Герои новейших литературных произведений, стремящиеся к “сверхчеловеческому”, — чего они достигают? Сильнейших нравственных потрясений, расстройств, разочарования, огорчений, расстроенного здоровья — и только»².

Здесь ирония уже бросается в глаза. Понятно, что сам-то юный автор готов пережить разочарования и огорчения и даже пожертвовать здоровьем ради стремления к сверхчеловеческому, к запредельному. Но Ходасевич не просто издевается. В семнадцать лет он догадывается о существовании двух правд, двух возможных ответов на один вопрос:

«Каждый смотрит по-своему: люди, живущие здоровой жизнью, говорят, что хороша цель, достойная слабого, но удовлетворения, а “великие безумцы”, пророки и поэты — что

Жизни цель и красота
В бурях вечного исканья»³.

Процитированные стихи принадлежат, как указано в помете на полях, сделанной рукой педагога, Георгию Малицкому.

Какой же оценки удостоилось сочинение? «4+ за учетное доказательство той точки зрения, которую вы презираете»⁴.

Пока Ходасевич действительно презирает точку зрения «людей, живущих здоровой жизнью». С годами он признает за ней

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 26. Л. 1-1 об.

² Там же. Л. 2-2 об.

³ Там же.

⁴ Там же.

некую правоту. А что же учителя? Как они относились к «декадентским» увлечениям гимназистов? Считали ли они их допустимыми?

В письме Петру Зайцеву Ходасевич уверяет, что учился отлично, и лишь из-за декадентства и «вредного влияния на товарищей» остался без медали. Андрею Белому рассказывал, что «худой, бритый, зеленый от кисли, обиженно-томный (до темных кругов под глазами), во веки веков благородный, “наиболее либеральный”, “наилейший”» молодой учитель Виктор Стражев ставил ему «о нет, не балл! — треугольник: не смей защищать декадентов»¹, — сам притом печатая символистские стихи!

Пострадать за «новое искусство» было почетно, но юный Ходасевич, судя по сочинению, был достаточно тонок и гибок, чтобы его могли «поймать на слове». По свидетельству Брониславы Рунт-Погореловой, свояченицы Валерия Брюсова, товарищи по гимназии звали Владислава «дипломатом» — «за выдержку не по летам, за совершенно взрослую “корректность”»². Едва ли он стал бы запальчиво излагать свои воззрения на уроке. К тому же слишком уж много декадентов было в Третьей гимназии и среди учеников и среди педагогов, чтобы кого-то преследовать. Так что в легенде, рассказанной поэтом, стоит усомниться. Со Стражевым Ходасевич общался позднее в литературных кругах как ни в чем не бывало. А в аттестате его — ни одной пятерки: вряд ли по всем предметам (Закон Божий, логика, греческий, латинский, география, математика, физика, история, французский) отметки занижены на балл, а по немецкому — на целых два балла, до тройки. Зато к поведению и нравственности претензий нет: «Поведение его было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ довольно хорошая, прилежание достаточное и любознательность развитая, особенно по русскому языку»³.

Гимназию Ходасевич закончил в мае 1904-го. И тем же годом датируются первые его дошедшие до нас стихи. Начинается новая — настоящая — жизнь.

¹ *Белый А.* Начало века. С. 233—234.

² *Погорелова Б.* Валерий Брюсов и его окружение // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 35.

³ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 112.

Глава третья
МОЛОДОСТЬ

1

Осенью 1904 года Ходасевич поступил в Московский университет, первоначально — на юридический факультет, который уже закончили два его брата.

Об университетских годах поэта можно сказать совсем немного. У нас есть лишь официальные документы. Справка, выданная ректоратом в 1912 году, гласит, что «означенный... Владислав-Фелициан состоял в числе студентов» на юридическом факультете в течение 1904/05 академического года и на историко-филологическом факультете в течение 1905—1906 и 1906—1907 годов¹. Осенью 1907 года поэт был уволен из университета за невнесение платы. В течение 1908—1910 годов он еще два раза восстанавливался в *alma mater* (второй раз почему-то на юридическом факультете) и дважды исключался из нее; в конце концов он был отчислен, так и не получив диплома. Это очень похоже на историю университетской жизни Гумилёва или Мандельштама: вроде бы и необходимо получить официальное высшее образование, но что это дает профессиональному литератору-модернисту — не слишком понятно, да и совмещать богемную жизнь с правильным студенчеством не особенно получается.

В первое время обучения в университете Владислав продолжал жить у брата. Теперь он исполнял у Михаила Фелициановича секретарские обязанности, тот же платил ему жалованье — 75 рублей в месяц. Вскоре, впрочем, это закончилось.

Сам Ходасевич никаких воспоминаний об университете не оставил. Обратимся к свидетельствам писателей, посещавших Московский университет одновременно или почти одновременно с ним. Михаил Осоргин (Ильин), видный прозаик первой эмиграции, был студентом юридического факультета на рубеже столетий. Он с симпатией вспоминает профессора истории русского права Д. Я. Самоквасова («большой старик с

¹ МГИА.Ф. 418. Оп. 318. Ед. хр. 79. Л. 37.

отлично сделанной из плотной осмоленной пакли бородой»¹), специалиста по римскому праву, а также видного социолога В. М. Хвостова («Хвостов был ядовит и резал безжалостно. Благодаря этому я отлично знаю, что столб воздуха над недвижимостью принадлежит ее владельцу, и прихожу в бешенство, когда над моим клочком земли пролетает аэроплан»²), прозектора П. А. Минакова, увлекательно читавшего курс судебной медицины, и даже профессора гражданского права Л. А. Кассо, который впоследствии, в качестве министра народного просвещения, стал в глазах передовой общественности настоящим исчадием ада.

На историко-филологическом факультете в эти годы преподавали В. Ф. Миллер, В. О. Ключевский, их многочисленные ученики. Некоторые профессора, впрочем, пользовались популярностью во всем университете, невзирая на факультет и преподаваемый предмет. Студенты-филологи и юристы, к примеру, с энтузиазмом посещали лекции орнитолога М. А. Мензбира, будущего (в 1917—1919 годах) ректора.

Надо признать, однако, что Ходасевичу университет, судя по всему, дал немного. И вина в том не только его собственная.

Первая же его студенческая зима стала началом бурного времени, продолжавшегося в университете несколько лет, как, собственно, и во всей России.

Шла неудачная и непопулярная война с Японией. 17 октября 1904 года полиция на Ярославском вокзале грубо разогнала студентов и курсисток, провожавших на фронт своих товарищей.

Это стало толчком к целой серии студенческих демонстраций и сходок, на которых принимались резолюции с весьма размашистыми требованиями. Власти в ответ грозили репрессиями.

В декабре Александр Брюсов пишет Ходасевичу, которого личные обстоятельства (о них — ниже) удерживают в подмосковном Лидине:

«Вот я и в Москве. Приехал 25-го и тотчас узнал неутешительные новости. Говорят, что университет будет закрыт на второе полугодие. Удружили! Этого я никак не ожидал.

Вести с Дальнего Востока еще более неутешительные, но ты, кажется, ими не интересуешься вовсе. Однако есть и такие, которые будут любопытны для тебя.

Немецкие газеты пишут, что Вильгельм предлагал Николаю взорвать Порт-Артур до основания, когда еще был цел флот,

¹ *Осоргин М. А.* Воспоминания // Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. М., 2005. С. 477—479.

² Там же.

посадить на него всех жителей и прорваться через японскую эскадру, если будет это возможно; во всяком случае, хуже того, что произошло, не было бы»¹.

(Германский император пока что — друг, кузен и союзник Николая II.)

Следующий семестр начался уже после Кровавого воскресенья. 1 февраля 1905 года очередная сходка констатирует, что в настоящее время «нормальный ход образования и академической жизни немислим»², и призывает студентов прекратить занятия до 1 сентября. Таким образом, деятельность университета все-таки была парализована, но не властями, а самими студентами.

Двадцать седьмого августа, накануне осеннего семестра, был принят новый университетский устав, восстановивший отмененную в 1884 году автономию университета: выборность ректоров и деканов, а также (что оказалось особенно важно в год волнений) полицейскую экстерриториальность. Ректором был избран князь Сергей Николаевич Трубецкой, философ, последователь Владимира Соловьева. Можно сказать, что это была победа не только либеральной политики, но и модернистской культуры. Тем временем в университет устремляются активисты всех леворадикальных партий, которые используют недоступные полиции университетские аудитории для собраний и митингов. В результате 22 сентября 1905 года власти закрывают университет.

Двадцать восьмого сентября Трубецкой отправился в Петербург с дерзким заявлением университетского совета, который призывал правительство «узаконить свободу общественных собраний, с тем чтобы оградить высшую школу от наплыва лиц, стремящихся удовлетворить эту потребность»³. На следующий день он скоропостижно скончался от инсульта после резкого разговора с петербургским градоначальником и товарищем министра внутренних дел Дмитрием Треповым. Через неполных три недели свобода собраний в России была введена Высочайшим манифестом 17 октября. А еще через год сам Трепов (вовсе не такой кровавый держиморда, каковым принято было считать его в левых кругах) тоже скоропостижно умер от болезни сердца.

Университет вскоре открылся, но там по-прежнему было не до учебы. В середине октября он подвергся осаде черносотенцев — защищали его дружинники из революционных партий. Закончилось все тем, что университетский совет вынужден был

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 1.

² История Московского университета: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 515.

³ Там же. С. 517.

просить защиты у властей. 29 октября университет был занят войсками и снова закрылся до 15 января следующего года.

Позднее, вплоть до лета 1907 года, он закрывался еще трижды. Другими словами, из шести семестров в 1904—1907 годах университет функционировал как учебное заведение от силы три.

Как относился ко всему этому Ходасевич? Косвенным свидетельством может служить стихотворение Александра Брюсова:

ВЛАДИСЛАВУ-УЗНИКУ

*Ты слова гордого «свобода»
Ни разу сердцем не постиг.*

Фет

«Молчи, поникнув головою»,
Когда кругом гремит гроза.
Ты отступил перед борьбою,
Закрыв испуганно глаза.

Нет! Ты не знаешь вдохновений,
Ты раб, и цепи твой удел.
Нет! Никогда свободный гений
В тюрьме тюремщикам не пел.

Когда разорваны оковы,
Под грохот падающих стен
Позорно, дико песней новой
Хвалить свой душный, затхлый плен.

Под гнетом каменного свода
Ты задавил свободный стих,
И слова гордого «свобода»
Ни разу сердцем не постиг¹.

Александр Яковлевич, который во все времена простодушно и бескорыстно (не в пример старшему брату) разделял господствующие настроения, темпераментно упрекает своего друга за равнодушие к революции, используя при этом (что особенно забавно) эпиграф из стихотворения Афанасия Фета, прямо противоположного по мысли и направленного против «псевдопоэта» Николая Некрасова.

Так же точно обличал Брюсов-младший за равнодушие к политическим страстям эпохи своего знаменитого брата. Памятником этих споров осталось стихотворение Валерия Брюсова «Одному из братьев, упрекнувшему меня, что мои стихи лишены общественного значения»:

¹ РГАЛИ. Ф 537. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 2.

Свой суд холодный и враждебный
Ты произнес. Но ты неправ!
Мои стихи — сосуд волшебный
В тиши отстоенных отрав.

Стремлюсь, как ты, к земному раю
Я под безмерностью небес;
Как ты, на всех запястьях знаю
Следы невидимых желез.

Но, узник, ты схватил секиру,
Ты рушишь твердый камень стен,
А я, таясь, готовлю миру
Яд, где огонь запечатлен.

Он входит в кровь, он входит в душу,
Преображает явь и сон...
Так! Я незримо стены рушу,
В которых дух наш заточен!..

Как же на самом деле воспринимал Валерий Брюсов революцию 1905 года? Двойственно — наверное, именно такой ответ будет правильным. Он был далек от сочувствия свободолюбивой общественности, сочувствия, которое разделяли большинство писателей-модернистов. В печати он издевался над бездарными «гражданскими» виршами недавнего друга и соратника Бальмонта (хотя и сам некогда написал «Каменщика» и «Кинжал») и мягко полемизировал со статьей г. Ульянова-Ленина «Партийная организация и партийная литература» (не подозревая, что закончит жизнь членом ленинской партии и чиновником ленинского государства, а самого вождя отпоеет звучными, как всегда, истинно брюсовскими ямбами). В письмах доверенным товарищам он был откровеннее. В феврале 1905-го он писал Петру Перцову: «Либеральные интеллигентшишки, ругавшие декадентов на заседаниях художественного кружка, будут заседать в русском парламенте. <...> Правовое государство, административный произвол — когда я слышу эти слова, мне хочется спустить говорящего с лестницы»¹.

Соперник Брюсова в литературно-издательских делах и в любви, Сергей Кречетов (Соколов) написал стихотворный пасквиль (Ходасевич не забывает процитировать его в своих мемуарах), в котором прямо обвиняет Валерия Яковлевича в погромно-черносотенных настроениях и разговорах. Конечно, в реальности все было сложнее: человек сильный, умный и по-своему смелый, Брюсов одинаково презирал и глуповатых «либеральных интеллигентшек», и стремительно деградирующую

¹ Цит. по: Ашукин Н., Щербаков Р. Валерий Брюсов. М., 2006 (Серия «ЖЗЛ»). С. 228.

монархию Николая II. Ему нравились настоящие революционеры и настоящие реакционеры. В отличие от Вячеслава Иванова и других современников, клявшихся именем Ницше, Брюсов был природным, стихийным ницшеанцем. Как представителю интеллигентского истеблишмента, ему часто приходилось лавировать и скрывать свое подлинное отношение к происходящему. Но едва ли Ходасевич был вправе упрекать его в двурушничестве: собственные политические взгляды Владислава Фелициановича окажутся столь же изменчивы и противоречивы.

Впрочем, это потом, а пока, в 1905 году, ему было просто не до политики, не до революции. Период отроческого или юношеского увлечения социализмом в народническом или марксистском изводе был у многих людей этого поколения: у Пастернака и Цветаевой, восхищавшихся лейтенантом Шмидтом, у Мандельштама, выступавшего на эсеровских митингах, даже у Гумилёва, который под влиянием своего друга Бориса Легра-на (будущего советского посла в меньшевистской Грузии, а потом директора Эрмитажа) некоторое время занимался марксистской пропагандой. У Ходасевича такого периода, кажется, не было.

Мысли его были заняты творчеством, любовью, дружбой. Всего этого было в его тогдашней жизни в избытке.

2

Осенью 1904 года, вскоре после поступления в университет, Владислав удостоился долгожданного приглашения на очередную «среду» к Брюсову. Через кого было передано приглашение? Александр Брюсов сам не больно-то допускался на литературные собрания, проходившие у старшего брата, а Гофман уже был изгнан из рая. Сам Ходасевич описывает свое, если можно так выразиться, посвящение такими словами:

«Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

— Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть — восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующею походкой носился по комнате и говорил, охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки. Это был Андрей Белый. Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на

ногу. Он оказался С. М. Соловьевым. Больше гостей не было: “среды” клонились уже к упадку.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать — пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в “Пепел”: “За мною грохочущий город”, “Арестанты”, “ Попрошайка”. Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С. М. Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение “Жду я смерти близ денницы”. Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения: “Адам и Ева” и “Орфей — Эвридике”. Потом С. М. Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покорило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.

Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди. Наконец, произошло то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать “мое”. Я в ужасе отказался¹.

В этот день Ходасевич впервые встретился с Андреем Белым (то есть, собственно, Борисом Бугаевым) — одним из нескольких крупных писателей, с которыми ему довелось дружить и дружба с которыми закончилась, в конечном итоге, разочарованием и разрывом. Спустя три года после смерти Белого и незадолго до собственной смерти Ходасевич писал: «Девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал»². В этом женственно-артистичном, безответственном и эгоцентричном человеке он видел как будто воплощение собственного скрытого «я»; и, может быть, именно поэтому он был к Белому строг и беспощаден, повторяя (вслед за многими), что автор «Петербурга» «загубил» данный ему от природы гений. Впрочем, Белый — после разрыва — писал о Ходасевиче вещи совсем уж несправедливые. Но

¹ Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 22—23.

² Ходасевич В. Андрей Белый // СС-4. Т. 4. С. 42. Ближайший друг Ходасевича Муни (Самуил Киссин) в 1915 году в письме Владиславу Фелициановичу вспоминал время, когда Белый «был нашим с тобой Ставрогиним».

все это потом, много лет спустя. В 1904 году они были в разных «весовых категориях». Двадцатичетырехлетний сын профессора Николая Бугаева стремительно становился знаменитостью.

Даже если в глубине души у Брюсова и в самом деле сохранялось снисходительное отношение к Белому и Блоку, то после выхода их дебютных книг — «Золото в лазури» (апрель 1904-го) и «Стихи о Прекрасной Даме» (декабрь того же года) — ему постепенно пришлось изменить тональность в отношениях с этими поэтами. Но Ходасевичу, восемнадцатилетнему юноше, недавнему гимназисту, в брюсовском кругу предстоял долгий путь почтительного ученичества. Некоторых из сверстников Владислава Фелициановича подобное устраивало — например Гумилёва. Самого Ходасевича — нет.

Для Брюсова и Гумилёва поэзия была чем-то вроде рыцарского ордена или ремесленного цеха, в котором у каждого есть своя ступень в иерархии, и долг каждого — с почтением относиться к старшим и благосклонно — к младшим. Для Ходасевича мир был также иерархичен, но это была иерархия чувств, мыслей, слов, образов, а не людей. Более того, соблюдение субординации в литературной жизни его раздражало. В случае Брюсова он находит этой литературно-житейской иерархичности своего рода социологическое объяснение:

«Тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. Зато и желание при случае унижить другого обуревают счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. “Всяк сверчок знай свой шесток”, “чин чина почитай”: эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара»¹.

Именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что, несмотря на продолжавшиеся добрые и даже дружеские отношения с семьей Брюсовых, литературная карьера Ходасевича началась не в «Весах»² и «Северных цветах», а в изданиях иной, отчасти конкурентной символистской группы.

Инициатором возникновения всех этих изданий был Сергей Алексеевич Соколов, потомственный адвокат, выпускник Московского университета, гласный Московского губернского земства. Но душа его принадлежала поэзии, поэзии новой, «декадентской». Соколов писал (под псевдонимом Кречетов, обыгрывавшим его «птичью» фамилию) символистские стихи, похожие то на Брюсова, то на Бальмонта. Однако в «Северных

¹ Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 24.

² В «Весах» не было напечатано ни одного стихотворения Ходасевича и лишь одна его рецензия — на сборник стихотворений в прозе рано умершего польского писателя Яна Врочинского (1905. № 5).

цветах» ему места не нашлось. И потому в 1903 году, еще до основания «Весов», Соколов затеял собственный издательский проект.

Соколов в тот момент не нуждался в спонсорах — в его распоряжении было 40 тысяч от продажи владимирского имения (а было еще и подмосковное имение, приносящее постоянный доход). Альманах и книгоиздательство, основанные честолюбивым адвокатом, получили название «Гриф» — еще одна хищная птица (впрочем, скорее имелся в виду грифон, который и изображен на эмблеме издательства). Энергичный человек, эффектный собеседник, не чуждый красноречия и пышной фразы, как и подбаивает адвокату, Соколов сумел собрать вокруг себя немало литераторов, известных и малоизвестных. Среди участников трех выпусков альманаха, вышедших в 1903—1905 годах, были Брюсов, Бальмонт, Сологуб. Но рядом с ними мы видим и более чем посредственных символистов первого призыва, вроде Александра Курсинского или Александра Ланга-Миропольского (Брюсов лично прятельствовал с ними, но на страницы редактируемых им изданий с известного момента не допускал; Ланг, впрочем, немного писал в «Весках» по вопросам спиритизма), и множество «талантливой молодежи». Причем молодые были очень разного уровня: от Блока, Белого, Волошина до «перекабачившегося» (по выражению Андрея Белого) Александра Рославлева (того самого, чьи эпигонские стихи впоследствии стали поводом для известной статьи Корнея Чуковского «Третий сорт»), или Виктора Стражева, бывшего гимназического учителя Ходасевича, или Ефима Янтарева (Бернштейна), вполне успешного газетного журналиста и микроскопического стихотворца-дилетанта. Свое место на страницах альманаха заняли, конечно, и произведения самого издателя, а также проза его супруги Нины Петровской, сыгравшей важную роль в жизни Брюсова, а косвенно — и Ходасевича.

Некоторые из участников альманаха, малозначительные литературно, были примечательны как личности. Например, Виктор Лазаревич Поляков, молодой человек из знаменитой банковской семьи¹, покончивший с собой в 1906 году, чьи немногочисленные сохранившиеся стихи и эссе свидетельствуют о ранней зрелости — не столько собственно поэтической, сколько интеллектуальной. Или Александр Койранский, один из трех братьев, сыновей еврея-купца, торговца писчебумажным товаром, которые, если верить язвительному перу Андрея

¹ Поляковых, банкиров иудейского вероисповедания, не следует путать с Поляковыми — православными текстильщиками, из которых происходил хозяин «Весов».

Белого, «юркали всюду с несносным софизмом под Брюсова, с явной подделкой под эрудицию Брюсова»¹. Александр Арнольдович был самым ярким из них. По описанию поэта Бориса Садовского, «маленький, остренький, старообразный... Койранский в одно и то же время мыслитель, поэт, живописец, музыкант и театральные рецензент. На всех выставках и первых представлениях можно видеть рыжую бороду и пенсне, слышать отчетливые резкие суждения»². Можно представить себе, что «юркий» и самоуверенный Койранский давал тем же Белому и Садовскому повод для антисемитски окрашенных обобщений. Но если поэтом и прозаиком он был и в самом деле весьма заурядным, то как искусствовед и театровед сделал немало и в России, и, позднее, за границей. Множество выдающихся актеров — от Василия Качалова до Пола Робсона — ценили его мнение и пользовались его советами. Ходасевич пересекался с ним и в Москве (Койранский снимал комнату вместе с Александром Брюсовым), и в эмиграции.

В числе поэтов, чьи стихи появились в альманахах «Грифа», был и Одинокий — Александр Тиняков, будущий *enfant terrible* Серебряного века, прославившийся своими демонстративно-циническими житейско-литературными выходками и столь же скандальными лирическими излияниями. С этим человеком Ходасевича судьба впоследствии будет сталкивать постоянно. Впрочем, в грифовские дни Тиняков, сын «выбившегося в люди» орловского кулака, никого еще не эпатировал — напротив, изо всех сил старался быть респектабельным, причем в респектабельности своей (в отличие от будущего цинизма) был на редкость неуклюж и зауряден. Ходасевич описывает молодого Тинякова так:

«Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. Однако если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. <...>

Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. <...>
Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных,

¹ Белый А. Начало века. С. 230.

² РГАЛИ. Ф. 646. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 12 (цит. по: Русские писатели: 1800—1917. Биографический словарь. М., 1994. Т. 3: К-М. С. 12).

относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота. Чувствовалось, что собственные стихи нелегко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях — и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже»¹.

Писал молодой Тиняков «под Брюсова». Мэтра он обожал (Ходасевич вспоминает об эпизоде, когда нетрезвый Тиняков узрел в окне «Валерия Яковлевича, идущего по водам»). Но в брюсовской свите и брюсовских изданиях ему места не было. А в «Гриф» — было.

Однако при всей своей — сравнительно с Брюсовым и Сергеем Поляковым — «неразборчивости» Соколов-Кречетов оказался в иных случаях прозорливее своих конкурентов. Десять лет спустя, в 1913 году, он имел право написать в предисловии к юбилейному сборнику издательства: «“Гриф” счастлив сознанием, что он — нередко первым, нередко одним из первых издавал отдельными книгами и печатал в своих Альманахах произведения многих из тех писателей, которые теперь занимают определенное и почетное положение в русской литературе».

Именно «Гриф» выпустил две, возможно, самые значительные книги русского символизма — «Стихи о Прекрасной Даме» и «Кипарисовый ларец», в то время как сам Брюсов далеко не сразу понял и оценил их авторов, Блока и Анненского. В некрологе Кречетову Ходасевич поминает это как главную его заслугу. И все же он вынужден признать: «“Гриф” не суждено было стать колыбелью символизма, то есть сделаться центром, из которого развивалось бы новое течение модернизма. Это произошло по причине, которую нетрудно было предвидеть: Сергей Кречетов обладал большими организаторскими способностями, но ни как поэт, ни как теоретик он, разумеется, ни в малейшей степени не мог соперничать с Брюсовым. При самой горячей любви к поэзии, он все-таки был дилетантом»².

Отношения между «Грифом» и «Скорпионом», первоначально мирные, постепенно перешли в стадию открытого соперничества. Особенно оно обострилось после того, как Соколов, чьи «владимирские» деньги, видимо, подошли к концу, начал находить спонсоров (по всем свидетельствам, он был в этом

¹ Ходасевич В. Неудачники // Ходасевич В. Колеблемый тренажник / Сост. и подгот. текста В. Г. Перельмутера, коммент. Е. М. Бенья, под общ. ред. Н. А. Богомолова. М., 1991. С. 442—443.

² Ходасевич В. Памяти Сергея Кречетова // СС-4. Т. 4. С. 307.

весьма искусен) и основывать — один за другим — новые литературные журналы. В 1905 году он возглавляет литературный отдел эфемерного журнала «Искусство», издаваемого художником и критиком Николаем Яковлевичем Тароватым. В следующем году Соколов фактически занял место редактора куда более богатого и амбициозного издания, а именно журнала «Золотое руно», учрежденного магнатом Николаем Павловичем Рябушинским, представителем династии текстильных фабрикантов, живописцем и литератором-дилетантом. Ходасевич так описывает этого колоритного человека в очерке «О меценатах»:

«Он чудачил, переходя от “увлечения” к “увлечению”. Тут все было: и путешествия по каким-то экзотическим странам, и постройка фантастических особняков, и лошади, и женщины всех национальностей и цветов, и классическое купание этих женщин в ресторанных аквариумах, и не менее классическое битье посуды, и собирание картин, и все вообще, чему полагается быть в таких случаях. Поражать, изумлять, быть предметом правдивых и неправдивых рассказней было истинной его манерой. На худой конец, когда воображение ослабевало, он готов был поражать окружающих, появляясь в костюме с какими-нибудь столь ослепительными крапинками и полосками, что от них начинало рябить в глазах. В случаях совсем уже крайних он отпускал бороду неслыханной красоты и шелковистости, и когда борода, завитая и умященная благовоениями, становилась уже одной из достопримечательностей города, когда уже ею гордились, когда ее чуть ли не показывали иностранцам наряду с Кремлем и Третьяковскою галереей, — он, как истинный Герострат, внезапно сбрасывал ее, к ужасу соотечественников»¹.

В отличие от скромного и культурного Сергея Полякова, Рябушинский следовал не столько советам друзей-литераторов, сколько собственным представлениям об изящном, отличавшимся порою купеческой аляповатостью и — как сказали бы ныне — налетом «гламурности». «Золотое руно» многие критиковали, в частности, за неуместную полиграфическую роскошь. Но постепенно журнал занял место одного из главных органов русского символизма, потеснив «Весы».

Правда, это произошло уже без Соколова, который в середине 1906 года порвал с Рябушинским. Ненадолго журнал возглавил Александр Курсинский, протеже Брюсова; при нем «Золотое руно» и «Весы» из конкурентов стали союзниками. Однако вскоре и Курсинский, оскорбленный пренебрежитель-

¹ Ходасевич В. О меценатах // СС-4. Т. 4. С. 330.

ным отношением Рябушинского, со скандалом ушел из журнала. С его уходом сотрудничество в «Руне» прекратили Брюсов и Белый. При третьем редакторе, Генрихе Тастевене, журнал опирался в основном на петербуржцев — Блока, Вячеслава Иванова, Сологуба, Кузмина.

Тем временем Соколов, на средства Владимира Линденбаума, одного из молодых поэтов, «открытых» «Грифом» (подражателя Бальмонта), затеял новый журнал — «Перевал», продолжавший линию альманахов «Грифа» (сочетание уже известных и еще молодых авторов, идейная и эстетическая широта, переходящая в эклектизм) и притом — в атмосфере еще не закончившейся революции — шеголявший левыми политическими симпатиями. По утверждению Ходасевича, Соколов довольно цинично использовал Линденбаума, пока тот — «славный, но не талантливый юноша» — не истратил полностью родительское наследство¹ и не уехал в провинцию. «Перевал» просуществовал всего год, но и он успел сыграть свою роль в истории русского символизма.

Все эти многочисленные издательские затеи, сопровождавшиеся неизбежными сварами и кознями, давали писателям-модернистам, прежде всего молодым, возможность выбора. Ходасевич, который был вхож в дом Соколова с 1902 года, воспользовался им так: как критик он в течение 1905 года (начиная с третьего номера) печатался в «Искусстве», в первой половине 1906-го — в «Золотом руне», а затем в «Перевале». Другими словами, он перемещался вслед за Соколовым — вплоть до разрыва с ним, произошедшего в 1909 году из-за каких-то денежных дел, связанных с переводами для издательства «Брокгауз». Как поэт, он дебютировал в третьем выпуске «Грифа» (1905), а затем публиковался в «Перевале» и разных случайных изданиях — как символистских (альманах «Корабли»), так и нейтральных (журнал «Образование»). Первая книга Ходасевича «Молодость» (1908) увидела свет именно под грифом «Грифа».

Из юношеских рецензий Ходасевича наиболее интересны две, посвященные книгам Бальмонта, и еще три отзыва на сборники издательства «Знание».

Для поколения, к которому принадлежал Ходасевич, имя Бальмонта было окружено ореолом. И пусть к 1905 году бальмонтовская поэзия уже начала терять даже те достоинства, которые у нее в самом деле были, — прежде всего свой капризно-экзотический лиризм, — молодым поклонникам по-прежнему

¹ По собственному свидетельству С. Соколова (письмо В. Ходасевичу от 10 июня 1907 года; РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 22), В. Линденбаум потратил на «Перевал» 22 тысячи рублей, из которых вернул не более семи тысяч.

казалось, что мэтр пишет все лучше и лучше: таков был гипноз славы. В рецензии на книгу «Литургия красоты» (Искусство. 1905. № 4—6) Ходасевич так характеризует новые бальмонтовские дерзания:

«Здесь нет уже отдельных звуков плача, отрывистых приступов большого отчаяния, нет восхитительной озаренности “восторгов и падений” — и снова печали, и снова грустной задумчивости. <...> Здесь все эти основные мотивы поэзии Бальмонта, раньше то приходившие, то вновь удалявшиеся, сливаются в изумительную по стройности симфонию»¹.

В письме Александру Брюсову от 26 июня 1905 года Ходасевич прямо признается, что полемизирует в этой рецензии с его старшим братом. В самом деле: Брюсов, рецензируя «Литургию красоты», отмечает, что «никогда преувеличенно опьяненные гимны Бальмонта и его несколько риторические проклятия не достигнут той художественной красоты, как его грустные признания и тихие жалобы». Ходасевич отвергает эти попытки «ограничить» любимого поэта. Он все еще восхищается Брюсовым, но Бальмонт, как стихийный лирик, соответствующий романтическому стереотипу, для него стоит на первом месте.

Год-другой спустя станет очевидно, что с поэзией Бальмонта происходит «что-то не то». Книги поэта, написанные по мотивам русского фольклора («Жар-птица» и др.), вызвали саркастическую реакцию его прежних «братьев», прежде всего Брюсова. Валерий Яковлевич вынес суровый и — надо признать — справедливый приговор: Бальмонт «сделал худшее, что можно сделать с народной поэзией: подправил, прикрасил ее согласно с требованиями своего вкуса»², нарядив Илью Муромца и других богатырей в «сюртук декадента». И именно Ходасевич (под псевдонимом Георгий Р-н) на страницах харьковской газеты «Южный край» (23 декабря 1907 года) встал на защиту Бальмонта — правда, защита эта очень своеобразна:

«Никогда Бальмонт не останавливался на половине пути, и быть не цельным, идти не до конца — было для него самым страшным. <...> Предположим, — Валерий Брюсов обратился бы, как Бальмонт, к народному русскому эпосу. Конечно, он решил бы свою задачу чисто литературно, — и мы бы получили ряд блестящих подделок, стилизаций, где собственное лицо Брюсова сказалось бы в выборе мотивов, в том, что именно более всего привлекло его внимание в подлинном народном творчестве.

¹ Ходасевич В. К. Д. Бальмонт. Литургия красоты: [Рецензия] // СС-2. Т. 2. С. 10.

² Брюсов В. Я. Новые сборники стихов // Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. С. 252.

Бальмонт поступил иначе. С чисто бальмонтовской внезапностью он решил: народ — солнечность, я — солнечность, народ — как я, и я, как народ, народ и я — величины одного порядка, одного наименования, и соединением, синтезом народного творчества и моего будет простое сложение — плюс. Стал складывать яблоки с апельсинами только потому, что и те и другие — круглые. И вот, пользуясь такой аргументацией и всего более боясь остановок на половине пути, он стал громоздить глыбу на глыбу, обломок на обломок, не сравнивая, не пригоняя друг к другу, а глыбы падали и падали, падая, разбивались, — и Бальмонт уже стоял среди груды камешков, рассыпавшихся вокруг него, — а он все больше неистовствовал, все строил и ронял. После “Злых чар”, где он еще как-то удерживался на ногах, — “Жар-птица”, где Бальмонт почти раздавлен непосильной тяжестью своего труда.

Подвиг Бальмонта не удался, но совершая его, он снова и снова, в который уже раз, сжег душу; совершая его, обрел опять новый мир, который мы никак не можем постигнуть, не можем вычислить его законов, мир, из которого слова еле долетают до нас».

Нетрудно заметить, что еще молодой, но уже совсем не юный Ходасевич (к двадцати одному году ему пришлось кое-что пережить и испытать) по-прежнему верен романтическому взгляду на мир. Способность «идти до конца», «сжигая душу... в который уже раз» (душа — многоцветная), выше культурного чутья, меры и вкуса. «Лучше стремиться, чем достигать»¹.

Как и многие молодые поэты своего поколения, Ходасевич еще не в состоянии верно оценить пропорции того или иного художественного или интеллектуального явления. Восторгаясь Бальмонтом, он строго отозвался о «Книге отражений» Анненского: «Быть может, статьи г. Анненского и были бы интересны лет 10—15 назад, а теперь они кажутся слишком запоздалыми. После незабываемых строк Д. С. Мережковского, например, заметки Анненского о Достоевском просто скучны и ненужны»².

При всем отвращении Ходасевича к «чинопочитанию» он не может до конца отвлечься от той негласной табели о рангах, которая существовала в символистской среде и согласно которой Анненский в 1906 году стоял гораздо ниже Бальмонта и Мережковского. Возможно, впрочем, что автор «Книги отражений» в эту табель и вовсе не входил: в глазах Ходасевича он всего лишь (при этой цитате трудно сдержать улыбку) «при-

¹ Ходасевич В. О последних книгах К. Бальмонта // СС-4. Т. 1. С. 379—380.

² СС-2. Т. 2. С. 21.

личный человек иного литературного лагеря»; приличный — ибо признает, хоть и с десятилетним опозданием, значительность Бальмонта.

А что происходит, когда разговор касается писателей, в самом деле принадлежащих иному, не модернистскому кругу?

Издательство «Знание» объединяло вокруг себя, главным образом, прозаиков-реалистов, как крупных (Горький, Бунин, Андреев, Куприн), так и менее значительных. Уровень поэзии в сборниках «Знания» был чрезвычайно низок — за исключением стихов Бунина. В глазах Брюсова и «Весов» реалисты были врагами и только врагами (притом что его вражда с Буниным — тяжелая, пронесенная через всю жизнь взаимная ненависть — возникла на руинах бывшей дружбы, а с Горьким ему пришлось вполне дружественно сотрудничать позднее, в пред- и послереволюционные годы). Но в грифовском кругу к реалистам относились более дружественно. В «Золотом руне» Бунин и Андреев были приглашены к сотрудничеству и приняли приглашение.

Интерес Ходасевича к авторам «Знания» важен потому, что с некоторыми из них его потом связывали тесные литературные отношения и даже дружба. Прежде всего это относится к Горькому.

Вот отзыв Ходасевича о горьковских «Детях солнца»: «Горький раньше знал только отвлеченных людей, если так можно сказать — беспочвенных. Теперь он поселил их на земле. Протасов, Елена, Вагин — ведь это прежние Сатины, такие свободные и могучие вне нашей атмосферы. Но здесь, на земле, темной, тяжелой, всевластной, где взрыхленные поля залиты потом и кровью, где так больно живется на острых, окровавленных ребрах городских камней, они стали бледными, вялыми, хилыми. Не неприспособленность к жизни виновата здесь, но отчужденность от нее. Насмешка в их словах: “Мы — дети солнца”. Горький увидел уже с ясностью, что “человеки”, низведенные на землю, еще слабее “бедных детей земли”, слабее потому, что они лишены всякой способности к активному утверждению своей личности. Сойдя на землю с новоприбывшими “детьми солнца”, Горький встретил ее аборигенов, живых людей, пусть истомленных, но, как Антей, близких матери-земле — Гее. Эта встреча была для него благотворной. Он полюбил новых знакомцев, полюбил, быть может, за муки, но еще больше за то, что нашел у дряхлых людей земли ту изумительную чуткость душ, которой нет и не было у солнечных младенцев»¹.

Легко заметить, что Ходасевич говорит о Горьком с теми же интонациями, что и о Бальмонте. Черта, проходящая между

¹ СС-2. Т. 2. С. 18.

«нашими» (модернистами) и «не нашими» (традиционалистами), для него все же преодолима, он чуток к различным эстетическим впечатлениям. Но разумеется, его внимание привлекают пока прежде всего модные авторы, кумиры эпохи. Его собственные вкусы еще не сформировались. И все же то, что именно привлекло его в горьковской пьесе, очень показательно: это спор между свободой «солнечных младенцев» и суровой правдой земных «дряхлых» людей.

Среди писателей более молодого поколения «чистых» реалистов почти не было. Те сверстники Ходасевича, которые писали прозу и в творческом отношении следовали за Чеховым, Бунинным или Андреевым, охотно вели дружбу с «декадентами», принимали многие их идеи и старались печататься не только в традиционалистских, но и в символистских изданиях. К числу таких пограничных писателей принадлежал Борис Константинович Зайцев, впоследствии один из наиболее признанных прозаиков предреволюционной России, а потом — эмиграции, один из тех людей, которым суждено было постоянно, на протяжении десятилетий, соприкасаться с обочиной (но только обочиной) жизни Ходасевича. Зайцев снимал квартиру вместе со Стражевым, и они устраивали литературные вечера с участием как «декадентов» (перевальского круга), так и «знальцев»¹. В одном из них, по крайней мере, Ходасевич участвовал в декабре 1906 года. Подробное описание его содержится в воспоминаниях Веры Муромцевой-Буниной, жены Бунина:

«Взбежав на четвертый этаж, я, чтобы перевести дух, оставилась у приотворенной двери. <...>

Доносилось невнятное чтение Вересаева.

Досадно: опоздала, придется простоять в дверях кабинета до окончания чтения.

В кабинете хозяина было тесно: сидели на тахте, на стульях, на письменном столе, даже на полу. <...>

После Вересаева быстро занял его место Бунин, и я услышала опять его хорошо поставленный голос. <...>

Затем вразвалку, не спеша, подошел к столику Борис Зайцев, сел и, медленно развернув рукопись, стал читать своим тихим, но ясным голосом только что им написанный рассказ “Полковник Розов”. <...>

Началось выступление более молодых поэтов. У каждого своя манера передавать свои “песни”. Кречетов пел их гром-

¹ Позднее, в 1907 году, Стражев и Зайцев затеяли издание газеты «Литературно-художественная неделя», со страниц которой бросили вызов «борцам “первого призыва” символизма». Вышло всего четыре номера, но этого вполне хватило для полномасштабного литературного скандала, участником которого был Андрей Белый.

ким басом, Муни был едва слышен, Стражев читал как-то презрительно, Ходасевич, самый юный... закончил этот литературный вечер. Читал он немного нараспев, с придыханием, запомнился эпиграф Сологуба к одному из стихов: “Елкич с шишкой на носу”. Мне в его стихах и придыханиях почудилось обещание»¹.

3

Именно в эти годы, годы начала литературной деятельности, в жизнь Ходасевича вошло несколько человек, которым суждено было сыграть в ней свою роль, более или менее существенную. Трудно сказать, была ли в жизни Владислава Фелициановича «главная» любовь. Но главная дружба была несомненно. Под знаком этой дружбы прошла его юность, память о ней он сохранил до конца дней.

Через десять лет после смерти своего друга, в очерке, позднее вошедшем в «Некрополь», Ходасевич так напишет о нем:

«Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятисот десятых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли “фон” тогдашних событий. Однако ж по личным свойствам он не был “человеком толпы”, отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть “типом”. Он был *симптом*, а не *тип*»².

«Вся Москва» знала этого тощего, но ширококостного, рослого молодого человека под именем *Муни*. Это был псевдоним — и литературный, и житейский, восходящий на самом деле не к Сакья-Муни (что естественно предположить в контексте Серебряного века), а к еврейскому уменьшительному имени. Самуил Викторович Киссин родился в октябре 1885 года в Рыбинске, в семье купца 2-й гильдии. Как и Владислав Ходасевич, он был младшим ребенком в многодетной семье, как и он, вырос в женском окружении. Но вместо Москвы, с ее театром, коронацией, дачными балами, — провинциальный Рыбинск. Почтенная мешанская среда безо всяких художественных интересов: ни тебе воспоминаний о Бруни, ни «Пана Тадеуша». Не костел, а синагога — и все ограничения, связанные с иудейским вероисповеданием в Российской империи. Таким, по всей вероятности, было детство Самуила Киссина.

В Москву Киссин приехал неполных восемнадцати лет, учиться — на том же юридическом факультете, что и Ходасе-

¹ Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989. С. 262.

² Ходасевич В. Муни // СС-4. Т. 4. С. 68.

вич. Там они и познакомились в конце 1905 года. Возможно, знакомство произошло в университетских аудиториях, в те короткие промежутки, когда там проходили занятия, а возможно, у Брюсова-младшего и Койранского.

«Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно “открыли” друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною»¹.

Киссин жил в мебелирашке вместе с другими студентами. Родители посылали ему 25 рублей в месяц — с голоду не умрешь, но и не разгуляешься. В Москве он сразу же попал в атмосферу «нового искусства», с одной стороны, революционных треволнений — с другой. Осенью 1905-го Киссин (в отличие от аполитичного Ходасевича) ходит на демонстрации и удостоивается удара казачьей шашкой плашмя, а зимой вместе с Койранским и другими студентами пытается издавать юмористическую, с «красным» оттенком, газетку «Студенческие известия» (вышел всего один номер). Но это было лишь обочинной его жизни. В центре же были литературные впечатления и переживания. Впрочем, в тогдашней Москве «декаданс» (который уже так почти не называли) все еще был не просто литературной школой, а образом жизни, способом мыслить и чувствовать.

Ходасевич так описывает этот опыт — общий для них:

«Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначимым, очертания предметов казались шаткими. Действительность, расплываясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире — и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было “то, да не то”. Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий.

Таким образом, жили мы в двух мирах. Но не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, — мы только томились в темных и смутных предчувствиях. <...>

¹ Ходасевич В. Муни. С. 68.

Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало»¹.

Там жили не только Ходасевич и Киссин — то же могли бы сказать о себе десятки, а может быть, и сотни их сверстников. Их переживания были слишком характерны — характерны настолько, что иные из них стали частью гротескного, иронически остраненного образа эпохи, созданного людьми, которые были лишь несколькими годами моложе и в эту позднесимволистскую эпоху «не успели» — скорее на счастье свое, чем на горе.

Еще одна цитата из очерка «Муни»:

«Мы с Муни сидели в ресторане “Прага”, зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубашке и в белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т. д. Казалось, это стоит один человек — перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись:

— А вот и отражение пришло.

Мы стали следить. Стоящий спиной к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение — второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев, как мел. Потом успокоился и сказал:

— Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается»².

А вот цитата из рецензии Мандельштама на «Записки чудака» Андрея Белого:

«Славные традиции литературной эпохи, когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана “Прага”, воспринимался как мистическое явление, двойник, и порядочный

¹ Ходасевич В. Муни. С. 69—70.

² Там же. С. 70—71.

литератор стеснялся лечь спать, не накопив за день пяти или шести “ужасиков”»¹.

Создается впечатление, что Мандельштам пародирует рассказ Ходасевича, выворачивая его наизнанку: странная парочка половых-двойников на самом деле оказывается одним и тем же человеком, отраженным в зеркале, а мистический шок свидетелей — лишь проявление их неадекватности. Но текст Мандельштама написан тремя годами раньше! И это означает одно из двух: либо объект пародии — слышанный Мандельштамом устный рассказ Владислава Фелициановича, либо в ресторане «Прага» в 1900-е годы подобные потрясения переживали многие. Возможно, там и в самом деле были незаметные на вид зеркала. А может быть (и скорее всего), половых специально учили стоять и двигаться симметрично.

Молодой Киссин, как и молодой Ходасевич, не был уникален в своих переживаниях. И — в отличие от Ходасевича — он, скорее всего, не обладал уникальным поэтическим даром. По крайней мере к тридцати годам Муни оставался автором второго или даже третьего ряда. Живые и яркие строки у него есть, но в том поколении такие строки были у очень многих, даже у Александра Брюсова, если на то пошло. Стихи Муни кажутся «тенью» стихов раннего Ходасевича: очень близкие настроения, образы, интонация, всё — в заметно ослабленном, недо-вплощенном виде, но притом с большим надрывом, с более внятным ощущением внутреннего неблагополучия. Одно из самых удачных его стихотворений обрело новую жизнь благодаря Ходасевичу, который в 1930-е годы использовал его заключительные строки в своем рассказе-мистификации, приписав их вымышленному поэту начала XIX века Василию Травникову:

Шмелей медовый голос
Гудит, гудит в полях.
О сердце! Ты боролось.
Теперь ты спелый колос.
Зовет тебя земля.

Вдоль по дороге пыльной
Крутится зыбкий прах.
О сердце, колос пыльный,
К земле, костью обильной,
Ты клонишься, дремля.

Это был последний, скрытый привет давно ушедшему другу юности.

¹ Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 292.

Чем же замечателен Муни, почему именно он, а не Брюсов-младший, не Малицкий, не Ярхо стал ближайшим к Ходасевичу человеком на целое десятилетие, почему память о нем преследовала поэта до самого конца? Интуитивно это понятно, а словами высказывается с трудом. Значительность Самуила Киссина, может быть, в первую очередь проявлялась в его беспощадном саркастическом юморе, направленном на всю реальность, на все мироздание в целом, мироздание, в котором он не находил себе места, в котором видел лишь «докучную смену однообразных и грубых снов». Именно в этом всеразрушающем сарказме он теоретически мог бы найти себя как писатель. По крайней мере маленькая пьеса «Мечь негра», предвещающая театр абсурда, — едва ли не самое интересное произведение в его небольшом наследии. Каким-то образом в этом ощущении собственной жизненной «недовоплощенности» («Меня, в сущности, нет, как ты знаешь», — говорил он Владиславу) и порожденном им мрачно-насмешливом неприятии мира сказывалось и еврейское отщепенчество Киссина. И все это оказывало сильнейшее влияние на Ходасевича. Киссин в их дружбе, похоже, первенствовал, по крайней мере, до поры. А дружба была в иные дни неразлучной.

«Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще — просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полунамека, другие не понимали нас вовсе — и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке»¹.

4

Чуть раньше началась другая молодая дружба, которую Ходасевич впоследствии помянул очерком в «Некрополе». Это была дружба с женщиной — Ниной Ивановной Петровской, женой Сергея Кречетова. Если с Киссиным Ходасевича сближали во многом (и, может быть, в первую очередь) общие литературные искания, то основа его отношений с Петровской была иной, хотя и она была писательницей и в письмах Ходасевичу время от времени касалась творческих вопросов. И если «нескончаемые беседы» с Муни вводили его из профанной посюсторонней реальности в мир, пропитанный туманными символами и странными соответствиями, то общаясь с Ниной

¹ Ходасевич В. Муни // СС-4. Т. 4. С. 74.

Ивановной, он, скорее, погружался в мучительный и безвыходный лабиринт чужих человеческих отношений, против своей воли оказываясь в роли свидетеля, соучастника и судьбы.

Ходасевич познакомился с ней, как и с ее мужем, в 1902 году, через Гофмана. (Собственно, Петровская и была причиной брюсовской опалы, постигшей «ликтора».) Войдя в круг хозяйина «Грифа», он постепенно стал приятелем и конфидентом его жены. Он оказался непосредственным свидетелем двух роковых романов Нины — с Андреем Белым и с Брюсовым, романов, оставивших заметный след в литературе. (Еще один роман, с Бальмонтом, имел место чуть раньше.)

Отношения Белого и Нины Петровской начинались как экзальтированно-одухотворенная дружба, довольно быстро перешедшая, однако, в нечто другое. Сам молодой писатель так описывал ситуацию в своем дневнике: «Вместо грез о мистери, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того — я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви я к ней не чувствовал; мне было ясно, что все, произошедшее между нами, есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Петровской я рассматриваю как падение... Я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами — Христос; и она — соглашалась; и — потом, вдруг — “такое”»¹. Этот монолог настолько «внутри эпохи», что шаг в сторону — и серьезнейшие чувства начинают выглядеть забавно. Так, уже в 1920-е годы символистские «ужасики» и мистические радения смешили Манделштама, а уж он-то смотрел на них с очень небольшого расстояния. Но это еще и очень в духе Андрея Белого, чьи отношения с противоположным полом Ходасевич описывает так: «Он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратное: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед «падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, — но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили»².

¹ Цит. по: Демин В. Андрей Белый. М., 2007 (Серия «ЖЗЛ»). С. 74.

² Ходасевич В. Андрей Белый // СС-4. Т. 4. С. 46—47.

Отношениями с Петровской вдохновлено стихотворение Белого «Преданье», посвященное... ее мужу и начинавшееся словами: «Он был пророк. Она — сибилла в храме». Пророк и сибилла достигли берегов Стикса — вслед за чем *он* поплыл по его волнам на челне (в не очень ясном направлении), а *она* «со-старилась одна» «под сенью храма». И вот прошли века, и, наконец,

Забыл алтарь. И заплетен
Уж виноградом дикий мрамор.
И вот навеки иссечен
Старинный лозунг «Sanctus amor»¹.

Это написано в 1903 году. Спустя четыре года вышла книга рассказов Петровской, названная именно так — «Sanctus amor».

В реальности «пророк» после своего «падения» спешно уехал в Петербург, где вернулся к своим жреческим обязанностям у алтаря Прекрасной Дамы, предвестницы Жены, Облеченной в Солнце, — то есть, разумеется, Любови Дмитриевны Менделеевой-Блок, несчастной молодой женщины, решительно ничем, включая внешний облик, не соответствовавшей навязанной ей роли. Это «жречество», как известно, тоже едва не закончилось «падением».

Что же до Нины Ивановны, то к ней, по словам Ходасевича, «ходили... шепелявые, колченогие мистики, — укорять, обличать, оскорблять: “Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны”»². Именно это — по крайней мере на взгляд Владислава Фелициановича — и спровоцировало интерес к ней Брюсова. Респектабельного буржуазного литератора, принявшего на себя функции «черного мага», привлек «демонический ореол» соперницы Прекрасной Дамы... а она хотела отомстить Белому. Ходасевич был не только свидетелем, но и невольным участником некоторых эпизодов этой мести:

«В начале 1906 года, когда начиналось “Золотое руно”, однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех.

Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я взглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть но-

¹ Святая любовь (лат.).

² Ходасевич В. Конец Ренаты // Там же. С. 13.

вые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

— Борис Николаевич, я прочту подражание вам»¹.

Брюсов прочитал язвительную пародию на «Преданье», сюжет которого он перелицевал. «Сибилла», не дождавшись бросившего ее «пророка», делит ложе с «верховным жрецом» (намек на самого Брюсова).

«Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

— Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

— Тем хуже для вас!»²

Так или иначе, именно Брюсову, а не Белому суждено было стать главной любовью Ниной жизни. И в его судьбе Нине Петровской довелось сыграть роковую роль. Именно Брюсова она отчаянно пыталась вернуть, когда в их отношениях наметилась явственная трещина. Именно ему мстила, заводя жалкие романы со случайными людьми, «прохожими». (Одним из этих «прохожих» был писатель Сергей Ауслендер, племянник и литературный протеже Михаила Кузмина, которому Нина — опять-таки назло Брюсову! — посвятила свою единственную книгу.) Именно в него стреляла в упор из браунинга — на лекции Андрея Белого! — 14 апреля 1907 года. Именно его она, сама морфинистка, заразила этим пороком, отчасти — со злости, отчасти — чтобы удержать рядом с собой. И именно о нем она с нежностью («всё простив») вспоминала в последние годы своей беспримерно несчастной и нелепой жизни.

Но пока Нина не «простила», Ходасевич был на ее стороне. «Знайте, что я люблю Вас больше, чем всех других людей вместе»³ — эти слова, конечно, несут отблеск все той же истерич-

¹ Ходасевич В. Андрей Белый. С. 47.

² Там же. С. 47—48.

³ Цит. по: Валерий Брюсов, Нина Петровская. Переписка: 1904—1913 / Вступ. статьи, подгот. текста и коммент. Н. А. Богомоллова и А. В. Ларрова. М., 2004. С. 23.

ной экзальтации, которой Нина заражала всех общавшихся с ней, но какую-то реальность они отражают. Правда, это не мешало ему временами отпускать в адрес Нины и ее знаменитого любовника довольно язвительные остроты (а уж чем-чем, а остроумием, не всегда добрым, Ходасевич был славен всю жизнь). Так, как будто именно с его легкой руки после появления знаменитого стихотворения Брюсова «Антоний» (1905), заканчивающегося звучными строками:

О, дай мне тот же жребий вынуть
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой двинуть
Вслед за египетской кормой! —

«египетской кормой» (именно так, а не, скажем, Клеопатрой) «декаденты» стали за глаза называть Нину Ивановну.

Даже в самые горячечные символистские годы Ходасевич умел видеть оборотную, смешную сторону серьезных чувств и происшествий. И все же привязанность к Нине, в сочетании с бунтом против авторитарного Брюсова, делала его уже в это время свидетелем небеспристрастным. С годами Нина вызывала у Ходасевича все большую жалость, а Брюсов — все большее раздражение. Поэтому то, что написано об этой истории в «Некрополе», нуждается в корректировке.

Есть ведь и версия самого Брюсова. В этом качестве можно рассматривать его исторический роман «Огненный ангел» (1907), в героях которого — прекрасной, но полубезумной, охваченной видениями Ренате, ландскнехте Рупрехте и графе Генрихе фон Оттергейме — легко угадываются Нина, Брюсов и Андрей Белый. В контексте Германии XVI века герои кажутся привлекательнее и благороднее, чем в декадентской Москве, да и логика их действий более внятна. Но и реальные свидетельства своих отношений с Петровской — а именно, любовную переписку — Валерий Яковлевич пожелал сохранить для потомков (вопреки воле Нины). По распоряжению Брюсова письма должны были увидеть свет через десять лет после смерти того из корреспондентов, кто умрет позже; на деле им пришлось ждать 76 лет. Если Брюсов рассчитывал, что эти письма станут для него «оправдательным документом», он был отчасти прав. По крайней мере, и Рупрехт в романе, и автор «Огненного ангела» в письмах (и в мемуарах Петровской) выглядят куда человечнее, чем в «Некрополе» и брюсовских стихах. С Ниной несгибаемый Валерий позволял себе быть «маленьким», слабым. Его поступки уместно в данном случае оценивать не по той мистической шкале, которой мерили мир символисты, а по простой, житейской.

А с житейской точки зрения вся коллизия выглядит иначе. В конечном итоге это была связь женатого мужчины и замужней женщины, без всяких взаимных обязательств. Да и какими могли быть эти обязательства со стороны Брюсова? В книге Петровской среди вялых, жеманных и абстрактных рассказов о роковых страстях есть одно по-настоящему интересное место, где ее героиня, которой предложили руку и сердце, рассказывает своему возлюбленному их будущую безотрадную жизнь в браке: «У нас несколько больших комнат и общая спальня. Ночью, привыкшие друг к другу, мы раздеваемся равнодушно и бесстыдно»¹. Дальше — рождение детей, взаимное отчуждение, измены. Это — в разгар романа с Валерием. Но и почти 20 лет спустя, именно в связи с Брюсовым, она напишет: «Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассвете усталого, сонного, чужого. Этот терновый венок приходится на долю жен поэтов»². Что же мог предложить ей Валерий Яковлевич — не этот же «терновый венок»? Пожалуй, если и была в этой истории невинная жертва, то это — преданная и всепрощающая жена Брюсова Иоанна (или Жанна, как называл ее Валерий Яковлевич) Матвеевна. Но и ее участь, в конце концов, стала возбуждать в Нине Ивановне зависть: «Ах, Валерий, да разве при долгих многолетних связях говорят о своих переменах друг к другу! Нет, они, любя страстно, потом *вместе* и *одновременно* меняются. Их чувства вступают в иные фазы, может быть, не менее прекрасные, чем пережитые. Так любили друг друга мой отец и мать. И так любишь ты свою жену. Ведь не влюблен же ты после 15-и лет брака? Нет, ты не влюблен — а *любишь*»³. Это написано уже в 1913 году, когда Нина Петровская после многих несчастий (и перед несчастьями новыми) готова была отречься от того идеала мгновенной испепеляющей страсти, который вдохновлял ее в молодости.

Ходасевич связывал судьбу Нины с общими настроениями эпохи, видел в ней (как и в Гофмане, и в Муни) жертву символистского проекта «жизнестроительства»:

«Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме “саморазвития”. <...> От каждо-

¹ Петровская Н. Sanctus amor. М.: Гриф, 1908. С. 67.

² Жизнь и смерть Нины Петровской / Публикация Э. Гарэтто // Минувшее. Париж, 1989. № 8. С. 60.

³ Цит. по: Валерий Брюсов, Нина Петровская. Переписка: 1904—1913. С. 635—636.

го, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрерывное горение, движение — безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью — идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь *полнота одержимости*.

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все “переживания” почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. “Личность” становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции, — “миги”, по выражению Брюсова: “Берем мы миги, их губя”¹.

Но если личность Муни в самом деле очень тесно связана с контекстом эпохи и вне этого контекста плохо поддается пониманию, то Петровская кажется фигурой более простой и универсальной. Женщины такого типа — неизменный атрибут литературно-художественной среды во все времена. Другое дело, что в 1900-е годы их характерные черты проявлялись ярче, чем, к примеру, в 1920-е. Замечательную, яркую, хотя и пристрастную характеристику дал Нине Ивановне один из ее бывших любовников — Андрей Белый: «Она переживала все, что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и в абракадабру. Она была и добра, и чутка, и сердечна; но она была слишком отзывчива: и до преступности восприимчива; выходя из себя на чужих ей словах, она делалась кем угодно, в зависимости от того, что в ней вспыхивало; переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов, во время которых она готова была схватить револьвер и стрелять в себя, в других, мстя за фикцию ей нанесенного оскорбления; в припадке ужаснейшей истерии она наговаривала на себя, на других небылицы; по природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка; и, возводя поклеп на себя и другого, она искренно верила в ложь; и выдавала в искаженном виде своему очередному confidentу слова всех предшествующих confidentов. Она портила отношения; доводила людей до вызова их друг другом на дуэль; и ее же спасали пересоренные ею друзья, ставшие врагами. С ней годами возились, ее спасая: я, Брюсов, сколькокие прочие: Батюшков, Соловьев, Эллис, Петровский, Ходасевич, Муни, газетный деятель Я. — бедная, бедная, — ее спасти уже нельзя

¹ Ходасевич В. Конец Ренаты // СС-4. Т. 4. С. 10.

было; не спасатели ей были нужны, а хороший психиатр»¹. Уж спасали «Ренату» Брюсов с Белым, или губили, или спасали, сперва погубив, — не так важно. Она вполне успешно губила себя сама.

Возможно, как раз в общении с Ходасевичем Нина в меньшей степени проявляла патологические черты своей личности. В письмах к нему много томного самолюбования, кокетства, выпренности, истеричности — но все же не безумия. Вот характерный образец:

«Целые дни дичаю и молчу. “По вечерам, по вечерам” приходят иногда люди, но я радуюсь только *Одному*. У меня душа трижды верная. С теми, другими, приходится говорить на иностранном языке. Трудно, утомительно и скучно. Мне все попадают не те души, которых я жду. Есть весенние, я их нюхаю, как те цветочки на тоненьких ножках. И много других душ есть на свете, но меня не тешат контрасты, я ищу подобия. У нас с Вами есть какое-то печальное сходство» (письмо от 11 мая 1907 года)².

В простоте, без томной экзальтации Нина Петровская не могла сказать ни слова: даже передавая привет родителям корреспондента, она прибавляла: «Старость что, как юность!» Но Ходасевич, уж конечно, не так много значил для Нины, чтобы стрелять в него из браунинга. Для нее он был одним из окружающих ее «пажей», «мальчиков», может быть, более верным и заботливым, чем остальные. При этом он время от времени оказывался жертвой приступов ее безумного раздражения, резких перемен ее настроения. «Владька» в письмах к общим знакомым именовался «предателем», «хамом», «несчастной, нищей и отвратительной душой»³, «отвратительной накипью литературы и жизни»⁴. А через какое-то время нежно-дружеская переписка с ним как ни в чем не бывало возобновлялась.

В период «Золотого руна» и «Перевала» Ходасевич, Муни, Андрей Белый и Нина Петровская были постоянными спутниками в скитаниях по московским бульварам и кофейням. Белый так описывает эти прогулки: «Муни, клокастый, с густыми бровями, отчаянно впяливал широкополую шляпу, ломая поля, и запахивался в черный плащ, обвисающий, точно с коня гробовая попона, с громадною трубкой в зубах, с крючкова-тою палкой, способной и камень разбить, пята вверх бороди-

¹ *Белый А.* Начало века. С. 305.

² Из переписки Н. И. Петровской / Публ. Р. Л. Щербакова и Е. А. Муравьевой // *Минувшее*. М.; СПб., 1993. № 14. С. 377—378.

³ Цит. по: *Киссин С.* Легкое бремя: Стихи, проза, переписка с В. Ходасевичем. М., 1999. С. 289.

⁴ Из переписки Н. И. Петровской. С. 376.

шу, нас вел на бульвар, как пастух свое стадо; порою он сметывал шляпу, став, как пораженный громами небесными; и, угрожая рукой небесам, он под небо бросал свои мрачные истины; все проходящие — вздрагивали, когда он извещал, например, что висящее небо над нами есть бездна, подобная гробу; в ней жизнь невозможна; просил он стихии скорей занавесить ее облаками и нас облить ливнем (прохожие радовались: ясен день)¹. Сам же молодой Ходасевич, в описании Белого, выглядел так: «Жалкий, зеленый², больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи, мне казался порою юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем; вздвигаясь, расчесавши пробороком черные волосы, серый пиджак затянувши на гордую грудку, года удивлял нас уменьем кушать и себя и других, в этом качестве напоминая скорлупчатого скорпионика³. Ангелоподобный голубоглазый Белый, мрачный еврейский пророк в широкополой шляпе и черном плаще, «одержимая» женщина и зеленый «скорпионик», похожий на вставшего из склепа мертвеца, — ну и компания!

Последующие события в жизни Нины были таковы: в 1907 году ее брак с Соколовым был официально расторгнут. Измены супруги особо не волновали Грифа, они мирно, «как друзья», жили в одной квартире, но потом Сергей Алексеевич влюбился в актрису Лидию Рындину (однофамилицу первой жены Ходасевича) и пожелал с ней обвенчаться. Дальше — пьянство, морфий, чахотка. В 1911 году Брюсов, после прощальной поездки в Лифляндию, которой Нина добилась от него из последних сил, отправляет свою любовницу в Италию — лечиться. На вокзале ее провожают двое: Брюсов и Ходасевич. (После отправления поезда между мужчинами состоялся серьезный и искренний разговор; по собственному признанию, Ходасевич «многое понял» и стал относиться к Брюсову теплее — что не помешало ему годы спустя в «Некрополе» с гротескными, отдающими Достоевским подробностями описать этот день.)

Дальнейшее было еще ужаснее. Нина так и осталась в Италии — без друзей и без средств. «Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пиала. Порой доходила до очень глубоких степеней падения»⁴.

В 1922 году несчастная женщина переехала в Берлин, ставший главным центром русской эмиграции. Оттуда пять лет

¹ Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 222.

² «Мой зеленый друг» — так называет Ходасевича Петровская в письмах.

³ Белый А. Между двух революций. С. 222.

⁴ Ходасевич В. Конец Ренаты // СС-4. Т. 4. С. 16.

спустя — в Париж. Жалкими заработками и подачками знакомых она содержала не только себя, но и сестру-калеку Надю. После ее смерти она покончила с собой. В последние годы жизни ей не раз приходилось снова встречаться с Ходасевичем.

Уже незадолго до конца в письме к одной из знакомых она призналась в страшной тайне: в молодости она получила вполне денежную, но чрезвычайно прозаическую профессию — зубного врача. Вернуться к этому занятию роковая женщина символистской Москвы уже не могла бы, но освоить ремесло зубного техника... Увы, и это, видимо, было недостижимой мечтой: Петровская давно стала тяжелой алкоголичкой и наркоманкой.

Одна эта история многое говорит о психологии людей 1900-х.

5

В то время, когда Ходасевич оказался свидетелем чужих страстей, в его собственной жизни происходили события драматические — и во многом определившие его дальнейшую судьбу. Причем об этих событиях мы знаем несравнимо меньше, чем о любовном треугольнике Брюсов — Белый — Петровская.

Факты таковы: в 1904 году восемнадцатилетний Владислав Ходасевич познакомился с семнадцатилетней Мариной Рындиной, девушкой из знатной (род поминается с XVI века) и богатой семьи. Зимой этого года он живет в имении ее дяди И. А. Торлецкого — Лидино, Новгородской губернии. Лидино (Заимка) прежде принадлежало Федору Матюшкину, моряку, лицейскому товарищу Пушкина. С этим фактом были связаны местные легенды: «Был в Лидине кабинет, обставленный старинной мебелью красного дерева, снятой Матюшкиным с какого-то корабля. Был даже огромный буфет, в котором посуда не ставилась, а особым образом подвешивалась — на случай качки. Само собой разумеется, легенда гласила, что Пушкин часто гостил в Лидине у Матюшкина, особенно любил сидеть вот тут, на этом кресле, и т. д. Одна беда: именье-то Матюшкину принадлежало, но не только Пушкин, а и сам владелец почему-то никогда в нем не жил»¹.

Семнадцатого апреля 1905 года совсем юные (и по нынешним, и по тогдашним меркам) жених и невеста вступили в законный брак.

¹ Ходасевич В. Обывательский Пушкин // Возрождение. 1927. № 734. 6 июля.

Документы, относящиеся к первой женитьбе Ходасевича, содержатся в студенческом деле поэта¹. Кроме обязательного для всех брачующихся студентов свидетельства о политической и нравственной благонадежности невесты, требовалось согласие родителей: ведь молодые были несовершеннолетними. Требовалось также, чтобы кто-то из родственников дал обязательство финансово содержать студента до окончания курса. Такое обязательство в отношении Владислава дал его старший брат Михаил Фелицианович.

Из этих документов мы узнаем один немаловажный факт биографии Марины. Она везде именуется *усыновленной* дочерью полковника Эраста Ивановича Рындина. Мать нигде не упоминается. Однако законы об усыновлении, действовавшие в Российской империи, были противоречивы. Усыновленный получал фамилию усыновителя, но автоматически не наследовал ни званий, ни титула, ни имущества, и факт усыновления поминался во всех документах. Трудно сказать, какова была история Марины: может быть, Эраст Иванович и его жена усыновили сироту, а затем супруга Рындина умерла, и подросшая девочка осталась одна с отцом; а может быть, полковник пожелал дать свою фамилию падчерице — до или после смерти ее матери; или воспользовался институтом усыновления, чтобы обеспечить положение своей внебрачной дочери. Так или иначе, не вполне обычное общественное положение — в сочетании с огромным состоянием — могло оказать влияние на характер девушки.

Свадьба была пышной. Венчание проходило в церкви Румянцевского музея²; посаженным отцом жениха был Брюсов, шафером — Соколов. Таким образом, оба символистских издательства объединились на свадебной церемонии молодого поэта. Жених не упустил случая сострить по поводу двусмысленных отношений между участниками венчания:

Венчал Валерий Владислава, —
И Грифу слава дорога.
Но Владиславу — только слава,
А Грифу — слава и рога.

Эпиграмму эту сообщила потомкам Мариэтта Шагинян, приятельница Ходасевича в конце 1900-х, в то время молодая

¹ МГИА. Ф. 418. Оп. 318. Д. 1279. Л. 23—25.

² Поскольку новобрачный был католиком, закон предусматривал также венчание в костеле. Исключения допускались (например, если в городе нет католической церкви), но в данном случае, учитывая благочестие родителей Ходасевича, можно предположить, что повторное венчание имело место.

поэтесса, впоследствии — известная советская писательница, автор книг о семье Ульяновых и проч.¹

Самая пространная характеристика Марины Ходасевич принадлежит второй жене поэта, Анне Ивановне, и, разумеется, основана на его собственных рассказах:

«Марина была блондинка, высокого роста, красивая и большая причудница. Одна из ее причуд была манера одеваться только в платья белого или черного цвета. Она обожала животных и была хорошей наездницей. Владя рассказывал, что однажды, когда они ехали на рождественские каникулы в имение Марины, расположенное близ станции Бологое, она взяла с собой в купе следующих животных: собаку, кошку, обезьяну, ужа и попугая. Уж вообще был ручной, и Марина часто надевала его на шею вместо ожерелья. Однажды она взяла его в театр и, сидя в ложе, не заметила, как он переполз в соседнюю ложу и, конечно, наделал переполох, тем более что его приняли за змею. Владе из-за этого пришлось пережить неприятный момент.

Еще он рассказывал о таком случае: они летом жили в имении Марины. Она любила рано вставать и в одной рубашке (но с жемчужным ожерельем на шее) садилась на лошадь и носилась по полям и лесам. И вот однажды, когда Владя сидел с книгой в комнате, выходящей на открытую террасу, раздался чудовишный топот, и в комнату Марина ввела свою любимую лошадь. Владислав был потрясен видом лошади в комнате, а бедная лошадь пострадала, зашибив бабки, всходя на несколько ступеней лестницы террасы»².

Все остальные отзывы о Марине Эрастовне тоже сводятся к простой формуле — «эксцентричная красавица». «Бегают по аллеям, за ней 6 собак; пар из ушей, юбки на голову, щеки как самый свежий огурчик»³ — так полусхотливо описывает Нина Петровская времяпрепровождение Чижика (как она ее называла). Еще известно, что она увлеклась пением, разучивала оперные арии.

В самом начале 1905 года Ходасевич написал стихотворение, посвященное «Мариночке». Это очень слабенький, юношеский опыт, мало что говорящий об авторе, но кое-что важное — о лирической героине:

¹ Шагинян М. Человек и время // Шагинян М. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1986. Т. 1. С. 251; впервые: Новый мир. 1973. № 4.

² Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 393.

³ Из переписки Н. И. Петровской // Минувшее. М.; СПб., 1993. № 14. С. 373.

Я стройна и красива. Ты знаешь?
Как люблю я себя целовать!
Как люблю я, когда ты ласкаешь,
Обольщаться собой и мечтать!
.....

Милый, милый! Как странно красиво...
Я в свою красоту влюблена.
Я люблю тебя много, но лживо:
От себя, от себя я пьяна!

Существует известный портрет Марины, выполненный несколько лет спустя Александром Головиным. Вскоре после свадьбы с Владиславом портрет Марины нарисовала углем одиннадцатилетняя Валентина Ходасевич; это была первая работа впоследствии знаменитой художницы, к сожалению, не сохранившаяся.

В общем, нетрудно представить себе эту девушку — красивую, обаятельную, богатую, избалованную, самовлюбленную, взбалмошную. И судя по всему, довольно пустую. Но что же привлекло ее в болезненном тощем очкарике? Умение танцевать? Умение говорить? Остроумие? В любом случае, этот брак не мог быть прочным.

По-видимому, Владислав уже в первые месяцы чувствовал себя не совсем уютно — и в Москве, и в Лидине. Причем дело было не только в отношениях новобрачных: юноша, вероятно, тяготился материальной зависимостью от богатых родственников жены и пытался обзавестись собственными средствами. 4 мая 1905 года он пишет Георгию Малицкому: «Прости, что напоминаю, — но понуждает к тому необходимость: пришли сто. Здесь ни один мерзавец мне не платит. Если можешь, вышли тотчас. *Очень* прошу»¹. «Платить» Владиславу в Лидине могли только карточные выигрыши, и, возможно, именно из-за склонности к игре родственники скупово выдавали ему деньги на руки.

Весной 1906-го Ходасевич, по всей вероятности, «самовольно» снял для себя и Марины квартиру у некоего Коробкова (возможно, знакомого Соколова-Кречетова). Чтобы получить возможность платить за это жилье и вообще — обрести какую-то независимость, он попытался добиться места секретаря в «Золотом руне». Кречетов в письме от 17 мая высказывает свое горячее одобрение этой мысли («иметь около себя, среди подводных скал “Руна”, дружественную высокую душу, которая не обманет и не продаст — удовольствие высокой марки»), но признается, что Рябушинского кандидатура Ходасевича в восторг не привела: «Он приводит тот довод, что Вы не знаете французского

¹ РГБ. Ф. 697. Карт. 4. Ед. хр. 18. Л. 7.

языка настолько, чтобы (как это иногда делает Курсинский) писать ему разные деловые письма. Далее он выставил второй аргумент, что он “вообще привык всегда командовать служащими”. <...> Были даже возражения, что Вы будете отрываемы от работы частыми приходами Марины»¹. Ничего из этих планов, конечно, выйти не могло, тем более что сам Кречетов вскорости с Рябушинским порвал.

Не найдя работы, Ходасевич попытался заплатить за квартиру векселем, Коробков же требовал наличных. В итоге Ходасевич, по совету Кречетова, съехал с квартиры, ничего не заплатив. Позднее, в «Перевале» Владиславу все же удалось на некоторое время устроиться секретарем, с окладом 30 рублей в месяц, и он снова попробовал снять собственное жилье — в доме Голицына в Ново-Никольском переулке. Но 28 апреля 1907 года он почему-то покинул и эту квартиру, не внося всей платы. Летом квартирный хозяин пытался разыскать беспутного студента через университетскую канцелярию. По какой-то причине ему ответили, что Ходасевич может находиться в Рязани. На самом деле он был в Лидине, а потом в Петербурге. К этому времени сюжет, связанный с Мариной Рындиной, уже близился к развязке.

Развязка началась ровно через два года после свадьбы. В начале апреля 1907 года в Литературно-художественном кружке (том самом, где Ходасевич «контрабандой» слушал в 1903-м лекцию Брюсова) состоялся большой поэтический вечер с участием петербуржцев. По словам Веры Буниной, из московских поэтов ей запомнились Брюсов, Ходасевич, Кречетов, а из петербургских — во всем черном элегантный Маковский, еще совсем молодой человек.

Сергей Константинович Маковский был не так уж молод — старше самой Веры. Сын известного салонного портретиста и племянник не менее известного передвижника-жанриста (оба воплощали для нового поколения плоскость и безвкусицу 1870—1890-х годов), Маковский-младший писал стихи в «парнасском» духе, а больше был известен как художественный критик. Он был человек не совсем из того теста, что поэты-символисты его поколения, московские и петербургские: не мистик, не неврастеник, а эстет, представитель «стильного» и духовно легополучного варианта модернизма. Такие люди дождались своего звездного часа накануне Первой мировой, и Маковский, *Papa Maso*, именно в это время стал редактором лучшего литературно-художественного журнала России.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 82.

Вероятно, именно на вечере в Литературно-художественном кружке и произошло его знакомство с Мариной. В конце месяца Маковский — еще (или снова) в Москве. 7 июля Ходасевич пишет Малицкому: «У нас все лето масса народу. Только послушай. На Пасхе был мой брат (Конст<антин>) и Сергей Маковский, затем от 19 мая до 20 июня Борис Койранский. За это время у нас перебивали: одна Маринина знакомая, почти месяц, 2-й раз Маковский, дней 5, Нина Ив<ановна Петровская>, дней 5, и Гриф, 2 дня. Около 15 июня приехал Муля, который еще у нас, а вчера объявился А. Брюсов, до среды. Кроме того, сегодня или завтра придет Нина Ив<ановна> дней на 7». Православная Пасха в 1907 году приходилась на 22 апреля (католическая — на 18 марта, но речь явно не о ней).

Судя по всему, события развивались достаточно быстро. С Малицким Владислав был, видимо, уже не так близок, чтобы говорить о болезненных и драматичных вещах. Маковский поминается в общем ряду гостей, посещавших усадьбу. Но вот фрагмент письма Нины Петровской, написанного в тот же день (7 июля): «Что Мариночка? Не обойдутся ли эти дела мирно или необходимо разрушение? Напишите, расскажите мне, я ведь Вас люблю и всякие правды понимаю. Только помните одно — никогда не нужно подвешивать себя на волосе над неизвестностью»¹. Месяцем раньше пылкая Нина, возможно, уже чувствуя, что в семье ее молодого приятеля не все ладно, и, скорее всего, примеряя его на роль очередного «прохожего», приглашала его совершить совместную поездку «к морю».

Владислав и Нине не стал изливать душу. 11 июля Петровская пишет: «Из Вашего тона, из Вашей “молодой бодрости”, с которой Вы говорите о книге, о стихах и прочем, заключаю — может, делишки Ваши и не так уж плохи. То есть они плохи-то плохи, да Вы тверже»². Но твердости хватает ненадолго. В августе Владислав бросает Лидино и уезжает, сперва — в Рославль. Там жил один из его добрых московских приятелей, Владимир Оттонович Нилендер, в те годы — «вечный студент» Московского университета, занимавшийся главным образом теософией, позднее — известный переводчик Эсхила и Софокла (в марте того же года Ходасевич уже некоторое время гостил у него). Всерьез обсуждается возможность остаться в этом маленьком городке и устроиться преподавателем русского языка и истории в местной гимназии (место предложил Владиславу отец Нилендера).

¹ Из переписки Н. И. Петровской // Минувшее. М.; СПб., 1993. № 14. С. 385.

² Там же. С. 388.

Но в конце концов поэт отправился в Петербург, где «ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал». Неожиданно судьба свела его с московскими друзьями, которых тоже привели в столицу превратности любви: Нина Петровская приехала к Ауслендеру («Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву — она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера — признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин»¹), Андрей Белый — чтобы еще и еще раз объясниться с Любовью Дмитриевной.

Один из тогдашних петербургских дней подробно описан в «Некрополе», в очерке об Андрее Белом. Это описание стоит привести полностью:

«Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был “Изумруд”), я вышел на Невский. Возле Публичной библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

— Меня все зовут *бедная Нина*. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделяться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей “провокации” в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно “совсем петербургское место”, как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, заплатив по трешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадрили с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы — вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в “совсем петербургском месте” до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в “Вене” с Ниной Петровской.

¹ Ходасевич В. Андрей Белый // СС-4. Т. 4. С. 50.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

— Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

— Меня надо звать *бедная Нина*.

Мы с Белым переглянулись — о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед — в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в “совсем петербургском месте”. Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов “Петербурга”¹.

В те недели, когда Владислав по-детски прятался от судьбы в Петербурге, его соперник, наоборот, приехал из Петербурга в Москву. Когда в конце октября Ходасевич и Белый наконец двинулись в Москву, все было решено. Пребывание «на волосе над неизвестностью» закончилось: Марина все решила сама. В предпоследний день 1907 года молодые супруги окончательно разъехались.

А в первый день года наступившего в газете «Час» появилось стихотворение Кречетова «Смерть Пьеро (Веселая история)», посвященное Ходасевичу:

...Один лишь жалобный Пьеро
Бредет с трагической миной.
Мелькнет ли белое перо
Над изменившей Коломбиной?

Вскочив на стол, Пьеро стоял
С нелепо-вычурной отвагой.
Кривится рот. В руке кинжал,
В другой — бокал с кипящей влагой.

И долгим вздохом бедный зал
Ответил сдавленному стону.
И темно-алый ток бежал
По шутовскому балахону...

Образы были достаточно обычны для того времени (вспомним недавно появившийся «Балаганчик» Блока), но стиль общения, характерный для символистского круга, вполне позволяет заподозрить намек бывшего шафера на драматически сложившиеся отношения молодых супругов. В любом случае, момент публикации пришелся как нельзя «кстати».

¹ Ходасевич В. Андрей Белый. С. 50—51.

Между тем о семейном разладе Ходасевичей в Москве ходили самые разные слухи. Не все были на стороне Владислава. Экзальтированная девятнадцатилетняя Мариэтта Шагинян, которая в то время ни с поэтом, ни с его женой знакома еще не была, тем не менее донимала Марину «экстатическими письмами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности “защипать до последней капли крови”»¹, а Владислава Фелициановича однажды формально вызвала на дуэль.

«В Литературно-художественном кружке ко мне подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ. Письмо было, приблизительно, таково:

“Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. *Мариэтта Шагинян*”.

Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:

— Это серьезно?

— Вполне. <...>

Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:

— Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями не дерусь.

Месяца через три швейцар мне вручил букетик фиалок.

— Занесла барышня, чернявенькая, глухая, велела вам передать, а фамилии не сказала.

Так мы помирились, — а знакомы всё не были. Еще через несколько месяцев познакомились. Потом подружились»².

Если одни сплетники приписывали Ходасевичу злостное супружеское тиранство, то другие утверждали, будто Маковско-го привлекла не столько красота Марины, сколько ее состояние. Так или иначе, Сергей Константинович и Марина Эрастовна прожили вместе около десяти лет и расстались в годы Гражданской войны (жизнь им обоим выпала долгая: Марина умерла в 1973 году). Обвенчались они в 1911 году, уже после заочного увлечения *Papa Maso* романтической «испанкой» Черубиной де Габриак. По законам православной церкви основанием для развода была, как правило, супружеская измена и право на немедленный второй брак приобретал лишь тот из супругов, который в измене не был виновен. Но Владислав венчаться ни с кем в то время не собирался, да и потом он был католиком, а католическая церковь развода в принципе не допускает. И он признался в романе с некой «Настенькой». Всю историю выдумал по просьбе друга Муни. Имя героини он взял из «Белых ночей» Достоевского.

¹ Ходасевич В. Мариэтта Шагинян // СС-4. Т. 4. С. 336.

² Там же.

В итоге брак был расторгнут «согласно отношения Московской консистории от 20 декабря 1910 года»¹. Вступить в новый брак по православному обряду Ходасевичу разрешалось лишь три года спустя. С точки же зрения католической церкви, к которой он принадлежал, Владислав Ходасевич до конца жизни оставался супругом Марины Рындиной.

6

Молодой Ходасевич производил на окружающих впечатлительное человека незаурядного: всё свидетельствует об этом. Может быть, временами его заслонял более яркий Муни. Но не случайно высокомерный мэтр Брюсов считал Ходасевича достойным собеседником, а Андрей Белый на равных дружил с ним. Юноша, который жил во взвинченной атмосфере символистской Москвы и вместе с другими «в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть», в то же время умел быть жестким и насмешливым. Он явно выделялся из массы молодых поэтов-символистов (условно говоря, «Койранских»), часами сидевших в кофейне «У Грека». Его рецензии тоже несут печать ранней зрелости: общие для эпохи суждения и оценки высказаны не по-юношески четко и дельно. Можно было ожидать, что из него получится умный и высокопрофессиональный литератор. Но ничто в 1904—1907 годах не позволяло предсказать, что из Ходасевича выйдет великий поэт. Точнее, почти ничто.

Стихи могут быть слабы по-разному. Порой в неумелой юношеской писанине проскальзывают яркие строки, строфы, образы — свидетельства силы, с которой сам автор еще не умеет толком совладать. Но стихи Ходасевича 1904—1905 годов даже не таковы. В них в буквальном смысле слова «нет живого места». Клише, унаследованные от надсоновской эпохи, сочетаются с символистскими клише, и во всем — вялость и необязательность.

Это относится и к тем трем стихотворениям, которые были напечатаны в третьем «Грифе». Сам Ходасевич так рассказывал об этой публикации: «В самом начале 1905 г. я прочитал ему (С. А. Соколову-Кречетову. — *В. III.*) три стихотворения. К удивлению моему (и великой, конечно, гордости), он сам предложил их напечатать. <...> Я навсегда остался благодарен С. А. Соколову, но думаю, что в ту минуту он был слишком

¹ Цит. по: *Киссин С.* Легкое бремя. С. 214 (со ссылкой на «студенческое дело» Ходасевича, без архивных данных; в университетском деле Ходасевича в МГИА этого документа нет).

снисходителен: стихи до того плохи, что и по сию пору мне неприятно о них вспоминать»¹. В самом деле, едва ли пера Ходасевича достойны эти строки:

Тихо, так тихо, и грустно, и сладостно.
Смотрят из окон огни...
Звон колокольный вливается благостно.
Плачу, что люди — одни.

Вечно одни, с надоевшими муками,
Так же, как я, как и тот,
Кто утешается грустными звуками,
Там, за стеною, — поэт.

Среди трех стихотворений, напечатанных в «Гриффе», одно несколько превосходит другие энергией и лирическим «звоном»:

...И я дробил глухую тишь,
И в уши мне врывается ветер.
Ты, город черный, мертво спишь,
А я живу — последний вечер.

Бегу туда, за твой предел,
К пустым полям и к чахлым травам,
Где мглистый воздух онемел
Под лунным отблеском кровавым...

Но эти скромные достоинства обесцениваются до крайности нелепым сюжетом стихотворения: лирический герой «безумно» бежит по городу с зажженным факелом, а затем топится в реке.

Пожалуй, из всех юношеских стихотворений настоящее дарование ощущается лишь в последних строках процитированного выше послания к Александру Брюсову:

...Но жизнь благодарю за то, что я — не стар
И не герой в театре марионеток.

Эти строки послужили эпиграфом к одному из стихотворений Брюсова-младшего, вошедшему в его единственную книгу «По бездорожью» (1907).

Стихи Ходасевича 1906—1907 годов, составившие книгу «Молодость», уже не в пример лучше. Гораздо увереннее поэтическая техника, гибче и богаче язык, исчезла «надсонщина», нет больше наивных юношеских излияний, но главное — сквозь общесимволистские штампы время от времени, пусть еще очень робко и смутно, проступает собственное лицо поэта.

¹ Ходасевич В. Ф. [Ответ на анкету] // Новая газета. 1931. № 1. 1 марта.

Что-то от настоящего Ходасевича видится в «Ряженных» с их тревожным окончанием, или в таких строгих, малосамостоятельных по образам, но точных по интонации строчках:

Один, среди речных излучин,
При кликах поздних журавлей,
Сегодня снова я научен
Безмолвной мудрости полей.

И стали мысли тайней, строже,
И робче шелест тростника.
Опавший лист в песчаном ложе
Хоронит хмурая река.

В стихах Ходасевича отразились общие переживания и настроения того круга, к которому он принадлежал. Неслучайно в книге есть стихотворение «Sanctus amog», посвященное, само собой, Нине Петровской. Неслучайны подражания Брюсову («К портрету в черной рамке»), Андрею Белому («Осень»), Блоку («Цветку Ивановой ночи»). Но ближе всех Ходасевичу, пожалуй, оказался Федор Сологуб, самый строгий, мрачный и аскетичный из символистов, петербуржец, которого Владислав лично не знал. Именно у Сологуба заимствован образ «елкича», обративший на себя внимание Веры Буниной¹.

Личные вкусы и пристрастия Ходасевича проявляются в том, что мрачные, «гибельные» образы и символистские абстракции уже в первой книге сочетаются с уютными стилизациями, отсылающими к пушкинской эпохе («Элегия», «Стихи о кухне»):

Кухина, полно... Всё изменится!
Пройдут года, как нежный миг,
Янтарной тучкой боль пропенится
И окропит цветник.

И вот, в такой же вечер тающий,
Когда на лицах рдяный свет,
К тебе, задумчиво вздыхающей,
Вернется твой поэт.

Это «пушкинианство» Ходасевича не встречало понимания у многих его друзей, верных символистской неврастенической эстетике — например, у Нины Петровской. «Не забирайтесь на чужие вышки. Ломайте душу всю до конца и обломки бросайте в строфы, такой Ваш путь или *никакой*»², — пишет она Ходасевичу 29 апреля 1907 года.

¹ См. с. 69—70 настоящего издания.

² Из переписки Н. И. Петровской // Минувшее. М.; СПб., 1993. № 14. С. 373.

Та любовная драма, которую переживал Ходасевич в 1905—1907 годах, отразилась в стихах «Молодости» косвенно. Лучшие (и самые личные) стихи этой книги напоминают обрывки снов о какой-то возможной, но уже не случившейся жизни. Боль и обида спрятаны где-то глубоко, а на поверхности — легкие, но точные слова:

Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню...

Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?

Время жалоб не услышит?
Руки вскину к синеве, —

А уже рисунок вышит
На исколотой канве.

Интересен мотив «сына», возникающий еще раз («Медвежонок, сын мой плюшевый...»). Этой темы — отцовства — потом у Ходасевича в стихах никогда не возникало. В жизни у него никогда не было детей. Был мальчик, к которому он, судя по всему, относился почти по-отцовски... но потом расстался с его матерью — и больше о нем почти не вспоминал.

И все-таки стихи, вошедшие в первую книгу Ходасевича, всего лишь обеспечивали ему место в ряду небесталанных поэтов околосимволистского круга, которых к концу 1900-х годов насчитывалось уже несколько десятков.

Но было в книге «Молодость» одно стихотворение, непохожее на все, что писали друзья и учителя Ходасевича. Оно было написано в самые трудные для поэта дни, в июне 1907 года, и посвящено Муни. Это стихотворение — «В моей стране». Оно открывает книгу:

Мои поля сыпучий пепел кроет.
В моей стране печален страданный день.
Сухую пыль соха со скрипом роет,
И ноги жжет затянутый ремень.

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен,
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый свет бессолнечных лучей.

Там сеятель бессмысленно, упорно,
Скуля как пес, влачась как вьючный скот,
В родную землю втаптывает зерна —
Отцовских нив безжизненный приплод...

Жуткая отчетливость и точность этих строк — прорыв в зрелую поэтику Ходасевича, которой еще предстояло сложиться. Может быть, лишь форсированное повторение однотипных определений («бессолнечных лучей», «безжизненный приплод») обличает юность поэта.

Мотив любовного отчаяния и тоски проявляется только с четвертой строфы:

А в шалаше — что делать? Выть да охать,
Точить клинок нехитрого ножа
Да тешить женщин яростную похоть,
Царапаясь, кусаясь и визжа.

А женщины, в игре постыдно-блудной,
Открытой всем, все силы истощив,
Беременеют тягостно и нудно
И каждый год рожают, не доносив.

В моей стране уродливые дети
Рождаются, на смерть обречены.
От их отцов несую вам песни эти.
Я к вам пришел из мертвенной страны.

В том и ужас, что «мертвый», «безжизненный», «бессолнечный» мир не бесплоден. Ему присущ эротизм, но некрасивый, отталкивающий, темный. Он порождает некую жизнь, но убогую, уродливую, второсортную. В сущности, это образ ада — внутреннего ада, скрытого в человеческом сознании, ада, который именно тем и ужасен, что он — не смерть, а некая неполноценная, оборотная сторона жизни. Любовное несчастье (в сущности, довольно тривиальное) открыло этот ад для его поэтического зрения.

Реакция знакомых на это стихотворение была различна. Нине Петровской оно чрезвычайно понравилось. Видимо, понравилось оно и Муни, который вообще-то был к стихам Ходасевича строг. Любопытно, что Тиняков был шокирован «ужасным нагромождением ужасных образов и слов»¹. (Любопытно это потому, что сам Тиняков если чем и остался в литературе, то именно «ужасными», шокирующими, провокационно-антиэстетичными стихами, только несравнимо более плоскими, чем у Ходасевича.)

Видимо, именно в те дни, когда происходило окончательное расставание с Мариной, Владислав Фелицианович передал Кречетову рукопись книги. Два месяца спустя, в феврале 1908-го, она вышла. Так поэт попрощался с целым периодом своей жизни. Предстоял новый — один из самых трудных.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 85.

Глава четвертая
БЕДНЫЙ ОРФЕЙ

1

Три года после расставания с Мариной — период в биографии Ходасевича темный: подробностей об этом времени его жизни известно немного.

Жил он в эти годы в меблированных комнатах «Балчуг», на одноименной улице, в Замоскворечье. На этой улице (в здании нынешнего отеля «Балчуг Кемпински») находились в то время многочисленные мастерские художников. В биографической хронике, написанной Ходасевичем для Берберовой, под 1908—1911 годами трижды значится «карты», дважды — «пьянство», один раз — «голод».

Похоже, молодой поэт прочно погрузился в богемный быт в его самых традиционных и стереотипных формах.

Средоточием этого быта в Москве был все тот же Литературно-художественный кружок. Но если в начале десятилетия он был оплотом «либеральных адвокатов», относившихся к «новому искусству» со смесью ненависти и тайного любопытства, как к чему-то завлекательно-порочному, то к 1908 году символисты составляли в нем полноценную, если можно так выразиться, фракцию, наряду со «знаньевцами», а также многочисленными любителями словесности и меценатами, от Рябушинского до иглочного фабриканта Владимира Гиршмана, китами журналистики, вроде Власа Дорошевича и Владимира Гиляровского, актерами, среди которых главенствовал Александр Сумбатов-Южин, и разного рода «общественными деятелями» неопределенного сорта. Даже в качестве председателя кружка психиатра Баженова сменил сначала Кречетов, а потом — Брюсов. С 1905 года Кружок, сменивший несколько помещений, одно другого роскошнее, располагался в особняке Востряковых на Большой Дмитровке, 15.

По вторникам там читались лекции и доклады. Ходасевич вспоминал: «Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измайлов — не припом-

нишь и не перечислишь всех, кто всходил на эстраду Кружка. В Кружке происходили постоянные бои молодой литературы со старой. Андрей Белый потрясал его стены истерическими филиппиками, во время которых иной раз дирекция приказывала экстренно опустить занавес. Тогда все это казалось ужасно значительно и нужно — на поверку вышло не так. Действительная литературная жизнь протекала вне Кружка, осаждаясь в нем лишь сумятицей и шумихой, подчас вредной и пошлой. Для серьезной беседы аудитория Кружка была слишком многочисленна и пестра. На вторники шли от нечего делать иль ради того, чтобы не пропустить очередного литературного скандала, о котором завтра можно будет болтать в гостиной»¹.

Но главным в кружковой жизни были не литературные дискуссии, не библиотека, а поздние трапезы и бдения за карточными столами. К полуночи в особняке на Дмитровке собиралась «вся интеллигентская и буржуазная Москва — из театров, с концертов, с лекций. Здесь назначались свидания — литературные, деловые, любовные. Официально считалось, что цель столовой — предоставить дешевые ужины деятелям театра, искусства, литературы, но на самом деле было не так. Действительно нуждающихся в столовой Кружка никто, кажется, не видал, а дешевые ужины запивались дорогими винами»². Пили много, и все разное: символисты — «Мартель» и мадеру, реалисты — водку.

Еще с десяти вечера начиналась серьезная карточная игра. Она, собственно, и обеспечивала бюджет Кружка. Одних членских взносов не хватало бы на арендную плату за роскошный особняк с несколькими обеденными залами, несколькими гостиными, бильярдной, библиотекой. Играли в самые разные игры — покер, бридж, но особенно популярна была «железка» (изначально «железная дорога»), французская разновидность баккара, широко распространившаяся в России как раз в начале XX века и почему-то запрещенная полицией. Это придавало игре дополнительную остроту: в любую минуту могли явиться стражи закона и пресечь предосудительные увеселения.

По воспоминаниям Гиляровского, «штрафы с засидевшихся за “железкой” игроков пополняли кассу. Штрафы были такие: в 2 часа ночи — 30 копеек, в 2 часа 30 минут — 90 копеек, то есть удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа — 2 рубля 10 копеек, в 3 часа 30 минут — 4 рубля 50 копеек, в 4 часа — 9 рублей 30 копеек, в 5 часов — 18 рублей 60 копеек, а затем Кружок в

¹ Ходасевич В. Московский Литературно-художественный кружок // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 390—391.

² Там же. С. 392.

б часов утра закрывался, и игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера»¹.

Ходасевич был завсегдатаем игорных комнат — и описывает происходившее в них подробно и со знанием дела: «Ежевечерне составлялось, в среднем, по десяти столов. За каждым сидело десять или двенадцать игроков, окруженных плотной стеной понтеров “со стороны”. В общем, за ночь через игорную залу проходило, должно быть, человек триста. Столы были серебряные, за которыми минимальная ставка была в один рубль, золотые, где счет шел на пятерки, и один стол — бумажный, со счетом на двадцатипятирублевки. За бумажным играли московские богачи, изредка — профессионалы. Тут игра шла тихо, сосредоточенно, почти без участия посторонних, “стоячих” игроков»².

Среди партнеров Ходасевича по «железке» были самые разные люди, вплоть до Сергея Львовича Толстого и Федора Федоровича Достоевского (у последнего любовь к азартным играм была явно наследственной). Ходасевич позднее вспоминал гротескную сцену: далеко уже не юные сыновья классиков запальчиво ссорятся из-за замусоленной бумажки, которой Сергей Львович попытался расплатиться. Из видных писателей в числе игроков кроме Ходасевича бывал, пожалуй, лишь Брюсов, и то редко: великолепный преферансист, он был «беспомощен и бездарен» в играх чисто азартных, требующих не расчета, а вдохновения и интуиции. Здесь удивительным образом проявлялись самые глубинные, коренные черты его личности. Ходасевич же купался в стихии игры — особенно в эти годы, когда и отчета давать было некому, и терять как будто нечего. Азарт у круглого столика играл в его жизни такую же роль, которую прежде, до встречи с Мариной, играли танцы.

И выпивка, и «железка» — все это было не только в Литературно-художественном кружке, но и в Купеческом и Охотничьем клубах. Но если почтенные обыватели, покинув свой клуб, возвращались к будничным трудам и семейному уюту, то для многих представителей художественного и околохудожественного мира Литературно-художественный кружок был лишь одной из остановок в каждодневных праздных, вдохновенных и нетрезвых скитаниях по ночному городу. По крайней мере, так обстояло дело у Ходасевича. Вечера, свободные от страстных литературных диспутов и игры в «железку», он проводил в обществе Муни.

¹ Гиляровский В. А. Москва и москвичи // Гиляровский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1989. Т. 4. С. 451.

² Ходасевич В. Московский Литературно-художественный кружок. Ч. 2 // Возрождение. 1937. 17 апреля.

«Обычно вечер наш начинался в кафе на Тверском бульваре, а кончался поблизости, на углу Малой Бронной, в Международном ресторане. В большой, безобразной зале, среди мелкошерстной публики, под звуки надрывисто-залихватского оркестра, в сени пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой “Мартеля”, мы просиживали до закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду (что были нам дождь и снег?) скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по несколько раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем, — и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой:

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, —

конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную погоду, весной и летом, происходили свидания “у звезды”: мы встречались на Тверском бульваре, когда светило и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда»¹.

Все это в самом деле было и трогательно, и романтично, и сам образ тогдашней Тверской участвовал в создании этого романтического эффекта, но позволим себе сухой подсчет. Получается, что два хрупких, худощавых юноши ежевечерне выпивали в общей сложности по 300—400 граммов крепкого спиртного на каждого. Так что возбуждение от дерзких идей и жизнестроительных фантазий старших товарищей, от искусства и от несчастной любви смешивалось с возбуждением иного рода. Неудивительно, что половые в «Праге» двоились...

Еще одной составляющей был голод, обострявший чувства. Бывало, что Ходасевич и Муни за два-три дня съедали один калач и выпивали бутылку молока. Дело в том, что разрыв с Мариной имел для Владислава и вполне прозаические последствия: теперь приходилось не прирабатывать, чтобы ощущать себя независимым человеком, а полноценно зарабатывать на жизнь. «Перевал» между тем уже закрылся, а гонораров, вместе с помощью брата Миши, хватало на карты и на «Мартель», но далеко не всегда оставались деньги на пропитание.

Стоит, однако, поговорить об источниках этого литературного заработка.

¹ Ходасевич В. Муни // СС-4. Т. 4. С. 74.

Таких источников было два: во-первых, переводы, во-вторых, газетная критика и публицистика. Эта литературная поделщина стала отныне уделом Ходасевича до конца жизни, с коротким перерывом в дни «военного коммунизма», когда он состоял на государственной службе.

Французским и немецким Ходасевич владел, видимо, не лучше и не хуже большинства литераторов той поры, закончивших классические гимназии. Но по крайней мере один иностранный язык — польский — он знал в совершенстве. Между тем спрос на переводы с этого языка существовал: центральная часть Польши входила в состав Российской империи, польская интеллигенция взаимодействовала с русской. Переводились как классические шедевры польской литературы, так и текущие новинки.

Все переводы с польского, сделанные Ходасевичем в 1908—1911 годах, предназначались для серии «Универсальная библиотека», учрежденной издательским товариществом «Общественная польза». Владельцем издательства был Владимир Морицевич Антик. «Польза», специализировавшаяся на дешевых (20—40 копеек) многотиражных изданиях оригинальной и переводной беллетристики, а также «просветительной» научно-популярной литературе, занимала видное место в тогдашнем книгоиздательском ландшафте (четвертое место среди издательств России по количеству наименований, пятое — по общему тиражу).

Сам поэт в биографической хронике упоминает лишь один из своих переводов — «Марина из Грубого»¹. Этот роман Казимежа Тетмайера (Пшервы-Тетмайера), вышедший на польском языке в 1909 году, входит в цикл его произведений, посвященных истории Татр. В основе сюжета романа — крестьянское восстание, поднятое в середине XVII века бастардом из королевской семьи. Фабула включает многочисленные авантурные приключения, роковые страсти и мелодраматические сцены. Будь подобный роман написан в то время по-русски, он был бы едва ли воспринят всерьез, но в Польше он вписывался в неоромантические устремления эпохи, а для русских издателей и читателей обладал экзотическим интересом. Вот свидетельство популярности татрского эпика: в рассказе Бунина «Чистый понедельник» (1944), действие которого происходит в 1910-е годы, герой дарит своей возлюбленной книги модных писате-

¹ Форма «из Грубаго», встречающаяся в публикациях, — механическое воспроизведение дореформенной орфографии.

лей — и в списке их есть Тетмайер. Может быть, сердце Ходасевича екнуло при имени главной героини, неукротимой роковой женщины из селения Грубое. В 1910 году, когда он работал над переводом (вышел он год спустя), память о Марине Рындиной еще была свежа. Кроме «Марины из Грубого» Ходасевич перевел еще несколько произведений Тетмайера: книгу рассказов «Орлицы», роман «Яносик Нендза Летмановский» (продолжение «Марины из Грубого»).

Более крупным писателем был Владислав Реймонт, виднейший представитель польского натурализма. Его эпопея «Мужики», принесшая автору Нобелевскую премию 1924 года, считалась вершиной его творчества. (Сейчас она несколько заслонена другим, более ранним романом Реймонта «Земля обетованная», посвященным фабричной Лодзи; интерес к этой книге за пределами Польши был спровоцирован снятым по ее мотивам фильмом Анджея Вайды.) Перевод четырех частей «Мужиков», выполненный Ходасевичем, был опубликован в 1910—1912 годах. Примечательно, что как раз в это же время два других издательства (Саблина и «Современные проблемы») издали другие переводы романа — В. Высоцкого и М. Троповской. Перевод Троповской, авторизованный, впоследствии неоднократно переиздавался. Такой широкий интерес к роману был вполне объясним: отраженная в нем социальная проблематика была близка русской литературной традиции, с ее «мужиколобием». Исследователи отмечают многочисленные параллели между «Мужиками» и произведениями русских писателей той поры (вспомнить хотя бы «Деревню» Бунина). Другое дело, в какой мере это было интересно Ходасевичу. Можно с уверенностью сказать: ни в какой или в очень малой. Переводы крестьянской прозы — это была механическая работа для заработка, никак не пересекавшаяся с его внутренней жизнью.

Гораздо ближе Ходасевичу был Зигмунд Красинский, младший в тройке великих польских романтиков, человек противоречивой судьбы и безотрадного мирозерцания. Сын царского генерала, он не был формально эмигрантом, но предпочитал жить в Париже. Консерватор и монархист, он был одновременно польским националистом, а значит, в каком-то смысле бунтарем. Он писал стихи и романы, но вершина его творчества — две пьесы в прозе, «Небожественная комедия» и «Иридион». Ходасевич перевел для «Пользы» вторую пьесу, в оригинале вышедшую в 1836 году, и написал к ней предисловие. Действие пьесы происходит в первые века нашей эры; герой — грек, вступающий против римских завоевателей.

«Есть два знамени бунта: месть и освобождение. Иридион выбрал первое и погиб. Если бы он выбрал второе, он бы так-

же погиб: дело в обоих случаях одинаково решилось бы физическим превосходством Рима. Но дело не в этом.

Велика любовь Иридиона и велика ненависть. Он восстал, как язычник, мститель и разрушитель. Христиане не вышли из катакомб и не помогли ему. Епископ Виктор, в конце концов, благословил римского императора, а не греческого мятежника. Масинисса, откровенно названный “сыном бездны”, оболестил Иридиона радостью мщения, но едва ли не больше “попутал” он христианского епископа, благословившего угнетателя.

В последнем споре неба и Масиниссы за душу Иридиона побеждает небо: Иридион спасен “за то, что любил Грецию”. Но здесь возникает вопрос, категорически Красинским поставленный, но не только не разрешенный, напротив, кажется, всю жизнь его преследовавший. Голос с неба посылает Иридиона “на север”, к другому угнетенному народу, заканчивать дело своей жизни. Во имя чего, однако, пойдет Иридион? Не во имя ли той же мести, на которую подвигнул его Масинисса? Не пойдет ли он для нового заблуждения — как мститель и разрушитель, не как освободитель и созидатель? Здесь — не соблазнил ли Масинисса и “небо”? Или оно так разрешает вопрос Ивана Карамазова: прощать не имеешь права? Кажется, так хотел разрешить его сам Красинский. Но окончательной победы “за любовью ненавидящей он признать не решился”¹.

Таковы были размышления, к которым подвигла Ходасевича переведенная им пьеса. Понятно, что мысли эти были вполне актуальны в российском контексте начала XX века. Неслучайно и «Иридион» в то время переводился не только Ходасевичем и не только для «Пользы»: в 1904 году издательством «Знание» был издан перевод А. Уманьского.

Одновременно начинается газетная работа. Ходасевич становится сотрудником, постоянным или эпизодическим, газет очень разной степени респектабельности и разной политической направленности — октябристского «Голоса Москвы», кадетского «Руля», левого «Утра России», невзыскательно-бульварного «Раннего утра», официозной «Московской газеты» (редактором которой с 1910 года был Янтарев), а также ярославской газеты «Северный вестник», в которой писали многие московские модернисты. Судя по всему, статьи и заметки, опубликованные Ходасевичем под собственным именем или под известными биографам и публикаторам псевдонимами (Ф. Маслов, Сигурд, Кориолан, Гарольд), — лишь вершина айсберга: многие материалы шли под одноразовыми псевдонимами и едва ли могут быть идентифицированы.

¹ СС-2. Т. 2. С. 75.

Лишь некоторые из заметок Ходасевича носят литературный характер, в том числе «Критико-библиографический обзор. Стихи», напечатанный в «Северном вестнике» 17 января 1908 года. В начале этого обзора — отзыв о первом томе «Путей и перепутий», собрания стихотворений Брюсова, включающем его ранние, 1890-х годов стихи. «Эта книга что-то дорогое кончает, очеркивает, и обстоятельная библиография в конце ее звучит как некролог. Словно несут за гробом на бархатных подушках ордена»¹. В этом кратком замечании соединилось все — и еще не изжитая многолетняя любовь к стихам Брюсова (и отчасти — к нему самому), и бунт против властного мэтра, и отчуждение от него.

Впрочем, ко всем остальным авторам Ходасевич еще строже. Он пишет о деградации Сергея Городецкого (от первой книги, «Ярь», к третьей, «Дикая воля») — правда, об этом писали многие. Он высмеивает эпигонов, чьи стихи светятся отраженным светом новой, недавно загоревшейся и стремительно вошедшей в зенит звезды — Александра Блока (Блок был, пожалуй, единственным поэтом-современником, которым Ходасевич восхищался безоговорочно и неизменно); в числе эпигонов этих оказывается и Георгий Чулков, довольно плодовитый стихотворец и прозаик, в прошлом идеолог мистического анархизма, грифовец и перевалец, впоследствии — в советское время — видный историк литературы. О стихах Чулкова Ходасевич говорит уничтожающе: «Чулков — не поэт. <...> Образ и символ Чулков подменил условным знаком, термином, выработанным с кем-то, должно быть, — в разговоре»². Через несколько лет тональность отношений с Чулковым резко изменится — по личным обстоятельствам; пока же у Ходасевича нет причин скрывать свое отношение к опытам этого автора. Более мягок он в отзывах о своем бывлом педагоге — Викторе Стражеве, хотя и в его стихах видит временами «безвкусицу» и «бесилье».

Стражеву, впрочем, вскоре пришлось оставить литературу при довольно скандальных обстоятельствах: в списке полицейских «шпионов», опубликованном неутомимым Владимиром Бурцевым, оказалось имя его гражданской жены. Тень пала на самого Стражева, который счел за лучшее надолго уехать в провинцию и всецело посвятить себя педагогике — до конца своих дней. Между прочим, на склоне лет он стал одним из авторов учебника по литературе XIX века для 9-го класса, по которому в 1940—1950-е годы учились советские школьники.

¹ СС-2. Т. 2. С. 38.

² Там же. С. 40—41.

Ходасевич отдельно отрецензировал еще несколько книг — например «Смешную любовь» Петра Потемкина, «Идиллии и элегии» Юрия Верховского. Но, пожалуй, более интересны его нравоописательные и философические заметки этого времени.

Две из них — «Накануне» (Раннее утро. 1909. № 144. 25 июня) и «Тяжелее воздуха» (Руль. 1909. № 191. 14 сентября) связаны с модным техническим новшеством — авиацией. Отношение Ходасевича к техническому прогрессу и механической цивилизации — тема вообще особенная и сложная. Как мало кто, он чувствовал эстетическую выразительность революционных изменений вещного мира, но при этом не разделял вызванного этими изменениями энтузиазма. И именно это смущало газетчиков.

Фельетон «Накануне» был, по воспоминаниям поэта, отклонен несколькими газетами, шокированными его пессимизмом. Между тем Ходасевич всего лишь написал, что «нельзя начинать новую эру, грозя все тем же добрым старым кулаком»¹. Мечты о всеобщем мире, антимилитаризм — все это было чрезвычайно популярно в канун мировой войны. Но всерьез в надвигающуюся угрозу мало кто верил. Ходасевич — верил.

«Когда в один прекрасный день “союзные” броненосцы загудят над нашими городами, когда расцветут “дружественные” демонстрации воздушных флотов — захочется накрыть себе голову. А когда военные силы откровенно превратятся в сражения — не придется ли нам прятаться под землю, уходить на 40 этажей вниз, как теперь мы взбираемся на 40 этажей вверх.

Не будет ли человеческая кровь литься на нас с неба?»²

Впрочем, в русской поэзии того времени есть один пример такого — провидения? или просто проявления трезвости? Это — финал «Авиатора» Блока:

Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?³

¹ СС-2. Т. 2. С. 66.

² Там же.

³ В то время как поэтов посещали тревожные видения, а газетчики были настроены радужно, иные «люди дела» обсуждали самые неожиданные возможности, связанные с появлением аэропланов. Так, способный инженер Евно Азэф, бывший главой боевой организации партии социалистов-революционеров (партийная кличка — Иван Николаевич) и по совместительству агентом Департамента полиции (оперативные псевдонимы — Раскин, Виноградов), разработал в 1908 году проект нападения на Царское-сельский дворец с воздуха.

Но окончательная редакция стихотворения Блока написана уже в 1912 году, а в то время три года (с точки зрения технического прогресса и, в частности, в контексте осознания его последствий) были сроком изрядным.

Фельетон Ходасевича «Тяжелее воздуха» трактует ту же тему в ином, ироническом ключе, причем в связи с актуальными политическими новостями — делом об убийстве в июле 1906 года депутата Первой Государственной думы, кадета Михаила Герценштейна, в организации которого прогрессивная общественность обвиняла одного из лидеров черносотенного Союза русского народа Александра Дубровина¹.

«Развитие воздухоплавания обещает раскрыть горизонты необъятной ширины. Действительность, окружающая нас, примет совершенно новые, необычные формы. Парламент будет собираться на высоте 500 метров выше Петербурга, совершенно как хоры ангелов. Дубровиных будут разыскивать где-то на седьмом небе. <...>

Да, настанет пора воздушных прогулок, небесных свиданий. Воздушные кокотки будут так очаровательны, воздушные дамы — так коварны! Воздушные молодые люди... Боже мой, какие цилиндры будут у воздушных молодых людей! А полиция воздушных нравов? Я думаю, она будет чрезвычайно строга»².

Но, несмотря на игривый тон, мысль Ходасевича серьезна.

«Тонкие дни наступают, изящные. Но неужели вся тонкость, вся легкость будет только в том, что мы раскинемся в нескольких ярусах? И все будет по-прежнему?»

Мы все-таки останемся — «тяжелее воздуха»³.

Для Ходасевича это «тяжелее воздуха» — осознание крушения символистской утопии, мечты о сверхматериальном и сверхчеловеческом, которое в тот момент воспринималось им только трагически. Несколько лет спустя взгляд изменится — и тогда в его творчестве снова появится мотив авиации, хотя на деле он так никогда в жизни и не поднимется в небо.

Другой темой, о которой много говорилось в то время, были попытки достичь Северного полюса. И здесь Ходасевич снова не проявил должного энтузиазма. Для него и достижение человеком самой северной точки Земли — не осуществление, а

¹ М. Герценштейн был убит 18 июля 1906 года в Териоках, на территории Великого княжества Финляндского. Четыре соучастника убийства были осуждены финляндским судом в 1909 году. Непосредственный исполнитель, Александр Казанцев, до суда не дожил: он стал жертвой мести человека, которого обманом заставил убить другого видного кадета, Г. Иоллоса. В отношении А. Дубровина расследование было закрыто по высочайшему повелению.

² СС-2. Т. 2. С. 70.

³ Там же. С. 71.

крушение мечты: «Взамен прекрасной тайны человечество получило отныне клочок земли, изобилующий пушным зверем»¹.

Ощущение кризиса — на сей раз не символистского мировидения, а декаданса как образа жизни — особенно остро отразилось в одном из самых интересных газетных текстов Ходасевича той поры — «Девицы в платьях» (Руль. 1908. № 16. 27 января). Этот текст — злая сатира на массовое «декадентничанье», девальвирующее то, что для самого поэта было важным и, в некий момент, даже священным. По времени это первая публикация Ходасевича, носящая не чисто литературный характер. Фельетон писался еще в дни расставания с Мариной, что, может быть, сказалось на его резко-язвительном тоне.

«Придя на “вторник” в Литературно-художественный кружок, или в художественный театр, или на лекцию Андрея Белого, на картинную выставку — вы поражаетесь обилием дам и девиц, одетых и причесанных “в стиле”. Какой это стиль — тайна, открытая только дешевым портнихам и конфетным художникам.

Пробуйте поговорить. Сразу вас огорошат:

— Как вы думаете, лесбос и уранизм — одно и то же? Но два лика, да?

— Им, право, я не знаю, почему это вас так интересует?

— Я никогда не отвечаю на вопросы: зачем и почему!

Умолкаете.

Девять десятых “декадентских” барышень учатся на драматических курсах, говорят о новом театре и приходятся сродни художественному.

— Искусство есть ритм и пластика!

Ах, искусству присущи и ритм и пластика, но после такого афоризма хочется брякнуть:

— Наплевать мне на всякое искусство!

¹ СС-2. Т. 2. С. 68. Фельетон «Сфинкс» (Руль. 1909. № 188. 24 августа) — парный к «Тяжелее воздуха». Оба они напечатаны под рубрикой «Последние письма романтика» (и действительно написаны в форме посланий к некоей «сударыне») за подписью Гарольд. Насчет тайны Ходасевич погорячился. Тайна оставалась — по крайней мере, оставалась неясность. Дело в том, что в апреле 1909 года американец Фредерик Кук объявил о том, что он достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года (Куку понадобился почти год, чтобы добраться до Большой земли и послать оттуда сообщение), но не смог предъявить результатов измерений географических координат. Через несколько дней другой американец, Роберт Пири, объявил о покорении Северного полюса (результаты измерений на этот раз были предъявлены). Последующая жизнь Пири была посвящена утверждению своего приоритета (успешному) и уничтожению Кука. Современные исследователи пришли к сенсационному выводу: ни Кук, ни Пири на полюсе не были. Правда, Пири и его спутник Мэтью Хенсон находились от самой северной точки Земли всего в восьми километрах: их подвели приборы.

Девушка возмущается:

— Но вы пишете стихи!

— Мне кушать хочется.

Презрительно отвертывается и бормочет:

— Поступал бы в дворники.

Но говорить ей хочется до головокружения и она восклицает (непрерывно афоризм ни с того ни с сего):

— Андрей Белый подарил нас (вы кусаете себе ногти) солнечностью в лазурности, а Бальмонт (произносится Бальмонт) — пьяной росистостью. О, кованость Брюсовского стиха, о, колдовство Сологуба, о, маска Блока!

Боже мой! Если вам дороги Брюсов и Белый, и Блок — вы обязаны ответить.

— Белый — ломака, Бальмонт — эротоман, Брюсов — бездарность, умеющая писать только о бледных ногах.

Девушка исчезает и уже пальцем указывает на вас новому спутнику. На лице — презрительный ужас¹.

Почему-то эта, в сущности, невинная разновидность «исторической пошлости» так возмущала молодого поэта. Он словно забыл эпизод из «Моцарта и Сальери»: слепой *скрипач*, уродующий своим исполнением моцартовскую музыку, вызывает у самого гения лишь хохот — негодует патетический завистник. Но некая внутренняя логика в его фельетоне есть. Во всяком случае очень легко нащупать нить, ведущую от гимназического сочинения 1903 года к «Девушкам в платьях». Для Ходасевича по-прежнему есть две правды: правда эзотерических «поэтов-жрецов» и их неизбежно малочисленной аудитории, и правда «людей, живущих здоровой жизнью». Проникновение в их среду моды на «новое искусство» вредно и опасно, потому что ведет, с одной стороны, к вульгаризации этого искусства, с другой — к отравлению его ядами «нормальных» людей: адвокатов, инженеров, матерей семейств.

Между тем сам Ходасевич к этому времени во многом внутренне расставался с символизмом и тем более — с «декадансом» как мироощущением. Это проявилось уже в стихах конца 1900-х годов.

3

«Молодость» вызвала не так уж много рецензий. Самая пространная из них принадлежала Виктору Гофману и была напечатана в седьмом номере «Русской мысли» за 1908 год вместе с рецензиями на «Романтические цветы» Николая Гумилёва и

¹ СС-2. Т. 2. С. 43.

сборник Льва Зилова, небольшого поэта, позже в основном работавшего в детской литературе.

«Эта первая, чрезвычайно тонкая и бедная количеством стихотворений книга, несомненно, заслуживает внимания. Достаточно открыть ее на любом стихотворении, чтобы убедиться, что поэт прежде всего мастер формы. <...> Ходасевич знает ценность слов, любит их, и обыкновенно у него виден строгий и обдуманый отбор их. Размеры его разнообразны и внутренне закономерны, последовательно вытекают из содержания. Почти везде ощущается поющая мелодичность. Наконец, к положительным сторонам книги нужно отнести несомненный художественный вкус ее автора, не позволяющий ему все оригинальное считать непременно хорошим. <...>

Это плюсы. Но есть, конечно, и отрицательные стороны. Таковы: часто неприятный маньеризм автора, его самолюбование, стремление к тому, что называется *épater les bourgeois*¹. И какими дешевыми среднекадентскими приемами это иногда достигается. <...> К недостаткам книги, кажется, нужно отнести ту старческую слезливость, в которую кое-где переходит изящная сентиментальность поэта».

В сущности, это слово в слово можно было сказать о многих молодых поэтах той поры, и нелегко понять, что именно в стихах Ходасевича понравилось Гофману и что его оттолкнуло. Пожалуй, лишь о финале «Ряженных» он высказывается определенно:

«Если задаться вопросом о будущем г. Ходасевича, сравнив его первую книгу с *первыми* же книгами некоторых современных русских поэтов, которыми мы теперь по праву можем гордиться, то г. Ходасевичу, кажется, не придется краснеть. Кое-где у него даже лучше форма, больше вкуса и меньше смысловых ошибок, нелепостей, непонимания самого себя. Но в пользу ли г. Ходасевича будет и вывод?»

Фридрих Геббель говорит в своем дневнике, что на первых шагах посредственности очень часто опережают гениев, и именно — с внешней стороны... Поэтому и г. Ходасевич не должен забывать, что и для него не исключена судьба многих скороспелых вундеркиндов. Впрочем, ничто пока не дает придавать этой возможности слишком большой вероятности»².

Уж кем Ходасевич не был — это скороспелым вундеркиндом. Скорее, Гофман писал не о нем... а уж не о себе ли?

Интересно, что и Гофман, и Брюсов в статье «Дебютанты» (Весы. 1908. № 3) сравнивают первую книгу Ходасевича и вто-

¹ Эпатировать буржуа (*фр.*).

² Русская мысль. 1908. № 7. С. 243—244.

рую (по другому счету первую) книгу Гумилёва. Гофман оценивает его «Романтические цветы» невысоко — в его глазах эта книга явно уступает «Молодости»: «Нет в этих стихах настоящей лирики, нет музыки стихотворения, которую образуют и в которую сливаются не только слова, размеры и рифмы, но и самые слова, образы и настроения». Брюсову гумилёвская книга нравится: он отмечает, что стихи этого поэта «красивы, изящны и, по большей части, *интересны по форме*». Но ему недостает «силы непосредственного внушения». Напротив, «у Ходасевича есть то, чего недостает... Гумилёву: острота переживаний. <...> Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами». Однако при том, «что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня, г. Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать в наши дни после К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока»¹. Отзыв этот небеспристрастен, в нем отразились сложности человеческих отношений — и напротив, покровительственная приязнь Брюсова к почтительно проходившему ученический искус Гумилёву. И все-таки в нем есть своя справедливость².

Еще один отзыв — в знаменитой статье Иннокентия Анненского «О современном лиризме» в первом номере «Аполлона» (1909): «Вот сборник Владислава Ходасевича “Молодость”. Стихи еще 1907 г., а я до сих пор не пойму: Андрей ли это Белый, только без очарования его зацепок, или наш, из “комнаты”. Верлен, во всяком случае, проработан хорошо. Славные стихи и степью не пахнут. Бог с ними, с этими емшанами!» Суждение странное и двусмысленное (чего стоит этот неожиданный «емшан» — Ходасевич противопоставляется не кому другому, как кумиру его детства, Аполлону Майкову, автору хрестоматийной в свое время баллады о степной травке емшане, чей пленительный запах убедил хана Отро́ка вернуться в родные степи). Но по-детски высокомерного отзыва Ходасевича на «Книгу отражений» Анненский или не помнил, или не придавал ему значения. Позднее Ходасевич не раз говорил о поэзии Анненского с искренней, хотя и не безоговорочной любовью. Лично они, видимо, не встречались: вскоре после публикации двух частей статьи «О современном лиризме» Иннокентий Федорович скоропостижно скончался, нескольких месяцев не дожив до своей долгожданной славы.

¹ Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. С. 264.

² По сути то же самое, но прямее говорит Брюсов о книге Ходасевича в письме Нине Петровской от 12 марта 1908 года: «Поэзии в ней мало, но есть боль, а это кое-что. Не такая пустота, как стишки Alexander'a» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 8 об.). Alexander — псевдоним Александра Брюсова.

Редактором «Аполлона» был Сергей Маковский. Он сразу же предложил Ходасевичу сотрудничество в журнале. Владислав Фелицианович позднее несколько раз печатался в «Аполлоне», хотя признавался, что вести деловые и особенно денежные переговоры с мужем своей бывшей жены ему психологически трудно. Впрочем, это было не единственное петербургское издание, которое к концу десятилетия обратило внимание на Ходасевича. 15 марта 1909 года Алексей Ремизов, с которым Ходасевич познакомился несколько раньше, пишет ему (своим характерным витиеватым полууставом): «Теперь вот что: у нас будет журнал поэтов. Сборник, в котором будут *только* стихи. Вести будут три молодых поэта: Потемкин, Гумилёв и гр<аф> А. Толстой. На гастролях у них будут участвовать Брюсов, Вяч. Иванов, Сологуб, Волошин, Кондратьев, Верховский. Пришлите мне несколько стихов Ваших, и я им предложу. Вас ценят»¹. Речь идет о журнале «Остров», умершем на втором номере, который издатели даже не нашли средств выкупить из типографии. Среди его авторов, кроме перечисленных Ремизовым, были и Блок, и Анненский, и молодой Бенедикт Лившиц, но стихи Ходасевича появиться в «Острове» не успели.

Наряду с рецензиями в 1908 году в газете «Руль» (23 апреля), в цикле «Литературные портреты» появилась первая, можно сказать, «монографическая» статья, посвященная поэту. Автором ее был А. Тимофеев. Она замечательна как чуть ли не первое по времени свидетельство о впечатлении, которое производил Ходасевич на человека «со стороны», не принадлежащего к замкнутому кругу, внутри которого все понимают друг друга с полуслова и все связаны многолетними отношениями и сче- тами.

«Тонкий. Сухой. Бледный. Пробор посредине головы. Лицо — серое, незначительное, изможденное. Только темные глаза играют умом, не глядят, а колют, сыплют раздражительной пронизательностью. Совсем — поэт декаданта! <...>

Позже я познакомился с поэтом. И надо сказать, в нем действительно как-то странно и привлекательно сочетаются — физическая истомленность, блеклость отцветшей плоти с прямой, вечно пенящейся, вечно играющей жизнью ума и фантазии. Как в личности, так и в творчестве, в поэзии Ходасевича... так же странно и очаровательно сплетаются две стихии, два начала: серость, бесцветность, бесплотность — с одной стороны, и грациозно-прозрачная глубина, кокетливо-тонкая острота переживаний, то грустно смеющаяся, то нежно грустящая лирика — с другой стороны».

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 1.

Поэт в культуре начала века нуждался в собственном образе, даже маске. Хилый, истомленный, «бесплотный», но наделенный острым и беспощадным умом «декадент» — образ не самый прельстительный, но выразительности не лишенный. Образ этот (впоследствии эволюционировавший, но сохранявший свою суть) сложился раньше, чем собственно творческая индивидуальность поэта.

Впрочем, в глазах Тимофеева, «истомленность» молодого поэта была результатом вредного влияния «декадана» на его свежий талант. «“Безмолвная мудрость полей” — ты многому научила высоких и сильных, научи и Ходасевича. Ибо ему много дано, а значит, много с него и спросится» — так завершает газетный «портретист» свой очерк.

К тому времени, когда появились все эти отзывы, поэзия Ходасевича во многом изменилась. Стихи «Молодости» были для него уже пройденным этапом. Новые его стихотворения и походили, и не походили на прежние.

Гораздо отчетливее, чем в «Молодости», звучит теперь «пушкинская» нота. О своих любовных несчастьях поэт говорит языком едва ли не батюшковской элегии:

...Быть может, там ручей,
Еще кипя, бежит от водопада,
Поет свирель, вдали пестреет стадо,
И внятно шелканье пастушеских бичей.
Иль, может быть, на берегу пустынном
Задумчивый и ветхий рыболов,
Едва оборотясь на звук моих шагов,
Движением внимательным и чинным
Забросит вновь прилежную уду.
Страна безмолвия! Безмолвно отойду
Туда, откуда дождь, прохладный и привольный,
Бежит, шумя, к долине безглагольной.
Но может быть — не кроткою весной,
Не мирным отдыхом, не сельской тишиной,
Но памятью мятежной и живой
Дохнет сей мир — и снова предо мной.
И снова ты! а! страшно мысли той!

В некоторых других стихотворениях элемент стилизации еще сильнее. Литературный контекст 1908—1910 годов гораздо естественнее включал такие стихи, чем это имело место несколькими годами раньше. Многие поэты окосимволистского круга, утомленные неврастеническим мироощущением «декадентов», шокированные стремительной вульгаризацией символистской эстетики, сопровождавшей ее шествие в массы, не принимавшие ни экстатических умствований ивановской «башни», ни взвинченного демонизма брюсовских эпигонов, обращались к стилистической реконструкции, искали гармо-

нии в культуре иных эпох. То, что до сих пор было скорее достоянием живописи и декоративного искусства (мирискуснического круга), все больше заявляло свои права в поэзии. В 1908 году появляются «Сети» Михаила Кузмина, два года спустя — его статья «О прекрасной ясности». Если репертуар Кузмина-стилизатора был очень широк, от эллинистической Александрии до средневековой Персии, от французского рококо до старообрядческих духовных стихов, то Юрий Верховский, Борис Садовской, Василий Комаровский тяготели к пушкинской эпохе как к эталону духовного и формального благородства. Да и сам Брюсов в эти годы, по проницательному позднейшему замечанию Ахматовой, «решил, что ему (то есть единственно истинному и *Первому поэту*) больше всего подойдет личина ученого *неоклассика*»¹. В этом контексте должны были восприниматься новые стихи Ходасевича, пару раз появлявшиеся в 1908 году в газете «Руль», а с 1910-го время от времени публиковавшиеся в журналах.

Впоследствии Пушкин и пушкинская эпоха станут для него предметом не только творческого диалога, но и ученых штудий. К этим штудиям он готовился смолоду. Брюсова, по словам Брониславы Рунт-Погореловой, Ходасевич поражал «своим изумительным знанием материалов о Пушкине, его переписке и многого такого, что покоилось в Пушкинском архиве и не доходило до широкой публики»². К этим же годам относятся воспоминания Мариэтты Шагинян — к ней и ее сестре Лине, жившим в Успенском переулке, Владислав Фелицианович часто заходил в гости вместе с Муни: «Он изумительно читал Пушкина; и чтение “Музы” с его голоса, буквально повторенное мною позднее, когда я “зачитала” ее Рахманинову и вслед за ним Николаю Метнеру, вошло в русскую музыкальную классику, отразившись в двух “Музах” этого композитора»³.

«Рассеянный» образ жизни, который Ходасевич вел в эти годы, казалось бы, не соответствует этому гармоническому идеалу. Не так ли, однако, жил сам Пушкин примерно в этом же возрасте, после Лицея? Только в его жизни, в дополнение к картам, пьянству, безденежью, балам и пылким разговорам, были еще театральные кулисы, политическая фронда (Ходасевич в эти годы ни театром, ни политикой не интересуется) и нестрогие дамы полусвета. А летом, в Михайловском, наступа-

¹ Ахматова А. А. Листки из дневника // Ахматова А. А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 2001. Т. 5. С. 131.

² Погорелова Б. Валерий Брюсов и его окружение // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 38.

³ Шагинян М. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1986. Т. 1. С. 251; впервые: Новый мир. 1973. № 4.

ло время спокойного и трезвого труда¹. Для Ходасевича Михайловским было Старое Гиреево, где жил он летом на даче у брата Виктора (родители проводили лето по соседству, в Новогирееве).

В Гирееве, кроме стихов, Ходасевич написал в 1908 году статью «Графиня Е. П. Ростопчина», которая — в переработанном виде — увидела свет лишь восемь лет спустя, в 1916-м, в журнале «Русская мысль». Что привлекло его в обыденной судьбе и не слишком значительных стихах второстепенной поэтессы середины XIX века, знакомицы Пушкина и приятельницы Лермонтова?

«В стихах ее довольно найдется формальных промахов, плохих рифм, образов, устарелых даже в ее время. Ее поэзия не блистательна, не мудра и — не глубока. Это не пышная ода, не задумчивая элегия. Это — романс, таящий в себе особенное, ему одному свойственное очарование, которое столько же слагается из прекрасного, сколько из изысканно безвкусного.

Красивость, слегка банальная, — один из необходимых элементов романса. Пафос его невелик. Но тот, кто поет романс, влагает в его нехитрое содержание всю слегка обыденную драму души страдающей, хоть и простой.

В наши дни, напряженные, нарочито сложные, духовно живущие не по средствам, есть особая радость в том, чтобы заглянуть в такую душу, полюбить ее чувства, простые и древние, как земля, которой вращенье, очарование и власть вечно священны и — вечно банальны. Ах, как стары и дряхлы те, кому кажутся устарелыми зеленые весны, шелк соловья и лунная ночь!»²

Любование «изысканной банальностью», старинным высоким простодушием, противопоставленным претенциозному манерничанью «девиц в платьях», мечта о волшебном-буколическом «ситцевом царстве» — все это вполне соответствовало тенденциям этих лет. Но у Ходасевича это лишь один из полюсов сознания и творчества. Второй — это, напротив, упоение собственными одиночеством, безлюбием, обреченностью и связанной с ними свободой. С ностальгией припоминаемые былые «лирические речи», «радости любви простой» и нынешнее «уединенное презренье», родственное вдохновению, которое зовется «святыней», сталкиваются в одном стихотворении. И это лишь ранняя, несколько наивная интерпретация той внутренней раздвоенности между «человеческим» в себе (мягким, чуть-чуть инфантильным, не свободным от сентиментальности) и

¹ И именно там и тогда написано стихотворение «Домовому» (1819), откуда Ходасевичем взято название книги «Счастливый домик» — книги, в которую вошли в том числе его стихи конца 1900-х годов.

² СС-2. Т. 2. С. 65.

высоким, вечным, космическим, требовавшим отречения и беспощадности. Где-то на сломе этих двух «я» рождалось знаменитое остроумие Ходасевича, в их единстве — его лирика.

Этот пафос гибельной избранности кажется ницшеанским, но в том преломлении, которое характерно для Ходасевича, он старше Ницше. Можно вспомнить о «русском байронизме», под знаком которого прошла юность Пушкина и Лермонтова.

Впрочем, если говорить о непосредственных предшественниках Ходасевича-поэта в первой половине XIX века, то это, конечно, в первую очередь Евгений Баратынский. Переклички с ним уже на рубеже 1910-х годов многочисленны и явственны.

Вот одно из вершинных стихотворений позднего Баратынского:

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

А вот Ходасевич — «Душа», стихи 1908 года:

О, жизнь моя! За ночью — ночь. И ты, душа, не внемлешь миру.
Усталая! К чему влачить усталую свою порфиру?

Что жизнь? Театр, игра страстей, бряцанье шпаг на перекрестках,
Миганье ламп, игра теней, игра огней на тусклых блестях.

К чему рукоплескать шутам? Живи на берегу утрюмом.
Там, раковины приложив к ушам, внемли плененным шумам —

Проникни в отдаленный мир: глухой старик ворчит сердито,
Ладья скрипит, шуршит весло, да вопли — с берегов Коцита.

Стихотворение Ходасевича замечательно (оно выше всего, написанного им прежде, кроме «В моей стране»), но при этом переключка с Баратынским очевидна: Ходасевич пишет как будто по канве своего предшественника. Но если у Баратынского

внешний мир ограничен, тесен, но подлинен, а «возвратные сновидения» — это (вполне возможно) образы этого же бедного мира, по второму и третьему разу являющиеся к уже изведанной их душе, то Ходасевич переосмыслиет расхожую фразу «мир — театр, люди — актеры», уличая внешние страсти в поддельности. Душе стоит слушать только скудные, но настоящие звуки отдаленного мира, мира между жизнью и смертью: шуршание весла, скрип ладьи, ворчание глухого...

Можно воспринимать это как своего рода манифест. Как бы ни было бедно это настоящее, это инобытие, поэт не перестает быть наследником и двойником Орфея. Но его участь одновременно и величественна, и жалка. Он — бедный Орфей.

...Еще ручьи лепечут непрерывно,
Еще шумят нагорные леса,
А сердце замерло и внемлет безотзывно
Послушных струн глухие голоса.

И вот пою, пою с последней силой
О том, что жизнь пережита вполне,
Что Эвридики нет, что нет подруги милой,
А глупый тигр ласкается ко мне.

Отец, отец! Ужель опять, как прежде,
Пленять зверей да камни чаровать?
Иль песнью новою, без мысли о надежде,
Детей и дев к печали приучать?

Пустой души пустых очарований
Не победит ни зверь, ни человек.
Несчастен, кто несет Коцитов дар стенаний
На берега земных веселых рек!..

Эти стихи написаны в начале 1910 года. Спустя неполных два года акмеисты противопоставят символистскому образу поэта-мага — поэта-мастера. Ходасевич не принял этой замены. Для него поэт остается магом, пророком. Но беда не только в том, что мир, из которого пророк несет вести, безотраден. Мир, в который он несет весть, имеет право на свою невинную и ограниченную гармоничность. Отвергая Орфея, защищая себя от его «пустых очарований», он в своем праве.

4

Тем временем в жизни Ходасевича появляются новые люди — и возвращаются прежние знакомые.

По-новому расцветает дружба с Андреем Белым. На смену пьяному бреду петербургской поездки осенью 1907 года при-

ходит ясная интеллектуальная дружба. Если с Муни Владислав проводит взвинченные вечера, то с Белым — трезвые дни. «Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть и прост, и уютен... <...> Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющи. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось — читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был, в общем, упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы “Серебряного Голубя”. То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо»¹. Ходасевичу едва ли не первому Белый изложил свою новую, революционную по тем временам теорию русского стиха.

Любовь к Белому и восхищение им не исключали некоторой иронии в его адрес — даже в эти годы. Еще в 1907-м Ходасевич написал остроумную пародию на «Симфонию», но без одобрения Бориса Николаевича (Ходасевич и Белый продолжали обращаться друг к другу на «вы» и по имени-отчеству) публиковать ее не стал. Белый и в эти годы побаивался злого языка своего младшего друга, но Ходасевич до поры сдерживал себя. Сам Борис Николаевич Бугаев, в жизни которого было в те годы разное: бесконечные довыяснения отношений с Блоками, ссоры с «Золотым руном», публичные скандалы, та же «Штемпелеванная культура», с Ходасевичем соприкасался в основном ясной, солнечной стороной своего сознания. Но с иным житейским обличем Андрея Белого Ходасевичу еще придется столкнуться.

Другой человек из недавнего прошлого, Александр Брюсов, несколько лет провел в странствиях. Как иронизировал его старший брат, в книге Alexander’а «По бездорожью» (1907) чуть ли не каждое стихотворение «помечено другою частью света». В ходе этих скитаний он время от времени посылал тогда еще богатому Ходасевичу открытки с просьбой прислать денег (видимо, ему легче было обратиться с этой просьбой к гимназическому другу, а не к старшему брату). Побывав в Египте, Америке, Австралии, он снова объявляется в Москве.

В 1909 году на одном из поэтических вечеров на квартире Петра Зайцева Александр Яковлевич появляется со спутни-

¹ Ходасевич В. Андрей Белый // СС-4. Т. 4. С. 52.

цей — худенькой темноглазой девушкой. Брюсов представлял ее как свою жену. Ее звали Анна Ивановна, близкие знакомые называли ее Нюра, ей было 22 или 23 года, она приходилась сестрой Георгию Чулкову, чьи стихи Ходасевич недавно так разобрал. Несмотря на свою молодость, Анна Ивановна уже испытала в жизни многое: побывала замужем за журналистом Евгением Гренционом (чью фамилию продолжала носить), родила сына Эдгара (Гарика, или Гаррика, как звали его дома), рассталась с мужем, некоторое время жила с Борисом Диатроповым («который не был ни поэтом, ни писателем, но был умным человеком, большой культуры и тонкой души»¹, и тоже дружил с Ходасевичем), ушла от него к Александру Брюсову... По-видимому, официальный развод с Гренционом последовал не сразу: во всяком случае брак Анны с Брюсовым так и остался невенчанным.

Анне Ивановне очень понравились стихи Ходасевича (раньше она их не знала). Вскоре дружеское общение Брюсова-младшего и Ходасевича возобновилось. По ее словам, «Владя стал у нас часто бывать, даже гостил у нас на даче, совместно переводил с А. Б. какой-то испанский роман, писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии и тому подобные вещи»².

Нюра быстро стала ближайшим другом Ходасевича — гораздо ближе, чем Александр. Она была в числе первых читателей его стихов, и она была единственным (наряду с Муни) человеком, с которым он мог поделиться сокровенными личными переживаниями. Тем более что как раз с Муни в 1909—1911 годах не всем можно было поделиться: духовные и личные метания двух друзей опасно совпадали по фазе, и в метаниях этих была замешана одна и та же женщина.

Что же происходило с Самуилом Викторовичем Киссиным в 1908—1909 годах? Об этом известно от Ходасевича, а он много недоговаривает.

«После одной тяжелой любовной истории... Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот, — больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни “по причинам полицейского, паспортного порядка”.

¹ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 409.

² Там же. С. 394.

Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. <...>

Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши “смыслы” становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т. д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. <...> И вот однажды я оборвал все это — довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью — Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой-то державинской пьесы.) Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу “Счастливый Домик” под заглавием “Поэту”. Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно — исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся “в себя”, хоть не сразу¹.

В стихах Макшеевой, стилизованных, как многое у тогдашнего Ходасевича, ситуация, породившая «раздвоение» личности Киссина, освобождена от всякого драматизма:

Ты губы сжал и горько брови сдвинул,
А мне смешна печаль твоих красивых глаз.
Счастлив поэт, которого не минул
Банальный миг, воспетый столько раз!

Ты кличешь смерть — а мне смешно и нежно:
Как мил изменицей покинутый поэт!
Предчувствую написанный прилежно,
Мятежных слов исполненный сонет...

Наверное, так все и было бы, если бы за «беклемишевским» опытом Муни в самом деле стояла только неразделенная любовь. Но причины были глубже: ошущая свою «недоволенность», друг Ходасевича мечтал — подобно измышленному Достоевским черту — о безвозвратном превращении «хоть в семипудовую купчиху». Не исключено, что в случае Муни за

¹ Ходасевич В. Муни // СС-4. Т. 4. С. 76—77.

этой игрой стояло и тайное желание уйти от своего еврейства (в реальной жизни всякие попытки такого ухода были для Муни табуированы — хотя бы из-за привязанности к родителям).

Так или иначе, единственный биограф Муни, И. Андреева, убеждена: женщина, увлечение которой толкнуло его на «беклемишевский» эксперимент, — это Евгения Владимировна Муратова, урожденная Пагануцци.

Прадед Евгении Владимировны, итальянский архитектор, был приглашен в Россию при Николае I, но по пути стал жертвой разбойников. Император, в компенсацию гибели супруга, даровал его вдове русское дворянство и поместья. В 1905 году двадцатилетняя Евгения вышла замуж за Павла (Патю) Муратова — журналиста, художественного критика и искусствоведа, хранителя Отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея. Будучи близким другом Бориса Зайцева, Муратов с 1906 года активно участвовал в культурной жизни Москвы, много писал в «Перевале», входил в редакцию «Литературно-художественной недели». В 1908-м Муратов впервые посетил Италию и влюбился в эту страну. Его «Образы Италии» (1911—1912) стали важным культурным событием: это было не просто новое открытие ренессансной культуры человеком эпохи модернизма, начинавшим со статей про Сезанна, Мане, с «Мира искусства»; книга Муратова — образец того благородно-уравновешенного мирозерцания, которое в 1910-е годы пришло на смену расхлябанной «гражданственности» и декадентской экзальтации и могло стать — но, увы, не стало — основой для гармоничного развития страны. Муратов был замечательным специалистом и по древнерусской иконописи. Кроме того, он писал стилизованные новеллы и пьесы (есть у него и роман — «Эгерия»), политические статьи и даже работы по военной теории (в 1904—1905 годах он проходил действительную армейскую службу, а в дни Первой мировой был офицером-артиллеристом). В памяти современников он остался как законченный пример «русского европейца», идеалистически настроенного, но не лишённого практической жилки, и притом наделенного безупречным вкусом. Жизнь его была довольно богата событиями, и ему еще не раз приходилось пересекаться с Ходасевичем — и в Москве в дни «военного коммунизма», и позднее в эмиграции. Евгения Пагануцци, как будто сошедшая с полотна художника эпохи Кватроченто, своей внешностью и грацией вполне соответствовала идеалам Муратова. Но брак их — в легкомысленно-богемной московской обстановке конца 1900-х — оказался непрочным.

Позднее, уже в советское время, Евгения Муратова несколько подкорректировала свою биографию, добавив туда Высшие

женские курсы и «забыв» про занятия танцами. Неудивительно: в это время Муратова служила в Наркомфине, а потом в издательстве «Перевал». Но пятнадцатью годами раньше Пагануцци была прилежной ученицей студии балерин-босоножек, последовательниц Айседоры Дункан, созданной в Москве Элли (Еленой Ивановной) Рабенек. (Ходасевич, кстати, был близко знаком по меньшей мере еще с одной студисткой Рабенек — Татьяной Саввинской; она упоминается в автобиографической хронике и мемуарах А. И. Ходасевич, и, видимо, Татьяна из «донжуанского списка» соответствует именно ей.)

Муратова была предметом более или менее глубокой влюбленности многих. Муни эта неудачная влюбленность в конечном итоге побудила решительно изменить жизнь. «Беклемишевская история» и попытки «воплотиться в семипудовую купчиху» повлекли за собой другие, более житейские события, о которых сейчас рассказывать не время»¹, — кратко пишет Ходасевич, но о чем он умалчивает, понять нетрудно. Чтобы забыть о Муратовой, Муни (возможно, еще в «беклемишевской» роли) в конце мая 1909 года женился на двадцатидвухлетней Лидии Брюсовой, младшей сестре Валерия и Александра Яковлевичей. Поступок этот был связан, между прочим, с преодолением ряда препятствий: Беклемишев-то, вероятно, был православным, а вот Самуил Викторович Киссин принадлежал к иудейскому вероисповеданию. В Российской империи брак между православной и иудеем был невозможен, переход из православия в иудаизм тоже, а Киссин креститься не хотел. Оставалась одна возможность: переход невесты в лютеранство (что до 1905 года тоже не допускалось — но в начале XX века российские законы стали либеральнее). Лютеранская церковь допускает венчание с иудеем или мусульманином. По этому пути и пошли Самуил Викторович и Лидия Яковлевна.

Можно представить, какие чувства вызвало это в московской купеческой семье Брюсовых, пусть и далекой от патриархальности. Ходасевич язвительно вспоминает про антисемитизм Валерия Яковлевича, который «не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога»². Но, судя по все-

¹ Ходасевич В. Муни // СС-4. Т. 4. С. 77.

² Многие исследователи не соглашались с этой оценкой, указывая, что Брюсов ничего похожего на антисемитизм публично не проявлял. В самом деле, он переводил Хаима Нахмана Бялика, написал стихотворения «На осуждение Дрейфуса» и «Еврейские девушки», тепло отзывался о юношеских книгах Ильи Эренбурга и Бенедикта Лившица, наконец, принял участие (с рассказом «Пасхальная встреча») в направленном против юдофобии сборнике «Щит». Но при этом он вполне мог быть сторонником

му, гораздо сильнее, чем предубеждения окружающих, внешне вполне благополучный брак Киссиных омрачало то, что Самуил Викторович никак не мог забыть Евгению Муратову. Впрочем, если Муни хотел «воплотиться», обрести бытовым обличем, можно сказать, ему это удалось. Только вот принесло ли это ему счастье?

Весной 1910 года с Муратовой познакомился Ходасевич. Почти сразу же начался их роман. Евгения увидела Владислава таким: «Довольно высокого роста, очень тонкий, даже худой. Смугло-зеленоватая кожа лица, блестящие черные волосы, гладко зачесанные. Элегантный, изящный, как-то все хорошо на нем сидит. В пенсне. Когда он их снимает, то глаза у него детские и какие-то туманные (Я говорила: как у новорожденного котенка, — он смеялся.)»¹. Любопытно, что все прочие в это время описывают Ходасевича низкорослым.

Воспоминания Муратовой о Ходасевиче (две страницы) — текст довольно сбивчивый, сумбурный. В основном — описания совместных блужданий по Москве. Влюбленные гуляли по ночным бульварам, заходили в кафе, ресторанчики — даже в извозчицьи чайные. Слушали ресторанных артистов. Муратова утверждает, что однажды они видели Вертинского, который «читал и пел свои стихи», и что Ходасевичу его выступление понравилось (но это сомнительно: в 1910-м будущий знаменитый шансонье только что приехал в Москву из Киева и лишь два года спустя начал выступать публично, на сцене Театра миниатюр). Иногда ездили в Петровский парк, в Сокольники. Случалось, Евгения сопровождала своего спутника в Литературно-художественный кружок и присутствовала при его картежной игре. Любовь к «острым ощущениям» — это было ей понятно. Остроумная, очаровательная, живая «царевна» (как называл ее Ходасевич в стихах) была из тех, кто дышал воздухом «веселой легкости бездумного житья» предвоенных лет. Такой он ее и описал:

Царевна ходит в красном кумаче,
Румянит губы ярко и задорно,
И от виска на поднятом плече
Ложится бант из ленты черной.

«сегрегации» в семейно-брачных делах. Вообще, ни в одном вопросе публичное и приватное поведение русского интеллигента начала XX века так не разнилось, как в еврейском. Самый яркий пример — Александр Куприн, из-под пера которого вышли и «Гамбринус», и проникнутое почти погромными чувствами письмо Ф. Д. Батюшкову. О степени антисемитских настроений Александра Блока стало известно лишь после публикации его личного дневника.

¹ Цит. по: *Андреева И.* Неуловимое создание. С. 121.

Царевна душится изнеженно и пряно
И любит смех и шумный балаган, —
Но что же делать, если сердце пьяно
От поцелуев и румян?

Переписка Ходасевича и Муратовой поразительно не похожа на переписку с Петровской — и не только потому, что с Ниной они были друзьями, а не любовниками. Быстрый, лихорадочный, но зоркий взгляд на мир и вещи, житейская наблюдательность и выразительный язык Евгении Владимировны (всего этого у нее несравнимо больше, чем у писательницы Петровской) — это было Ходасевичу близко и созвучно. «В тутошней стране даже говорить не умеют: вместо “грибы” говорят “рыба” и вместо “рыба” “грыбы”, и лица у финнов безразличные — ни глаз, ни носа, ни рта, а нечто среднее»¹ (письмо из Териоки от 13 августа 1910 года). Но Владислав Фелицианович неслучайно жаловался Анне Чулковой на «не вполне серьезное отношение к его любви» со стороны Евгении. Отзвуки этих жалоб есть и в его немного иронических строках:

...Хорошо, что в этом мире
Есть еще причуды сердца,
Что царевна, хоть не любит,
Позволяет прямо в губы
Целовать.

.....
Хорошо с улыбкой думать,
Что царевна (хоть не любит!)
Не забудет ночи лунной,
Ни меня, ни поцелуев —
Никогда!

Сам он был влюблен страстно и горячо.

«Я читаю, перевожу, курю папиросы (это самое прекрасное из всего) — и сквозь все счастливая какая-то мысль, даже не мысль, а знание о тебе: что где-то есть ты. Это было бы почти счастьем, если бы не необходимость реального ощущения: видеть и целовать. Теперь еще больше, чем прежде, завидую твоей радости — быть всегда с собой. Милая, закрой глаза и поцелуй свою руку много раз» (письмо от 26 июля 1910 года)².

В каком-то смысле эта любовь была более естественной и ясной, чем юношеская — к Марине Рындиной. Но как и у той, у этой любви не было будущего.

В это время Евгения еще была замужем за Павлом Муратовым. Муж, «безвозвратно-домашний и преданный»³, вызывал

¹ Цит. по: *Андреева И.* Неуловимое создание: [О Е. В. Муратовой]: Встречи. Воспоминания. Письма. С. 160.

² Там же. С. 159.

³ Там же. С. 160.

у нее жалость, которая, однако, не могла перевесить «причуды сердца», легкомыслие, жажду новых впечатлений. Сам же он, как истый джентльмен, не позволял себе проявлять ревность и был корректен с поклонниками жены. Однако и в его жизни со временем появились новые увлечения, а отношения с Евгенией стали чисто дружескими. Муратовы подолгу жили в Петербурге и в Финляндии, Владислав проводил летние месяцы в Гирееве — разлуки лишь обостряли и укрепляли влюбленность. Развязка наступила только в 1911 году — и за многие сотни верст от Москвы.

5

Впоследствии, в послереволюционное время, в дни еще «полуэмигрантских» скитаний по Европе, Ходасевич с ностальгией вспоминал «былые поездки за границу». Но на самом деле такая поездка была лишь однажды — летом 1911 года.

Беспорядочный образ жизни, который вел Ходасевич в течение трех лет, не мог не сказаться на его и так уже некрепком здоровье. В конце 1910 года у него обнаружили туберкулез. К счастью, Владислав Фелицианович только что получил первые крупные гонорары из «Пользы», так что болезнь стала поводом для путешествия в Италию.

Как раз так получилось, что Евгения Муратова в эти же месяцы отправилась на гастроли с «труппой босоножек» Элли Рабенек. Влюбленные договорились о встрече в Венеции.

Второго июня 1911 года Ходасевич садится в поезд на Белорусско-Балтийском вокзале.

Путь из Москвы в Европу проходил через западные окраины России. Впервые Владислав увидел мир, в котором жили его предки — польские, литовские и еврейские, услышал на станциях язык своих родителей.

На второй день поездки он пишет Муни:

«На границе польский язык (там обращаются к пассажирам сперва по-польски, а потом уже по-немецки) — меня избавил от труда вынимать ключи из кармана: совсем не смотрели. Это, впрочем, меня огорчило: зачем же я не взял папирос? Если бы ты знал, что за мерзость немецкие или австрийские (черт их дер!) папиросы!! Я тебе привезу в подарок...

В Ивангороде поезд стоял 20 минут, и я свел знакомство с человеком, у которого были настоящие рыжие пейсы. Милый, но скучный: примирился со всем. Ну, вот. А в Польше на могилах ставят кресты, на которых можно распинать великанов, я не преувеличиваю. Такие же кресты — на перекрестках. Долж-

но быть, нет страны печальнее, несмотря на белые домики и необычайно кудрявые деревья»¹.

Дальше — Вена: «В Вене все толстые, и мне слегка стыдно. Часов в 9 встретил я похороны... хоронят здесь рысью. Ящик с покойником прыгает, венки прыгают, — все толстое, пружинистое — и прыгает»².

И вот — Италия. Но прежде чем приводить цитаты из итальянских писем и статей Ходасевича 1911 года, вспомним одно его гораздо более позднее стихотворение — «Брента, рыжая речонка...» (1920). Воспоминания о реке, которая упоминается в «Евгении Онегине» и которая для русских романтиков была символом *la bella Italia* (прекрасной Италии. — *В. Ш.*), вызывают у него такие строки:

...Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрыленный и счастливый
Вдохновением любви.
Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента.
С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и в стихах.

Может сложиться впечатление, что Ходасевич ехал в Италию, охваченный романтическим эстетизмом, а столкнулся с «житейской прозой». Но вот его письмо Муни от 18 июня:

«Италия — страна божественная. Только всё — “совсем не так”. О Ренессансе хлопочут здесь одни русские. Здешние знают, что это все было, прошло, изжито, и ладно. Видишь ли: одурелому парижанину русский стиль щекочет ноздри, но мы ходим в шляпах, а не в мурмолах, Василия Блаженного посещаем вовсе не каждый день, и даже новгородский предводитель дворянства, с которым я очень знаком, не плачет о покорении Новгорода. Здесь в каждом городе есть памятник Гарибальди и *via Garibaldi*³. Этим все сказано. Ежели бы российские италиелюбцы были поумнее, они бы из этого кое-что смекнули.

Итальянцы нынешние не хуже своих предков — или не лучше. Господь Бог дал им их страну, в которой что ни делай — все

¹ Киссин С. Легкое бремя. С. 222.

² Там же.

³ Улица Гарибальди (*ит.*).

выйдет ужасно красиво. Были деньги — строили дворцы, нет денег — взгромоздят над морем лачугу за лачугой, закрутят свои переулочки, из окна на ветер вывешат рыжие штаны либо занавеску, а вечером зажгут фонарь — Боже ты мой, как прекрасно! В Генуе новый пассаж, весь из гранита. Ничего в нем нет замечательного, — а вот ты попробуй-ка из гранита сделать так, чтобы некрасиво было: ведь это уже надо нарочно стараться. А у нас — ежели ты уж очень богат, ну, тогда можешь пустить мраморную облицовочку, которую неизбежно надо полировать (иначе она безобразна), — но из нее ничего, кроме модерничка, не смастеришь.

Здесь *нет* никакого искусства, ей-Богу, ни чуточки. Что они все выдумали? Здесь — жизнь, быт — и церковь. Царица-Венеция! *Genova la superba!*¹ Понюхал бы ты, как они воняют: морем, рыбой, маслом, гнилой зеленью и еще какой-то специальной итальянской тухлятиной: сыром, что ли? А выходит божественно! Просто потому, что не “творят”, а “делают”. Ах, российские идиоты, ах, художественные вы критики! Олухи царя небесного! Венецианки поголовно все ходят в черных шальях без всяких украшений, с широкой черной бахромой, и ничуть в них не драпируются, потому что некогда. Красиво — изумительно. Это что же, Джотто какой-нибудь выдумал?»²

Вот что отвечает на это скептический Самуил Киссин (письмо от 25 июня):

«Ты знаешь, та Италия, о которой ты пишешь, открыта Немировичем-Данченко и П. П. Гнедичем? Это тоже старая Италия! Ну что ж. Ведь ты сам знал, знаешь и, сколько бы ни мистифицировал себя, будешь знать, что грязь на улицах столь же показательна, как и архитектура; что в Николаевскую эпоху фокус общества был вовсе не в Пушкине; что Россия того времени едва ли была в 3 тысячи человек (может, и меньше, сколько подписчиков у Литературной Газеты?); что в Ассирии был тоже быт, а не одни Сарданапалы и отрубленные головы царей. И где это быт не главное?»³

В это время поездку в Италию и сочинение стихов, вдохновленных соответствующими культурными впечатлениями, в том числе живописью Ренессанса, были делом расхожим (вспомним знаменитый блоковский цикл 1909 года и гумилёвский — 1912-го, а также более поздние, созданные по воспоминаниям стихи Кузмина). Прибавим сюда и уже упомянутые «Образы Италии» Муратова. Ходасевич, может быть, из чувства противоречия, с самого начала желал видеть и искать в Ита-

¹ Великолепная Генуя (*ит.*).

² Цит. по: *Андреева И.* Неуловимое создание. С. 166—167.

³ Там же. С. 168.

лии «другое»; можно предположить, что и впечатление от Брен-ты было «запрограммировано». Интересно, что точно в таких же «прозаических» красках («И с мутною водою Язузы сравню миродержавный Тибр») описывает Италию никогда в ней не бывший Василий Комаровский в своем «путевом цикле», написанном всецело по воображению.

Впрочем, сам Ходасевич не только в 1911 году, но и позднее создал несколько стихотворений, в большей мере вписывающихся в традиционный для русской поэзии (со времен Тютчева, Фета, Майкова) канон стихов о «цветущей Авзонии», в которых даже «низменный» быт эстетизирован с оглядкой на ренессансную живопись:

Красный Марс восходит над агавой,
Но прекрасней светят нам они —
Генуи, в былые дни лукавой,
Мирные, торговые огни.

Меркнут гор прибрежные отроги,
Пахнет пылью, морем и вином.
Запоздалый ослик на дороге
Торопливо плещет бубенцом...

Ходасевич жил рядом с Генуей — в Нерви. Перед этим он побывал в Венеции, где в отеле «Leone Bianco» встретился с Муратовой. Евгения присоединилась к нему; их совместная жизнь в Нерви свелась к типичному курортному времяпрепровождению. Евгения подолгу купалась, Владислав в это время, не заходя в воду, пил пиво на пляже. Вечерами гуляли по Генуе, заходили в кабачки из самых непрезентабельных, не посещаемых туристами. Иногда карабкались на гору («что очень нравится Жене и чего терпеть не могу я», — прибавляет Ходасевич в письме к Муни). Некоторую пикантность ситуации придавал тот факт, что в это же самое время в Венеции, с новой подругой, находился Павел Муратов.

В конце июня Муратова уехала в Россию. На этом ее роман с Ходасевичем закончился, хотя они еще обменялись несколькими в меру нежными письмами. Из Нерви Владислав Фелицианович направился в начале июля во Флоренцию. Оттуда он 12 июля послал письмо Брюсовым — Александру Брюсову и Анне Чулковой, которые в тот момент тоже находились далеко от России — в Париже: «Если Нюра останется в Париже, Александр, приезжай за мной, вместе поедем в Рим. Ну-ка покажи прыть! А то приезжайте оба: возле Риальто есть чудесные кабачки, где можно играть в преферанс»¹.

¹ Цит. по: *Андреева И.* Неуловимое создание. С. 171.

Александр Яковлевич в Париже заскучал; пятью днями раньше он жаловался в письме Ходасевичу: «Никакой разницы с Москвой не замечаю — те же лица (Чулковы, Савиничи и пр. и пр.), вместо Грека — кафе Паскаль, вместо русского биллиарда — карамболь»¹.

Однако во Флоренцию ни он, ни его жена все же не поехали. Анна Ивановна находилась в Париже «по делу»: она «училась наводить красоту», чтобы открыть в Москве собственный салон (или даже «Институт красоты»). Отлучаться она не могла и не хотела, хотя ее дружеские чувства к Ходасевичу, возможно, уже перерастали в нечто большее. Ласково осведомляясь об успехах Анны в искусстве косметики, Владислав прибавлял — «все мои цыпочки отныне принадлежат тебе». С учетом событий, которые произойдут несколько месяцев спустя, эти слова приобретают другой — серьезный — смысл.

Пока что он, как и планировал, перебрался в Венецию, где находился его приятель, искусствовед и писатель Борис Грифцов. Их времяпрепровождение Ходасевич описывает в лихом и шутовском письме Чулковой от 20 июля:

«Ухаживаем за экскурсантками напропалую. Установили правило: иначе как вдвоем на гондолах не ездить. Экскурсантки — рожи несосветимые, все какие-то пузатые, без каблучков и в плохих платьях. Степень их цивилизованности невелика: с употреблением мыла немного знакомы, но ногтей не чистят, а о пудре никогда не слыхали. За все время было штуки четыре пригодных. Так мы их чуть не съели»².

Раскованный тон итальянских писем Ходасевича хорошо показывает те непринужденные приятельские отношения, которые сложились у него с женой Александра Брюсова. Такие отношения иногда складываются между бывшими супругами или любовниками, но почти никогда не предшествуют любви. Во всяком случае, это утверждение кажется правильным для *той* эпохи. И однако всегда случаются исключения.

Ходасевич собирался жить в Венеции, пока не кончатся деньги. Закончились они быстро, хотя Владислав Фелицианович не прекращал в Италии работать. Два «венецианских» эссе — «Ночной праздник» и «Город разлук» — были напечатаны в «Московской газете» уже после того, как Ходасевич покинул Италию — 16 августа и 23 сентября 1911 года. Первый из этих текстов перекликается с уже процитированным его письмом Муни:

«Бродя по извилистым, тесным, в море спадающим улочкам одного городка Италии, понял я раз навсегда, что красо-

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 6.

² Цит. по: Андреева И. Неуловимое создание. С. 172.

та — несправедливый и милый дар неба, навеки данный этой стране. Ей не уйти, не укрыться от красоты, ни за какие грехи ее не лишиться.

Вот, по изломам и срывам прибрежной скалы, лепит она несуразные домики из грубого серого камня, а выходит прекрасно: прихотливо громоздятся крыши над крышами, выступают углы, выются улочки, повисают мосты над ручьями, бегущими с гор. Выше, там, где кипарисы колоннадой обступили тесное кладбище, высится колокольня невидимой церкви. Еще выше — виноградник от оливы к оливе перекинул плавные свои гирлянды. Под вечер желтая звезда загорается над дальней густо-зеленой пальмой. Полуголые ребятишки копошатся в дорожной пыли, кричит запоздалый мул, влача громоздкую телегу на двух колесах. А там, внизу — темно-синей равниной простерлось море».

Дальше — сцена, которая могла бы стать сюжетом стихотворения Ходасевича: гроза мешает уродливо-«романтичному» катанию на гондолах обывателей-туристов, возвращая городу его подлинную красоту.

Во втором очерке поэт позволяет себе более личную, интимную ноту, касается того, что занимало его мысли и сердце в те дни:

«Хотел бы я посмотреть на того чудака, который первый пустил по свету сплетню, будто Венеция — прекрасный приют для влюбленных. Конечно, одно из двух: или он был наивен, ужасно наивен, до трогательности, до того, что уже невозможно на него сердиться, — или же это был злой старикашка, завистливый и беззубый, решивший подставить петушью свою ножку всем, кто послушает коварного его совета.

Нигде так легко не расстаешься с надеждами и людьми, как в Венеции. Там одиночество не только наименее тягостно, но наиболее желанно. И вовсе не для того, чтобы сосредоточиться, уйти в себя, но напротив: чтобы забыть себя, потерять былое, сделаться одним из тех, кто часами сидит на набережной, глядя в туманную даль лагуны или на узкую башню *San Giorgio*.

Венеция — город разлук. <...>

Но трудно уехать отсюда домой, в Россию. Здесь научаешься любить камни, черную воду каналов, соленые испарения моря, рыжие занавески на окнах да людей, проходящих, как тени. <...>

Здесь хочется не любить и не хочется быть любимым. Венеция — город разлук».

В те же дни, видимо, написан и рассказ «Иоганн Вейсс и его подруга», напечатанный в «Утре России» (13 декабря): трогательная, в андерсеновском духе сказка о любви поэта-мечтате-

ля и нарисованной женщины, танцовщицы с афиши. Танцовщица становится спутницей поэта, ибо кусок афиши, на котором изображен ее возлюбленный-апаш, оторвали. Но вот апаша водрузили на место — и счастье поэта закончилось. «Игрушечность», в сущности, выдуманного счастья смягчает его потерю. Все заканчивается не отчаянием — всего лишь легкой поэтической грустью. Тем более что в жизни танцовщица ушла отнюдь не к грубому и жестокому апашу.

Любовную разлуку Ходасевич на сей раз пережил легче, чем в 1907—1908 годах. Может быть, потому, что на вечный союз и надежды не было, а может, подействовала венецианская анестезия. И вероятно, она бы действовала и дальше, если бы не новое, неожиданное горе, поджидавшее поэта в России.

6

За несколько дней до отъезда из Венеции в Москву (1 августа 1911 года) Владислав получил письмо от матери из Новогиреева:

«У нас все по-старому, отец за пасьянсом, я хозяйничаю, стряпаю и даже купаюсь в Шереметевском пруду, от нас это далеко, но ничего, это мое единственное удовольствие»¹.

Владислав и подумать не мог, что это — последнее письмо, написанное ему материнской рукой, и что жить Софье Яковлевне Ходасевич осталось всего полтора месяца.

Умерла она 20 сентября — и вот при каких обстоятельствах. Оставив мужа в Новогирееве (где старики оставались и осенью, несмотря на прохладную — не выше 8 градусов по Цельсию — погоду, стоящую в конце сентября), Софья Яковлевна отправилась в город, чтобы навестить заболевшую дочь Евгению.

Когда она ехала в извозничьей пролетке по Большому Спаскому переулку, «из ворот дома Шолохова выбежала, громко лая, чья-то собака. Лошадь испугалась и понесла. Удержать ее извозчик был не в силах. Во 2-м Знаменском переулке пролетка опрокинулась. Госпожа Ходасевич была выброшена на мостовую, причем со страшной силой ударилась головой о фонарный столб. Несчастную подняли с раздробленным черепом. Со слабыми признаками жизни ее отправили в приемный покой Сретенской части, где она через несколько минут скончалась».

Так сообщала об ужасной смерти «матери известного присяжного поверенного» «Московская газета» за 21 сентября 1911 года. Через два дня последовало уточнение: «Не столько

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 1.

виновата собака, испугавшая лошадь извозчика, сколько промчавшийся мимо автомобиль». (Вспомним несущий гибель и забвение автомобиль из «Тяжелой лиры» Ходасевича.) Так или иначе, дочь Якова Брафмана, верную жену бесталанного живописца, неудачливого фотографа и разорившегося купца, в газетном сообщении о ее смерти названного «учителем рисования», мать шестерых детей, истовую католичку еврейского происхождения убил призрак нового века.

Эта внезапная смерть сама по себе была большим несчастьем. Но кроме того, она обострила то чувство тоски, покинутости, одиночества, которое уже стало для Ходасевича привычным и которое он привык заглушать ночными бдениями, карточной игрой, алкоголем.

«Осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что мне попалося на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

— Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал»¹.

Вскоре, 24 ноября, от грудной жабы умирает Фелициан Иванович. Отец был уже, по меркам того времени, очень стар и давно болен, но трудно сказать, как бы могла отозваться его смерть на расстроенных нервах его младшего сына, если бы между двумя печальными событиями, во второй половине октября или в начале ноября, в его жизни не произошли перемены совсем неожиданные.

Вот два письма. Первое написано Владиславом Фелициановичем в день смерти отца и адресовано Нине Петровской:

«Однажды ночью, еще не зная Вашего адреса, написал я Вам большое письмо, да наутро перечел его — и не отправил: стыдно стало даже Вас. Уж очень было оно “настоящее”».

Прошло с тех пор полторы недели. Сегодня я в силах сообщить Вам лишь факты, о коих Вы, пожалуй, уже знаете. Ныне под кровом моим обитает еще одно существо человеческое. Если еще не знаете кто — дивитесь: Нюра. Внутреннюю мотивировку позвольте оставить до того дня, когда снова встретимся мы с Вами здесь, на этой земле, а не где-нибудь еще.

Милая Нина! Я — великий сплетник, но молчал о словах, которые слышал целых полтора года. Во дни больших терзательств мне повторили их снова — и стало мне жить потеплее. Тогда я сдался. Вы хорошо сказали однажды: женщина должна

¹ Ходасевич В. Муни // СС-4. Т. 4. С. 78—79.

быть добрая. Ну вот, со мной добры, очень просто добры и нежны, по-человечески, не по-декадентски. Ныне живу, тружусь и благословляю судьбу за мирные дни»¹.

Это письмо, черновик которого был случайно обнаружен в книге, приобретенной в букинистическом магазине, возможно, тоже осталось неотправленным.

О том, как все выглядело «с другой стороны», свидетельствует письмо Анны Чулковой Надежде Яковлевне, сестре бывшего мужа:

«Дорогая Надя!

Спасибо тебе, родная, за письмо: было страшно немножко. Теперь уже лучше, есть еще страх, но уже за другое — за Гареньша.

Не умею я писать писем, а тебе особенно — ведь ты строгая. Но все-таки попытаюсь рассказать, как было. Помнишь, еще весной между мной и Сашей были недоразумения? Потом, за границей, я вдруг почувствовала себя большой. Большой и приехала в Москву. А Саша все продолжал быть маленьким. Да еще ему дали новую игрушку — военную службу. Вот он и ушел с нею куда-то далеко от меня. А я осталась одна. Правда, было утешение — моя дружба с Владей. Помнишь, весной я не знала, куда пойти с моим горем, к тебе или к Владе? Мы давно были очень дружны. День ото дня Саша все дальше уходил от меня, а дружба с Владей — крепла. А вот как пришла и когда пришла любовь — не знаю. Знаю, что люблю Владю очень как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о женщине как о чем-то низком, и благодаря этому все гораздо проще и понятней. Наша старая дружба позволила нам узнать друг друга без прикрас, которыми всегда прикрываются влюбленные.

Все-таки перед уходом от Саши было у меня маленькое колебание: страшно, если Гарька будет голодать. Потом поняла, что гадко обманывать себя и Сашу даже из-за Гареньша.

Ведь мне еще только 25 лет! Неужели же я не найду возможности как-нибудь заработать деньги для Гарьки? Пока не кончу курсы, будет мне трудно. Гареньш сейчас у отца с Fräulein и чувствует себя хорошо. Я его почти каждый день вижу. Я сейчас живу в одной комнате с Владей и питаюсь ресторанной едой.

Мечтаю продать рояль и на эти деньги снять крошечную квартирку и купить кровать, стол и стулья и быть опять с Гареньшем.

На курсах много занятий.

Кроме того, помогаю Владе — выписываю ему стихи для какого-то сборника. Знаешь, даже согрешила сама: написала два

¹ СС-4. Т. 4. С. 386.

стихотворения, конечно, очень нескладно. Еще новость: научилась любить небо. Это большое счастье»¹.

Видимо, именно Анне Ивановне принадлежала инициатива в их сближении. Уйти от Александра Брюсова к Ходасевичу — это было с ее стороны поступком, требовавшим известной смелости. В конце концов, у Брюсовых были семейные капиталы, позволявшие более или менее безбедно жить всем детям Якова Кузьмича и их семьям. Но Анна Чулкова не просто рассчитывала только на себя. Она — полная противоположность Нине Петровской и подобным ей декадентским дамам — осваивала «земную» профессию и собиралась зарабатывать ею на жизнь. Тонкость и грация (но без «декадентщины») сочетались у нее с добротой и душевным здоровьем.

Стихи Анны Чулковой-Гренцион-Ходасевич сохранились, по меньшей мере четыре стихотворения: два были напечатаны в 1916 году в полтавском сборнике «Сад поэтов», рядом с Ахматовой, самим Ходасевичем и другими мэтрами, два других хранятся в ИМЛИ. Они не выказывают значительного таланта, но довольно грамотны. Вот одно из них:

Сижу на стареньком крылечке,
Смотрю на звезды в вышине,
К ропганью серебристой речки
Прислушиваюсь в полусне.

Вот загадала: упадет ли
Звезда направо за горой
Иль за причудливые ветлы,
Склонившиеся над водой.

Но тащится лениво время
И неподвижно звезды спят.
Какое тягостное бремя
Ты, неразгаданности яд!²

Стихи из «Сада поэтов», написанные в период дружбы Анны Ивановны с молодыми футуристами, дружбы, которую Владислав Фелицианович не особенно одобрял, но которой тактично не препятствовал, несколько «левее» и расхлябаннее:

Сегодня небо и земля грязны,
Как бездарные души,
И те отношения, что завязаны,
Скучны и холодны, как мокрые крыши.

Хотелось бы света, хоть электричества,
Чтоб просветлела душа и комната...

¹ Цит. по: СС-4. Т. 4. С. 611—612.

² ИМЛИ. Ф. 209. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1.

Ах, милое маленькое Величество,
Не требуйте от меня экспромта¹.

На еще более поздних стихах, которые Анна Ивановна читала в 1920 году другу семьи, Юлии Оболенской, уже лежал «сильный отпечаток Владислава». Стихи свои Анна Ходасевич подписывала «Софья Бекетова» — в память, быть может, реально существовавшей поэтессы Екатерины Бекетовой, тетки Блока. В частном собрании в Москве хранится, по сообщению Николая Богомолова², маленький сборничек, состоящий из нескольких стихотворений «Елисаветы Макшеевой» — женского *alter ego* Ходасевича, и Софьи Бекетовой.

Первые месяцы жизни с Ходасевичем были трудны — не только из-за безденежья и тесноты. Как вспоминала Анна Ивановна, «нервы Влади были в очень плохом состоянии, у него были бессонницы и большая возбужденность к ночи». «Маленькая Хлоя», как называл в стихах Ходасевич Анну, стала не только верным другом и помощницей, но и сиделкой в дни частых болезней своего мужа.

А для него это смиренное счастье было, конечно, и результатом известного самоограничения, отречения. Еще точнее — оно означало поражение в символистской погоне за «исключительным». И — с другой стороны — непереносимость горькой свободы. С Анной Ходасевич позволил себе стать слабым, и неслучайно, говоря об этой любви, он полуиронически уподобляет себя Горацию, бежавшему с поля битвы и описавшему свое бегство в оде «К Помпею Вару» (вольно переведенной в 1835 году Пушкиным):

Да, я бежал, как трус, к порогу Хлои стройной,
Внимая брань друзей и персов дикий вой³,
И все-таки горжусь: я, воин недостойный,
Всех превзошел завидной быстротой.

Счастливцев! я сложил у двери потаенной
Доспехи тяжкие: копьё, и шит, и меч.
У ложа сонного, разнеженный, влюбленный,
Хламиду грубую бросаю с узких плеч.

¹ Сад поэтов: Сборник стихов. Полтава, 1916. С. 8.

² Ходасевич В. Стихотворения. / Вступ. ст. Н. А. Богомолова; сост., подг. текста и примеч. Н. А. Богомолова и Д. Б. Волчека. М.; Л., 1989. (Библиотека поэта. Большая серия.) С. 420.

³ Здесь уже вольная контаминация античных сюжетов: Гораций Флакк сражался отнюдь не с персами. Впрочем, у Горация мотив «брошенного щита» восходит к Архилоху (VII в. до н. э.). По предположению В. Зельченко, главный античный подтекст этого стихотворения иной: финал третьей песни «Илиады», где Афродита похищает Париса во время поединка с Менелаем и приносит к Елене.

Вот счастье: пить вино с подругой темноокой
И ночью, пробудясь, увидеть над собой
Глаза звериные с туманной поволокой,
Ревнивый слышать зов: ты мой? ужели мой?

И целый день потом с улыбкой простодушной
За Хлоей маленькой бродить по площадям,
Внимая шепоту: ты милый, ты послушный,
Приди еще — я всё тебе отдам!

Другое дело, что и это отречение, и горацианский идеал «меры и грани» — это был лишь период в жизни поэта. Но период важный.

Глава пятая

В СЧАСТЛИВОМ ДОМИКЕ

1

В меблированных комнатах Владислав Фелицианович и Анна Ивановна прожили недолго. Вскоре им удалось снять квартиру — сперва однокомнатную (у родственников первой жены, Торлецких, на Знаменке), позже, вероятно, более просторную (на Пятницкой улице, 49). «Гареныш» теперь жил с матерью и отчимом.

Немедленно по истечении трехлетнего запрета, в 1913 году, Ходасевич обвенчался с Анной Гренцион — естественно, по православному обряду. К тому времени и ее брачные проблемы были разрешены. Что до Ходасевича, то священник, скорее всего, удовлетворялся консисторским свидетельством о разводе и не стал требовать справки из костела.

В отношениях Владислава и Анны не было периода бурной страсти. Но зато их взаимная привязанность все росла — особенно в первые пять-шесть лет совместной жизни. «Я тебя очень люблю и всем говорю, что ты маленький Боженька» — эти слова Анны Ивановны из письма мужу (от 5 мая 1916 года)¹ достаточно выразительны. Так же — «боженька» — временами обращается и Ходасевич к жене. Почти ежедневные письма при любой разлуке, постоянные тревоги о здоровье друг друга, подробные рассказы о больших и малых делах, полное отсутствие какого-то напряжения в тоне, ревности, взаимных подозрений — все это создает впечатление чрезвычайно гармоничного брака. Таким он, видимо, и был до поры. И все же в известный момент ему суждено было распастся. Но это произошло спустя много лет, среди которых были трудные и страшные. Пока, накануне мировой войны, предсказать эти годы было невозможно.

Молодая семья поначалу жила бедно — настолько, что это вызывало опасения у родственников, и их приходилось успокаивать. 5 июля 1913 года Ходасевич пишет Георгию Чулкову: «Вам наговорили о нас всяких ужасов, чего в действительности

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 7.

нет вовсе. Тут вышла трескучая путаница, ничего больше. Делла наши плохи, это правда, но как всегда. Ничего ужасного не случилось и не предвидится¹. Но скромный быт, денежные затруднения — все это как будто подчеркивало для Ходасевича подлинность обретенного им мира.

Символом этого мира стали мыши — существа, часто вызывающие презрение и брезгливость, но близкие человеку, его вещественному быту, его жилью, во все века и во всех странах. Близкие — и притом независимые, неприрученные. Началось все, в сущности, случайно. Вот как вспоминает об этом Анна Ивановна:

«Однажды, играя со своим сыном, я напевала детскую песенку, в которой были слова: “Пляшут мышки впятером за стеною весело”. Почему-то эта строчка понравилась Владе, и с тех пор он как-то очеловечил этих мышат. Часто заставлял меня повторять эту строчку, дав обе мои руки невидимым мышам, — как будто мы состоляли хоровод. Я называлась “мышь-бараночник” — я очень любила баранки. В день нашей официальной свадьбы мы из свадебного пирога отрезали кусок и положили за буфет, желая угостить мышат — они съели. Впоследствии, в 1914 году, когда я заболела крупозным воспалением легких и была близка к смерти, Владя после кризиса преподнес мне шуточные стихи, которые, конечно, не вошли ни в один сборник его стихов. Вот они:

Бедный Бараночник болен: хвостик, бывало проворный,
Скромно поджав под себя и зубки оскаливши, дышит.
Чтобы его приободрить и выразить другу вниманье,
Мы раздобыли баранку. Но что же? Едва шевельнувшись,
Лапкой ее отстранил — и снова забылся дремотой.
Боже мой! Если уж даже баранка мышина сердца
Больше не радуется, — значит, все наши заботы бессильны.
Значит, лишь Ты, Вседержитель, его исцелишь и на радость
В мирный наш круг возвратишь. А подарок до времени может
Возле него лежать. Очнется — увидит. Уж то-то
Станет баранку свою катать по всему подполью!
То-то возней громыхливой соседям наделает шуму».

В письмах Ходасевич часто ласково называет жену «мышью» (сам же он фигурирует в качестве «медведя»). Эта трогательная игра на годы стала частью семейного ритуала, который, впрочем, в данном случае был неотделим от «серьезного» творчества поэта. То же стихотворение о Бараночнике примыкает к маленькому циклу «мышинных стихов», написанных в 1913 году и вошедших во вторую книгу Ходасевича «Счастливый домик». Первое — «Ворожба» — начинается так:

¹ РГБ. Оп. 371. Карт. 5. Ед. хр. 12. Л. 1.

Догорел закат за речкой.
Загорелись три свечи.
Стань, подруженька, за печкой,
Трижды ножкой постучи.

Пусть опять на зов твой мыши
Придут вечер коротать.
Только нужно жить потише,
Не шуметь и не роптать...

Второе посвящено конкретной мыши по имени Сырник. Анна Ивановна указывала, что под этим прозвищем скрывался реальный семейный знакомец. Но впоследствии Сырник стал частью шутовой семейной мифологии Ходасевичей. Вот каково это существо:

... Ты не разделяешь слишком пылких бредней,
Любишь только сыр, швейцарский и простой,
Редко ходишь дальше кладовой соседней,
Учишь жизни ясной, бедной и святой.

Заведу ли речь я о Любви, о Мире —
Ты свернешь искусно на любимый путь:
О делах подпольных, о насущном сыре, —
А в окно струится голубая ртуть...

Вряд ли можно представить себе более отчетливое отрицание тех экстремистских духовных идеалов, которыми жили друзья Ходасевича, да и сам он несколькими годами прежде. «Свято» теперь прозаичное, бедное, ежедневное. Какой бы ироничной ни была форма, в которой высказан этот взгляд на мир, его надо принять всерьез.

Впрочем, кроме Сырника и Бараночника существовали и другие мыши с собственными именами, перечисленные в шутивном «домашнем» стихотворении «Вечер» (1917): тут и «учнейший Книжник», и «Свечник, поэт сладкогласный», и Ветчинник, который «сидел в мышеловке за благо мышей». Возможно, у каждого из них есть реальный прототип. Но это было уже чисто шуточное продолжение бытовой и литературной игры, которая в 1912—1914 годах занимала в жизни поэта важное место¹.

¹ Первое «мышиное» стихотворение написано было поэтом еще в 1908 году — в самое трудное и отчаянное время. Но та «маленькая тихонькая мышь» — существо довольно свирепое и опасное в своей мнимой скромности и обаятельности:

...Здравствуй, терпеливая моя,
Здравствуй, неизменная любовь!
Зубок изостренные края
Радостному сердцу приготовь.

Пожалуй, в этом месте действительно стоит задуматься «о настоящем сыре»: какими средствами в самом деле располагал в 1910-е годы Ходасевич и каковы были источники его дохода?

Редкий случай: мы можем точно ответить на этот вопрос. Поэт вел почти по-бухгалтерски точный учет доходов и расходов, и его записи (вложенные в тетрадь стихов) сохранились¹. За 1913 год семейный дебет Ходасевичей составил 3130 рублей (истрачены 3070). Сюда входят 250 рублей, подаренных Мишей, 70 рублей от Гренциона (копеечные, конечно, алименты), рублей 100 от сдачи какой-то комнаты, видимо, принадлежавшей Анне Ивановне. Остальное — заработок Владислава Фелициановича. В 1914 году доход составил 4173 рубля, прожито из них было 3888. В это время уже и Анна Ивановна зарабатывала.

Выходит, что в 1913—1914 годах Ходасевичи из разных источников получали в среднем 300 рублей в месяц. Для сравнения: учитель народной школы зарабатывал в месяц около 30 рублей, гимназический преподаватель со стажем — чуть больше ста, высококвалифицированный рабочий-металлист — около 70. Родители Даниила Хармса, Иван Павлович и Надежда Ивановна Ювачевы, в 1911 году зарабатывали вдвоем (после вычетов в пенсионную кассу) 163 рубля в месяц; правда, у них была казенная квартира (что позволяло сэкономить рублей 50 ежемесячно), но в семье было двое детей, а не один, как у Ходасевичей. Таким образом, по крайней мере начиная с середины 1913 года, семья Владислава Фелициановича жила вполне по стандартам московского среднего класса, что непременно подразумевало наличие кухарки и гувернантки и, разумеется, не однокомнатной квартиры. Конечно, о доходах Валерия Брюсова или собственных братьев-адвокатов Ходасевич мог только мечтать, но среди литераторов, живших гонорарами, он был отнюдь не самым бедным. Другое дело, что материальное положение его не было стабильным. Пока была работа, на все необходимое хватало. Долги, взятые прежде, тщательно фиксировались и платились, а в неоплатные долги Ходасевич, в отличие от Пушкина, не залезал. Но сбережений сделать не удавалось, и при непредусмотренных тратах или при невозможности ра-

В сердце поселяйся наконец,
Тихонький, послушливый зверок!
Сердцу истомленному венец —
Бархатный, горяченький комок.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 114.

ботать в прежнем темпе приходилось обращаться за помощью к родственникам.

А работал Владислав Фелицианович очень много. Статьи 1912—1916 годов составляют в собрании его сочинений 170 страниц — больше десяти печатных листов. Объем переведенной в эти годы прозы в несколько раз больше. Труды переводчика сопровождались специфическими коллизиями; некоторые из них можно восстановить по письмам.

Так, весной 1912 года Ходасевич задумал «изменить» «Пользе» и предложить свои услуги более солидному издателю, Константину Федоровичу Некрасову, племяннику знаменитого поэта, жившему попеременно в Москве и Ярославле. С Некрасовым был связан Муратов, который, видимо, и рекомендовал ему Ходасевича как переводчика польской литературы. 12 марта Владислав Фелицианович писал издателю:

«Позвольте обратиться к Вам с предложением издать мой перевод исторической повести Красинского “Агай-хан”. Имя и значение Красинского в истории польской литературы Вам, конечно, известно, но об “Агай-хан” позвольте сказать несколько слов.

Повесть на русский язык ни разу еще не была переведена. Между тем это одно из лучших созданий Красинского. Издав ее, Вы ознакомите русскую публику с произведением поистине прекрасным.

Весьма ценя издательство Ваше как предприятие культурное, я вместе с тем очень помню, что публика наша не слишком охотно покупает классиков — и понимаю, что для издателя, каков бы он ни был, издание всякой хорошей книги представляет известную материальную опасность, известный риск. Но я совершенно уверен, что “Агай-хан” у Вас не залежится: дело в том, что он сейчас ко времени, — к юбилею смутного времени и 300-летию дома Романовых. Повесть начинается с момента убийства Тушинского вора. Ее главные действующие лица — Марина Мнишек, Заруцкий и молодой татарский князек Агай-хан, влюбленный в Марину.

В повести шесть (приблизительно) сорокатысячных листов, т. е. листов 8—9 печатных»¹.

Некрасов ответил весьма любезно:

«Мне было очень интересно получить Ваше предложение. Ваши переводы я немного знаю, о Вас же слышал от П. П. Муратова. <...>

¹ Ходасевич В. Ф. Письма К. Ф. Некрасову / Публ., вступ. ст. и примеч. И. Вагановой // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. М., 1994. Вып. V. С. 459.

Я очень охотно издал бы в Вашем переводе “Агай-хана”, меня смущает только то же обстоятельство, что и Вас: русская публика не слишком охотно покупает классиков; думаю, однако, что не будет большого риска выпустить 2000 экземпляров. <...>

Я мечтал когда-то издать и Красинского, и Словацкого целиком; не отказался от этой мысли теперь, а только отложил ее¹.

Обрадованный Ходасевич ухватился за эту вскользь брошенную фразу:

«Что сказали бы Вы, если б я попытался до некоторой степени вернуть Вас к первоначальным намерениям и предложил бы издать не полное собрание сочинений Красинского, а лишь законченные его вещи, отбросив фрагменты, отрывки и прочее? Думаю, что такое издание явилось бы настоящим вкладом в переводную нашу литературу и в качестве такового не было бы даже рискованным в материальном отношении. Довольно уж Пшибышевских да Тетмайеров! <...>

За свою работу, весьма трудную, ибо Кр<асинский> не только классик, что обязывает само по себе, но и писатель с головокружительным синтаксисом, — попрошу я по тридцати рублей с листа в 40 000 букв. Это тот минимум, который получаю я в десятикопеечных книжечках “Пользы” за Реймонта и прочие пустяки. Итого — рублей по 400 за том².

Это написано 14 апреля. 20 апреля Некрасов отвечает согласием:

«Ваша мысль вернуться к мысли издать Красинского целиком мне очень нравится; одно тревожит меня: не зарваться бы! Не набрать бы слишком много книг! Это единственное возражение. Его, однако, можно устранить, если оттянуть срок издания, т. е. выпуска, что вполне сходится с Вашими планами³.

Казалось бы, дело решено. Некрасов согласился даже на то, что Ходасевич заново переведет «Небожественную комедию»: дело в том, что с переведшим ее прежде Курсинским у Владислава Фелициановича были напряженные отношения, и он опасался, что договориться о сотрудничестве не удастся — «да и не хотелось бы ни с кем делить будущих “лавров”⁴. 24 мая Ходасевич сообщил Некрасову, что «кончил все “пользинские” заказы и неделю тому назад засел за Красинского»⁵. Дело было только за вступительной статьей профессора Ф. Е. Корша, но и она приспела.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 1.

² Российский архив. С. 459—460.

³ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 2.

⁴ Российский архив. С. 461.

⁵ Там же.

Помимо работы над Красинским, Некрасов предложил Ходасевичу участие в одном собственном проекте. Вот как описывается он в письме от 19 декабря 1912 года: «Я готовлю альманах (Сологуб, Гумилёв, Кузмин, Ауслендер). Тема всех рассказов и стихов — дворянские усадьбы 20-х, 30-х годов прошлого столетия. То, что было в них красиво, поэтично. Не пошлите ли Вы на эту тему 2—3 стихотворения. Кузмин, между прочим, прислал “Бисерные кошельки” — прелестный альбомчик из 3-х стихотворений»¹. Парадоксально, конечно, что альманах такой тематики был задуман племянником поэта, всей душой ненавидевшего помещичий быт. Так или иначе, Некрасов дал понять, что воспринимает Ходасевича как поэта, а не только как переводчика польской литературы, а получив два стихотворения, весьма косвенно связанных с усадебной тематикой («Ветка, прошедшие над миром...» и «Жеманницы былых годов...»), одобрил их и включил в предполагаемый сборник.

Однако уже несколькими месяцами раньше, летом 1912 года, в переписке Ходасевича и Некрасова стали звучать новые ноты. 10 июня Ходасевич выслал издателю второй том предполагаемого собрания сочинений Красинского (в который вошли «Иридион» и вновь переведенная «Небожественная комедия») и в сопроводительном письме попросил выслать часть гонорара — «рублей двести». Некрасов сухо ответил: «Очень сожалею, что не могу исполнить Ваше желание и выслать Вам деньги. Я заранее предвидел, что летом буду не только завален работой, но и без денег, потому и назначил Вам осень»². Осенью Владислав Фелицианович вновь начинает терять своего работодателя. «Вы, конечно, сами понимаете, так трудно работать, сидя без денег, — а я нахожусь именно в таком положении. Потому-то аванс и прижился в литературе так прочно»³, — писал он Некрасову 27 сентября. Некрасов послал «переходный билет в 100 рублей», затем, по получении первого тома (в декабре), еще двести. 9 февраля 1913 года Ходасевич обращается с очередной просьбой: «Я, по обыкновению, “нищ и светел”»⁴. Поэтому, если можете, пришлите мне такую сумму денег, которая бы Вас не слишком обременила. Меня же утешит всякая и в счет чего бы она ни шла»⁵. В этом же письме он просит прислать корректуру первого тома для окончательных исправлений.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 7.

² Там же. Л. 6.

³ Российский архив. С. 462.

⁴ Ироническая цитата из одноименного стихотворения Вячеслава Иванова.

⁵ Российский архив. С. 463.

Деньги Некрасов еще заплатил (200 рублей), а переводы Ходасевича света почему-то не увидели, как и сборник стихов и рассказов про усадьбы.

Закончилась любезная и дружественная переписка поэта и издателя как-то совсем некрасиво. 14 августа 1914 года присяжный поверенный Михаил Фелицианович Ходасевич пишет Некрасову официальное письмо:

«Милостивый государь, Константин Федорович. Ко мне обратился брат мой, Владислав Фелицианович, с просьбой взыскать с Вас четырехста рублей, недоплаченных Вами ему за перевод двух томов сочинений Красинского. Не пожелаете ли Вы настоящее дело закончить миролюбиво, чем избавите меня от неприятной необходимости принятия каких-либо мер. Я бы мог лично переговорить с Вами в мои приемные часы: по понедельникам, средам и четвергам, от 3—5 час.»¹.

Некрасов отозвался лишь месяц спустя, 12 сентября:

«Извините, что до сего времени я не ответил на Ваше письмо. Но после той невозможной выходки, которую позволил себе Ваш брат в разговоре по телефону с человеком, совершенно не причастным к этому делу, — управляющим моим складом — мне неприятно вспоминать о нем.

По существу ничего не могу сказать Вам. Необдуманно впредь я уплатил 500 рублей и махнул на них рукой. Ведь все равно ничего не получишь, хотя нельзя сомневаться в благоприятном решении суда.

Если Ваш брат считает нужным обратиться к суду, пусть так и будет»².

Ходасевич в самом деле решил судиться. Сохранился черновик его искового заявления:

«В апреле месяце 1912 года ответчик заказал мне перевод сочинений польского писателя Красинского по цене 30 руб. за печатный лист в 40 000 букв, а в декабре того же года два оригинальных стихотворения на тему о русских усадьбах 20—30-х годов для альманаха. Мною ему доставлены два тома перевода произведений Красинского и оба стихотворения, содержащих всего 48 строк. Принимая во внимание, что исполненный мной перевод размером в 29 листов оценивается в 870 рублей, а стихотворения — в 48 руб., ответчик обязан был мне уплатить 918 рублей, уплатил же лишь 500 руб., от остального платежа уклоняется. Ввиду этого прошу взыскать с Некрасова в мою пользу 418 рублей»³.

¹ Российский архив. С. 458.

² РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 9.

³ Там же. Ед. хр. 113.

Представлять брата в Московском мировом суде должен был не Михаил (для него дело было слишком мелким), а Константин Фелицианович. Дошло ли дело до суда и если да, то какое решение тот вынес — неизвестно. Уже шла война, было не до мелочных тяжб. Тем более что материальное положение Ходасевича к этому времени улучшилось и 400 рублей уже не были для него какой-то запредельной суммой: спор, скорее, носил принципиальный характер. Неслучайно он требовал и совсем незначительных денег, полагавшихся за стихи. Ни Кузмину, ни Гумилёву, написавшему для невышедшего альманаха стихотворение «Старые усадьбы», подобная мелочность в голову не приходила. Писатель, отстаивая свои профессиональные интересы, доказывал, что заказанная и принятая, но не пошедшая в дело работа должна быть полностью оплачена, издатель же считал и выплаченные деньги необдуманно выброшенными на ветер. В наши дни такого рода ситуации оговариваются в стандартных издательских договорах, но в случае Ходасевича и Некрасова имела место приватная и не очень четкая договоренность двух «интеллигентных людей».

Другая характерная коллизия тоже связана с польскими переводами. 13 июля 1913 года Ходасевич обращается к Чулкову со следующей просьбой: «Шибышевский предлагает мне рукопись нового своего романа, нигде ни по-русски, ни по-польски не появлявшегося. По денежным соображениям я не могу продать перевод прямо для книги: приходится сперва напечатать в журнале. <...> Не согласится ли “Современник” или кто другой»¹. Суть заключалась в том, чтобы получить с журнала более высокий, чем обычно, гонорар (550 рублей) под тем предлогом, что переводчик сам из него заплатит автору; в то время как на самом деле за журнальной публикацией последует отдельное издание в «Пользе», и она-то и расплатится с Шибышевским.

Имя этого автора само по себе служило приманкой. Станислав Шибышевский за пределами своей страны, в том числе и в России, был известен и читаем больше, чем Реймонт, и даже чем такие классики старшего поколения, как Генрик Сенкевич и Болеслав Прус. Шибышевский, писавший по-польски и по-немецки (многие его романы написаны в двух вариантах, на обоих этих языках), считался своего рода «польским Гамсуном», дерзким ницшеанцем, отвергающим буржуазную мораль и вскрывающим темные тайны человеческого подсознания. Сегодня его скорее можно назвать «польским Леонидом Андреевым» или «польским Михаилом Арцыбашевым»: как и эти

¹ РГБ. Оп. 371. Карг. 5. Ед. хр. 12. Л. 2.

моднейшие в свое время русские писатели, он ныне воспринимается лишь как часть интерьера эпохи. Его помнят, но не перечитывают. Роман «Дети горя», который он предложил Ходасевичу, — не главное его произведение (славу принесли ему ранние, 1890-х годов, книги), но достаточно характерное.

Роман готов был «вслепую» взять Юргис Балтрушайтис для журнала «Заветы», но про этот журнал Борис Зайцев рассказал Ходасевичу, что там «совсем не платят гонораров». Тогда Ходасевич захотел пристроить роман в более денежный «Современник», редактируемый Павлом Щеголевым, впоследствии знаменитым пушкинистом. Но Щеголев же для начала хотел убедиться, что в романе скандального польского мэтра нет неподобающего серьезному изданию эротизма. Прочитав рукопись романа «Дети горя», Ходасевич «усмотрел некоторую долю эротики»¹. (Если точнее — речь идет не об эротических сценах как таковых, а о рискованном повороте сюжета: одна из линий романа, описывающего распад традиционной шляхетской семьи, посвящена любовной связи единокровных брата и сестры; сестра притом — «женщина трудной судьбы»: она забеременела вне брака, отец прогнал ее из дому, и она стала проституткой.) «А тут подвернулся Архипов. Он с ноября издает в П<етер>бурге журнал. Архипов объяснился Нюре в любви к Вам и Надежде Григорьевне, а мне показал сто рублей. Все было кончено: я отдал роман ему, изрядно продешевив, конечно»². Николай Архипович Архипов (Бенштейн), драматург и издатель, был типичным представителем «торгового направления» в литературе, бойким и практичным. В основанный им «Свободный журнал» он сумел привлечь множество авторов «с именами» — от Брюсова до Тэффи. Но хотя он и купил роман Пшибышевского, печатать его в журнале оказалось неудобно: «Свободный журнал» был слишком тонким и произведений «с продолжением» не публиковал. В итоге «Дети горя» в переводе Ходасевича увидели свет только в книжном варианте, в «Пользе».

Эти два эпизода могут показаться мелкими, случайными и даже недостойными Ходасевича-поэта. Но кроме Орфея, слышащего голоса инобытия, носителя высокой, космической миссии, — был и другой Ходасевич: литератор-профессионал, погруженный в далеко не возвышенные профессиональные проблемы и дразги, торгующийся, а порою и хитрящий немного, чтобы заработать лишнюю сотню. Это был человек, знавший, что такое тяжелый труд, труд для куска хлеба, для обеспе-

¹ РГБ. Оп. 371. Карт. 5. Ед. хр. 12. Л. 4.

² Там же.

чения семьи; и читая высокомерные слова о «земном», «человеческом», которые можно встретить в его стихах, стоит помнить: в жизни их автор, не в пример многим другим поэтам, не уклонялся от земной участи и Адамова долга.

3

Для «Пользы» Ходасевич выполнял работы самые разные. Набив руку на польских писателях, он переводил уже и французскую прозу — Мериме, Мопассана; в работе над переводами пьес Проспера Мериме участвовала и Анна Ивановна. Он готовил к печати «Душеньку» Ипполита Богдановича. В 1914 году Ходасевич составил небольшую антологию поэзии XVIII—XIX веков — «Русская лирика».

Антология эта могла бы стать уникальным памятником: лучшие стихи Золотого века, избранные одним из лучших поэтов века Серебряного. Увы, этого не случилось: антология составлена очень странно. В предисловии Ходасевич пишет: «В то время как другие подобные издания стараются представить каждого поэта в наиболее характерных, выразительных для него образцах, стремятся выявить его творчество и мирозерцание как можно всестороннее — мы мало заботились о такой полноте. Мы старались выбрать *лучшие* произведения каждого данного автора, независимо от того, являются ли они в его творчестве типическими или случайными, вполне самостоятельными или отражающими чужое влияние».

На практике в антологию попали стихи и нехарактерные, и слабые. Трудно объяснить, зачем в подборку Алексея Кольцова включено неуклюжее и подражательное юношеское стихотворение «Не мне внимать напев волшебный...», и почему Денис Давыдов представлен не «гусарскими» стихами, а довольно безликим романсом. В подборке Якова Полонского нет «Затворницы» и «Качки в бурю», Аполлона Майкова (что совсем уж странно) — «Ласточек». Николай Некрасов представлен всего пятью стихотворениями, среди которых лишь «Влас» принадлежит к его подлинным шедеврам. (Холодное отношение к этому классику присуще было Ходасевичу всю жизнь. Уже незадолго до смерти, в 1938 году, он писал: «Великим поэтом Некрасова я никогда не считал и считать не в силах. Считаю его человеком поэтически одаренным, но свою одаренность загубившим вольно или невольно»¹. Подобная позиция характерна была для «старших» символистов. Отношение к Некрасову многих со-

¹ Возрождение. 1938. № 4122. 11 марта.

временников Ходасевича — Блока, Белого, Гумилёва, Ахматовой — было уже совершенно иным. Глухота к некрасовскому мастерству со стороны будущего автора «Европейской ночи», пожалуй, особенно удивительна.) В подборке Пушкина находится место четырьмя стихотворениям лицейской поры — при отсутствии «Бесов» или «Трех ключей». Подборка Лермонтова большей частью состоит из юношеских опытов; в ней нет ни «Сна», ни «Тамары». Словом, во всем сквозит ощущение случайности и небрежности. Недаром антология ни разу не переиздавалась.

Едва ли не больше, чем в «Полезе», зарабатывал Ходасевич в театре-кабаре «Летучая мышь». Основатель «Летучей мыши» Никита Федорович Балиев (Мкртич Баян) играл эпизодические роли в Художественном театре. Кабаре, основанное им в 1908 году, было поначалу закрытым клубом, посещавшимся представителями театральной среды. Скетчи, ставившиеся в «Летучей мыши» в ту пору и представлявшие собой пародии-переделки модных спектаклей, были наполнены юмором профессионального характера, предназначенным «для своих». Так, в балиевской «Синей птице» Станиславский и Немирович-Данченко, наряженные как Тильгиль и Митиль, отправлялись на поиски истинно современного театра. Вообще чаще всего пародировались именно спектакли Художественного театра, так как именно его актеры были по большей части членами клуба. Бывало, вечером после премьеры актеры отправлялись «к Балиеву», где демонстрировалась пародия на новый спектакль.

Ходасевич стал сотрудничать с Балиевым в то время, когда театр открылся для широкой публики, переехал в дом Перцова у Пречистенских ворот и изменил свой характер. Теперь здесь ставились «оригинальные» скетчи и инсценировки. В сентябре 1913 года в театре была поставлена пьеса (правильнее сказать — «пьеска в четырех картинках») Ходасевича «Любовь через все века», имевшая некоторый успех: «Написаны картинки изящными стихами. Автора Владислава Ходасевича приветствовали дружным вставанием. Наиболее удачна и остроумна последняя картинка “Любовь футуриста”»¹. Текст ее до нас не дошел, о чем, может, не стоит так уж сильно жалеть. В самом конце того же года поэт написал три стихотворения, представлявшие собой подписи к силуэтам «какого-то немецкого художника». В театре их декламировала двадцатитрехлетняя Елена Александровна Маршева, ведущая актриса «Летучей мыши». Чуть позже они были напечатаны в «Новом журнале» (1914. № 7) в качестве цикла «В немецком городке». Два стихотво-

¹ Голос Москвы. 1913. № 224. 19 сентября.

рения — «Весна» и «Серенада» — идиллические пустячки, но третье — «Акробат» позднее вошло в «золотой фонд» лирики Ходасевича. Оно было напечатано во втором издании «Счастливого домика», а позднее автор перенес его в следующую книгу «Путем зерна» и в ее составе включил в итоговое «Собрание стихотворений»:

От крыши до крыши протянут канат.
Легко и спокойно идет акробат.

В руках его — палка, он весь — как весы,
А зрители снизу задрали носы.

Толкаются, шепчут: «Сейчас упадет!» —
И каждый чего-то взволнованно ждет.

Направо — старушка глядит из окна,
Налево — гуляка с бокалом вина.

Но небо прозрачно, и прочен канат.
Легко и спокойно идет акробат.

Первоначально стихотворение на этой оптимистической ноте и заканчивалось. В 1921 году Ходасевич дописал еще четыре строчки:

А если, сорвавшись, фигляр упадет
И, охнув, закрестится лживый народ, —

Поэт, проходи с безучастным лицом:
Ты сам не таким ли живешь ремеслом?

Но пожалуй, это — единственный след, оставленный сотрудничеством с театром Балиева в основном творческом корпусе Ходасевича. Отношение к этой работе лучше всего выражают слова из его письма Чулкову от 15 декабря 1914 года: «“Летучая Мышь” меня извела окончательно, но я ей хоть сыт, и то хорошо»¹.

Одновременно с Ходасевичем пьесы и сценарии для Балиева писали еще несколько авторов, среди которых наиболее известна Татьяна Щепкина-Куперник. Но один из собратьев Владислава Фелициановича по этой работе, Борис Садовской, именно в эти годы занял важное место в его жизни — хотя знакомству их было лет восемь-девять (с тех пор, когда Садовской был секретарем и обозревателем «Весов»). Ходасевича сперва отталкивала его суховатая манера поведения. «Но однажды, году в 1912-м, разговорились в редакции “Мусагета” — и прорвалось что-то: стали друзьями — и уже навсегда».

¹ СС-4. Т. 4. С. 392.

По словам Ходасевича, «выступая на стороне так называемой “символистской” (не точнее ли говорить — “модернистской”?) фаланги, порою даже в стиле ее самых деятельных застрельщиков, — сам Садовской, по своим писаниям, вряд ли вполне может быть отнесен к этой фаланге. Его истинные учителя не Бальмонт, не Брюсов — а Пушкин, Фет, Вяземский, Державин. Если бы модернистов не существовало вовсе — Садовской был бы таков же или почти таков же, каков он был. Можно, пожалуй, сказать, что Садовской — поэт более девятнадцатого столетия, нежели двадцатого»¹.

Пожалуй, как стихотворец Садовской был из современников ближе не к Брюсову, а к Бунину (презрительное отношение к поэзии которого почти вмменялось символистам и постсимволистам в обязанность). Наибольшую известность приобрел его цикл «Самовар», вышедший в 1914 году отдельным изданием. Родительский, студенческий, московский, петербургский самовары создают трогательно-патриархальный микромир, в котором, однако, отблесками отражаются явления и события «большой» российской истории — от «дивного Пушкина» и «грозного Николая» до взрыва на Екатерининском канале и дальше — до «новорожденных “Весов”». Ходасевич в рецензии на цикл назвал автора «старосветским помещиком». «Во времена доброй Пульхерии Ивановны прошли: Садовской овдовел. Одиночество стало такой темой его книги, как и самый самовар»². Оценивая поэзию Садовского 1905—1914 годов в целом, Ходасевич проявляет, пожалуй, большую строгость: «Садовской никогда не банален и никогда не вычурен. Но, искусно избегая этих двух опасностей, Садовской тем самым создает третью, которой уже избежать не в силах: в стихах его нет и тени художественного почина, как почти нет попыток сказать новое и по-новому. Поэтическая традиция — его надежная крепость. Гордый ее неприступностью, он, кажется, глубоко презирает все окружающее и не “унижается” до вылазок. Но такое отсиживание столько же отстраняет от него опасность поражения, как и возможность победы. <...> Лирика его лишена остроты и трепета, которые бы заставили читателя жить вместе с поэтом. От нее веет холодком. Кристально чист ключ поэзии Садовского, но утолит ли он чью-нибудь жажду? Не знаю»³.

Позднее у Бориса Садовского стали рождаться и другие стихи, более острые, более жесткие и трагические. Поводов для трагического мироощущения у поэта и впрямь было достаточ-

¹ Ходасевич В. Памяти Б. А. Садовского // Ходасевич В. Колеблемый треножник. С. 429—430.

² Новь. 1914. № 52. 15 марта.

³ Ходасевич В. О новых стихах // СС-4. Т. 1. С. 455.

но. Прежде всего это связано с мучившей его болезнью позвоночника, ставшей следствием перенесенного в юности сифилиса и давшей о себе знать после тридцати, то есть как раз в те годы, когда началась его дружба с Ходасевичем. В конце концов спинная сухотка привела к параличу ног и отчасти — рук. В таком состоянии Борис Александрович прожил 35 лет, почти все это время — в полуподвальной комнатке, в закрытом Новодевичьем монастыре, пережив и Ходасевича, и многих других своих знакомцев. Распространившийся в 1925 году слух о его смерти, реакцией на который стал только что процитированный некролог Ходасевича, оказался ложным.

Роль Садовского на великом литературном маскараде той эпохи была своеобразна: объектом бравирования стали в его случае крайне правые политические убеждения. (Термин «черносотенство» не подходит: Садовскому, эстету в духе Константина Леонтьева, подчеркнуто гордившемуся дворянской родословной, чужда была апелляция Союза русского народа к верноподданым слобожанам и лабазникам.) «Любил он подчеркивать свой монархизм, свою крайнюю реакционность. <...> То в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности — ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права; притворялся антисемитом, а мне признавался, что в действительности не любит одних лишь выкрестов; когда я переводил Бялика, Черниковского — их поэзией Садовской восхищался»¹. Бог весть, в какой мере эта маска отражала истинные воззрения Бориса Садовского — может, и в очень значительной, особенно позднее, в послереволюционные годы. Во всяком случае, в 1910-е годы она не мешала ему сотрудничать с либеральной прессой и дружить с людьми достаточно левых взглядов.

Садовского ценили как замечательного знатока и исследователя русской поэзии XIX века, в особенности творчества Фета. Писал он и историческую прозу — в основном стилизованную: дар стилизатора пригодился ему в 1920-е годы, когда он выступил в необычном жанре литературной мистификации, став его, можно сказать, классиком.

Ходасевич в письмах Садовскому, часто уезжавшему в Петербург и к себе на родину, в Нижний Новгород, касается и истории литературы, и политики, и текущих литературных дел. Для Балиева они в соавторстве написали инсценировку «Графа

¹ Ходасевич В. О новых стихах // СС-4. Т. 1. С. 455.

Нулина». Садовской свел Ходасевича с газетой «Русская молва» и с журналом «Современные записки»¹. Вместе они замыслили в 1913 году издание собственного журнала «Галатея». Можно сказать, что этот архаист и консерватор *par excellence* стал в 1910-е годы одним из главных творческих единомышленников и соратников Владислава Фелициановича.

4

Несомненно, из всех литературных работ, выполнявшихся Ходасевичем для заработка (а не для заработка в эти годы писались только стихи, хотя поэт и здесь не прочь был, конечно, при случае «рукопись продать»), наибольший интерес представляют критические статьи и рецензии. Они публиковались по большей части в петербургской газете «Русская молва», в которой Ходасевич с 1912 года вел московскую литературную хронику, затем с апреля 1914-го в «Русских ведомостях», а с начала 1916-го в «Утре России» — газете, издаваемой известным предпринимателем и общественным деятелем Павлом Павловичем Рябушинским, родным братом основателя «Золотого руна». Были публикации и в других изданиях. Но прежде чем поговорить об этих статьях, следует вспомнить сложившийся к тому времени контекст: он достаточно примечателен.

К началу 1910-х годов в русском символизме наметился явственный кризис. Некогда казавшийся цельным организм «новой литературы» начал давать трещины. Признаком этого кризиса стали статьи и публичные выступления мэтров школы в 1910—1912 годах². Все они ощущали усталость от надрывного радикализма и все более расхожих «экстазов» конца предыдущего десятилетия. Но если те, кого терминологически не совсем верно называют «младшими» символистами, то есть Вячеслав Иванов, Блок, Белый, призывали вернуться к духовным, религиозным истокам символизма, составляющим его «внут-

¹ Оба издания были кадетскими, и в письме от 23 декабря 1912 года Ходасевич советовался с Садовским, не повредит ли его делам в этом журнале участие под своим именем в «Голосе Москвы» — газете, отражавшей позиции октябристов. Для Ходасевича, как и для Садовского, обе партии были одним миром мазаны: профессиональных политиков-центристов они презирали, один «слева», другой «справа»; вопрос носил практически-профессиональный, а не моральный характер.

² Например, «Заветы символизма» Вяч. Иванова (Аполлон. 1910. № 8), «О современном состоянии русского символизма» А. Блока (там же), «О речи рабской в защиту поэзии» В. Брюсова (Аполлон. 1910. № 9), доклады Вячеслава Иванова и Андрея Белого, прочитанные в «Академии стиха» 23 февраля 1912 года (Труды и дни. 1912. № 1).

ренный канон», то Брюсов решительно отрицал само наличие таких истоков. «Символизм, — утверждал он, — *хотел быть* и всегда *был только искусством*»¹. Едва ли Иванов и Блок, с одной стороны, и Брюсов и Бальмонт — с другой, изначально вообще не отдавали себе отчета, что говорят разное и о разном. Но до поры до времени это различие скрадывал общий интеллектуальный и художественный язык. Именно на рубеже 1900—1910-х годов этот язык, ставший добычей бесчисленных эпигонов, подвергся инфляции и стал распадаться. Процесс распада был настолько стремительным, что «затекстовая реальность», тайная система подразумеваемых и для всех «посвященных» очевидных смыслов, которая еще недавно была основой взаимопонимания (или скрадывала взаимонепонимание), стала забываться и теми, кто ее создал. Не зря Блок в конце жизни признавался Ходасевичу, что не понимает многого в «Стихах о Прекрасной Даме».

В этой ситуации у символистов оставалось несколько возможностей, среди которых были и такие: вернуться к прямым смыслам слов и вещной реальности, вынес в мистический уровень из текста в глубинный подтекст; либо — наоборот — отойти от прямого и «бытового» смысла, дать словам на воле поискать себе новое «сверхзначение», коль скоро прежнее начало разрушаться. Понятно, что первый вариант был предпочтительнее для символистов: их школа давно миновала стадию «бури и натиска» и готова была к своего рода «термидору» (Брюсов прямо писал об этом в рецензии на «Жемчуга» Гумилёва). Но молодые поэты, которые в том или ином смысле были учениками символистов, «украли» у своих учителей оба варианта, по крайней мере, на уровне деклараций.

Акмеизм зародился еще в 1911 году. Первое заседание основанного Николаем Гумилёвым и Сергеем Городецким Цеха поэтов² состоялось 20 октября, на нем — в первый и единственный раз — присутствовал Блок. Идея новой школы, альтернативной символизму, оформилась чуть позднее, в ноябре. По свидетельству Ахматовой, название ее родилось почти случайно: взяли с полки греческий словарь и стали искать благозвучное и более или менее подходящее по смыслу слово. Разрыв с символистским истеблишментом, с «Башней», состоялся в феврале 1912-го, но лишь на рубеже следующего года происходит презентация нового направления. 19 декабря в «Бродячей собаке» (месте, мало приспособленном для академических

¹ Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. С. 323.

² В состав Цеха входили как акмеисты, так и «неприсоединившиеся». На его заседаниях бывали М. Кузмин, Н. Клюев (одно время очень близкий акмеистам), один раз даже В. Хлебников.

дискуссий) состоялась лекция Городецкого «Символизм и акмеизм»; в первом номере «Аполлона» за 1913 год напечатаны программные статьи Гумилёва («Наследие символизма и акмеизм») и Городецкого («Некоторые течения современной русской поэзии»), а в пятом — подборка акмеистических стихов. В октябре 1912 года начал выходить тоненький журнал «Гиперборей», состоявший, как некогда задуманный и оставшийся практически неосуществленным «Остров», только из стихов и рецензий на стихи. Это не было чисто акмеистское издание (редактором «Гиперборей» был не вошедший в группу, хотя и дружественный ей Михаил Лозинский), но акмеисты в нем доминировали. Все эти проекты досуществовали до раннего лета 1914-го, когда разрыв Гумилёва с Городецким поставил под сомнение будущее акмеизма как направления и Цеха поэтов как институции, а несколько недель спустя начались внешние события, в свете которых вопрос об этом будущем отошел на второй план. Группа акмеистов, несмотря на свою малочисленность (шесть поэтов¹), никогда не была монолитной: «левые» акмеисты, Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич, всегда держались особняком.

История русского футуризма началась тоже в 1911 году, когда Игорь Северянин разослал по редакциям петербургских газет брошюру «Пролог (Эгофутуризм)». Кружок по названию «Его» существовал с 1909 года, слово же «футуризм» было заимствовано у итальянских новаторов. Причем едва ли Северянин, а в жизни Игорь Лотарев, еще недавно гатчинский стихотворец, одержимый всеми провинциальными комплексами, поклонник таких далеко не авангардных поэтов, как Константин Фофанов и Мирра Лохвицкая, занимавших в свое время промежуточные позиции между символизмом и «старой школой», имел какое-то представление о подлинных идеях и творческой практике Филиппо Томмазо Маринетти и его сподвижников. В 1912 году, с выходом книги «Громокипящий кубок», к Северянину приходит долгожданная слава; в том же году он порывает со своими сподвижниками и начинает сольную карьеру. В последующие два года эгофутуристами именуют себя, с одной стороны, авторы издательства «Петербургский глашатай» (Иван Игнатъев — организатор и владелец «Глашатая», Грааль Арельский — С. С. Петров и юный, в «военно-школьничьих погонах», Георгий Иванов), с другой — члены московской группы «Мезонин поэзии» (Вадим Шершеневич, Константин Бولшаков, Рюрик Ивнев, позднее переехавший в Петербург).

¹ Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, В. Нарбут, М. Зенкевич.

Другая фракция футуризма с самого начала зародилась в Москве, хотя почти все ее ведущие участники были уроженцами российского Юга — от Одессы и Таврической губернии до Астрахани и Грузии. Речь идет о радикальной «Гилее», или о кубофутуристах, чья история началась в декабре 1912 года со сборника «Пощечина общественному вкусу» и одноименной декларации. Всё же и кубофутуристы (братья Давид, Владимир и Николай Бурлюки, Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский) немало времени проводили в Петербурге, где жили Михаил Матюшин и Елена Гуро, где базировалось «левое» художественное объединение «Союз молодежи», финансировавшееся меценатом Левкием Жевержеевым, чья поддержка давала им возможность выпускать свои книги. В какие-то моменты кубофутуристы объединялись с Северянином, в какие-то враждовали.

Была еще одна московская футуристическая группа — «Центрифуга», возникшая позже других, в начале 1914 года, и числившая среди своих участников Бориса Пастернака, Николая Асеева и Сергея Боброва (все они до этого входили в группу «Лирика», находившуюся на полпути между символизмом и футуризмом). В «Центрифугу» вошли некоторые бывшие участники «Мезонина поэзии», в том числе Константин Большаков, а первый ее сборник был посвящен памяти Ивана Игнатьева, который в январе 1914 года перерезал себе горло наутро после своей свадьбы. Фракционеры Нарбут и Зенкевич еще до формального распада группы акмеистов также вели с «Центрифугой» своего рода «сепаратные переговоры».

Такова примерная карта тогдашних молодых литературных объединений. В нее не входят «новокрестьянские поэты», которые как отдельная группа заявили о себе позднее, в 1915—1916 годах. Если в Петербурге местом встречи представителей разных групп была «Бродячая собака», то в Москве общей площадкой стало Общество свободной эстетики при Литературно-художественном кружке, возглавлявшееся советом под председательством Валерия Брюсова.

Если же говорить об отдельных авторах, картина окажется еще более пестрой. В статье «То, чего не читают» (Столичная молва. 1913. № 913. 17 марта) Ходасевич перечисляет двадцать четыре поэта, чьи книги вышли в последние годы: Вл. Пяст, А. Диесперов, М. Шагинян, Б. Дикс, П. Радимов, А. Ахматова, Ф. Коган, Б. Лифшиц (имеется в виду Бенедикт Лившиц), М. Зенкевич, Е. Кузьмина-Караваева, Л. Зиллов, П. Сухотин, Г. Иванов, Ю. Анисимов, Ю. Сидоров, С. Клычков, В. Шершеневич, Ю. Верховский, Alexander (А. Брюсов), Г. Вяткин, А. Скалдин, В. Бородаевский, Л. Столица, Л. Вилькина... В этом

списке (который Ходасевич, по собственным словам, мог бы увеличить во много раз) классики отечественной поэзии соседствуют с авторами второго или третьего ряда и с поэтами, чьи имена ныне что-то говорят лишь очень узким специалистам. Многие ли сейчас вспомнят стихи Сухотина или Диесперова?

Величайшая эпоха в истории русской поэзии сопровождалась и немалым количеством «лишних» — на взгляд придирчивого потомка — эстетических проявлений, своего рода шумов, заглушающих музыку. На самом деле без шумов этих и музыки не было бы.

5

И вот Ходасевич, уже шедший к зрелости поэт и критик, должен был найти свое место в этой диспозиции. Прежде всего — определить свое отношение к двум нововозникшим школам. Упрощенная квинтэссенция этого отношения может быть выражена цитатой из его статьи «Литературная панорама»: «Акмеизм, задумавший с ним (символизмом. — *В. Ш.*) бороться, на деле оказался лишь его слабой и нежизнеспособной фракцией. Футуризм был и остался его детищем, живучим, зато гнусным. Это Хам символистского Ноя»¹.

Особенности собственной индивидуальности Ходасевича хорошо объясняют неприятие им футуризма. Но с акмеизмом дело, казалось бы, обстоит иначе. Те немногочисленные общие принципы, которые объединяли в 1912—1914 годах очень непохожих друг на друга членов этой группы (отказ от символистских абстракций и экзальтации, употребление слов в прямом значении, приятие «полюстороннего» мира, «вещность»), во многом совпадают с устремлениями Ходасевича в эту пору. Некоторые стихотворения из «Счастливого домика» вполне могли быть напечатаны в акмеистической подборке «Аполлона» рядом с «Все мы бражники здесь, блудницы...» Ахматовой, «Notre Dame» Мандельштама, «Столяром» и «После грозы» Нарбута.

Например, «Голос Дженни». История написания этого стихотворения изложена в воспоминаниях Анны Ходасевич:

«Однажды в “Литературном кружке” на вечере “Свободной эстетики” Валерий Яковлевич объявил конкурс на слова Дженни из “Пира во время чумы”: “А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах”. Владя как будто бы и не обратил на это внимание. Но накануне срока конкурса написал стихи “Голос Дженни”.

¹ Возрождение. 1929. № 1409. 11 апреля.

На другой день вечером мы поехали в “Литературный кружок”, чтобы послушать молодых поэтов на конкурсе. Результаты были слабые. Если мне не изменяет память, — всё же лучшим стихотворением конкурса признаны были стихи Марины Цветаевой. Владя не принимал участия в конкурсе, но после выдачи первой премии Цветаевой подошел к Брюсову и передал ему свое стихотворение. Валерий Яковлевич очень рассердился. Ему было досадно, что Владя не принимал участия в конкурсе, на котором жюри, конечно, присудило бы первую премию ему, так как его стихи Брюсов нашел много лучше стихов Марины Цветаевой¹.

Эта история отчасти подтверждается газетной заметкой Ефима Янтарева:

«Первую премию не получил никто. Вторая разделена между г. Зиловым и г-жой Цветаевой. Третью, добавочную, получил А. Сидоров. <...> Бледность и ничтожность результатов конкурса в особенности ярко подчеркнули лица, читавшие стихи на ту же тему, вне конкурса. Из них прекрасные образцы поэзии дали В. Брюсов, С. Рубанович и Вл. Ходасевич, в особенности последний, блеснувший подлинно прекрасным стихотворением» (Московская газета. 1912. 20 февраля).

В действительности Цветаевой изначально *была* присуждена первая премия, но как объяснил девятнадцатилетней поэтессе издатель Александр Кожебаткин, «Брюсов, узнав, что это вы, решил вам, за молодостью, присудить первый из двух вторых». (Именно так и было объявлено на вручении: «Первый приз из двух вторых».)

В отличие от Цветаевой, которая просто подобрала прежде написанное и еще не опубликованное стихотворение, примерно подходящее по смыслу (причем она даже не распознала цитату — в чем позднее не стеснялась признаться — и не сразу поняла, кто из героев какого пола: может быть, девушка Эдмонда не забудет своего возлюбленного Дженни?), Ходасевич подошел к заданию осмысленно. Он, конечно, помнил трагический смысл песни погибшей, но милой Мэри:

Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо бога просят
Упокоить души их!

Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой!

¹ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 396.

Но тема чумы выносится Ходасевичем за скобки текста: ему важна лишь идиллическая первая строфа, которую он разворачивает в подлинный (и вполне акмеистический) гимн земной жизни и любви:

Помнишь ли, как просто мы любили,
Как мы были счастливы вдвоем?
Ах, Эдмонд, мне снятся и в могиле
Наша нива, речка, роша, дом!

Помнишь — вечер, у скамьи садовой
Наших деток легкие следы?
Нет меня — дели с подругой новой
День и ночь, веселье и труды!

Да, счастье это несет в себе трагический подтекст: из мира мертвых, из инобытия нет пути к живым, а из мира простых вещей и простых чувств нет пути в загробные выси. Если кому-то этот путь и открыт, то никак не простодушному Эдмонду:

Чтоб явился призрак, еле зримый,
Как звезды упавшей беглый след,
Может быть, и в сердце, мой любимый,
У тебя такого слова нет!

Но подобный трагический «второй план» не был чужд и акмеистической эстетике.

В чем же причина скептического отношения Ходасевича к акмеизму? Думается, таких причин несколько.

Во-первых, Ходасевич был по природе одиночкой, и его раздражала сама мысль о «цехе поэтов» во главе с синдиками, тем более что одним из этих синдигов был отвратительный ему Городецкий, чье участие вообще придавало проекту фарсовый оттенок.

Во-вторых, декларации акмеистов (и Гумилёва, и в особенности Городецкого) были полны наивных утверждений и сомнительных формулировок. И хотя место акмеизма в истории русской литературы определяется не этими декларациями, а практикой входивших в группу поэтов, оценить их значимость и отличие от мастеров предыдущего поколения можно было лишь задним числом.

Еще важнее следующее. Для Гумилёва, Нарбута, очень во многом для Мандельштама в 1912—1915 годах важна была идея поэта-мастера, носителя «священного ремесла» в средневековом смысле. В зависимости от степени доброжелательности интерпретатор мог сделать в этом словосочетании акцент либо на определяемое, либо на определитель. Но для Ходасевича оно в любом случае было неприемлемо, ибо означало отказ от сим-

волистской идеи неразрывности человеческого и творческого в поэте. Парадокс в том, что при этом в быту сам он гораздо легче отвлекался от своего дара и влезал в шкуру «обычного» человека (в его случае — профессионального литератора широкого профиля), чем ребячливо-чопорный Гумилёв, величественная Ахматова или эксцентричный Мандельштам.

Не стоит забывать и о том, что в чисто практическом смысле акмеизм был для молодых поэтов средством избавиться от ученического статуса (в случае Гумилёва — сильно затянувшегося). Но для Ходасевича это смысла не имело: он с ранней юности был на равных принят в символистском кругу.

Наконец, ему, вероятно, был просто чужд мажорный тон акмеистической лирики. В его глазах земной мир вместе с бедностью и смирением утрачивал и свою правоту.

Что же писал Ходасевич об акмеистах? Впервые говорит он о них как о представителях единой школы в статье «Русская поэзия», написанной в 1914 году для альманаха издательства «Альциона», позднее выпускавшего книги акмеистов.

О Городецком:

«Городецкий был “мистическим анархистом” и даже удивлялся, как можно не быть им; Городецкий был “мифотворцем”; Городецкий был, кажется, и “мистическим реалистом”. Все это проходило, забывалось. Теперь Городецкий акмеист. Вероятно, пройдет и это. Но беда в том, что Сергей Городецкий, на которого возлагалось столько надежд, написал плохую книгу, доброй половиной которой обязан уже не себе, а влиянию Андрея Белого, что само по себе тоже не “адамистично”. <...>

Очень уж ненародны эти стихи, которым так хочется быть народными. <...> За всеми его “Странниками” и “Горшениями” очень уж много чувствуется размышлений о России и мало ее подлинной жизни¹.

В письме Александру Тинякову Ходасевич выражается еще откровеннее: «Я всегда считал его стихи (за немногими исключениями) сущей дрянью»².

О Гумилёве:

«И в “Пути конквистадоров”, и в “Романтических цветах”, и в “Жемчугах” было слов гораздо больше, чем содержания, ученических подражаний Брюсову — чем самостоятельного творчества. В “Чужом небе” Гумилёв как бы снимает наконец маску. Перед нами поэт интересный и своеобразный. В движении стиха его есть уверенность, в образах — содержательность,

¹ Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор // СС-4. Т 1. С. 414.

² Письма В. Ф. Ходасевича к А. И. Тинякову / Публ. Ю. Колкера // Континент. 1986. № 50. С. 363.

в эпитетах — зоркость. В каждом стихотворении Гумилёв ставит себе ту или иную задачу и всегда разрешает ее умело. Он уже не холоден, а лишь сдержан, и под этой сдержанностью угадывается крепкий поэтический темперамент.

У книги Гумилёва есть собственный облик, свой цвет, как в отдельных ее стихотворениях — самостоятельные и удачные мысли, точно и ясно выраженные. Лучшими стихотворениями в “Чужом небе” можно назвать “Девушке”, “Она”, “Любовь”, “Оборванец”. Поэмы слабее мелких вещей, но и в них, например в “Открытии Америки”, есть прекрасные строки. Самое же хорошее в книге Гумилёва то, что он идет вперед, а не назад¹.

Отзыв сдержанно-хвалебный — но это самое теплое, что за всю жизнь написал Ходасевич о гумилёвской поэзии.

О Нарбуте:

«Зачем было поэту, издавшему года два назад совсем недурной сборник, выступать теперь с двумя книжечками, гораздо более непристойными, чем умными»².

Своеобразия гротескного натурализма Нарбута Ходасевич оценить не смог, увидев в книгах «Аллилуйя» и «Любовь и любовь» только непристойность. О том, насколько недооценивал он этого по-своему выдающегося поэта, свидетельствует тот факт, что в «Некрополе» (в очерке «Блок и Гумилёв») он путает Владимира Нарбута с его братом, художником Егором Нарбутом.

Отзыв об Ахматовой в статье «Русская поэзия» довольно сдержан:

«Г-жа Ахматова обладает дарованием подлинным и изящным, стих ее легок, приятен для слуха. В мире явлений поэтесса любит замечать его милые мелочи и умеет говорить о них»³.

Но в том же году Владислав Фелицианович гораздо теплее и заинтересованнее написал о второй ахматовской книге — о «Четках» (Новь. 1914. № 69. 5 апреля):

«О стихах Анны Ахматовой говорить особенно трудно. <...> Отметив их очаровательную интимность, их изысканную певучесть, хрупкую тонкость их как будто небрежной формы, мы все-таки ничего не скажем о том, что составляет их обаяние. Стихи Ахматовой очень просты, немногоречивы, в них поэтесса сознательно умалчивает о многом — это составляет их едва ли главную прелесть.

Их содержание всегда шире и глубже слов, в которые оно замкнуто»⁴.

¹ Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор // СС-4. Т. 1. С. 414—415.

² Там же. С. 416.

³ Там же. С. 415.

⁴ СС-2. Т. 2. С. 144.

В свое время Ходасевич включил Ахматову в список из двадцати пяти недооцененных широким читателем поэтов. После «Четок» это казалось уже явным анахронизмом: к двадцатипятилетней поэтессе пришла настоящая слава. Однако теперь Ходасевича смущал характер этой славы, которую он в рецензии на следующую ахматовскую книгу, «Белая стая», назвал «бесславной» (выражение это, конечно, заимствовано из ахматовских стихов):

«Пение поэта есть только дудочка, которой подманивает он людей к своему костру. Но дудочка эта должна быть волшебной. Пускай тот, кто пошел на звук ее, сам взойдет на тот же костер, на котором горит поэт. Пусть поэт не говорит: “смотрите, как я горю”, но требует, чтобы сгорали с ним вместе. И на этот зов пойдут только алчущие и жаждущие, а не пресыщенные; готовые сгорать, а не желающие погреться; только те, которые знают, что слушать поэта, быть может, так же обязывает, как и быть поэтом; только те, кто в лице поэта приносят в жертву и частицу самих себя.

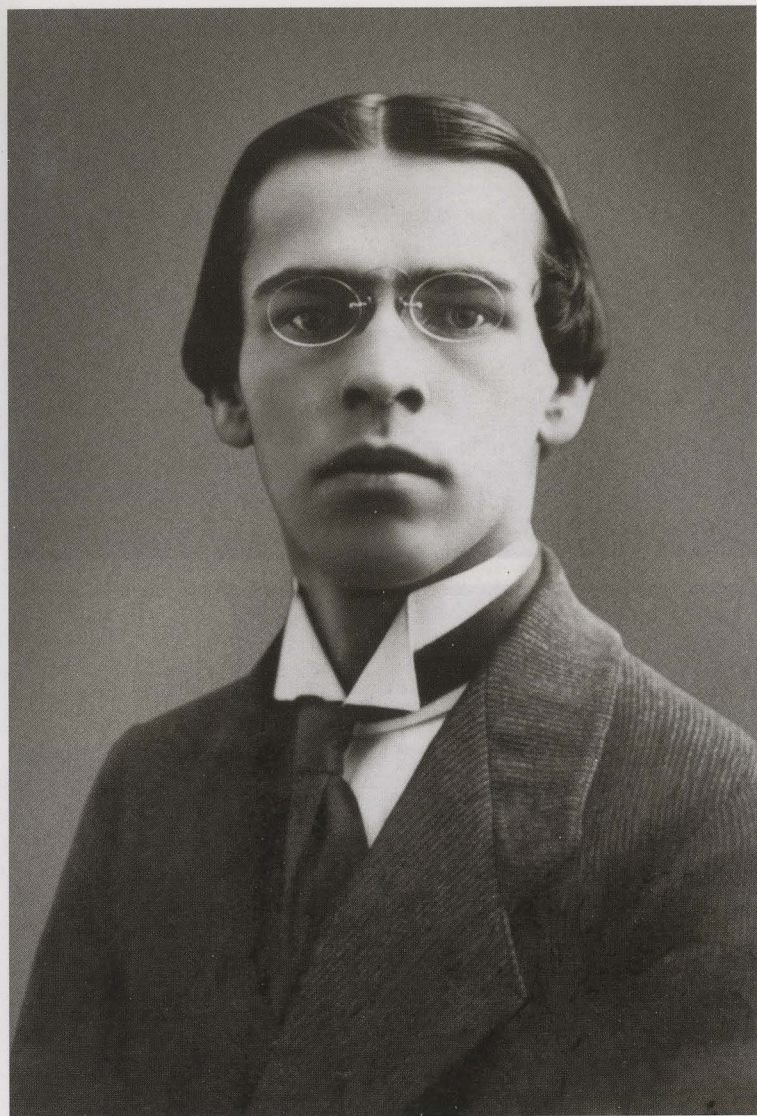
Не для таких людей поет Анна Ахматова. Сладостна ее песня для слуха, но, может быть, — слишком сладостна, слишком по вкусу каждому, слишком доступна для всех, кто не прочь погреться у чужого огня и кто за тридевять земель бежит от костра настоящего, сжигающего. Потому-то так любят Ахматову томные дамы и фешенебельные юноши. Потому-то и случается встретить томик ее стихов там, где книг вообще не держат.

Анна Ахматова — поэт, и сама она свой долг выполнит, сгорит до конца. Но суждено ли ей сознать, что пора ей переменить голос ее песни, к костру своему позвать только тех, кто готов гореть, горящих, а не охладелых, голодных вечным духовным голодом, а не пресыщенных, довольных, благополучных?»¹

Эти слова, написанные уже в дни революции и перекликающиеся с более поздними высказываниями самой Ахматовой, многое говорят о творческой и человеческой позиции Ходасевича. Как и его первый по времени отзыв о Мандельштаме — рецензия на второе издание «Камня» в обзоре «О новых стихах» (Утро России. 1916. № 1. 30 января):

«Осипу Мандельштаму, видимо, нравится холодная и размеренная чеканка строк. Движение его стиха замедленно и спокойно. Однако порой из-под нарочитой сдержанности прорывается в его поэзии пафос, которому хочется верить хотя бы за то, что поэт старался (или сумел сделать вид, что старался) его скрыть. К сожалению, наиболее серьезные из его пьес, как “Silentium”, “Я так же беден”, “Образ твой, мучительный и зыб-

¹ Ходасевич В. Бесславная слава // СС-4 Т 1 С 485—486



Владимир Сузачев.



Семья Ходасевичей: Фелициан Иванович и Софья Яковлевна с сыновьями Владиславом и Михаилом. 1890-е гг.

Камергерский переулок в Москве,
где родился и провел первые месяцы жизни будущий поэт.
Открытка издательства Шерер, Набгольц и К^о. 1900-е гг.



Владя Ходасевич.
Москва.
Конец 1880-х гг.
Фото Fr. Oritz

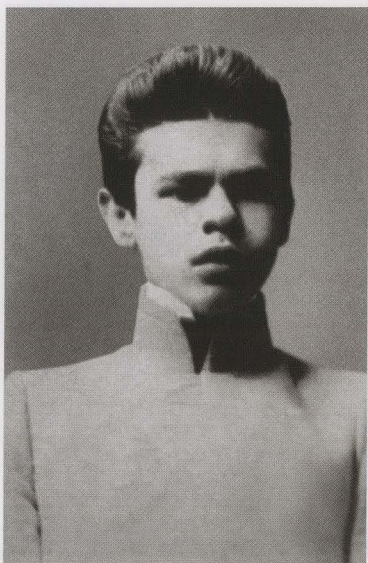


Владислав Ходасевич
Конец 1910-х гг. в ЦАХ

Александр Ходасевич
1913 г.



Владислав
с сестрой Евгенией.
1890-е гг.



Владислав Ходасевич-гимназист.
1900-е гг.



Александр Брюсов.
Около 1910—1913 гг.

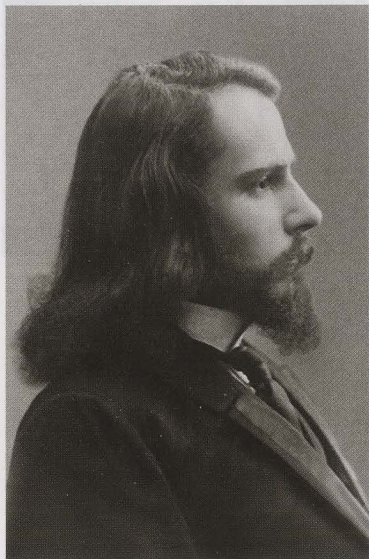
Валерий Брюсов. *1906 г.*





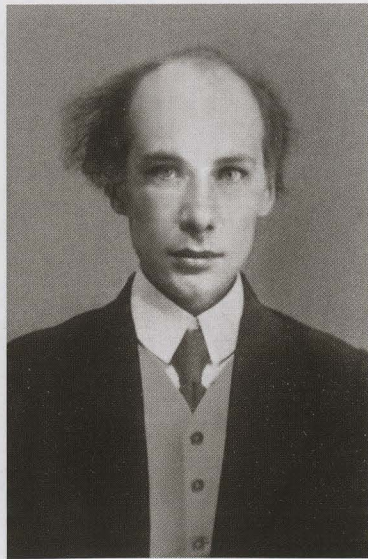
Виктор Гофман.
Конец 1910-х гг.

Александр Тиняков.
1913 г.



Владислав Ходасевич. 1910 г.
Фото из студенческого билета

Андрей Белый.
1910-е гг.





Нина Петровская.
1910-е гг.

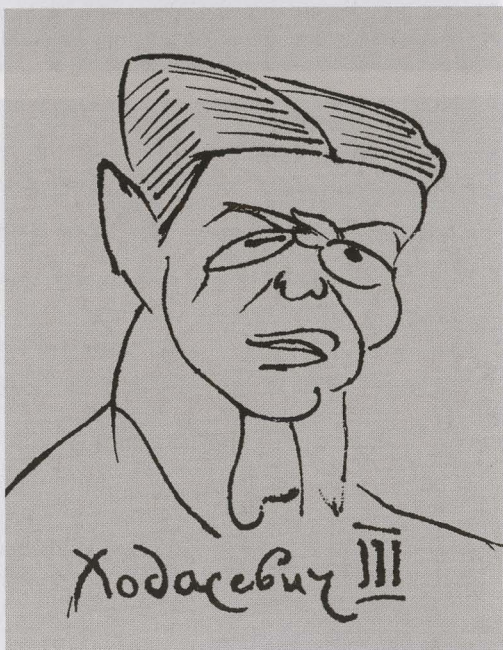


Марина Маковская
(урожденная Рындина,
в первом браке Ходасевич).
Портрет работы А. Я. Головина.
1912 г. ГРМ



Владислав Ходасевич
и Самуил Киссин (Муни).
Около 1906—1910 гг.
Фото из альбома М. М. Шкапской.
РГАЛИ

Сергей Маковский.
1910-е гг.



Владислав
Ходасевич.
Шарж работы
неизвестного
художника.
1907 г.



Георгий Чулков.
Портрет работы
З. Е. Серебряковой. 1910 г.



Анна Чулкова (в первом браке
Гренцион, во втором Ходасевич).
Около середины 1900-х гг.

Дарственная надпись поэта на книге «Молодость»
первой жене Марине Ходасевич (в пору расставания).
Музей А. Ахматовой в Фонтанном Доме

Маленькая Луиза, давай же Луизинка,
милую блондину — все мои слова, все мечты
и все утробы, ставшая мамой о кра-
сивой.

Владиславич.

1908, 5 марта.

МОЛОДОСТЬ

"Ты убил рукой гелленкой"

(Гр. 56)

Владислав Ходасевич.
1911 г.
Архив
В. М. Ходасевич

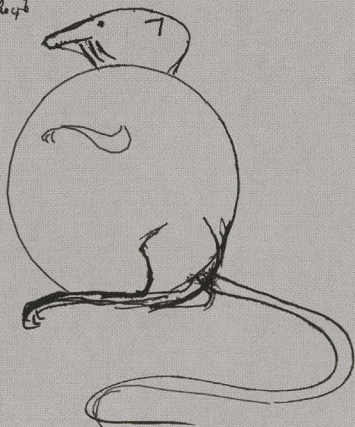


Евгения Муратова.
Рисунок
Н. П. Ульянова.
1906 г.



Вот как летит все равно, потому что я решил не писать ни
словаго Вад. ие.

Цитата Клода



Вад как-то говорил что-то много про мальку про Вад. :
Кружится.

Вад - медведица на скалке

Рисунок поэта
в письме
второй жене
Анне Ходасевич.
30 июля 1916 г.
РГАЛИ

Гарик Гренцион,
пасынок поэта.
Работа
В. М. Ходасевич
«Портрет
мальчика».
1917 г.



Надежда Львова.
Конец 1900-х —
начало 1910-х гг.



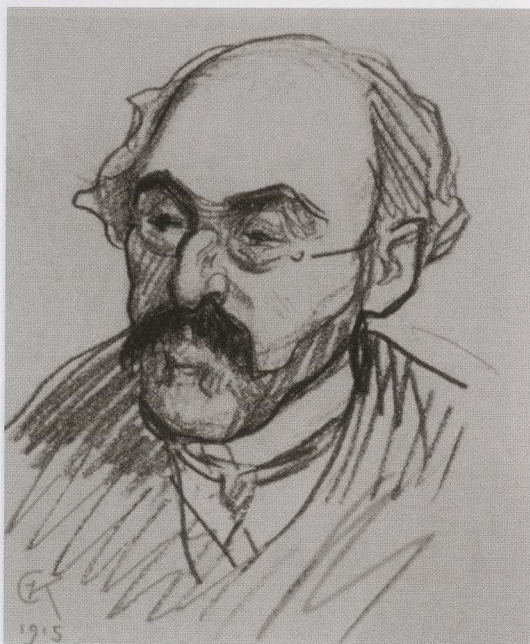
Борис Садовской.
1910-е гг.



Софья Парнок.
1914 г.

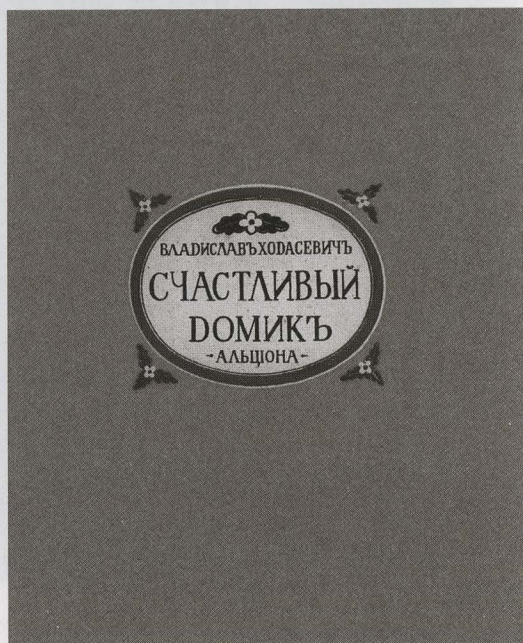
Рисунки
А. М. Давыдова
30 июля 1916 г.
ИРЛИ

Парик Гринштейн,
постылок Петра
Рубина
А. М. Давыдов
Иркутск
июль 1917 г.



Михаил
Гершензон.
Рисунок
Е. С. Кругликовой.
1915 г. ИРЛИ

Максимилиан
Волошин.
1910-е гг.



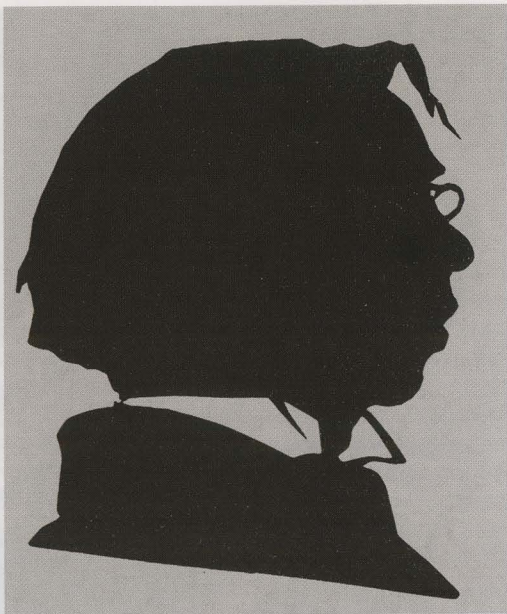
Обложка второй
книги поэта
«Счастливый
домикъ».
Оформление
И. И. Мозалевского.
Москва. 1914 г.



Анна Ходасевич.

Работа В. М. Ходасевич «Женский портрет». 1915 г.

Владислав
Ходасевич.
Силуэт работы
Е. С. Кругликовой.
1916 г. ГРМ



Осип Мандельштам,
Владислав
Ходасевич,
Максимилиан
Волошин.
Работа
Ю. Л. Оболенской
«Поэты».
1916 г. РГАЛИ





Владислав Ходасевич.
Портрет работы В. М. Ходасевич. 1915 г. ГЛМ

Максимович
Ворожков
Рубин
А. М. Горюхов
Александр
1915 г. ХОДАСЕВИЧ

кий”, помечены более ранними годами; в позднейших стихотворениях г. Мандельштама маска петроградского сноба слишком скрывает лицо поэта; его отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их “прекрасными” словами кроется глубоко ничтожное содержание:

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Ну, право, стоило ли тревожить вершины для того только, чтобы описать дачников, играющих в теннис? Думается, г. Мандельштам имеет возможность оставить подобные упражнения ради поэзии более значительной¹.

Бросается в глаза, что Ходасевич хвалит у Мандельштама только совсем ранние, доакмеистические, еще чисто символистские стихи, относящиеся к 1910—1912 годам. Но любопытно другое: отвержение «петербургского (слово «петроградский» — явная редакторская или цензурная замена, Ходасевич слова «Петроград» не употреблял и над употреблявшими его смеялся) снобизма». Возможно, в его неприятии акмеизма был и этот оттенок. Петербургская культура в том виде, в каком она сложилась накануне Первой мировой войны, включала культ мастерства, игры, «хорошего тона», но прежде всего — неприятие «задушевности» и открытых пафосных разговоров «о самом главном». Москвичей это могло раздражать (вспомним эпизод с совместным обедом Набокова и Бунина в 1933 году, закончившимся взаимным разочарованием: младший по возрасту классик, петербуржец, хочет поговорить об «искусстве», а старший, москвич, рвется «распахнуть душу» и ожидает того же от собеседника).

В еще большей степени, чем в рецензии на «Камень», этот оттенок отношения к сверстникам-петербуржцам, и особенно к петербуржцам чуть более молодого поколения, выразился в отзыве о стихах другого большого впоследствии поэта, в середине 1910-х годов близкого к акмеизму:

«У Георгия Иванова, кажется, не пропадает даром ни одна буква; каждый стих, каждый слог обдуман и обработан. Тут остроумно сыграл молодой поэт на умении описывать вещи; тут апеллирует он к антикварным склонностям читателя; тут блеснул он осведомленностью в живописи, помянув художника, в меру забытого и потому в меру модного; тут удачным намеком заставил вспомнить о Пушкине; где надо — показался изыс-

¹ Ходасевич В. О новых стихах // СС-4 Т 1 С 455

канно-томным, жеманным, потом задумчивым, потом капризным, а вот он уже классик и академик. <...> Но, в конце концов, до всего этого ему нет никакого дела. Его поэзия загромождена неодушевленными предметами и по существу бездушна даже там, где сентиментальна.

Таких поэтов, как Георгий Иванов, за последние годы мелькнуло много. Напрасно зовут их парнасцами. “Парнас” тут ни при чем: это — совершенно самостоятельное, русское, даже, точнее, — “петроградское”. Это — одна из отраслей русского *прикладного искусства* начала XX века. Это не искусство, а художественная промышленность (беру слово в его благородном значении). Стихи, подобные стихам г. Иванова, могут и должны служить одной из деталей квартирной, например, обстановки. Это красиво, недорого и удобно. Это надо бы назвать “индустризмом”, что ли.

Г. Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только если случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастья. Собственно, только этого и надо ему пожелать» («О новых стихах» // Утро России. 1916. № 3. 27 мая)¹.

Отзыв жесткий, что и говорить, но про раннего Иванова многие говорили именно так — слово в слово.

В целом же можно сказать, что почти к каждому из акмеистов Ходасевич относился лучше, чем к течению в целом.

6

Не все просто и с отношением Ходасевича к футуризму.

Можно сказать, что один из футуристов Владиславу Фелициановичу в некий момент определенно нравился — и, увы, это был Игорь Северянин.

Вот самый ранний отзыв об этом поэте — точнее, о его вечах в Обществе свободной эстетики (в «Русской молве» за 25 декабря 1912 года — первый материал Ходасевича в этой газете):

«Если футуризм Игоря Северянина — только литературная школа, то надо отдать справедливость: чтобы оправдать свое имя, ей предстоит сделать еще очень многое. Строго говоря, новшества ее коснулись пока одной только этимологии (в современной формулировке — морфологии. — *В. Ш.*). Игорь Северянин, значительно расширяющий рамки обычного словообразования, никак еще не посягнул даже на синтаксис. Не-

¹ Ходасевич В. О новых стихах // СС-4. Т. 1. С. 461—462.

сколько синтаксических его “вольностей” сделаны, очевидно, невольно, так как являются просто-напросто варваризмами и провинциализмами, каковыми страдает и самое произношение поэта. Например, он говорит: бэздна, смэрть, сэрдце, любовь.

Если же футуризм и в данном случае претендует на роль нового мирозерцания, как это делает футуризм западный, основанный Маринетти, то следует признать, что не только до нового, но и вообще до сколько-нибудь цельного мирозерцания ему еще очень далеко»¹.

Пока Ходасевич лишь присматривается к входящему в моду гатчинскому стихотворцу, но присматривается доброжелательно.

Год с небольшим спустя, работая над статьей «Русская поэзия», он уже определился со своим мнением о Северянине. Оно таково:

«Игорю Северянину довелось уже вынести немало нападков именно за то, что если и наиболее разительно, то все же наименее важно в его стихах: за язык, за расширение обычного словаря. <...> Спорить о праве поэта на такие вольности не приходится. Важно лишь то, чтобы они были удачны. Игорь Северянин умеет благодаря им достигать значительной выразительности. “Трижды овесенненный ребенок”, “звонко, душа, освирелься”, “цилиндры солнцевеют” — все это хорошо найдено. <...>

Талант его как художника значителен и бесспорен. Если порой изменяет ему чувство меры, если в стихах его встречаются безвкусицы, то все это искупается неизменною музыкальностью напева, образностью речи и всем тем, что делает его не похожим ни на кого из других поэтов. Он, наконец, достаточно молод, чтобы избавиться от недостатков и явиться в том блеске, на какой дает право его дарование. Игорь Северянин — поэт Божией милостью»².

Правда, Ходасевич замечает у Северянина налет «пошловатой эlegantности», но, похоже, видит в этом лишь «болезнь роста» талантливого поэта.

В промежутке между этими двумя отзывами вышел «Громко кипящий кубок» (на него Ходасевич тоже кратко отозвался) и началась слава Северянина. Еще на первом его вечере были, наряду с присяжными любителями словесности, и «нарядные дамы, не чуждые решительно ничему» и «почетные граждане скетинг-ринка, молодые утонченники с хризантемами в петлицах». К 1914 году Северянин постепенно становился люби-

¹ Ходасевич В. Игорь Северянин // СС-4. Т. 1. С. 398—399.

² Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор // СС-4. Т. 1. С. 422—424.

мым поэтом не только этих «утонченников», но и тех, кого в «Бродячей собаке» именовали «фармацевтами», людей, далеких от искусства: купцов, чиновников, адвокатов, книголюбивых приказчиков и телеграфистов — по всей России.

В своем увлечении Северянином Ходасевич доходит до того, что дважды предваряет своей речью его выступления в Политехническом музее — 30 марта и 15 апреля 1914 года. Эти речи послужили основой для статьи «Игорь Северянин и футуризм», напечатанной двумя «подвалами» в «Русских ведомостях» (29 апреля и 1 мая). Собственно, с этой статьи началось его сотрудничество в «Русских ведомостях», как прежде с отзывами о вечере Северянина — сотрудничество в «Русской молве».

В ней Владислав Фелицианович впервые дает серьезную оценку футуризму в целом (до этого он успел дать ее, может быть, лишь в шуточной форме — имеется в виду скетч «Любовь футуриста», имевший успех в «Летучей мыши»). Разбирая лозунги, брошенные в «Пощечине общественному вкусу» и других декларациях футуристов («непримиримая ненависть к существующему языку, ведущая к разрушению общепризнанного синтаксиса и такой же этимологии, расширение и обогащение словаря и разрушение стихотворного канона и создание нового поэтического размера»¹), он, вслед за Брюсовым и другими мэтрами символизма, указывает, что все это не ново, что все поэты, «от Лермонтова до Бальмонта», реформировали синтаксис, что «современный поэтический канон предоставляет поэту право писать точным или неточным размером, с рифмами или без рифм, с рифмами точными или неточными», так что футуристы ломаются в открытую дверь.

И лишь идея «разрушения этимологии» вызывает у него принципиальные возражения. «Футуризм возражает, что поэзия не должна содержать в себе смысла, ибо она есть искусство слов, как живопись есть искусство красок, а музыка — искусство звуков. Но краски, размазанные по холсту без всякого смысла, сами футуристы не признают живописью, что видно хотя бы из того, что одни из них пишут картины, а другие не пишут. Между тем размазывать краски по полотну может всякий»². Однако абстрактная живопись уже существовала, Василий Кандинский и Казимир Малевич выставлялись, в том числе и в Москве. Аргумент Ходасевича был неудачен: он отражал то отношение к изобразительному искусству, которое в его эпоху уже считалось обывательским. Видимо, живопись была слишком далека от его собственных интересов.

¹ Ходасевич В. Игорь Северянин и футуризм // СС-4. Т. 1. С. 426.

² Там же. С. 427.

Зато в критике идейных, философских основ футуризма он ловок и остроумен:

«Один из основных параграфов футуристической программы — проповедь силы, молодости, энергии — потому-то и не определяет в футуризме ровно ничего, что он может быть выдвинут людьми самых различных мировоззрений. За примером ходить слишком недалеко: петербургский акмеизм начертал на своем знамени тот же лозунг, хотя от футуризма его отделяет целая пропасть. <...>

Когда нам предлагают стать физически сильными и заняться развитием мускулатуры, мы благодарим за добрый совет, но не зная, во имя чего он делается и зачем нам быть здоровыми, — мы должны признать за ним только спортивные и в лучшем случае гигиенические достоинства, но никак не идейные и не философские.

И здесь снова — маленькая, но характерная для футуристической близорукости несообразность. О каком физическом здоровье, о какой силе и молодости могут мечтать футуристы, раз они накликают торжество большого города, раз требуют решительного ухода от природы? <...> И мы совершенно уверены, что через месяц в Москве не останется ни одного футуриста, потому что все они поедут на дачу запастись силами для будущей зимы. Там, на летнем отдыхе, в сельской тиши, будут они воспевать город...»¹

Что же до Северянина, его Ходасевич решительно отделяет от всех остальных футуристов:

«Если необходимо прозвище, то для Игоря Северянина следует образовать его от слова *praesens*, *настоящее*.

Поэзия его современна, и вовсе не потому, что в ней часто говорится об аэропланах, автомобилях, кокотках и тому подобном, а потому, что способ мыслить и чувствовать у Северянина именно таков, каков он у современного горожанина. <...> Его повышенная впечатлительность и в то же время как будто слишком уж легкое перепархивание от образа к образу, от темы к теме, напряженность и в то же время неглубокость его чувств, — все это — признаки современного горожанина, немного мечтателя и немного скептика, немного эстета и немного попросту фланера»².

Увлечение Ходасевича Северянином вызывало в это время удивление и насмешки у кое-кого из прежних друзей, например у Александра Брюсова, посвятившего Владиславу очередное возмущенное послание под названием «Гора Каво» (подзаголовок: «Что такое гора Каво. Из вопросов эгофутуризма»):

¹ Ходасевич В. Игорь Северянин и футуризм // СС-4. Т. 1. С. 430—431.

² Там же. С. 434.

Задолго до того, как от горящей Трои
Эней стремил свой путь, покинув душный плен,
Задолго до того, как юные герои
Сложили первый ряд великих римских стен,
Задолго до того ты знала ропот черни
И шумных городов людской водоворот,
И на холмах твоих молился в час вечерний
Неведомым богам неведомый народ.
Когда же юный Рим, и хищный и лукавый,
Объединил сынов, то через сотни лет
На этих же холмах справлял он праздник славы,
Воспоминания о первых днях побед.
На этих же холмах, когда внезапно боги
Отдали гордый Рим для новых, жгучих ран,
В дни ужаса и медленной тревоги
Великий Ганнибал раскинул ратный стан.

.....
Конечно, Ганнибал, Цецилия Метелла,
Объединение союзных городов
И храм Юпитера — все это очень смело
Ты мог бы позабыть сквозь долгий ряд годов.

.....
Когда-то — помню я, — ты хвастал классицизмом,
Но это, может быть, была одна игра,
И нынче увлечен ты эгофутуризмом,
Сиреневым мороженым *et cetera*.

.....
Ты мог забыть про все — про Рим, про храм, про славу,
Но, надо думать, ты в науке очень слаб,
Когда ты позабыл, что озеро на Каво —
Единственное, где есть пресноводный краб¹.

Скорее всего, незнание Ходасевичем славной истории Альбанской горы, она же Монте-Каво, как-то связывалось в сознании будущего археолога с его «неправильными» вкусами. На самом-то деле в этих вкусах не было ничего столь уж необычного. Все символисты Северянину явно благоволили — больше, чем кому-либо из молодежи. Старея, они опасались отстать от времени и упустить «новатора», а Северянин идеально соответствовал стереотипам, которые были у них на сей счет: он, по крайней мере на первых порах, вел себя приблизительно так же, как Брюсов и Бальмонт в 1890-е годы. Вся история литературы полна такого рода недоразумений; чтобы не тревожить имена здравствующих и недавно умерших авторов, ограничимся Владимиром Бенедиктовым, чьими звучными строками оглашал царскосельские аллеи не кто-нибудь, а сам Василий Андреевич Жуковский. Правда, Бенедиктов и забыт был очень быстро (и во многом несправедливо: у него есть свои достоинства), а имя Северянина сегодня говорит широкому читателю

¹ Ходасевич В. Игорь Северянин и футуризм // СС-4. Т. 1. С. 434.

едва ли не больше, чем имена многих истинно великих поэтов... Но это уж на совести тех, кто в 1960-е годы «возрождал» культуру Серебряного века и не до конца разобрался в ее подлинной иерархии.

Но Ходасевич, с его безупречным вкусом, с его строгостью, порою чрезмерной, с его нетерпимостью ко всякой глупости и пошлости? Как мог он всерьез восхищаться вот этими стихами:

Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки,
Алогубы-цветики жарко протяни.
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!..

Ласковая девонька! крошечная грешница!
Ты еще пикантнее от людских помой!
Верю: ты измучилась... Надо онездешниться,
Надо быть улыбочатой, тихой и немой.

Думается, что здесь сказала не только беззащитность перед современностью, но и слабость перед трогательной наивностью старинного романа, отзвук которой Ходасевич мог слышать в наиболее сентиментальных из «поэз» Северянина. В сперва робком, а потом нагловатом «короле поэтов» он мог увидеть что-то вроде графини Ростопчиной.

Впрочем, разочарование наступило быстро. Уже в 1915 году, после выхода книг Северянина «Ананасы в шампанском» и «Victoria regia», появилась статья Ходасевича «Обманутые надежды», в которой он, по существу, отрекается от данных «авансов»:

«По-прежнему неглубокой осталась поэзия Северянина. Мелочные переживания питают ее, — порою до того мелочные, что становиться тяжело: то это спор с какой-то женщиной, предъявившей к тому “я”, от чьего лица писаны стихи, иск об алиментах; то грубая брань по адресу критики, то постыдные в устах поэта счеты с другим поэтом, упреки в зависти; то, наконец, хвастовство ходкостью “Громокипящего кубка”».

Два года — немалый срок, в жизни поэта особенно. Почему же так плохо его использовал Северянин? Он не растет ни умом, ни сердцем. И особенно убогой кажется его наигранная, неправдивая, с оглядкой на рецензента, мания величия. <...>

Поэзию Северянина много хвалили. Но в похвалах этих он не расслышал, не почувствовал главного: радовались не тому, что он уже дал, а тому, что он *может* дать, радовались его дарованию, еще не оформившемуся, его стихам, еще не написанным. Он не понял того, что слишком многое ему только пришлось ради его таланта, для всех очевидного»¹.

¹ Ходасевич В. Обманутые надежды // СС-4. Т. 1. С. 451—452.

И все-таки даже в этой рецензии Ходасевич говорит о Северяnine как о собрате-поэте, пусть пренебрегшем своим даром, сбившемся с пути. Гумилёв в рецензии на «Громокипящий кубок» оказался прозорливее: он увидел в Северяnine «человека газеты» (то есть массового человека, говоря современным языком), смело вторгающегося в чуждый ему мир «людей книги». Впрочем, даже не сам факт вторжения был опасен: беда в том, что «человек газеты» объявил своей собственностью всю культуру модернизма и принялся «популярить» ее «изыски», сводившиеся для него к экзотическим сырам и ликерам и к романам с шикарными дамами в дорогах авто. Все это не отменяет таланта Северянина и не лишает его стихи известного обаяния, но он никогда не принадлежал к тому же духовному и культурному миру, что и Ходасевич, более того, был в этом мире представителем враждебной и хищнической силы. Ходасевич всю жизнь кожей чувствовал наступление этого врага и старался бескомпромиссно ему противостоять, но не всегда мог его правильно идентифицировать.

В этом смысле очень характерно отношение Ходасевича к другим, помимо Северянина, футуристам. Из гилейцев по-настоящему добрые слова нашлись у него только для Елены Гуро; рецензия на ее посмертную книгу «Небесные верблюжата» вполне сочувственна. «Заумникам», то есть Хлебникову и Крученых, он — позднее — готов был хоть отчасти отдать справедливость, признав за ними «известный пафос — пафос новаторства и борьбы»¹ и даже «некое “безумство храбрых”»². Хлебникова он именовал «гениальным кретином» («в нем действительно были черты гениальности; кретинистических, впрочем, было больше»³). Нетерпим он был к Маяковскому, Пастернаку и Асееву, которые «доброе, честное *отсутствие* содержания... предательски подменили его *убожеством*, грубостью, иногда пошлостью»⁴. Впрочем, отношение Ходасевича к Пастернаку — тема сложная и долгая, которой нам еще не раз придется коснуться. В иные дни неприятие этого поэта сменялось у Ходасевича интересом и даже холодным уважением, а под конец жизни — и искренней симпатией. А вот отвращение к Маяковскому было неизменным, безоговорочным и глубоким, и относилось оно в большей мере к человеческому типу, чем к стихам. Самое яркое в только что процитированной статье-памфлете «Декольтированная лошадь» (1927) — описание внешности молодого Маяковского:

¹ Ходасевич В. Декольтированная лошадь // СС-4. Т. 2. С. 161.

² Там же. С. 162.

³ Там же. С. 161.

⁴ Ходасевич В. О формализме и формалистах // СС-4. Т. 2. С. 153.

«Представьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольте, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля желтые зубы.

Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл бы ее, если бы несколько дней спустя, придя в Общество свободной эстетики, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями, в черной рубаше, расстегнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное декольте»¹.

Помнил ли Ходасевич строки *самого* Маяковского: «каждый из нас — по-своему лошадь»? Правда, это написано позже, в 1918 году, а пятью годами раньше прозвище «декольте-Маяковский» в самом деле было в ходу: оно упоминается в письме Ходасевича Садовскому от 25 мая 1913 года. Маяковский, «рубашка-парень, выпить не дурак, человек компанейский и без претензий», в это время состоял под опекой Александра Брюсова (а сам-то попрекал Ходасевича Северянином!) и Койранского. Вскоре претензии появились — и немалые. К тому времени отношения Ходасевича с гилейцами и прежде всего с Маяковским накалились до предела.

Вот лишь один характерный эпизод: 8 февраля 1915 года в Обществе свободной эстетики состоялся поэтический вечер, участники которого (Ходасевич, Семен Рубанович и Константин Липскеров) поставили условие, что в числе читающих не будет футуристов. Однако распорядитель вечера врач Иван Трояновский разрешил Маяковскому и Илье Зданевичу (одному из «открывателей» Нико Пиросмани, теоретику «лучизма» и талантливому прозаику) почитать сверх программы. Это вызвало возмущенное письмо трех поэтов:

«В составе комитета находится два писателя: В. Я. Брюсов и Ю. К. Балтрушайтис. Надеемся, что они, со своей стороны, не откажутся объяснить г. Трояновскому, в какой степени неудобно делать выступление других писателей, ничем доньше не запятнавших своего доброго литературного имени, предложом к развлечению, единственный интерес которого — интерес к скандалу»².

Комический аспект заключался в том, что Трояновский сам не осмелился бы дать разрешение на сверхпрограммное чтение — он обратился за одобрением к Иоанне Матвеевне Брюсовой, которая за отсутствием супруга (тот был по военно-кор-

¹ Ходасевич В. Декольтированная лошадь // СС-4. Т. 2. С. 159.

² РГБ. Ф. 386. Карт. 115. Ед. хр. 9.

респондентским делам в Польше) была как бы его полномочным представителем, и она легкомысленно дала добро. По совету Брюсова, которому испуганная жена немедленно доложила об этом происшествии, перед Ходасевичем и его товарищами извинились, но не в той форме, на которой они настаивали, а потому история некоторое время еще продолжалась. В первые месяцы 1915 года этот ничтожный конфликт всерьез занимал мысли Ходасевича.

Почти все встречи Ходасевича с Маяковским (а встречаться им приходилось в разных местах, не только в «Эстетике», но и в домах общих знакомых — между прочим, у Брониславы Рунт-Погореловой, в Дегтярном переулке) сопровождались противостоянием. По свидетельству Дон-Аминадо, «Маяковский, увидя Ходасевича, слегка прищуривал свои озорные и в то же время грустные глаза»¹. После проведенной в винопитии и спорах о литературе ночи «Маяковский рычал, угрожал, что с понедельника начнет новую жизнь и напишет такую поэму, что мир содрогнется. Ходасевич предлагал содрогнуться всем скопом и немедленно, чтобы не томиться и не ждать»². Однажды, по свидетельству того же Дон-Аминадо, Ходасевич презрительной репликой защитил от Маяковского и от «имажинистов» (вероятно, имеются в виду эгофутуристы) Аполлона Майкова, старого поэта, с которым у него были свои, тайные отношения. Впрочем, порою соперничество и противостояние принимали формы невинные, даже инфантильные — вспомним эпизод из «Охранной грамоты» Пастернака: Маяковский и Ходасевич, играющие в орлянку в кофейне «У Грека». Дух громогласной брутальности, шутовской фамильярности и демонстративного «гениальничанья», исходивший от Маяковского, был Владиславу Фелициановичу крайне неприятен — в то время как многим его друзьям и знакомым именно этот-то дух и импонировал. Для него Маяковский был «кабафутром» — кабацким шутком, гаером (именно это слово употребляет он в письме Садовскому).

Отвлекаясь от литературно-бытовой стороны дела, признаем: в том, что риторическая поэтика Маяковского была по сути противоположна поискам Хлебникова, Ходасевич был, несомненно, прав. Об этом писали и Мандельштам, и многие исследователи «левого» лагеря, в том числе Юрий Тынянов. Но Ходасевич упрощал ситуацию. Он сводил теории и творческую практику гилейцев, в том числе Хлебникова, к «зауми», а Маяковского изображал «практическим человеком», который присоединился к группе на третьем году ее существования и «про-

¹ Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 407.

² Там же. С. 409.

извел самую решительную контрреволюцию внутри хлебниковской революции». На самом деле Маяковский был в «Гилее» с ее возникновением, и в поисках этой группы с самого начала было две стороны, два плохо сочетающихся направления.

И разумеется, Ходасевич был несправедлив, отказывая Маяковскому в эстетической оригинальности. Тем более — сводя содержательную сторону его поэзии, в том числе и ранней, к «пафосу погрома и мордобоя», называя автора «Послушайте» и «Человека» «глашатаем пошлости», «поэтом подонков, бездельников, босяков просто и “босяков духовных”»¹. (Неслучайно Ходасевич не смог привести ни одной убедительной цитаты: ведь нечестно же судить обо всем Маяковском по «Ешь ананасы — рябчиков жуй» или по «С криком “Дойчланд юбер аллес” немцы с поля убирались».) Нельзя не заметить и того, что «Декольтированная лошадь» местами очень близко совпадает по пафосу и аргументам с написанной в том же году книгой Георгия Шенгели «Маяковский во весь рост». Но памфлет Шенгели, при всей его пристрастности, куда более основателен.

О том, что в восприятии Ходасевичем стихов Маяковского сыграла свою роль и личная неприязнь к их автору, свидетельствует примечательный факт: всего через год после инцидента в «Эстетике» Владислав Фелицианович не без иронии, но в целом по-доброму пишет о книге Вадима Шершеневича «Автомобилья поступь», автор которой, хоть и числился в рядах эго-, а не кубофутуристов, находился под сильнейшим творческим влиянием Маяковского (позднее, став идеологом имажинизма, он предсказуемо испытал влияние Есенина, а предшествовал Маяковскому, само собой, Брюсов). Впрочем, Шершеневич, который был знаком с Ходасевичем еще в свой дофутуристический период, в середине 1910-х, кажется, принадлежал к «свите» Анны Ивановны, — как и Константин Большаков, у которого Ходасевич находил, пусть и со множеством оговорок, «настоящее горе и настоящую нежность», и как будущий режиссер-авангардист Игорь Терентьев, — а приятелей жены Ходасевич шадил, хотя и не без тайного раздражения².

Суммируя все это, можно сказать так: в одних футуристах Ходасевич видел врагов, в других нет, но все они были ему чужды.

¹ Ходасевич В. Декольтированная лошадь. // СС-4. Т. 2. С. 163.

² О характере отношений хорошо говорит следующая цитата из письма Ходасевича жене — в ответ на ее сообщение о легкой размоловке с К. Большаковым: «Большакова пошли к черту раз навсегда, ты должна быть здорова и спокойна ради себя, ради Эдгара и ради меня, а не ради идиотов, которым в конце концов на всех наплевать и которым разные Юркуны и Маяковские в 10 раз дороже. В первый же раз, как он тебя хоть едва-едва рассердит, ты скажи ему, чтобы он не звонил, и положи трубку» (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 47).

Но если новые направления в поэзии не встречали у Ходасевича особого сочувствия — значит ли это, что он был верен символистскому знамени? Прежде всего, он полностью соглашался с мыслью о глубоком кризисе символизма. Представления о причинах этого кризиса у него были свои, собственные; отчетливее всего он выразил их в докладе, прочтенном в Литературно-художественном кружке и посвященном пятидесятилетию со дня рождения Надсона. Юбилей давно покойного кумира стареющей прогрессивной молодежи, так третируемого символистами, стал лишь поводом для почти провокационных — в духе бывшего гимназического сочинения — размышлений о помутнении духа интеллигентского сословия (включая и тех, кто еще недавно «работал в организациях») в атмосфере «зловещей реакции»:

«Истинный декаданс, упадок начался тогда, когда русская интеллигенция отвернулась от исторически укрепившейся за ней роли — и бросилась в объятия утонченности и эстетизма — этих вечных спутников и показателей эпохи упадка.

С новой школой произошло злостное недоразумение. Школа символистов, от которой раз навсегда и решительно должны быть отделены писатели-модернисты, *загрязнившие* и опозорившие ее знамя, вся состоит из поэтов-жрецов, а не воинов. Но до тех пор пока за ее молитвой не расслышат призыва, — новая поэзия будет входить в сознание читателей как эстетическое, а не идейное течение. <...>

И когда снова “Россия вспрянет ото сна”, — пусть придут новые поэты-граждане, чтобы так же страдать и умирать за нее. Пусть народится новая “тенденциозная” критика, добрый, старый и честный друг. Она простит выбитому из колеи читателю его минутное увлечение, его флирт с декадентской модой, а тенденциозные поэты снова подымут свой голос, призывая на бой. <...>

Что же до поэтов-жрецов — быть может, настанет пора им быть услышанными и нужными, быть может — нет. Во всяком случае, они не для интеллигенции и интеллигенция не для них. Если когда-нибудь они и будут услышаны, то не интеллигенцией, а какою-то новой, ныне еще не существующей, аудиторией, которая создастся лишь тогда, когда историческая роль русской интеллигенции будет окончена, когда ее долгая и мученическая борьба завершится победой»¹.

¹ Ходасевич В. Надсон // СС-4. Т. 1. С. 395—396.

Другими словами, возвышенная правда поэтов-жрецов — не от мира сего, и символисты сами спровоцировали деградацию, опошление своих идеалов, воспользовавшись минутной слабостью интеллигенции, ее разочарованием в своих позитивистских, «писаревских», революционно-демократических идеалах и понеся свое искусство «в массы». Позднее Ходасевич был несправедливо резок к этой своей речи, назвав ее «претенциозным и тупым набором слов». Но она многое говорит о настроениях поэта в начале 1910-х. Тому символизму, из которого некогда вышел, он мог хранить верность — но не символизму, низведенному (или низведшему себя) до «декадентской моды».

Что же до его конкретных отзывов о мэтрах символизма, относящихся к 1910-м годам, то они противоречивы и часто двусмысленны.

Седьмого мая 1913 года Ходасевич принял участие в чествовании Бальмонта, вернувшегося в Россию после восьмилетней эмиграции (выехав за границу в самом начале 1906 года, он вынужден был оставаться вне России после публикации двух сборников революционных стихов, столь же кровавых, сколь и беспомощных, «Стихотворения» и «Песни мстителя», — лишь амнистия 1913 года открыла ему путь на родину). Владислав Фелицианович прочувствованной речью в Литературно-художественном кружке приветствовал «любимого поэта читающей России», Анна Ивановна тоже приветствовала — «от лица всех женщин, и произвела фурор — поцелуем». Вслед за тем Ходасевич в письме Борису Садовскому от 25 мая язвительно описал эту церемонию: мэтр «не поумнел», стихи читал «просто ужасные», «поклонники кисли, я зевал во всю глотку»¹.

В статье «Русская поэзия» несколько месяцев спустя о Бальмонте написано так:

«В литературных кругах Москвы слова о “вечной юности” Бальмонта давно сделались общим местом. Но с каждой новой книгой его приходится с огорчением убеждаться, что слова эти верны только до тех пор, пока имеется в виду действительно неиссякаемая способность поэта писать, писать и писать. <...> Там, где Бальмонт повторяет самого себя, встречаем стихи очень хорошие, но как будто уже известные. <...> Но там, где он хочет быть новым, чувство меры ему изменяет, изобилие “поэтических” слов ведет к угнетающим прозаизмам»².

И все же скептически оценивая новые стихи стареющего символиста, Ходасевич не может не признать: «Бальмонт стал

¹ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. М., 1996. С. 339.

² Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор // СС-4. Т. 1. С. 411—412.

частью не только моей биографии, но и вашей, читатель, даже если вы думаете, что поэзия не играет в вашей жизни большой роли» (Русская лирика. 1916. № 3. 27 мая). Как не мог Ходасевич отречься от детской любви к ничтожному Круглову — так оставался он верен воспоминаниям о юношеской влюбленности в лирику Бальмонта. Но это были лишь *воспоминания о влюбленности*, не больше.

Духовный вождь петербургских символистов Вячеслав Иванов в 1913 году, после скандального брака со своей падчерицей Верой Шварсалон, решил переехать из Петербурга в Москву. В своем обзоре Ходасевич говорит о двух его книгах. Двухтомный сборник «*Cor ardens*» (1911—1912) — итог блестящего и противоречивого десятилетия, большую часть которого Иванов был в центре литературной жизни, удостаивается (в «Русской поэзии») таких слов:

«Богатство эрудиции позволило ему сделать свою книгу собранием поэтических ценностей, как денежное богатство венецианцев дало им возможность превратить свой собор в сокровищницу, накапливавшуюся столетиями. Готические и арабские колонны, мозаики X и последующих веков, обломки античных рельефов, бронзовые кони императорского Рима и создания Сансовино — вся эта гора золота, бронзы и мрамора составляет то, что зовется собором св. Марка. <...>

В San Marco заключена художественная история веков, которые были старше его. Но историю веков последующих он не изменил ни на йоту. Стиля, который мог бы назваться его именем, не существует и не могло существовать. Продолжателей у него не было.

Точно так же, как и San Marco, творчество Вячеслава Иванова неизбежно войдет в историю, но если и вызовет наивные подражания, то не будет иметь продолжателей»¹.

Похвала ли это? Если да, то очень холодная. Удивительно, что Ходасевич не увидел черты, проходящей между «*Cor ardens*» и следующей книгой Вячеслава Иванова «Нежная тайна», согретой личным чувством и резко отличающейся от стихов Иванова 1900-х годов интонационным строем: искренняя мужественная нежность — вместо во многом искусственного экстаза. «Вячеслав Великолепный» никогда не был близким ему поэтом, хотя сам Ходасевича ценил высоко и отношения у них сложились добрые; позднее, в 1920-е годы, их общение продолжалось в Италии.

Поближе Ходасевичу, казалось бы, Федор Сологуб, которому он позднее посвятил прочувствованный очерк в «Некропо-

¹ Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор // СС-4. Т. 1. С. 408—409.

ле». Но в 1913 году наряду с его доброжелательным и почти-тельным отзывом об очередной поэтической книге Сологуба «Очарования земли» появляется и злая рецензия на сологубовскую пьесу «Заложники жизни», в которой Ходасевич уподобляет заслуженного писателя Ардалиону Передонову, отвратительному герою его самого знаменитого романа «Мелкий бес».

Сушественно больше внимания уделяет Ходасевич в 1910-е годы поэту, с которым его связывали уже десять лет странной дружбы-вражды. Речь конечно же о Валерии Брюсове. В 1912—1916 годах Ходасевич посвящает его книгам четыре отдельные заметки и большие фрагменты в литературных обзорах. Он пишет (в «Голосе Москвы» за 18 мая 1913 года) о книге рассказов Брюсова «Ночи и дни», замечая, что «насыщенность его прозы на каждом шагу обличает в авторе стихотворца»¹; рецензирует его новые книги «Зеркало теней» (1912) и «Семь цветов радуги» (1916); он пишет статью про «Juvenilia» — подборку юношеских стихотворений Брюсова, открывавшую первый том собрания его сочинений. Некоторые из этих стихотворений стали фактом биографии целого поколения, как и поэзия Бальмонта. Для Ходасевича эти юношеские опыты будущего «верховного мага» были дороже его зрелых стихов; почему — об этом подробно и откровенно сказано в «Некрополе».

Ходасевич в конечном итоге написал о Брюсове жестче, чем о ком бы то ни было, и жестче, чем кто бы то ни было из близко знавших Валерия Яковлевича людей (враги — такие, как Бунин, — не в счет). Но в 1910-е годы он часто оказывается защитником старшего поэта. Статью про «Juvenilia» он отдает в «Софию»² — журнал, редактируемый Муратовым и Грифцовым (оба они были друзьями Ходасевича и притом отнюдь не поклонниками Брюсова), в надежде позлить их. В «Русской поэзии» Ходасевич защищает Брюсова от обычных обвинений в «литературности»:

«Поэт должен быть литератором. Гений всеобъемлющий, Пушкин, вмещал в себе и это качество. Заботами о родной литературе наполнены его письма. Борьбе литературных партий отдавал он немалую долю своих сил.

Любовь к литературе, к словесности — одно из прекраснейших свойств брюсовской музыки»³.

И все же в брюсовском беспощадном подчинении собственной жизни (и жизней близких) литературному труду и творческой самореализации Ходасевич видит нечто чуждое себе и да-

¹ Ходасевич В. СС-2. Т. 2. С. 127.

² 1914. № 2.

³ Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор // СС-4. Т. 1. С. 410.

же пугающее: «Как Петербург — “самый умышленный город” в России, так Брюсов был среди нас самый умышленный человек. <...> Из заветной брюсовской Повседневности встал по воле поэта не совсем настоящий, идеальный Брюсов, такой, каким он представлен на врубелевском портрете». Иногда Ходасевичу казалось (или он делал вид, что ему кажется), будто Брюсов наконец «раскрепощает в себе человека»¹, но всякий раз он вынужден был признать свою ошибку.

Парадокс, однако, в том, что «вочеловеченный» Брюсов был бы ему, скорее всего, неинтересен. «Он *маленький человек*, мещанин, — писал Ходасевич в 1915 году Тинякову. — Потому-то, при блистательном “как”, его “что” ничтожно...»² Но «блистательное “как”» — это был скорее способ существования, чем способ писания. «Нечеловечность» Брюсова, демонический искус, которому он подчинил свою человеческую малость, — это пугало, но именно это и увлекало.

Так что неудивительно, что Ходасевич, как и многие, долго не мог изжить любви к Брюсову. Это было что-то вроде любви Корделии к Лиру; Ходасевич радовался, когда до «мага» доходило, что «лучше “злой Ходасевич”»³, чем почтительные ничтожества. И — опять, как пятью-семью годами раньше — литературное переплеталось с личным: другими словами, Ходасевич, в качестве конфидента обеих сторон, оказался впутан в очередную любовную историю Брюсова, только еще более драматичную, чем история Нины Петровской.

Буквально через считанные недели после переезда Анны Чулковой к Ходасевичу, 8 ноября 1911 года, мэтр неожиданно посетил их скромную обитель в меблированных комнатах «Балчуг» и «за чаем в милой беседе высказал желание, чтобы мы познакомились и взяли под свое “семейное покровительство” молодую поэтессу Надежду Львову»⁴. Иоанна Матвеевна отнеслась к этому визиту с явным неодобрением: «Владя последнее время был другом ближайшим этой несчастной М-те Гриф. Я вижу в Валином (домашнее имя Валерия Яковлевича. — *В. Ш.*) поступке и этой дружбе связь. Теперь Нюра будет дружить с тем лагерем, враждебным мне»⁵. Жена Брюсова была неправа относительно Нины Петровской, которую именовала

¹ Ходасевич В. Брюсов В. «Семь цветов радуги»: Рецензия // Утро России. 1916. 14 мая (цит. по: Ходасевич В. СС-2. Т. 2. С. 242).

² Письма В. Ф. Ходасевича к А. И. Тинякову / Публ. Ю. Колкера // Континент. 1986. № 50. С. 366.

³ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 339.

⁴ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 395.

⁵ РГБ. Ф. 386. Оп. 14. Ед. хр. 35.

«мадам Гриф» (Нинин драматический отъезд за границу состоялся на следующий день после брюсовского визита в Балчуг), — но мысли ее работали в верном направлении.

Надежда Григорьевна Львова родилась в 1891 году. В ранней юности она участвовала в гимназической социал-демократической организации, которую возглавляли девятнадцатилетний Николай Бухарин и семнадцатилетний Григорий Бриллиант (Сокольников) — тот самый, который в 1920-е годы наладил советские финансы и подавил гиперинфляцию; среди ее участников был и Илья Эренбург. Вот что писал он, вспоминая Львову, полвека спустя:

«Львов был мелким почтовым служащим, жил на казенной квартире на Мясницкой; он думал, что его дочери спокойно выйдут замуж, а дочери предпочли подполье. Надя Львова была на полгода моложе меня, когда ее арестовали, ей еще не было семнадцати лет. Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова. А я боялся всего, что может раздвоить человека: меня тянуло к искусству, и я его ненавидел. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами... Училась Надя в Елизаветинской гимназии, в шестнадцать лет перешла в восьмой класс и кончила гимназию с золотой медалью. Я часто думал: вот у кого сильный характер!..»¹

Ходасевич, несколькими годами позднее, увидел Львову такой:

«Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву “к”: говорила “’ак” вместо “как”, “’оторый”, “’инжал”»².

И наконец, Львова в описании мельком видевшей ее Цветаевой:

«Невысокого роста, в синем, скромном, черно-глазо-брово-головая, яркий румянец, очень курсистка, очень девушка. Встречный, к брюсовскому наклону, подъем. Совершенное видение мужчины и женщины: к запрокинутости гордости *им* — снисхождение гордости *собой*. С трудом сдерживаемая кругом осчастливленность»³.

¹ Эренбург И. Люди. голы, жизнь: В 3 т. М., 1990. Т. 1. С. 30.

² Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 31—32.

³ Цветаева М. Герой труда (записи о Валерии Брюсове) // Цветаева М. Пленный дух: Воспоминания о современниках, эссе. СПб., 2000. С. 36.

На первых порах это был обычный роман зрелого (хотя еще нестарого) мэтра с юной ученицей. Но из всех увлечений Брюсова в 1900—1910-е годы именно этому суждено было стать самым глубоким. Девушка более чем заурядной внешности чем-то покорила его сердце. Старавшийся всю жизнь быть прежде всего сильным, Брюсов столкнулся с другим *сильным характером*. Для Валерия Яковлевича это создавало мучительные проблемы. Судя по его воспоминаниям, их отношения в течение двух лет оставались платоническими (в это время в жизни Брюсова была другая женщина, поэтесса Елена Сырейщикова, в жизни Нади — некий «жених») — и лишь в конце 1912 года они перешли в иную стадию, причем по инициативе Львовой.

Брюсов утверждал, что Львова требовала от него расстаться с Иоанной Матвеевной и жениться на ней: «Я видел, что она мучается, и мучился сам. Иногда я уступал ее настояниям, но подумав, опять отказывался. Мне казалось нечестным бросить женщину... с которой я прожил 17 лет, которая делила со мной все невзгоды жизни»¹. (Думается, однако, что Иоанна Матвеевна, неоднократно сама помышлявшая о разводе с неверным мужем, легче перенесла бы это его решение, чем сам он — утрату привычного житейского и психологического комфорта.)

Новый роман Брюсова ни для кого не был особенной тайной, но Ходасевичи были посвящены в него официально: достаточно сказать, что Брюсов в обществе Нади приезжал к ним на дачу. Эти события совпали по времени с краткими симпатиями Владислава Фелициановича к эгофутуризму. Львова тесно общалась с более или менее «левыми» молодыми поэтами, прежде всего Вадимом Шершеневичем. Вместе с Шершеневичем и Брюсовым она перевела книгу стихов Жюль Лафорга — выдающегося французского поэта 1880-х годов, которого позднее числили в ряду своих предшественников Т. С. Элиот, экспрессионисты, сюрреалисты.

Изменившееся литературное окружение толкнуло Брюсова на своеобразный эксперимент: летом 1913 года в издательстве «Скорпион» выходит сборник под названием «Стихи Нелли» — со вступительным словом Валерия Брюсова. По словам Ходасевича, «Брюсов рассчитывал, что слова “Стихи Нелли” непосвященными будут поняты как “Стихи, сочиненные Нелли”». Так и случилось: и публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово “Нелли” стоит не в родительном, а в дательном падеже: стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без по-

¹ Лавров А. В. Русские символисты: этюды и разыскания. М., 2007. С. 208.

сторонних»¹. Впрочем, как показывает Александр Лавров, сам образ Нелли — утонченной, но жизнелюбивой дамы, которая, «упав на тахту кавказскую, приказав подать ликер», предается томным страстям, — ближе к другой тогдашней брюсовской даме, Елене Сырейшиковой, которая тоже называла себя этим «иностранным» именем.

Ходасевич с удовольствием принял участие в игре, написав на «Стихи Нелли» рецензию, представляющую собой беззлобную дружескую шутку (напечатана она была в «Голосе Москвы» за 29 августа 1913 года):

«Поэт (мы условимся называть его Нелли) дебютирует, очевидно, своим сборником. Но в то же время (и это, пожалуй, всего примечательнее в стихах Нелли) он обнаруживает такое высокое мастерство стиха, какого нельзя было бы ожидать от дебютанта. <...>

Еще графиня Ростопчина требовала, чтобы ее сравнивали с женщинами, а не с мужчинами. Быть может, и Нелли, как поэтесса, хотела бы сравниться со своими сверстницами? Что же! Стихи ее лучше стихов Анны Ахматовой, ибо стройнее написаны и глубже продуманы. Стихи ее лучше стихов Н. Львовой по тем же причинам. Но в одном (и весьма значительном) отношении Нелли уступает и г-же Львовой, и г-же Ахматовой: в самостоятельности. Голос Нелли громче их голосов, но он более зависит от посторонних влияний. Можно назвать имена учителей г-жи Львовой и Анны Ахматовой, но нельзя указать поэта, которому бы подражали они так слепо, как Нелли подражает Валерию Брюсову...»²

Книга самой Львовой, «Старая сказка», вышла в апреле 1913-го — тоже с предисловием Брюсова, представлявшим собой, по существу, его литературный манифест: «Искусство поэзии требует двух элементов: умения полно переживать свои мгновения и умения передать другим эти переживания в словах. <...> И вот потому, что оба эти элемента, необходимые в поэзии, кажутся мне присущими той книге, которой предполагаются эти строки, я и считаю должным обратить на нее внимание читателей»³.

Переживания, выраженные в большинстве стихотворений Львовой, были обычными, девичьими, а по культуре стиха она занимала место в ряду бесчисленных брюсовских эпигонов. Правда, во втором издании книги, вышедшем год спустя, бы-

¹ Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 32.

² Ходасевич В. Стихи Нелли // СС-4. Т. 1. С. 400—401.

³ Львова Н. Старая сказка: Стихи 1911—1912 гг. / Предисл. В. Брюсова. М., 1913. С. 4.

ла парочка стихотворений другого рода — не похожих на Брюсова, нервных, экспрессивных. Одно из них, написанное в октябре 1913-го, было посвящено «А. И. Х.» — несомненно, Анне Ивановне Ходасевич:

Будем безжалостны! Ведь мы — только женщины.
По правде сказать — больше делать нам нечего.
Одним ударом больше, одним ударом меньше...
Так красна кровь осеннего вечера!..

Адресат второго стихотворения слишком очевиден:

Мне заранее весело, что я тебе солгу,
Сама расскажу о небывшей измене,
Рассмеюсь в лицо, как врагу, —
С безглым презрением.

А когда ты съежишься, как побитая собака,
Глядя твои седеющие виски,
Я не признаюсь, как ночью я плакала,
Обдумывая месть под шприцем тоски.

По этим строкам видно, как изменилась «простая, душевная, застенчивая девушка», какие психологические изломы в ней стали проявляться. Между прочим, во втором стихотворении Львова «своими словами» пересказывает один из сюжетов «Стихов Нелли» — как будто пытаюсь отождествиться с образом роковой куртизанки. Можно сказать, что юную участницу революционного подполья «отравил яд декадентства» — совсем по «надсоновской» речи Ходасевича.

Видимо, тяжесть этой перемены оказалась не менее острой, чем нежелание Брюсова резко изменить свою жизнь и связать с ней судьбу. Но посторонние до последнего момента не предчувствовали трагедии. Лишь Надя и ее любовник знали, что происходит. А происходило, по версии Брюсова, вот что:

«Летом я уезжал с женой за границу. Это тяжело отозвалось на Н. Осенью 1913 она возобновила свои настояния. Я, чувствуя безысходность, обратился к морфию»¹.

Двадцать четвертого ноября 1913 года Надежда Львова застрелилась.

Второе издание ее книги было посмертным.

Так получилось, что тайна «Нелли» (тайна Полишинеля) была раскрыта как раз в день ее смерти — в статье Сергея Городецкого «Два стана».

Ходасевич описывает события, предшествующие трагедии, так:

¹ Лавров А. В. Русские символисты: этюды и разыскания. С. 208.

«Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу: “Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф”. Шершеневич не мог пойти — у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне — меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро»¹.

Шершеневич вспоминает, что и его тоже не было дома — со Львовой разговаривала его жена; вернувшись часов в десять, он немедленно отправился к Наде, но уже не застал ее в живых. Впрочем, гораздо существеннее другая деталь, запечатленная в газетной хронике: Львова умерла не сразу; смертельно раненная, она попросила соседа вызвать Брюсова.

«Через несколько минут г. Брюсов приехал.

Наклонился к полулежащей на стуле в прихожей г-же Львовой.

Она как будто узнала его, как будто попыталась говорить, но уже не хватало сил.

Тем временем приехала карета “скорой помощи”, но помощь уже была бесполезна»².

Ходасевич пытался, по просьбе Иоанны Матвеевны, похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Но хлопоты эти не возымели действия. История получила широкую огласку и стала новым пятном на репутации и так многими нелюбимого «верховного мага». Бунин 30 лет спустя использовал историю Нади Львовой в двух рассказах из «Темных аллей» («Генрих» и «Речной трактир»), причем во втором из этих рассказов Брюсов назван по имени. Особенно впечатляло сплетников то, что пистолет, из которого Надя застрелилась, был подарен ей Брюсовым, — тот самый пистолет, из которого некогда стреляла в самого Валерия Нина Петровская.

В числе тех, кто прямо и в лицо обвинял Брюсова в смерти Львовой, был ее брат. Ходасевич тоже открыто присоединился к этим обвинениям — правда, десятилетие спустя. По его словам, демонический любовник «систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве». Брюсов утверждает прямо противоположное: он пытался бороться с постоянными суицидными настроениями своей подруги. Письма Львовой как будто это подтверждают. Что до револьвера, то он был некогда подарен, потом отнят, потом, по настойчивым просьбам Нади, возвращен. Может быть, молодая поэтесса в глубине души хотела лишь ранить себя, чтобы таким образом подействовать на Валерия Яковлевича, но не рассчитала.

¹ Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 32.

² Русское слово. 1913. 26 ноября.

Очевидно, для Брюсова смерть Нади была тяжелым ударом. Спустя три года, в венке сонетов «Роковые тени», в котором поэт попытался создать образы своих любовниц, ей были посвящены строки, согретые, кажется, искренним чувством:

...Зачем, зачем к святому изголовью
Я поникал в своем неправом сне?
И вот — вечерний выстрел в тишине, —
И грудь ребенка освятилась кровью.

О, мой недолгий, невозможный рай!
Смирись, душа, казни себя, рыдай!
Ты приговор прочла в последнем взгляде...

Но уж очень «по-буржуазному» пережил Брюсов свою вину (которую он отчасти признавал) и свое горе: нервный санаторий в Финляндии, а затем — новая жизнь, новые романы... Если чего-то Ходасевич и не простил ему, то именно этого. Впрочем, к тому времени, когда писались его воспоминания о Брюсове, Ходасевичу уже и самому пришлось проявить мужскую жестокость, и он должен был понимать, что в жизни случаются ситуации, из которых нет «безгрешного» выхода.

Сейчас важно другое: самоубийство Львовой, как и почти совпавшее с ним по времени самоубийство молодого поэта Всеволода Князева в Петербурге, стало, что называется, литературным фактом, и все житейские отношения и переживания, сложившиеся из-за этих двух коллизий, вошли в историю литературы. В том числе в историю отношений Ходасевича с поэтами-символистами.

Остаются «новокрестьянские» поэты. В 1910-е годы Ходасевич писал о крупнейшем из них — Николае Клюеве (в статье «Русская поэзия»), и лично знал другого, менее крупного — Александра Ширяевца (Абрамова). В Клюеве он ценил «подлинность лирического подъема», «благородную скупость» и стремление к формальному мастерству, отличающее его от безграмотных «поэтов из народа», но отказывался видеть в авторе «Братских песен» «пророка». Характерная духовная трезвость, отличающая Ходасевича от многих символистов, в том числе от Блока, которого совсем еще молодому Клюеву, представителем которого он был от имени «посконной Руси», удалось на несколько лет во многом подчинить своему влиянию.

Лично с Клюевым Ходасевич не встречался. Но его воспоминания про общение с другим «новокрестьянским» поэтом, Александром Ширяевцем, — законченный социально-психологический очерк. Ширяевец, уроженец Симбирской губернии, служил почтовым чиновником в Туркестане и в Москве бывал наездами; начиная с конца 1912 года он был у Ходасевича частым гостем.

«Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров, статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой-королевичем. <...>

В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. <...> Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так: поучить, наставить. Потому что — нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, — они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да. Любил побеседовать о политике. Да, помещикам обязательно ужо — красного петуха (неизвестно, что: *пустят* или *пустим*). Чтобы, значит, был царь — и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жида (а Вы сами, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеною завладеть. Интеллигенции — земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим: вот как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных — тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь — она вся крестьянская, да. Мужик — что? Тьфу, последнее дело, одно слово — смерд. А только ему полагается первое место, потому что он — вроде как соль земли.

А потом, помолчав:

— Да. А что она, соль? Полкопейки фунт»¹.

По свидетельству Ходасевича, Ширяевец смертельно завидовал более успешному Клюеву. Завидовал — но переписывался с ним, а позднее вошел в его «школу». До конца жизни он так и остался в тени сперва Клюева, а потом Есенина, который, между прочим, посвятил его памяти один из своих шедевров — «Мы теперь уходим понемногу...».

Сохранилось письмо Ходасевича Ширяевцу (от декабря 1916 года), в котором старший (старше всего на год, впрочем) поэт без обиняков высказывает свое мнение о стихах младшего и обо всей «новокрестьянской поэзии» в том виде, в каком она сложилась к 1916—1917 годам:

«Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах *самого народа*, в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т. д., — утрачивают они главное достоинство, — примитивизм. Не обижайтесь — но ведь *все-таки* это уже “стилизация”. <...> Это — те “шелковые лапотки”, в которых ходил кто-то из былинных героев, — Чурила Пленкович, кажется. А *народ* не в шелковых ходит, это Вы знаете лучше меня.

¹ Ходасевич В. Есенин // СС-4. Т. 4. С. 123—124.

Хоровод — хорошее дело, только бойтесь, как бы не пришлось Вам водить его не с “красными девками”, а сам-друг с Клюевым, пока Городецкий-барин снимает с Вас фотографии для помещения в журнале “Лукоморье” с подписью: “Русские пейзажи на лоне природы”¹.

Очевидно, что этот «Бова» в еще меньшей степени, чем кто-либо из символистов, акмеистов и даже футуристов, мог стать Ходасевичу творчески близким. Соприкосновение с ним было случайным, почвы для диалога не возникало.

Кто же из поэтов был для Ходасевича в эти годы своим? Кроме Муни, кроме Садовского — можно назвать еще лишь пару имен.

Константин Абрамович Липскеров, сын редактора газеты «Новости дня», дебютировал в 1910 году в журнале «Денди». Он был, казалось, воплощением того предревolutionного бытового «эстетизма», которого Ходасевич не принимал. Но в эстетстве Липскерова не было хлыщеватости, холодного щегольства, которое раздражало Ходасевича у «петербургских снобов»; не было у него и их эклектизма. Свою тему он, казалось бы, нашел, посетив в 1914 году Среднюю Азию. И все же Ходасевич, в целом очень благожелательно оценив первую книгу Липскерова «Песок и розы» (1916), принужден был добавить: «И вот, если за что хочется упрекнуть г. Липскерова, это за то, что он не подчиняет себе окружающий мир волею художника, а мир этот подчиняет его; за то, что, приехав в Туркестан, поэт не сделал из него “своей страны”, не превратил в “Туркестан Липскерова”, а наоборот, сам постарался сделаться как можно более “туркестанским” поэтом, однако же пишущим сонеты классическим пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе...»² На эти туркестанские сонеты Липскерова Ходасевич написал беззлобную пародию:

Кишмиш, кишмиш! Жемчужина Востока!
Перед тобой ничто — рахат-лукум,
Как много грез, как много смутных дум
Рождаешь ты. Ты сладостен, как око

У отрока, что ищет наобум
Убежища от зноя — у потока.
Кишмиш! Кишмиш! Поклоннику Пророка
С тобой не страшен яростный самум...

На сей день поэтическое наследие Липскерова не собрано. Но судя по напечатанным стихам (а их не так уж мало: пять

¹ *Ширяевец А.* Из переписки / Публ. Ю. Б. Орлицкого, Б. С. Соколова, С. И. Субботина // *De Visu.* 1992. № 3(4). С. 30—31.

² *Ходасевич В.* О новых стихах // *СС-4.* Т. 1. С. 458.

книг, ряд журнальных публикаций), он так и не пошел дальше достигнутого в 1910-е годы, оставшись типичным «малым поэтом».

Гораздо значительнее оказалась Софья Яковлевна Парнок (настоящая фамилия — Парнох), чье имя ныне известно не только в связи с ее собственными стихами, но и с той ролью, которую она сыграла в жизни Марины Цветаевой.

Вот как вспоминал о ней Ходасевич — в некрологе:

«Среднего, скорее даже небольшого роста; с белокурыми волосами, зачесанными на косо́й пробор и на затылке связанными простым узлом; с бледным лицом, которое, казалось, никогда не было молодо, София Яковлевна не была хороша собой. Но было что-то обаятельное и необыкновенно благородное в ее серых, выпуклых глазах, смотрящих пристально, в ее тяжеловатом, “лермонтовском” взгляде, в повороте головы, слегка надменном, в незвучном, но мягком, довольно низком голосе. Ее суждения были независимы, разговор прям. Меня с нею связывали несколько лет безоблачной дружбы, которой я вправе гордиться и которую вспоминаю с глубокой, сердечной благодарностью»¹.

Парнок выпала не особенно счастливая участь: приверженность лесбийской любви, ставшей одной из главных тем ее поэзии, предопределила ее многолетнее бытовое одиночество; камерный характер лирического голоса и в особенности позднее созревание (лучшие стихи Парнок написала, когда их уже нельзя было напечатать) стали причиной недооценки современниками и потомками — до недавнего времени. По генезису поэзия Парнок близка Ходасевичу: она следует «линии Баратынского», лирическое дыхание ее не особенно сильно (точнее, сильное дыхание открылось у нее лишь в последний год жизни), но это искупается тончайшим чувством лирической фактуры и ее точнейшей проработкой. Парнок была одним из лучших критиков своего времени (статьи она подписывала мужским псевдонимом Андрей Полянин); кроме Гумилёва и Мандельштама, едва ли кто в том поколении обладал таким слухом на чужие стихи, но и это осталось недооцененным.

Ходасевич в рецензии на первую книгу Парнок «Стихотворения» (Утро России. 1916. 1 октября) отмечал «низкий и слегка глуховатый голос поэта, пережившего многое», и отсутствие свойственного многим женским стихам «будуарного шепетания». На склоне лет, после смерти Парнок, он припомнит «мужественную четкость» ее лирики и склонность к «неожиданным рифмам». Все это, впрочем, по памяти: книг Парнок,

¹ Ходасевич В. С. Я. Парнок // СС-4. Т. 4. С. 316.

изданных в России небольшими тиражами, под рукой у Ходасевича в эмиграции не было, а о предсмертном расцвете ее таланта он знать не мог.

Парнок была крупнее остальных «близких», но на ней их список и заканчивается — по крайней мере, применительно к 1910-м годам.

8

Если критика была для Ходасевича ремеслом, то прошлым русской литературы Владислав Фелицианович занимался для себя и по собственной инициативе. Это была естественная часть его творческой работы; и все же он долгое время не решился выступить в этой области публично.

Как ни странно, первым его большим замыслом, обращенным к прошлому, стала книга, посвященная не литературной, а политической истории страны — биография Павла I. Об этом замысле поэт сообщает в 1913 году в письмах Георгию Чулкову и Борису Садовскому.

Ходасевич собирался пересмотреть биографию эксцентричного императора и «реабилитировать» его. Ключом для него стали совпадения многих эпизодов биографии несчастного российского венценосца (убийство отца, отстранение от законного престолонаследия, подлинное или мнимое безумие и т. д.) с сюжетом «Гамлета». «И вдруг узнал, что в 1781 году, в Вене, какой-то актер отказался играть Гамлета в его присутствии. Нашел и еще одно косвенное подтверждение того, что кое-кто из современников догадывался о его “гамлетизме”»¹, — писал Ходасевич Садовскому 2 мая 1913 года.

Ходасевич рассчитывал, что книга принесет ему «монеты», и в то же время подозревал, что «историки съедят [его] живьем», не говоря уже о возможной «репутации черносотенца», как у того же Садовского. Но беда заключалась даже не в том, что Ходасевич был в истории дилетантом, вынужденным опираться на результаты чужих изысканий. («...хочу доказать, что на основании того же материала, которым пользовались разные профессора, можно и должно прийти к выводам, совершенно противоположным их выводам»², — из письма Чулкову от 20 марта 1913 года.) На историю он смотрел главным образом глазами поэта. Если говорить собственно о политике Павла I, то Ходасевич, несомненно, ломился в открытую дверь: позитивные стороны этой политики (например, законодательное

¹ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 337.

² ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 5. Ед. хр. 12. Л. 10—10 об.

ограничение барщины, запрет на обезземеливание крестьян и т. д.) были вполне уже оценены к тому времени профессиональными историками, в том числе такими авторитетными, как Василий Ключевский. Но Владислава Фелициановича привлекала скорее личность «романтического императора», как назвал Павла Пушкин, его душевный и эмоциональный строй. Именно это он стремился «реабилитировать», именно этому посвящены сохранившиеся страницы книги.

Прежде всего Ходасевич пытается опровергнуть мнение о безумии Павла, и, между прочим, горячо спорит с версией, объясняющей его слабость «дурной наследственностью»: дескать, Павел и не был биологическим сыном Петра III. «Более того, впоследствии мы увидим, как велико было их внутреннее различие, как глубоко отличался Павел Петрович от глупого, грубого и ничтожного человека, которого называли его отцом»¹. Ходасевич немало удивился бы, узнав, что в конце XX века Петр III также будет «реабилитирован» в глазах многих любителей истории, причем важную роль в пересмотре расхожих взглядов на этого императора сыграет как раз поэт — Виктор Соснора. Причем аргументы, к которым прибегают апологеты Петра Федоровича, во многом те же, что у поклонников его сына: прогрессивные реформы («Манифест о вольности дворянства»), прекращение преследования раскольников, формальное подчинение Тайной экспедиции Сената), клевета со стороны убийц, популярность в «простом народе».

Так или иначе, замысел остался нереализованным: поглощенный заботами о текущем заработке, Ходасевич прекратил работу над книгой, написав меньше авторского листа из пяти предполагавшихся.

Можно предположить, что обращение к теме Павла стало лишь «аппендиксом» от тех частных пушкиноведческих штудий, которыми Ходасевич, по собственному признанию, занимался с 1906 года. В 1909—1911 годах для задуманного Андреем Белым журнала «Труды и дни» Ходасевич собирался писать статью «О личности Пушкина». К 1913—1914 годам относятся две газетные заметки: одна посвящена столетнему юбилею первой пушкинской публикации², другая — предпринятой независимо друг от друга Павлом Щеголевым и Николаем Лернером перепечатке повести «Уединенный домик на Васильевском» Тита Космократова (Владимира Титова), которая является обработкой устного рассказа Пушкина³.

¹ Ходасевич В. Державин. М., 1988. С. 237.

² Ходасевич В. Первый шаг Пушкина // Русские ведомости. 1914. 4 июля.

³ Ходасевич В. Пушкин, Титов. Уединенный домик на Васильевском: [Рецензия] // Голос Москвы. 1913. 23 февраля.

Именно «Уединенный домик на Васильевском» стал поводом к написанию первой серьезной пушкиноведческой статьи Ходасевича «Петербургские повести Пушкина», работа над которой относится к лету 1914 года. Исследователь пытается установить, говоря нынешним языком, интертекстуальные связи между рядом пушкинских произведений:

«Казалось бы, самая атмосфера, в которой протекают замысловатые, но немного нелепые события “Домика в Коломне”, бесконечно чужда хаотическим видениям “Медного Всадника” или сумрачным страстям “Пиковой Дамы”. Все просто и обыденно в “Домике в Коломне”, все призрачно и опасно в “Медном Всаднике”, все напряженно и страстно в “Пиковой Даме”. Но что-то есть общее между ними. Мы смутно чувствуем это общее — и не умеем назвать его. Мы прибегаем к рискованному способу: образами говорим об образах, но тем лишь затемняем их изначальный смысл. Мы говорим о “петербургском воздухе”, о дымке, нависшей над “топкими берегами”, — и в конце концов сами отлично знаем, что разрешение загадки не здесь. Во всяком случае — не только здесь»¹.

«Уединенный домик на Васильевском» с его квазигофмановским сюжетом служит ключом. Повести объединяет мотив соприкосновения человека с темными потусторонними силами, которое по-разному мотивируется и приводит к разным последствиям. Ходасевич вовлекает в разговор и одну из «Маленьких трагедий» — «Каменный гость», и одну из «Повестей Белкина» — «Гробовщик». Он обнаруживает парадоксальные, «пародические» отношения между этими произведениями:

«“Гробовщик” является такою же пародией на “Каменного Гостя”, как “Домик в Коломне” — пародия на “Уединенный домик”. Но пушкинская пародия — не только шуточная трактовка серьезной темы: она и по существу является, так сказать, оборотной стороной этой темы. Пушкинская пародия всегда столь же глубока, как и то, что ею пародируется. Для Пушкина “пародировать” значило найти и выявить в действии возможность комического, счастливого разрешения того же конфликта, который трагически разрешается в произведении первоначальном»².

Нельзя не заметить, что уже в этой первой своей литературоведческой работе Ходасевич отчасти предсказывает некоторые аналитические приемы своих будущих оппонентов — филологов «формальной школы». Примечательно и другое: первая статья московского поэта-пушкиниста посвящена *петербургской* теме, хотя от установления естественных связей между

¹ Аполлон. 1915. № 3.

² Там же.

особенностями обнаруженного им «метасюжета» и «гадательными и туманными особенностями “петербургского воздуха”» он словно бы уклоняется.

Статья эта стала поводом для знакомства с человеком, о котором злой на язык Ходасевич всю дальнейшую жизнь говорил с беспримесной любовью и благодарностью.

Речь идет об историке литературы (сейчас бы сказали — культурологе), философе и общественном деятеле Михаиле Осиповиче Гершензоне.

Гершензон был одной из ярчайших и парадоксальнейших фигур Серебряного века. Интересы его были сосредоточены на времени Пушкина, Грибоедова, Чаадаева, славянофилов; о современной ему литературе он не писал и публично не говорил ничего, а между тем место, которое занимал Гершензон в культурной жизни предреволюционной России, сравнимо с местом, которое занимали Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов. Он казался оторванным от практической жизни, наивным в житейских делах «книжным червем», а между тем проявлял немалую трезвость и зоркость как в человеческих отношениях, так и в политике (именно он был инициатором создания самого трезвого политического документа Серебряного века — сборника «Вехи»). При этом и в собственно практических вопросах он был делен: по словам Ходасевича, «умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил обстоятельно поговорить о гонораре». Любящий муж и отец, трогательно преданный своей семье, он не приносил ее интересов в жертву своей высокодуховной непрактичности. Но «зная толк в необходимом и умея ценить его, он был детски простодушен ко всему, что хоть сколько-нибудь напоминало об излишестве», и безупречно щепетилен в отношениях с коллегами.

Парадоксы касались и духовной жизни. Человек, вся жизнь которого была посвящена писанию книг и влюбленным размышлениям о книгах, Гершензон внутренне бунтовал против «культуры». Памятником этого бунта стала «Переписка из двух углов» (1920) с Вячеславом Ивановым, отзвуки его заметны и в философских работах Гершензона — «Ключ веры», «Гольфстрим», «Мудрость Пушкина». Великолепный знаток старого быта, автор «Грибоедовской Москвы», он был, как и его многолетний друг Лев Шестов, одержим пафосом «беспочвенности».

Гершензон, не будучи религиозным человеком, принципиально оставался в иудейском вероисповедании, хотя это было связано в его случае не только с невозможностью преподавания в казенных учебных заведениях, но и с юридическими трудностями при оформлении брака: жена Гершензона, Мария Гольденвейзер, сестра музыканта Александра Гольденвейзера, бы-

ла православной, хотя и частично еврейского происхождения, и ей, так же как Лидии Брюсовой, пришлось переходить в лютеранство, чтобы обвенчаться с Михаилом Осиповичем; причем возможность сделать это представилась лишь после нескольких лет совместной жизни и уже после рождения детей, которых пришлось «узаконивать». Он неоднократно и эмоционально высказывался по «еврейскому вопросу». Наконец, и имя его, и внешность («Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевшей сильно в последние годы; с такими же усами, нависающими на пухлый рот; с глазами слегка навывкате; с мясистым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенснэ; с волосатыми руками, с выпуклыми коленями»¹), и «резко-еврейские интонации кишиневского уроженца», и обильная жестикуляция... в общем, все было как будто нарочно собрано вместе, чтобы подразнить юдофоба. При этом писал Гершензон исключительно о русской культуре, о ее прошлом. И хотя он в письме Аркадию Горнфельду оговаривался: «Я чувствую свою психику совершенно еврейской и... уверен, что *интимно* понять русских я не в состоянии. Поэтому я тщательно избегаю таких тем... Вся моя работа в области русской литературы имеет предметом вечные темы — общечеловеческие», — но отделить «национальное» от «общечеловеческого», и тем более определить степень «интимности» той или иной темы никому было бы не по силам. Казалось бы, свойственные многим символистам более или менее скрытые антисемитские настроения должны были коснуться Гершензона едва ли не в первую очередь. А между тем — еще один парадокс! — именно в отношении Михаила Осиповича иные завзятые антисемиты «делали исключение». Предлагая своим потенциальным соредакторам по «Трудам и дням» Гершензона в качестве сотрудника, Белый в 1909 году характеризует его так: «Гершензон (не жид, а еврей, знаток эпохи 30-х годов, честный, часто интересный, благородный — *очень полезен*)»². Здесь же стоит привести изумительную в своей характерности цитату из дневника Блока: «Итак, сидит Ваня (Иван Менделеев, свояк Блока. — *В. Ш.*), который злобно улыбается при одном почтенном имени Гершензона (действительно, скверное имя, но чем виноват трудолюбивый, талантливый и любящий *настоящее* исследователь, что он родился жидом?)»³. Да-

¹ Ходасевич В. Гершензон // СС-4. Т. 4. С. 96—97.

² Цит. по: Переписка В. Ф. Ходасевича и М. О. Гершензона // De Visu. 1993. № 5/6. С. 13.

³ Блок А. А. Дневник. М., 1989. С. 104. Интересно, что «Ваня» так реагировал на реплики Юрия Верховского, который обличал пушкинистов-«модернистов», к числу которых он причислял и Бориса Садовского.

же Василий Розанов в годы разрыва с Гершензоном, вызванно-го известными розановскими статьями по поводу «дела Бейлиса», признавал его лучшим в свою эпоху историком русской литературы («к печали русской и к стыду русских»).

Ходасевич отправил Гершензону оттиск своей статьи. «В ответ получил письмо, набитое комплиментами, похвалами, приветствиями и другими прясностями, но хорошее и простое. Старик мне мил», — сообщал он Муни (письмо от 19 июня 1915 года). Вскоре Гершензон пригласил Ходасевича к себе в Никольский переулок — через Садовского. Так началась дружба, продолжавшаяся до конца жизни Гершензона.

Помимо общности духовных интересов Ходасевич обрел в Гершензоне важный жизненный образец. Слово «мещанство» в русском языке имеет два взаимоисключающих значения. Жалкую и вульгарную сторону мещанства — особенную смесь европейского самодовольного потребительства с российским преклонением перед любой властью и силой — Ходасевич видел в блестящем и импозантном Брюсове, и она отталкивала его, не смотря на всю еще не преодоленную любовь к этому человеку. Но есть у этого слова и другой, в сущности, прямо противоположный смысл, близкий к немецкому бюргерству, — смысл, который имеет в виду Пушкин в «Моей родословной»: чувство собственного достоинства, основанное на личном труде, мастерстве, честности, опрятности, семейных узах. Это «мещанство» было очень близко к устремлениям Ходасевича в 1910-е годы, и его воплощал Гершензон. Характерно даже описание его рабочего кабинета: «Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин (фототипия) да гипсовая маска, тоже Пушкина. Кажется, еще чей-то портрет, может быть — Огарева, не помню. В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги — только самые необходимые для текущей работы; прочие — в другой комнате»¹.

Но Гершензон никогда не был скучен или пресно-«правилен». Все мемуаристы отмечают его способность увлекаться людьми и идеями — и быстро разочаровываться в них, капризность, упрямство в профессиональных мелочах, порою доходившее до чудачеств. Вот еще одно свидетельство Ходасевича: «Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались. Но и здесь были у него два “пунктика”, против которых не помогало ничто: во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего

¹ Ходасевич В. Гершензон // СС-4. Т. 4. С. 97.

стихотворения; во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это — пошлость»¹.

Так или иначе, в 1915 году Ходасевич обрел не только друга, всегда готового прийти на помощь в трудную минуту, но также равного и достойного собеседника. Хотя общение с Гершензоном не было таким «интимным», как с тем же Муни, да и не могло быть из-за разницы в возрасте и позднего знакомства, оно было едва ли не более интеллектуально наполненным.

В частности, оно, несомненно, подталкивало Ходасевича к новым историко-литературным работам. В том же 1915 году он готовит к печати для «Пользы» «Маленькие трагедии» Пушкина и пишет к ним послесловие. Самое интересное в нем — анализ внутренней трагедии Сальери, «художника, фанатически обожающего свое искусство, и, может быть, заблуждающегося честно, когда для “спасения” музыки решается он пожертвовать своей совестью»². Но на этом Ходасевич не останавливается: есть еще более глубокая драма, проходящая «в глубине самого искусства, там, где труд и вдохновение оспаривают друг у друга право первенства»³. Не забывает он упомянуть и о той, опровергнутой уже к 1915 году, гипотезе, согласно которой прототипом Сальери служил Пушкину Баратынский.

С этой статьей перекликается и рецензия на собрание стихотворений Каролины Павловой, напечатанная в журнале «Новая жизнь» (1916. № 1). Сочинения Каролины Карловны Павловой, урожденной Яниш, собрал и издал Брюсов, и строгость, которую Ходасевич проявляет к этой на самом-то деле очень ему близкой по духу поэтессе (не зря ее называли «Баратынским в юбке»), отчасти можно отнести на брюсовский счет. Может быть, в такой косвенной форме младший поэт высказывает старшему то, что пока не готов произнести вслух. Тем не менее Ходасевич касается важных лично для него вопросов — он как будто сам с собой спорит; по крайней мере, в его оценках ощущаются раздвоенность, противоречивость:

«Стихи Павловой нужно рассматривать как в лупу: тогда в них найдется немало прекрасных и поучительных частных. Поэт найдет в них немало мест, примечательных то в одном, то в другом отношении. Но это до тех пор, пока он будет вооружен своей профессиональной лупой. Если же он станет искать в стихах Павловой простого (“глуповатого”, по определению

¹ Ходасевич В. Гершензон // СС-4. Т. 4. С. 103.

² Ходасевич В. Пушкин и поэты его времени: В 3 т. / Под ред. Р. Хьюза. Oakland, 1999—2003. Т. 1. С. 48.

³ Там же.

Пушкина) очарования — этой радости она ему не доставит. Муза Павловой умна — и необаятельна».

Павлова противопоставляется в этом отношении своей вечной сопернице, чувствительной светской львице Ростопчиной, давняя статья Ходасевича о которой как раз появилась в «Аполлоне». Вопрос о «глуповатости» поэзии, о правильном понимании знаменитой пушкинской фразы из письма Петру Вяземскому будет преследовать Ходасевича всю жизнь; то и дело он возвращается к этим размышлениям, пытаясь каждый раз по-новому понять и истолковать пушкинскую фразу.

Потому ли, что сам он как раз был «глуповатым» не умел — ни в жизни, ни в стихах? Говоря о Салбери, о Баратынском, о Павловой, Ходасевич не может отвлечься от мыслей о себе самом, о собственном пути.

9

Вторая книга стихов Ходасевича, «Счастливый домик», вышла в феврале 1914 года в издательстве «Альциона», принадлежавшем Александру Кожебаткину. Книга вышла с посвящением: «Жене моей Анне» и кратким авторским предисловием: «В “Счастливый домик” вошло далеко не все, написанное мною со времени издания первой книги моих стихов. Многое из написанного и даже напечатанного за эти пять лет я отбросил: отчасти — как не отвечающее моим теперешним требованиям, отчасти — как нарушающее общее содержание этого цикла».

Тридцать шесть стихотворений — не за пять, а на самом деле за шесть лет, прошедшие с февраля 1908 года, когда вышла «Молодость», — скромная цифра. Но зато из последующих двух изданий книги автору пришлось выбросить лишь одно стихотворение — «Новый год».

Что же до отброшенного, то его наберется не так уж много: стихотворений десять, и это считая недописанные черновики. Один из главных признаков перехода поэта от лирической юности к зрелости — умение отбрасывать лишние, внутренне не наполненные тексты еще в процессе написания и не поверять их бумаге.

Кроме уже помянутых и процитированных, в «Счастливом домике» было еще несколько весьма важных и примечательных стихотворений; некоторые из них датированы последними месяцами перед выходом книги. Пожалуй, больше всего впечатляет «пара» по-разному замечательных стихотворений, датированных декабрём 1913-го, — «Зима» и «Рай». Первое входит

в цикл «Пленные шумы», второе завершает цикл «Звезда над пальмой» и всю книгу.

Девятистрочная «Зима» начинается мрачно-напряженной, в духе французских «проклятых поэтов», картиной:

Как перья страуса на черном катафалке,
Колышутся фабричные дымы.
Из черных бездн, из предрассветной тьмы
В иную тьму несутся с криком галки.
Скрипит обоз, дыша морозным паром,
И с лесенкой на согнутой спине
Фонарщик, юркий бес, бежит по тротуарам...

Но две заключительные строки действительно необычны, и лишь Ходасевич мог бы их написать:

О скука, тощий пес, взывающий к луне!
Ты — ветер времени, свистящий в уши мне!

«Скука» в читательском сознании ассоциируется с чем угодно, только не с ветром, не с движением. Но движение это в данном случае — из тьмы во тьму, из пустоты в пустоту. Фабричные дымы, стремительные галки, медленный обоз, юркий фонарщик — все они подхвачены этим движением, бессмысленным, страшным и скучным. И это — все, что видит за покровом мира поэт, сильный и посвященный.

Но есть и «Рай» — блаженный игрушечный мир, доступный не «посвященным», а простым душам:

Вот, открыл я магазин игрушек:
Ленты, куклы, маски, мишура.
Я заморских плюшевых зверушек
Завожу в витрине с раннего утра.

И с утра толпятся у окошка
Старички, старушки, детвора.
Весело — и грустно мне немножко:
День за днем, сегодня — как вчера.

Заяц лапкой бьет по барабану,
Бойко пляшут мыши впятером.
Этот мир любить не перестану,
Хорошо мне в сумраке земном!..

Тот, кому хорошо в «сумраке земном», так и останется в своем выдуманном детском мире: даже смерть не откроет ему страшную тайну; ему приснится последняя «игрушка» — златокрылый ангел. Только в том тайная грусть этой идиллии, что она — обман, и обман для слабых. На этой ноте чарующего обмана завершается «Счастливый домик». Дальше придет время иных речей.

Интересно вот что: к письму Петру Зайцеву в 1923 году Ходасевич прилагает список стихотворений, которые сам бы он хотел видеть в составлявшейся в это время антологии Ивана Ежова и Евгения Шамурина «От символизма до наших дней». «Рая» в списке нет, а «Зима» есть. Дальнейшему творчеству поэта трагическая и безнадежная нота оказалась более созвучна¹.

Интерес к стихам в России был на пике, имя у автора уже было, и, наконец, его вторая книга была ощутимо выше и значительнее первой. Неудивительно, что она вызвала немало рецензий. В письме Александру Тинякову, написанном весной 1915 года, Ходасевич называет почти неправдоподобное число: «В прошлом году я прочел около 50 отзывов о своей книге. Сплошные (кроме одного Пяста) восторги и — сплошная чепуха»². Большинство этих отзывов еще предстоит разыскать.

Недоброжелательное внимание поэта и критика Владимира Пяста, чья рецензия напечатана в приложении к газете «День» (Отклики. 1914. № 14), привлекло еще одно стихотворение, написанное Ходасевичем в декабре 1913 года и — в отличие от «Зимы» и «Рая» — не принадлежащее к его большим удачам. Но характерное и важное для понимания духа и судьбы поэта:

Когда почти благоговейно
Ты указала мне вчера
На девушку в фате кисейной
С студентом под руку, — сестра,

Какую горестную скуку
Я пережил, глядя на них!
Как он блаженно жал ей руку
В аллеях темных и пустых!

Нет, не пленяйся взором лани
И вздохов томных не лови.
Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви?

Смешны мне бедные волнения
Любви невинной и простой.
Господь нам не дал примиренья
С своей цветущею землей.

Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес.

¹ Но Ежов и Шамурин «Рай» в свою антологию включили, а такими стихотворениями, как «Вечер» и «Сырнику», которые Ходасевич хотел видеть в ней непременно, пренебрегли.

² Письма В. Ф. Ходасевича к А. И. Тинякову / Публ. Ю. Колкера // Континент. 1986. № 50. С. 366.

«За что такое презрение к только что пройденным склонам гор... и такое противопоставление им бесплодных вересков верхних террас цепи, на которых можно дышать небесным “горным воздухом”?» — недоумевал Пяст. В стихах Ходасевича он увидел знакомое «декадентское» презрение к «бедным волнениям» непосвященных, «фармацевтов». И тот же «Рай» стал для него только лишним аргументом, доказывающим выморочность, игрушечность, бесплодность созданного презрительным поэтом мира.

В письме Георгию Чулкову от 16 апреля 1914 года Ходасевич признается, что рецензия Пяста его огорчила — «не потому, что ему, очевидно, не нравятся мои стихи, а потому, что он ничего во мне не понял. Пусть бы он понял — и бранился бы. А так — он меня обидел своей незоркостью, особенно упреком в презрении к “невинному и простому”».

Я всю книгу писал ради второго отдела¹, в котором решительно принял “простое” и “малое” — и ему поклонился. Это “презрение” осуждено в моей же книге, — как можно было этого не понять? То, за что меня упрекает Пяст, — и для меня самого — только соблазн, от которого я отказался².

Все же, видимо, не только соблазн. Все было сложнее. Была своего рода зависть к *невинному и простому*, с которым связаны не только все человеческие радости, но и человеческие добродетели. Однако и склонность смотреть на невинное и простое свысока тоже была. И если мы окинем взглядом всю жизнь Ходасевича, мы увидим, как волны этой зависти и этого «презрения» (употребим это слово, хотя оно неточно), стремления к «вочеловечиванью» и тяги к «расчеловечиванью» сменяли друг друга. Ни в том, ни в другом не было сознательной воли: Ходасевич не пестовал в себе сверхчеловека, как это — очень по-разному и с разными результатами — пытались делать и Брюсов, и Гумилёв, и Вячеслав Иванов, и уж конечно он был чужд вульгарного демонизма. Но он был беззащитен перед тем, что было заключено в его личностной и — в первую очередь — поэтической органике.

Что до Владимира Алексеевича Пяста (Пестовского), второстепенного поэта-символиста, дружного с Блоком, то Ходасевич позднее общался с ним, в начале 1920-х в Петрограде, и оставил в своих воспоминаниях его беспощадный, но трогательный портрет.

Но были и другие рецензии. Вот что пишет о «Счастливым домике» Сергей Кречетов (Утро России. 1914. 22 февраля):

¹ То есть «Лар».

² СС-4. Т. 4. С. 389.

«Обычный порок большинства современных лирических стихотворцев — пустословие и суесловие, способность прикрывать приятным чириканьем ничтожность переживаний — совершенно отсутствует в стихах В. Ходасевича. <...>

Богатый внутренний опыт, усвоенный душою тонко чувствующей и сложной, дает всей его книге какую-то неизменную значительность вместе с каким-то скорбным целомудрием. <...>

В душе поэта провельсь черты неизгладимые, она пережила мгновения уже неповторяемые, и ей, обогатенной своим печальным богатством, дано многое и *не дано* чего-то малого, быть может, самого дорогого. <...>

В этом “Счастливом домике”, за которым в чистом поле, на перекрестке трех дорог погребена молодость, живет жутко счастливая умудренная человека, раненного смертельно, но не утратившего способности улыбаться и даже шутить».

Почему-то к этому отзыву, в котором нет большой глубины, но нет и неправды (а есть лишь налет «адвокатской» риторики), Ходасевич отнесся с чрезмерным презрением. Может быть, потому, что Кречетов цитирует те же стихи, что и Пяст, — только в хвалебном контексте. А Ходасевичу не хотелось бы, чтобы критики делали на них акцент.

Вот отзыв В. Гальского (Шершеневича) в «Свободном журнале» (1914. № 11):

«Скромная синяя обложка и чуть-чуть золота; это так гармонирует со стихами В. Ходасевича: они тоже синеватые, спокойные, тихие — и таят осколки золотого. <...>

В. Ф. Ходасевич поучительно-строг, но не лишен риторичности и некоторого однообразия. Он не склонен тянуться за новым, подчас даже бравировать пассаистическими настроениями и образами. Читатель напрасно будет ожидать от владельца “Счастливого домика” ярких красок и ослепительных слов. Но “кинжальные слова” поистерлись в наши дни, стали напоминать “слова перочинного ножика”. И может быть, прав г. Ходасевич, не насилующий своего несомненного дара, пишущий тихо о тихом.

И поэтому как хороши у поэта слова о сверчке и раздел “Мыши”... и наоборот, как только поэт начинает писать об “истомленных устах”, поцелованных огнем, — стих бледнеет, и тень Брюсова, тень Блока “вдали проходят в круге красного зонта”. И как это ни странно, г. Ходасевич все-таки урбанист, его стихи и слова преломлены на грани города, но не города проспектов, Кузнецкого или Тверской, а той провинциальной Москвы, которая угнездилась в тихих переулках. <...>

Единственное, чего мы хотели бы, — это большей самостоятельности».

Лишь последняя фраза (столь примечательная в устах стихотворца, чьей роковой особенностью как раз и было полное отсутствие собственного лица) нарушает хвалебный тон этой рецензии; в паре с ней — совершенно разносный отзыв о «Близнеце в тучах» Бориса Пастернака.

А вот и Гумилёв — в «Письмах о русской поэзии» (Аполлон. 1914. № 5):

«Он не скучен; до такой степени не скучен, что даже не парадоксален. Когда с ним не соглашаешься и не сочувствуешь ему, то все-таки веришь и любишь. Правда, часто хотелось бы, чтобы он говорил увереннее и жесты его были свободнее. Европейец по любви к деталям красоты, он все-таки очень славынин по какой-то особенной равнодушной усталости и меланхолическому скептицизму. Только надежды или страдания могут взволновать такую душу, а Ходасевич добровольно, даже с некоторым высокомерием, отказался и от того, и от другого. <...>

В стихах Ходасевича, при несколько вялой ритмике и не всегда выразительной стилистике, много внимания уделено композиции, и это-то и делает их прекрасными. Внимание читателя следует за поэтом легко, словно в плавном танце, то замирает, то скользит, углубляется, возносится по линиям, гармонично заканчивающимся и новым для каждого стихотворения. Поэт не умеет или не хочет применить всю эту энергию ритмического движения идей и образов к созиданию храма нового мироощущения, он пока только балетмейстер, но танцы, которыми он учит, — священные танцы».

И наконец, Брюсов — из статьи «Год русской поэзии» (Русская мысль. 1914. № 47):

«Дарование В. Ходасевича не ярко, и не ярки его стихи, но в них есть какое-то благородство выражений и благородство ритмов. В поэзии В. Ходасевича есть родство с пушкинской школой, но местами и совершенно современная острота переживаний»¹.

Из близких Ходасевичу людей на книгу отозвались всё те же Садовской и Чулков.

Садовской, как и Гумилёв, похвалил поэта за строгость к себе (правда, сильно ошибся в подсчете включенных в книгу стихотворений) — а дальше идет вот что:

«У г. Ходасевича каждое стихотворение является тщательным изделием художника-ювелира: жемчужины его рифм полновесны; нигде нет безобразящих придатков, дешевого стекляруса и кричащих стразов. Мы далеки от мысли ставить г. Ходасе-

¹ Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. С. 448.

вича в ряды первостепенных поэтов нашего времени, но вполне применимо к нему известное изречение: он пьет из небольшого, но своего стакана» (Северные записки. 1914. Кн. 3).

И это пишет друг!.. Впрочем, в сравнении с отзывами Садовского о том же Гумилёве это — похвала.

Отзыв Чулкова (Современник. 1914. № 7) теплее:

«“Счастливым домик” Ходасевича — книга стихов, изысканных и простых в то же время: простота этих стихов, их скупая форма, их строгие ритмы свидетельствуют о целомудренной мечте поэта, об его отрешении от соблазнов внешней нарядности: он презирает звонкие “погремушки” рифм и “потешные огни” метафор. Точность и выразительность, как необходимые условия поэтического творчества, интересуют Вл. Ходасевича прежде всего.

Тот, кто понимает, что строгий “пессимизм” обеспечивает, по крайней мере, от неряшливости распущенных модернистов, претендующих на будущее, должен оценить старомодную книжку Вл. Ходасевича, влюбленного, по-видимому, в светлый мир Пушкина и Фета не менее, чем в наш сумеречный мир, тревожный и мучительный».

Ходасевич поблагодарил шурина, но он явно был недоволен и его заметкой. Видимо, поэта раздражало даже не то, что его не включают в ряд поэтов первостепенных (хотя вторая книга, в отличие от первой, явно давала ему подобное право), а то, что в книге его не видят ничего, кроме пассаизма, строгости, ювелирного мастерства и меланхолического скептицизма, что никто не понимает внутреннего сюжета книги¹.

Понимание, пусть частичное, пришло из источника неожиданного: о книге Ходасевича написала Мариэтта Шагинян, бывшая приятельница, которую Владислав Фелицианович не видел три года и к которой привык относиться иронически.

«Это... была, — позднее вспомнил он, — ходячая восемнадцатилетняя путаница из бесчисленных идей, из всевозможных “измов” и “анств”, которые она схватывала на лету и усваивала стремительно, чтобы стремительно же отбросить. Кроме того, она писала стихи, изучала теорию музыки и занималась фехтованием, а также, кажется, математикой. В идеях, теориях, школах, науках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-нибудь обуреваема. Так же плохо разбиралась и в людях, в их отношениях, но имела доброе сердце и, размахивая картонным мечом, то и дело мчалась кого-нибудь защищать

¹ Эти же черты в поэзии Ходасевича отмечали и другие рецензенты, например Н. Бернер (Жатва. 1914. Кн. V) и А. Журин (Новая жизнь. 1914. № 8).

или поражать. И как-то всегда выходило так, что в конце концов она поражала добродетель и защищала злодея. Но все это делалось от чистого сердца и с наилучшими намерениями»¹.

Такой была Шагинян в 1907 году, неполных девятнадцати лет, такой оставалась и много позже — но именно «ходячая путаница» напечатала рецензию, Ходасевичу понравившуюся. И где! В ростовской газете «Приазовский край» (1914. № 71)!

Шагинян рассматривает книгу Ходасевича в контексте литературных устремлений предвоенной эпохи, которые восторгу у нее не вызывают:

«Дружное и так много принесшее русской культуре движение по одному руслу раздробилось на множество отдельных путей. <...> В годы распада прежнего единства, когда знамена символизма уже некому было держать, когда “отцы” стали уступать завоеванные земли каким-то подозрительно-крикливым, страдающим манией величия, не умеющим ни переживать, ни продумывать “детям”, этим “воюющим персам”, по словам Ходасевича², — и сам он не стал защищать символических крепостей, а бежал, для спасения своей души и лиры, в некий “Счастливый домик”.

“Погибель в обывательщине”, счастливый домик возле стройной Хлои — как малодушно и скучно, подумает мой читатель. Но вовсе нет!..

Для Ходасевича открылся новый великий завет: “спокойно жить и мудро умереть”.

Есть два перехода от “больших слов” — переход изменнический и переход мужественный. <...> Некоторые (напр<имер>, Городецкий и некоторые петербуржцы) изменнически перебежали от больших слов к издевательствам над большими словами — см., например, полемику в среде акмеистов по поводу символа. <...> В “Счастливом домике” не смеются над прежними словами и отнюдь не говорят о тщете их; в этом домике лишь уговорились молчать о них теперь, сейчас, в минуту, когда душа добровольно ограничила себя. <...> Счастливый домик — только необходимое сердечное успокоение, в котором для поэта залог его верности земле; верность в малом, которой он как бы проверяет свою способность к верности в большом».

Но и в этих словах был элемент немного обидный для поэта: Шагинян хвалила Ходасевича и ругала акмеистов, но хва-

¹ Ходасевич В. Мариэтта Шагинян. Из воспоминаний // СС-4. Т. 4. С. 336—337.

² Так трактуется стихотворение «Да, я бежал, как трус...», хотя едва ли Ходасевич имел в виду литературные баталии.

лила она его за то, что он *не акмеист*. Книга Ходасевича (в отличие от тех же «Четок» Ахматовой) оценивалась в контексте существующей литературной повестки дня: она ее не создавала. Потому-то поэта пока принимали все: он (казалось) ничего не зачеркивал и никому (казалось) не был опасен.

Сегодня можно оценить «Счастливый домик» в контексте всего творчества Ходасевича и услышать в этой книге голос поэта — уже совершенно сложившийся, нашедший свой тембр, но еще не достигший полной силы. Это не книга гения, но это книга мастера. Ходасевич вполне знал ей цену, но в «Собрание стихотворений» 1927 года не включил. Вероятно, поэт, вынужденный издавать новые стихи («Европейскую ночь») под одной обложкой со старыми, хотел сократить количество последних и притом не хотел разрушать композиционной целостности «Путем зерна» и «Тяжелой лиры». Но для нас, читателей, Ходасевич без «Счастливого домика» неполон.

10

Через полгода после выхода «Счастливого домика», 19 июля 1914 года, Россия вступила в войну, оказавшуюся для нее роковой.

Какова была реакция Ходасевича на это событие? В какой степени захватил его всеобщий в те дни патриотический энтузиазм, находивший самое разное выражение — от погромов немецких лавок до сочинения патетических стихов?

Некоторое представление об этом могут дать его письма.

Двадцать седьмого августа он пишет Борису Садовскому в Петербург:

«Нюра работает в городской управе, в отделе, заведующем распределением раненых. Москва ими полна. Больниц не хватает. Частных лазаретов тьма, и все-таки солдат раздают желающим на квартиры. Хочу взять двоих: капля в море, да уж очень нужда велика.

Приезжайте-ка в Москву лучше. Здесь у нас мрачно, но честно, по Петербургу же Городецкие ходят стадами. Чай, уже к войне примазывается? А мрачно у нас весьма. Я *буквально* никого не вижу, да никого и нет. Весь Кружок превращен в лазарет, никаких сборищ не будет во все время войны. В кабаке не был ни разу, да и не тянет. В гости ходить не принято, как на Страстной неделе. Мне все это нравится»¹.

¹ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 346—347.

А вот письмо Георгию Чулкову, написанное несколькими месяцами позднее, 15 декабря:

«Как-то вся жизнь раздроблена на мелкие кусочки. Склеить их сейчас без предвзятой мысли, без натяжки — еще нельзя. Со временем Гаррик напишет “Войну и мир 14-го года” — вот тогда мы всё и узнаем. Одно очень заметно: все стало серьезнее и спокойнее. Политических сплетен мало, верят им совсем плохо. Москва покрыта лазаретами. Лечат раненых и жертвуют денег, белья, всяких припасов много, делают это охотно и без вычур. Удивительнее всего, что жертвы эти доходят до тех, кому предназначены. Поэтому дышится в известном смысле приятней и легче, чем это было до войны.

Вопросы пола, Оскар Уайльд и все такое — разом куда-то пропали. Ах, как от этого стало лучше! У барышень милые, простые лица, все они продают цветки, флажки, значки и жетоны в пользу раненых, а не дунканируют. Студенты идут в санитары, тоже торгуют, даже учатся — а не стоят по суткам перед каской Художественного театра¹.

Правда, в том же письме он упоминает о «плохих военных стихах», которые пишут «все — увы, и я». Упоминает и о составленном им для «Полезы» сборнике «Война в русской лирике» — «скучная вышла книга». В сборнике, вышедшем в начале 1915 года, представлены были стихи русских поэтов от Жуковского до Бальмонта о современных им войнах (единственным отклонением от принципа «современности» стало «Бородино»). Что до военных стихов самого Ходасевича, то они — на общем фоне — были даже и недурны. Владислав Фелицианович проявил хороший вкус, используя для злободневного текста уже готовую «маску»: кровавые и грандиозные события увидены им глазами мыши:

За Россию в день великой битвы
К небу возношу неслышный стих:
Может быть, мышинные молитвы
Господу любезнее других.

Франция! Среди твоей природы
Свищет меч, лозу твою губя.
Колыбель возлюбленной свободы!
Тот не мышь, кто не любил тебя!

День и ночь под звон машинной стали,
Бельгия, как мышь, трудилась ты, —
И тебя, подруга, растерзали
Швабские усатые коты...

¹ СС-4. Т. 4. С. 391—392.

Если вспомнить, что писали в эти дни Брюсов, Кузмин, Сологуб, стихи Ходасевича — просто образец благородного и тактичного исполнения «госзаказа». А слова о Городецких, которые примазываются к войне, являли собой просто пример телепатии, ибо в самом деле: не кто иной, как Сергей Городецкий, в первые же месяцы войны состряпал книжку «Четырнадцатый год», в которой было и стихотворение «Сретенье царя». По прежним, довоенным этическим представлениям русских интеллигентов это было нечто немыслимое; однако Городецкому этот факт биографии не помешал несколькими годами позже стать на сторону советской власти, а власти — благосклонно принять его на службу. Тем временем другой синдик Цеха поэтов, Николай Гумилёв, отправился на фронт добровольцем. Так же — что было уж совсем неожиданно — поступил Бенедикт Лившиц, разочаровавшийся в футуризме и уставший от петербургского богемного безденежья.

Некоторые друзья Ходасевича получили призывные повестки. Прежде всего это относилось к Александру Брюсову и к Муни, перед войной прошедшим срочную военную службу. Брюсов-младший вскоре попал в плен, где провел два года, сидя в лагере для военнопленных. Правда, немецкие лагеря в Первую мировую были не в пример комфортабельнее, чем во Вторую. Киссин же был определен в чиновники санитарного ведомства, так как производство в офицерский чин лиц иудейского вероисповедания в Российской империи за редчайшими, единичными исключениями не допускалось. Но и чиновничья служба была проявлением особого доброжелательства: Самуила Викторовича вполне могли, невзирая на университетский диплом и опыт службы, отправить пехотным ефрейтором в окопы, как добровольца Лившица.

Киссин служил в Варшаве, по служебным делам разъезжал по всей России, побывал и в Сибири. Канцелярская служба мучила и тяготила его, но еще больше тяготило общение с «простыми» людьми, не принадлежащими к миру искусства. Вот характерные цитаты из его писем Ходасевичу:

«Пойми: я человек скорее резкий, скорее неспособный спускать, и терплю все, все. Блистательное общество писарей, таковое же (чувствуешь отрывку канцелярии?) полуэстетствующего купчика, врачей, забывших медицину и помнящих только XVI и XIX книги свода военных постановлений, отделов преимущественно о жалованье, порциях, добавочных и т. д., присяжных читателей Нового Времени, полурумынских, полуйстинно-русских людей и прочая. Господи! Дайте мне Шершеневича, хуже — Бурлюка! — и я буду с ним мил, — как Ба-

ма¹ — с Львом Толстым. Я буду приветствовать его “звонким юношеским голосом”, я что угодно вытворю, лишь бы повидать человека, который говорит о том, в чем хоть немного понимает, для которого, будь он хоть распрофутурист, существуют понятия: искусство, литература, религия, который не употребляет этих слов вместо: ассенизация, унавоживание, испражнение. Потому что когда они говорят о чем-нибудь подобном, то, слушая, мнишь себя сумасшедшим, ослом или марсианином.

И все же мое место столь завидно, что необходимо всячески держаться и крепить протекции и связи: ведь 1) я жив, 2) я получаю 174 руб. и питаю сим Лиду с Ликушей»² (июнь 1915 года).

«Выражаясь по-одесски — сказать, чтоб мое положение было да, хорошо, так нет. Я устал, как устаем, как можем уставать мы, те самые мы, кои суть литераторы, репортеры, художники, корректора, газетчики и всякая иная сволочь, которая иногда ходит в театр, бывает у Грека или в Эстетике, которая “безумно кутит” на два с половиной, и которая все-таки в тысячу раз лучше, воспитанней (хотя где она воспитывалась?) и умней, чем провинциальные и военные врачи, питерский чиновник из пуришкевичских прихвостней, сестры милосердия из каких-то недоделков, потому что ни тебе они эсдечки, ни тебе они эсерки, ни тебе они эстетки, ни тебе они бляди»³ (11 июня 1915 года).

Муни были решительно неинтересны люди и вещи, находящиеся за пределами его обычного литературского окружения, — неинтересны даже как материал. Или отвращение и страх пересиливали интерес. Но то, как трагически закончится безопасная служба московского поэта, друзья наверняка еще не предполагали.

В Варшаве Киссин иногда общался с Брюсовым: да, сорокалетний Валерий Яковлевич буквально на третий день войны тоже поехал на фронт. Точнее, в прифронтовую полосу, в Варшаву и Вильно, в качестве корреспондента «Русских ведомостей». Отношения между Брюсовым и Киссиным, расстроившиеся после женитьбы последнего, уже наладились; но верховный маг доставил своему еврейскому зятю новое унижение, хотя и не по злобе, а по невинному тщеславию. 23 августа 1914 года в варшавском Обществе литераторов и журналистов был дан в честь Брюсова обед. Валерий Яковлевич с невинным хвастовством описал его в письме жене:

¹ Прозвище художественного критика и искусствоведа (а смолоду и стихотворца) Абрама Марковича Эфроса (1888—1954), в 1907—1911 годах учившегося на юридическом факультете Московского университета. Эфрос был дружен с Киссиным и близко знаком с Ходасевичем.

² Киссин С. Легкое время. С. 243.

³ Там же. С. 244.

«Было много народа. Произносились речи по-польски, по-русски и по-французски. Говорили, что сегодня великий день, когда пала стена между польским и русским обществом. Что еще два месяца назад они не могли думать, что будут в своей среде привечать *русского* поэта, хотя бы столь великого, как я (это — их слова, извиняюсь). Что с этого дня, со дня моего чествования, наступает новая эра русско-польских отношений и т. д. и т. д. Я, сколько умел, отвечал, конечно, по-русски, но и на *польские речи*, которые был *должен* понимать. Потом декламировались мои стихи “К Польше”. Редактора приглашали меня сотрудничать в их польских журналах. Одним словом, еще один “триумф”»¹.

Однако когда «великий поэт» пожелал пригласить на чествование Киссина, польские писатели, как рассказывал Ходасевичу сам Брюсов, «вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт»². О том, что эта ситуация унизительна и для него самого тоже, Брюсов не подумал.

Уже один этот эпизод многое говорит о национальных отношениях в Российской империи. В обстановке войны нарывы начали вскрываться, причем самым противоречивым образом. Это коснулось и польского, и еврейского вопросов. Заинтересованные в том, чтобы привлечь на свою сторону польское население Германии и Австрии, российские власти заговорили о широкой автономии Царства Польского. Шпиономания, обычная для военного времени, привела к запрету изданий на иврите и идише и массовым выселениям евреев из прифронтовой полосы — но именно эти выселения *de facto* взломали черту оседлости, а «Общество по изучению еврейской жизни», основанное Горьким, Сологубом и Леонидом Андреевым, получило неожиданную поддержку со стороны Григория Распутина и императрицы Александры Федоровны. Другое дело, что сами угнетенные народы ладили плохо. Выходка варшавских писателей была более чем характерна. В письме Ходасевича Садовскому от 9 ноября 1914 года имеются мрачно-язвительные слова: «*Мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев*»³. Можно представить себе, с каким мучительным чувством автор этой фразы выслушивал легкомысленный рассказ Брюсо-

¹ РГБ. Ф. 386. Оп. 142. Ед. хр. 16.

² Ходасевич В. Брюсов // СС-4. Т. 4. С. 35.

³ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 349.

ва. Весной 1915 года на благотворительной выставке пасхальных яиц в Московской городской управе Ходасевич написал — на яйце:

На новом радостном пути,
Поляк, не унижай еврея:
Ты был, как он, ты стал сильнее, —
Свое минувшее в нем чти.

Впрочем, едва ли Владислав Фелицианович не понимал нелепость этой затеи: бороться с польским антисемитизмом с помощью русских стихов, да еще опубликованных столь необычным способом.

С другой стороны, война с Турцией на Южном Кавказе обострила местные национальные вопросы. Доброжелательство, которое встречала русская армия у населения Западной Армении, и страшная резня армян турками 1915 года, унесшая жизни сотен тысяч, вызвали в русском обществе пылкое сочувствие армянам. Вообще идея Российской империи как многонационального государства, «общего дома» все больше овладевает умами либеральной интеллигенции.

В этой обстановке начинают готовиться к печати и выходить «инородческие» поэтические антологии — армянская, финская, латышская. Брюсов, с его чуткостью к «велениям времени» и невероятным трудолюбием, включился в эту работу. За несколько месяцев изучив не только армянскую культуру, но отчасти и язык, он составил антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» (1916). Сам он перевел для нее более ста сорока стихотворений, а кроме того, привлек еще двадцать два переводчика, среди которых, наряду с Блоком, Бальмонтом, Буниным, Вячеславом Ивановым, Сологубом, был и Ходасевич. Он перевел пять стихотворений по подстрочникам Павла Макинцяна; еще одно стихотворение было им переведено для параллельной петроградской антологии «Сборник армянской литературы», вышедшей под редакцией Горького. Переводил Ходасевич таких видных поэтов, как Смбат Шахазиз, Ованес Туманян, Ваан Терьян, но нет свидетельств, что эта работа особенно его увлекала — так же, как переводы для «Сборника латышской литературы» и «Сборника финляндской литературы», вышедших в 1916—1917 годах под редакцией Брюсова и Горького. Война удивительным образом соединила этих двух людей, принадлежавших к разным литературным лагерям, но внутренне во многом похожих. Обоим им суждено было сыграть важную роль в жизни Ходасевича: одному в прошлом, другому в будущем.

От самого Владислава Фелициановича, естественно, ждали переводов с польского. Но он, много лет переводивший с язы-

ка своих родителей ради денег, теперь сомневался и отнекивался. В декабре 1914 года он пишет Георгию Чулкову: «Вы мне советуете переводить польских поэтов? Я уже думал об этом, но, поразмыслив, понял: 1) поэтов в Польше ровным счетом три: Мицкевич, Красинский, Словацкий. Первый переведен, да и слишком труден для *нового* перевода, который должен быть лучше старых, — а *стихи* Словацкого и Красинского определенно плохи. У Словацкого хороши трагедии, да и то не так хороши, как принято говорить; лирика же его скучна, риторична и по-плохому туманна. Стихов Красинского не хвалят даже поляки, а у них все поляки — гении»¹. Все-таки он переводил понемногу стихи и Словацкого, и Красинского, а книгу Мицкевича начал в конце 1915 года готовить для Издательства Сабашниковых. Тогда она не вышла; не вышел и том «Мицкевич в переводах русских поэтов», составленный Ходасевичем в 1922 году. Всего у главного польского классика сам Ходасевич перевел два рассказа («Живиля» и «Карилла») и шесть стихотворений. Переводы двух из «Крымских сонетов» — «Чатырдаг» и «Буря» — считаются классическими. Но все же это только два сонета.

И в итоге получается, что из всех «инородческих» проектов сердцу Ходасевича оказался близок тот, которым он занялся независимо от Брюсова, и занялся почти случайно. Речь идет о переводах еврейской поэзии. Но основная работа над ними приходится на 1917 год (начиная с конца 1916-го), а потому уместнее будет поговорить о них в следующей главе.

Между тем настроения в обществе, еще недавно так умилявшие Владислава Фелициановича, стремительно меняются. Война затянулась, победного марша по Берлину не случилось, и в русской интеллигенции вместо недавнего патриотического восторга стали пробуждаться знакомые пессимистические настроения. Вот как реагирует на это Ходасевич (письмо Муни от 9 августа 1915 года):

«В Москве смешение языков. <...> Один хам говорит: “Вот и вздует, вот и хорошо, так нам (?) и надо”. Другой ему возражает: “Не дай Бог, чтобы вздули: а то будет революция — и всех нас по шапке”. Третий: “Я слышал, что Брест построен из эйнемовских пряников: вот он, шпионаж-то немецкий”. Четвертый (ей-Богу, своими ушами слышал): “Я всегда говорил, что придется отступить за Урал. С этого надо было начать. Как бы ‘они’ туда сунулись? А теперь нам крышка”.

¹ СС-4. Т. 4. С. 392. Ходасевич явно не следил за новостями польской литературы: мимо него прошло имевшее место в 1900-е годы посмертное «открытие» Циприана Норвида — поэта истинно великого и Ходасевичу по складу дара очень близкого. Не знал он и своих современников, таких как Болеслав Лесьмян или Леопольд Стафф.

Муничка, здесь нечем дышать. Один болван “любит” Россию и желает ей онемечиться: будем тогда культурны. “Немцы в Калише сортиры устроили”. Другой подлец Россию презирает: “Даст Бог, вздуем немцев. Марков 2-ой тогда все университеты закроет. Хе-хе”.

Муничка, может быть, даже все они любят эту самую Россию, но как глупы они! Это бы ничего. Но какое *уныние* они сеют, и это теперь-то, когда уныние и неразбериха не грех, а подлость, за которую надо вешать. Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода, ни племени, но я знаю хотя бы одно: эта самая Россия меня поит и кормит (впроголодь)! <...>

Когда война кончится, т. е. когда мужик вывезет телегу на своей кляче, интеллигент скажет: ай да мы! Я всегда говорил, что 1) верю в мужика, 2) через 200—300 лет жизнь на земле будет прекрасна.

Ах, какая здесь духота! Ах, как тошнит от правых и левых! Ах, Муничка, кажется, одни мы с тобой любим “мать-Россию”».

И дальше:

«Я тебе одно скажу: если бы не, если бы не, если бы не и если бы не, — я бы пошел добровольцем.

Смешно? Нет. По крайней мере, вернувшись (тоже, если не), — с правом плюнул бы в рожу ах скольким здешним дядям!»¹

Разумеется, слова о «добровольчестве» — пустая бравада. Ходасевич не был готов к этому шагу — и к тому же речь конечно же не могла идти о строевой службе. Теоретически он мог бы, как это сделал в августе 1916 года тоже не особенно здоровый, перенесший туберкулез Чулков, уехать на фронт санитаром. Однако даже попыток такого рода Ходасевич не предпринимал. Были, видимо, и другие «если бы не».

Июнь—июль 1915 года он проводит в Раухале, в Финляндии, на даче у Михаила Фелициановича, вместе с Гариком. Именно в это время Валентина Ходасевич пишет знаменитый портрет своего молодого дяди — тот, что ныне находится в доме-музее Брюсова. В Раухале Ходасевич написал — точнее, надиктовал, позируя Валентине — рассказ «Заговорщики». Действие его происходит в некой латиноамериканской стране. Сюжет (история тайного общества заговорщиков, преданного его изошренно-коварным вождем, разоблачение предателя, суд над ним, его бегство) в деталях очень напоминает историю, несколькими годами раньше потрясшую Россию, а именно дело Евно Азефа. В то же время внимание комментаторов закономерно привлек тот факт, что главному злодею присущи некото-

¹ СС-4 Т 4 С 395—397

рые (памфлетно заостренные) черты Брюсова¹. В самом деле, Джулио — сын лавочника; он окружен всеобщим обожанием — как «верховный маг» в 1900-е годы; его страсть — «председательствовать, давать слово, закрывать заседания»; он убивает свою любовницу. Есть даже прямые текстуальные совпадения между «Заговорщиками» и очерком о Брюсове в «Некрополе».

В самом ли деле Владислав Фелицианович создал антибрюсовский памфлет в те же дни, когда в качестве критика защищал старшего поэта от нападков? Можно предположить, что все же процесс был подсознательным. Часто думая о Брюсове, любя и ненавидя его, борясь с его силовым полем, Ходасевич невольно соединил его черты с чертами Азефа. Валерия Яковлевича можно было считать властолюбцем, лицемером, и даже, при большом желании, злодеем — но коварным интриганом и злостным провокатором он не был, и никто его в подобном не обвинял. Так что скорее всего перед нами парадоксальный пример из области «психологии творчества». Любопытно, что имя Брюсова (наряду с именами Стендаля, Андрея Белого, Данте, Пояркова, Садовского, Гете и Янтарева) присутствует в ироническом списке авторов, под влиянием которых рассказ написан (в письме Ходасевича Муни). Значения большого этому сочинению — как и всей своей художественной прозе — Ходасевич не придавал, видя в ней лишь средство приработка. Заработать лишние 100 рублей и спровоцировать литературный скандал — задачи не всегда совместимые, и будь у поэта вторая цель, едва ли он стал бы скрывать ее даже от ближайших друзей.

Тем временем Ходасевич получает предложение о сотрудничестве от журнала «Лукоморье», издаваемого Михаилом Сувориным, сыном знаменитого «нововременца». Суворин был человеком политически более умеренным, чем его отец в последние годы жизни, но не имел и отцовских заслуг. В «Лукоморье» он очень старался привлечь авторов «с именами», и зачастую его богатые гонорары оказывались сильнее свирепой «коллективной совести» интеллигентов: на страницах «Лукоморья» мелькали имена виднейших писателей Серебряного века, от Леонида Андреева до Михаила Кузмина — включая Бальмонта и, разумеется, Городецкого, в руках которого вскоре оказался весь литературный отдел. Ходасевич тоже получил предложение о сотрудничестве. Сперва он отказался, отчасти из неприязни к Городецкому, потом, «соблазненный» все тем же Садовским, отдал в «Лукоморье» «Заговорщиков» и стихи. Но «Заговорщиков» лукоморцы отклонили — «сослались на то, что у рассказа “не русский сюжет”». Можно предположить,

¹ Наблюдение принадлежит В В Зельченко

что редакцию смутил предполагаемый «второй план» рассказа: то ли они распознали намек на азефовское дело (а в политически правом журнале подобному было не место), то ли кто-то в самом деле узнал в Джулио брюсовские черты. А стихи без рассказа публиковать в «Лукоморье» Ходасевич не пожелал. «Я их давал для закуски, вроде деликатеса, — а так я смогу продать их в приличное место»¹, — писал он Борису Садовскому в ноябре 1915 года. «Заговорщиков» Ходасевич чуть позже напечатал в журнале «Аргус».

Война расшатала привычные нормы интеллигентской этики, но не отменила их. Конфликты, связанные с публикациями того или иного автора в изданиях «неправильной» направленности, продолжались. Весной 1916 года Ходасевич оказался втянут в один из таких конфликтов.

В одиннадцатом номере «Журнала журналов» за 1916 год был напечатан стихотворный фельетон, высмеивающий Александра Тинякова. Недавний скучный эпигон уже начинал приобретать свою скандальную репутацию. Фельетонист уличал Тинякова в том, что тот, сотрудничая в либеральных изданиях («Северные записки», «Речь» и т. д.), в то же время под псевдонимами печатал (в 1913 году, во время «дела Бейлиса») погромные статейки в главной черносотенной газете «Земщина». Тиняков в следующем номере «Журнала журналов» опубликовал «Исповедь антисемита», в которой объяснял столь эклектичную публицистическую активность последовательными переменами своих политических взглядов. Соль была, однако, не в этом. Тиняков утверждал, что в «Земщину» (как, впрочем, и в «Северные записки», к почтенной Софье Исааковне Чацкиной) он попал при посредничестве Садовского: «В сентябре 1913 г. ... г. Садовской, узнав, что я написал статью о деле Бейлиса, отнес ее к известному “правому” деятелю профессору N., и уже с “благословения” последнего и с его поправками эта статья и была напечатана в “Земщине”»².

Садовской, который привык бравировать своими «реакционными» взглядами, теперь был не на шутку испуган, тем более что Одинокий не лгал. «Профессор N.» — Борис Владимирович Никольский, видный юрист, собиратель рукописей Фета, небесталанный поэт и активный черносотенец, действительно был другом Садовского, и тот в самом деле свел с ним Тинякова. Опровержение, напечатанное Садовским в «Биржевых ведомостях» за 17 марта 1916 года, выглядело неубедительно. Са-

¹ Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 351.

² Там же. С. 415.

довской боялся, помимо прочего, за свои отношения с такими людьми, как Ходасевич и Гершензон. Письмо, написанное ему Владиславом Фелициановичем 22 апреля, свидетельствовало о понимании ситуации:

«Тиняков — паразит, не в бранном, а в точном смысле слова. Бывают такие паразитные растения, не только животные. На моем веку он обвивался вокруг Нины Петровской, Брюсова, Сологуба, Чацкиной, Мережковских и, вероятно, еще разных лиц. Прибавим сюда и нас с Вами. <...> Он принимает окраску окружающей среды. Эта способность (или порок) физиологическая. Она ни хороша, ни дурна, как цвет волос или глаз. В моменты переходов он, вероятно, немножко подличал, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов). В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит. <...>

Думаю, что с Вашей стороны нехорошо было 1) поощрять трусливое, тайное черносотенство Т<иняко>ва и 2) так или иначе способствовать снабжению “Земщины” каким бы то ни было материалом. Это нехорошо, из песни слова не выкинешь. Оправдывал я Вас тем, что многое, по-моему, Вы делаете “так себе”, а может быть, и с беллетристическим и ядовитым желанием поглядеть, “что будет”, понаблюдать того же Тинякова, ради наблюдения мятущейся души человеческой. Правда, это немножко провокация, но почему-то *не хочется* (а не нельзя) судить Вас строго»¹.

В отношении Садовского Ходасевич был прав, а поведение Тинякова в этот момент он понимал, пожалуй, превратно. Как раз тот-то и был провокатором и циником. Хорошо зная, что творилось в подсознании многих «благородных интеллигентов» во время того же «дела Бейлиса», он старался вовлечь их в свой позор. Неслучайно он послал «Исповедь антисемита» Блоку, как будто шестым чувством знал, какие душевные терзания в свое время испытал великий поэт, подписывая коллективное письмо в защиту киевского приказчика, обвиняемого в ритуальном убийстве ребенка.

Только вот Ходасевичу приходилось участвовать в разборе этих щекотливых дел в момент, когда ему было уж вовсе не до того. В его письме Садовскому есть две короткие фразы:

«У меня большое горе. 22 марта в Минске, видимо — в состоянии психоза — застрелился Муни».

Ни один мало-мальски значительный русский поэт не погиб на фронте во время Первой мировой. Русская поэзия несла

¹ Там же. С. 355—356.

только небоевые потери: умерший от болезни сердца под впечатлением первых месяцев войны Василий Комаровский, повесившийся в душевном смятении юный Божидар (Богдан Гордеев), и вот — санитарный чиновник Киссин.

Так закончились десять лет неразлучной дружбы, почти двойничества. Для Ходасевича это стало самым тяжелым ударом после смерти матери. Смерть друга вернула его в то состояние, из которого когда-то сумела вывести его Анна Чулкова. Но теперь и жена не могла ему помочь:

«У Влади опять начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее его до зрительных галлюцинаций, и, очевидно, и мои нервы были не совсем в порядке, так как однажды мы вместе видели Муню в своей квартире»¹.

Стены счастливого домика дают трещину.

Образ Муни не раз возникает позднее в стихах Ходасевича. Самое знаменитое стихотворение, связанное с ним, написано в 1922 году, 9 января:

Леди долго руки мыла,
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы как птица
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.

Судя по этим строкам, отсылающим к «Макбету», Владислав Фелицианович ощущал за собой подобие вины: он в свое время проглядел душевное расстройство друга, без должного внимания отнесся к его, казалось, капризным, немотивированным жалобам на канцелярскую скуку и на малокультурных секретер милосердия.

И как раз в это время Ходасевич вновь серьезно физически заболел. Болезнь, под знаком которой проходит почти весь 1916 год, заставила его серьезно изменить свой образ жизни и надолго покинуть Москву.

11

Началось все еще в сентябре 1915 года — с нелепого происшествия в гостях у Любви Столицы.

Любовь Никитична Столица (урожденная Ершова), дочь богатого купца, была не только способной поэтессой (с налетом

¹ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 398.

«русского стиля»), но и меценаткой, а также владелицей литературно-художественного салона под названием «Золотая гроздь», в котором бывали самые разные гости — от Клюева и Есенина до Веры Холодной и от Софьи Парнок до депутатов Государственной думы. Сама Столица, «белолицая, чернобровая, как героини ее стихов»¹, была эффектной дамой, не обремененной особенно тонким вкусом (античная перевязь на голове, неизменная алая роза в декольте и пр.), но доброй, жизнерадостной и хлебосольной. Ходасевич так вспоминал позднее о ее еженедельных приемах:

«Гости съезжались часам к 11, к 12. В передней каждого входящего встречали величанием и подносили ему стакан жгучей смеси, которую выпить полагалось до дна и не отрываясь. За длинными столами, поставленными покоем и глаголами, усаживалось человек сорок, а то и больше. Места были заранее назначены. У каждого на приборе лежала узенькая полоска бумаги с посвященным ему двустушием — чаще всего гекзаметром — содержания насмешливого, острого и беззлобного. Эти двустушии каждый сам о себе принужден был прочитать вслух — к великой и шумной радости всех собравшихся. Потом начинался ужин, обильный яствами, а в особенности — питьями»².

Семнадцатого сентября Ходасевичи были приглашены к Любви Никитичне на день рождения, на загородную дачу в Подольском. После трапезы уже, вероятно, не совсем трезвый Владислав Фелицианович вышел из душевной комнаты на балкон бельэтажа — и оступился; по словам Анны Ивановны, «он не упал, но встал так твердо, что сдвинул один из спинных позвонков». Сперва Владислав Фелицианович большого значения этой травме не придавал; но уже зимой позвонок начал пухнуть. К весне 1916 года Ходасевичу было трудно самому надевать носки и туфли. Врачи заподозрили туберкулез позвоночника.

В эти месяцы, когда смерть казалась ближе, чем во время предыдущей болезни, из-под пера Ходасевича вышло стихотворение, еще связанное генетически со «Счастливым домиком», могущее быть своего рода меланхолическим эпилогом к нему:

О, если б в этот час желанного покоя
Закрывать глаза, вздохнуть и умереть!
Ты плакала бы, маленькая Хлоя,
И на меня боялась бы смотреть.

¹ Ходасевич В. Любовь Столица // Возрождение. 1934. № 3207. 15 марта.

² Там же.

А я три долгих дня лежал бы на столе,
Таинственный, спокойный, сокровенный,
Как золотой ковчег запечатленный,
Вмещающий всю мудрость о земле...

Но лишь в снах поэта вольная смерть, открывающая «всю мудрость о земле», была так привлекательна. Ходасевич-человек был оплетен обязательствами и привязан к близким — он собирался бороться за продление своего физического существования. И «маленькая, резвая» Хлоя, которая как раз и связывала его с землей, была главной помощницей в этой борьбе.

Лечение в то время было простым: во-первых, ношение гипсового корсета, во-вторых — длительное пребывание в «правильном» климате. Италия, где Ходасевич в прошлый раз лечился от туберкулеза, или, к примеру, Давос отпадали из-за военного времени. Оставались Южный берег Крыма и кавказские курорты, для туберкулезников менее показанные. Сначала Ходасевич собирался отправиться, вместе с Вячеславом Ивановым и его семьей, в Красную Поляну. Но в конечном итоге его выбор пал на Крым.

Оказалось, однако, что после двух лет сносных заработков («балиевские», «пользовские» и другие деньги — не забудем к тому же, что Анна Ивановна в Городской управе получала 70 рублей в месяц) на три-четыре месяца праздности на крымской даче средств не было. Пришлось обращаться за помощью к старшим братьям, но выделенного ими хватало лишь на само пребывание в Крыму. Необходимо было еще 200 рублей: оставить жене, заплатить за квартиру, купить необходимые в дорогу вещи. Их пришлось брать взаймы в некоем благотворительном фонде при посредничестве и под поручительство Гершензона. 27 мая 1916 года, прося Михаила Осиповича об этой услуге, Ходасевич писал:

«Люди, которых я знаю, состоят или из таких, которые могут, да не хотят, или из таких, которые хотят, да не могут. Вы — буквально единственный доброжелательный и не беспомощный человек из всех, меня окружающих.

К братьям я не могу обращаться: они лишат меня и того, что обещали. Я их слишком знаю. Кроме того, я в таком состоянии, когда говорить с ними для меня невозможно. Старший решил кое-что сделать, когда посторонние люди (без моего ведома) его пристыдили. Больше его и стыдом не проймешь: упрется, и мы рассоримся»¹.

К физической болезни и нервному расстройству прибавляются еще унижительные денежные хлопоты. Но Ходасевич и в

¹ Переписка В. Ф. Ходасевича и М. О. Гершензона // De Visu. 1993. № 5/6. С. 22.

это время продолжает с прежним усердием писать обзоры для «Утра России», и в них никак не сказывается его состояние и положение.

Наконец 4 июня поэт отправился поездом из Москвы в Симферополь.

Анна Ивановна пишет, что отправила с больным Владиславом Фелициановичем в Крым Гаррика. Поступок странный — но анализ переписки показывает, что жена Ходасевича его и не совершала: просто в ее памяти, памяти уже очень немолодой женщины, смешались события разных лет. Отношения с мальчиком у отчима были самые теплые, он участвовал в воспитании Эдгара, интересовался его гимназическими успехами и вообще вел себя вполне по-родительски. Анна Ивановна несколько раз отправляла их вместе отдыхать, но, конечно, не в 1916 году. Гаррик нуждался в присмотре, Ходасевич — в покое и уходе, совместить это было невозможно.

Первоначально предполагалось, что Ходасевич будет жить на даче Гунали (знакомых Анны Ивановны) в Севастополе, но уже 5 июня вдогонку Владиславу Фелициановичу летит письмо жены: «Ненаглядный мой медведь, я страшно волнуюсь за тебя: вчера у меня в гостях был Костя Большаков и сказал, что узнал от сестры, что на дачу Гунали едет курсистка, у которой все лицо поранено волчанкой»¹. К тому же в Севастополь, находившийся на военном положении, пускали лишь по особым пропускам, а документы Ходасевича запоздали. Так как собственно южный, субтропический Крым оказался, видимо, слишком дорог, Ходасевич в конце концов решает направиться в восточную часть полуострова, в Коктебель.

Первое время он живет на даче Мурзанова, а столуется на соседней. Любопытная подробность: чтобы расположить к себе хозяина дачи, по всей видимости, армянина по происхождению, Владислав Фелицианович пишет в Петербург Иоанне Брюсовой и просит прислать экземпляр армянской антологии с его переводами. Жизнь его среди коктебельских лунных гор и галечных пляжей идет лениво и размеренно: купания, обед, послеобеденный сон... Ежедневные письма жене (которая в июне отдыхала в Раухале, Гаррик же был у родственников отца) поначалу содержат тщательные описания собственного меню — и никаких литературных дел. Хотя Ходасевич собирался в Крыму работать и взял с собой финские подстрочники, в первые недели он позволил себе предаться праздности и вести «растительное» существование.

Но Коктебель 1916 года был местом, где не удавалось долго избегать общения с литературными знакомыми. 13 июня Анна

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 1.

Ивановна пишет мужу: «В Коктебеле есть дача матери Макса Волошина и там постоянно живут люди нашего круга»¹. Странно, что Ходасевич как будто ничего не знал об этой «летней резиденции» русского модернизма, просуществовавшей, как известно, четверть века.

Девятого июня, на четвертый день коктебельской жизни, происходит встреча с одним из обитателей волошинской дачи: «Случилась беда: из-за халатика напали на нас 4 коровы с рогами, потом хуже того — Мандельштам. Я от него, он за мной, я забрался на скалу высотой в 100 тысяч метров — он туда же. Я ринулся в море — он настиг меня среди волн. Я был с ним вежлив, но чрезвычайно сух. Он живет у Волошина. С этим ужасом я еще не встречался. Но не боюсь: прикинусь умирающим и объявлю, что люблю одиночество. Я, черт побери, не богема»². Два дня спустя Ходасевич сообщает Гершензону: «Здесь Макс Волошин, конечно, и Мандельштам. Зовут к себе, да мне не хочется. К тому же люди они ночные, а я пока что ложусь спать в половине десятого»³. Однако и жена, и Гершензон советовали Ходасевичу «сойтись с Волошиным и его кружком»⁴, а Михаил Осипович просил передать Максиму «дружеский привет».

Семнадцатого июня Ходасевич с притворной неохотой посещает волошинскую дачу, о чем на следующий день сообщает жене: «Был у Макса вчера, просидел с час, днем, конечно. Кланяется. Удивился, что я без тебя. Вспомнили юные годы»⁵. Но уже 21 июня он пишет Анне Ивановне: «6-го числа я переезжаю к Волошиным, где за те же деньги будет у меня *тихая* комната с отдельной террасой. Приставать ко мне не будут. Я так и сказал Максиму»⁶.

У Волошина, кроме Мандельштама, жили в это время художник князь Александр Шервашидзе (Чачба) — потомок феодальных владык Абхазии, в прошлом секундант Волошина на знаменитой дуэли с Гумилёвым, а также художница Юлия Оболенская, чья дружба с Ходасевичем продолжалась и позднее, и Юлия Львова, «композиторша, бельфамша»⁷, мать Ольги Ваксель, будущей мандельштамовской возлюбленной. Ходасевич легко вписался в эту компанию и если не с увлечением, то с легкостью участвовал в волошинских немудреных домашних

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 13.

² Там же. Ед. хр. 45. Л. 7.

³ Переписка В. Ф. Ходасевича и М. О. Гершензона // De Visu. 1993. № 5/6. С. 22.

⁴ Там же. С. 23.

⁵ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 10.

⁶ Там же. Л. 14.

⁷ Письмо Б. А. Диатропову // Ходасевич В. СС-4. Т. 4. С. 404.

озорствах, так называемых «обормотствах», колоритно описанных не одним поколением литераторов-дачников.

Мандельштам и Ходасевич познакомились, видимо, в один из наездов Осипа Эмильевича в Москву весной 1916 года. Два великих в будущем поэта далеко не сразу поняли цену друг другу: Ходасевич Мандельштама долго не принимал всерьез. Вот несколько выразительных цитат: «Мандельштам дурак, Софья Яковлевна права. *Просто* глуп, без особенностей. Пыжится. Я не сержусь»¹ (письмо Анне Ходасевич от 18 июня 1916 года). А вот письмо самой Софье Яковлевне (Парнок), от 22 июля: «Знаете ли? — Мандельштам не умен, Ваша правда. Но он несчастный, его жаль. У него ущемление литературного самолюбия. Петербург его загубил. Ну какой он поэт? А ведь он “взялся за гуж”. Это тяжело. Т. е. я хочу сказать, что стихи-то хорошие он напишет, как посидит, — а вот все-таки не поэт. Это несправедливо, но верно»². И наконец, из письма Борису Диатроптову: «Мандельштам. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посмешище всекоктебельское»³.

Общий тон отношений понятен, более или менее ясна и причина. В свое время Федерико Феллини полушутя разделил всех людей на «белых» и «рыжих» клоунов. Это разделение обладает, однако же, замечательной универсальностью. Белых и рыжих, Пьеро и Арлекинов, можно встретить всегда, в любую эпоху и в любой среде. Рыжий клоун Арлекин — не обязательно хохотун, но обязательно — не боящийся попасть в смешное, несолидное положение. Именно этого больше смерти боится белый клоун — Пьеро. Добродетели белого клоуна — «серьезность и честь». Он готов до последней капли крови отстаивать достоинство не только свое лично, но и своих жизненных ценностей. Он полон ответственности. Он верен слову. Добродетели рыжего клоуна — доброжелательность, отвращение к ложному пафосу, высокое простодушие, умение смеяться над собой, видеть и ценить «чужое». Пороки белого клоуна — надутая важность, высокомерие, фанатизм, занудство, злопамятность. Пороки рыжего клоуна — легкомыслие, тщеславие, детская обидчивость, непоследовательность, необязательность.

Ходасевич был, конечно, Пьеро, белым клоуном. Мандельштам — по человеческой и (как оказалось в его вершинную творческую эпоху) по поэтической органике был рыжим, но всю молодость старательно и неудачно пытался выдать себя за

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 10.

² Ходасевич В. СС-4. Т. 4. С. 405.

³ Там же. С. 404.

белого, держался важнее, серьезнее, солиднее, чем это было заложено в его природе; «пыжился», одним словом. Отсюда отмеченные многими современниками перепады поведения, мгновенное превращение «молодого Державина» в оживший «вагонный анекдот» и обратно. Ходасевича это и смешило и раздражало — притом что за стихами Мандельштама он и в те годы готов был признать известные достоинства. Впрочем, с годами его отношение лично к Мандельштаму стало теплее, а к мандельштамовской поэзии — серьезнее. Что до Волошина, то Ходасевич и после его смерти видел в нем лишь «очень милого, очень образованного, очень одаренного, но и очень легкомысленного, даже легковесного человека» и оставался равнодушен к «оперной красоте» его стихов¹.

Восемнадцатого июля Мандельштам, Волошин и Ходасевич вместе выступали в Феодосии. Выступление было не слишком удачным. Вот как описывает его в письме подруге Юлия Оболенская: «Мандельштама... освистали — 3 раза повторял одно место под хохот публики: “я с ними проходил 3 раза то, что им было непонятно”, — говорил он. Макс имел большой успех, а Ходасевичу и Массалитинову, на бис читавшему Пушкина, кричали: “Довольно этих Мандельштамов”»². Было еще несколько выступлений, некоторые более успешные (в письмах жене и Диатроптову Ходасевич с пародийными преувеличениями описывает свою коктебельскую «славу»). Но даже если у местной аудитории Ходасевич имел больший успех, чем Мандельштам, сам Волошин, судя по его письмам, выше ценил петербургского поэта. Впрочем, уже 26 июля Мандельштам получил телеграмму о скоропостижной смерти матери и выехал из Коктебеля в Петербург.

Тем временем в положении самого Ходасевича тоже происходят кое-какие перемены. В первой декаде июля он едет в Евпаторию (неблизкая и тяжелая поездка: Евпатория находится в другом конце полуострова, а Коктебель отдален от железной дороги) на прием к доктору Кархову. Доктор, «специалист по туберкулезу и ортопедии», должен был сделать пациенту новый корсет вместо сломавшегося; но неожиданно он сообщил Ходасевичу, что туберкулеза у него нет и корсет ему не нужен. То ли ошиблись московские врачи, ставившие диагноз зимой и весной, то ли крымский воздух привел к стремительному излечению. Так или иначе, хорошие новости о своем здоровье Ходасевич предпочел держать в секрете. Во-первых, Михаил Фе-

¹ Ходасевич В. Книги и люди (Современные записки. Кн. LIII) // Возрождение. 1933. № 3082. 9 ноября.

² Цит. по: Ходасевич В. СС-4. Т. 4. С. 626.

лицианович запросто мог перестать помогать деньгами «симулянту». Во-вторых, у военного ведомства к концу второго года войны дошли руки до тех, кто по прежним понятиям был совершенным белобилетником. Еще весной Ходасевич получил повестку, но тогда был оставлен «ратником», то есть по-прежнему находился в запасе и должен был являться к новому призыву. Очередное призывное оповещение застало его в Крыму, и отмена рокового диагноза была совсем некстати. К счастью, дело, после некоторых хлопот, уладилось мирно: крымские военные врачи с почтением относились к столичным коллегам, и присланная Анной Ивановной справка от московского врача Сегалова их совершенно удовлетворила.

В любом случае, физическое и нервное состояние поэта сильно улучшилось: в июле он наконец принимается за работу. Самым значительным из написанного в Коктебеле стала статья «Державин», предназначенная для газеты «Утро России», в которой она и была опубликована 8 августа, в столетнюю годовщину державинской смерти. Статья эта замечательна как первый прообраз знаменитой биографии Гаврилы Романовича, созданной Ходасевичем 14 лет спустя. Споря с расхожими обывательскими представлениями об «условном», «придворном» характере державинской лирики, он создает впечатляющий, хотя и несколько идеализированный, точь-в-точь как в будущей книге, образ «бессмертного и домовитого» поэта. Державин видится ему то «мирным бойцом», чья высокая лирика «являлась *прямым* участием в созидании государства», то в образе «хлебосола, домовитого хозяина, благосклонного господина собственных слуг, барина и слегка сибарита, умеющего забывать все на свете “среди вин, сластей и аромат”», а то и «благосклонным, веселым, находчивым стариком, окруженным девушками». Любой из этих образов был далек от самого Ходасевича — индивидуалиста и разночинца, небогатого, болезненного, желчного. Но тем привлекательнее они казались.

Живя в Коктебеле, Ходасевич интенсивно переписывался со многими московскими знакомыми. Неожиданный подарок получил он от Софьи Парнок, отдыхавшей совсем неподалеку, в Судаке, — двенадцатистрочное стихотворное приветствие:

Пахнет в саду розой чайной.
Говорю никому, так, в закат:
«У меня есть на свете тайный,
Родства не сознавший брат.

Берегов, у которых не был,
Для него всех призывней краса.
Любит он под плавучим небом
Крылатые паруса,

И в волну, и по зыбям мертвым
Вдаль идущие издалека».
Владислав Ходасевич! Вот вам
На счастье моя рука!

Как писал Ходасевич жене 21 июня, «в этих стихах, ежели вчитаться, много хорошего, но есть и слабое. Мне мило, однако же, что они присланы так, ни с того ни с сего, просто по хорошему чувству»¹.

Коктебельская и феодосийская «светская жизнь» тоже была довольно интенсивной. Список новых знакомств Ходасевича впечатляет: от начальника Феодосийского порта Александра Новинского до моднейшего беллетриста Михаила Арцыбашева, от пожилой оперной певицы Марии Дейши-Сионицкой до Сергея Эфрона. С ним вместе Ходасевич ездил в июле в Евпаторию; Эфрон вскоре уезжал в Москву, и Владислав Фелицианович горячо рекомендовал его жене. С этого началась дружба Ходасевича с Мариной Цветаевой и ее мужем, дружба не только житейская, но и литературная, продолжавшаяся (хотя не без перерывов и недоразумений) долгие годы.

И все же, хотя в Коктебеле Ходасевичу и было, по собственному признанию, «не скучно» — он скучал о жене. Скучала и она. Иные места из писем, которыми обменивались Владислав Фелицианович и Анна Ивановна, необычайно трогательны. Кажется, именно 1916 год, когда над Ходасевичем нависла такая явственная угроза, стал расцветом их любви. Даже та шутливая брань, которой Ходасевич пытается заставить жену внимательнее относиться к своему здоровью, — свидетельство глубокой и искренней нежности: «*Сни*, паршивка. *Ешь*, гадина. *Не кури*, урод. *Не волнуйся*, вонючка. *Не бегай*, как от кошки» (20 июня)².

В конце июля, когда материальное положение семьи чуть улучшилось (Анне Ивановне прибавили жалованья, из «Утра России» пришли гонорары), да к тому же кое-какие деньги перепали в подарок от дяди, жене Ходасевича пришла в голову шальная идея самой поехать к мужу в Коктебель. Владислав Фелицианович ее горячо поддержал. Правда, денег на дорогу все равно не хватало. В письме от 4 августа Ходасевич советует жене: «<...> прикуси Мышкину губку и сама попроси у Миши». Ну, или в крайнем случае — «заложи часы»³. Несколько дней спустя супруги встречаются на симферопольском вокзале.

Видимо, весь август чета Ходасевичей провела в Коктебеле. Гаррик по-прежнему, видимо, жил у отцовой родни, хоть там и были недовольны его озорством.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 14.

² Там же. Л. 13.

³ Там же. Л. 60.

С возвращением в Москву отдохнувший, прибавивший сил Владислав Фелицианович активно включается в литературные труды. 19 октября он пишет Волошину: «Я, кажется, пока что побиваю все рекорды трудоспособности. Перевел-таки злощастную еврейскую поэму (340 стихов!); переделал статью о Державине; написал статью для “Известий Кружка” (“Стихи на сцене”); перевел сто страниц Стендаля; обстоятельно выправил (по существу) корректуру большой статьи о Ростопчиной; почти (увы!) написал 2 стихотворения; смастерил рецензию для “Утра России” и 2 для “Русских ведомостей”, в которые вернулся; выкроил стихотворную пьеску для “Летучей мыши”»¹.

После долгого, почти годового перерыва начинают писаться стихи, причем — непохожие на прежние. В письме Садовскому Ходасевич называет их «макаберными». Речь идет прежде всего о таких стихотворениях, как «В Петровском парке» и «Смоленский рынок». Новизна в рамках поэтики Ходасевича касалась даже ритмики: короткие ямбические строки (двух- и трехстопные), конечно, не выглядят революционно (позднее для Юрия Тынянова «Смоленский рынок в двухстопных ямбах Пушкина и Баратынского и в их манере» стал примером «архаизма» Ходасевича), но своей напряженностью они резко отличаются от неторопливых, растекающихся или плывущих размеров «Счастливого домика»:

А солнце восходило,
Стремя к полудню бег,
И перед этим солнцем,
Не опуская век,
Был высоко приподнят
На воздух человек.

И зорко, зорко, зорко
Смотрел он на восток.
Внизу столпились люди
В притихнувший кружок.
И был почти невидим
Тот узкий ремешок.

Самоубийцу в Петровском парке Ходасевич видел еще в 1914 году, возвращаясь в поздний час с женой и Терентьевым. Впечатление два года ждало своего часа, чтобы отлиться в стихи. Дело не в самой теме самоубийства, конечно — этого было в стихах той поры предостаточно, от Маяковского до Мандельштама («Чернеет на скамье гранитной / Самоубийца молодой...»), а той иллюзии свободы, отрыва от земли, преодоления

¹ Ходасевич В. СС-4. Т. 4. С. 406.

косности, тоски, однообразия мира, которую открывает самовольный уход. (Думал ли поэт о Муни? О Наде Львовой? О Гофмане? К тридцати годам Ходасевич похоронил нескольких друзей: почти все они сами на себя наложили руки.)

В сущности, это означало отрицание пафоса «Счастливого домика». Как будто болезнь и излечение что-то по-новому повернули в человеке и в поэте.

Теперь устремления Ходасевича были иными:

О, лет снежинок,
Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок!

Речь может идти о преображении мира стихией искусства, а может — и о его доподлинном, въяве, изменении, непредсказуемом, опасном. Предстояло свершиться именно этому.

Глава шестая
ТРУДОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1

В конце 1916 года было уже очевидно, что приближаются роковые события. Людей, веривших в возможность сохранения *status quo*, больше не оставалось. Даже Садовской, встретившись с Ходасевичем в «Летучей мышью», «со злобной ненавистью» говорил о Николае II, плакал.

«Потом утер слезы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:

— Это все вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами»¹.

До начала революции оставалось два-три месяца.

Если в Петрограде февральская смена власти была буйной и кровавой, то в Москве все поначалу прошло тихо. Власть в городе была передана временному комитету, который провел в июне выборы в новую Городскую думу. Городским головой был избран эсер Вадим Руднев. В Московском совете меньшевики и эсеры составляли коалицию и противостояли большевикам, чья фракция была самой многочисленной, но не составляла абсолютного большинства.

Летом 1917 года Москва — впервые, быть может, почти за два столетия — стала центром политической жизни, едва ли не равноправным Петрограду. Здесь проходили «совещание общественных деятелей», «совещание представителей торговли и промышленности», наконец, полномочное Государственное совещание (12—14 августа 1917 года) с участием министров Временного правительства и лидеров основных партий. Важная роль в организации всех этих встреч принадлежала банкиру Павлу Рябушинскому. Он выступал с антибольшевистских позиций и требовал роспуска «разнообразных советов и комитетов» и установления в России жесткого единовластия. В сентябре все это закончилось так называемым Корниловским мятежом, спонсором которого выступил тот же Рябушинский.

¹ Ходасевич В. Памяти Б. А. Садовского // Ходасевич В. Колеблемый треножник. С. 432.

После его провала крах слабого правительства Александра Керенского был предreshен.

В то время, когда политики пытались найти выход из положения, а армия стремительно разлагалась и отступала, писатели пытались самоорганизоваться. Еще 18 марта 1917 года в редакции журнала «Бюллетени литературы и жизни» состоялось учредительное собрание Московского клуба писателей «для организованных бесед на темы как общего характера, так и выдвигаемых общественно-политической жизнью». Вместо прежних буржуазных клубных бдений в Литературно-художественном кружке писатели почувствовали острое желание говорить об острых общественных вопросах, причем писатели разных направлений: в числе участников собрания, наряду с Волошиным, Балтрушайтисом, Белым, Бердяевым, был «знаньевец» Вересаев. Устав предложено было составить Михаилу Гершензону и Сергею Булгакову. В 1918 году, уже в совершенно иную эпоху, из этого так и не возникшего клуба образовался Московский союз писателей под председательством Гершензона — не открыто антибольшевистский, но не допускавший в свои ряды лиц, «принципиально отрицающих свободу печати». Никак особенно не проявив своего существования, он два года спустя вошел во Всероссийский союз писателей, создававшийся уже «сверху». Ходасевич во всей этой организационной суеде принимал самое непосредственное участие.

Двадцать девятого мая, когда жизнь в стране отчасти еще сохраняла прежние, устоявшиеся формы, Ходасевич вновь отправляется в Коктебель — на сей раз с Гарриком; в июле, после настоячивых упрасиваний мужа, к ним присоединяется Анна Ивановна. Отдых поэта был испорчен сначала разыгравшимся в середине июня фурункулезом («омерзительный многоголовчатый нарыв на лице»¹, который пришлось резать), а потом — напряженной работой над переводом романа французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен». Возвращаются Ходасевичи в Москву за два месяца до роковой кульминации событий. По закону симметрии октябрьский переворот проходит быстро и почти бескровно в Петрограде, но оказывается затяжным и кровавым в Москве.

Причиной стали, как ни странно, умеренность и робость большевистского руководства Москвы во главе с Виктором Ногиным и его соратниками, среди которых были люди, для партии большевиков необычные, — например директор Московской обсерватории профессор Павел Штернберг. Сперва

¹ Письма В. Ф. Ходасевича к В. Г. Лидину (1917—1924) / Публ. И. Андреевой // Минувшее. СПб., 1993. № 14. С. 418.

московские товарищи всячески отбивались от предложения Ленина «начать первыми»; а уже после петроградского переворота и Второго съезда Советов Ногин заявлял: «Если есть надежда на создание власти, признаваемой всеми партиями, входящими в Советы, то в Москве нужно принять меры, чтобы это прошло без кровопролития». В свою очередь, командующий Московским военным округом полковник Константин Рябцев, правый эсер, один из тех, кто сорвал в сентябре выступление генерала Корнилова, тоже предпочел бы закончить дело миром. Но на Ногина оказывали давление петроградские большевики, у которых после 25 октября не было пути назад; кроме того, Москва была переполнена возбужденными вооруженными людьми — демобилизованными солдатами, юнкерами, дезертирами, подерживавшими кто Ленина, кто Керенского, и рвавшимися в бой.

Большевики нехотя образовали Военно-революционный комитет (ВРК), а Городская дума — Комитет общественной безопасности, которые несколько дней вели между собой переговоры. Фактор внезапности, который позволил бы одной из сторон одержать стремительную победу, был утрачен. К 27 октября, когда пролилась первая кровь, Комитет общественной безопасности контролировал центр города, кроме Кремля (который охранял «красный» 56-й пехотный запасной полк) и собственно здания Моссовета (на Тверской, 13). По периметру Садового кольца располагались части Красной гвардии и пробольшевистские войска. На следующий день комендант, прапорщик О. Берзин, при ложном известии о капитуляции ВРК сдал Кремль юнкерам. Большевики в Моссовете уже жгли бумаги, но тут началось наступление Красной гвардии из Замоскворечья. Бои шли на Пречистенке, на Остоженке, у Никитских ворот; из десятиэтажного дома Нирензее в Большом Гнездниковском переулке — самого высокого здания тогдашней Москвы — велся обстрел Городской думы. К вечеру 29 октября центр города был у большевиков. Начался обстрел Кремля, такой бурный и неаккуратный (профессор Штернберг, руководивший им, был более сведущ в астрономии, чем в артиллерии), что пострадали многие городские квартиры; случайным осколком ранен был знаменитый военачальник Алексей Брусилов, который ранее оставался неуязвим в настоящих боях. По приказу Ленина московским большевикам было послано подкрепление из боевых балтийских матросиков. И все эти дни — парадоксальная особенность московского варианта «Великого Октября!» — работали согласительные комиссии, заключавшие временные перемирия, которых никто не выполнял, и выработывавшие условия приемлемого для обеих сто-

рон мира. 2 ноября, когда число жертв достигло двух тысяч человек, Комитет общественной безопасности наконец самораспустился, признав Моссовет единственным органом власти в городе; боевые дружины с обеих сторон тоже были распущены; юнкерам оставили оружие, «необходимое для обучения». Все это мало походило на стремительный и решительный петроградский путч.

Мы так подробно останавливаемся на этих событиях потому, что Ходасевич был единственным большим русским поэтом, в чьих стихах (и даже в одном из первостепенных шедевров) они отразились. Речь идет о стихотворении «2-го ноября» (1918):

Семь дней и семь ночей Москва металась
В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
Пускал ей кровь — и обессилев, к утру
Восьмого дня она очнулась Люди
Повыползли из каменных подвалов
На улицы. Так, переждав ненастье,
На задний двор, к широкой луже, крысы
Опасливой выходят вереницей
И прочь бегут, когда вблизи на камень
Последняя спадает с крыши капля

Анна Ивановна утверждает, что муж ее встретил революцию «с огромной радостью». Если говорить о весне—лете 1917-го, удивляться этой радости не приходится. Чтобы в первые послефевральские месяцы не поддаться революционной эйфории, требовались либо взгляды очень консервативные, либо сверхчеловеческое здравомыслие, либо полнейшая обывательская приземленность.

Правда, даже в минуты этой всеобщей эйфории Ходасевич ощущал тревогу за то, что было ему дороже всего в «старой» России — да и во всем мире. Свидетельство тому — статья «Безглавый Пушкин». В этой статье, написанной в форме диалога, писатель и его друг обсуждают слух о том, что где-то во Владимире возбужденная толпа революционных солдат снесла голову памятнику Пушкину. Ничего подобного на самом деле не было, и сам слух, скорее всего, плод художественного вымысла (на что Ходасевич и намекает). Сюжет был подсказан сносом памятника Столыпину в Киеве. Споря с другом, писатель доказывает, что и Столыпина, как он ни отвратителен, не следовало бы громить, что место «истуканам царизма» — в специальном музее и т. д. Но — Пушкин! «Ни один из этих солдат не поднял бы руку на красное знамя, — а Пушкину он снес голову как ни в чем не бывало. Это потому, что он (страшно сказать!) не имел представления о том, что такое Пушкин. Громившие Пушкина, конечно, впервые слышали это имя. Они не

знали того, что это — памятник одному из величайших русских людей, что в самом слове “Пушкин” больше свободы, чем во всех красных знаменах. Не знали они того, что не только пушкинская, но и всякая другая истинная поэзия есть динамит, взрывающий самые основания неправого общественного строя. До боли становится горько от темноты народной! Тот, кто хочет сейчас честно служить революции и народу, должен идти и учить, учить, учить»¹.

Можно лишь согласиться с Ириной Сурат: формулировка Ходасевича напоминает знаменитую ленинскую речь на третьем съезде комсомола. И конечно, интеллигентские надежды на просвещение, как и вера в то, что Пушкин «за революцию», «против неправого общественного строя», — наивны. Впрочем, статья и писалась (в Коктебеле, в июне) для массового журнала «Народоправство», издававшегося при Временном комитете Государственной думы и редактировавшегося Георгием Чулковым. Ходасевичу предлагали должность ответственного секретаря этого издания, он согласился, но уже в августе у него произошла с Чулковым размолвка, положившая сотрудничеству в «Народоправстве» конец.

По всей вероятности, размолвка (временная) касалась политики, в частности, отношения к большевизму. Ходасевич принадлежал к той части интеллигенции, чей радикализм к осени не ослабел, не рассеялся, а лишь возрос. Думается, что осенью 1917-го он скорее нашел бы общий язык с Блоком, чем с редакцией «Народоправства». Если до революции он втайне презирал либералов, в чьих изданиях сотрудничал, то теперь это презрение вырвалось наружу. Буржуазно-демократические идеалы были неприемлемы для поэта. Будущее страны рисовалось ему если не в большевистских, то в левозсеровских тонах.

Наиболее четко это высказано в его письме Садовскому от 15 декабря 1917 года:

«Верю и *знаю*, что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и того Сидора, который является обладателем легендарной козы. Будет у нас честная *трудовая* страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовской споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на *земле*, — а Рябушинские в кафельном нужнике. Не беда, ежели Садовскому-сыну, праправнуку Лихутина, придется самому потаскать навоз. Только бы не был он европейским аршинником, культурным хамом, военно-промышленным вором. К черту буржуев, говорю я. Очень хорошо,

¹ Ходасевич В Безглавый Пушкин // СС-4 Т 1 С 479

если к идолу Садовского будут ходить пешком, усталыми ногами. Не беда, ежели и ползут у подножия сего истукана семечки. Но не хочу, чтобы вокруг него был разбит “сквер” с фешенебельным бардаком под названием “Паризьен” (вход только во фраках, презервативы бесплатно)»¹.

Это можно было бы счесть кратковременным и случайным настроением, если бы два года спустя, уже хорошо познакомившись с отрицательными сторонами большевистского правления, Ходасевич не повторил этих слов — почти в точности — в письме тому же Садовскому:

«Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. Я понимаю рабочего, я по какому-то, может быть, пойму дворянина, бездельника милостию Божиею, но рябушинскую сволочь, бездельника милостию собственного хамства, понять не смогу никогда. Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милоковых, Гучковых и прочую “демократическую” погань. Дайте им волю — они “учредят” республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршинников!.. Я понял бы Вас, если б Вы мечтали о реставрации. Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совдепии»².

На первый взгляд это кажется проявлением вульгарного ницшеанства и чуть ли не того «властепоклонничества», в котором Ходасевич упрекал Брюсова. Как иначе можно объяснить предпочтение «крепостного права» и «Советов», взятых вкупе — «демократической погани»? Но у Ходасевича были свои, индивидуальные мотивы для такого образа мыслей, связанные с его эстетической позицией.

Эти мотивы высказаны им в статье «О завтрашней поэзии», написанной уже после октябрьского переворота и напечатанной в эсеровской газете «Понедельник Власти народа» (2 февраля 1918 года). Краткая картина современной поэзии, которую дает Ходасевич, обычна для него: чрезвычайное преувеличение значения символистов и такая же радикальная недооценка собственного поколения, которому он приписывает «хилость мысли и чувства», прикрытую мастерством формы:

¹ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 359—360.

² Там же. С. 362.

«Не хлебом насущным — пирожным стала молодая русская поэзия. Она приторна — и не питательна. Она румяна, ибо нарумянена. Она недолговечна.

Но когда в муке заводится моль, бескровное существо с бесильными крылышками, — мудрый хозяин пересыпает и ворошит весь мешок, до самого дна. Наш хозяин и делает это рукой революции. Вся Россия ныне перетряхается, пересыпается в новый мешок. Гигантская созидательная работа становится задачей завтрашнего дня. Эпохе критической предстоит смениться эпохой творческой.

В этой деятельной и бодрящей атмосфере русская поэзия от ее нынешних маленьких тем, от душного интимизма неизбежно должна обратиться к вечным, основным проблемам человеческого духа, должна снова стать необходимой для каждого, кто действительно ищет и мыслит; ее аудиторией снова станут все живые, а не “немногие утонченные”. Она станет *народной* в истинном смысле слова. Она будет меньше говорить, но нужнее; печь хлеба, а не пирожное»¹.

Соблазн «больших тем» и «народности» вечен; в 1918 году трудно было предположить, как в недалеком будущем повлияет он на пути искусства. В тот момент Ходасевича могли привлекать аналогии из времен Великой французской революции (переход от вертявого рококо к мощным композициям Жака Луи Давида). Мог он, знаток пушкинской эпохи, держать в уме и статью Вильгельма Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1823) — перекличка с ней кажется очевидной:

«Ода, увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, воспаряя к престолу Неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, поработает слух и душу читателя. <...>

В элегии — новейшей и древней — стихотворец говорит об самом себе, об *своих* скорбях и наслаждениях. <...> Она только тогда занимательна, когда, подобно нищему, ей удается (сколь жалкое предназначение!) вымолить, выплакать участие или когда свежестью, игривою пестротой цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его»².

Разумеется, Ходасевич понимал задачи поэзии шире, чем строгий Кюхельбекер: неслучайно в том же 1917 году им написана статья про «Гавриилиаду» — отзыв на ее первую полную публикацию в России (для чего потребовалась революция). Ходасевич видит в богохульной пушкинской поэме аналогию

¹ Ходасевич В. О завтрашней поэзии // СС-4. Т. 1. С. 482.

² См.: Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 446.

итальянской живописи эпохи Возрождения: «Кишиневские “рогачи” и повесы так же служили моделями Пушкину, как венецианские куртизанки — Веронезу»¹. В «Гавриилиаде» он видел «нежное сияние любви к миру, к земле», чуждое современным «утонченникам». Жизнелюбие «барина» Державина и «поклонника Вакха и Киприды» Пушкина для Ходасевича занимает законное место в народном, монументальном, всечеловеческом искусстве будущего, рядом с «вечными проблемами человеческого духа».

При «диктатуре бельэтажа» такое искусство, по мысли поэта, невозможно. Поиск того общественного устройства, при котором утопия осуществима, должен стать общим делом «всех живых» — правых и левых. Иначе и революция ни к чему. А большевики, по крайней мере, предлагают нечто принципиально новое, дающее хоть какую-то надежду.

Но даже если и революция сама по себе не откроет этого пути, она дарует ищущему бесценный по трагическому напряжению опыт — экзистенциальный опыт, как сказали бы полвека спустя:

...К чему таиться? Сердце человечье
Играет, как проснувшийся младенец,
Когда война, иль мор, или мятеж
Вдруг налетят и землю сотрясают;
Тут разверзаются, как небо, времена —
И человек душой неутолимой
Бросается в желанную пучину.

(«Дом»)

В сущности, это опыт смерти и нового рождения. Именно об этом идет речь в центральном стихотворении новой книги Ходасевича, написанном в декабре 1917 года:

...Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

(«Путем зерна»)

¹ Ходасевич В. Гавриилиада // Ходасевич В. Колеблемый треножник. С. 170. Для друга Ходасевича М. Гершензона этот кишиневский опыт Пушкина был физически осязаем: родившийся в столице Бессарабии в 1869 году, Гершензон слышал от своих земляков воспоминания о Пушкине. Его дед не раз видел поэта, прогуливавшегося в городском саду.

Об этом же опыте идет речь и во «2-м ноября». На поверхности — кровь, несчастья, утро, пропахшее горькой желчью, поэт, посещающий своих друзей (как следует из позднего авторского примечания — Гершензонов), чтобы убедиться, что они живы и здоровы. И вдруг случайные эпизоды — красный гроб в мастерской столяра, задумавшийся мальчик во дворе — рождают такое глубинное ощущение *истинного* бытия, что даже пушкинская гармония не выдерживает конкуренции с ним:

...впервые в жизни,
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды.

2

В последние предоктябрьские и первые послеоктябрьские месяцы Ходасевич был вплотную занят проектом, лишь косвенно связанным с драматичными событиями современности. Он занимался переводами еврейской поэзии.

Как известно, существует несколько еврейских языков. На одних говорит или говорило много народа, на других меньше, на одних существовала значительная литература, на других нет. Базовый еврейский язык, иврит, в основе своей — язык книг Ветхого Завета, который в эллинистическую и римскую эпохи и особенно в столетия рассеяния исчез из каждодневной разговорной практики, оставшись языком богослужения и высокой книжности. Роль его была примерно такой же, как у латыни в средневековой Европе, с той существенной разницей, что ивриту учили *всех* еврейских мальчиков, хотя и с неравным успехом. В то же время в диаспоре сформировались «бытовые», если можно так выразиться, еврейские языки на основе наречий окружающих народов. Самый известный и распространенный из них — идиш, выросший из верхнегерманских диалектов и испытавший сильное влияние иврита и, с другой стороны, славянских языков. До начала XX века он официально именовался «еврейским жаргоном», потом некоторое время — «разговорно-еврейским языком».

Еврейская литература Нового времени, сложившаяся в основном в XIX веке и к рубежу столетий вступившая в пору расцвета, развивалась как на иврите, так и на идише. При этом первый вплоть до 1920-х годов был языком в первую очередь высокой поэзии, второй — демократичной прозы и драматургии. Крупнейшие мастера, такие как Бялик или Шолом-Алейхем, писали, как правило, на обоих языках, но один из них для каждого писателя был «главным». Выбор языка был связан не

только с особенностями дарования или с жанровой принадлежностью, но отчасти и с идеологией. В начале XX века между собой боролись несколько проектов модернизации еврейского народа и обретения им полноправия. Сионисты были сторонниками возрождения иврита как живого языка (и к 1910-м годам в Палестине уже во многом преуспели в этом) и — не всегда, но довольно часто — неприятелями «жаргона», в котором видели язык *галута*, изгнания; леваки из Бунда и партии «Поалей Цион» отстаивали права идиша и ненавидели «клерикальный» иврит (последующая языковая политика советской власти в этой области — во многом плод их усилий); сторонники национально-культурной автономии занимали позицию компромиссную.

Очевидно, что в обстановке интереса к «иностранческим» литературам не мог не возникнуть интерес и к литературе еврейской — особенно с учетом той важной роли, которую «еврейский вопрос» играл в сознании российской интеллигенции. Некоторые еврейские авторы успели уже войти в культурное сознание русского интеллигента: в театрах по всей России с успехом шли пьесы Шолома Аша, писавшего на идише; большой резонанс (пять переизданий!) имела книга крупнейшего еврейского национального поэта Хаима Нахмана Бялика «Песни и поэмы» (1911) в переводах Владимира (Зеева) Жаботинского, не только выдающегося еврейского общественного деятеля и публициста, но и талантливой писателя, в основном русскоязычного.

Одним из инициаторов перевода современной еврейской (то есть ивритской) поэзии на русский язык стал Лев Борисович Яффе, активный деятель сионистского движения, сам не чуждый поэзии. Он был и одним из основателей русскоязычного еврейского издательства «Софрут». 25-летний юбилей литературной деятельности Бялика был отмечен специальным номером газеты «Еврейская жизнь» (22 апреля 1916 года), где в качестве переводчиков еврейского живого классика впервые выступили крупные русские поэты — Сологуб, Вячеслав Иванов, Брюсов. В том же году и Ходасевич был привлечен к переводу стихов для софрутовского альманаха. Подстрочник какой-то «еврейской поэмы» Ходасевич брал с собой в Коктебель, но по-настоящему взялся за работу лишь осенью: это мог быть или «Завет Авраама» Саула Черниховского, напечатанный в первом номере альманаха «Софрут» за 1917 год, или «Так будет в последние дни» Шнеура Залмана (текст этого перевода до нас не дошел).

В сентябре 1917-го Яффе начинает вплотную заниматься составлением «Еврейской антологии» — сборника современной поэзии на иврите. В качестве редактора он, по рекомендации

Гершензона, приглашает Ходасевича. Интенсивная работа продолжалась в течение двух месяцев до октябрьского переворота и шести месяцев после него.

Чаще всего Ходасевич встречался с Яффе у себя дома. К этому времени адрес его сменился: семья переехала в полуподвал на Плющихе, в 7-м Ростовском переулке (дом 11, квартира 24). Здесь Ходасевичи прожили все годы Гражданской войны.

Как вспоминал позднее Яффе, «Ходасевич садился против меня, сутулый, с худым и болезненным лицом. Лишь глаза лучились светом разума и душевного волнения. Мы читали подстрочники и решали, кому из поэтов давать стихотворение для перевода; читали также литературные переводы, которые уже были перед нами. Переговоры с русскими поэтами вел я»¹.

Подстрочники (к которым прилагалась фонетическая транскрипция) составляли Хаим Гринберг и сам Яффе. Впрочем, часть переводчиков в них не нуждалась: это были люди, связанные с сионистским движением и знавшие иврит. Поэтов, обладавших на тот момент именем, среди них не было, но были личности весьма примечательные: уже тридцатилетний, но еще малоизвестный Самуил Маршак, будущий крупный исследователь русской литературы XVIII века Павел Наумович Берков, наконец, Елизавета Жиркова (по мужу Быховская), женщина удивительной биографии: уроженка Рязани, русская по отцу и ирландка по матери, она по какому-то душевному влечению стала изучать иврит, позднее вышла замуж за активного сиониста, перешла в иудаизм, уехала в Палестину и стала известной еврейской поэтессой под именем Элишева (собственно, еврейская транскрипция имени Елизавета)². Но большую часть переводчиков составили известные русские поэты, уже участвовавшие в переводах для других «инородческих» антологий: Вячеслав Иванов, Сологуб, Балтрушайтис, Брюсов, Верховский; из молодых к ним присоединился Липскеров. В антологию вошли тринадцать переводов самого Ходасевича, в том числе два под псевдонимом Ф. Маслов. (Все эти переводы вместе с рядом других были включены в авторский сборник Ходасевича «Из еврейских поэтов», увидевший свет в 1922 году в Берлине и год спустя переизданный.) Одно стихотворение перевела Софья Бекетова, то есть Анна Ивановна Ходасевич.

Весной 1918 года, еще до выхода антологии, Ходасевич и другие переводчики (Иванов, Балтрушайтис) читали свои переводы на нескольких публичных вечерах, посвященных ев-

¹ Яффе Л. Владислав Ходасевич (из моих воспоминаний) // Ходасевич В. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998. С. 17.

² До этого она выпустила две книги на русском языке под псевдонимом Э. Лишева.

рейской культуре. В этих вечерах также участвовали театр «Габима», выдающийся писатель и фольклорист С. Ан-ский. Но когда в июле, уже в атмосфере разворачивающейся гражданской войны и террора, антология увидела свет, отметить должным образом ее выход, конечно, не удалось. Все же незамеченной она не прошла: вскоре потребовалось второе издание.

Инициаторы издания были убежденными сионистами, и их политическая ориентация повлияла и на концепцию антологии, и на состав текстов. Сам Ходасевич вчуже вполне сочувствовал этому течению. В 1925 году, в статье «Господин Родов» он писал: «Люблю сионистов: это одни из самых безудержных мечтателей, которых я знаю. Тогда¹ окрыленные надеждой и еще не изведавшие готовящихся разочарований, они были особенно милы»². Однако Гершензон, принимавший в работе над антологией самое непосредственное участие, был убежденным противником сионизма. Свое мнение на сей счет он без обиняков высказал в статье «Судьбы еврейского народа»: «Сионизм есть отречение от избранничества и в этом смысле — измена историческому еврейству»³. Это не значило в его случае отрицательного отношения к возрождению иврита и даже к еврейской колонизации Палестины. Но Гершензон был убежден: «еврейское царство не от мира сего»⁴, и государственный национализм, скопированный с европейских образцов, ничего хорошего народу Израиля не принесет. Тем не менее в деле ознакомления русского читателя с современной еврейской поэзией Михаил Осипович, пользовавшийся авторитетом в русской литературной среде и живо интересовавшийся еврейскими делами, был фигурой незаменимой. Написанное им предисловие вполне устраивало составителей: речь шла о преодолении вековой «старческой немощи» еврейства, об открывающемся будущем, конкретные же его формы никак не намечались. И все-таки некоторое несоответствие бросается в глаза. Гершензон хвалит новейших еврейских поэтов за то, что они, в отличие от своих предшественников, не прикованы мыслями к «еврейской беде», что им открыт весь мир: любовь, природа, размышления «о жизни, о человеке, о Боге». Разумеется, у Льва Яффе, посвятившего жизнь борьбе за создание национального государства, были другие приоритеты.

¹ То есть в 1917 году, после принятия британским правительством так называемой «Декларации Бальфура», гарантировавшей создание в Палестине «еврейского национального очага», и одновременно — после обретения евреями России равноправия.

² Дни. 1925. 22 февраля.

³ Гершензон М. О. Очерки прошлого: Избранное. Кишинев, 2003. С. 317.

⁴ Там же. С. 334.

Во втором, редакционном предисловии к антологии подчеркивалось, что в подавляющем большинстве случаев переводчики сохранили форму оригинала. Сам Ходасевич в предисловии к сборнику «Из еврейских поэтов» редкие, по его словам, отступления объясняет «соображениями, так сказать, русской художественности». Специалисты, анализировавшие переводы многие десятилетия спустя, пришли к несколько иным выводам. Русские переводчики, в том числе и Ходасевич, временами довольно свободно обращались с формой еврейских стихов. Впрочем, и проблемы, стоявшие перед ними, были достаточно трудны. Любой путь, который выбирает переводчик, в такой ситуации небезупречен. Вот один пример. Стихотворение Хаима Нахмана Бялика «То новая кара Господня...». Владимир Жаботинский так переводит его начало:

То новая кара Господня: пред собственным сердцем вы лживы,
Пред самими собою вы трусы.
Свои слезы вы льете в грязь, и на каждый луч фальшивый
Как дешевые ниже бусы.
Служите камням чужбины с упоением, с жалкой любовью,
В раболепно-усердном поте.
Пожирающим ваше тело, в муках, истекая кровью,
Вы в придачу душу даете¹.

А вот те же строки в переводе Вячеслава Иванова (из «Еврейской антологии»):

И горшую кару пошлет Элоим:
Вы лгать изошритесь — пред сердцем своим,

Ронять свои слезы в чужие озёра,
Низать их на нити любого убора.

В кумир иноверца и мрамор чужой
Вдохнете свой пламень с душою живой.

Что плоть вашу ели, — еще ль не довольно?
Вы дух отдадите во снедь добровольно!

Человек смелый не только в политике, но и в литературе, Жаботинский идет на риск, пытаясь создать русскую аналогию бяликовского «библейского стиха» или используя необычные, «неловко» звучащие по-русски обороты. Иванов берет традиционный размер (амфибрахий), а библейскую высоту речи Бялика имитирует привычными для себя языковыми средствами. Его перевод отмечен большим мастерством, но оригинальность и публицистическая острота инвективы, обращенной к ассимилянтам, отчасти теряются.

¹ Бялик Х. Н. Песни и поэмы. СПб., 1995. С. 88.

Ходасевич идет по тому же, что и Иванов, пути — и, видимо, для поэта, переводящего с подстрочника, иного выхода нет¹. Но порою и сама его индивидуальность вступает в противоречие с переводимым текстом. Особенно интересен пример со стихотворением Авраама Бен-Ицхака «Элул в аллее». Новаторское произведение дерзкого модерниста (написанное верлибром в 1902 году — кажется, впервые в еврейской поэзии) превращается у Ходасевича в «бальмонтковский» благозвучный опус:

Свет воздушный,
Свет прозрачный
Пал к моим стопам.

Тени мягко,
Тени томно
Льнут к сырым тропам...

Возможно, это стихотворение лучше перевели бы Андрей Белый или Марина Цветаева, но почему-то они в проекте не участвовали, хотя Белый и встречался с Яффе в доме у Гершензона.

Ходасевич, как редактор, оказался в довольно затруднительном положении: все хотели переводить знаменитого Бялика, и он решил сам отказаться от этой чести. «Для себя» он позднее перевел стихотворение Бялика «Предводителю хора» (это одно из немногих стихотворений, написанных поэтом после 1911 года, и Жаботинский за него не брался). У Ходасевича получился настоящий шедевр:

...Ни мяса, ни рыбы, ни булки, ни хлеба.
Но что нам за дело? Мы пляшем сегодня.

Есть Бог всемогущий, и синее небо —
Сильней топочите во имя Господне!

Весь гнев свой, сердец негасимое пламя,
В неистовой пляске излейте, страдая,

И пляска взовьется, взрокочет громами,
Грозя всей земле, небеса раздражая...

А все же и здесь Владислав Фелицианович нарушает каноны поэтического перевода, которые в ту эпоху уже складывались, а позднее стали незыблемыми. Парную рифмовку он за-

¹ Примечательно, что некролог Бялику Ходасевич завершит в 1934 году его стихотворением в переводе Жаботинского — переводе, который он назовет «замечательно талантливым».

меняет перекрестной, а одну строфу, избобилующую сложными для переводчика каббалистическими аллюзиями, просто опускает¹.

Лично с Бяликом Ходасевич не встречался. В один из приездов еврейского классика в Москву из Одессы, где он жил, Бялик нанес визит Гершензону. Михаил Осипович по телефону приглашал Ходасевича, надеясь познакомить поэтов, но того не было дома. Позднее Ходасевич написал о Бялике два коротеньких эссе (заметка к пятидесятилетию и некролог), в которых высказывает глубокие суждения о его творчестве:

«Совершенно особенное, как ни у одного из известных мне поэтов, восприятие времени — вот, на мой взгляд, самая своеобразная черта в Бялике-поэте. Восприятие необыкновенно чувственное, конкретное и в то же время как бы ежесекундно преодолеваемое. Прошедшее и будущее у Бялика обращены друг на друга, подобно двум зеркалам»².

Ходасевич перевел два стихотворения Давида Фришмана, поэта старшего поколения, писавшего в основном для детей, в том числе одно очень яркое и значительное — «Для Мессии»; отрывки из поэмы Шнеура Залмана «Под звуки мандолины» — эффектного риторического произведения, в котором вечный спор Израиля с «народами мира» трактуется в мильтоновских традициях; по несколько стихотворений Якова Фихмана, Ицхака Кацнельсона. Но основным его собеседником в еврейской поэзии стал — на годы! — Саул Гутманович (Шауль) Черниковский.

Черниковский родился не в местечке, а в деревне, в Таврической губернии, где евреи с середины XIX века занимались не только торговлей и ремеслами, но и земледелием. Его поэзия проникнута такой любовью к природе и таким ее знанием, как ни у кого из еврейских поэтов его эпохи, по крайней мере из числа писавших на иврите. Между прочим, ивритская номенклатура для флоры и фауны была разработана именно Черниковским, врачом по образованию. В «иудейских древностях» его привлекали прежде всего воспоминания о семитских языческих культах, вытесненных библейским монотеизмом (среди переведенных Ходасевичем его стихотворений есть и «языческие» — «Песнь Астарте и Белу» и «Смерть Тамуза»). Неудивительно осторожное, мягко говоря, отношение к его поэзии даже в умеренно-консервативных еврейских кругах. Ко всему прочему, Черниковский был женат на христианке.

¹ См. статьи З. Копельман в: *Ходасевич В.* Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998.

² *Ходасевич В.* Бялик // *Возрождение.* 1934. 14 июня.

Если Бялик пытался возродить библейский стих, то Черниковский обратился к античному гекзаметру, чтобы создать идиллии из жизни украинских евреев — сельских торговцев и земледельцев-колонистов. Идилличность созданного им мира, конечно, относительна: никуда не исчезают ни суровые законы о «черте оседлости», ни политические тревобления (старуха показывает письмо от дочери, угодившей в Петропавловку), ни болезни и смерть (отец оплакивает младшего сына, странного мальчика, родившегося с «золотой душой», поэтически впечатлительного, но обделенного разумом). Пожалуй, лишь отношения евреев с их гойскими соседями действительно описаны с сильным налетом сентиментальной идеализации: в мире Черниковского погромы даже представить себе невозможно. Но прежде всего с «феокритовской» традицией европейской поэзии, и вообще с античными стилизациями Нового времени, от Донелайтиса до Дельвига, Черниковского сближает торжественно-возвышенное, хотя и смягченное порою мягкой иронией восприятие обыденного мира.

Сам Ходасевич так характеризует эту черту переводившегося им поэта: «Он не только пользуется гекзаметром, но и нарочно подчеркивает “гомерический” дух своих идиллий. Обстоятельность описаний вообще, одежд, пиров и обедов в особенности; плавность рассказа, любовь к подробностям; невозмутимо серьезное лицо повествователя там, где важность его тона комически оттеняет захолустное убожество событий; постоянные рефрены (особенно в “Свадьбе Эльки”) — все это упорно должно наводить читателя на сопоставление малого с великим, героев Черниковского с героями Гомера. Смысл этих идиллий не только описательный, но и философский. Постоянно наталкивая читателя на воспоминания о Гомере, Черниковский как бы хочет подчеркнуть, что меняются только внешние облики, а сущность жизни человека всегда одна»¹.

Во времена Ходасевича в русской поэзии в сходном направлении работали в основном поэты второго разряда, такие как Садовской (в некоторых произведениях) и особенно Павел Радимов, чьи «крестьянские» гекзаметрические стихи местами перекликаются с Черниковским. Сам Ходасевич также в 1917 году, под прямым влиянием Черниковского, начал писать гекзаметром повесть из старинной помещной жизни — «На Пасху»:

Пасха не рано была в тот год. В серебро-розовой дымке
Веяла томно весна по лесам, по полям и болотам.
Только в ложбинах лежали пласты почернелого снега.

¹ Ходасевич В. О Черниковском // Ходасевич В. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998. С. 51; впервые: Еврейская трибуна. 1924. № 13.

Там, где просохло, рыжела трава прошлогодняя.
Брось-ка Искру в иссохшую траву: и взору, и сердцу отрада!
Мигом огонь полыхнет, побежит, зазмеится, завьется;
Синий, прозрачный дымок от земли подымется к небу..

Но дальше сороковой строки дело не пошло. Лично с Черниховским Ходасевич встретился лишь в 1922 году, в Берлине:

«Коренастый, крепкий мужчина, грудь колесом, здоровый румянец, оглушительный голос, стремительные движения. Не снимая пальто, усаживается на подоконник, говорит быстро, хлопая себя по коленке и подкручивая лихие казацкие усы. У него военная выправка и хороший русский язык с легким мало-российским акцентом. Ничего поэтического и еще меньше — еврейского. Скорее всего — степняк-помещик из отставных военных. Такие люди хорошо говорят об крошке».

Милый Черниховский! В крошке он ничего не смыслит. Он говорит исключительно о Гомере, об ассирийском эпосе, о книге Бытия и с жаром разоблачает литературные плагиаты, сделанные не менее трех тысяч лет тому назад¹.

Ходасевич перевел семь произведений Черниховского, в том числе четыре большие идиллии — «Завет Авраама» (1916), «В знойный день» (в 1917-м, для «Еврейской антологии»), «Вареники» (были выполнены параллельно с работой над антологией, но напечатаны не там, а в третьем выпуске альманаха «Софрут») и «Свадьба Эльки», работа над которой шла в сотрудничестве с автором в 1923—1924 годах. Она была опубликована в журнале «Беседа», который издавался Горьким «при ближайшем участии Ходасевича». В ходе этой работы поэты подружились; позднее они встречались в Париже. Черниховский в это же время перевел на иврит стихотворение Ходасевича «Путем зерна», и это был первый перевод его стихов на какой бы то ни было иностранный язык.

То место, которое заняли переводы с иврита в творчестве Ходасевича в первые послереволюционные годы, примечательно. Объяснений тому можно дать много. Свою роль, несомненно, сыграло и то, что в этом проекте, в отличие от армянских переводов, Владислав Фелицианович играл центральную роль, что он не просто выполнял заказ, а непосредственно общался с энтузиастически настроенными носителями языка. Некоторое значение имели и семейные корни: тот парадоксальный факт, что «Еврейскую антологию» редактирует внук составителя «Книги Кагала», не мог не волновать Ходасевича; быть может, он стремился если не «искупить вину» своего деда (едва ли

¹ Там же.

он мыслил такими категориями), то противопоставить свой выбор его выбору.

И все же на первом месте, думается, была именно та тоска по монументальному и «народному» искусству, которая в это же время заставляла Ходасевича с надеждой встречать революционную бурю. В Бялике, Черниховском, Шнеуре Залмане он, возможно, увидел то, что ему не хватало в стихах его русских сверстников: непосредственное обращение к первоначальным основам бытия, вечному, космическому и в то же время насущно-человечному — и, что было для него в тот момент не менее важно, живую связь с исторической судьбой народа, его выбором и его надеждами.

Не менее интересно и то, что любимцем Ходасевича стал самый земной, мажорный, душевно ясный из этих поэтов. В Черниховском его привлекало то же, что в Державине: оба они, в жизни и в искусстве, были полной противоположностью самого Ходасевича.

3

Хотя работа над «Еврейской антологией» оплачивалась, это не могло полностью обеспечить Ходасевича, лишившегося привычных источников заработка («Летучей мыши» и «Пользы») и к тому же сильно издержавшегося за два лета, проведенных в Коктебеле. Его положение вызывало тревогу и сочувствие друзей. Свидетельство тому — письмо Гершензона Андрею Белому от 21 декабря 1917 года: «Владислав Фелиц<ианович> Ходасевич находится в стесненном положении: необходимо ему помочь. Мы с А. Н. Толстым придумали литературный вечер, и одна богатая дама предоставила для этого залу в своем доме возле Арбата. Можно собрать тысячу рублей. Помогите, не откажитесь участвовать. <...> Будут участвовать еще: Вяч. Иванов, Бальмонт, А. Н. Толстой»¹.

Трудно сказать, сколько удалось в тот раз собрать средств, но в любом случае быть объектом благотворительности товарищей поэту больше не хотелось. Тем более что наступали времена суровые, дни, когда всем некогда благополучным литераторам приходилось вести жесткую борьбу за существование. Представления о необходимом постепенно свелись к куску хлеба, пайковой пшенке и вобле — и к помещению, где температура хоть немного выше, чем на улице. И все это требовало не-

¹ Цит. по: Переписка В. Ф. Ходасевича и М. О. Гершензона // De Visu. 1993. № 5/6. С. 12.

малых усилий. Зимой 1917/18 года еще благополучный Гершензон пытается «по-старорежимному» организовать литературный вечер в пользу бедствующего друга, а уже следующей зимой сам он, вместе с женой, будет целыми днями голодать (втайне от детей — чтобы те поели) и практиковаться в «полезных изобретениях»: «Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком и таким образом заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик, изнутри обитый газетной бумагой и плотно закупоривающийся: ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе, без дров. Можно и суп»¹. В начале 1918 года масштабы грядущих бедствий были еще не вполне предствавимы, но ясно было: рассчитывать стоит только на себя.

В этой обстановке Ходасевич решает на шаг, о котором не задумывался в предыдущие периоды безденежья: ни в 1912—1913 годах, ни в начале 1916-го. Он поступает на службу, причем первоначально на службу весьма от литературы далекую — секретарем третейских судов при комиссариате труда Московской области, призванных разбирать тяжбы между работниками и работодателями. Этим местом он был обязан Михаилу Фелициановичу, который, по очереди с другим юристом, занимал в суде должность суперарбитра (от его голоса и зависело разрешение дела, так как два других члена суда назначались соответственно рабочими и предпринимателем и, естественно, брали их сторону). Суперарбитрам рекомендовано было по возможности решать дела в пользу предпринимателей («военный коммунизм» еще не начался, и руководство страны пока еще сохраняло остатки хозяйственного здравого смысла) — но это держалось в глубочайшей тайне, в том числе от самих предпринимателей, считавших большевистский суд изначально враждебным своим интересам.

Комиссариат располагался в огромном нетопленном доме в Хрустальном переулке. В делопроизводстве, естественно, царил дикий беспорядок, свойственный любой революционной эпохе. Служба самого поэта, красочно описанная им в очерке «Законодатель» (1926—1936), заключалась в следующем:

«Приходят ко мне представители сторон (само собой разумеется — всегда с опозданием: ждут друг друга часами). Я проверяю доверенности и мандаты. <...> И вот начинается выяснение и формулировка вопросов, подлежащих решению. Поверенный

¹ Ходасевич В. Гершензон // СС-4. Т. 4. С. 99.

предпринимателя — почти всегда адвокат. С ним легко. Но рабочие присылают наиболее “сознательных” товарищей. Эти, прежде всего, никак не хотят понять, что составление записи — еще не суд, а я не судья. Они спорят по существу, остановить их немислимо. На то, что я не хочу их выслушивать, они негодуют. Когда раз двадцать, на все лады, объяснишь им, в чем дело, — начинается бесконечный спор о формулировке вопросов. “Сознательные” не понимают простейших редакций, которые предлагаю им я. Зато они требуют, чтобы вопросы ставились в их редакции, которую, кроме них, понять не сможет никто на свете. Наконец, иногда — после нескольких “сеансов”, после того, как рабочие по несколько раз возвращаются к себе на завод за инструкциями своих доверителей, — запись, наконец, составлена и подписана. Представители “капитала” отдуваются и вытирают потные лбы. С облегчением вздыхаю и я, хотя предчувствую, что сейчас произойдет еще одно осложнение. И оно почти всякий раз происходит. После торжественной паузы, переглянувшись с товарищами, кто-нибудь из рабочих выступает вперед и заявляет мне веско, медленно:

— Я, товарищ, должен теперь же вперед сказать, по уполномочию товарищей, что если решение суда будет не по-нашему, то мы ему не подчинимся!¹

С этой службой связано происшествие, которое и легло в основу «Законодателя». Во главе комиссариата стоял Виктор Ногин, который после ноябрьской победы несколько дней был наркомом промышленности и торговли, вышел из правительства и ЦК из-за несогласия с политикой в отношении эсеров, потом передумал — но свободных мест в Совнарком больше не было. Пришлось довольствоваться второстепенными должностями вроде московского комиссара труда. Развернуться здесь было негде, и голова недавнего вождя московских большевиков кипела идеями.

В один прекрасный день Ногин вызвал к себе Ходасевича и — цитируем — «предложил мне покинуть третейские суды и заняться не более и не менее как кодификацией декретов и постановлений, изданных по комиссариату труда, за все время с начала советской власти. Другими словами — составить кодекс законов о труде для первой в мире республики трудящихся»².

Таким образом, поэту, пару лет проучившемуся на юридическом факультете, предложили выступить в роли, как сам он впоследствии острил, «Солона и Ликурга». Впрочем, Ходасевичу могло прийти в голову еще одно имя: Гаврила Романович

¹ Ходасевич В. Законодатель (Из советских воспоминаний) // СС-4. Т. 4. С. 215—216.

² Там же. С. 220—221.

Державин был ведь в Российской империи министром юстиции (и при этом тоже особо не был обременен юридическими познаниями). Теперь и перед Владиславом Ходасевичем открывалась возможность «прямого участия в созидании государства», но почему-то это его не радовало. Нехотя он согласился приняться за подготовительную работу для кодекса, то есть собрать вместе ранее изданные указы и декреты. А столкнувшись с тем, что постановления эти мало что противоречат друг другу — зачастую представляют «какие-то отрывки с потерянными началами, серединами или концами», без даты и указания, кем они изданы, решил и вовсе подать в отставку. Ногин отставки не принял. Тогда Ходасевич просто перестал ходить в комиссариат. Этого никто не заметил.

Следующая служба Ходасевича (летом и осенью 1918-го) — в театральном отделе Моссовета, а потом — Наркомпроса, так называемом ТЕО. Почему-то там нашли службу многие писатели. Вячеслав Иванов заведовал историко-театральным отделом, Юргис Балтрушайтис — репертуарным; Ходасевич был у него в подчинении. В том же отделе служил индийский поэт и впоследствии пакистанский дипломат Хасан Сухраварди, на беду свою застрявший в революционной России. Ходасевич с большой теплотой вспоминает об этом человеке, ставшем всеобщим любимцем литературной и театральной Москвы. В других отделах нашли пристанище Брюсов (еще не сделавший советской карьеры), Пастернак, Чулков. Служба была такой:

«Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались протащить классический репертуар: Мольера, Шекспира, Гоголя, Островского. Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то “делегаты с мест” и, к стыду Каменевой, заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей: “Теща в дом — всё вверх дном”, “Денщик подвел” и тому подобное. Нас заваливали рукописями новых пьес, которые мы должны были отбирать для печатания — в остановившихся типографиях, на несуществующей бумаге. В зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках, матросских фуфайках, в смазных сапогах, в штиблетах, в калошах на босу ногу и совсем босиком шли к нам драматурги толпами. Просили, требовали, грозили, ссылались на пролетарское происхождение и на участие в забастовках 1905 года. Бывали рукописи с рекомендацией Ленина, Луначарского и... Вербицкой. В одной трагедии было двадцать восемь действий. Ни одна никуда не годилась»¹.

¹ Ходасевич В. Белый коридор // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т Нью-Йорк, 1980. Т. 1. С. 77.

Заведовала учреждением Ольга Давыдовна Каменева, супруга председателя Моссовета Льва Каменева и сестра Троцкого, дама эстетствующая, с художественными запросами и с дипломом зубного врача (как и Нина Петровская, впрочем). Однажды Каменева предложила продолжить затянувшееся заседание у себя на дому, в Кремле. Поэт обратил внимание на обилие дорогих «буржуазных» книг в шкафах и был неприятно удивлен скудостью угощения (черный хлеб, чай, грязные куски сахара в сахарнице): «...хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы»¹. В те же месяцы Ходасевич еще раз побывал в правительственной резиденции — на приеме у Анатолия Луначарского, организованном для писателей Рюриком Ивневым, бывшим эгофутуристом и будущим имажинистом, а в те дни секретарем Наркомпроса.

Позднейшие воспоминания поэта об этих днях беспощадны:

«Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в ТЕО, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленые квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в ТЕО и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись»².

В чьем-то случае, несомненно, так и было. Но в случае Ходасевича все явно сложнее. В воспоминаниях он деформирует (скорее всего, бессознательно) свои ощущения первых советских лет. Приведенные выше цитаты явно свидетельствуют: в первые советские годы он не видел в большевиках врагов, более того, был «в конце концов привержен Совдепии». Да и Ольга Каменева понимала в искусстве, конечно, не больше, но, думается, и не намного меньше, чем иная издательница или филантропка былых времен. Другое дело, что в былые времена существовал выбор, и, презирая Рябушинских, можно было обходиться без их милостей. Сейчас времена изменились. Группа выходцев из низов интеллигенции получила диктаторскую власть, и представителям верхов интеллигенции пришлось к ней приспособливаться. Голод и Гражданская война с ее жестокостями ужесточали ситуацию.

Вскоре Ходасевич нашел службу, казалось, более соответствующую его опыту и профессиональным навыкам — в издательстве «Всемирная литература», основанном Максимом Горьким. Об этом проекте, который, с одной стороны, как-то

¹ Ходасевич В. Белый коридор // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1980. Т. 1. С. 77.

² Там же.

обеспечивал существование старой гуманитарной интеллигенции, с другой — соответствовал любимым идеям позитивиста Горького о всеобщем организованном и полупринудительном окультуривании масс, написано много. Формально «Всемирная литература» была частным предприятием (пайщики — сам Горький и издательские работники Александр Тихонов, Зиновий Гржебин и Иван Ладыжников), но контракт, заключенный с Наркомпросом, гарантировал выпуск подготовленных издательством книг за казенный счет. Грандиозность планов соответствовала духу эпохи. Предполагалось заново перевести чуть ли не всю европейскую классику XVIII—XIX веков. На практике за шесть лет из намеченных четырех тысяч (!) томов издали двести, что все равно немало, особенно с учетом «обстоятельств времени». Основная контора «Всемирной литературы» находилась в Петрограде, Ходасевичу же предложили заведовать ее московским отделением.

В связи с этим предложением в октябре 1918-го Ходасевич отправился в Петроград. Город показался ему «мертвым и страшным». Жил он на Большой Монетной, у племянницы Валентины Михайловны, которая переселилась в Северную столицу несколькими годами раньше, выйдя замуж. Дни Ходасевича проходили в обсуждении издательских планов, и не исключено, что это было для него в самом деле интересно. Перед ним наконец забрезжила возможность осмысленной профессиональной работы. Судя по всему, он продал «Всемирной литературе» и три тома собственных переводов, но в авансе ему, как находящемуся на пайке служащему издательства, было отказано.

На заседании коллегии «Всемирной литературы» Ходасевич впервые лично познакомился с Гумилёвым, который пригласил московского поэта к себе в гости — в квартиру на Ивановской улице, дом 26/65. В «Некрополе» этот визит описывается с жесткой иронией:

«Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблюю Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилёв счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. <...>

Посидев, сколько следовало для столь натянутого визита, я встал. Когда Гумилёв меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длинноты, как Гумилёв, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилёв тотчас отослал его — тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилёва и его сына»¹.

На самом деле в квартире жили еще четыре человека: мать Николая Степановича, его жена и брат с супругой. В ходе разговора Ходасевич с удивлением увидел знакомую ему по Лидино псевдоморскую псевдоматюшкинскую мебель: Гумилёвы жили в квартире уехавших из Петрограда Маковских.

Неприятие Ходасевичем «важности» Гумилёва (напускной, как убедился Владислав Фелицианович при дальнейшем общении, но отнюдь не шуточной) было частью непонимания другого, более глубокого. Ходасевич так никогда и не оценил Гумилёва по достоинству ни как человека, ни как поэта. Признавая гумилёвский литературный вкус, отдавая должное его преданности искусству, он находил, что Николай Степанович слишком уж «молод душой, а может быть и умом». Ходасевич не понимал ни гумилёвского возвышенного отношения к миссии поэта-мастера, ни его волнующей апокалиптики. Вождь акмеистов казался ему «литературным деятелем» вроде Брюсова, более человечным, обаятельным, смелым, но — по отношению к тому же Брюсову — вторичным.

Ходасевич и Гумилёв были людьми разными, в чем-то даже полярно противоположными. Оба росли хрупкими и хилыми, оба чувствовали себя уязвимыми, но для Гумилёва средством самоутверждения во враждебном мире стала ребяческая отвага, а для Ходасевича — старческая желчность. Потомок литовских шляхтичей, Ходасевич жил и вел себя как разночинец. Внук сельского дьячка, Гумилёв щеголял аристократизмом. Он постоянно стремился добиться благосклонности женщин, завоевать авторитет в мужских компаниях. Не всегда это удавалось, порой он становился объектом насмешек. Ходасевичу женские симпатии и мужское уважение давались не в пример легче, но он, человек разборчивый в общении и вполне самодостаточный, гораздо меньше в них нуждался. Гумилёв бывал наивен в общих суждениях о литературе, но безупречно точен, когда дело касалось конкретного автора или стихотворения. Ходасевич, напротив, был *в целом* глубже и точнее, чем в частностях.

¹ Ходасевич В. Гумилев и Блок // СС-4. Т. 4. С. 80—82.

Он был замечательным историком литературы, а Гумилёв во все не имел к тому склонности, хотя антологию поэзии XIX века, думается, составил бы лучше, чем это сделал Ходасевич. Гумилёв был вспыльчив и отходчив, быстро забывал обиды, в том числе литературные, Ходасевич — памятливы на добро и на зло.

И все-таки что-то в них совпадало. Прежде всего — своего рода «высокое сальерианство». Оба поэта не были «скороспелками», не были вдохновенными гуляками, из воздуха впитывающими божественную музыку. Их самораскрытие шло постепенно и давалось годами напряженной духовной и мысленной работы. И наконец, судьбе угодно было особенным образом связать их между собой.

Еще больше разнились Ходасевич и Горький, с которым он тоже впервые увиделся в 1918 году в Петрограде. Но некая странная связь между двумя писателями все же существовала. В 1908 году Нина Петровская, посещавшая Горького на Капри, видела у него на столе «Молодость»; бывший босяк читал *все* публиковавшееся. Чуть раньше она же в очередном истерическом письме к общему знакомому сравнивает «Владьку» с Бароном из «На дне». В 1916 году Корней Чуковский попросил Ходасевича рекомендовать художника для затейного им и Горьким детского журнала «Парус». Ходасевич предложил свою племянницу. Вскоре Валентина стала «своим человеком» в горьковском доме¹. И все же прозаик-натуралист и поэт-модернист жили в разных мирах. Нужна была революция, чтобы свести их.

Первую встречу Ходасевич описывает так: «Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской»².

Судя по тогдашним письмам жене, Горький показался Ходасевичу «милым, но суховатым»: «Человека он не замечает, и

¹ Чуковский просил Ходасевича назвать и поэтов, которые могли бы писать для детей. Ходасевич отвечал: «Никого, кроме Марины Цветаевой, не придумал. Позвонил ей, но она уже сама получила письмо от Вас. Она говорит, что могла бы здесь подойти Любовь Столица, и даже собирается к Столице обратиться. Поговорю еще с Парнок Больше, кажется, в Москве нет никого. “Великих” Вы сами знаете, а не великие могут писать только или экзотическое или заумь» (РГБ. Ф. 620. Карт. 72. Ед. хр. 37. Л. 1). Сам он написал одно детское стихотворение на близкую себе тему: «Разговор человека с мышью, которая ест его книги», сказку в прозе «Загадки», вышедшую отдельным изданием в 1922 году, и перевел два стихотворения Р. Л. Стивенсона.

² Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 151.

потому с ним трудно»¹. Тем не менее Ходасевич нанес ему несколько визитов: отчасти потому, что надо было договориться о деле (как бы мало ни интересовали Горького текущие дела «Всемирной литературы», без его санкции было не обойтись), отчасти — поскольку горьковский дом был одним из немногих в городе, где были керосин, сносное угощение и какое-то подобие уюта. Здесь бывали самые разные люди — от Федора Шаляпина до Леонида Красина, занимавшего пост наркома торговли и промышленности РСФСР, — а в глубине квартиры скрывался князь Гавриил Константинович Романов, сын августейшего поэта К. Р., по ходатайству Горького только что освобожденный из-под ареста, с женой-балериной (Ходасевич был допущен в комнату хворавшего члена императорской фамилии и представлен ему). Положение Горького было двусмысленным: он был в полуоппозиции к большевикам, но пользовался их благодарностью и отчасти — доверием. Его жена Мария Федоровна Андреева была петроградским комиссаром театров и зрелищ и претендовала на пост начальника ТЕО, не по заслугам, как ей представлялось, занятый выскочкой Камневой. В политических разговорах он держался осторожно: «Барабана пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: “Да, плохи, плохи дела”, — и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует»².

Наконец Владислав Фелицианович вернулся в Москву, где занял предоставленное ему служебное помещение в Знаменском переулке (дом 18, квартира 10). Однако дальше дело пошло весьма скверно. Как вспоминал Ходасевич в очерке «О себе», «никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро»³. В Петрограде переводчики участвовали в редакционной работе в качестве «экспертов», членов коллегии и получали паек, в Москве же все сводилось к стремительно обесценивавшемуся гонорару. В числе немногих следов этой двухлетней работы поэта — письмо (от 10 сентября 1919 года) Сергею Полякову, бывшему владельцу «Весов», а ныне тоже «трудовому элементу», переводчику-скандинависту: «Издательство просит Вас представить план изданий Гамсуна с распределением по томам. Вместе с тем прошу Вас еще и еще раз настоятельно запросить Ю. К. Балтрушайтиса, когда, наконец, будет им представлена вступительная статья к тому Гамсуна»⁴.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47.

² Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 152.

³ СС-4. Т. 4. С. 187.

⁴ ИМЛИ. Ф. 209. Оп. 76. Ед. хр. 3.

Еще один эпизод — совершенно фантастический — известен из воспоминаний Ходасевича. Осенью 1919 года, в момент, когда на Петроград наступал Юденич, руководство «Всемирной литературы» поручило Ходасевичу попросить у правительства, через Госиздат, некоторое количество дооктябрьских денег, «керенок», чтобы, пока Петроград будет у белых (временно, само собой!), подзакупить на них в Финляндии бумаги. Ходасевичу была доставлена на сей счет собственноручная записка Горького. Заведующий Госиздатом Вацлав Воровский, добрый знакомый Ходасевича и, по его словам, человек образованный и благовоспитанный, пришел в ужас от этой «циничной» идеи и распорядился записку уничтожить. Секретарь Воровского распоряжения не выполнил, записка попала в редакцию «Правды», и лишь вмешательство Ленина погасило начавшийся скандал.

4

В эти месяцы Ходасевич, кроме службы, был занят еще несколькими посторонними по отношению к собственному творчеству делами.

Летом 1918 года вместе с Михаилом Осоргиным, Борисом Грифцовым, Павлом Муратовым, Ефимом Янтаревым, переводчиком Михаилом Линдом, поэтом и издателем Николаем Минаевым и другими он стал соучредителем Книжной лавки при Союзе писателей. Каждый пайщик внес по 200 рублей, которых хватило на устройство полок и печурки. Помещение (Леонтьевский переулок, дом 16) было даровым, выделенным по мандату, книги сначала брались на комиссию у издателей, потом, когда издательская деятельность стала затухать, в Лавку потекли книги из частных библиотек голодающих интеллигентов. За прилавками стояли сами писатели, обычно те из них, у кого не было службы. Ходасевич был человеком занятым, но иногда и он дежурил в зале; Анна Ивановна сидела за кассой и получала за то 600-рублевый оклад. Постепенно частные книжные магазины закрывались или были «муниципализированы», а затем прекращали деятельность «для разборки книг, скупки и распределения». В результате Книжная лавка писателей осталась единственным в Москве местом, где можно было приобрести книгу без мандата и ордера, по свободной цене. Аналогичная Лавка существовала и в Петрограде. Советская власть мирилась с этими «островками свободы», так как они снимали с нее одну из забот: о пополнении книгами многочисленных открывшихся в провинции читален. Для писате-

лей же книжная торговля стала дополнительным заработком, невеликим, но заметным. Ходасевич придавал значение именно этому аспекту. Он иронически относился к тем, кто «с высоты Книжной Лавки» проповедует «мораль общественную» (письмо Георгию Чулкову от 23 декабря 1920 года), а позднее со скепсисом воспринимал стремление некоторых мемуаристов, в том числе Осоргина, видеть в Лавке чуть ли не форму интеллигентского сопротивления советскому режиму¹. Впрочем, Ходасевич довольно быстро от дел Лавки отошел.

Одной из побочных затей при Лавке стало «автографическое издательство». Как вспоминает Осоргин, «когда стало невозможно издавать свои произведения, мы надумали с полной последовательностью издавать коротенькие вещи в одном экземпляре, писанном от руки. Сделали опыт — и любители автографов заинтересовались. Ряд писателей подхватили эту мысль, и в нашей витрине появились книжки-автографы поэтов, беллетристов, историков искусства, представлявшие самодельную маленькую тетрадочку, обычно с собственноручным рисунком на обложке. Книжки хорошо раскупались и расценивались довольно прилично, а у нас рождалась иллюзия, что продукты нашего писательского творчества все же публикуются и идут к читателю. Лавка приобретала для своей коллекции по одному автографу каждого писателя, дававшего нам свои произведения на комиссию»². В числе этих ста девяноста «автографических изданий» есть и книжечки Ходасевича³.

Другим эпизодом из жизни Ходасевича тех лет было сотрудничество с Пролеткультом.

Пролеткульт («Пролетарские культурно-просветительные организации») возник в конце 1917 года как огромная разветвленная организация, имевшая представительство в каждой губернии и охватывавшая более восьмидесяти тысяч человек. Целью его было создание с нуля культуры, выражающей общественное сознание и социальный опыт нового победившего класса. Идеологом Пролеткульта был Александр Александрович Богданов (Малиновский), некогда видный большевик, в 1909 году из-за разногласий с ЦК РСДРП(б) отошедший от партии, оригинальный мыслитель (создатель теории «эмпириомонизма», с которой так темпераментно спорил Ленин), основатель «тектологии» («всеобщей организационной науки»), врач, профессор политэкономии МГУ и директор Инсти-

¹ См.: *Осоргин М. А.* Книжная лавка писателей // Наше наследие. 1989. № 6.

² Там же.

³ «Детские стихи» и уже упомянутая совместная книжка «Софьи Бекетовой» и «Елизаветы Макшеевой».

туда переливания крови. Главные вожди — Ленин и особенно Троцкий — к идее пролетарской культуры относились весьма прохладно. Тем не менее Пролеткульт и пришедшие ему на смену организации получали обильное финансирование и организационную поддержку.

Базой для создания пролетарской литературы, в первую очередь поэзии, служили стихотворцы-самоучки из рабочих, которых следовало обучить «литературной технике». В то же время некоторые «старые» писатели не без энтузиазма брались за просветительную миссию. Как справедливо отмечает в своей интересной монографии¹ Мария Левченко, поэты-символисты видели в Пролеткульте возможность осуществления собственных утопических идей. Левченко приводит колоритные примеры того, как Андрей Белый, который в 1918—1919 годах не только читал лекции пролетарским поэтам, но и входил в коллегию литературно-издательского отдела московского Пролеткульта, оказывался святее римского папы и браковал талантливые, по его собственному мнению, стихи за их недостаточно пролетарский характер (что бы он под этим ни имел в виду). Один из пролеткультовских учеников Белого, Георгий Санников, стал его верным помощником и фактическим секретарем — до конца жизни. Положим, Белый был однозначно на красной стороне. Но и поэты, далекие от симпатий к большевизму, без раздражения относились к преподаванию в студиях Пролеткульта. Современники отмечают теплоту, с которой отзывался о пролеткультовцах Гумилёв. Когда его арестовали, пролетарские поэты попытались выручить своего лектора; их ходатайство сохранилось в его следственном деле. В молодых и уже не очень молодых стихотворцах «от станка» были — как вспоминал Ходасевич — «подлинное стремление к знанию и интеллектуальная честность»². Было и другое: чередование самоуничтожения и заносчивости, которое Ходасевич прежде встречал у «крестьянского поэта» Ширяевца (он, впрочем, после 1917-го иногда участвовал и в сборниках пролетарских авторов). Те неоправданные надежды, которые возлагались на пролетариев Богдановым и другими образованными коммунистами, лишь раздували их комплекс неполноценности.

Ходасевич в течение 1918 года дважды высказался о пролетарской поэзии в «буржуазной» печати. В рецензии на книгу «Сборник пролетарских писателей», составленную Горьким, Серебровым (Тихоновым) и Чапыгиным и вышедшую в 1917 го-

¹ Левченко М. А. Индустриальная свирель: Поэзия Пролеткульта 1917—1921 гг. СПб., 2007.

² Ходасевич В. Пролеткульт и т. п. (Из воспоминаний) // СС-4. Т. 4 С. 224.

ду, он отметил, что у участников сборника, в разной степени одаренных, нет «специально пролетарских достоинств», и «недостатки их тоже внеклассовы» (Русские ведомости. 1918. 20 февраля); в статье «Пролетарская поэзия» он развивает ту же мысль: «Главный и основной недостаток у начинающих поэтов из народа — совершенно тот же, что у их “буржуазных” сверстников: это — отсутствие специальной подготовки, во-первых, и отсутствие самостоятельности — во-вторых» (Новая жизнь. 1918. 8 (9) июня). В то же время он находит крайне несправедливым надменное, насмешливое отношение к этим авторам: «Из недавно народившихся “народных” поэтов недоброе чувство вызывает один Демьян Бедный. Но он даже и не пытается быть поэтом. Он фельетонист, и его рифмованные фельетоны противны своей глубокой пошлостью». Другими словами, Ходасевич не разделял утопических надежд на особую «пролетарскую культуру», но верил в возможности отдельных пролеткультовцев.

Собственная его лекторская деятельность в Пролеткульте началась осенью того же 1918 года. Читал Ходасевич лекции о Пушкине. Конспекты части этих лекций сохранились. Примечательно вступление к первой лекции:

«Нельзя научить быть поэтом. <...> Поэзия — произвольна. Чудо, рождающееся из духовной мощи личности. Тайна, таинство. Репетиция чуда? Инсценировка таинства. Кошунство. К тому же — обман, обольщение. <...>

Единственный правильный путь — учиться читать. Умеющий читать, *если есть дар*, научится и писать. <...>

Итак — главная задача нашего специального отделения — выработка *читателя* стихов, а не писателя. В России никогда до сих пор не умели читать стихов. Основная ошибка — смены взглядов — то *содержание*, то *форма*. Ни то ни другое. Содержание и форма — одно¹.

Сложность связана с неравномерностью подготовки аудитории: среди слушателей были люди и совсем невежественные, и довольно начитанные. Тем не менее Владислав Фелицианович приспособился, лекции пользовались успехом; но вскоре преподавателю неожиданно предложили перейти на семинарскую систему.

«Сколько я ни возражал, что семинарий требует регулярной посещаемости, в тогдашних условиях недостижимой, — мне был один ответ: совет Пролеткульта постановил. Делать нечего, я перешел на систему семинария. Мне пришлось сразу ука-

¹ Ходасевич В. Пушкин и поэты его времени. Т. 1. С. 459; раскрыты сокращения и исправлена орфография.

зять слушателям на то, что новая система требует от них постоянного присутствия и некоторой домашней работы, без которой семинарий немислим. Мне ответили: постараемся, — но голоса были неуверенные.

Случилось то, чего надо было ожидать. Уже на второе собрание семинария не явилась часть бывших на первом, зато явились новички, которым пришлось объяснять все сызнова. Студийцы смущались, конфузились передо мной и друг перед другом — “активное участие” приходилось из них вытягивать чуть не клешами, добывая его в микроскопических дозах. В конце концов все сводилось к тому, что я один, надсаживаясь, “играл” и за руководителя, и за весь семинарий.

Когда все-таки студийцы начали кое-как втягиваться в работу, последовал новый приказ: отменить семинарий и читать систематический курс: “Жизнь и творчество Пушкина”¹.

Все это, разумеется, не помогало работе. Ходасевич считал, что за этими помехами стояли сознательные интриги коммунистических руководителей Пролеткульта, чьи лекции посещались студийцами куда менее охотно, чем занятия, проводимые «буржуазными спецами». Но настоящие проблемы возникли, когда разговор коснулся собственного творчества пролетарских поэтов.

Среди учеников Ходасевича было несколько впоследствии известных авторов — Василий Александровский, Василий Казин, Владимир Кириллов, Николай Полетаев. Заметно выделялся способностями Михаил Герасимов. Побывавший до войны во Франции, сменивший немало профессий, Герасимов начинал в общем ряду поэтов постсимволистского поколения. Его дореволюционные стихи были не лишены ни лиризма, ни чувства слова, хотя и не слишком самобытны. Ходасевич отмечал их в рецензии на «Сборник пролетарских писателей». После 1917 года Герасимов начал поэтизировать индустриальный труд, о котором прежде писал с тоской и отвращением. Но избавиться от символистских клише молодому поэту по-прежнему не удавалось. В результате рождались такие строки:

...А ты прошла между машинами,
В сердца включая чудный ток,
И дрогнув дружными дружинами,
Поплыл торжественный поток².

Самым знаменитым произведением Герасимова стала «Песнь о железе»:

¹ Ходасевич В. Пролеткульт и т. п. (Из воспоминаний) // СС-4. Т. 4. С. 225.

² Герасимов М. Железные цветы. М., 1919. С. 38.

В железе есть стоны,
Кандалные звоны
И плач гильотинных ножей,
Шрапнельные пули
Жужжаньем плеснули
На гранях земных рубежей.

В железе есть зовы
Звеняще-грозовы,
Движение чугунное масс:
Под звоны металла
Взбурлило, восстало,
Заискрилось в омутах глаз...

Это стихотворение уже потому заняло свое место в истории русской поэзии, что «ответом» на него стало «Железо» Николая Клюева, неизмеримо превосходящее герасимовский опус по мастерству и лирическому напряжению. Но то, что один из самых больших поэтов той эпохи счел возможным вступить с Герасимовым в лирический диалог, примечательно.

Ценил его и Ходасевич — точнее, ценил творческие потенции, возможное будущее Герасимова. Скорее всего, именно Герасимову посвящен набросок, озаглавленный «Поэту-пролетарию»:

Байрону, Пушкину вслед, родословьем своим ты гордишься;
Грубый отбросив терпуг, персты на струны кладешь;
Учителями твоими — Шульговский, Брюсов и Белый...

Вижу, осталось тебе стать чудотворцем — и всё.

В этом же духе выдержана и статья «Стихотворная техника М. Герасимова», напечатанная в двоекном втором-третьем номере журнала «Горн» — органе Пролеткульта. В этой статье Ходасевич отмечает, что Герасимов, при всей своей талантливости, «еще не умеет установить необходимое равновесие между тем, что в просторечии зовется формой и содержанием», что он зависим от своих ближайших предшественников — Блока, Белого, Брюсова. По словам Ходасевича, упреки его в напечатанном тексте были сильно смягчены, но даже в таком виде статья обидела Герасимова, и он перестал ходить на лекции Ходасевича.

Был среди слушателей и один человек, Владиславу Фелициановичу уже хорошо знакомый. Его звали Семен Абрамович Родов. История общения с ним изложена Ходасевичем в нескольких статьях, и она довольно интересна.

Родова Ходасевичу представил Лев Яффе в период работы над «Еврейской антологией» — представил как молодого сиониста, пишущего, однако, стихи по-русски. Двадцатипятилет-

ний студент не особенно понравился поэту, безликие стихи его понравились еще меньше, но Родов был «вежлив и доброжелателен», и Ходасевич его терпел. Как раз в это время состоялся октябрьский переворот. По словам Ходасевича, Родов в разговорах с ним страстно ругал большевиков и «подсмеивался над моей наивностью: как я могу не видеть, что Ленин — отъявленный plombированный германский шпион». В один прекрасный день он прочитал Ходасевичу поэму «Октябрь»: «Ненавидистничество автора к большевикам было до неприятности резко, я бы сказал — кровожадно. Заканчивалась поэма в том смысле, что, дескать, вы победили, но мы еще отомстим. Как рефрен, повторялся образ санитарного автомобиля, который носится по Москве, по Садовым:

Кругом, кругом, кругом, кругом...

Эта строчка запомнилась, как и тема автомобиля. В том, что большевики не продержатся больше двух месяцев, Родов не сомневался¹.

Вскоре, однако, Ходасевич узнал, что «ненавидистник большевиков» устроился на работу в типографию Левинсона и выдвинулся в члены заводского комитета. Весной 1918 года вышла книга Родова «Мой сев». Ходасевич стал искать издателя для своей новой книги стихов «Путем зерна». Издательство Цетлина, первоначально собиравшееся ее выпустить, закрылось. И тут Родов предложил свою помощь: типография Левинсона по его протекции готова была напечатать книгу за счет автора, но в кредит, с оплатой после реализации тиража. Условием была хвалебная рецензия Ходасевича на книгу Родова (которая, кстати сказать, была наречена «Мой сев» не просто так, а в честь грядущего выхода «Путем зерна», как объяснил молодой автор) в «Русских ведомостях» или во «Власти народа». Ходасевич резко отверг сделку, и на этом его общение с Родовым прекратилось.

И вдруг бывший сионист оказывается в числе пролетарских поэтов. Как описывает Ходасевич, он был «уже не в студенческой тужурке, а в кожаной куртке. На руках нарастил он грязь и мозоли. Держался столбовым пролетарием и старым большевиком. На собрании, а потом на лекциях довольно часто и развязно обращался ко мне, забыв мое имя и отчество и называя меня “товарищ Ходасевич”, словно мы никогда раньше не встречались»². Наконец, на одном из чтений в Пролеткульте

¹ Ходасевич В. Белый коридор // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Т. 1. С. 192.

² Там же. С. 193.

Родов, не смущаясь присутствием Ходасевича, прочитал поэму «Октябрь». «Это была та самая поэма, которую я знал, но перелицованная, как старая шуба, и положенная на красную подкладку»¹. Политическая тенденция была изменена на противоположную. Но «вся описательная, пейзажная часть осталась без изменения». Уцелела и запомнившаяся Ходасевичу строка:

Кру́гом, кру́гом, кру́гом, кру́гом
Окровоавленной Москвой —
На коне я мчусь упругом,
Смерть — мой быстрый вестовой,
В лазарете брошу тело,
Пуля тотчас вслед запела,
Чтоб другое на пути
Через улицу найти².

Ходасевич еще не знал, какое продолжение получит эта история и как скажется она на его судьбе. Не мог он предвидеть и впечатляющей, но краткой карьеры своего «ученика».

Пока же преподавание Ходасевича в Пролеткульте оборвалось резко и неожиданно: все члены объединения были сняты с лекций и отправлены на фронт. Осенью 1919-го, когда они вернулись, занятия не возобновились. Вскоре Герасимов, Казин, Александровский и другие вышли из Пролеткульта и образовали собственное объединение под названием «Кузница». Их ждали недолгий и чисто официальный успех, творческая деградация и окончательное забвение даже в рамках советской культуры. Могло ли быть иначе? Ходасевич считал, что могло, что «в несколько месяцев лестью и пагубною теорией “пролетарского искусства” испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности, очень хорошую»³.

5

То, что источником заработка для Ходасевича на несколько лет стали, вместо переводческой, литературно-критической и сценарной поденщины, чиновничья служба, книжная торговля и преподавание, никак не могло повлиять на главное в его

¹ Ходасевич В. Белый коридор // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Т. 1. С. 194.

² Любопытно, что и в последующем своем творчестве С. Родов сохранил эту забавную манеру ставить неправильные ударения ради размера и рифмы. В его «Коммунэре о зампредчека» фигурирует «хлопо́к», причем слово это означает не удар в ладоши, а сырье для текстильной промышленности.

³ Ходасевич В. Пролеткульт и т. п. (Из воспоминаний) // СС-4. Т. 4. С. 226.

жизни — на поэтическое творчество. В 1917—1919 годах он пишет довольно много, даже больше, чем прежде. Сохранилось более пятидесяти текстов, отрывков и набросков этих лет. Здесь есть и эпические замыслы, и строки, явно написанные «под маской», от лица вымышленного персонажа, и опыты в самых разных формах стиха, вплоть до верлибра. Очень немногие из этих стихотворений удалось тогда напечатать — не считая, конечно, рукописных изданий Лавки писателей. Несколько раз Ходасевич участвовал в публичных чтениях — в частности, в конце января 1918 года в салоне поэта и издателя Амари (Михаила Осиповича Цетлина; его жена Мария Самуиловна была родной сестрой гимназического и университетского приятеля Ходасевича адвоката Аркадия Тумаркина). В вечере участвовали также Бальмонт, Вячеслав Иванов, Белый, Пастернак, Цветаева, Эренбург, Инбер, Алексей Толстой, Крандиевская, Каменский, Бурлюк, Маяковский. На сей раз Ходасевич не побрезговал компанией футуристов и стал, к большой своей досаде, свидетелем триумфа Маяковского, прочитавшего «Человека».

Лишь девятнадцать стихотворений вошли в окончательный корпус книги «Путем зерна». По ним и стоит судить об основных тенденциях творчества Ходасевича в этот период. Поэту потребовалось два года, чтобы отойти от поэтики «Счастливого домика», и даже не от поэтики, а от пронизывающего книгу мироощущения, чтобы привязанность к брэнному, бедному, простому «мирку» оказалась слабее тяги к стоящей за ним *подлинной* реальности, жестокой и опасной, но влекущей. Все же некоторые стихотворения первых послереволюционных лет могли бы войти в предыдущую книгу. В их числе, например, «Ищи меня», «Хлебы» или «Анютя». Последнее особенно обаятельно: хотя адресат его, очевидно, Анна Ивановна, оно озаглавлено «детским» именем, и этому вполне соответствует его интонация. Как и в «Счастливом домике», Ходасевич, казалось бы, любит маленьким, уютно-обаятельным миром, который символизирует крохотный кораблик, нарисованный на спичечном коробке:

...И верно — есть матросик,
Что мастер песни петь
И любит ночью звездной
На небеса глядеть.

И я, в руке Господней,
Здесь, на Его земле, —
Точь-в-точь как тот матросик
На этом корабле...

Но мир матросика мал лишь для нас: *для него* все подлинное — и небеса, за которыми открывается *наш* мир, и опасные морские волны. Пять лет спустя Ходасевич уподобит себя и своих товарищей по трудным дням «военного коммунизма» «хорошим, честным морякам». Это уж не домик с добрыми и смиренными мышами. Неслучайно «Стансы» («Во дни громадных потрясений...»), воспевающие домашнее тепло и «дым над трубой», противопоставляющие «малое, что есть во мне», величественным потрясениям внешнего мира, остались в рукописи и даже не были отделаны. Эти настроения не были характерны для Ходасевича в те годы. Внешние потрясения взломали поверхность жизни и позволили увидеть. Что же? Инобытие? Ту мрачную изнанку мира, о которой поэт некогда писал в «Душе»? Или нечто иное?

Правильный ответ, думается, таков: не иной мир, а этот, наш, посюсторонний, но в его глубинной, сущностной первооснове. Речь идет о вечном круговороте рождения и смерти, о готовности к смерти как условию рождения: «Всему живущему идти путем зерна». Речь — о первоначальных, базовых проявлениях бытия:

С холодностьюзираю я теперь
На скуку славы предстоящей.
Зато слова: цветок, ребенок, зверь —
Приходят на уста все чаще.
(«Стансы», 1918)

Потому поэт и принимает гибельные изменения окружающего мира, которые временами рисуются в совершенно «экспрессионистических» красках, — особенно характерно в этом смысле стихотворение «По бульварам» с его inferнальными метафорами, — что они раскрывают этот вечный, обычно скрытый от глаз слой жизни. Именно ему посвящен своеобразный цикл из шести стихотворений 1918—1919 годов, написанных белым ямбом. Можно сопоставить эти стихи с «Вольными мыслями» Блока, но на сей раз Ходасевич одерживает явную победу над величайшим из поэтов эпохи — победу, о которой он в тот момент, вероятно, и мечтать не мог.

Судя по всему, замысел Ходасевича изначально был шире: возможно, он собирался создать нечто вроде лиро-эпической автобиографии. По крайней мере, один из набросков того времени («Я помню в детстведушный летний вечер...») позволяет это предположить. Речь в нем идет о короначии Николая II, о Ходынке. Но в написанных стихотворениях он касается только впечатлений 1910-х годов, точнее, случайных мгновений прорыва, просветления, осознания, связанных с опытом этих лет.

Два стихотворения вдохновлены пребыванием в 1911 году в Венеции. На первый взгляд ничего неожиданного здесь нет: венецианские мотивы то и дело мелькали в стихах и прозе Ходасевича перед революцией, но тогда в этом не было ни глубины, ни своеобразия. Надо ли было в конечном итоге самому побывать в Венеции, чтобы написать рассказ «Сигары синьоры Конти» (в «декамероновском» духе) или стихотворение «Вот в этом палаццо жила Дездемона...» (1914)? На первый взгляд и стихотворение 1918 года «Встреча» начинается банально:

В час утренний у Santa Margherita
Я повстречал ее. Она стояла
На мостике, спиной к перилам. Пальцы
На сером камне, точно лепестки,
Легко лежали. Сжатые колени
Под белым платьем проступали слабо.
Она ждала. Кого? В шестнадцать лет
Кто грезится прекрасной англичанке
В Венеции? Не знаю — и не должно
Мне знать того. .

Можно, конечно, припомнить ернические замечания о венецианских туристках из писем 1911 года и поговорить о несоответствии правды жизни и правды поэзии... Но «Встреча» — не любовные стихи в обычном смысле слова. Поймав взор незнакомой красавицы, поэт прикоснулся к чему-то более глубокому:

...теперь я знаю,
Что крепкого вина в тот день вкусил я —
И чувствовал еще в своих устах
Его минутный вкус. А вечный хмель
Пришел потом.

Что же это за вечный хмель? Дыхание жизни, юности? Вероятно. Но вот другое «венецианское» стихотворение — «Полдень». При виде мальчика «с ведерком и совочком», играющего у его ног, лирический герой вспоминает, как сам он сидел у подножия венецианского каменного льва. Геральдический символ Венеции, города святого Марка, оказывается воплощением того высокого и вечного, в сравнении с которым житейская личность поэта мала и молода, как этот мальчик с ведерком. Но осознание этого контраста не угнетает, а вдохновляет.

Дальше — «Обезьяна» (1919), стихотворение, сюжет которого отнесен к лету 1914 года. Можно, конечно, допустить, что эпизод, на котором оно основано, реален, но нельзя пройти мимо удивительного сюжетного сходства (многими, конечно, замеченного) с одним поэтическим текстом той же эпохи — «С обезьяной» (1907) Ивана Бунина. Специалисты отмечают и

аналогичный эпизод в «Conclusive évidence» Владимира Набокова — но сходство с Буниным особенно велико. Балканец-музыкант с обезьяной (хорват у Бунина, серб у Ходасевича); зной; обезьянка, пьющая воду; особенный взгляд животного, на который обращают внимание оба поэта... Ходасевич до поры разделял общесимволистское отношение к поэзии Бунина, в 1913 году написал на него пародию, чтобы 16 лет спустя, в статье «О поэзии Бунина» (1929), отдать должное мастеру, который «пошел по пути наибольшего сопротивления», в одиночку бросив вызов господствующим тенденциям своего поколения, и достиг творческих побед — а «победителей не судят». В сущности, он *позволил* себе полюбить Бунина, но читал его, конечно, и раньше. Так или иначе, у Бунина взор обезьяны — всего лишь «детский и старческий». У Ходасевича она смотрит «мудро и глубоко»; ее взор, движения, прикосновение несут память «древности». Итак: от стихийно-человеческого («Встреча») к над-человеческому («Полдень») и пра-человеческому («Обезьяна»). Но вестник из древности появляется в день начала войны, и таким образом перекидывается мостик к двум лучшим стихотворениям цикла — «2-го ноября» и «Дом», в которых речь идет уже о днях революции.

В «Доме», который Ходасевич неоднократно переделывал (последняя редакция относится к 1920 году), тоже есть параллель с другим поэтическим текстом — но уже более поздним. Речь идет о стихотворении Арсения Тарковского «Дом напротив» (1958). У Ходасевича полуразрушенный дом вызывает мысли о его жильцах и их душноватой жизни:

...Где ссорились, мирились, где в чулке
Замызганные деньги припасались
Про черный день; где в духоте и мраке
Супруги обнимались; где потели
В жару больные; где рождались люди
И умирали скрытно, — все теперь
Прохожему открыто...

Всего этого больше нет — дом еще не полностью исчез, но уже открылась межвременная бездна. У Тарковского, напротив, призраки прежней жизни надолго остаются на месте вчистую снесенного дома. Само описание их (продолжающегося) бытия, однако, удивительно напоминает стихотворение Ходасевича, которого Тарковский не знает, разумеется, не мог:

...Гробы на полотенках выносили,
И друг у друга денег в долг просили,

И спали парами в пуховиках,
И первенцев держали на руках,

Пока железная десна машины
Не выгрызла их шелудивой глины,

Пока над ними кран, как буква «Г»,
Не повернулся на одной ноге.

Дом в стихотворении Ходасевича был снесен не целенаправленно, как у Тарковского, а стихийно, «расташен на дрова», что обыграно в издевательской рецензии Ивана Аксенова: «В. Ходасевич совершает крупную бестактность, повествуя на страницах органа МС о нарушении им постановления МСР и КД касательно самочинной разборки домов на дрова. Впрочем, ямбы настолько вялы, что пример их автора не может никого захватывать силой изложения, скорее наоборот, а проступку уже вышла давность»¹. Странно проявленное в данном случае Ходасевичем отсутствие чувства юмора: он принял этот «донос» всерьез и спустя пять лет упомянул о нем в статье «Господин Родов».

Хронологически (по времени действия) между «Обезьяной» и «2-м ноября» находится «Эпизод»: перед нами «одно из утр пятнадцатого года». В рукописном примечании Ходасевич, правда, относит опыт, который лег в основание стихотворения, к другому времени: концу 1917-го. По времени написания это самое раннее из «лиро-эпических» стихотворений: оно написано 25 января 1918 года, в тот же день, что и «Анжоте» — «один из самых напряженных дней моей жизни». Сюжет «Эпизода» — временный выход сознания из человеческого тела; по словам поэта, «с этими стихами приставали ко мне антропософфы» — и понятно, почему. Исследователей же больше занимает не подлинная природа пережитого поэтом мистического состояния, а параллели «Эпизода» с другими стихотворениями Ходасевича этого времени.

Речь идет о еще одной сквозной теме: дихотомии души и тела. Традиционная трехступенчатая конструкция — тело-душа-дух, которая в это же время (в 1919 году) вдохновила Гумилёва на один из его шедевров («Душа и тело»), Ходасевичу чужда. У него душа сливается либо с телесной, либо — чаще — с духовной субстанцией, отождествляется с ней, вместе образуя «чудесное, божеское начало», иной уровень личности человека. Она временами выходит — и вскоре совсем выйдет — куда-то в неизведанное пространство, явно не похожее на «угрюмый берег» из давнего стихотворения. Про это пространство мы ничего не знаем. Даже монета, оставленная во рту покойника в уплату Харону, останется, «как солнце малое, как след души

¹ Аксенов И. По журналам // Художественное слово. 1921. № 2. С. 67.

моей», здесь, на земле, в этом мире, величественном в своих внезапно открывающихся взору безднах — и все-таки несовершенном, бедном в сравнении с прекрасной неизвестностью инобытия.

Ходасевич считал книгу «Путем зерна» готовой еще весной 1918 года, но обстоятельства не позволили ему тогда выпустить этот сборник. Наконец, в январе 1920-го владелец издательства «Творчество» Соломон Абрамов получил заказ на книгу от Госиздата. Государство действительно выкупило весь восемнадцатитысячный тираж, который покоился мертвым грузом на каком-то складе. В 1921 году, уже в дни нэпа, в Петрограде, в издательстве «Мысль», книга была переиздана разумным для тех времен тиражом в 800 экземпляров — и быстро разошлась. Тогда Абрамов выкупил обратно тысячу экземпляров первого издания и пустил их в продажу. Остальные 17 тысяч так, вероятно, и сгнили, в духе самых злых анекдотов о социалистической экономике.

Состав книг и порядок, в котором идут стихи, немного различаются: в первое издание вошло 34 стихотворения, второе включает еще четыре, в том числе «Дом». В обоих изданиях книга посвящена памяти Самуила Киссина. Дух мертвого друга тайно присутствовал в третьем сборнике Ходасевича: стихотворение про рыбака, пытающегося поймать на звездную наживку солнце, — попросту точное рифмованное переложение прозаической сказки Муни. Но в итоговое «Собрание» 1927 года и стихотворение это, и посвящение не попали.

6

Тем временем в ноябре 1919 года Ходасевич получает новую должность — начальника Московского отделения Российской книжной палаты.

Функции этого учреждения к тому времени претерпели изменения. В 1918-м и в начале 1919 года Книжная палата ведала выдачей «нарядов» (ордеров) на бумагу и типографские работы. Поскольку и то и другое было жестко лимитировано, наряды выдавались лишь лояльным издателям. Следовательно, Палата играла роль цензуры; она и находилась первоначально в помещении бывшего цензурного ведомства. Однако к середине 1919 года эта часть обязанностей была с Палаты снята. С этого времени Книжная палата занималась исключительно тем, чем занимается и сейчас: регистрацией печатных изданий и рассылкой обязательных экземпляров по основным государственным библиотекам.

Предшественником Ходасевича в этой должности был Брюсов. Формально тот подал в отставку из-за необходимости добираться на службу с 1-й Мещанской до Девичьего Поля, куда Книжная палата переехала. Впрочем, у Брюсова, немолодого и больного, было с полдюжины других должностей. К концу 1919-го он был, в частности, председателем президиума Всероссийского союза поэтов и начальником литературного отдела отдела художественного образования Наркомпроса, так называемого ЛИТО. Служил он не только «по ученой части»: Маяковский в «Прозаседавшихся» (1922) сатирически упоминал «объединение ТЕО и ГУКОНа»; но жизнь опередила шутку: годом раньше Брюсов, не покидая должности начальника, правда, не ТЕО, а ЛИТО, занял видный пост в Главном управлении коннозаводства и коневодства (ГУКОНе). Валерий Яковлевич был истов во всем, не только в литературе: некогда в качестве домовладельца он, невзирая на насмешки собратьев по перу, самолично инспектировал в своих домах работу ватерклозетов. Теперь он с тем же усердием охранял «интересы вверенных ему учреждений» (именно эту формулировку Брюсов использовал в разговоре с Ходасевичем, когда между ЛИТО и Союзом писателей возник спор из-за бывшей библиотеки Литературно-художественного кружка). Весной 1919-го Валерий Яковлевич сделал решительный шаг, вступив в РКП(б). Таким образом, из беспартийного «спеца» он превратился в «товарища», в полноценного советского чиновника. Некогда неудачно баллотировавшийся в Московскую городскую думу, Брюсов наконец осуществил эту мечту, став депутатом Моссовета.

Ходасевич в письме Садовскому в Нижний Новгород от 24 марта 1919 года так характеризовал эту эволюцию своего бывшего учителя:

«Валерий записался в партию коммунистов, ибо это весьма своевременно. Ведь при Николае II — он был монархистом. Бальмонт аттестует его кратко и выразительно: подлец. Это неверно: он не подлец, а первый ученик. Впрочем, у нас в гимназии таких били без различия оттенков»¹.

Однако в глазах Садовского поведение Ходасевича мало отличалось от поведения «первого ученика»: «Я посылал ему при-

¹ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 361. Вероятно, примерно к этому же времени относится злая эпиграмма Ходасевича на Брюсова:

Без мыла нынче трудно жить
Литературным ветеранам —
Решился Брюсов проложить
Свой путь *ad gloriam per anum*.

Перевод последней строки: «К славе через задний проход» (*лат.*).

глашение участвовать в журнале “Москва”, в одном из последних частных периодических изданий. Садовский ответил отказом, сообщая, что дал зарок не печатать ни строчки, пока не сгинут большевики. На мои возражения он прислал новое письмо, в котором называл меня большевиком и заявлял, что прекращает всякие отношения со мною и Гершензоном. Писал, что ему нет дела до брюсовского большевизма: на то Брюсов — демон; нет дела до Белого: на то Белый — ангел, а вот как не стыдно нам с Гершензоном, людям?»¹

Ответом Ходасевича стало цитировавшееся выше письмо про «диктатуру бельэтажа». Переписка прервалась на полгода, а когда в начале 1920 года возобновилась по инициативе Садовского, Ходасевич так уточнил свою позицию:

«Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу. Но Вы знаете, что раньше я большевиком не был, да и ни к какой политической партии не принадлежал. Как же Вы могли предположить, что я, не разделявший гонений и преследований, некогда выпавших на долю большевиков, — могу примазаться к ним теперь, когда это не только безопасно, но иногда, увы, даже выгодно? Неужели Вы не предполагали, что говоря *Вам* о сочувствии большевизму, я никогда не скажу этого ни одному из власть имущих. Ведь это было бы лакейство, и я полагаю, что Вы не сочтете меня на это способным»².

Тем не менее «власть имущие» видели в Ходасевиче сочувствующего или, по крайней мере, искренне лояльного человека. Иначе назначение на какую-никакую руководящую и ответственную работу было бы невозможно.

Как вспоминал Ходасевич, «месячный “оклад” заведующего Книжной Палатой приблизительно равнялся цене пятнадцати фунтов черного хлеба на вольном рынке (то есть копейкам тридцати в месяц по довоенному расчету). Но в те времена был “богат” и сравнительно спокоен не тот, у кого было больше стремительно падающих “дензнаков”, а тот, у кого в бумажнике было больше казенных удостоверений и других бумаг с красной печатью»³. Так или иначе, еще одна служба, причем прямо государственная («Всемирная литература» была формально частным предприятием, хоть и при Наркомпросе), какие-то пайковые блага давала. Весь штат состоял из секретаря,

¹ Ходасевич В. Памяти Б. А. Садовского // *Ходасевич В. Колеблемый треножник*. М., 1991. С. 432.

² Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 364.

³ Ходасевич В. Книжная палата (Из советских воспоминаний) // СС-4. Т. 4. С. 231.

каковую должность исполняла Анна Ивановна, регистратора, машинистки и старика-курьера, прежде служившего в цензуре и украсившего кабинет Владислава Фелициановича фотографиями бывших цензурных начальников, память о которых, видно, вызывала у него благоговение. Ходасевич ладил и с этим старорежимным курьером, и со своим непосредственным шефом, начальником отдела печати Моссовета, старым большевиком Николаем Семеновичем Ангарским (Клёстовым), человеком нервным и склонным к самодурству; одного врага он нажил себе — и это был Валерий Брюсов. Возможно, «первый ученик» опасался, что бывший приятель может в свою очередь обзавестись партбилетом и подсадить его. Впрочем, это обнаружилось позднее.

Вспоминая о своей службе в Книжной палате, Ходасевич задерживает внимание не только на понятных и естественных для той поры трудностях (нетопленые комнаты, отсутствие канцелярских принадлежностей, необязательность типографий и т. д.), но и на нескольких колоритных библиографических эпизодах. Один из них связан с близким Ходасевичу человеком. Михаил Гершензон допустил непростительную для ученого его уровня оплошность, приняв переписанный рукой Пушкина текст Жуковского за пушкинский. Узнав об ошибке, он вырезал страницы со злосчастной статьей «Скрижаль Пушкина» во всех экземплярах «Мудрости Пушкина», предназначенных для продажи, и попросил Ходасевича задержать отправку обязательных экземпляров в библиотеки. Но Ходасевич не успел исполнить его просьбу: по библиотекам «Мудрость Пушкина» пошла в неурезанном виде. Другой эпизод связан с книгой Николая Бухарина «Экономика переходного периода». «Любимец партии», в то время еще не «правый уклонист», а «левый коммунист», в этой работе, написанной в разгар так называемой «дискуссии о профсоюзах», выражал мысли, не во всем совпадающие с точкой зрения Ленина, который, между прочим, испещрил книгу своими пометками. Желая сгладить противоречия, Бухарин посвятил книгу Ленину и поместил в ней его портрет. Ленин, узнав об этом, рассердился — и из всех экземпляров книги портрет и посвящение вырезали. Ходасевича должно было позабавить такое сочетание политического всевластия с характерно литераторскими приемами и привычками. В отношениях большевистских вождей были нюансы, напоминающие... ну, хотя бы отношения Белого и Брюсова.

Зимой 1920 года Ходасевичу пришла в голову мысль добыть у властей помещения, в котором можно было бы разместить обе конторы (Книжную палату и московскую редакцию «Всемирной литературы») и самому с семьей поселиться. Жизнь в

полуподвальном этаже становилась все более мучительной. К тому же жители полуподвала находились, как многие в то время, под вечной угрозой «уплотнения». Первая попытка относится к лету 1919 года. Тогда, 3 июля, отчаявшийся поэт написал письмо Каменеву, которое стоит процитировать:

«Минувшую зиму провел я в валенках, под шубой, сбившись с семьей в одну комнату, отапливаемую самоварами и теснотой. Мечтал о лете, как времени для работы. Оно настало, и преодолевая всякие препятствия: полуголодную жизнь, двухнедельную испанку, отсутствие света, дальние расстояния, хлопоты с мобилизацией (я дважды получил освобождение, как незаменимый работник, и пять раз белый билет по болезни, а 11 июля буду продлевать все это еще по разу), — словом, борясь со всеми затруднениями, я было принялся за работу. Но теперь — новая беда.

Живу я с женой, пасынком 12 лет и прислугой (жена служит). Но горе в том, что эти четыре человека (включая меня) размещены в клетушках, из которых ни в одной не поставишь двух кроватей. Но их целых шесть, что, на бумаге, делает меня прямо-таки буржуем. Поэтому, несмотря на подвал, жилищный отдел хамовнического Совдепа решил меня «уплотнить», поселив ко мне других жильцов из этого же дома. Это значит, что пока тепло и можно пользоваться всей квартирой, я, нервничая и слушая за перегородкой идиотские обывательские разговоры о муке, дороговизне, «кооперации» и т. д., вновь буду лишен возможности работать, а с наступлением холода, когда едва ли не всем, с новыми жильцами вместе, придется перебираться в две, а то и в одну комнату, — настанет для меня жизнь вовсе невыносимая. Даже служба моя требует домашней работы, т. е. тишины, которой я не смогу добиться от чужих людей. Отнять у меня тишину в доме — то же, что лишить столяра верстака, рабочего выгнать с фабрики. <...>

Простите, что беспокою Вас. Мне совестно это делать, зная, как Вы заняты. Но я все же надеюсь, что зная писательское житье не понаслышке, Вы захотите что-нибудь сделать для меня и моей семьи, для избавления нас от этого бедствия. Я не преувеличиваю. Ольга Давыдовна зимой не раз спрашивала, «не нужно ли мне чего-нибудь». Я благодарил, говоря, что у меня все есть. Но вот — теперь истинная беда: я лишусь возможности работать. Это ужасно и морально, и материально»¹.

В этом письме интересно все: и те внешние обстоятельства, о которых в нем говорится, и тон, которым поэт обращается к

¹ РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 2. Д. 164. Л. 65—65(об.). Цит. по: В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы: Сборник документов и материалов. М., 2008.

московскому «градона начальнику», в котором он видит (или делает вид, что видит) не только представителя «рабочей» власти, но — прежде всего — бывшего коллегу-литератора. Каменев в тот раз помог; естественно, что и полгода спустя поэт обратился к нему же. На сей раз прием прошел неудачно: председатель Моссовета Ходасевичу вежливо отказал: «Конечно, письмо в жилищный отдел я могу вам дать. Но поверьте — вам от этого будет только хуже. <...> Сейчас они просто для вас ничего не сделают, а если вы к ним придете с моим письмом, они будут делать вид, что стараются вас устроить. Вы получите кучу адресов и только замучаетесь, обходя свободные квартиры, но ни одной не возьмете, потому что пригодные для житья давно заняты, а пустуют такие, в которые вселиться невыносимо. <...> Конечно, у них есть припрятанные квартиры. Но ведь вы же и сами знаете, что это — преступники, они торгуют квартирами, а задаром их вам никогда не укажут»¹.

Тогда же поэту пришлось вытерпеть долгий светский разговор с Ольгой Каменевой. Ходасевич со смешанным чувством вспоминал годы спустя об этой женщине, «недаровитой и неумной», добродушной и лицемерной, привечающей писателей, рвущейся ими поруководить, задающей им «шпионские» вопросы друг про друга, обожающей побеседовать «о культурном», но притом — нежной матери. Матери четырнадцатилетнего мальчика, которого «как-то на Волге товарищ Раскольников одел по-матросски». («Так же точно, таким же матросиком, недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей»².)

Очерк «Белый коридор», только что процитированный, написан в 1937 году, примерно в то время, когда свершилась судьба всех: и самого Каменева, и его лично мало в чем виноватой жены, и совсем уж ни в чем не повинного сына. Думал ли об этом Ходасевич? Предвидел ли участь «товарища Раскольникова», да и знаменитого брата Ольги Давыдовны? Одно можно сказать достоверно: он не мог видеть в большевиках, как Мережковские, уэллсовских марсиан. Он хорошо знал их и видел: перед ним не демоны, а люди. Не лучшие из людей, но достаточно понятные — типичные доктринерствующие русские интеллигенты, местами тронутые «декадентщиной», во многом похожие на тех же Мережковских. Он знал личные слабости и пристрастия большевистских вождей, тонкости их взаимоотношений, зачастую восходившие к эмигрантским бытовым скло-

¹ Ходасевич В. Белый коридор // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Т. 1. С. 93.

² Там же.

кам. И уже став врагом Совдепии, он хотел, да не мог отделаться от этого человеческого отношения и понимания.

Так или иначе, Ходасевич остался в своем полуподвале, а Книжная палата — на Девичьем Поле. Зимой снова пришлось всем сгрудиться в одну комнатку — Владиславу Фелициановичу, Анне Ивановне и Гаррику. Прислуге места для сна уже не было, она спала в кухне, на плите, но зато там было теплее: комната обогревалась через окошко из кухни. К Новому году прислуге пришлось отказать. Теперь, помимо службы, все труды по заготовке дров, растапливанию печи, приготовлению пшенки легли на самих Ходасевичей. К весне 1920 года Владислав Фелицианович заболел фурункулезом. «Эта весна была ужасна. Дом отсырел, с окон в комнату текли потоки от талого снега. Я лежал. Жена днем на службе, потом — за кухарку, потом — за сестру милосердия. Своими руками перевязывала по двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счету)»¹, — вспоминал поэт два года спустя.

Именно тогда впервые возникла мысль о переселении в Петроград. Руководство «Всемирной литературы», зная о положении Ходасевича и убедившись в бесперспективности московского филиала, предложило Владиславу Фелициановичу переезд. Но тут возникло непреодолимое препятствие: Ангарский не желал отпускать «незаменимого работника» и даже «заявил не шутя, что если я уйду из Книжной Палаты без его разрешения, то он посадит меня “куда следует” за саботаж»². Однако в конце июня 1920 года правление Российской книжной палаты было переведено из Петрограда в Москву, региональные палаты, в том числе и московская, ликвидированы, дело учета печатной продукции по всей стране объединено. Ходасевич остался без работы — к собственной радости. Все же Ангарский и теперь его не отпускал, утверждая, что Ходасевич «числится за отделом печати», и обещая подыскать новое занятие. Такова была оборотная сторона симпатии взбалмошного начальника.

Пока же Владислав Фелицианович, пребывавший в вынужденной праздности, воспользовался предложением Гершензона, который пристроил поэта и его жену (она тоже была изнурена трудами и недоеданием так, что на ней, как рассказывал Ходасевич Юлии Оболенской, «уж и румяна не держались») в «здравицу для переутомленных работников умственного труда». Это был двухэтажный домик в 3-м Неопалимовском переулке, где удачливые интеллигенты могли провести некоторое

¹ Ходасевич В. О себе // СС-4. Т. 4. С. 188.

² Ходасевич В. Книжная палата (Из советских воспоминаний) // СС-4. Т. 4. С. 239.

время, пользуясь праздностью, неплохим питанием и наблюдением врача, лишённого элементарных медикаментов. Ходасевича взяли туда на три месяца, Анну Ивановну — на полтора.

Сам Гершензон тоже провёл в этой здравнице все лето; жил он в одной комнате с Вячеславом Ивановым — именно здесь они написали свои впоследствии знаменитые «Письма из двух углов». Как иронизировал Ходасевич, «в углу вечно мятежного Гершензона царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие тщательно разложенные вещи на столике. У эльцина Вячеслава Иванова — все всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книгами — шляпа, на книгах — распоротый пакет табаку»¹. Ходасевичу повезло: ему досталась отдельная комната. Кроме гуманитариев-модернистов здесь отдыхали разные люди: пожилые врачи; восьмидесятилетняя Мария Александровна Сеченова-Бокова, считавшаяся прототипом Веры Павловны в «Что делать», тоже по профессии врач-офтальмолог; брат Бунина Юлий Алексеевич, известный общественный деятель и публицист, председатель Литфонда; старая меньшевичка Аксельрод-Ортодокс, пользовавшаяся славой «русского теоретика марксизма»... Некоторые из обитателей звали лечебницу «богательней», но она была также и гостиницей: здесь ненадолго останавливались приезжающие в Москву провинциальные ученые.

Несмотря на многолюдство и пестроту жителей здравницы, после двух ужасных зим немудрено было почувствовать себя в раю. Но тут, в сентябре, Владислава Фелициановича застигло неожиданное известие: его призывали в армию. Оказалось, что призывная комиссия, выдавшая ему весной очередной белый билет, была поймана на взятках. На всякий случай все выданные ею освобождения были аннулированы. После семи белых билетов Ходасевича признали годным к строевой службе. В этом был форменный абсурд: почему-то и царские, и советские призывные комиссии были так зациклены на явно больном и глубоко штатском человеке. Такой же абсурд заключался в том, что сборный пункт, куда Ходасевичу следовало явиться, находился где-то под Псковом.

Было от чего отчаяться. Но Владислав Фелицианович повел себя разумно: прежде всего он воспользовался «призывом», чтобы избавиться от опостылевшей службы. Ангарский вынужден был отпустить своего незаменимого подчиненного. Затем надо было как-то освобождаться от нелепой мобилизации. К Каменеву обращаться после зимней неудачи не хотелось.

¹ Ходасевич В. Здравница (Из московских воспоминаний) // СС-4. Т. 4. С. 267.

Тут Ходасевичу повезло: в Москве на короткое время оказался Горький. За те два года, которые прошли с поездки Ходасевича в Петроград, писатели почти не общались. Единственный за два года их разговор относится к концу 1918 года. Василий Розанов, бедствовавший в Сергиевом Посаде, обратился за помощью к Гершензону. Благородный Михаил Осипович, забывший все прежние обиды, решил помочь бывшему другу и придумал вот что: попросил Ходасевича, как человека, с недавних пор лично знакомого с Горьким, позвонить ему и рассказать о розановских горестях. Ходасевич просьбу выполнил и передал дочери Розанова присланные Горьким деньги — по его словам, немалые.

Теперь объектом горьковской благотворительности стал сам Ходасевич. Благодаря его вмешательству призывной вопрос был решен на самом высоком государственном уровне: Владислав Фелицианович написал записку Ленину, и Горький отвез ее в Кремль. Ходасевича переосвидетельствовали и освободили вчистую. Прощаясь, Горький еще раз предложил поэту перебираться в Петроград: «Здесь надо служить, а у нас можно еще писать».

Ходасевич колебался. Еще скверно чувствуя себя, он вернулся в здравницу, а тем временем — в первых числах октября — послал Анну Ивановну в Петроград на разведку. Видимо, рассказы жены обнадежили его. И все-таки прежде чем окончательно отважиться на расставание с Москвой, в которой прошла вся его жизнь, Ходасевич хочет решить еще один вопрос. 3 октября 1920 года, то есть как раз в то время, когда Анна Ивановна находится в Петрограде, он пишет письмо пушкинисту Павлу Щеголеву:

«Обстоятельства разных порядков — житейские и психологические — гонят меня из Москвы. Горький сулит мне в Петербурге всякие блага земные. Это хорошо, но благ небесных он мне не даст, а без них трудно. Тут-то и хочется мне попросить совета у Вас. Скажите моей жене, а еще лучше — черкните пару слов вот о чем: как Вы думаете, сыщется ли мне в Петербурге работа порядка историко-литературного, самого кабинетного, самого кропотливого? Это как раз то, чем я давно мечтаю заняться, и это единственное, что меня сейчас может “среди мирских печалей успокоить”. Если бы оказалась возможность работать в непосредственной близости к Вам — это было бы мне всего приятнее. Кое-какой навык у меня есть, самая близкая мне область — поэзия Пушкинского века. Вы меня глубоко обяжете, если уделите несколько минут моему вопросу»¹.

¹ СС-4. Т. 4. С. 419—420.

К началу революции Ходасевич лишь пробовал свои силы в истории литературы. В 1918 году он готовил для Издательства З. М. Мировича томик Дельвига. В планах этого «мифического, с эстетским уклоном» издательства, у хозяина которого, по свидетельству писателя Владимира Лидина¹ (сам он был ближайшим сотрудником Мировича), «было все, кроме денег, бумаги и издательского опыта», значились также Дмитрий Веневитинов под редакцией Вячеслава Иванова и рано умершая писательница 1830—1840-х годов Елена Ган, между прочим, мать Елены Блаватской, — ее книгу должен был подготовить Гершензон, который прежде занимался ее творчеством. Ни одно из этих изданий не состоялось. Тем не менее Ходасевич успел серьезно включиться в работу. Осенью 1918 года в Петрограде он, при содействии Бориса Модзалевского, искал в Публичной библиотеке и Пушкинском Доме дельвиговские рукописи и одновременно помогал Гершензону в изучении наследия Герцена и Огарева; эти труды вдохновили его на стихотворение о Герцене, Огареве и близких им женщинах («Четыре звездочки взошли на небосклон...»); читано на герценовском вечере 21 января 1920 года). Он сдержанно-корректно отрецензировал Брюсовскую реконструкцию «Египетских ночей» и подготовленное Брюсовым же собрание сочинений Пушкина, не без язвительности отметив стремление бывшего редактора «Весов», а ныне начальника ЛИТО «политически и религиозно “выгородить”»² великого поэта, представив его революционером и атеистом (этой темы Ходасевич еще будет касаться в статьях 1930-х годов, когда такого рода деформации станут в советском литературоведении обычным делом).

Нельзя сказать, что эти труды до сих пор занимали в жизни Ходасевича такое уж большое место. Но мечта о серьезной историко-литературной работе, в которой можно было бы на время укрываться от творчески питательной, но трудной и утомительной современности, жила в его сердце. Переезд в Петербург (назовем, наконец, город так, как звал его сам поэт) давал надежду на осуществление и этой мечты.

Все складывалось, казалось, самым благоприятным образом. Но в последние недели перед отъездом вдруг начались сложности. Во-первых, Ходасевичей обокрали, вынесли всю одежду. Во-вторых, какие-то непонятные препятствия возник-

¹ Прозаик, коллекционер и мемуарист Владимир Лидин (Гомберг) был добрым приятелем и постоянным корреспондентом Ходасевича в 1917—1924 годах. Ходасевич, по собственному признанию, любил Лидина «за его беспросветную любовь к литературе, к литературщине, к переплетам, к литературной чепухе».

² *Ходасевич В. Пушкин и поэты его времени.* Т. 1. С. 86.

ли в ходе простой процедуры: перевода академического пайка из Москвы в Петроград. Историк Михаил Покровский, заместитель Луначарского, вдруг пожелал отдать паек уезжающего поэта кому-то из московских ученых. Брюсов, как начальник литературного подотдела Наркомпроса, как будто был на стороне Ходасевича, но уверял, что для решения вопроса нужны месяцы. Позднее выяснилось, что именно Брюсов-то и ставил палки в колеса, осведомляя начальство о неблагонадежности Ходасевича. Прошли и в самом деле месяцы, прежде чем академический паек стали переводить Владиславу Фелициановичу по новому месту жительства и службы.

Так или иначе, 17 ноября 1920 года Ходасевичи, имея на руках командировочное удостоверение «Всемирной литературы», сели в международный вагон и отправились на северо-запад. Так закончился московский период жизни поэта, продолжавшийся 34 года.

Глава седьмая
ВЕСТНИЦА В ЦВЕТАХ

1

Сперва Ходасевичи поселились на Садовой (дом 13, квартира 5), в доме антиквара Савостина, служившего вместе с Валентиной Ходасевич и ее мужем Андреем Дидерихсом в Оценочно-антикварной комиссии по учету национальных ценностей. В первом письме Борису Диатроптову из Петрограда (от 23 ноября 1920 года) Ходасевич, надевая привычную шутовскую «хлестаковскую» маску, расписывает свое «ужасть какое роскошное» новое житье:

«*Весь город взволнован нашим прибытием. По улицам — курьеры, курьеры, курьеры. Погода чудная. У нас не квартира, а дворец: 119 комнат, дров — 768 сажен. Петрокоммуна прислала мне золотой венок. На обороте — тип здешних женщин. У меня 24 любовницы из высшего здешнего общества. Едим исключительно бананы и запиваем хересом. Нюра жалуется, что бриллиантовая диадема, которую она носит, ей тяжела. Пустилки, привыкнет!*»¹

На самом-то деле все было непросто: в «серьезном» письме Георгию Чулкову, написанном месяц спустя, Ходасевич упоминает и новое обострение болезни («половину дней, не меньше, просто просидел дома, обмотанный бинтами и компрессами»), и обилие «неотложных, за глотку хватающих» дел.

Видимо, уже в январе Ходасевичи вселились в две комнаты знаменитого Дома искусств (ДИСКа) на Мойке.

Здание на углу Невского проспекта и набережной Мойки было построено в 1768—1771 годах Жаном Батистом Валлен-Деламотом для петербургского генерал-полицмейстера Николая Чичерина, на месте временного деревянного дворца, в котором императрица Елизавета Петровна жила во время строительства дворца Зимнего. Позднее неоднократно менял владельцев. В последние екатерининские годы и при Павле I хозяином здесь был «брильянтовый князь» Александр Куракин, позже, в

¹ СС-4. Т. 4. С. 421.

1800—1806 годах — Абрам Израилевич Перетц, откупщик и финансовый консультант Михаила Сперанского, один из тех «польских жидов», с которыми так люто воевал в начале Александровской эпохи министр юстиции Гаврила Романович Державин. Комнаты у Перетца снимал Петр Пален, убийца Павла. Еще позже, когда домом владел купец Косиковский, здесь квартировал писатель Николай Иванович Греч, один из известных пушкинских недругов, а сам Пушкин частенько обедал в расположенной здесь же ресторации «Талон». И наконец, в 1858 году дом приобрели известные торговцы вином и провизией братья Григорий и Степан Елисеевы. При них здесь располагались Благородное собрание, знаменитый в 1860-е годы Шахматный клуб. Последний домовладелец, Степан Петрович Елисеев, был знатоком и коллекционером современного искусства, в особенности Родена. Его статуи, ныне находящиеся в Эрмитаже, украшали дом Елисеева и в те дни, когда здание было большевиками национализировано и передано в собственность деятелей искусств. Сохранялась почти в неприкосновенности и обстановка: ковры, китайские вазы, псевдоготическая мебель, позолоченный чугун, купидончики на стенах, вся эта «убийственная рыночная роскошь», о которой с улыбкой легкой ностальгии вспоминали годы спустя бывшие обитатели ДИСКА. Сейчас стены дома снаружи выкрашены, как многие дома на Невском, в нежно-розовый цвет; но в начале XX столетия он был таким же свекольно-красным, какими были тогда и Зимний дворец, и здание Главного штаба.

Торжественно открытый 19 ноября 1919 года Дом искусств был одновременно своего рода клубом и общежитием для писателей. Под эти нужды отданы были, во-первых, 63-комнатные личные апартаменты Степана Елисеева (вход с Большой Морской); во-вторых, две расположенные в доме «меблирашки». В квартире, в гостиной, проходили занятия литературных обществ и студий; в зеркальном зале — публичные лекции и концерты. В столовой Елисеева обитатели дома, не готовившие сами, могли пообедать; по утверждению Ходасевича, еда была «дорогой и плохой». Впрочем, даже те, кто столовался отдельно, приходили сюда пообщаться, обсудить литературные и иные дела. Здесь же надменная торговка, пожилая еврейка по имени Роза Васильевна Рура предлагала свои сомнительные деликатесы. Литераторы, пользовавшиеся кредитом Розы Васильевны, оставляли галантные записки в ее альбоме. Кроме кухни жители Дома искусств пользовались горячей ванной (по предварительной записи — раз в месяц!) и услугами парикмахера. Ванн в жилище Елисеевых было две: одна использовалась по назначению, другая, большая (даже не ванная собственно,

а русская баня), служила жильем: здесь обитал сперва Георгий Иванов, а с мая 1921-го — Николай Гумилёв с супругой.

Как вспоминал Ходасевич, «пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть “Диска”, куда посторонним вход был воспрещен: в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития»¹. В письме Чулкову от 20 декабря 1920 года Ходасевич утверждает, что из старичков — «нотаблей», населяющих эту часть дома, — «Волинский — младший». Это неправда: некоторые обитатели коридора были значительно моложе Акима Львовича Волинского, шестидесятилетнего «критического идеалиста», некогда одного из основоположников «нового религиозного сознания» и специалиста по творчеству Леонардо да Винчи, в 1920-е годы занимавшегося в основном теоретическим осмыслением классического балета. Например, 35-летний скульптор и искусствовед князь Сергей Александрович Ухтомский (дядя Нины Берберовой, между прочим) или совсем уж молодой писатель Михаил Слонимский, в чьей комнате часто бывали его друзья — Серапионовы братья.

Комната Волинского, примыкавшая к библиотеке, была хотя и самой просторной, но холодной: «буржуйка», которой старый писатель к тому же и пользоваться-то правильно не умел, ее не прогревала. Еще холоднее было в полуподвале «хозяйской» части дома. Там квартировали: Александр Грин; Всеволод Рождественский; девятнадцатилетний драматург и прозаик Лев Лунц, застрельщик Серапионовых братьев, насмешливый вундеркинд, хрупкий нищезанец (главный же идеолог и наставник Серапионов, Виктор Шкловский, был намного счастливее: он занял елисейскую спальню, расположенную над коридором «нотаблей»); наконец, Владимир Пяст, который когда-то обругал «Счастливый домик». Отдававший продукты и дрова семье, жившей отдельно, где-то на Васильевском острове, Пяст голодал, ходил в обносках; его диковинные брюки с бахромой — «двустопные пясты» — были местной достопримечательностью. Ночами голод, холод и тоска выгоняли этого красивого, благородного, полубезумного и малоталантливого человека (точнее — талантливого *человека*, но слабого поэта) из комнаты. Он шел к соседям, потом, «заметив, что он уже в тягость», отправлялся в концертную залу и там «до утра ходил он один взад и вперед меж зеркальных стен и читал стихи, — вероятно, импровизировал»². От его тяжких шагов звенели подвески на ог-

¹ Ходасевич В. Памяти В. А. Пяста // СС-4. Т. 4. С. 345.

² Все же Пяст мог декламировать и чужие стихи: он серьезно увлекался художественной читкой.

ромных хрустальных канделябрах. Голос его гремел на весь дом, отдаваясь в рояле. <...> Потом залу начали от него за-
пирать»¹. Это — цитата из некролога, написанного Ходасевичем в 1932 году при получении им ложного известия о смерти Пяста (на самом деле он, как и Садовской, пережил Владислава Фелициановича, правда, всего на год). В статье «Дом Искусств» Ходасевич рассказывает трагикомическое продолжение этой истории: изгнанный из зала, Пяст продолжал свои громогласные импровизации «в помещении, совершенно противоположном по размерам и назначению», но был изгнан и оттуда.

Гораздо больше повезло обитателям одной из «меблирашек», выходявшей окнами на Мойку. Там до революции не было центрального отопления, поэтому сохранились старые печи, хорошо держащие тепло: не в пример «буржуйкам», которыми вынуждены были пользоваться «нотабли» и их соседи из полуподвала. Зато комнаты были невероятной формы: круглой (у художницы Александры Щекотихиной), в форме глаголя (у Михаила Лозинского). Комнату Мандельштама, который появился в Петрограде почти одновременно с Ходасевичем, после множества приключений, приятных и не особенно, пережитых в Москве, Киеве и Крыму, Ходасевич охарактеризовать не сумел: она представляла собой «нечто столь же фантастическое и причудливое», как и ее хозяин.

Вторые меблированные комнаты, находящиеся во дворе, были разорены и загажены. В числе немногих их обитателей оказался старый знакомый Ходасевича — Александр Тиняков. «Интеллигент из пропойц», что называется, «восторженно приветствовал» октябрьский переворот. Что-то подсказало ему, что сотрудничество в «Земщине» никто из новых власть имущих ему в вину не поставит. В двух брошюрах, напечатанных в послереволюционные годы, Тиняков доказывал, что вся культура прошлого глубоко реакционна и что даже Блок и Брюсов, ставшие вроде бы на сторону новой власти, — скрытые враги. (А значит, подразумевалось, ставить большевикам надо на тех, кто в старой культуре был презренным неудачником. Как сам Тиняков.) Три года Александр Иванович провел в провинции — сначала в Орле, потом в Казани, где опубликовал в советской прессе множество статей и десятки революционных виршей — слабых и безликих. Личное чувство ощущалось только в антирелигиозных стихах. Ходасевичу он объяснил, что с большевиками ему по пути, «поскольку они отрицают Бога. Бога я нена-

¹ Ходасевич В. Памяти В. А. Пяста // СС-4. Т. 4. С. 345.

вижу, Владислав Фелицианович, — прибавил он конфиденциальным тоном»¹.

Толку от этого было мало, большевики Тинякова, видимо, не оценили. В Петроград он явился грязным, голодным, оборванным, и даже в самое убогое помещение ДИСКА удалось его пристроить не без труда. В Петрограде Тиняков скоро нашел службу, точнее — сразу две: одну по газетной части, другую, по собственным уверениям, — в ЧК (при встрече он объяснил Ходасевичу: «Вы только не думайте ничего плохого. Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники»²). Разжившись деньжатами, он начал водить к себе малолетних папиросниц-проституток. В соседней с ним клетушке поселили больную и престарелую хористку Мариинского театра.

«Его кровать лишь тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала, Тиняков же стучал кулаками в стену, крича:

— Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду да тебя задушу!..»³

Дальнейшая судьба этого «проклятого поэта» была еще колоритнее. В 1924 году вышел третий и самый знаменитый сборник Тинякова — «Ego sum, qui sum» («Я таков, каков есть»). Стихи, вошедшие в эту книгу, отличались демонстративным бесшабашным цинизмом. Еще через два года Тиняков оставил литературу и стал профессиональным нищим — причем просящим милостыню на улицах Ленинграда именно в качестве «писателя, впавшего в нищету», и зарабатывающим этим ремеслом больше многих писателей пишущих. Впоследствии Тиняков был арестован за сочинение резких антисоветских стихов. Ходасевич об этих поворотах судьбы своего знакомого, видимо, не узнал: это было уже много лет спустя после его отъезда из России.

Вернемся, однако, в Дом искусств конца 1920 года. Ходасевичи после долгих хлопот, к которым подключили «Горького и всю силу его», получили две комнаты в мебелирашке. Одну занимал Гаррик. Жилище Владислава Фелициановича и Анны Ивановны было полукруглой формы. Обстановку его Ходасевич в письме Борису Диатропову от 21 января 1921 года описывает так:

«Мебель хорошая, совсем новая, только со стульев нельзя снять чехлов: они белые, с золотом и шелковой обивкой, для

¹ Ходасевич В. Неудачники // Ходасевич В. Колebleмый треножник. М., 1991 С. 444.

² Там же. С. 445.

³ Ходасевич В. «Диск» // СС-4. Т. 4. С. 282.

купеческой “роскошной” гостиной. Но хорошо, что совсем новые, прямо из магазина, были даже обернуты папиросной бумагой, которую мы выкурили. Занавески повесили. Из окна у нас чудесный вид: комната угловая, выходит на набережную Мойки и на Невский, который виден далеко вдоль. Топят нас совсем мокрыми дровами, которые шипят, трещат и больше градусов 9 не дают. Но, братья мои, — это даром! Братья мои, мы за это благословляем судьбу денно и ношно. У Гарьки градусов 11—12 — везет латышам!..»¹

Так или иначе, это было лучше московского полуподвала.

Академический паек Ходасевича — даже когда удалось его выбить — оказался меньше московского («45 фунтов хлеба вместо 35 фунтов муки, фунта 4 масла вместо 6, фунтов 15 селедок вместо 20 фунтов мяса»). Анна Ивановна устроилась на службу в ту же Оценочно-художественную комиссию, в которой получала крохотное жалованье и, что было существеннее, некие «натуральные» блага. Сам Ходасевич вскоре убедился, что «единственный способ устроиться здесь сытно, это — читать лекции матросам, красноармейцам и милиционерам, обязательно местах в пяти-шести одновременно. Но это — ужасающая трепка с Охты на Галерную, оттуда к Финляндскому вокзалу и проч.»² (письмо Георгию Чулкову от 20 января 1921 года). Гумилёв, с его опытом африканских экспедиций и армейской службы, это выдерживал, хотя и не без труда; Ходасевич и пробовать не стал.

Официальные занятия его свелись к присутствию на редколлегии «Всемирной литературы». Даже с Пушкинским Домом ничего не вышло. Оказалось, что академическая научная работа не для поэта Ходасевича. Петербургские пушкинисты не были похожи на Гершензона, который и сам, в сущности, был поэтом — не по ремеслу, а по духу. Они, как язвительно отмечал Владислав Фелицианович в письме Михаилу Осиповичу от 24 июля 1921 года, «заседали по-дондуковски прочно»: «Уважаю, понимаю — но мертвечинкой пахнет. Думал — по уши уйду здесь в историю литературы — а вышло, что и не хочется. Кроме того — Гофман очень уж пушкинист-начетчик, да и Котляревский — ужасно видный мужчина, и все для него несомненно. А Модзалевский совсем хворает. Лернер, простите, глуп. Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части) — да и в нем 7 пудов весу. Нет, не хочу»³.

С 1913-го до середины 1920 года Ходасевич работал для заработка, работал тяжело: это были переводы, рецензии, сцена-

¹ СС-4. Т. 4. С. 425.

² Там же. С. 423.

³ Там же.

рии для «Летучей мыши», позднее — служба. Единственный перерыв он позволил себе летом 1916 года, и то лишь по болезни. И вдруг началась «праздность», продолжившаяся и в Петрограде. Только никто теперь не кормил поэта и его семью даром, как в здравнице. В том же письме Гершензону Ходасевич так описывает свой быт: «Продали все решительно, что только можно было продать. Съедаем втроем в день фунта 2 хлеба и фунтов 5 картофелю (или кашу). Но — странное дело! — так тихо здесь в городе, такие пустынные, ясные вечера, так прекрасен сейчас Петербург, что отчего-то живется легко. Только слабость ужасная, у всех троих»¹.

Петербург, каким он стал в дни «военного коммунизма», голодный Петроград, так ужаснувший Ходасевича два года назад, теперь показался прекрасным. Годы спустя в очерке «Диск» об этом сказано подробнее и яснее:

«Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нем насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта либо гудел автомобиль, — и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего нового, — но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломалась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад еще был прекрасен, и трава, кое-где пробившаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей»².

Жизнь писателей и художников в этом загробно-волшебном городе то нравилась Ходасевичу, то отталкивала его. То ему казалось, что «у здешних более порядочный тон, чем у москви-

¹ СС-4. Т. 4. С. 428—429.

² Ходасевич В. «Диск» // СС-4. Т. 4. С. 273—274.

чей» (письмо Георгию Чулкову от 21 декабря 1920 года), то он ворчал на «повальный эстетизм и декадентство» (письмо ему же от 20 января 1921 года). Старая, дореволюционная эстетическая Москва уже умерла; старый Петербург пытался сопротивляться, имитируя веселую легкость беспечного житья в аду «военного коммунизма», устраивая в дни голода и холода балы-маскарады. Но здесь еще помнили: именно Леонид Каннегисер, один из самых лошених предреволюционных петербургских эстетов, застрелил два года назад председателя Петрочека Моисея Урицкого. Помнили и о последующей волне бессмысленного террора, учиненного испугавшимся Григорием Зиновьевым, вождем петроградской коммуны. В Петрограде не говорили о трагичном с той же легкостью, как в Москве, но не забывали о нем. Мудрено было забыть: трагедия была частью быта.

В конечном итоге Ходасевич втянулся в этот странный быт. Вместе со всеми он посещал «костюмированные балы» в неоплеченных залах и упражнялся в сочинении шуточных стихов, обыгрывающих привычные житейские трудности. Становился он и адресатом, и персонажем таких стихов. Например, «петиции» Всеволода Рождественского, в то время умелого петербургского гладкописца-неоклассика, впоследствии — советского литературного начальника, написанной от лица давнего друга Владислава Фелициановича, Сырника, но «уже отощавшего»:

Говорят, в переустройстве мира
И мышей к работе прикрепят.
Комиссарам не хватает сыра,
Знают только в сказках шоколад.

Нет возни и писку на беседах,
Надо тошим хвостиком вилять,
Регистрироваться в домкомбедах,
В очереди к зернышку стоять.

День-деньской не бегаешь, а ходишь,
Уж и так-то жизнь нам нелегка.
Ну а ты — не стыдно ли — заводишь
Трибуналы, следствия, чека.

Не для нас ли ночью на окошке
(Издавна уж так заведено)
Остаются сахарные крошки,
Хлеб и золотистое пшено.

Пошади! Мышиный королевич
Молится за сырный свой народ.
Нас воспел когда-то Ходасевич,
А теперь Рождественский поет.

Верим в стародавние приметы,
Поселившись с вами в добрый час.
Пошади нас! Если не поэты,
Кто же и заступится за нас!

Петербургские поэты жили неуютно, в голоде и страхе, но в их жизни были веселье, отвага, творчество — и, в конечном итоге, Ходасевичу здесь дышалось лучше и свободнее, чем последние годы в Москве. Здесь он жил поэтом, а не чиновником, жил среди своих.

2

Но это имело и обратную сторону: в Петрограде Владислав Фелицианович не мог избежать участия в литературских конфликтах и сварах.

Кроме Дома искусств он был связан и с Домом литераторов — организацией, у истоков которой стояли старые журналы всех направлений, от сотрудников «Нового времени» до авторов «Речи» и «Русских ведомостей». Но в совет Дома входили и писатели-беллетристы, тоже — всех направлений и взглядов, в том числе Анна Ахматова и Федор Сологуб. 27 декабря 1921 года туда был включен и Ходасевич. В сравнении с ДИСКом здесь было поменьше большевизанствующей молодежи, больше «реакционеров» — а впрочем, и там, и тут каждой твари хоть по паре, а находилось. В помещении Дома литераторов на Бассейной, 11, помимо столовой и читальни работала литературная студия под руководством Бориса Эйхенбаума и Виктора Шкловского (потом — Корнея Чуковского), регулярно устраивались вечера, чтения, диспуты. Ходасевич был в числе их участников. Один из учредителей Дома литераторов, Николай Волков-Волковский, в 1939 году написал Ходасевичу некролог.

В марте 1921 года Владислав Фелицианович вместе с Гумилёвым, Акимом Волынским и другими участвовал в комиссии по распределению очередных пайков, выбитых Горьким для работников искусств. Ему пришлось с недоумением выслушать бешеный монолог Волынского про «сифилитический талант» Сологуба (какие давние счеты двух пожилых писателей, уязвленных и эксцентричных, таились за этой выходкой?); отстоять паек для автора «Мелкого беса» все же удалось. В числе прочих паек выделили и одиозному восьмидесятилетнему Виктору Буренину, зловонному до гротеска фельетонисту, «писаревцу» в

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 81.

эстетике, черносотенцу в последние десятилетия жизни в политике. Годом раньше в пользу голодающего Буренина устроили подписку те, кого он в свое время травил со страниц «Нового времени», в том числе Блок. Среди писателей у Буренина больше не было ненавистников: он пережил свою скандальную славу. Зато выделение пайка Буренину до крайности возмутило Марию Федоровну Андрееву, у которой был свой законный интерес: как комиссар петроградских театров, она хотела отдать побольше пайков артистам — за счет писателей. Выяснение отношений происходило за чайным столом у Горького.

Когда Андреева в запале воскликнула, что «расстреляла бы Буренина своими руками», «Горький, молча сидевший на конце стола, весь побагровел и сказал голосом тихим, но хриплым от злости:

— Я бы не хотел, понимаете... чтобы такие вещи... говорились у меня в доме»¹.

Примечательные слова в устах будущего автора формулы, которая стала лозунгом величайшего террора в истории России («Если враг не сдается...»).

Главным же конфликтом, в который Ходасевич оказался косвенно вовлечен, стала борьба двух фракций петербургской поэзии, «блоковской» и «гумилёвской». Ходасевичу эта вражда казалась очень давней, но на самом деле она разгорелась буквально за недели перед его появлением в Петрограде. Начать с того, что и в 1911—1912 годах Блок далеко не сразу стал неприятелем «наглежащего акмеизма, адамизма и пр.»; он побывал на первом заседании первого Цеха поэтов и лишь позднее вынужден был занять свою позицию в споре Цеха с ивановской «Башней». В 1918—1920 годах поэты бок о бок сотрудничали во «Всемирной литературе», часто споря о поэзии, но споря дружелюбно. К Гумилёву-человеку Блок, судя по дневникам, относился с симпатией, к гумилёвской поэзии — холодно, но до поры до времени без особого раздражения. Гумилёв же Блока — несмотря на все эстетические расхождения — просто обожал, и как поэта, и как человека. Постоянно повторяющиеся претензии к блоковской «системе германских абстракций и символов» да и все гумилёвское «сальерианство» — это была лишь оборотная сторона любви. Доходило до того, что любовницы ревновали Гумилёва к Блоку; одной из них, Ольге Арбениной, Николай Степанович признавался, что если бы в Блока стреляли, он бы заслонил его². Ходасевич, как человек сторонний, этого не знал и не понимал.

¹ Ходасевич В. Прогресс // СС-4. Т. 4. С. 346.

² Гильдебрандт-Арбенина О. Девочка, катящая серсо...: Мемуарные записи. Дневники. М., 2007. С. 126.

Коллизия, приведшая двух поэтов к вражде, стала складываться летом 1920 года, когда поэтесса Надежда Павлович (как описывает ее Ходасевич, «круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила вкривь и вкось, — одному Богу ведомо, из каких материалов»¹) приехала в Петроград из Москвы с поручением организовать местное отделение Союза поэтов. В Москве Союз поэтов был создан еще в 1918-м под председательством Брюсова, но вскоре распался и позднее был организован вновь; на сей раз его возглавил футурист Василий Каменский. То, что петроградский Союз предложено возглавить Блоку, было более чем естественно, тем более что Павлович была житейски близка к нему в последние годы его жизни. Однако и Гумилёв принял активнейшее участие в организации Союза. Причин тому было несколько: и свойственная Николаю Степановичу страсть к председательствованию, над которой посмеивались даже его друзья, и его утопические идеи об участии поэтов, объединенных в некий орден, наподобие масонских братств, в управлении государством. Во всяком случае, работе в Союзе он отдался со страстью.

В воспоминаниях художника Владимира Милашевского, соседа Ходасевича по ДИСКу, есть следующий странный эпизод:

«Я сидел у Ходасевича, окна были открыты. <...>

В дверь кто-то постучался, и на возглас «Войдите!» вошел плотный, крепко сбитый человек среднего роста, с неподвижно прикрепленной к спинному хребту головой. Он как бы специально был рожден для положения по команде «смирно!». <...>

Его лысая белесая голова, с невыразительными, не обращающими на себя внимания чертами лица, с маленькими подслеповатыми глазами, зорко и подозрительно смотрящими, напоминала кокон шелковичного червя! Это форма головы, про которую деревенские бабы говорят: голова толкачиком. <...> Этот старательный фронтовик, но не «орел» — был Гумилёв.

В этой «подтянутости» было что-то выделанное, театральное-подчеркнутое. <...>

Гумилёв присел крайне натянуто на кончик неважнецкого кресла. Он явно пришел «с визитом» к особе высокопоставленной, члену невидимой бюрократической иерархии, «департамента поэзии». <...>

Словесный поединок напоминал ринг боксеров, причем щупленький, неподготовленный боец валил с каждого удара борца «в хорошей форме» с «воинственно приподнятой грудью».

¹ Ходасевич В. «Диск» // СС-4. Т. 4. С. 281.

Гумилёв: Мы скоро организуем всероссийский союз поэтов.

Ходасевич: Это что же, для пайка?

Гумилёв: Ну зачем же так низко понимать! Это имеет огромное, чисто духовное значение!

Ходасевич: Нечто вроде министерства поэзии?

Гумилёв: Если хотите — да.

Ходасевич: Ну что же! Это очень удобно для писания казенных стихов, по команде!»¹

Диалог этот Милашевский относит к весне 1921 года. Но Союз поэтов в Петрограде был создан летом 1920-го, до переезда Ходасевича из Москвы, и к весне 1921-го Гумилёв давно был его председателем, а Ходасевич — членом правления.

События, приведшие к смещению с председательского поста Блока и к избранию Гумилёва, развивались так.

Ближайшими людьми к Гумилёву в 1920 году были молодые поэты, его ученики — четверка так называемых «гумилят». Прежде всего — «Жоржики», неразлучные с довоенных пор Георгий Владимирович Иванов и Георгий Викторович Адамович. В то время это были образцовые петербургские эстеты, про которых сам Гумилёв с иронией говорил, что это не люди, а произведения искусства, вроде этрусской вазы. Иванов, чей «Вереск» в свое время был так язвительно охарактеризован Ходасевичем, начал литературную деятельность еще в 1910 году, шестнадцати лет от роду; с тех пор он побывал эгофутуристом, входил в первый Цех поэтов, уже без Гумилёва пытался в 1916 году основать второй, дружил с Мандельштамом, был принят в домах Блока и Кузмина. Однако его личная репутация не отличалась солидностью: Кузмин звал его за глаза «модисткой с картонкой, разносящей сплетни». Не ожидали в те годы особых откровений и от его поэзии, уже вполне, казалось, сложившейся и застывшей в своем самодостаточном эстетизме. Второй «Жоржик» был двумя годами старше, но его литературная биография — короче. С Гумилёвым он сколько-нибудь близко познакомился в 1913—1914 годах, когда у того был долгий и запутанный роман с его сестрой Татьяной. Первая пуб-

¹ Милашевский В. Вчера, позавчера...: Воспоминания художника. М., 1989. С. 221—222. В. Милашевскому принадлежит по-своему великолепная словесная характеристика Ходасевича той поры: «Пергаментно-желтое, иссушенное, скопческое лицо. Его горло было окутано или, вернее, спеленуто черным шелковым платком, из-под которого виднелся еще и белый платок. Это придавало шее и голове мертвенную неподвижность, как у мумии. Взгляд настойчивый и упорный, как будто скрипучий. Черные волосы, безжизненные и прямые, спускались до мочек ушей» (Там же. С. 185). Но, видимо, Милашевский, как и полагалось художнику, лучше помнил визуальные образы, чем разговоры, к тому же на чуждую ему тему.

ликация — в 1915-м, первая книга («Облака») — в 1916-м; все же и Адамович успел выступить до революции. Рада (Ираида) Гейнике, с 1921 года писавшая под псевдонимом Ирина Одоевцева, невеста, а вскоре и жена Иванова, была выпускницей одной из гумилёвских студий. Зимой 1920/21 года ее злободневные баллады, трогательные и ироничные («Толченное стекло», «Почему в Петрограде испортились водопроводы» и др.), имели шумный успех. Наконец, Николай Авдеевич Оцуп, сын царскосельского фотографа, ровесник Иванова, когда-то — студент Сорбонны, изучавший философию у самого Анри Бергсона, начал литературную деятельность, как и Одоевцева, уже в дни «военного коммунизма», хотя впервые напечатался еще в 1915 году. Самый творчески близкий Гумилёву из четверки и самый, как оказалось, лично преданный ему, он сочетал поэтический талант со способностями совершенно иного рода: никто лучше Оцупа не умел обхаживать разного рода комиссаров (в том числе выискивая среди них тайных графоманов), добывать у них пайковые блага и с выгодой обменивать их на иные блага на черном рынке. Из поездок в глубинку России Оцуп привозил в город такие сокровища, как «сушенная вобла, клюква, баранки, горох, овес, а порой — это звучало как чудо — двадцать или тридцать кусочков сахару»¹. Делал он это, конечно, не для себя одного. По утверждению Георгия Иванова, Оцуп числился при «Всемирной литературе» в странной должности «председателя хозяйственного комитета», по крайней мере, имел соответствующую бумагу с печатью. Но круг людей, подкармливавшихся вокруг Оцупа и благодаря ему в Петрограде, был безграничен, те же, кто в него не попадал, испытывали к «предхозкома» настоящую ненависть.

Спор в Союзе поэтов шел на самом деле не между Блоком и Гумилёвым, которые служили лишь ширмами, а между Надеждой Павлович и «гумилятами». Последним нужна была — для облегчения снабженческих поездок Оцупа — печать Союза. Но в дело вмешалась еще и политика. Автор «Двенадцати», давно разочаровавшийся в большевиках и не скрывавший этого, по инерции считался «революционным» поэтом; у Павлович были связи в Наркомпросе. Тем временем в августе 1920-го в Петрограде (и в Союзе поэтов) появились Лариса Рейснер, вышедшая замуж за того самого «товарища Раскольниковца», в ту пору командовавшего Балтийским флотом, и при ней — Сергей Городецкий, автор «Сретенья царя», перешедший в большевистский лагерь и так же, как и прежде, не соблюдавший в своем вернопопданническом восторге ни меры, ни приличий. 24 ав-

¹ Чуковский К. Чукоккала. М., 1979. С. 265—266.

густа он опубликовал в «Петроградской правде» статью-донос, направленную против «Всемирной литературы» и с прозрачными личными выпадами против Гумилёва, а несколько раньше, в «Красной газете», — стихотворный пасквиль. В Союзе поэтов Рейснер и Городецкий стали союзниками Павлович (по ее же позднему свидетельству). Возможно, именно это склонило большинство членов Союза на другую сторону.

Первый переворот произошел 12 октября, когда был изменен состав правления Союза; из него были выведены несколько представителей «блоковской» партии, в том числе Павлович — но и Оцуп тоже. Блок сложил было с себя полномочия, но на следующий день к нему явилась делегация во главе с Гумилёвым и уговорила остаться в должности. Через восемь дней Александр Александрович присутствовал на большом поэтическом чтении в клубе Союза (в доме Мурузи на Литейном) и в дневниковой записи отметил: «Крепкое впечатление производят одни акмеисты». Особенно понравились Блоку новые стихи Мандельштама, только что появившегося в городе, — стихи, впоследствии вошедшие в «*Tristia*». В связи с «новым» Мандельштамом Блок и Гумилёв содержательно поговорили о рациональном и иррациональном в поэзии, о природе языка. На вражду все это пока что не походило. Напомним: до приезда Ходасевича в Петроград оставался ровно месяц.

В декабре, то есть через считанные недели после появления Ходасевича в Петрограде, был создан новый, уже третий Цех поэтов. Ходасевич был приглашен на его второе заседание (к этому времени он поселился в ДИСКе). Ходасевич лишь понаслышке знал прежнюю историю петербургских литературных объединений. Он смутно слышал, что когда-то Цех поэтов был «беспартийным» объединением, а потом стал «акмеистическим». Гумилёв уверил его, что новый Цех будет «беспартийным».

«Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении “Цеха”. Мандельштам засмеялся:

— Да потому, что и нет никакого “Цеха”. Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилёву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

— Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком “Цехе”? — спросил я с досадой.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

— Я там пью чай с конфетами¹.

¹ Ходасевич В. Гумилёв и Блок // СС-4. Т. 4. С. 86—87.

Ходасевич не понимал всей гаммы чувств, стоящей за мандельштамовской иронией в адрес Гумилёва. К обоим поэтам он, при более тесном каждодневном общении, стал относиться не в пример лучше. Бытовая характеристика Мандельштама в «Диске» — очень живая и правдоподобная, притом согретая искренней симпатией (не в пример резким отзывам из писем 1916 года): «Странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним недающим стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим»¹. Капризный, вспыльчивый, легкомысленный Мандельштам и серьезный, самоуглубленный, обидчивый, язвительный Ходасевич кажутся реинкарнациями Пушкина и Баратынского. Но сам Ходасевич далек был от мысли о таких аналогиях, по крайней мере, в отношении Мандельштама: к автору «Камня» он все же по-прежнему относился чуть свысока, как, впрочем, и к Гумилёву.

За первые месяцы жизни в Петрограде Владислав Фелицианович по достоинству оценил критическое чутье вождя акмеистов, его понимание поэтической формы, его преданность литературе. Но он не мог удержаться от улыбки, глядя, как Гумилёв, еще минуту назад — важный и торжественный, играет в пятнашки со своими юными учениками. Ходасевич был умен и наблюдателен в том, что касалось внешних сторон личности и поведения двух поэтов-акмеистов, но глубже не проникал; и уж конечно не знал он тонких деталей их взаимоотношений, уходивших корнями в начало 1910-х. Уже в те годы Мандельштам, очень рано интеллектуально и духовно созревший, но инфантильный в быту, тяготился опекой властного старшего друга. За годы скитаний он достиг подлинной творческой зрелости, испытал счастливую любовь и литературное признание — неудивительно, что в 1920 году его затаенный бунт против Гумилёва стал вырываться наружу. Осип Эмильевич ухаживал за Ольгой Арбениной, почти официальной пассией Николая Степановича, по-своему переучивал Ирину Одоевцеву, гордость гумилёвской школы, и не упускал случая отпустить за глаза язвительное замечание в адрес «синдика». Дело доходило до серьезных объяснений между поэтами. И все же Мандельштам и Гумилёв искренне друг друга любили, были связаны многолетним общим литературным делом, общими идеями,

¹ Ходасевич В. «Диск» // СС-4. Т. 4. С. 280.

и, конечно, в Цехе поэтов Мандельштама, каким бы сладкожежкой он ни был, привлекал не только чай с конфетами.

Иначе обстояло дело у «Жоржиков», на которых Ходасевич тогда особого внимания не обращал — не зная, что перед ним люди, в спорах с которыми пройдут последние 12—13 лет его жизни. Личные и литературные обстоятельства заставляли их в то время бороться с «блоковцами» и повторять в статьях идеи своего учителя, которые с каждым годом будут им все менее близки, но в глубине души их кумиром и в 1920—1921 годах оставался Блок. Адамович в 1930-е годы писал: «Мы, с акмеизмом и цехом в башке, все-таки чувствовали, что не Гумилёв наш вожакий, а он»¹.

Участие Ходасевича в Цехе оказалось коротким. Формальным поводом к выходу стало принятие в Цех поэта Сергея Нельдихена, который в 1920—1921 годах был в числе знаменитостей ДИСКА. Сын военного моряка, Сергей Евгеньевич Нельдихен-Ауслендер (такова была его полная фамилия; ее второй половиной пришлось пожертвовать, ибо Сергей Ауслендер в русской литературе уже был) родился в Таганроге. В прошлом у него были кадетское училище, военная служба, фронт, самострел, опять служба — на Балтийском флоте. Уборщицы проносили его немецко-датскую фамилию как «Нелькин». Гремучие манжеты Нельдихена, искусно маскировавшие отсутствие под пиджаком рубашки, соперничали, в качестве достопримечательности, с «двустопными пятами» и гусарскими рейтузами Милашевского. Но прославился Нельдихен все-таки не манжетами, а стихами.

«В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривою глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот “я”, от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, притом — дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного»². Ходасевич приводит начало одного из стихотворений, вошедших в цикл «Праздник» — центральное произведение Нельдихена; именно его читал он на заседании Цеха:

Женщины, двухполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бутристокелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие весело-желтые распашонки и матовые висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки —
О, как волнуют меня такие женщины!

¹ Адамович Г. Собрание сочинений: Комментарии. СПб., 2000. С. 208.

² Ходасевич В. Гумилёв и Блок // СС-4. Т. 4. С. 87.

По улицам всюду ходят пары,
У всех есть жены и любовницы,
А у меня нет подходящих;
Я совсем не какой-нибудь урод,
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона...

Судя по точности цитаты, Ходасевич переписал для себя начало стихотворения — но лишь начало. Дальнейшее содержание он пересказывает весьма приблизительно: «Нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома»¹. На самом деле не Женька и не Сонька, а Райка, и не бухгалтер, а «толстый учитель из Смоленска», и похищением фонарика дело не заканчивалось. Лирический герой предавался трогательным страданиям:

Где теперь Рая? — если б я ее встретил,
Я бы женился на ней!
Фу, — подставляю затылок под кран,
Надо успокоиться...

А финал у стихотворения уж совсем неожиданный:

Поцелуй — это то же, что у собак обнюхиванье.
Целуя женское тело, слышишь иногда,
Как в нем переливаются соки;
— Я знаю, из чего состоят люди,
Но мне ведь это нисколько не мешает целовать.

Конечно, Нельдихен писал не «стихотворения в прозе» — это был уитменианский верлибр. Но «Праздник» — это почти пародия на Уолта Уитмена, на его самоупоение, свободолюбие, космизм. Причем пародия, казалось бы, бессознательная. Нельдихен читал эти стихи с пафосом, без тени улыбки. Он со всей решительностью отождествлялся со своим героем, наделяя его своей биографией, принимая на себя полную ответственность за его пошлые страсти, гротескные сентенции и манию величия:

Иисус был великий, но односторонний мудрец,
И слишком большой мечтатель и мистик;
Если бы он был моим современником,
Мы бы все же сделали с ним многое, очень многое!

«Когда Нельдихен кончил, Гумилёв в качестве “синдика” произнес приветственное слово. Прежде всего он отметил, что глупость доньше была в загоне, поэты ею несправедливо гну-

¹ Ходасевич В. Гумилёв и Блок // СС-4. Т. 4. С. 87.

шались. Однако пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость — такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двестишше Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупости я не могу понять, —

Гумилёв назвал его жестоким и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в “Цех Поэтов”.

После собрания я спросил Гумилёва, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в “Цехе”. К моему удивлению, Гумилёв заявил, что издевательства никакого нет.

— Не мое дело, — сказал он, — разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен — поэт, и мой долг — принять его в “Цех”.

Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер “Цеха” с участием Нельдихена. Я послал Гумилёву письмо о своем выходе из “Цеха”¹.

История эта очень характерна. Ходасевича всегда интересовали глупые стихотворцы, наивно-непосредственные графоманы. Еще в 1918-м он написал статью «Открываю гения», посвященную некоему Иоанну Павлушину, чье творчество «венчает здание российской фешенебельно-будуарно-элегантно-эстетно-лакейской поэзии, как золотое копьё Паллады венчало афинский Акрополь. Каждое слово его вскрывает такие глубины пошлости, какие и не снились его предшественникам»². Среди предшественников Павлушина на первом месте пребывал Северянин, которого Ходасевич некогда так хвалил. Но стихи Павлушина похожи не на Северянина — у современного читателя они вызывают ассоциацию с Николаем Олейниковым:

Анна Ивановна — роскошь салонная,
Анна Ивановна — точно хрустальная,
Анна Ивановна — вечно бонтонная,
Анна Ивановна — чуточку сальная,
Анна Ивановна — в торсе гармония,
Анна Ивановна — вся обещание,
Анна Ивановна — шутка, ирония,
Анна Ивановна — ласка прощания³.

¹ Ходасевич В. Гумилёв и Блок // СС-4. Т. 4. С. 88.

² Ходасевич В. Открываю гения // Понедельник. 1918. 17(4) июня.

³ Там же.

Для Ходасевича это был пример «отрицательной поэзии», находящейся «ниже нуля» и тем интересной — собственно, от статьи «Открываю гения» прямой переход к известному фельетону 1936 года. Но мысль о том, что в подобных курьезах могут таиться истинные поэтические возможности, что *настоящий* поэт может (с очень глубоко запятанной, скрытой самоиронией) культивировать в себе такого вот Павлушина, что грань между серьезным высказыванием и пародией может быть размыта — такая мысль была для Ходасевича дика и неприемлема.

Для Гумилёва эта мысль тоже была не слишком понятна, но он со своим сверхъестественным нюхом на чужие стихи не мог не оценить мастерства Нельдихена. Видя, как точно и умело временами выбирает и расставляет слова дураковатый «Нелькин», который не только в стихах, но и в быту бравировал своим невежеством, тщеславием и наивным фатовством, Гумилёв подозревал, что за его простодушием скрывается какой-то второй план. По словам Оцупа, Николай Степанович «любя называл Нельдихена “апостолом глупости”». Но ведь «апостол глупости» — совсем не то, что дурак. Причем в этой оценке Нельдихена Гумилёв был прав: судя по его книгам, вышедшим в 1920-е годы, тот был человеком не только даровитым, но и достаточно тонким и сложным, с собственными нетривиальными эстетическими идеями. Впрочем, многие участники Цеха хоть и не желали спорить с синдиком, были в глубине души согласны с Ходасевичем. Георгий Иванов в 1930-е годы прерительно отзывался о «дураке Нельдихене».

Принятие Нельдихена было лишь одной причиной выхода Ходасевича из Цеха. Вторая, скрытая, но более важная, заключалась в следующем: в феврале 1921 года в Союзе поэтов произошёл второй переворот. На очередном собрании было избрано новое правление во главе с Гумилёвым. Через несколько дней после собрания Гумилёв вместе с Георгием Ивановым и Нельдихеном пришли к Блоку и вновь просили его вернуться на пост председателя Союза или хотя бы остаться в правлении. На сей раз Блок ответил отказом.

Ходасевич, не присутствовавший на собрании, был заочно включен в новый состав правления. Первым его побуждением было отказаться от этой чести, но Мандельштам уговорил Ходасевича «не подымать истории», чтобы не обижать Гумилёва». Тем не менее Владислав Фелицианович предпочел под благовидным предлогом выйти из Цеха поэтов, чтобы не считаться членом «гумилёвской партии». Позиция Ходасевича в споре символистов и акмеистов оставалась неизменной с 1911 года, а петербургские наблюдения лишь укрепили его в ней. С Блоком его сближало не только восхищение его поэзией и обаяние его

личности, но и память о той великой утопии, под знаком которой прошла их молодость. В одной из его редких личных бесед с Блоком (а общались они в основном во время пушкинских торжеств в феврале 1921 года) речь зашла и о золотой поре символизма. «О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и С. М. Соловьеве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: “Забыв, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи как чужие и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор”»¹.

Председательство в Союзе было Блоку ненужно, но его явно обидели, а он был в эти месяцы раздражен и мнителен и уже плохо себя чувствовал. Его стали все больше сердить и стихи Гумилёва, и особенно его педагогика, в которой Блок (впрочем, не он один) видел конвейерное производство литературных ремесленников. В результате в конце весны из-под пера уже большого поэта вышла известная статья «Без божества, без вдохновения», в которой старые претензии к акмеизму высказывались в довольно истеричной и путаной форме. Пафос статьи сводился, по существу, к отрицанию автономии искусства, и благодаря этому она часто и обильно цитировалась в советских учебниках, став орудием той самой «черни», тех «чиновников», о которых Блок несколькими месяцами раньше, 11 февраля 1921 года, с таким гневом говорил в речи «О назначении поэта». При жизни Блока статья, однако, не увидела свет, и отчасти в этом оказался виноват Ходасевич.

Как известно, между январем и маем 1921 года произошло немало событий. Прежде всего — Кронштадтское восстание, когда одни петербургские интеллигенты ждали освобождения из рук еще недавно ненавистной «матросни», другие же просто со страхом слушали, как колотят по льду артиллерийские снаряды; когда Гумилёв, уже несколько месяцев участвовавший в подпольной группе Таганцева, ходил агитировать в пользу повстанцев в рабочие районы, обрядившись в поношенное рыжее пальтишко, белую шапочку конькобежца и валенки (он полагал, что подобный костюм «внушит рабочим массам доверие»). Затем — введение нэпа, положившее конец голоду и давшее надежду на оживление издательской жизни (проявлением которого стало, в частности, переиздание «Путем зерна»). В этой обстановке был задуман журнал «Литературная газета», в редакцию которого вошли Аким Вольнский, Евгений Замятин, Корней Чуковский и Александр Тихонов. Именно для него пред-

¹ Ходасевич В. Гумилёв и Блок // СС-4. Т. 4. С. 85.

назначалась статья Блока. Но журнал был запрещен по приказу главы Петрограда Г. Е. Зиновьева прежде, чем вышел первый номер. Одним из материалов, вызвавших возмущение петроградского вождя, стала заметка Ходасевича «Памяти предка», посвященная пушкинско-дельвиговской «Литературной газете» и содержащая прозрачные политические аллюзии: «Во дни Николая Первого, когда одни из писателей были уже удушены на виселице, другие сосланы, третьи изнывали в силках официального покровительства... когда писателю приходилось становиться чиновником, чтобы не быть заподозренным в крамоле, — в те проклятые времена несколько писателей, состоящих на замечании у правительства, вздумали издавать газету, которой цель заключалась в том, чтобы казенным литературным мнениям, пристрастным оценкам, доносам и невежеству Булгариных, хотя бы в области узколитературной... противопоставить придавленное цензурой, но все-таки независимое и неподкупное мнение»¹.

Такого рода параллели были обычны в поздний, упадочный, беспасфосный период советской истории, но в 1921-м они выглядели дерзко. Особенно странно звучали эти слова в устах человека, который двумя годами раньше был «в конце концов привержен Совдепии». Политические взгляды Ходасевича действительно начали меняться — и не в последнюю очередь тому виной был нэп. Если у многих возрождение частной торговли вызвало надежды на «потепление», то для Ходасевича оно стало источником разочарования. Его готовность терпеть голод, несвободу и террор связана была с романтической неприязнью к «аршинникам», с надеждами на принципиальное преобразование мира. Но если всё возвращается на круги своя, если снова хозяевами жизни становятся «аршинники», причем самые мелкие, пошлые, некультурные из них, — какой смысл был во всем пережитом?

И Революции не надо!
Ее рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой — торговать.

Эти строки написаны в 1921 году. Еще четче высказался Ходасевич в стихотворении, написанном полтора года спустя, в январе 1923-го, уже за границей, и оставшемся в рукописи:

Помню куртки из пахучей кожи
И цинготный запах изо ртов.

¹ Ходасевич В. Пушкин и поэты его времени. Т. 1. С. 97.

А, ей-Богу, были мы похожи
На хороших, честных моряков.

Голодали, мерзли — а боролись.
И к чему ж ты повернул назад?
То ли бы мы пробрались на полюс,
То ли бы пошли погреться в ад.

.....
Повернули — да осволочились.
Нанялись работать на купца.
Даже и не очень откормились —
Только так, поприбыли с лица.

Выползли на берег, точно крабы.
Разве так пристало моряку?
Потрошим вот, как на кухне бабы,
Глупую, вонючую треску.

А кунец-то нами помыкает
(Плох сурок, коли попал в капкан),
И тебя не больно уважает,
И на нас плюет. Эх, капитан!..

Здесь интересны параллели со стихами 1918 года про кораблик на спичечном коробке. Метафора (а тут нельзя не вспомнить еще, что самое известное беллетристическое произведение, посвященное ДИСКу, роман Ольги Форш называется «Сумасшедший корабль») меняет наполнение, обрастает плотью, в том числе злободневно-политической. И здесь не так уж важно, что отношения «капитана» с «купцом» виделись Ходасевичу в не совсем верном свете. «Всемирная пошлость» вернулась, и суровая дисциплина мореплавателей-первопроходцев обернулась банальной тиранией. Тем более что политическое послабление в планы власти не входило, и через считанные месяцы обитателям ДИСКА предстояло в этом убедиться.

Раздражение Ходасевича вызвано было и тем, что в нэповскую жизнь быстро стали втягиваться и литераторы. С начала лета Союз поэтов переехал из ДИСКА в дом Мурузи на Литейном — тот, где прежде жили Мережковские, а много лет спустя — Иосиф Бродский. Там был организован Дом поэтов — открытый клуб ресторанного типа, где проходили публичные чтения перед разнообразной, в том числе и специфически нэповской аудиторией, своего рода пародия на былую «Бродячую собаку». Чтение с участием Нельдихена должно было проходить именно в Доме поэтов, и это было еще одной причиной отказа Ходасевича. Впрочем, торжественное открытие Дома, намеченное на конец августа 1921 года, так и не состоялось. Тому были очевидные и трагические причины.

В конце лета 1921 года Ходасевич, как и многие другие обитатели ДИСКА, получил возможность отдохнуть и подкормиться — и не в городской «здравнице», как годом раньше, а можно сказать, «на даче». Речь идет о колонии в Холомках и Бельском (иначе Вельском) Устье, первом прообразе будущих советских домов творчества.

Усадьба Холомки Порховского уезда Псковской губернии до революции принадлежала князю Андрею Григорьевичу Гагарину, известному физики и инженеру, первому ректору Санкт-Петербургского политехнического института. Дом был построен в год начала мировой войны по проекту Ивана Фомина, ведущего архитектора-неоклассика той поры. В военные дни здесь был госпиталь. Во время революции Гагарины нашли способ спасти реквизированную усадьбу от разграбления (а себя — от бездомности), устроив здесь «Народный дом им. В. И. Ленина». Однако летом 1920-го он был закрыт по решению местных властей. От выселения Гагариных на сей раз защитила «охранная грамота» за подписью Ленина, полученная еще в январе князем-инженером, в память его научных заслуг. Но князь Гагарин был уже болен, в декабре того же года его не стало, на родственников «охранная грамота» никак не распространялась, а местный Совдеп ждал только часа, чтобы завладеть «бесхозным» имуществом. Неудивительно, что жена и дети Андрея Григорьевича стали заранее искать способы сохранения усадьбы. Через живописца-мирискусника Мстислава Добужинского, доброго знакомого Гагарина по прежним, дореволюционным годам, они обратились к Горькому с предложением организовать здесь колонию для отдыха писателей и художников.

Устройством колонии занимались Добужинский и Чуковский зимой 1920/21 года. С наступлением лета усадьба стала наполняться гостями. Наплыв их был таков, что под нужды колонии отдали и соседнее имение под названием Бельское Устье, прежде принадлежавшее Новосильцевым.

Ходасевич с семьей получил возможность отправиться в колонию в начале августа. Прежняя чиновничья жизнь в Москве имела одно преимущество: в тех случаях, когда Ходасевич пользовался железной дорогой, он ехал в международном вагоне, в купе на двоих, и билеты доставлялись в тот же день. На сей раз, несмотря на наличие командировки от «Всемирной литературы», пришлось две недели биться, чтобы достать билеты в общий вагон. Отъезд был назначен на утро 3 августа.

По рассказам Ходасевича, накануне вечером он заходил к своим знакомым по ДИСКУ — прощаться. Зашел он и к Гумилёву, поскольку выход Ходасевича из Цеха не испортил их личных отношений. Тот был один: жена, Анна Энгельгардт, уехала к дочери, в Парголово.

«Как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилёва, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. <...> Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Иксуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, как я собирался уйти, Гумилёв начинал упрашивать: “Посидите еще”. Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилёва до двух часов ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилёв стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — “по крайней мере до девяноста лет”. <...>

До тех пор [он] собирался написать кучу книг. Упрекал меня:

— Вот мы одноклассники с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю — и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сторбившись, волочить ноги и как он будет выступать “молодцом”¹.

Вернувшись в свою комнату, Ходасевич застал там заплаканную Надежду Павлович, которая рассказала ему страшные новости о Блоке. Что Александр Александрович болен, знали все. Но Павлович поведала Ходасевичу: Блок — в агонии и сошел с ума.

Прощаясь с Гумилёвым, Ходасевич договорился, что оставит у того кое-какие вещи на сохранение. Но когда под утро он подошел к гумилёвской комнате, на стук его никто не отозвался. В столовой он узнал от прислуги, что ночью, через час или два после его ухода, Гумилёва арестовали. Владислав Фелицианович считал, что он — последний, кто видел Гумилёва на свободе. На самом деле это не совсем так: между уходом Ходасевича и приходом чекистов вернулась жена, и Николая Степановича арестовали при ней.

Все эти детали выглядят, быть может, несколько «литературно», но Ходасевич, в отличие от Георгия Иванова, редко дефор-

¹ Ходасевич В. Гумилёв и Блок // СС-4. Т. 4. С. 92—93.

мировал свои воспоминания в угоду беллетристическим эффектам. Возможно, так все и было, как он пишет, и неожиданный долгий разговор с Гумилёвым, которому предстояло отправиться на смерть, оказался залогом иной связующей нити между судьбами двух поэтов — Ходасевич о ней еще не догадывался.

Но вот Ходасевичи выезжают в Псков. Вагон набит битком, они едут в жаре и зловонии, сжимая в руках шарики из нафталина и камфары — от вшей. Все это, однако, было лишь началом мытарств. В Пскове Ходасевичи в полном объеме хлебнули тех неудобств советской жизни, от которых их прежде как-то защищали сперва влиятельные покровители и статус совслужащих, потом — ДИСК. Поезд пришел в Псков с опозданием. Состав на Порхов успел уйти, следующий же отправлялся лишь через два дня. Места в гостинице распределялись лишь по мандатам Совдепа, а там Владиславу Фелициановичу объяснили: «Чтобы получить комнату, надо быть постоянным жителем города, иметь в нем службу»¹. Сдача жилья внаем в городе была запрещена, и жители относились к этому запрету всерьез: за его нарушение сажали. Тогда Ходасевич решил «искать помощи у собратьев по перу» — явился в редакцию местной газеты и, «развернув перед секретарем целый веер всевозможных удостоверений с печатями и без печатей... потребовал, чтобы комната мне была найдена»². Правда, и газетчики мало что могли. Наконец, Ходасевичей поселили у некоего репортера, занимавшего две комнаты все в той же гостинице. Но оттуда пришлось бежать на следующее же утро: заели клопы.

Это, однако, было еще полдела: билеты на порховский поезд, купленные еще в Петрограде, пропали, а новые мог выдать лишь железнодорожный отдел местного Совдепа. Начальник этого отдела, «седой тип с подусниками», в приступе административного восторга отказался сажать на поезд Анну Ивановну и Гаррика: ведь командировка была оформлена на одного Ходасевича. Отказался он и отправлять их обратно в Петроград, предложив жене Ходасевича вместо этого... устроиться на службу в Пскове. На помощь пришел председатель Совдепа, укоротивший самодура. Пообедать, как ни странно, также удалось: в Пскове уже был открыт частный ресторан — первая ласточка нэпа. Правда, Ходасевичи оказались в нем единственными посетителями. Но возвращаться в гостиницу-клоповник было невозможно; решили, дав взятку носильщику, переноче-

¹ Ходасевич В. Во Пскове // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Т. 1. С. 135.

² Там же. С. 136.

вать на вокзале, в порожнем составе. Тут колоритный псковский абсурд достиг своего апогея:

«Мы ложимся на скамьи, засыпаем — и просыпаемся от шагов в коридоре. Перед нами стоят два человека в кожаных куртках, с наганами. Один из них поднимает фонарь и подносит его к моему лицу.

Объяснение, затем последовавшее, могло кончиться плохо. Выручила случайность, довольно нелепая. Среди бесчисленных бумажек с печатями и подписями, которыми я запасся, отправляясь в путешествие, была одна, подписанная Максимом Горьким. В ней было сказано, что всякому начальству рекомендуется оказывать мне всяческое содействие, так как я весьма вообще замечательный человек. В Петербурге такие бумаги имели довольно большую силу. Во Пскове подпись Горького тоже мне помогла, но совсем неожиданным образом. Чекистов, как сказано, было двое.

Один — помоложе, худой, обозленный. Другой — постарше, веселый и смешливый парень. Увидав подпись Горького, они мне объявили, что бумага подложная, а я дурак, потому что Максим Горький — не человек, а поезд, а человек такой если и был когда, так давно уже помер. Несмотря на серьезность положения, я все-таки засмеялся. Тогда и смешливый чекист тоже стал хохотать. Сцена выходила самая фантастическая. Хотели мы долго, глядя друг на друга — и смех нас каким-то таинственным образом сблизил. Пошли шутки, и в конце концов дело обернулось так, что я, разумеется, врала, но занятный парень и не Бог весть какой преступник, и хотя никакого Горького нет, — на этот счет двух мнений не может быть, — но почему бы меня не оставить в вагоне»¹.

(Поведал ли Ходасевич «буревестнику революции», что его известность в Пскове столь ограничена и специфична?)

Наконец, прибыли в Холомки. Здесь уже были Добужинский, Замятин (у которого продолжался давний роман с княжной Софьей Андреевной Гагариной), Чуковские, Милашевский. Почти одновременно приехали Николай Радлов с семьей, Лозинский, переводчица Ада Оношкевич-Яцына, Слонимский, Лунц. Ходасевича, вместе с Милашевским и некоторыми другими, поселили в Бельском Устье. Имения находились всего в двух верстах друг от друга, были связаны аллеей, и «командированные» часто друг у друга бывали. «У нас лучше, — писал Ходасевич 16 августа Борису Диатроптову, — хотя в “Холомках” роскошный дом — а у нас какая-то разгромленная дыра. У нас нет ни единой комнаты с целыми рамами, в потолках пу-

¹ Ходасевич В. Во Пскове. С. 140.

ли, обои в ключьях. Спим на сенниках, мебель анекдотическая, смесь ампира, лишенного обивки (в ней ходят невесты в окрестных деревнях), с новыми табуретками, пахнущими смолой. Живем во 2 этаже, ибо нижний разгромлен слишком. Зато у нас великолепный вид, верст на 15 вдаль, у нас церковь и кладбище в ста шагах, у нас аисты, радуги, паровая мельница, агроном, мастер по части жестоких романсов, у нас — плачьте, несчастные! — 1500 собственных яблонь, от яблоков повисающих долу, у нас груши, слива и — персики, сладости неизъяснимой, мягкости обольстительной, сочности сладострастной, — пушистые, как небритый перс Диатроптов»¹. Комендантом сада числился Владимир Милашевский, который вел настоящую позиционную войну с грабившими его местными мальчишками, успевая притом ухлестывать за деревенскими девками и делать бесчисленные рисунки в альбоме. Идиллия нарушалась лишь слухами о бесчинствующих в округе бандах «зеленых».

Писатели и художники получали небольшой паек (муку, сахар, соль и т. д.), в основном же кормились с имения («по случаю коммунистического строя сделался я помещиком», — иронизировал Ходасевич) и меняя привезенные из Петрограда вещи на продовольствие (деньги ничего не стоили). Как вспоминал Ходасевич, «за скатерть можно было получить двухмесячный абонемент на молоко, за кусок мыла — курицу и десяток яиц, за бутылку одеколона — мешок муки. <...> На бывшей стеклянной веранде, превращенной в универсальный магазин, по целым дням толклись мужики и бабы. Питались мы очень недурно. Кто-то выменял граммофон на барана»². В ход пошли даже «двустопные пясты» (их хозяин тоже приехал) — за них дали два пуда муки.

Общались писатели не только друг с другом, но и с «местными» — попом, дьячком, мужиками, которые с подчеркнутым почтением относились к Гагариным, по-прежнему именуя их «ваше сиятельство» и всячески привечая. Жители Бельского Устья, в том числе Ходасевичи, подружились с Вихровыми — семьей бывшего новосильцевского кучера. В семье было две дочери, Тоня и Женя. Женя, старшая, двадцати трех лет, была глуха. Оглохла от нервного потрясения: в 1917 году на ней женился некий Лещинский, офицер, проходивший через имение в составе наступавших на столицу корниловцев Дикой дивизии; наутро после свадьбы дивизия ушла, и больше Женя не имела известий о своем муже. Все это известно из воспомина-

¹ СС-4. Т. 4. С. 431—432.

² Ходасевич В. Поездка в Порхов // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Т. 1. С. 142—143.

ний Николая Чуковского, сына Корнея Ивановича, впоследствии советского прозаика и мемуариста, а тогда, в 1921-м — семнадцатилетнего студента. Вот как Чуковский описывает Женю Вихрову-Лещинскую:

«Глухоту свою она тщательно скрывала, и с лица ее не сходило выражение замкнутого достоинства. Она казалась загадочной. По вечерам в домике Вихровых собирались Радлов, Милашевский, Ходасевич и я и играли с обеими сестрами в “почту Амура”. Женя очень нравилась Ходасевичу, и он не уходил от нее. Он читал ей стихи, рассказывал о своих ссорах с Брюсовым, Андреем Белым, о своих отношениях с издательством “Гриф” и журналом “Весы”. Она слушала его молча, с загадочной полуулыбкой на величавом лице. <...> Она, конечно, ничего не слышала, а если бы и слышала, то не поняла бы»¹.

Судя по всему, Анна Ивановна не была свидетельницей этого странного флирта. Может быть, дело происходило уже после ее отъезда в Петроград, в двадцатых числах августа; Ходасевич с Гарриком оставались в Бельском Устье еще несколько недель. Чуковский утверждает (и это подтверждается процитированным уже письмом Ходасевича Борису Диатроптову), что Женя Вихрова — прототип героини стихотворения Ходасевича «Лида». Но несчастная глухая девушка, которую описывает мемуарист, совсем не похожа на загадочно-просветленную блудницу, которая «Ангелу Паденья свободно руку отдала». Другое, не менее замечательное стихотворение Ходасевича, датированное 31 декабря 1921 года, но отразившее впечатления этих осенних недель, так и называется — «Бельское Устье»:

...Здесь аисты, болота, змеи,
Крутой песчаный косогор,
Простые сельские затеи,
Об урожае разговор.

А я росистые поляны
Топчу тяжелым башмаком,
Я петербургские туманы
Таю любовно под плащом,

И к девушкам, румяным розам,
Склоняясь томною главой,
Дышу на них туберкулезом,
И вдохновеньем, и Невой,

И мыслю: что ж, таков от века,
От самых роковых времен,
Для ангела и человека
Непререкаемый закон.

¹ Чуковский Н. К. Что я видел. М., 2005. С. 109—110.

И тот, прекрасный неудачник
С печатью знания на челе,
Был тоже — просто первый дачник
На расцветающей земле.

Сойдя с возвышенного Града
В долину мирных райских роз,
И он дыхание распада
На крыльях дымчатых принес.

Своеобразие этих строк, конечно, не в противопоставлении растленного и любимого города сельской невинности (поразительно, однако, как быстро Ходасевич почувствовал себя петербуржцем, сжился с мифологией и мистикой невосковой столицы) и даже не в смелости, с которой библейское и космическое поставлено в ряд с бытовым (Люцифер-дачник). Необычна сама картина мира, встающая за этими строками: не то чтобы «древний мрак» и «горный воздух» были неотличимы, но свет, доступный избранным, становится разъедающей тьмой, войдя в детский, невинный, *мышинный* мирок «малых сих». Это очень важная сквозная идея мирозерцания Ходасевича.

Поскольку формально пребывание «на даче» было не отдыхом, а командировкой, Ходасевичу пришлось разок съездить в Порхов и провести занятие в литературной студии при местном отделе народного образования, каковая «оказалась десятью или двенадцатью юношами и девушками, явно буржуазного происхождения. Попросту были это гимназисты и гимназистки. В иное время составили бы они кружок для самообразования, каких бывало много»¹. Студийцы были поклонниками акмеистов; Ходасевича расспрашивали про Гумилёва, Ахматову и Мандельштама; его собственных стихов, видимо, не знали. По ходу дела поэту пришлось присутствовать на совещании коллегии наробраза и полюбоваться на нелепо-колоритных провинциальных коммунистов.

Тем временем из «града» приходили мрачные известия. Еще 4 августа из Пскова Ходасевич, несмотря на все тамошние невзгоды, успел отправить Андрею Белому, с июня находившемуся в бывшей столице, записку с вопросом о здоровье Блока: уж очень взволновало его сообщение Павлович. Ответ, полученный уже в десятых числах, содержал скорбную новость:

«Дорогой Владислав Фелицианович, приехал лишь 8 августа из Царского: застал Ваше письмо. Отвечаю:

— Блока не стало. Он скончался 8 августа² в 11 часов утра после сильных мучений: ему особенно плохо стало с понедель-

¹ Ходасевич В. Поездка в Порхов // Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Т. 1. С. 156.

² На самом деле 7-го.

ника. Умер он в полном сознании. Сегодня и завтра панихиды. Вынос тела в среду, 11-го в 10 часов утра. Похороны на Смоленском кладбище.

Да!

— Что ж тут сказать? Просто для меня ясно: такая полоса; он задохся от очень трудного воздуха жизни; другие говорили вслух: “Душно”. Он просто молчал, да и... задохся.

Эта смерть для меня — роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто “бытие” Блока на физическом плане было для меня как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или умирают, или просветляются внутренне: вот и стукнуло мне его смертью: *пробудись или умри: начнись или кончись*. <...> Он был поэтом, т. е. *человеком вполне*, стало быть: поэтом любви (не в пошлом смысле). А жизнь так жестока: он и задохся.

Эта смерть — первый удар колокола: “*номинального*”, или “*благовестящего*”. Мы все, как люди вполне, “*на роковой стоим очереди*”: “*погибнуть, иль... любить*”. Душой с Вами. *Б. Бугаев*¹.

Понятно, что значила смерть Блока для Андрея Белого: жизни поэтов были связаны так тесно, так непоправимо, несмотря на все расхождения. Как отреагировал на эту страшную весть Ходасевич? Вот цитата из его письма Владимиру Лидину от 27 августа 1921 года:

«Знаете ли, что эта смерть никак не входит в мое чувство, никак не могу *ощутить*, что нет Блока, — и не могу огорчиться. Умом понимаю — и просто душит меня злора, — а огорчения *здесь* не чувствую. Должно быть, почувствую в Петербурге. Знаете ли, что живых, т. е. таких, чтоб можно еще написать новое, осталось в России три стихотворца: Белый, Ахматова да — простите — я. Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Вяч. Иванов — ни звука к себе не прибавят. Липскеровы, Г. Ивановы, Мандельштамы, Лозинские и т. д. — все это “*маленькие собачки*”, которые, по пословице, “*до старости щенки*”. Футурспекулянты просто не в счет. Вот Вам и все. Это грустно. (Так называемая пролетарская поэзия, как Вам известно, “*не оправдала надежд*”: села на задние ноги.) Особенно же грустно то, что, конечно, ни Белому (как стихотворцу), ни, уж подавно, Ахматовой, ни Вашему покорному слуге до Блока не допрыгнуть»².

Если бы не последняя грустная фраза, этот текст может показаться кошунственным: как будто над свежей могилой великого поэта Ходасевич примеряет его тогу да меряется с живы-

¹ Впервые опубликовано Ходасевичем в «Современных записках» (1934. Кн. LV. С. 257—258). Цит. по: СС-4. Т. 4. С. 646.

² СС-4. Т. 4. С. 435.

ми современниками. И мерка эта странна. Неудивительно, с учетом вкусов Ходасевича, что и Хлебников и Пастернак — и уж тем более Маяковский — проходят в общем ряду «футурспекулянтов», что Гумилёв не упомянут вовсе (его уже два дня тоже не было в живых, но Ходасевич о том не знал); страннее отсутствие Цветаевой, Кузмина, Клюева, Есенина... Шокирует отзыв о Мандельштаме, которого Ходасевич приравнял к Липскерову и *тогдашнему* Георгию Иванову — «маленьким собачкам». Но Мандельштама-поэта Ходасевич оценил лишь по выходе «*Tristia*». А кто — большой? кто — живой? Ахматова? Да, это понятно. Андрей Белый? Он только что написал «Первое свидание», блестящую автобиографическую поэму, и казалось, его дар стоит накануне нового расцвета — но на самом деле это был последний взлет Белого-поэта. Ходасевич в июльском письме Гершензону с восхищением отзывался о поэме и о ее авторе: «Пришел, прочитал, наговорил — и опять столько наколдовал вокруг себя, сколько один он умеет»¹.

А сам Ходасевич? У него были основания для тех смелых слов, которые он позволил себе в письме московскому приятелю.

4

Первое стихотворение, написанное Ходасевичем после выхода первого издания «Путем зерна», — «Музыка», датируется 15 июня 1920 года. Формально это стихотворение продолжает линию того цикла стихотворений 1918—1919 годов, к которому принадлежат «2-го ноября», «Дом», «Обезьяна» и еще три стихотворения: белый пятистопный ямб (везде, кроме «2-го ноября», вольный), повествовательный автобиографический сюжет, связанный с прозрением, с экстраординарным духовным опытом.

Однако опыт этот не просто отличается от того, который отразился в «Путем зерна»: он прямо противоположен. Неслучайно Ходасевич не включил «Музыку» в последующие переиздания этой книги, в отличие от таких стихотворений начала 1920-х, как «Брента» или «Мельник». Если в прежних стихах Ходасевич, переживая те или иные жизненные впечатления, постигает связанную с ними глубинную суть бытия, то здесь реальный пласт (колка дров) и трансцендентальные ощущения (донесшаяся до уха музыка «пернатых ангелов») связаны лишь по контрасту. Тайна, открывшаяся поэту, принципиально «не от мира сего», и непосвященному («соседу Сергею Иванычу») недоступна:

¹ СС-4. Т. 4. С. 429.

...Он ничего не слышит,
Но мне мешать не хочет и досады
Старается не выказать. Забавно:
Стоит он посреди двора, боясь нарушить
Неслышную симфонию. И жалко
Мне наконец становится его.
Я объявляю: «Кончилось». Мы снова
За топоры беремся. Тук! Тук! Тук!.. А небо
Такое же высокое, и так же
В нем ангелы пернатые сияют.

Такова новая формула отношений между «поэтическим» и «человеческим», которая лежит в основе новых стихов Ходасевича. Поэт и «просто человек» (или — поэт и человек внутри одной личности) в лучшем случае взаимно учтивы, стараются друг друга не обидеть, но подлинное взаимопонимание между ними невозможно. Договор с «малым миром», заключенный в дни «Счастливого домика», расторгнут.

В 1920 году Ходасевич написал сравнительно немного, но немедленно по переезде в Петроград начинается небывалый творческий подъем: за полтора года из-под его пера вышло около сорока пяти стихотворений. Ни прежде, ни позднее подобного не было. Как будто то, что он позволил себе сбросить ярмо «земного долга», раскрепостило его, подтолкнуло какие-то творческие мутации; а может, сказалась атмосфера демонического, «загробного» и полупустого города.

В декабре 1925 года Ходасевич так вспомнит об этих днях в стихотворении «Петербург»:

...А мне тогда в тьме гробовой, российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музыкальный
Мне в сногшибательных ветрах.

И я безумел от видений,
Когда чрез ледяной канал,
Скользя с обломанных ступеней,
Треску зловонную таскал...

Стихотворения, написанные на «ледяном канале», составили основу книги «Тяжелая лира», вышедшей первым изданием в 1922 году в Госиздате. Это были — в сравнении с прошлым — необыкновенно сильные, вольные, летучие и в то же время необыкновенно экспрессивные, резкие, жестокие стихи. Если пять лет назад поэт призывал Смоленский рынок «преобразиться» — сейчас же очевидно, что преобразование не состоялось: «...восстает мой тихий ад в стройности первоначальной» (и тут впервые возникает тот гротескный «гоголевский» реализм, который потом так ярко проявится в «Европей-

ской ночи»: «...вор цыпленка утащил у безносой Николавны»). Мир не может быть изменен. Он может быть лишь уничтожен, и его гибель — радостна:

Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат.
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.

(«Из окна», 1921)

Трудно поверить, что эти яростные апокалиптические строки написаны автором «Счастливого домика». Никогда — ни прежде, ни позже — поэт не был так беспощаден к «малым правдам», так не отрекался от «маленькой доброты», как в эти годы. Как будто споря со сравнительно недавним письмом Бориса Садовского, противопоставившего «человека» Ходасевича «демон» Брюсову и «ангелу» Белому, адресат этого письма теперь не страшится произнести:

...Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел, или демон.
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?

(«Гостю», 1921)

Впрочем, «человеческое» само по себе оказывается зыбким, условным. То, что в любой момент может произойти на уровне мироздания, — происходит и на индивидуальном уровне. Если в «Музыке» Ходасевич еще говорит о звуках, входящих в бедный мир из инобытия, то сейчас речь идет уже об *уходе* в это инобытие, уходе той сверхличностной сущности, которую поэт начиная с 1917—1919 годов именует «душой». Интересно, что говоря об этом выходе души, Ходасевич нигде не употребляет слова «взлет», но несколько раз — «падение»:

...И каждый вам неслышный шепот,
И каждый вам незримый свет
Обогащают смутный опыт
Психеи, падающей в бред...

(«Стансы», 1922)

Иногда кажется, что падение это равносильно взлету или подъему, что «верх» и «низ» сливаются; иногда — что падение следует за взлетом, оказывается расплатой за него:

...Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый.
Психея падает под ним.

(«Психея! Бедная моя...», 1921)

Психея-душа все время меняет обличье: то она — высшая сущность, заключенная во «мне», как уже было в «Путем зерна»; то — пребывающая в подобии нирваны, «холодная и ясная», совсем от «меня» отдельная; то — «простая душа», почти сливающаяся со «мной», в моей человеческой слабости. Интересно, что в «Тяжелой лире» несколько раз возникает и слово «дух». Но это — не нечто надстоящее душе, а скорее ее иная ипостась — изначальная, древняя и потому более жестокая и беспощадная к человеческой малости:

Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под пригнущих десен...

(«Из дневника», 1921)

Дух рождается, чтобы «порвать земную оболочку», его временный носитель обречен на жалкую гибель. И все же последнее слово поэта — не таково. Книга, начинающаяся «Музыкой», заканчивается «Балладой», написанной в декабре 1921-го. Чудо творчества позволяет человеку воссоединиться со своим высшим «я», а бренный мир воссоединить с миром космическим:

...Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи, —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает — Орфей.

Интересно, что в этом стихотворении — одном из вершинных — Ходасевич не без иронии отсылает читателя к «Творчеству» Брюсова, о котором он когда-то писал. «Морозные белые пальмы» на стеклах явно перекликаются с «лопастями латаний», которые тоже служили фоном творческому акту.

Трагические сдвиги мироощущения неизбежно должны были породить перемены и в поэтике. В январе 1921 года Ходасевич пишет Георгию Чулкову: «Кажется, я-таки добился умения писать “плохие стихи”, от которых барышни морщатся»¹. Нынешнему читателю смысл этого замечания кажется неясен; «корявость», которую Ходасевич видел в стихотворении «Душа» (к нему, собственно, и относится это замечание), незаметна. Впрочем, и многие современники поэта склонны были скорее отмечать его мастерство, которое порой казалось им «старомодным». Вот характерная оценка, относящаяся к 1923 году, то есть к тому времени, когда «Тяжелая лира» уже была написана: «Если бы существовала у нас должность “поэтического реставратора”, которому поручалось бы восполнять пробелы и реставрировать стихи по фрагментам, Ходасевич был бы неоспоримым кандидатом на такую должность, поскольку речь идет об определенной эпохе русской поэзии». Эти слова Ильи Эренбурга были приведены в статье молодого Глеба Струве «Письма о русской поэзии», напечатанной во втором-третьем номере пражского журнала «Русская мысль». Другой знаменитый современник поэта, Юрий Тынянов, в своей статье «Промежуток» (1924) упрекает Ходасевича «в отходе на пласт литературной культуры», который «оказывается отходом на читательское представление о стиховой культуре». Правда, Тынянов как раз видел у Ходасевича примеры «зловещей угловатости», «нарочитой неловкости» — в «Перешагни, перескочи...» («почти розановская записка»), в «Балладе», но они не казались ему характерными.

И все-таки, внимательно прочитав почти любое из стихотворений Ходасевича 1921—1922 годов, мы обнаружим эту внутреннюю угловатость, эту структурную странность. Возьмем, к примеру, такое стихотворение, как «Элегия». Первые ее строфы возвышенно-музыкальны и гладки:

Деревья Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешений, ни услад.

Глядит бесстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.

¹ СС-4. Т. 4. С. 424

Более того, здесь есть отсылка к конкретному стихотворению Тютчева — «Пошли, Господь, свою отраду...». Однако дальше происходит неожиданный слом интонации:

Там все огромно и певуче,
И арфа в каждой есть руке,
И с духом дух, как туча с тучей,
Гремят на чудном языке...

О полете души к небесным сферам говорится высоким и благозвучным слогом, о самой же ее небесной обители — с какой-то бытовой интонацией («и арфа в каждой есть руке»), с подчеркнутой, притом очень выразительной какофонией («с духом дух, как туча с тучей»). Может быть, это голос того, кто «косным умом» не может постичь родного ей рая или ада, которого суждено достичь «изгнаннице», прежде чем стать из души — «духом». Во всяком случае, переключения тона сохраняются и во второй половине стихотворения. Без особого заострения взгляда они не видны. Но именно они делают стихотворение исключительно живым и выразительным, избавляют от скучноватой «хрестоматийности», внутренней тавтологичности.

Полемизируя с Эренбургом, Струве в уже помянутой статье подчеркивает, что для Ходасевича — поэта XX века, модерниста — характерны «смещение планов, категорий времени и пространства, разрывы логической связи в мире». Конкретизируя это слишком общее наблюдение, заметим: у Ходасевича в начале 1920-х годов время часто предстает как пространство. Душа смотрит «в тысячелетия свои», как в некий локус¹; день в одноименном стихотворении описывается как статичное пространство, населенное гротескными «бесами». Течение времени фиктивно, время статично, как и вечность. Выход из времени в вечность — единственное возможное движение.

Еще об одной особенности поэтики Ходасевича в начале 1920-х пронизательно пишет Андрей Белый в статье «Рембрандтова правда в поэзии наших дней», напечатанной в пятом номере журнала «Записки мечтателей» за 1922 год, но написанной, судя по письму Ходасевича Владимиру Лидину, еще летом 1921-го. Писатель цитирует одно из стихотворений «Тяжелой лиры» (еще не вышедшей ко времени публикации статьи):

¹ Это очень характерный для Ходасевича в то время оборот. Ср.: «...в давно забытое родись»; «Психен, падающей в бред...» и т. д. И «бред», и «давно забытое» — некие области пространства, в которые можно тем или иным способом войти.

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

(«Когда б я долго жил на свете...», 1921)

И дальше — комментарий:

«Знаете, чем волшебным освещены эти не маркированные строки? Одною строкою, верней, одним словом “почти”. <...> “Почти свободная душа”. Как в *чуть-чуть* начинается правда искусства, так в слове “почти” — магическая красота правды строк. И это “почти” — суть поэзии Ходасевича».

Анализируя другое стихотворение, «Ласточки», Белый видит в нем тот же прием: «Стихотворение умеркает тенями неяркости; вдруг “чуть-чуть” — свет, сдвиг, зигзаг поэтической правды (отстой многих жизненных лет) и — Рембрандтов рисунок».

Мандельштам писал примерно в это же время, в 1922 году: «Самое удобное измерять наш символизм градусами поэзии Блока. Это живая ртуть, у него и тепло и холодно, а там всегда жарко»¹. Ходасевич был такой «живой ртутью» в не меньшей, а может, и в большей степени, чем Блок. И неслучайно именно это качество так потрясло Белого, чей внутренний термометр работал не слишком хорошо.

Статья Белого стала этапной в судьбе Ходасевича. Через несколько месяцев после смелых слов о себе в письме Лидину уже другие (и кто! — такой авторитет, как Белый) заговорили о нем как о большом, первоклассном поэте. В статье Белого Ходасевич сравнивается с Баратынским, чей голос «в истекшем столетии крылся в сумерках. <...> Его заглушали великие, малые — все, чтобы в двадцатом столетии выпрямил он исполинский свой рост». Точно так же и Ходасевича, его «чисто духовную», «теньевую», лишённую яркости и пестроты поэзию «в кликушестве моды заслоняют все школы». «Про Ходасевича говорят: “Да, и он поэт тоже”. <...> И хочется крикнуть: “Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде”».

Эта оценка отражает то новое отношение к Ходасевичу и его поэзии, которое стало складываться в литературной среде в 1921 году и которое сам поэт — с долей насмешливой похвалы, с долей высокой иронии — так описывает в «Петербурге»:

Смотрели на меня — и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.

¹ Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 295.

Двадцать первого мая на вечер Ходасевича в ДИСКе пришли 42 человека — по представлениям того времени мало; поэт даже отказывался читать в «пустом зале» — Корней Чуковский еле уломал его. Но к исходу года, как свидетельствует уже младший Чуковский, Николай, в кругу петроградских любителей поэзии «подлинными властителями дум и сердец... стали Тихонов и Ходасевич. <...> За Тихоновым пошли все поклонники Гумилёва, к Ходасевичу примкнули многие из любивших Блока»¹. Это утверждение нуждается в уточнении — особенно в том, что касается «всех поклонников Гумилёва». После гибели мэтра круг его учеников распался на два лагеря. С одной стороны — «Жоржики», Оцуп, Цех поэтов, люди, близкие к Гумилёву лично, но порою далекие от него творчески, политически занимавшие контрреволюционную или нейтральную позицию; с другой — Николай Тихонов и Сергей Колбасьев, участвовавшие в Гражданской войне на стороне красных, познаковавшие с Гумилёвым незадолго до его смерти и испытавшие его сильное творческое влияние. Они создали группу «Островитяне», в которую вошел и Константин Вагинов — самый оригинальный, яркий, много обещавший (и сдержавший обещания) из гумилёвских студийцев. С Тихоновым и Колбасьевым у него было мало общего — разве что былая служба в «сермяжном войске», и то в его случае не добровольная. Цех и «Островитяне», скорее, враждовали, хотя Иванов и Адамович «сквозь зубы, но во всеуслышание» признавали незаурядный талант Тихонова. Что до Ходасевича, то отношение к нему в обоих кружках «гумилёвцев» было в самом деле очень непростым.

Адамович в рецензии на книгу «Путем зерна», опубликованной в третьем номере альманаха «Цех поэтов» (1921), отдаёт должное безупречному мастерству Ходасевича, не забывая добавить, что «стилистическая отчетливость куплена Ходасевичем ценою утраты звукового очарования», а затем даёт такую характеристику его поэтическому «я»:

«Он реалист — очень зоркий и правдивый. Но внешность нашей жизни в его передаче теряет краски и движение и кажется — не декорацией, нет — но бледным, будто потусторонним отражением ее. <...> Образы наиболее и тесно и живо связанные с обыденнейшими жизненными впечатлениями — трамвай или вывеска — у него всегда будто бы подчеркивают хрупкость и призрачность всего видимого мира. <...>

Ходасевич своими стихами ничего в мире “не убавляет и не прибавляет” — поэзия же начинается только с этого. <...> Сти-

¹ Чуковский Н. О том, что видел. М., 2005. С. 118.

хотворение, удачное или нет, но подлинно живое всегда будоражит мир, даже и такой вконец взбудораженный, как наш.

Ходасевич входит в сознание верно и медленно, но он усыпляет его, даже не убаюкивает, и волю, верней всего, ослабляет».

Адамович ставит в вину Ходасевичу «почти интеллигентское» «представление о поэзии как о “грезе”» и находит в его стихах «традиции русского литературства», даже «с привкусом восьмидесятичества». «Едва ли я ошибусь, если — назвав случайные имена — предположу, что Аполлон Григорьев ему дороже Леконта де Лиля, например». Другими словами, будущий апологет «душевного» в поэзии пока что судит Ходасевича типично гумилёвским судом; однако сам Гумилёв, с его гибким критическим умом, так судить не стал бы.

Отзыв Георгия Иванова о книге «Путем зерна» в его статье «О новых стихах», напечатанной во втором номере журнала «Дом искусств» за 1921 год, не столь остр, но не менее кисл. Понятно, что у Иванова были с Ходасевичем давние счёты — со времён уничтожающей рецензии того на «Вереск». Иванов старается быть внешне предельно учтивым, но его отчетливое стремление «поставить на место» Ходасевича бросается в глаза, особенно в контексте дальнейших отношений двух поэтов. Иванов подчеркивает, что автор «Путем зерна» «не изумляет находками и откровениями, но дарит нам чувство спокойной радости, как от созерцания природы, чтения Пушкина, воспоминаний детства. <...> Но верно и то, что голос Владислава Ходасевича звучит порою слишком слабо, порою в его стихах лишь смутно играет отблеск его вдохновения. Чувствуется, что он больше имеет сказать, чем в силах это сделать». Вслед за этими словами, отчасти повторяющими брюсовский отзыв о «Молодости» (как будто с Ходасевичем с 1908 года ничего не происходило!), следует прямо оскорбительное замечание о «карманном масштабе» поэзии Ходасевича. И наконец, Иванов не забывает упомянуть об отзыве московского критика, «скрывшегося под многозначительными инициалами В. Б.», который назвал «Путем зерна» «книгой вчерашнего дня» — чтобы, разумеется, с этим суждением не согласиться¹.

Примечательно, что и Манделъштам — при всем его дистанцировании от «гумилят», при всей симпатии к Ходасевичу, при всем понимании его значительности (его имя входит в предьявленный Манделъштамом в статье «Выпад» список рус-

¹ Суждением, которого не было. Отзыв В. Б. (то есть Валерия Брюсова) звучит так: «В книге В. Ходасевича видны ум и хороший вкус. “Путем зерна” удовлетворит тех, кто может этим довольствоваться в поэзии» (Художественное слово. 1920. № 1; цит. по: Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924. С. 531).

ских поэтов «не на вчера, не на сегодня, а навсегда») — видел в нем, по крайней мере в эту пору, лишь представителя «младшей линии» русской поэзии, линии благородного дворянского дилетантизма, Вяземского и Ростопчиной; поэта, который «донес даже до двадцатого века замысловатость и нежную грубость простонародного московского говорка, каким пользовались в барских литературных кругах прошлого века»¹ («Буря и натиск», 1923). В другой мандельштамовской статье «Шуба» (1922) Ходасевич именуется «поэтом “Счастливого домика”», который «подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девичий смех в морозную ночь»². Мандельштам так же не заметил нового, иного Ходасевича, как и Иванов, но в его случае этот просмотр был явно ненамеренным. А вот «Жоржики», возможно, уже тогда чувствовали в стихах Ходасевича некий вызов.

В футуристических кругах реакция на успех Ходасевича была еще резче. Статья Белого вызвала яростный отклик одного из бывших московских знакомцев Ходасевича — Николая Асеева. В обзоре «По морю бумажному» (Красная новь. 1922. № 4; по иронии судьбы в том же номере напечатана подборка стихотворений Ходасевича), глумливо разобрав несколько его стихотворений, бывший член «Центрифуги» и будущий лефовец восклицает: «И вот эту зловещую, усохшую до полной импотенции, отказывающуюся от всякого движения поэзию Андрей Белый рекомендует как последнюю правду и новизну? храни нас жизнь от такой “божьей милости”. Давно для нее пора крематорий выстроить. Тление, разложение это, а не откровение духовного мира». И дальше — примечательный пассаж: «Пусть бы “мечтатели” мечтали о другом. Пусть бы они становились спиной к жизни, носом в угол и шептали свои мистические неизреченности. Но они лапают жизнь, они выщупывают в ней самые нежные места и, сладострастно извиваясь в судорогах похоти, рекомендуют свой садизм как “теневую суровую правду рембрандтова штриха”».

Ходасевич нашел этот отзыв «забавным» (письмо Анне Ивановне от 12 октября 1922 года). На самом-то деле такой бешеной ненавистью — причем *так* мотивированной ненавистью (Асеев «ревнует» жизнь к Ходасевичу, ибо, будучи человеком вовсе не лишенным чутья на стихи, чувствует его огромный дар) — стоило бы гордиться даже больше, чем похвалами Белого.

¹ Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 287.

² Там же. С. 274.

Как критик и публицист Ходасевич в 1921—1922 годах писал по-прежнему немного сравнительно с дореволюционной эпохой, но написанное в это время важно.

Прежде всего это относится к речи «Колebleмый треножник», написанной для пушкинских торжеств в феврале 1921 года. Речь эта изначально должна была прозвучать на торжественном заседании в Доме литераторов 11 февраля (так, с ошибкой на день, высчитали организаторы день смерти Пушкина по новому стилю), вместе с блоковской речью «О назначении поэта», а также речами Анатолия Кони и Нестора Котляревского. Однако Ходасевич из-за болезни выступления не подготовил. Он сидел на эстраде, в президиуме, вместе с Блоком, Кузминым, Ахматовой (Гумилёв пришел с опозданием и в президиум, к досаде своей, не попал), пушкинистами и грандами Дома литераторов, но молчал.

Вечер был дважды повторен — уже для публики, с продажей билетов (снова в Доме литераторов, 14 февраля, а потом в университете, 26-го). На втором вечере, 14 февраля, Владислав Фелицианович наконец выступил. В отличие от Блока, чья речь была подчеркнута острой и по существу обозначала разрыв «контракта» с большевиками (которые предпочли этого не заметить), Ходасевич начинает академически. Сначала он говорит о «параллельных рядах» у Пушкина, о той гармоничности, с которой поэт ставит и выполняет в одном тексте разнородные формальные и смысловые задачи, и о порожденной ими многоплановости, многосмысленности пушкинского текста. Примечательны те два примера, которые он приводит: «Домовому», спокойное, идилличное ранее стихотворение, из которого взят образ «счастливого домика», и — трагический, урбанистический, связанный с «большой историей» «Медный всадник». Примечательно и то, что говоря о трудностях, возникающих у современного человека при чтении Пушкина, Ходасевич в качестве неудачи (пусть и высокой неудачи) приводит «Мудрость Пушкина» Гершензона: «Немало верного сказано в ней о Пушкине — и все-таки историк литературы Гершензон, выступая истолкователем Пушкина, оказался человеком слишком иного уклада, нежели сам Пушкин: Гершензон стоит уже на той незримой черте, которой история разделяет эпохи»¹.

Это, однако, лишь вступление. Затем Ходасевич переходит к главному: вслед за первым «помутнением» пушкинского лика, имевшим место в дни Писарева, предстоит второе. Оно свя-

¹ Ходасевич В. Колebleмый треножник // СС-4. Т. 2. С. 80.

зано, говоря современным языком, с антропологическим словом, с появлением «новых людей», которым «чувство Пушкина приходится... переводить на язык своих ощущений, притупленных раздирающими драмами кинематографа», которые «безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распоролы немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей — и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу»¹.

Поэт верит в «кровную, неизбывную связь русской культуры с Пушкиным», верит в то, что помутнению предстоит закончиться: «Отодвинутый в “дым столетий”, Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы, — но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, — грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, как порою кажется, будто меняется бронзовое лицо статуи. И кто знает, что прочитают на нем грядущие люди, какие открытия они сделают в мире, созданном Пушкиным? Быть может, они разгадают то, чего мы не разгадали. Но многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят»².

Спорить с этим трудно. Разлом был очевиден. Но не превеличивал ли Ходасевич «непосредственную близость» между Пушкиным и людьми своего поколения? Неслучайно Гершензон «оказался человеком слишком иного уклада, нежели Пушкин». Да и могло ли быть иначе? А сам Ходасевич? Ведь и он был, как и его старший друг, разночинцем и инородцем. А если бы и не был? Даже Бориса Садовского слишком многое от пушкинской эпохи отделяло, хотя бы потому, что он был воспитан носителями вполне писаревских, прогрессистских идеалов, а реакционером стал отчасти из вызова, назло поколению своих родителей.

Таким образом, для Ходасевича, в отличие от Блока, главной силой, угрожающей пушкинской (то есть — единственно подлинной и гармоничной) России, является не иго чиновничьей «черни», а изменение человеческой природы, которое революция только обострила и ускорила: «Прежняя Россия, а тем самым Россия пушкинская, сразу и резко отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе событий»³.

¹ Ходасевич В. Колеблемый треножник // СС-4. Т. 2. С. 81—82.

² Там же. С. 84—85.

³ Там же. С. 80.

Был в речи Ходасевича и еще один важный мотив: «Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы, подобно тому, как в пору первого затмения проповедовалось главенство содержания. И то и другое одинаково враждебно всему духу пушкинской поэзии. Те, кто утверждает, что Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его — вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения, — суть писаревцы наизнанку. Сами того не зная, они действуют как клеветники и тайные враги Пушкина, выступающие под личиной друзей»¹. Ходасевич тут же уточняет, что имеет в виду «не футуристов, а представителей гораздо более “умеренных” литературных групп». Не исключено, что его стрела была отчасти направлена в Гумилёва и его последователей. Но представители недавно возникшей литературоведческой «формальной школы» приняли ее на свой счет. Один из главных формалистов, Борис Эйхенбаум, выступавший на том же пушкинском вечере, мягко упрекнул «очень хорошего поэта» в упрощенной и искаженной трактовке формалистических теорий (статья «Меты и подходы» в восьмом номере журнала «Книжный угол» за 1922 год). Возможно, для Ходасевича в это время формализм отчасти смешивался с акмеизмом, как позднее, с несколько большими основаниями, стал сливаться с футуризмом. Так или иначе, именно с этого эпизода начался спор, растянувшийся на целое десятилетие.

Новое обращение к пушкинской теме связано с двумя поездками Ходасевича в Москву, предпринятыми в конце 1921-го и начале 1922 года. Посещение Москвы было запланировано еще летом, в Бельском Устье. В уже процитированном письме Владимиру Лидину из Псковской губернии Ходасевич писал: «В получении командировки я не уверен, и пожалуй, придется платить за дорогу туда и назад 250 тысяч. Мне этих денег очень жаль, и я хотел бы получить их с добрых москвичей, в свою очередь усладив за это их слух своими стихами. Нельзя ли, в самом деле, устроить мне какое-нибудь чтение, которое покрыло бы сей расход — целиком или частично?»²

Поездка состоялась с 1 по 16 октября. После благородно-нищего Петрограда оживающая, деловая и сверхдорогая нэпмановская Москва не понравилась Ходасевичу. Раздражали и прежние знакомые. В письме жене от 6 октября 1921 года Владислав Фелицианович язвительно пишет: «Заходил к Саше Брюсову. <...> Саша — совершенный идиот. Он говорил мне

¹ Там же. С. 82.

² СС-4. Т. 4. С. 434—435.

такое, что сказать невозможно. Очень увлечен — переводит английские книги по портновскому ремеслу»¹. Не слишком увлекала его и литературная жизнь. Московские футуристы были явными врагами, но и в поэтах более умеренных Ходасевича, привыкшего уже к петербургскому тону, раздражала, видимо, характерная экзальтация. В следующее пребывание в Москве (с 24 января по 17 февраля 1922 года) Ходасевич в письмах высказывался по этому поводу более чем определенно: «Марина, Липскеров, Глоба пишут такое, что хоть святых вон выноси. О, сестры Наппельбаум! О, Рождественский! Это — боги в сравнении с москвичами»². Впрочем, с Липскеровым, Андреем Глобой, впоследствии известным переводчиком, «Бумой» Эфросом, Лидиным Ходасевич общался и даже был заочно «записан» в созданную этими московскими неоклассиками группу «Лирический круг» — как, впрочем, и Ахматова и Мандельштам, которые ни разу ни в каких акциях «Лирического круга» не участвовали. Ходасевич пообещал вести в издаваемом группой альманахе рубрику «Окно на Невский». Статья Ходасевича, опубликованная в первом и единственном выпуске этого альманаха, посвящена опять-таки Пушкину, но чувствуется, что главная ее цель — дистанцироваться от московских «пушкиньянцев» с их бескрылым, воистину «реставраторским» подходом к поэзии Золотого века. «Времена меняются, с ними — и жизнь, и форма искусства. Нельзя и не надо превращать пушкинский канон в прокрустово ложе. Знамя с именем Пушкина должно стоять вертикально: да не будет оно чем-то вроде эстетического шлагбаума, бьющего по голове всякого, кто хочет идти вперед. Пушкин не преграждает пути, он его открывает»³.

Сам Ходасевич пользовался в столице не меньшим успехом, чем в Петрограде; на его вечере в Союзе писателей 10 октября была «вся Москва». Во второй приезд он выступал уже неоднократно — в том числе в «Лирическом круге»; между прочим, принимал участие в благотворительном вечере в пользу Максимилиана Волошина. Полезным было и общение с Гершензоном, хотя в письме жене Ходасевич жаловался, что Михаил Осипович «мил, но замкнут». Гершензон от имени издателя Михаила Сабашникова, который в это время сидел на Лубянке, но ожидал освобождения и намеревался продолжить свою деятельность, заказал Ходасевичу биографию Пушкина. По возвращении в Петроград Ходасевич с увлечением занялся

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 4—5.

² Там же. Ед. хр. 49. Л. 9; письмо А. И. Ходасевич от 26 января 1922 года.

³ СС-4. Т. 1. С. 490.

этой работой. 25 января 1922 года в Москве был подписан официальный договор, по которому он должен был представить рукопись к 1 июля. Но бурные события, которые происходили в течение 1922 года в жизни поэта, помешали исполнить задачу. От этой рукописи сохранились лишь три с половиной главы, охватывающие время до 1820 года.

Слог их замечателен: упруг, экономен, именно по-пушкински точен. Замечательны психологические характеристики: «Внутренно Пушкин всегда подходил к людям с открытой душой, с “доверительной надеждой” — и резко отдалялся от них, если в ответ не получал того же. Но многие часто бывали повинны лишь в том, что внешнюю робость и застенчивость молодого Пушкина принимали за внутреннюю замкнутость и враждебность. От него сторонились, и несколько болезненное самолюбие Пушкина страдало. Он настораживался и на кажущиеся уколы отвечал действительными обидами»¹. Такую же тонкость проявляет Ходасевич и при описании политического контекста, в частности, отношений Пушкина с преддекабристскими кругами: «Слава ветреника, буяна и вообще легкомысленного юноши, на которого нельзя полагаться, заставляла несколько отстранять его... от тех кружков, где закладывались основы грядущей “вольности”. <...> Его не то берегли, не то остерегались, и, конечно, его кипучий нрав и воспаленная гордость еще больше страдали здесь, чем в среде кутил. Следствием того и другого было постоянное возбуждение, желание “показать себя” как в либерализме, так и бесчинствах»². Но фактических подробностей и жизненных деталей в той части книги, которую Ходасевич успел написать, немного.

Четырнадцатого декабря 1921 года Ходасевич сделал в Доме искусств доклад об Иннокентии Анненском. На нынешний взгляд, Анненский — крупнейший (наряду с Блоком) поэт-символист. Но как раз символисты в свое время Анненского «не заметили» (вспомним забавную рецензию юного Ходасевича на «Книгу отражений»), а акмеисты, во многом по личным причинам, объявили своим учителем. В действительности Анненского с акмеистами и вообще поэтами поколения 1910-х годов сближала только его более «материальная», чувственная, в сравнении с другими поэтами символистского круга, пластика. Трудно представить что-то более противоположное, чем, к примеру, духовный и художественный мир Анненского и Гумилёва. В свою очередь, «Жоржики» обращались через голову своего мэтра к наследию одного из его учи-

¹ Ходасевич В. Пушкин и поэты его времени. Т. I. С. 478.

² Там же. С. 483.

телей. Георгий Иванов объявил своей духовной родиной «все, что Анненский жадно любил, все, чего не терпел Гумилёв». Таким образом, доклад Ходасевича можно воспринимать как первый вызов, брошенный этим его будущим оппонентам. В этот период Ходасевич воспринимал Иванова и Адамовича как «эстетов», последователей Гумилёва, и именно в этом качестве с ними спорил. Собственно, даже не с ними лично, а с воплощаемым ими культурно-психологическим типом. Начинается речь так:

«Хорошим поэтом, мастером, с некоторых пор почитается у нас тот, кто умеет наиболее цельно, отчетливо, определенно “выразить” или “выявить” себя. Что же касается того, что именно “выявляется”, какое “я” выражается в этом “себя”, — такой вопрос чаще всего не подымается вовсе. Он не в моде. В лучшем случае требуют, чтобы это поэтическое “я” было “оригинально”, то есть не похоже на другие, так сказать — соседние “я”»¹. Это явный намек Ходасевича на историю с Нельдихеном.

Затем речь заходит уже об Анненском:

«Но эсты верны себе. Спокойные, не омрачаемые сомнениями вивисекторы жизни (ибо поэзия — жизнь, а поэт — человек), они удовлетворенно констатируют, что вот у этого человека, Иннокентия Анненского, превосходнейшие голосовые связки. Реагируя на боль (которая их не касается), он проявляет все, по их мнению, необходимые качества мастера, потому что кричит чрезвычайно громко и выразительно. Но отчего он кричит — все равно им. Что кричит — это его частное дело, в которое они, люди прежде всего воспитанные, не вмешиваются. Так, вероятно, не вмешивались в частные дела И. Ф. Анненского его сослуживцы по министерству. Между тем — он кричит об ужасе, нестерпимом и безысходном»².

Здесь, конечно, интереснее всего то, как продолжится этот спор о «человеческом» несколько лет спустя, как (по видимости) на 180 градусов развернутся позиции спорящих.

Ходасевич сравнивает Анненского с Иваном Ильичом, героем толстовского рассказа:

«Иван Ильич оскорблен и напуган безучастностью жизни к его страданию, которое теперь составляет все его существо. Жизнь для Ивана Ильича мертвенна, глуха ко всему, полна лжи, пошлости и призрачности.

Точно такой же она представляется Анненскому»³.

¹ Ходасевич В. Об Анненском // СС-4. Т. 2. С. 94.

² Там же. С. 95.

³ Там же. С. 99.

Как и Иван Ильич, Анненский проходит через страх смерти и отвращение к жизни, но не переживает просветления. Вывод оказывается двусмысленным: акмеисты-эстеты проходят мимо «человеческой» сущности поэзии Анненского, но сама эта сущность оказывается, в основе своей, неполноценной, ущербной. Его поэзия лишена спасительного катарсиса, трагического осмысления жизни и выхода в инобытие. А без него «вся лирическая отзывчивость, тонкость, сложность Анненского — пустое, бессмысленное, дурманящее мелькание сине-матографа, кошмар, мираж, чепуха, бормотание колокольчика: вездь такой ему и казалась жизнь»¹.

И никакие признания в любви к поэту не могут зачеркнуть этот вывод.

Фактически это был манифест — «от противного».

6

В декабре 1921-го Ходасевич не догадывался, к какому распутью подошла его собственная жизнь.

Осенью 1921 года в Петрограде его, уже знающего о смерти Блока, застало известие о «Таганцевском деле», о расстреле почти ста интеллигентов, в том числе Гумилёва и Ухтомского: петербуржцы боялись писать об этом в Бельское Устье напрямую, ограничиваясь туманными намеками.

По возвращении он столкнулся с проблемой, само появление которой многое говорило о наступившей жизни и нравах в стране. В Петроград приехал «ревизор» из Москвы, из правления Союза поэтов, который должен был расследовать возмутительный факт — церковную панихиду по расстрелянному, заканзанную его товарищами-поэтами.

Выход из положения, по собственному свидетельству (в первом варианте воспоминаний о Блоке и Гумилёве), косвенно подтверждаемому и другими источниками, нашел как раз Ходасевич.

«Вызвав к себе ревизора, я объявил ему, что завтра еду в Москву и там отчитаюсь перед самим Наркомпросом. “Ревизор”, разумеется, не посмел требовать от меня доклада, предназначенного высшему начальству. Я же поехал в Москву (речь идет об уже описанной выше поездке 1—16 октября. — *В. Ш.*), провел там недели две по своим личным делам, а затем вернулся в Петербург и собрал общее собрание Союза. На этом собрании я заявил, что был в Москве, посетил главное правление

¹ Там же. С. 106.

Союза и убедился в том, что это не правление Союза, а ночной притон с тайной продажей спирта и кокаина (это была правда). Затем я предложил членам Союза резолюцию следующего содержания:

“Решительно осуждая устройство предприятий ресторанного типа под видом литературы, мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем выходе из числа членов как Всероссийского союза поэтов, так и его петербургского отделения”.

Эта резолюция, конечно, весьма не понравилась строителям Дома поэтов, так как была направлена столько же против них, как и против московского центра. Однако она была принята единогласно всеми присутствующими, а затем подписана и всеми остальными членами Союза¹.

Таким образом, петроградское отделение Союза прекратило существование, спрашивать стало не с кого, да и москвичи «после нашей резолюции, разоблачившей их кабацкое мероприятие... предпочли не доводить дела до начальства»².

(Петроградский Союз поэтов был потом возобновлен, но уже после отъезда Ходасевича из России. Однако практическая ценность его существования всегда была невелика. Дом поэтов действовал еще несколько месяцев и закрылся после скандального конфликта между его учредителями: Ивановым и Адамовичем, с одной стороны, и поэтом-нэпманом Зигфридом Кельсоном — с другой³.)

Понятно, что эти события лишь усилили то мрачное отношение к происходящему в России, которое сложилось у Владислава Фелициановича в последние месяцы. И именно в это время между Ходасевичем и его женой произошел примечательный разговор. «Он... как-то спросил меня: “А ты со мной поехала бы за границу?” Я ответила совершенно спокойно: “Нет, я люблю Россию и надолго с Россией не расстанусь. Поехать на один-два месяца — я бы поехала с удовольствием”. Этому разговору я не придавала большого значения и сделала это напрасно»⁴.

Каким образом можно было уехать из России в 1921 году? Загранпаспорта деятелям культуры уже начали выдавать, прав-

¹ Ходасевич В. Гумилёв и «Цех поэтов» // СС-2. Т. 2. С. 179.

² Ходасевич В. Из петербургских воспоминаний // Возрождение. 1933. № 3012. 31 августа.

³ «Жоржики» попытались исключить Кельсона, который был инвестором Дома, из состава правления Союза. Дело дошло до суда, принявшего сторону Кельсона и приговорившего Иванова и Адамовича «за мошенничество и самоуправство» к трем месяцам тюремного заключения условно (подробнее об этом см.: Шубинский В. Николай Гумилёв: Жизнь поэта. СПб., 2004. С. 623—624; также: Красная газета. 1921. 26, 29 октября).

⁴ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 404.

да, делали это пока что с очень большим разбором. В июне 1920-го по командировке Наркомпроса уехал на год Бальмонт — и сразу по пересечении границы стал делать резкие политические заявления. В результате были аннулированы выездные визы другим писателям, в том числе Вячеславу Иванову, чья жена, Вера Шварсалон, нуждалась в срочном лечении и вскоре умерла. В следующем году о поездке для лечения ходатайствовали Блок и Сологуб; почему-то правительство сочло возможным удовлетворить лишь одно из этих ходатайств. После долгих хлопот решились выпустить обоих — но Блок к тому времени был уже безнадёжен, а Сологуб, после потрясшего его самоубийства жены, решил остаться в России. В августе 1921-го разрешили выехать Ремизову, в сентябре — Белому. Еще раньше, в марте, выехал Илья Эренбург — после личного свидания с Вячеславом Менжинским. У Ходасевича, в принципе, была и другая, помимо наркомпросовской командировки, возможность выезда из России: его родители были уроженцами Литвы, что автоматически давало ему право на подданство этой страны — благодаря поэту Юргису Балтрушайтису, который в 1920—1939 годах был послом Литовской Республики в Москве, этим каналом воспользовались в начале 1920-х годов многие.

Впрочем, дело было не в том, что Ходасевич пока абстрактно размышлял об эмиграции, а его жена хотела остаться в России. А в том, что решение они принимали каждый за себя — прежде такое едва ли было возможно. Владислав Фелицианович и Анна Ивановна провели неразлучно самые трудные годы. Часто это сближает людей, но бывает, что и отдаляет друг от друга. В их случае, видимо, было именно так. Да и та человеческая мутация, которая, несомненно, происходила с Ходасевичем в период «Тяжелой лиры», сделала для него менее привлекательным то тихое, спокойное, смиренное счастье, которое воплощала Анна Ивановна. А она, когда-то готовая раствориться в нем, все больше ощущала собственную нереализованность. Как писала Юлия Оболенская Магде Нахман: «Нельзя себе представить, как она мучается тем, что она “ничто”. Очевидные ее женские успехи не удовлетворили ее».

И именно в этот момент произошла встреча, оказавшаяся одной из главных в жизни поэта.

Впервые они встретились, если верить воспоминаниям Владислава Фелициановича, несколькими месяцами раньше. Ходасевич застал гумилёвских студийцев, веселящихся после занятия в гостиной ДИСКА:

«На полу барахталось с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастьях шапках. Фрида Наппельбаум, маленькая поэтесса, показала мне пальцем:

— А эта вот — наша новенькая студистка, моя подруга.
— А как фамилия?
— Нина Берберова.
— Да которая же? Тут и не разберешь.
— А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога»¹.

Нина Николаевна Берберова родилась в Петербурге 26 июля (8 августа) 1901 года в доме 31 по Большой Морской улице; детство ее прошло в двух шагах от набоковского и в те же самые годы. Ее отец, Николай Иванович, математик по образованию, служащий Министерства финансов по должности, происходил из армян, со времен Екатерины II населявших Нахичевань-на-Дону, город рядом с Ростовом². Дед Нины был известным в Нахичевани врачом. Предки по матери — из дворян Тверской губернии.

Гражданскую войну Берберовы провели в Нахичевани и в 1920-м вернулись в Петроград. Нина, начинавшая учиться в Ростовском университете, поступила в Институт истории искусств (так называемый «Зубовский»), в числе студентов которого, в то время и позднее, были многие крупные писатели 1920—1930-х годов, например, Константин Вагинов и Даниил Хармс. Разумеется, она писала стихи. Впрочем, как позднее признавалась сама Берберова, «только годам к двадцати проснулось во мне “эстетическое чувство”, как это называют, и понимание искусства, и любовь к нему, и потребность в нем. А в это время я уже давно знала, что отличает Мартова от Суханова и Спиридонову от Блюмкина»³. Берберова была очень характерным человеком своего поколения — не только в этом отношении. Упоение жизнью и интерес к ней, высокомерное отношение к обывательской нравственности, демонстративное равнодушие к религии, уважение к силе, откровенное презрение к слабости, глупости, бездарности, склонность к четким и хлестким, притом часто упрощенным, порою сомнительным формулам-определениям, деловое, инструментальное отношение к миру — все эти человеческие приметы, возникающие в сознании при чтении прозы и особенно мемуаров Нины Берберовой, присущи и многим ее сверстникам, которые формировались примерно в таких же, как она, условиях, а жили — в совершенно иных⁴. Ходасевичу этот человеческий тип был, казалось бы, донельзя чужд. Но Берберовой суждено было сыграть огромную роль в его жизни. А ему — в ее.

¹ Ходасевич В. «Диск» // СС-4. Т. 4. С. 276.

² Ныне это район Ростова-на-Дону.

³ Берберова Н. Курсив мой. М., 1999. С. 104.

⁴ См., например, неоднократно переиздававшиеся в последнее десятилетие «Записные книжки» Лидии Гинзбург.

Летом 1921 года Нина по совету тетушки пошла со своими стихами в Дом литераторов. Там она «поэтов не нашла» и направилась в дом Мурузи, в Союз поэтов. В Союзе Берберова познакомилась с Гумилёвым и сразу же покорила сердце влюбчивого мэтра (и неудивительно — она была очень хороша собой). Гумилёв пригласил ее в свою студию в ДИСКе, которую она успела посетить лишь один раз, 2 августа. Только в этот день ее и мог увидеть Ходасевич — в тот же самый день, когда он в последний раз разговаривал с Гумилёвым. Остается лишь вздохнуть о том, каким же бульварным романом порою оборачивается жизнь... но — откуда шубы и ушанки в августе? И когда Нина успела стать подругой Фриды (Фредерики) Наппельбаум, одной из талантливейших гумилёвских студисток? Что-то не сходится...

Нина была сразу же принята кандидатом в члены Союза поэтов, хотя приемная комиссия зачастую проявляла строгость и к опытным стихотворцам.

Николай Степанович очертя голову ухаживал за девушкой. Но, судя по воспоминаниям Берберовой, пылкие чувства поэта только раздражали ее: «Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что ненужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. Как бывает в таких случаях, хотелось временами быть за тридевять земель, и вместе с тем я помнила, что это — большой поэт»¹. Гумилёв казался ей «человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не пытался его понять». (Бесчисленные подражатели и поклонники Гумилёва из числа Нининых сверстников с ней не согласились бы.) И тем не менее Берберова проводила с Гумилёвым целые дни, а когда его арестовали, передала ему в тюрьму яблочный пирог. Сам Николай Степанович в последние дни, проведенные на свободе, говорил друзьям о своей счастливой, разделенной любви, не называя, правда, имени ее предмета. Возможно, на склоне лет Нина Николаевна невольно деформировала свои воспоминания, по каким-то причинам стараясь принизить значение этого эпизода своей жизни, отмахнуться от него. Так или иначе, любовь к Берберовой, в одном случае очень короткая, в другом — очень долгая, стала еще одной нитью, связавшей двух поэтов, Николая Гумилёва и Владислава Ходасевича.

Настоящее знакомство Нины с Ходасевичем произошло в ноябре, в салоне Моисея Наппельбаума, знаменитого фотогра-

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 152.

фа, отца Фредерики и ее старшей сестры Иды, тоже поэтессы и ученицы Гумилёва, участницы «Звучащей раковины». В по-недельничных чтениях у Наппельбаума участвовали и гранды петербургской поэзии — Сологуб, Ахматова, Кузмин (и Ходасевич, конечно), и вошедшие в моду молодые поэты, такие как Тихонов, и совсем юные студийцы. Как вспоминала Берберова, «два незанавешенных окна смотрели на крыши Невского проспекта и Троицкой улицы. В комнату поставили рояль, диваны, табуреты, стулья, ящики и “настоящую” печурку, а на пол положили кем-то пожертвованный ковер. <...> Огромный эмалированный чайник кипел на печке, в кружки и стаканы наливался “чай”, каждому давался ломоть черного хлеба»¹. Такое, и только такое угощение для участников литературного собрания могли позволить себе в первые дни нэпа в относительно благополучной и сытой интеллигентской семье.

Двадцать первого ноября 1921 года Нина читала в этой комнате свои новые стихи в присутствии Ахматовой и Ходасевича, и — имела успех. Анна Андреевна благосклонно улыбнулась и надписала ей только что вышедший сборник «Anno Domini», а Владислав Фелицианович прямо похвалил ее подчеркнуто «прозаичные» строки:

Тапы, кувшины расписные
Под теплым краном сполосну
И волосы, еще сырые,
У дымной печки заверну.

И буду девочкой веселой
Ходить с заложенной косой,
Ведро носить с водой тяжелой,
Мести уродливой метлой...

Но гораздо важнее, чем похвалы Ходасевича, были для Нины его собственные стихи, прозвучавшие в тот вечер, — «Лида», «Вакх», «Элегия». Прежде Берберова стихов Ходасевича не знала. После этого вечера она прочитала «Счастливый домик» и «Путем зерна».

Удивительно: многим, и не самым глупым людям Ходасевич казался архаистом, реставратором, а для Нины, помешанной на современности, именно он-то и стал воплощением этой современности: «С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем — и, может быть, насмерть»². Не менее важно и другое: влюбленная в силу, она силу эту увидела в Ходасевиче. В Хода-

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 159.

² Там же. С. 165.

севиче, который многим даже любящим его стихи людям (например, Николаю Чуковскому, с которым Нину связывала близкая дружба) казался человеком в быту слабым и трусоватым и который в ходе их романа вел себя далеко не с безупречным мужеством. И в своих мемуарах она сумела обойти мучительную, неприятную, некрасивую часть сюжета.

Сам роман начался в дни новогодних и рождественских праздников. За несколько недель до этого у Анны Ивановны обнаружили туберкулезный процесс, и Ходасевич выхлопотал ей путевку в санаторий, в Детское Село. За полтора месяца муж ни разу не посетил ее. (Гаррик находился у родственников в Москве.) С бытовой точки зрения поведение Ходасевича выглядело, конечно, предосудительно, особенно если вспомнить, как еще недавно ухаживала за ним Анна Ивановна в его хворях. Но тот же глубинный хмель, который в те месяцы диктовал поэту его лучшие стихи, заставлял его пренебречь «малой правдой». А может быть, он был настолько зачарован Ниной, не только ее красотой, но — прежде всего — молодостью, жизнестойкостью, смелостью, волей, что все остальное, в том числе моральные обязательства перед женой, отступало на второй план. Тем не менее он не забывал посылать «милому мышонку» ласковые и деловые письма с обычными изъявлениями заботы и нежности («не бегай много, не тревожься, кушай не одни листики»¹). Но теперь это звучало фальшиво.

Встретившись в новогоднюю ночь в Доме литераторов (Нину по-дружески пригласил Рождественский), Берберова и Ходасевич вдвоем пошли в ДИСК — с Бассейной на Мойку, заснеженным веселым городом. 7 января 1922-го, в Рождество, они уже с самого начала вместе веселились в ДИСКе. Как вспоминает Берберова:

«Часа в три ночи мы пошли по глубокому снегу в соседний подъезд, к его входу, и просидели до утра у его окна, глядя на Невский, — ясность этого январского рассвета была необычайна, нам отчетливо стала видна даль, с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист, и только у Садовой блеснул, переливался и не хотел погаснуть одинокий фонарь, но потом погас и он. Когда звезды исчезли (ночью казалось, что они висят совсем близко — рукой подать) и бледный солнечный свет залил город, я ушла. Какая-то глубокая серьезность этой ночи переделала меня. Я почувствовала, что я стала не той, какой была. Что мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные»².

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 8.

² Берберова Н. Курсив мой. С. 174.

Потом была еще встреча Старого Нового года в Зубовском институте, в уже привычной компании — Ида Наппельбаум, Николай Чуковский, Рождественский, Лунц (тоже близкий друг Нины). И — свидания прямо в ДИСКЕ.

Ходасевич был не слишком опытным ловеласом и плохим конспиратором. Уже в Детском Селе до Анны Ивановны стали доходить неприятные слухи. Вернувшись домой между 21 и 24 января, она не застала мужа, но увидела в комнате бутылку вина и корзиночку из-под пирожных. «Когда пришел Владя, я спросила: “С кем ты пил вчера вино?” Он сказал: “С Берберовой”»¹. Ситуация была почти опереточной, и от нее — от ее пошлости прежде всего — Ходасевич поспешил сбежать. Поводом стала давно намеченная поездка в Москву.

Недели, проведенные там, стали периодом тяжелого внутреннего смятения, несмотря на заполнявшие их литературные дела. Письма Анне Ивановне, написанные из Москвы в феврале 1922 года, достаточно процитировать без всяких комментариев — настолько они выразительны:

«Маленький мой человечек, я очень люблю тебя навсегда, хоть ты и ничтожное существо. Пойми, родной, что вся моя боль, вся жалость, все доброе, что еще осталось во мне, — навсегда к тебе. Другим — мои стихи, разговоры, — а тебе — просто я, такой, каким хотела бы меня видеть мама»².

О многом я соблазнился, Пипик, — и стал соблазнительен. Темное, дымчатое, сомнительное и пленительное туманит меня, как вино. Я хожу, как пьяный. И это все стало приманивать людей к моим стихам. И все это надо принять в себя, пережечь в себе, чтобы или погибнуть, или стать совершенно светлым.

Милый мой, Господь да сохранит тебя — одну, потому что меня Он сейчас отдал в другие, не в Свои руки. А ты, со всей своей дрянью, все же в Его руках. Ты человечек, а я сейчас — не особенно, как-то только до пояса»³ (2 февраля 1922 года).

Это — минута слабости, страха перед собственной гордыней, перед тем, что открылось в собственной душе и собственном творчестве. На следующий день настроение Ходасевича меняется:

«Если бы ты, Пип, был на самом деле такой, как в письмах, — все было бы по-другому и — поверь — лучше. Но письма ты пишешь скучая, а живешь веселясь. И несмотря на все

¹ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 405.

² Ср. знаменитые строки из стихотворения «Перед зеркалом»: «Разве мама любила такого, / Желто-серого, полуседого / И всезнающего, как змея?»

³ СС-4. Т. 4. С. 439—440.

меланхолии, ты скучающий лучше, чем веселящийся, как и все люди, впрочем. Ну, Бог с тобой. За доброе слово — спасибо, но от слова (хоть оно очень правдиво, я знаю) до дела у тебя очень далеко. Поэтому я словам твоим почти не верю. Скучаешь — умнеешь. Развеселишься — опять пойдут мистики, юрики, пупсики — вздор. Я, брат Мышь, под людьми вижу землю на три аршина. Под тобой, прости меня, — тоже. Теперь я — Медведь, который ходит сам по себе. Я тебя звал на дорожку легкую, светлую — вместе. Ты не пошла (давно уж это было). Теперь хожу я один, и нет у меня никого, ради кого стоит ходить по легким дорожкам. Вот и пошел теперь самыми трудными, и уж никто и ничто, даже ты, меня не вернет назад.

“Офелия гибла и пела” — кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой — *погибать*. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду *один*. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают. И еще я ей сказал: “Ты не для орла, ты — для павлина”. Все вы, деточки, для павлинов. Ну, конечно, и я не орел, а все-таки что-то вроде: когти кривые»¹.

Автору этих писем можно поставить в вину многое: и неуместный презрительный тон в адрес сразу и жены, и любовницы, и самодраматизацию в лучших символистских традициях (кто поет, тот гибнет — а кто не поет, благополучен и бессмертен?). Но Ходасевичу было очень трудно. И в этой ситуации все то, что прежде прощалось многолетней спутнице (а Анна Ивановна была, при всей своей прелести и верности, человеком явно неглубоким), теперь вышло на поверхность.

По возвращении в Петроград стало еще труднее. Вот как вспоминает Анна Ивановна об этих двух с половиной месяцах — со второй половины февраля до начала мая: «Владя то плакал, то кричал, то молился и просил прощения, а я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога, который признал его нервнобольным и сказал, что ему нельзя ни в чем противоречить, иначе может кончиться плохо. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел ее дня два-три, то кричал и плакал, и я сама отправлялась к Берберовой, чтобы привести ее к нам для его успокоения»².

¹ СС-4. Т. 4. С. 441.

² Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 405.

С Ниной Владислав Фелицианович сразу же становился другим: спокойным, ласковым, бодрым. Как вспоминал Николай Чуковский: «Нина вся как-то одурела от счастья, а Ходасевич посветлел, подобрел, и очки его поблескивали куда бойчей и веселей, чем раньше. Он на несколько месяцев спрята- л свой трагизм и даже временно стал относиться к мирозда- нию значительно лучше»¹. Но невротическое состояние время от времени прорывалось: прежде всего в паническом страхе перед кроткой Анной Ивановной, которую Владислав Фелициа- нович подозревал в каких-то непонятных интригах и коварных замыслах. Впрочем, может быть, он на самом-то деле опасался ее слез.

При этом Нина время от времени как ни в чем не бывало общалась с Анной Ивановной и даже записала в марте 1922 го- да стихотворение в ее альбом, хранивший автографы поэтов и рисунки поэтов и художников: Бальмонта, Брюсова, Мандель- штама, Парнок и даже Герберта Уэллса, взятый во время его приезда в Россию в 1920 году. Это было юношески-эпатажное стихотворение о «любви втроем», написанное еще в 1921 году, но приобретавшее особенно двусмысленное звучание с учетом сложившихся отношений:

...Есть жена и есть невеста,
У меня — отец крутой.
Ну так что ж, что нет им места
В нашей страсти огневой?

Спросит робкая подруга:
«Делят как тебя одну?»
Поведу плечами туго,
Только бровью шевельну.
.....
Только стала я косая,
На двоих зараз смотрю.
Жизнь моя береговая,
И за то благодарю².

¹ Чуковский Н. О том, что видел. С. 135.

² Н. Берберова приводит любопытный разговор с В. Ходасевичем об этом стихотворении:

«— Что это значит “жизнь береговая”?»

— Береговая — это которая берегом идет, дорога береговая, прогулка береговая. — Меня удивило, что он не понимает.

— Значит, не настоящая, а так, сбоку, что ли?

— Если хотите.

— Просто для развлечения. Хочу — пойду, хочу — дома останусь.

— Ну да. По краю. Жизнь по краю. Не всамделишная.

<...> Ходасевич тихо сказал:

— Нет. Я не хочу быть береговым. Я хочу быть всамделишным» (Бер- берова Н. Курсив мой. С. 171).

В эти же недели (а если точнее — между 11 и 13 апреля 1922 года) написано лучшее из немногих любовных стихотворений Ходасевича:

Странник прошел, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море
Или на небе, — мне вспомнишься ты.

Конечно, эти стихи вдохновлены любовью к Нине — хотя Анна Ивановна считала их адресатом себя. Зато другое стихотворение того времени прямо связано с несчастным «Пипом». Это — «Жизель». 30 апреля Ходасевичи были на спектакле. Анна Ивановна все время плакала, должно быть, простодушно примеряя на себя горькую судьбу балетной бедняжки. Утром 1 мая, «под оглушительный Интернационал проходящих на парад войск», Ходасевич написал восемь строк:

Да, да! В слепой и нежной страсти
Переболей, перегори,
Рви сердце, как письмо, на части,
Сойди с ума, потом умри.

И что ж? Могильный камень двигать
Опять придется над собой,
Опять любить и ножкой дрыгать
На сцене лунно-голубой.

Это стихотворение, с его характерными балетными реминисценциями, стало последним, написанным Ходасевичем в Петербурге... и в России.

Седьмого мая он уехал в Москву. Повод для поездки нашлся легко: Ходасевич искал издателя для «Тяжелой лиры» (московское Издательство писателей почему-то книгу не взяло; она вышла в конце года в Госиздате). Анна Ивановна с тревогой отнеслась к этой поездке; с самого начала она спросила мужа, едет ли с ним Берберова. Ходасевич ответил отрицательно.

Двенадцатого мая он, наконец, посылает Анне Ивановне решительное письмо:

«Ты просишь писать правду, не бояться тебя огорчать, п<ото-му> ч<то> “хуже того, что было, не может быть”. Рад, что хоть на бумаге ты благоразумна. Отвечу правду. Думаю, что всего лучше было бы и для тебя, и для меня — разъехаться. <...> Анюта, мы *оба* сделали друг другу много добра и много зла. Но если и впредь останемся вместе, — будем делать одно только зло.

Так нельзя. Наше хорошее обязывает к хорошему и в дальнейшем, но это хорошее должно принять иные формы»¹.

Письмо Анна Ивановна испещрила бешеными пометками: «Уничтожить», «Сжечь» и т. д. Но не уничтожила, не сожгла. То, что она написала в ответ, было, по-видимому, проникнуто горячей женской обидой. А Ходасевичу тем временем физическое отдаление дало силы спокойно подойти к непростой ситуации. В письме от 15 мая он настойчиво просит жену дать прямой ответ: «Обещаю тебе каждый день бывать у тебя, заботиться о тебе, как заботился. Обещаю делать это не по долгу (на “долг” человека не хватает долго) — а по любви. Ибо моя любовь к тебе не прекратится, если мы не будем изводить друг друга, как изводили»².

Ответ пришел 20 мая: Анна Ивановна согласилась расстаться. Ходасевич настоял на том, чтобы жена продолжала принимать его материальную помощь, причем сделал это в очень тактичных формах: «Ты же знаешь, как я смотрю на деньги. Поверь, если когда-нибудь они у тебя будут, а у меня нет — возьму, так и знай. Так же и ты бери»³. В письме от 10 июня он пишет: «Что я хочу *реально*? Чтобы ты спокойно жила в Диске, где я комнату тебе обеспечу *навверняка*, чтобы получала мой паек, золотое обеспечение и столько денег, сколько у меня будет сверх того, что абсолютно необходимо на пропитание».

В своих воспоминаниях Анна Ивановна утверждает, что письма Влади из Москвы «были совершенным бредом, с обвинением меня в чем угодно, с советами, как мне надо жить, с кем дружить и т. д.»⁴. Но она же сама сохранила все письма, они доступны, и в них ничего подобного нет. Пожалуй, Владислав Фелицианович несколько злоупотреблял, с учетом ситуации, философическими рассуждениями и покровительственно-дидактическим тоном. Но основной пафос его писем — иной: «Знай одно: *навсегда* ты мне будешь дорога, этого не отнимет никто. Не верю в твою одинокую и т. д. старость. Ты знаешь, что мои предсказания сбываются. Мы еще будем такими друзьями, так будем духовно близки, как, к сожалению, не были никогда» (письмо от 10 июня 1922 года)⁵. Предсказания не сбылись: старость Анны Ивановны была одинокой, и дружбы с бывшим мужем не вышло.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 19.

² Там же. Л. 20 (с об.).

³ Там же. Л. 24, об.

⁴ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 405.

⁵ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 29.

Начать с того, что Ходасевич и сейчас, объясняясь с Анной Ивановной «начистоту», продолжал скрывать от нее главное. Цель поездки в Москву была далеко не только в поисках издателя для книги. Владислав Фелицианович хлопотал о командировке за границу и о паспорте. Эти цели выглядели теперь куда реальнее: с весны 1922 года Наркомпрос уже почти не отказывал сколько-нибудь известным писателям, хлопочущим о «неоплачиваемой командировке». Так в течение двух лет выехали Гершензон, Зайцев, Пастернак, Георгий Иванов, Адамович, Вячеслав Иванов и многие другие. Одни вернулись, другие нет, что, видимо, и входило в расчеты властей, которые стремились таким образом бескровно уменьшить количество нелояльной интеллигенции в стране. Апогеем тут стали августовские прямые высылки 160 литераторов и ученых. (Ходасевичу, уже уехавшему из России, позднее кто-то рассказывал, что его имя тоже было в списке подлежащих высылке, но опубликованные ныне материалы¹ этого не подтверждают. Поведение Ходасевича в 1922—1924 годах показывает, что он в это время считал вопрос возвращения в СССР зависящим только или главным образом от своей собственной воли; все упоминания о якобы имевшей место «заочной высылке» относятся к более позднему времени.)

Как мотивировал Ходасевич свое желание уехать из страны? Сохранился план-конспект его предстоящего разговора с Анатолием Луначарским:

«VI 1) Я не хочу писать белых статей.

III 2) Я хочу занять независимое положение в зарубежной прессе.

3) Я хочу печатать стихи и статьи на темы ист.-литер. и культуры.

V 4) Я хочу лечиться.

5) Я хочу бороться с духом буржуизма, т. е. с идейным обывательством, мешанством, оппортунизмом.

IV 6) Я хочу освещать впечатления с чисто эстетической стороны. (Давно бы съездил.)

III 7) Я хочу и должен видеть современную Европу².

Судя по разнобою в цифрах, Владислав Фелицианович не был уверен в последовательности этих тезисов. Но едва ли они были для Луначарского так уж важны. Удивительно не то, что выпустили Ходасевича, а то, что выпустили Берберову: в каче

¹ Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК—ГПУ. 1921—1923 / Вступ. ст., сост. В. Г. Макарова, В. С. Христофорова; коммент. В. Г. Макарова. М., 2005.

² СС-4. Т. 4. С. 649.

стве секретаря при поэте и «для пополнения образования». Не исключено, что сыграла роль банальная «мужская солидарность». Жизненная ситуация Ходасевича, в отличие от его мирозерцания и поэтики, была вполне понятна сановным бонвиванам вроде милейшего Анатолия Васильевича, и понятность эта была залогом его благонадежности.

На самом деле, конечно, не только эти обстоятельства, не только желание разубить мучительный личный узел заставили Ходасевича и его юную спутницу покинуть Россию. Берберова вспоминала: «В апреле, все в том же Михайловском сквере, на скамейке, Ходасевич сказал мне, что перед ним две задачи: быть вместе и уцелеть»¹. Но что означало это «уцелеть» в 1922 году, когда масштаб «грядущих казней» никто и вообразить себе не мог? Сама Берберова не могла однозначно ответить на этот вопрос. Может быть, речь шла все о той же «дорожке, где гибнут», о надежде творчески состояться и все-таки избежать этой дорожки. Отъезд из России, который тогда казался временным, был лишь очередным ходом в этой игре с судьбой.

За полтора месяца, проведенных в Москве, Ходасевич не написал ни строки. Он еще раз выступил в Союзе поэтов, общался со старыми друзьями Зайцевым, Муратовым, Мандельштамом, который познакомил его со своей молодой женой. В отличие от прошлых месяцев он находился в отличном расположении духа. Тем временем Анна Ивановна продолжала ожидать мужа в Петрограде:

«Наконец я категорически спросила его письмом, вернется ли он в Петроград, мотивируя этот вопрос бытовой причиной — сроком пайка Дома ученых. <...> В ответ на мое письмо получила телеграмму: “Вернусь четверг или пятницу”. <...> Я простояла оба утра четверга и пятницы у окна, надеясь увидеть Владю едушим на извозчике с вокзала. В пятницу за этим занятием меня застала Надя Павлович и сказала мне: “Ты напрасно ждешь, он не приедет”. Я ей на это показала телеграмму, но она повторяла: “Он не приедет”»².

В действительности Ходасевич приехал в Петроград еще в воскресенье, втайне от Анны. Он остановился на Кировной у художника Юрия Анненкова. В четверг, 22 июня, он вместе с Берберовой сел в поезд, отправляющийся в Ригу. Об отъезде знали только родители Нины; лишь они и провожали свою дочь и ее спутника на вокзале.

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 175.

² Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 405—406.

Глава восьмая

ЧЕРЕЗ ГОРЫ И РЕКИ

1

Из Риги путь Владислава Фелициановича и Нины Николаевны пролегал в Берлин. В столицу Германии они прибыли 30 июня.

Почему именно Берлин? Ответить нетрудно. Это был самый естественный маршрут для любого человека, выезжавшего в те годы из России «в никуда» — в абстрактную «заграницу». К 1922 году 600 тысяч бывших подданных Российской империи оказались в бывшей империи Гогенцоллернов. Через десять лет от них осталась лишь треть.

Битая и поневоле смиренная Веймарская республика впускала всех почти без разбора. К тому же в Германии жизнь была дешевле, чем где бы то ни было в Европе. Отчасти это было связано со стремительным обесцениванием марки. Конечно, те, кто успел перевести свои сбережения в германскую валюту (подобно героям «Пещеры» Марка Алданова), пострадали, но те, у кого на руках были деньги других стран, прежде всего доллары США, оказались в выигрыше. Своеобразие ситуации заключалось еще и в том, что Германия первой из великих европейских держав, в апреле 1922 года, признала правительство Ленина и установила с РСФСР дипломатические отношения. Белоэмигранты здесь на каждом углу сталкивались с гражданами Совдепии — более или менее лояльными.

Огромное большинство берлинских русских жило в собственном замкнутом мире, мало соприкасаясь с жизнью Германии. У русских была не только собственная пресса, но и собственные кафе и магазины. Как язвительно заметил Лев Лунц, сосед Ходасевича по ДИСКу и близкий приятель Берберовой, появившийся в Берлине летом 1923-го, чтобы практически сразу же отправиться в санаторий, из которого он уже не вернулся, «единственный представитель германской нации, с которым эмигрант имеет дело, — это квартирная хозяйка»¹. В меньшей

¹ Лунц Л. Обезьяны идут. СПб., 2003. С. 70.

степени это относилось к «буржуям», которых род их занятий естественно вводил в интернациональные торговые и биржевые круги. Но русские интеллигенты — и, что всего важнее, русские писатели — почти не были связаны с немецкой культурной средой. Это относилось и к тем, кто хорошо владел немецким языком, а Ходасевич к их числу не принадлежал.

Первая встреча Ходасевича с эмиграцией была недружественной. Письмо Борису Диатропову, посланное 9 июля 1922-го из Берлина, — лучшее тому свидетельство:

«Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигрантами: не эсерами какими-нибудь, а покрепче: настоящими толстобрюхими хамами. О, Борис, милый, клянусь: Вы бы здесь целыми днями пели интернационал. Чувствую, что не нынче-завтра взыграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники, убежденные, принципиальные, обросшие 80-пудовыми супругами и невероятным количеством 100-пудовых дочек, изнывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов. Тщетной, ибо вся “подходящая” молодежь застряла в Турции и Болгарии, у Врангеля, — а немногие здешние не женятся, ибо “без средств”. — У барышень психология недоразвившихся блядей, мамыши — “мамаши”, папаши — прохвосты, необычайно солидные. Мечтают об одном: *вешать* большевиков. На меньшее не согласны. Грешный человек: уж если оставить сантименты — я бы их самих — к стенке. Одно утешение: все это сгниет и вымрет здесь, навоняв своим разложением на всю Европу. Впрочем, здесь уж не так-то мирно, и может случиться, что кое-кто поторопит их либо со смертью, либо с отъездом — уж не знаю куда. Я бы не прочь. Здесь я видел коммунистическую манифестацию, гораздо более внушительную, чем того хотелось моим соседям по пансиону»¹.

Коммунистом Ходасевич, конечно, не стал — более того, с каждым днем, проведенным вне Советской России, он все резче расходился с большевистским режимом. Но неприятие «толстобрюхих хамов» и «прохвостов», да и всей буржуазной европейской реальности, останется с ним надолго. В сущности, именно от этого, от диктатуры «благополучного гражданина», почтенного торговца, бежал он, как ему казалось, из России — чтобы оказаться в самом средоточии этого «разложения». Ни на тем временем с любопытством наблюдал допотопные, фантастические на ее двадцатилетний взгляд образцы «бывших людей» — вроде вице-губернаторши, носящей траур «не то по “государю-императору”, не то по Распутину», с отвращением

¹ СС-4. Т. 4. С. 447—448.

спрашивающей барышню, закончила ли та Пролеткульт и собирается ли держать экзамены в комсомол.

Русская литературная среда в Берлине была густа настолько, что поддерживать привычный круг общения для новоприбывших не составляло труда. С 1921 по 1923 год в Берлине и неподалеку от него почти постоянно жили Горький, Ремизов, Белый, Алексей Толстой, Эренбург. В апреле 1922-го появились Виктор Шкловский и Марк Алданов, в мае, правда, всего на два месяца, Цветаева и Эфрон, и одновременно, на такой же срок — Есенин с Айседорой Дункан (вторично Берлин стал арендой есенинских пьяных безумств в феврале—апреле 1923 года). В июне приехал Борис Зайцев, в августе — Пастернак, в сентябре — Георгий Иванов, в ноябре—декабре в Берлине гастролировал Маяковский, в октябре 1922-го и летом 1923-го короткое время жил Гершензон. Эти писатели не просто находились в одном городе с Ходасевичем — почти с каждым из них он встречался на литературных вечерах или у себя дома, иногда по несколько раз в неделю. Эти встречи аккуратно зафиксированы в ежедневнике, который Ходасевич вел с 1922 года до конца жизни и который в шутку называл «камер-фурьерским журналом» (такие журналы велись в старину при дворах царствующих особ).

Так что когда в процитированном письме Борису Диатропову Владислав Фелицианович называет русский литературный Берлин «провинцией», это выглядит как привычная уже высокомерная поза. На короткое время столица Веймарской республики стала одной из столиц русской словесности — и русского книгоиздания, коли на то пошло. Здесь находилось Издательство Зиновия Гржебина, одного из основателей «Всемирной литературы», который заключил контракт с Наркомпросом и получал от него заказы, частично оплаченные. В 1922—1923 годах Гржебин выпустил 225 книг, в том числе четыре книги Ходасевича: второе, исправленное и дополненное издание «Тяжелой лиры», два переиздания «Счастливого домика» и антологию «Из еврейских поэтов». Другие издательства — «Эпоха», «Слово», «Мысль», «Грани» — также внесли свой вклад в историю русской печати. Общая номенклатура берлинских изданий на русском языке в эти два года была больше, чем в Москве и Петрограде. На титульном листе выпущенных в Берлине книг иногда значился двойной адрес: «М.—Берлин» или «Берлин—Пг.». Книги этих издательств до поры до времени допускались к ввозу в Совдепию, а московские и петроградские писатели не боялись в них издаваться.

В Берлине был даже собственный Дом искусств — объединение русских писателей и художников скорее просоветской

(или, по крайней мере, нейтральной) направленности. Их вечера проходили в кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе, а позднее в кафе «Прагер». Именно обстановка этого кафе отразилась, по собственному признанию Ходасевича, в его стихотворении «Берлинское», написанном во второй половине сентября 1922 года:

Что ж? От озноба и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.

А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом —

Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб...

В этих кафе на литературных вечерах можно было встретить работников советского полпредства — и даже приехавшего в 1923 году в Германию лечиться (по слухам, от алкоголизма) Алексея Ивановича Рыкова, заместителя предсовнаркома, на тот момент второго или третьего (а с февраля 1924-го формально первого) человека в СССР (Ходасевич имел случай пообщаться с ним в обстановке еще менее официальной). Другая организация, более ориентированная на политических эмигрантов, называлась «Клуб писателей». Во главе ее стоял Борис Зайцев. Вечера клуба происходили в кафе «Леон» на Ноллендорфплац.

Само собой, Берлин был и центром политической жизни русского зарубежья. К моменту приезда Ходасевича здесь еще не улеглось потрясение после мартовского убийства Владимира Набокова-отца. Борьба между политическими партиями была очень сложной: черносотенцы и октябристы, либералы и эсеры, сменовеховцы из газеты «Накануне» (выходившей в Берлине с 1922 года) и откровенные «большевицаны» создавали ту сложную и противоречивую общественную жизнь, для которой в Советской России места уже не было. И конечно, тогдашний Берлин — с его железными трубами, асфальтовыми дворами и знаменитым «Зоо» — остался в русской прозе той поры, от Виктора Шкловского до молодого Набокова.

Для Владислава Фелициановича этот город стал местом встречи с людьми из собственного прошлого. В Берлине жила с мужем его сестра, Евгения Фелициановна Нидермиллер

(в первом браке Кан) — та «Женичка», которой он некогда посвятил свой первый мадригал. А на улицах и в кафе один за другим Ходасевичу и Берберовой встречались Койранский, Муратов, Кречетов, Маковский (Марина Эрастовна была в Праге)... Фигурой, связывающей настоящее с прошлым, стал Андрей Белый, оказавшийся в Берлине месяцев за семь до Ходасевича.

Белый выехал из России в состоянии тяжелого нервного расстройства. Еще в Петрограде у него началась мания преследования: он был убежден, что за ним постоянно следит ЧК. Судя по письму, посланному бывшей жене Асе Тургеневой из Ковно 11 ноября 1921 года, он полагал, что чекисты следят за всеми русскими и за границей. В то же время он уезжал с твердым намерением вернуться. Целей в Германии у него было две: восстановить свои давние связи с доктором Штейнером и его антропософской школой в Дорнахе (которой экзальтированный русский писатель приписывал грандиозное влияние на мировые события) и — с другой стороны — вернуть Асю. Ни то ни другое не вышло. Штейнер почему-то не захотел принять своего бывшего ученика; Ася, с которой Белого некогда связывал возвышенно-одухотворенный союз, сошлась с имажинистом Кусиковым. В отчаянии Белый пьянствовал и танцевал бесконечные фокстроты в берлинских танцзалах. Вот как описаны эти танцы в «Некрополе»:

«В однообразную толчею фокстротов вносил он свои “вариации” — искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались — в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужа, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому»¹.

Ходасевич уже видел «ангела» падшим, поверженным. Но если в уродливых танцах падшего ангела было своего рода величие, то этого нельзя сказать о его бесконечных исповедальных монологах, в которых он снова и снова пытался выяснить давние отношения со всеми — со Штейнером, с Асей, с Блоками. Ходасевич и Белый жили в одном и том же пансионе Крампе на Виктория-Луизаплац, и Владиславу Фелициановичу приходилось быть постоянным слушателем этих монологов. Однажды, после четырехжды повторенной истории отношений

¹ Ходасевич В. Андрей Белый // СС-4. Т. 4. С. 60.

Белого с Блоком и Любовью Дмитриевной, Ходасевич потерял сознание. Белый преследовал своими исповедями и посторонних, ничего о нем не знающих людей. В их числе была дочь владельца одной из берлинских пивных по имени *Mariechen* — та самая болезненная девушка, которой посвящено жуткое и прекрасное стихотворение Ходасевича «An Mariechen»¹. Впрочем, разве сам Владислав Фелицианович годом раньше не рассказывал о «Скорпионе» и «Грифе» глухой дочери бельского кучера?

В довершение в Берлине появилась и Нина Петровская — «полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая». Теперь Андрей Белый и его бывшая возлюбленная многословно и тоскливо копались в своих старых счетах, и Ходасевичу приходилось быть свидетелем этих бесед. Как будто не прошло пятнадцати лет с той безумной петербургской осени 1907 года, как будто тот, кто «в миру» звался Борисом Бугаевым, не написал за эти годы множества книг, в том числе — великих. «Я с ужасом наблюдаю людей, которые не меняются», — написал 12 октября 1922 года Ходасевич Анне Ивановне в Петроград под впечатлением встреч с Петровской. Тем временем две Нины, сорокалетняя и двадцатилетняя, смотрели друг на друга как существа с разных планет. Как вспоминала Берберова, «она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. Из этого один только коньяк был сейчас доступен, но я отказывалась пить с ней коньяк, я не умела этого делать»². «Рената» вскоре исчезла, чтобы еще раз появиться близ Ходасевича уже в Париже; ему суждено было стать непосредственным свидетелем жутковатого финала ее жизни.

И все же в это время — с осени 1922-го по осень 1923 года — дружба Ходасевича и Андрея Белого достигла своего расцвета. Жесткие слова написаны Владиславом Фелициановичем годы спустя; в те же месяцы он воспринимал поведение Белого иначе, добрее. Вот слова из его письма Гершензону, отправленного из Берлина в Баденвейлер 14 ноября 1922 года: «Белый очень страдал и страдает. <...> Он много пил и пьет. Только невероятное здоровье (внутреннее и физическое) дает ему силы выносить это. Однако я, повторяю, постараюсь увезти его на чистый воздух + от кабаков и плохих поэтов, которые изводят его вко-

¹ К Марихен (нем.).

² Берберова Н. Курсив мой. С. 205.

нец. Вообще же он чудесен, как всегда, и сейчас, измученного, хочется любить его еще больше»¹.

Увы, возможно, говоря о плохих поэтах, окружавших Белого, Ходасевич имел в виду и Пастернака. Как писал сам Борис Леонидович 17 января 1923 года Сергею Боброву, «Ходасевич, спервоначала подарив меня пронизательностью “равного”, вдруг, по прочтении Колина отзыва в “Нови”, стал непроницаемой для меня стеной с той самой минуты, как на вопрос об Асееве я ему ответил в том единственном духе, в каком я и ты привыкли говорить об этом поэте»². Изменив отношение к Пастернаку-человеку, Ходасевич перестал скрывать и свое по меньшей мере противоречивое отношение к пастернаковской лирике. Характерен следующий эпизод, который припоминает Берберова: «Однажды Белый пожаловался Ходасевичу, что он с трудом добирается до сути, и когда добирается, суть оказывается совсем неинтересной. Ходасевич согласился с ним и между прочим сказал, что “они” (футуристы и центрофугисты) часто подчеркивают, что живут в динамическом мире, в особом динамическом времени, а тратить время на расшифровку их неинтересных и интеллектуально-элементарных стихов приходится так много, что тут получается противоречие»³.

Сам Андрей Белый в эти месяцы так подписал Ходасевичу новое, переработанное издание «Петербурга»: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь». На индивидуальном языке Белого слово «конкретный» (в то время неологизм) было наполнено сложными и нетривиальными смыслами, и он не мог предвидеть, какой оттенок приобретет оно на рубеже XX—XXI веков. Успел автор «Петербурга» и напечатать в пятнадцатом номере «Современных записок», ведущего эмигрантского журнала, выходявшего в Париже, развернутую рецензию на «Тяжелую лиру», даже не рецензию, а большую статью («Тяжелая лира и русская лирика»), в которой с неожиданными для нервнобольного, мечущегося человека тонкостью и обстоятельностью отслеживает реминисценции, смысловые и ритмические, из поэтов XIX века в стихах Ходасевича начала 1920-х годов. И здесь не обходится без полюбившегося Белому слова: «Лирика поэта, согласная с лирою классиков, живописует самосознание, встающее в духе. Здесь в лирике Ходасевича появляется часто манера и стиль корифеев поэзии: не стилизация; стилизация подобна гримасе, ее узнаешь безошибочно; из Ходасевича зреют знакомые жесты поэзии Баратынского, Тютче-

¹ Переписка В. Ф. Ходасевича и М. О. Гершензона // De Visu. 1993. № 5/6. С. 29.

² Пастернак Е. Борис Пастернак: Биография. М., 1997. С. 352.

³ Берберова Н. Курсив мой. С. 240.

ва, Пушкина; эти поэты склонялись конкретно над глубиной трепещущей поэтической мысли поэта, живущего с ними»¹.

Закончилось все, однако же, неожиданным разрывом — накануне отъезда Белого из Берлина в Россию, в октябре 1923 года. Одержимый манией преследования писатель, желая обезопасить себя, при посещении советского полпредства всячески ругал своих друзей-эмигрантов. Об этом стало известно. В результате во время прощального ужина произошел следующий инцидент: «Одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: “Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком”. В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас “пойти на распятие”. Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не в праве и такого “мандата” ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, “всю жизнь” я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что “распинаться” за нас он не будет. Напротив»².

Ходасевич понимал, что Белый в очень тяжелом состоянии и его поведение можно извинить, но «не хотел обидеть снисхождением» любимого им писателя и человека. Позднее он жалел о своих словах. Так или иначе, «связь сквозь всю жизнь» разорвалась — резко и просто. Не случись этого, Белого и Ходасевича в любом случае разделила бы государственная граница, ставшая вскоре непреодолимым препятствием для общения.

2

В эти же месяцы расцвела еще одна литературная дружба — самая странная в жизни Ходасевича.

Знакомство с Максимом Горьким, начавшееся в 1918 году, уже в петроградский период стало неофициальным, «домашним», и все же двум писателям потребовалось оказаться за границей, чтобы их связали общие литературные дела. Впрочем, не только литературные: в 1922—1925 годах Ходасевич и Берберова в общей сложности около года провели под одним кровом с Горьким и его семьей.

¹ *Белый А.* Тяжелая лира и русская лирика // *Современные записки.* 1922. Кн. XV. С. 378.

² *Ходасевич В.* Андрей Белый // *СС-4.* Т. 4. С. 64.

Горький выехал за границу в октябре 1921-го — формально для лечения, как и многие другие писатели. При этом его, естественно, не воспринимали ни как эмигранта, ни как полуэмигранта: личные связи с кремлевскими насельниками сохранялись. Сохранялась, однако, и многолетняя личная вражда с Григорием Зиновьевым, отчасти ставшая причиной отъезда писателя из России. Впрочем, было достаточно и других свежих оснований для недовольства. К примеру, «Таганцевское дело», когда ходатайствами Горького за арестованных, в том числе за Гумилёва, просто пренебрегли, или история с Помголом (Комитетом помощи голодающим), к участию в котором Горький привлек видных представителей оппозиционной общности, но когда благодаря деятельности Комитета удалось получить помощь из-за границы, всех его членов (кроме Горького и, конечно, председательствовавшего Льва Каменева) арестовали. Алексей Максимович, которого «сделали провокатором», был в бешенстве. Ленин и члены его правительства не удерживали «буревестника революции» в стране: напротив, настоятельно советовали ему подкрепить здоровье.

Летом 1922 года Горький жил в Герингсдорфе, в 167 километрах от Берлина, на берегу Поморской бухты. На другой день по прибытии в столицу Германии, 1 июля, Ходасевич написал ему: «Приехал я в Берлин и очень хотел бы повидать Вас: для души и для некоторых дел: мне здесь трудно ориентироваться литературно, не поговорив с Вами. Пожалуйста, черкните два слова: можно ли приехать к Вам, и если да — то, приблизительно, в какой день»¹. Горький сразу же, и очень приветливо, ответил, пригласив «приехать в четверг». 6—7 июля Ходасевич побывал у него, причем застал там Федора Шляпина и, по собственному свидетельству, «пьянствовал» с двумя знаменитыми соотечественниками. Между прочим, Ходасевич передал Горькому письмо от его приемной дочери Маруси Гейнце (Молекулы, как ее называли в горьковском кругу), а его другу художнику Ивану Ракицкому — от своей племянницы Валентины. Дело в том, что Зиновьев, сводя счеты с Горьким, распорядился не пропускать за границу письма, адресованные Горькому и его друзьям.

Следующий раз Ходасевич приехал в Герингсдорф уже 27—30 августа с Берберовой. Нине Горький понравился: на нее произвели впечатление мужественное обаяние писателя, его застойно-мемуарные псевдоимпровизации (в отличие от Ходасевича она слышала их впервые и еще не знала, что Алексей Максимович повторяет их слово в слово при каждом новом

¹ СС-4. Т. 4. С. 447.

госте), понравилось внимательное отношение к ее собственному творчеству. Она еще не знала, что Горький щедр на внимание к любому молодому автору — «для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят»¹. И все же она сразу почувствовала, что этот человек — другой, чужой, из иной, большей части русского образованного сословия, не затронутой (или только поверхностно затронутой) модернистской культурой. Берберова и Петровская, Белый и Луцк были всего лишь людьми разных поколений. Горький принадлежал к иной линии, к иной традиции — той, где Короленко стоял выше Достоевского, а Никитин или Курочкин выше Фета. И все же он любил современную ему «декадентскую» поэзию вообще, а Ходасевича особенно. Об этом свидетельствуют его письма Елене Феррари (Голубовской), писательнице и, как впоследствии стало известно, агенту советской разведки: «Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт классик и большой, строгий талант»² (2 октября 1922 года); «Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего в конце концов поставит его на путь Ходасевича — путь Пушкина»³ (10 октября 1922 года); «Ходасевич как-то сказал мне... что победителей не судят. Победа будет, должно быть, за ним, футуристам отдадут в истории служебную роль — вроде злодея в ложноклассической комедии или вроде большевиков, которые сделали свое дело и уйдут»⁴ (14 октября 1922 года).

Не исключено и то, что в Ходасевиче-поэте Горькому нравились прежде всего «классическая форма», внешняя понятность и благозвучие. А в человеке? Берберова так описывает отношения, сложившиеся в эти годы у Горького с Владиславом Фелициановичем: «Я бы сказала, что перед Ходасевичем он временами благоговел. <...> Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было: одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким, обидным безразличием»⁵.

Двадцать пятого сентября 1922 года Горький переехал из Герингсдорфа в Сааров — дачный городок в полутора часах езды

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 211.

² Горький и советские писатели: Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 566.

³ Там же. С. 568.

⁴ Там же. С. 569.

⁵ Берберова Н. Курсив мой. С. 230.

по железной дороге от Берлина. В начале ноября туда же, по его предложению, приехали из Берлина Ходасевич и Берберова. Горький с семьей снимали дом, а Ходасевич с Ниной — две комнатки в привокзальной гостинице. Семья Горького состояла на тот момент из самого Дуки (так называли Горького домохозяином), его сына Максима с супругой Надеждой (прозвище — Соловей) и, наконец, Муры — Марии Игнатьевны Бенкендорф-Будберг, урожденной Закревской, официально считавшейся литературным секретарем Горького. Этой даме Берберова позднее посвятила книгу «Железная женщина».

Судьба Марии Будберг действительно примечательна.

Ходасевич считал ее внучкой или правнучкой Аграфены Закревской, роковой женщины 1820-х годов, приятельницы Пушкина и любовницы Баратынского, прославленной в стихах обоих. На самом деле она происходила от другой ветви рода Закревских. Дочь дипломатического чиновника, жена начинающего дипломата, она провела юность в Лондоне и Берлине и говорила на множестве языков, хуже всего — по-русски. Потом — война, революция, гибель мужа (его в собственной усадьбе убили дрекольем эстонские мужички). С этого момента Мура, оставшаяся одна с двумя детьми, должна была сама бороться за место под солнцем, да и просто за выживание. Это оказалось ей под силу. Берберова описывает ее так: «Она была умна, жестка, полностью сознавала свои исключительные способности, знала чувство ответственности, не женское только, но общечеловеческое, и, зная свои силы, опиралась на свое физическое здоровье, энергию и женское очарование. Она умела быть с людьми, жить с людьми, находить людей и ладить с ними. Она, несомненно, была одной из исключительных женщин своего времени, оказавшегося беспощадным и безжалостным и к ней, и к ее поколению вообще»¹. Этот человеческий тип был Нине очень близок.

В 1918 году 26-летняя Мария Бенкендорф встретила в Петрограде тридцатилетнего Роберта Гамильтона Брюса Локкарта, своего знакомого еще по Лондону, который фактически исполнял обязанности английского поверенного в России, и стала его любовницей. Когда его усилия по предотвращению Брестского мира не увенчались успехом, Локкарт организовал так называемый «заговор послов» с целью свержения большевистского правительства. Заговор раскрыли, Локкарта арестовали, а затем выслали в Англию; Мура отделилась неделей, проведенной в ВЧК, — по тем временам пустяк.

¹ Берберова Н. Железная женщина. М., 1991. С. 25.

Год спустя графиня Бенкендорф предложила «Всемирной литературе» свои услуги в качестве переводчика. На русский язык она переводить, конечно, не могла — но на французский с русского впоследствии переводила. В конце концов она оказалась у Горького на Кронверкской: сначала в качестве его секретаря, потом — любовницы, затем фактической спутницы жизни. Секретарь со знанием иностранных языков был Горькому необходим: это было единственное, чего он совершенно не знал (как и практически все остальные писатели «Знания»: реалистам учить чужие наречия отчего-то не полагалось; может быть, из-за веры в то, что все на свете переводимо). Однако же петроградская ВЧК продолжала доставлять Муре неудобства — был случай, когда в ее комнате в горьковской квартире чекисты устроили обыск; возможно, это было одним из последствий вражды Горького с Зиновьевым. В конце 1920 года Мария Игнатьевна попыталась нелегально перейти границу с Эстонией, где оставались ее дети, и была арестована, но благодаря хлопотам Горького ее отпустили и выдали ей заграничный паспорт. В Эстонии ее вновь арестовали — по доносу родственников покойного мужа — уже как советскую шпионку. Впоследствии историки спецслужб подозревали «железную женщину» в работе на самые разные разведки; прямых улик, насколько известно, нет. Чтобы избежать высылки в Россию, Мура вышла замуж за барона Николая Будберга, «бездельника, шалопаю и совершенно свободного молодого человека», которого вскоре оставила и отправилась к Горькому в Герингсфорс. Но Ходасевич и Берберова, приехавшие туда летом 1922-го, Муры не застали: она ездила к детям в Эстонию.

В Саарове Мария Игнатьевна часто бывала у Владислава и Нины; почему-то она выбрала Ходасевича своим конфидентом и исповедником. Это продолжалось и позднее — в Мариенбаде, в Италии. Берберова вспоминает об этом так: «Он никогда не спрашивал, начинала говорить она. Он особенно хорошо умел слушать женщин, с которыми он вообще чувствовал себя ближе и более легко, чем с мужчинами. Он привлекал их своим вниманием к ним, серьезностью и силой своего интереса. <...> Она говорила ему многое, но, конечно, далеко не все, и не только потому, что часто и я бывала в комнате, в его комнате, узкой и длинной, и сидела в углу, у окна, и читала книжку, а она говорила, потому что в эти три года она с Ходасевичем дружила, как многие женщины и до, и после нее. Советов она у него не просила, она сама знала, что надо было делать. Я слушала вполуха, о чем шел разговор. Она была старше меня на девять лет и относилась ко мне как к подростку»¹.

¹ Берберова Н. Железная женщина. М., 1991. С. 356.

Две предыдущие жены Горького, Екатерина Пешкова и Мария Андреева, часто приезжали в Сааров. Обе они были близки к высшему руководству СССР, в первую очередь Пешкова, которую связывали с милейшим Владимиром Ильичом и особенно с милейшим Феликсом Эдмундовичем особые, сентиментальные и доверительные (как считала она) отношения. Впрочем, по крайней мере один из лидеров СССР мелькнул в Саарове, а именно Рыков, с которым Ходасевич содержательно беседовал за горьковским столом о советских литературных новостях. И уж конечно, запредсовнаркома смотрелся за этим столом естественнее, чем Андрей Белый, приезжавший к Ходасевичу из Берлина.

Все это не мешало Горькому время от времени, при очередной обиде или при вести об очередном большевистском безобразии, садиться за очередное заявление об отказе от советского гражданства. Это была рисовка — отправлять такие заявления по адресу он и не собирался. Но Мария Игнатьевна строго следила за своим другом, и когда Ходасевич передал Горькому предложение о сотрудничестве от одного из эмигрантских журналов (вероятно, от «Современных записок») и Алексей Максимович не ответил твердым отказом, последовал следующий разговор: «Она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но — Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, *нам* нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию»¹.

Разумеется, Горькому было непросто порвать с людьми, с которыми он провел всю молодость (денежные соображения были на первом месте для его домашних, но, пожалуй, не для него). Отсюда — те уязвимые поступки, которые так выразительно описывает Ходасевич. Автор «На дне» слишком часто вел себя подобно двусмысленному герою своей пьесы, прячась от очевидных фактов, поддерживая у себя и других надежду, когда надеяться было уже не на что, присочиняя хороший конец к плохим историям — и доставляя этим ненужные страдания окружающим. Это было в его характере, но сколько других людей в его положении и не испытывали бы никакой раздво-

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 363.

енности, просто закрывали бы глаза на правду, спокойно пользуясь высоким положением, не пытаясь ни на что повлиять и никому помочь... Горький стал так вести себя только под самый конец, старый, больной, потерявший всех близких, запертый в золотой клетке. Впрочем, будем честны: и сам он, и те, кого он в эти годы славил, лишь доводили до логического завершения ту религию труда и прогресса, которую Горький исповедовал всю жизнь и последних выводов из которой избегал лишь по мягкости характера.

Близкие Дуки подозревали Ходасевича в дурном политическом влиянии на него. Но дурное влияние было, если на то пошло, вполне взаимным. В мае 1922-го Ходасевич обещал Луначарскому не писать политических статей, но уже в сентябре написал первую из них — «Все — на писателей!». Она была опубликована под псевдонимом Л. Боровиковский в газете «Голос России», в число сотрудников которой входили эсеры и сблизившееся с ними левое крыло кадетов во главе с лидером партии Павлом Милюковым. Горький в 1922 году счел возможным поместить в этой газете свой протест против смертных приговоров, вынесенных на процессе эсеров в Москве. Но если со стороны Горького такое выступление большевики еще могли съесть, то писателю без всероссийского имени и с буржуазным прошлым, изначально подозрительному, оно стоило бы больших неприятностей. Тем не менее именно Горький подговорил Ходасевича написать статью.

Этот текст весьма примечателен. На первый взгляд автор — явный, казалось бы, враг большевиков — темпераментно перечисляет все обиды, нанесенные ими за последние четыре года писателям: уничтожение книгопечатания в дни «военного коммунизма», введение цензуры, завышенные типографские ставки для частных издателей, наконец, высылку интеллигенции и закрытие петроградского Дома литераторов. Но если внимательно приглядеться, виновниками во всех случаях оказываются либо мелкие сошки — Павел Лебедев-Полянский, Михаил Покровский («дегенеративное ничтожество, человек в футляре, коммунистический Кассо, похожий лицом на Победоносцева»), либо — Зиновьев («уже не Кассо, а воистину Трепов от революции»). И дальше: «Ибо кто ж как не Трепов этот петроградский градоначальник, довольно потрудившийся сперва над распровоцированием Кронштадта, а после — не пожалевший патронов, чтобы унять бунтарей»¹. Зиновьеву противо-

¹ Версия о правительственной провокации в ходе Кровавого воскресенья и во время Декабрьского восстания 1905 года в Москве (и о той роли, которую в этом сыграл Трепов) была широко распространена в левых кругах. Многими историками она не разделяется.

поставлены добродетельные Горький и Луначарский, имеющие благотворное влияние на Ленина, который сейчас, к сожалению, болен. Решающим было здесь обвинение в «провоцировании Кронштадта», которое Горький выдвигал Зиновьеву вполне официально¹ и которое было включено Ходасевичем в текст статьи именно по его просьбе.

Другими словами, Ходасевич позволил использовать себя для выяснения отношений *внутри* большевистской элиты, осуществлявшегося — как это ни странно — через эмигрантскую прессу. Позволил — по наивности? Или в самом деле предполагал, что победа именно этой группировки будет относительно более благотворна для страны, для литературы и для него лично? В письмах Горькому Ходасевич без стеснения ругал советских руководителей, прежде всего — личных врагов Горького: Троцкого и Зиновьева, но ругал отнюдь не с белогвардейских позиций: «Чего и ждать от людей, желающих сделать политическую и социальную революцию — без революции духа. Я некогда ждал — по глупости. Ныне эти мещане дождутся того, что разнуздают последнего *духа мещанства: духа земли: землероба*. Этому и коммунист покажется слишком идеалистом, и он удавит последнего попа на кишках последнего коммуниста. Впрочем, может быть и другое: Зиновьев будет висеть на моих, скажем, кишках, Троцкий на Ваших, а патриарх Тихон — на кишках профессора Павлова. (Я со смущением вижу, что затесался в слишком хорошую компанию: тут-то и сбудется поговорка, что на людях и смерть красна.)»² (28 июня 1923 года). Революция духа — термин из символистского словаря, а вот ненависть к мужичку-землеробу Ходасевич в полной мере разделял с Горьким. Мещанство они тоже оба осуждали — на словах, но явно вкладывали в эти слова разный смысл. В сущности, Горький был мещанином (в том значении, в котором это слово могло употребляться Ходасевичем) уж точно не в меньшей степени, чем Троцкий.

Однако ни Горький, ни Ходасевич не предвидели степени предстоящего ужесточения режима. Собственно, дружба их в эти годы была предопределена общим проектом, который как раз и был задуман совершенно без учета этой перспективы. Именно этот проект обсуждали в Герингсдорфе Горький с Виктором Шкловским за день до получения первого письма Ходасевича из Берлина. Двадцатидевятилетний Шкловский, за пле-

¹ Вопрос рассматривался на особом совещании высшего руководства страны с участием Ленина, Дзержинского и Троцкого на квартире у Горького. Дело кончилось ничем — в разгар заседания Зиновьев симулировал сердечный приступ.

² СС-4. Т. 4. С. 461.

чами которого была уже достаточно богатая биография (участие в событиях Гражданской войны — знаменитый сахарин, подсыпанный в бронемашину гетмана Скоропадского; членство в партии эсеров; бегство из Петрограда от чекистов по льду Финского залива), находился в поре своего короткого расцвета, за которым последовал более чем полувековой респектабельный упадок. Один из создателей формального метода в литературоведении, он выделялся среди своих товарищей природным талантом, темпераментом и особого рода «неакадемичностью». В сущности, он был довольно поверхностно образованным человеком, не знал языков — зато физически чувствовал, что такое литература. Даже позднее, в годы вражды с формалистами, Ходасевич никогда не отрицал талант и ум Шкловского, а в 1922—1923 годах он, несомненно, получал удовольствие от бесед с Виктором Борисовичем. Ходасевич утверждал позднее, что идея журнала «Беседа» принадлежала именно Шкловскому, но если так, то предложения его упали на подготовленную почву: Горький думал о собственном журнале с момента отъезда из России и еще весной 1922-го приглашал к сотрудничеству в этом гипотетическом издании Герберта Уэллса. В любом случае, практического участия в издании «Беседы» Шкловский почти не принимал: как раз в июле 1923 года, когда вышел первый номер журнала, он был прощен и вернулся в СССР, успев, впрочем, напечатать в «Беседе» несколько глав из романа «ZOO».

По замыслу Шкловского и Горького, к которым присоединился Ходасевич и — на какое-то время — Андрей Белый (компания фантастическая по несочетаемости, если подумать), «Беседа» должна была объединять писателей, не разделяющих коммунистическую идеологию, сохраняющих независимость, но признающих Советское государство и готовых с ним сотрудничать. На этом поле у «Беседы» был важный конкурент — берлинская газета «Накануне» вместе с литературными приложениями, орган сменовеховского движения. Один из ведущих участников «Накануне» Алексей Толстой активно обхаживал Ходасевича и Берберову в первые берлинские дни, но Горький в письме попросил Владислава Фелициановича: «До свидания со мной — подождите принимать предложение “Накануне”». (Собственно, весной 1922 года Горький собирался затевать журнал именно в компании с Толстым, но за несколько месяцев их пути разошлись.) Странники «смены вех» были в первую очередь патриотами-государственниками, готовыми принять большевистскую власть, поскольку она обеспечила единство и независимость России, и в надежде, что в условиях нэпа советские руководители постепенно откажутся от своей вздор-

ной марксистской идеологии. Андрей Белый в программной статье, напечатанной в первом номере журнала, противопоставляет себя и своих единомышленников и белоэмигрантам, для которых «нет России вне Праги, Берлина, Парижа, Белграда, Софии», и сменовеховцам, для которых «культура России — культура правительства, сотворяющего из первозданного хаоса свою систему ценностей». Но в чем именно была позитивная программа «Беседы»? Едва ли у основных авторов журнала были какие-то общие социальные или философские идеи. Слишком различны были эти люди.

Более чем естественно для позитивиста и «просветителя» Горького было введение в состав «ближайших сотрудников» журнала (то есть фактически членов редколлегии) академических ученых — антрополога Бруно Адлера, филолога-германиста Федора Брауна и помещение в нем большого количества статей на самые разные культурологические темы, в частности, обзоров современной английской, немецкой или американской литературы. Еще естественнее — приглашение к сотрудничеству европейских «живых классиков», писателей-реалистов с именами: Ромена Роллана, Джона Голсуорси, Луиджи Пиранделло, Стефана Цвейга, только что получившего известность франкоязычного румына Панаита Истрати. Сам несомненный член этого клуба, Горький относился к творчеству и репутации каждого из своих собратьев по перу с необыкновенной серьезностью. Они тоже его уважали: многие материалы были предоставлены «Беседе» до публикации на языке оригинала и публиковались с эффектной пометкой — «переводится с рукописи». Однако мир, в котором жили Белый, Ходасевич или Шкловский, был совсем иным. Уже в самом начале издания журнала произошел характерный инцидент: в первом его номере была напечатана скептическая статья Ганса Лейзеганга об антропософии, вызвавшая — само собой — резкую отповедь Андрея Белого в следующем номере.

Если научный отдел Горький поручил Брауну, а иностранных авторов приглашал сам, то за текущую русскую литературу, особенно в первое время, отвечал в основном Ходасевич. Можно сказать, что его старая, еще с 1910-х годов мечта о собственном журнале сбылась. Список авторов «Беседы» весьма характерен: с одной стороны — Муратов, Парнок, Лидин, Киссин (посмертная публикация) — люди, лично и литературно близкие Владиславу Фелициановичу; с другой — Берберова, ее сверстники и друзья Лев Лунц, Николай Чуковский.

Из писателей-модернистов, лично от Ходасевича далеких, в «Беседе» публиковались Ремизов и Сологуб. К этому списку можно добавить еще Оцупа, чьи новые стихи, написанные в

Берлине и потом в Париже, Ходасевичу, к собственному его удивлению, очень понравились. Вячеслав Иванов по просьбе Ходасевича отдал в журнал свои «Римские сонеты», но к тому времени «Беседа» находилась уже при последнем издыхании и напечатать их не успела. И конечно, нельзя обойти вниманием посмертные публикации Блока.

Сам Ходасевич печатал в «Беседе» стихи, «Свадьбу Эльки» (перевод из Черниковского) и — по главам — создававшуюся как раз в эти месяцы книгу «Поэтическое хозяйство Пушкина». Горький отдал в журнал свои короткие мемуарные рассказы — лучшее, что он написал в эти годы, а может, и за всю жизнь. Среди них — отрывочные воспоминания о Блоке, человеке, которым Горький восхищался и которого не мог понять. Но видимо, неслучайно талант писателя-реалиста смог в наибольшей степени раскрыться именно в то время, когда он соприкоснулся с притягательной, но чужой для него культурой, носителями которой были Блок, Белый, Гумилёв, Ходасевич.

И все же по широте и качественности охвата литературной жизни «Беседа» уступала и парижским «Современным запискам», и ленинградскому «Русскому современнику». Сказывались и принципиальная ограниченность вкусов Ходасевича (именно он воспротивился публикации «Воздушных путей» Пастернака), и в первую очередь особенности статуса «Беседы». Межеумочное положение журнала, не советского и не эмигрантского, которое сначала казалось преимуществом, вскоре стало слабым местом.

Все планы редакции строились исходя из того, что журнал будет распространяться в России. Именно с таким расчетом издательство «Эпоха», возглавляемое Соломоном Питмановичем Сумским (Каплуном), племянником Моисея Урицкого и родным братом скандально известного петроградского комиссара Бориса Каплуна, в чьем обществе нюхал эфир Гумилёв, взялось выпускать «Беседу». «Эпоха» специализировалась на современной русской литературе, издавая Блока, Белого, Ремизова, Цветаеву, Зощенку, и принадлежала как раз к числу тех полуэмигрантских издательств, которые работали на рынок метрополии. Тот факт, что редакцию «Беседы» возглавлял Горький, был, казалось бы, дополнительной гарантией того, что журнал без помех будет допущен в Россию.

Но как раз в тот момент, когда выходил первый номер «Беседы», положение резко изменилось. В середине 1923 года Главлитом был запрещен допуск в СССР книг издательств с «двойной пропиской». Официально это было сделано по формальной причине: «...издательства рекламируют свои заграничные издания как отделения русских и в то же время не отчисляют должного

количества экземпляров в Книжную палату». Запрет коснулся Издательства Зиновия Гржебина, «Эпохи», «Петрополиса», «Геликона» и ряда других. Так закончился золотой век русского берлинского книгопечатания. Удар был тем более тяжел, что совпал с резким подорожанием жизни и книгоиздания в Германии. Ходасевич позднее считал, что «тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрироссийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить». Судя по всему, это не так: просто закончилась неразбериха первых лет нэпа, и окно в Европу, открывшееся по легкомыслию властей, естественным путем захлопнулось.

Запрет на ввоз в СССР коснулся и «Беседы». Горький пытался мобилизовать свои связи в Москве, даже какое-то время демонстративно отказывался печататься на родине вплоть до решения вопроса с журналом. Видимо, хлопоты его какое-то действие возымели. В декабре 1923 года Главлит за подписью Павла Лебедева-Полянского посылает — вероятно, в ответ на соответствующий запрос — «совершенно секретный бюллетень» о «Беседе» на имя Ленина. Но где и в каком состоянии был Ленин в конце 1923 года, хорошо известно... Лебедев-Полянский аргументирует необходимость запрещения ввоза и распространения журнала следующим образом: «Журнал ориентирован на рафинированную интеллигенцию. Вопросы общечеловечности, политики и экономические проблемы даже в порядке объективной информации не затрагиваются»¹. Однако в первой половине 1920-х все это еще не было в глазах советской власти преступлением: аполитичные авторы и издания к распространению допускались. Ставилась «Беседе» в вину Главлитом и статья Белого в защиту Штейнера. Но автор статьи жил и печатался в СССР, не скрывая своих философских взглядов, и не он один. Сажать антропософов начали только в конце 1920-х. Более серьезным обвинением было размещение в «Беседе» рекламы эмигрантской периодики. И все же главным фактором были опасения цензуры (беспочвенные, кстати говоря), что «Эпоха» имеет какую-то материальную связь с меньшевистскими кругами и что деньги, вырученные от продажи «Беседы» в России, могут быть использованы для антибольшевистской политической деятельности.

Дважды — в конце мая и в конце октября 1923-го — Горькому сообщали о том, что вопрос решен положительно. В самом деле, 28 августа на заседании политбюро ЦК РКП(б) по

¹ Цит. по: Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918—1940: В 4 т. М., 1997—2006. Т. 2 (Периодика и литературные центры). С. 37.

докладам Каменева и Дзержинского было принято решение: «Поручить Главлиту СССР не чинить препятствий к свободному допуску в СССР журнала “Беседа”». Но видимо, агентству «Международная книга», которое получило монопольное право на закупки книг за границей, были даны другие инструкции. Сперва Горькому и Сумскому пообещали закупить по тысяче экземпляров каждого номера, на деле же закупили всего по десять экземпляров первых трех номеров и по двадцать пять — четвертого и пятого. (И это в то время, когда закупалось до 250 экземпляров некоторых сугубо эмигрантских изданий — для нужд ОГПУ!) При этом «даже те экземпляры, которые были посланы в Публичную библиотеку и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, — вернулись в Берлин с надписью: “Запрещено к ввозу”»¹. Может быть, эти противоречивые действия властей были как-то связаны с внутренней борьбой, которая шла в эти месяцы в политбюро, а может — с теми играми, которые советские руководители вели с Горьким, чтобы вынудить его вернуться в Россию.

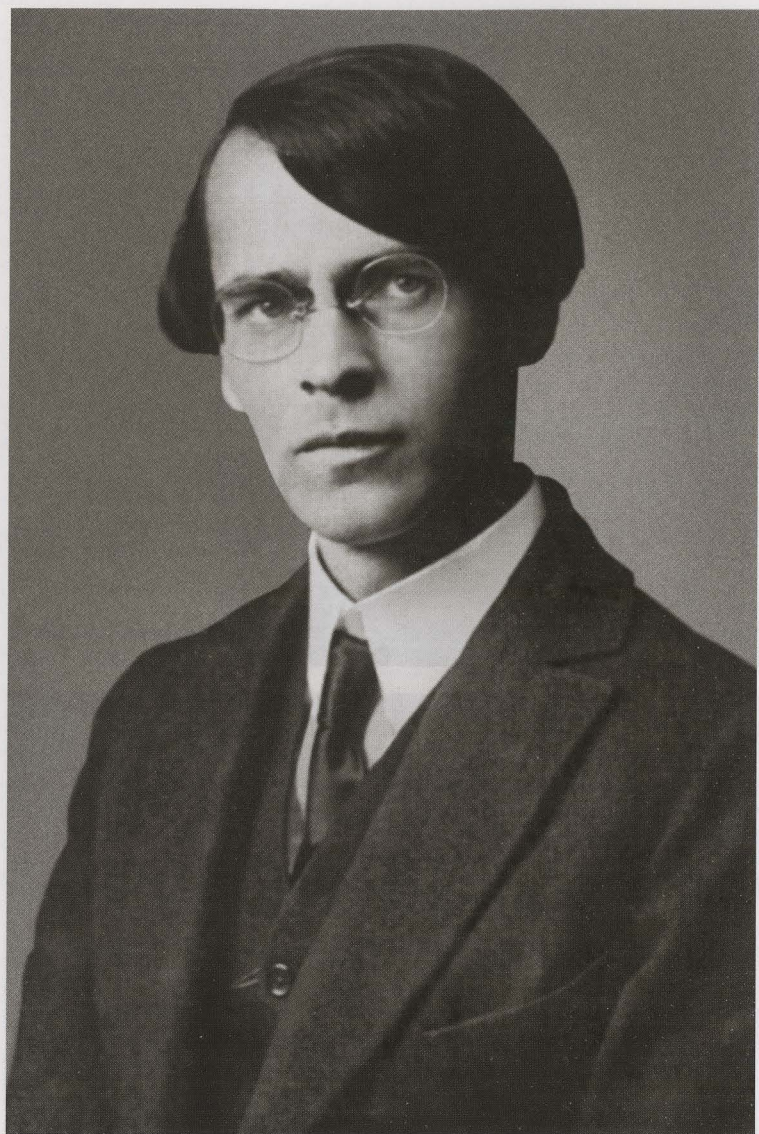
За границей «Беседа» расходилась неплохо, но затрат Сумского это не окупало. «Эпоха» уже закрылась, и горьковский журнал был теперь единственным предприятием издателя. На каждом номере он терял 300 долларов (деньги уже начали считать в заокеанских «условных единицах»). С материалом для новых номеров тоже были проблемы: советские писатели побаивались отдавать свои произведения в полузапрещенный журнал, а публикации хоть сколько-нибудь политически активных эмигрантов могли окончательно похоронить надежды издателей на широкий допуск в СССР. Сдвоенный шестой-седьмой номер «Беседы» стал последним. Вслед за прекращением выхода журнала (и отчасти в связи с этим) стала разлагаться дружба Горького и Ходасевича.

Но пока журнал выходил, писатели были рядом. Перемещения Ходасевича и Берберовой по Европе в 1923—1925 годах были отчасти связаны с перемещениями по ней Горького и его близких.

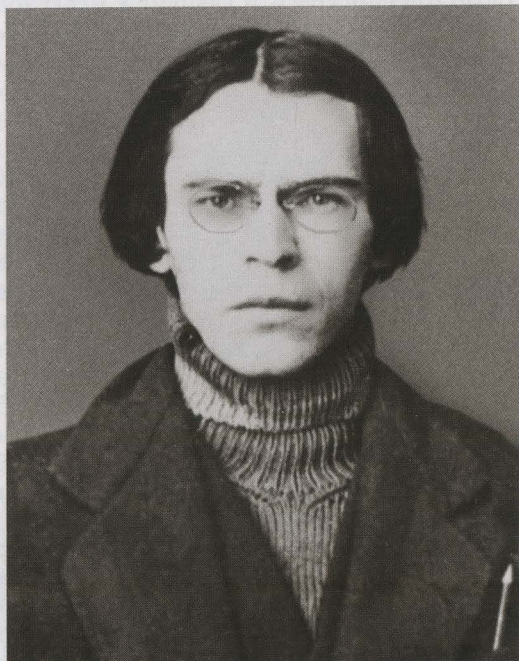
3

Письма, которые Ходасевич посылал во время своих европейских скитаний Анне Ивановне, — продолжение длинного эпистолярного романа и одновременно — род путевого дневника. Первое письмо было отправлено, видимо, еще из Риги. Из него сохранилась лишь одна фраза — в передаче адресата:

¹ Ходасевич В Горький // СС-4 Т 4 С 365



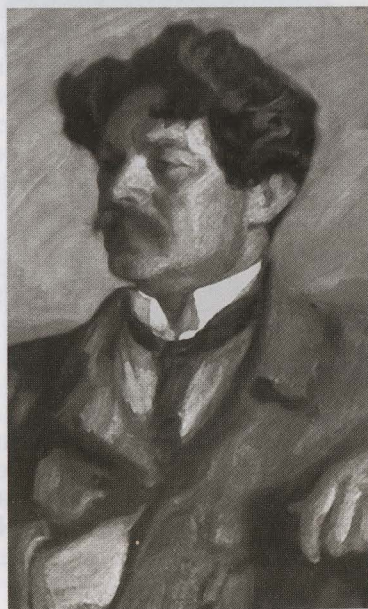
Владислав Ходасевич. 1920-е гг.



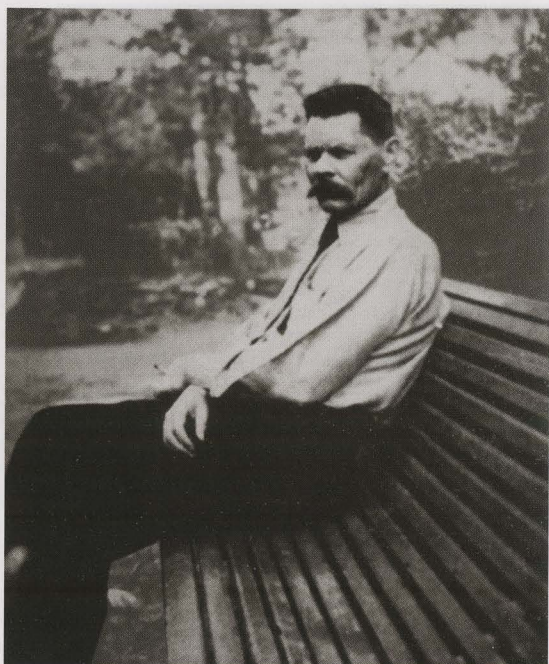
Ходасевич
в годы
Гражданской войны.
Около 1918—1921 гг.

Саул
Черниковский.
*Портрет работы
Л. О. Пастернака.
1923 г.*

Николай Гумилёв.
1907 г.

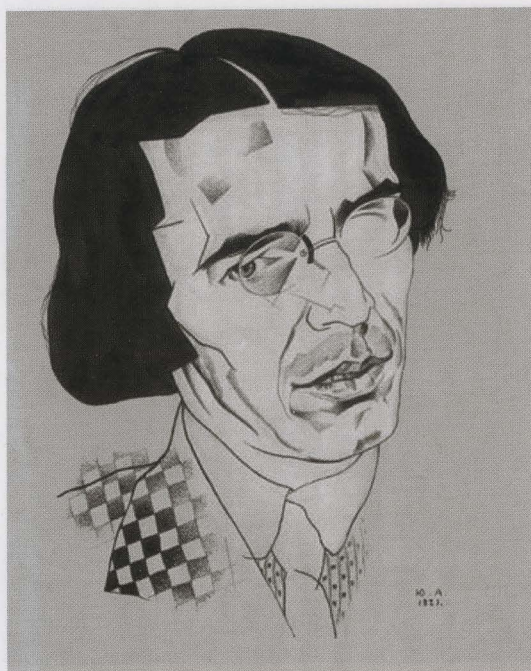


Максим Горький.
1922 г.



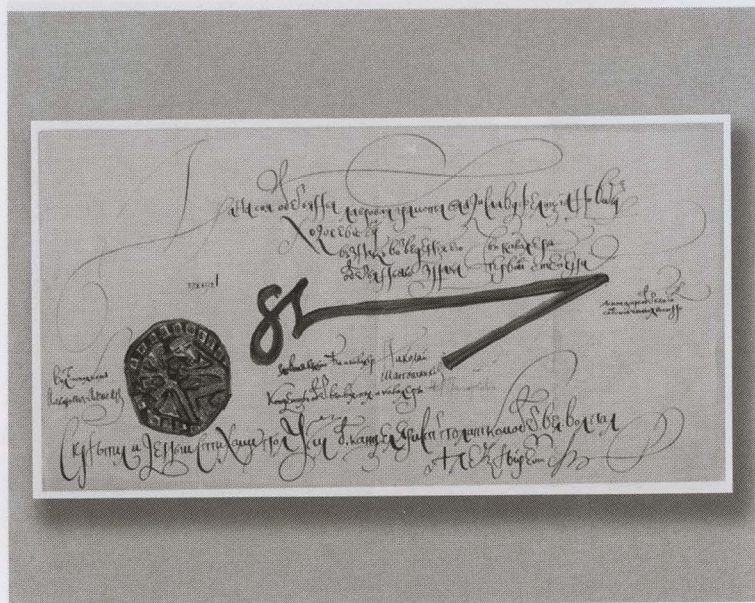
Ходасевич
и Пушкин.
Дружеский шарж
Ю. Л. Оболенской,
К. В. Кандаурова.
1920 г. ГЛМ





Владислав
Ходасевич.
Портрет работы
Ю. П. Анненкова.
Петроград.
1921 г. ГЛМ

«Обезьянья
лавровая грамота
Владислава
Ходасевича».
Изготовлена
А. М. Ремизовым.
27 января 1921 г.
РГАЛИ

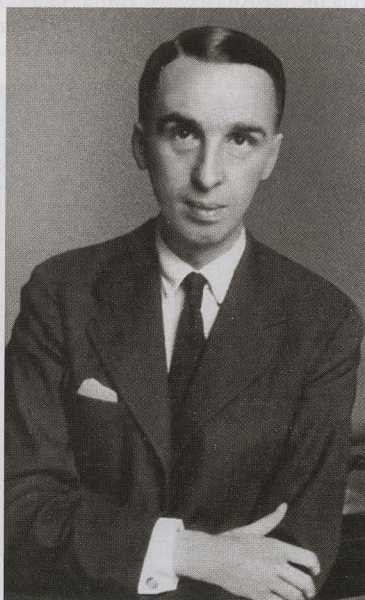


Георгий Адамович.
Фото
М. С. Напельбаума.
Около 1920—1921 гг.



Сергей Нельдихен.
1923 г.

Георгий Иванов.
1930-е гг.





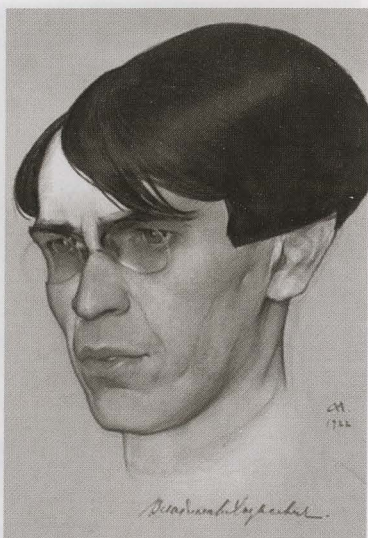
Сумасшедший корабль. Справа налево: Аким Вольтский, Осип Мандельштам, Михаил Слонимский, Виктор Шкловский, Вячеслав Шишков (?), Владислав Ходасевич, Николай Гумилёв, Анна Ахматова. Рисунок Н. Э. Радлова. Конец 1920-х — начало 1930-х гг. ГЛМ

Владислав Ходасевич, Анна Ходасевич, Гарик Гренцион, Юрий Султанов. Рисунок В. А. Милашевского. Холмки. 1921 г. Архив Д. Н. Чуковского





Нина Берберова.
1920-е гг.



Владислав Ходасевич.
Портрет работы Н. А. Андреева.
Берлин. 1922 г. ГЛМ

Русская эмиграция.

Стоят: Борис Зайцев, Владислав Ходасевич, Михаил Осоргин,
Александр Бахрах, Алексей Ремизов; сидят: Нина Берберова,
Павел Муратов, Андрей Белый. Берлин. 8 сентября 1923 г.





Мария Будберг.
1920-е гг.



Марина Цветаева.
1924 г.

Владислав Ходасевич и Нина Берберова на вилле М. Горького в Сорренто.
Фото М. А. Пеикова. 1925 г.





Валентина Ходасевич, Владислав Ходасевич, Надежда Пешкова (Тимоша).
Фото М. А. Пешкова.
Мариенбад. Декабрь 1923 г. — январь 1924 г.



Эдгар (Гарик) Гренцион в роли Карла XII.
Кадр из художественного фильма «Петр Первый». «Ленфильм». 1937—1938 гг.

Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус,
Владимир Злобин. *Конец 1919 г. — начало 1920 г.*





Юрий Терапиано, Довид Кнут, Владислав Ходасевич.
Фото Н. Н. Берберовой (?). Париж. 10 сентября 1926 г.

Кафе «Селект» в Париже. Современное фото





Владимир
Смоленский.
Серваз.
1952 г.



Владимир Набоков.
1929 г.

Владимир Вейдле.
1930-е гг.



Обложка книги
Владислава
Ходасевича
«Собрание стихов»,
вышедшей
в издательстве
«Возрождение».
Оформление
и марка издательства
работы
М. В. Добужинского.
Париж.
1927 г.





Владислав Ходасевич и любимый кот Наль.
Арти. 1931 г.

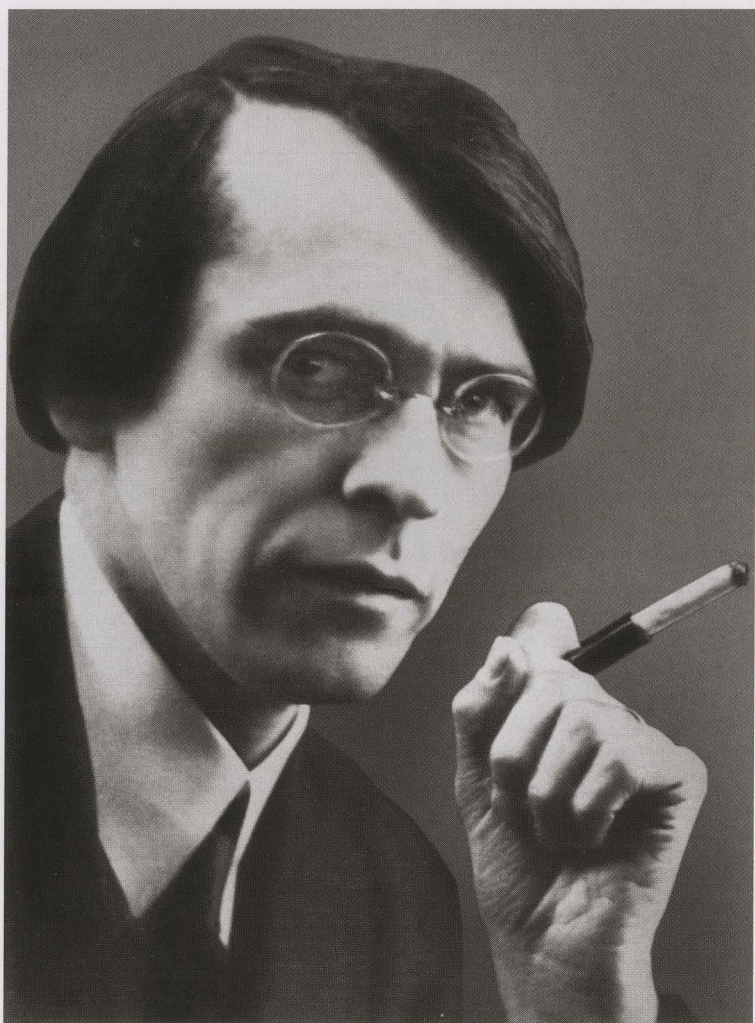
Владислав Ходасевич
и его любимая кошка
Наль.
1931 г.



Поэт с последней женой Ольгой Марголиной.
Лондон. 1936 г.

Место упокоения Владислава Ходасевича
на Бийянкурском кладбище в Париже. 1939 (?) г.





Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!
Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

«Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения»¹.

Ответ пришел не сразу, но он был именно таким, на какой рассчитывал Владислав Фелицианович. 6 августа 1922 года он пишет Анне Ивановне: «Анюточка, моя дорогая, письмо твое — тяжелое, но как я рад получить его! У меня нынче праздник. Я не буду оправдываться, просить прощения. Надо написать много делового. Но в другой раз напишу еще»². «Деловое» — это были прежде всего денежные дела. Ходасевич пытался разрешить для себя трудную задачу: с одной стороны, быть с любимой и быть там, где легче дышится, а с другой — как-то обеспечить женщину, долг и вину перед которой он по-прежнему ощущал.

Анну Ивановну после отъезда мужа за границу оставили в ДИСКЕ, но лишили причитавшегося академического пайка, заявив, что командировка ее супруга «дутая». Ходасевич обратился за помощью к старой знакомой — Мариэтте Шагинян. К тому времени некогда восторженная мистическая барышня стала горячей сторонницей коммунистической власти. В своемприятии новой жизни она была истова и последовательна. В конце 1920 года, приехав в Петроград из Нахичевани, она напечатала в «Известиях»³ за 9 декабря статью «Кое-что о русской интеллигенции», в которой обвиняла интеллигентов в житейской неприспособленности, неготовности переносить бытовые трудности «военного коммунизма». Сама она героически старалась соответствовать собственному идеалу: единственной из обитателей Дома искусств (по свидетельству Мандельштама) вышла на субботник по уборке снега; «ходила к большевикам проповедовать христианство» (это уже из воспоминаний Ходасевича); в порыве народолюбия делилась пайком с одной из дисковских горничных, «мерзкой, грязной бабой», обкрадывавшей постояльцев. С Владиславом Фелициановичем у нее сохранялись отличные отношения, стихами его она восхищалась, на выход книги «Путем зерна» напечатала прочувствованную и даже, как ни странно, неглупую рецензию:

«Лирический путь Ходасевича обратен обычному пути поэта. <...> Он начал сухо и желчно — горькой смесью соли и уксуса. <...> Но недобрая колючесть его странной, старческой молодости — не перешла в недоброе чудачество. Ходасевич, по мере того как другие поэты старели, линяли, шли на ущерб — очеловечивался и наполнялся. <...>

¹ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 406.

² РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 33.

³ А не в «Правде», как пишет Ходасевич. См.: Ходасевич В. Мариэтта Шагинян: Из воспоминаний // СС-4. Т. 4. С. 337.

Поэт, которому в жару и блеске южного солнца “айдесская сквозь зной сквозит прохлада”, умеет на все, на покупку в руке, на мальчишку-газетчика, на хлеб в печи, на спичечный коробок... пролить ту важную и глубокую сосредоточенность, которая всем, из безобидно-всегдашних, делает вещи и события — *вещами*¹.

Конечно, Шагинян, как почти все критики, отставала, так сказать, по фазе от поэзии Ходасевича, но это был вполне доброжелательный отзыв, не в пример рецензиям Адамовича и Георгия Иванова, не говоря уже об асеевской брани. Так что неудивительно, что Ходасевич обратился именно к Шагинян — человеку хоть и бестолковому, но дружественному и притом близкому к властям. В письме от 18 августа он просит ее поговорить с уполномоченным Наркомпроса Михаилом Петровичем Кристи («человек пожилой, мягкий, благожелательный» — так он характеризуется в «Некрополе») и «представить ему следующие соображения»:

«Писат<ельские> пайки суть *вознаграждение за увечие*, называемое отсутствием бумаги и типографий. Никакой определенной работы мы за эти пайки не исполняем. Не исполняю ее я и теперь. Но быть рус<ским> писателем я не перестал. <...> Разбогатеть за границей можно *только* понося Сов<етскую> Россию. На это я не пойду. След<овательно>, в материальной поддержке нуждаться не перестал. <...> Далее. Если моя командировка безденежная, т. е. я не получил на нее денег... <...> — то значит ли это, что надо отнять и паек? Казалось бы — наоборот.

Я получал 1½ пайка. След<овательно>, Нюра принималась в расчет. Теперь я уехал. Значит ли это, что Нюра исчезла с лица земли или не нуждается в куске хлеба?»²

Аргументы эти выглядели не особенно убедительно: в частности, никакого отсутствия бумаги и типографий не наблюдалось с лета 1921 года, а обстоятельства, предшествовавшие «командировке» Ходасевича и Берберовой, были всем хорошо известны. В конце записки Ходасевич приводит еще одно соображение: оказывается, вдова Гумилёва, Анна Николаевна, продолжает получать паек спустя год после его расстрела. Примечательно, что позднее Владислав Фелицианович ставил Шагинян в вину то, что она, будучи обременена семейством (дочь, пожилая мать), после гибели Гумилёва вселилась в просторную елисейскую баню, выжив оттуда вдову казненного поэта.

¹ Петербург. 1922. № 2. С. 16—17.

² Собрание А. В. Маненкова (Москва).

Так или иначе, паек Анне Ивановне вернули, хотя и не благодаря посредничеству Шагинян, а с помощью Альберта Пинкевича, председателя Совета экспертов при Комиссариате просвещения Союза коммун Северной области, доброго знакомого Горького. Но этого было явно мало. В 1922—1924 годах Ходасевич старается зарабатывать столько, чтобы хватило и ему с Берберовой, и его жене в России, но в условиях полуэмиграции это оказывается крайне трудным делом.

В течение 1922—1924 годов Ходасевич пытается по возможности печатать одно стихотворение или статью в двух изданиях — за границей и на территории СССР, с тем чтобы гонорары за советские публикации получала Анна Ивановна, а заграничные — сам автор. Но на родине Ходасевича печатали почти исключительно аполитичные частные журналы («Россия», «Русский современник»), которые сами дышали на ладан — ни один из них не пережил 1925 года. Из русских журналов, выходящих в Европе, он — кроме «Беседы» — с первых же месяцев после отъезда стал постоянным автором «Современных записок». Этот журнал с 1920 года издавался в Париже несколькими видными членами партии эсеров. Одним из его соредакторов стал Вадим Руднев — тот самый, что был городским головой в конце 1917 года; врач по профессии, он вовсе не разбирался в литературе, но и не делал вид, что разбирается. Другой соредактор, Илья Фондаминский (псевдоним — Бунаков), человек светский, живой и наделенный многообразными интересами, пытался отслеживать модные литературные веяния. Стремление «соответствовать» было в его случае сильнее собственных немудреных вкусов: «Он честно старался понять, почему стихотворца-фельетониста Лоло и Сашу Черного нельзя печатать в «Современных записках», хотя все понятно в их стихах и они очень мило звучат, а Цветаеву и Поплавского печатать надо, хотя как будто не все понятно и стих не так звучит»¹. Третий соредактор и секретарь журнала, Марк Вишняк («сноб, долгоносый болтун», по характеристике Ходасевича), был единственным, кто действительно хоть что-то понимал в предмете, которым занимался².

Позднее Владислав Фелицианович так охарактеризовал направление «Современных записок»: «Судьба с самого начала поставила журнал в положение чуть ли не единственного прибежища для очутившейся на чужбине литературы всех школ и течений. Все эти обстоятельства и подсказали «Современным

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 346.

² В редколлегию «Современных записок» также входили видные эсеры Н. Д. Авксентьев и А. И. Гуковский.

запискам” их литературную политику, которую нередко зовут консервативной. <...> В основе литературной политики “Современных записок” лежит... естественное в данных условиях и единственно посильное данному составу редакции стремление — дать место всему, что представляется в нашей текущей литературе наиболее выдающимся. Однако же, не имея собственных литературных идей и стремлений, другими словами — не имея принципиального критерия в выборе материала, как осуществить ей свою задачу, скромную, но вполне полезную и отнюдь не легкую? Тут единственный путь — не гоняясь за неведомым, неиспытанным — сосредоточить внимание на том, что уже в известной степени себя зарекомендовало¹. Поскольку сам Ходасевич к моменту отъезда в полуэмиграцию уже обладал именем, предложение сотрудничать поступило сразу же. Первые публикации в «Современных записках» относятся еще к берлинскому и мариенбадскому периодам его жизни.

Какие-то крохи из заработанного он пытался передавать в Россию, но вскоре пересылать деньги стало невозможно; потом стали возвращаться с таможи и посылаемые вещи. Чтобы помочь Анне Ивановне, Ходасевич устроил ей работу — переводы французских романов. Но работать было трудно: брошенная жена поэта еще плохо себя чувствовала, а главное, была в угнетенном состоянии. Неудивительно, что Анна Ивановна настойчиво допытывалась, когда Владислав Фелицианович вернется в Россию. Как ни унижительно было жить на средства бывшего мужа, на него была вся надежда.

Но как было Ходасевичу объяснить ей причины, удерживающие его за границей, — причем в письмах, посланных по почте, заведомо рассчитанных на перлюстрацию?² Вот фрагмент письма от 19 октября 1922 года:

«Не знаю, что мне делать сейчас в России, что я могу там работать. Ты знаешь мое отношение к Сов<етской> Власти, знаешь, как далеко я всегда стоял от всякой белогвардейщины. И здесь я ни в какой связи с подобной публикой не состою, разные “Рули” меня терпеть не могут — но в России сейчас какая-то неразбериха. Футуристы компетентно разъясняют, что я — душитель молодых побегов, всего бодрого и нового. И хотя я

¹ Ходасевич В. Книги и люди. «Числа» № 6 // Возрождение. 1932. № 2592. 8 июня.

² Анна Ивановна не всегда это понимала, хотя Ходасевич делал очень прозрачные намеки, например: «Все дело в твоих отношениях с известным поэтом Дмитрием Цензором. Меня очень огорчает, что такие люди стоят между нами» (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 31 об.; письмо от 30 июня 1924 года). В дальнейших письмах фигурирует уже просто «Митька», который «лезет во все».

продолжаю утверждать, что футуризм — это и есть самое сволочное буржуйство, — все же официальная критика опять, как в 1918, стала с ними нежна, а с нами сурова. У меня нет уверенности, что моя “мистика” не будет понята, как нечто дурное, и тогда мне в Р<оссии> житья не будет, печатать меня не станут, — я окажусь без гроша. А спорить и оправдываться я не стану, быть насильно милым — унизительно.

Я к Сов<етской> Вл<асти> отношусь лучше, чем те, кто ее втайне ненавидят, но подлизываются. Они сейчас господа положения. Надо переждать, ибо я уверен, что к лету все устроится, т. е. в Кремле сумеют разобраться, кто истинные друзья, кто враги»¹.

Письмо явно написано не только для адресата, но и для властей (в расчете, что цензоры доложат по назначению). Постоянные указания на то, что он — не враг власти, что у него нет перед ней никаких прегрешений («кроме нескольких стихотворений, напечатанных в эмигрантской прессе»), что футуристы — «бывшие члены Союза русского народа» (конкретно имелся в виду футурист-пушкинист Бобров), регулярно появляются в письмах Ходасевича жене до середины 1924 года. Активным недругом Ходасевича в ряду футуристов всех мастей был в первую очередь Асеев, который вслед за статьей в «Красной нови» напечатал рецензию на «Тяжелую лиру» в новосозданном журнале «ЛЕФ». В начале рецензент полностью приводит текст «Искушения» — единственного в книге отчасти политического стихотворения, которое выражает романтическое неприятие нэпа (чувство, не чуждое и самому Асееву, если на то пошло), чтобы затем глумливо перетолковать его:

«В переводе с церковно-славянского это, очевидно, разговор автора с редактором ГИЗа. В первой строфе, рассерженный невниманием к “красоте”, автор угрожает перекувыркнуть скрытую им во время изъятия ценностей тассову лампаду и забыть “друга веков” Омира. Истерический темперамент его обрушивает горькие упреки на “рассеянную рать” революции, причем эту “рассеянность”, конечно, должно понимать отнюдь не как распыленность, а лишь как невнимательность к произведениям г. Ходасевича. По его словам, рать эта сумела отвоевать лишь одну свободу — свободу торговли. <...> Третья строфа начинается с “вотще”, что для товарищей, давно не читавших священного писания, требует разъяснения: вотще значит напрасно. Итак: напрасно на площади пророчит гармонии голодный сын. Голодный сын гармонии в передаче значит:

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 45—45 об.

г. Ходасевич. И его-то “благих вестей” не хочет благополучный гражданин¹.

Кто этот последний?.. Очевидно — нэпман? — подумает недальновидный читатель. Ничуть не бывало. Для тех — г. Ходасевич знает это — свобода торговли священное и неотъемлемейшее право. А этот, кто “увенчал себя одной свободой — торговать”, кто мешает голодному сыну гармонии продать свои потрепанные бобры с плеча Баратынского по вольной цене, этот ужасно нервирует Ходасевича своим скрипом из редсектора:

Прочь, не мешай мне, я торгую,
Но не буржуй и не кулак,
Я прячу выручку дневную
В свободы огненный колпак.

Если это точное указание, оно очень дельно и уместно: в самом деле, неудобно все-таки изрядные суммы, скопляющиеся за день в Гуме и в Госторге, держать в каком-то колпаке. То ли дело сейфы Рябушинского и Морозова...

Остальные стихи “Тяжелой лиры” не менее двусмысленны и тяжеловесны².

Очевидно, это был явный литературный донос, причем лживый. Другой донос исходил от старого знакомого Ходасевича — Семена Родова, который в статье «“Оригинальная” поэзия Госиздата», напечатанной в редактируемом им же ортодоксальнейшем журнале «На посту», призвал к ответу госиздатовских редакторов, публиковавших на казенный счет идеологически сомнительные, «буржуазные» книги, в том числе «Версты» Цветаевой, сборники Шенгели, Клычкова, Поликсены Соловьевой и др.

Разбор «Тяжелой лиры» он начинает с «Музыки», которой дает такую характеристику: «Сознательно или ненамеренно

¹ Ср. текст Ходасевича:

Довольно! Красоты не надо.
Не стоит песен подлый мир.
Померкни Тассова лампада,
Забудься, друг веков Амир!

Революции не надо!
Ее рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой — торговать.

Вотще на площади пророчит
Гармонии голодный сын:
Благих вестей его не хочет
Благополучный гражданин...

² ЛЕФ. 1923. № 1. С. 160—161.

Ходасевич дал в этом стихотворении злую сатиру на современную буржуазную литературу? Буржуазные писатели врут кто во что горазд, выдумывают чудеса, пускаются в мистику, и даже обыватель перестал им верить, только “мешать не хочет и досады старается не выказывать”. “Музыка” эта, так долго вводившая в обман читателей, начинает становиться все более и более подозрительной даже дородным Сергей Ивановичам, последним жертвам “чистого искусства”»¹. Далее идет стандартная характеристика «поэта уходящего класса»: «В жизни ничто его не интересует, ничто не прельщает. Единственное, что ему осталось, — это его собственное “я”, в которое он может замкнуться, уйти даже и от тех “дурных снов земли”, которые иногда могут привидеться задремавшему “мудрецу”. Но увы! и с его собственным “я” дело обстоит очень и очень плохо. Оно не более, как червяк, который рассечен тяжкою лопатой событий».

Затем Родов переходит к интерпретации поэтических образов, проявляя при этом во все времена свойственное советской критике сочетание прямолинейности и изобретательности. Оказывается, автомобиль с черными крыльями — «и есть революция, которая разрушила “простой и целый” мир буржуа», а в стихотворении «Лэди долго руки мыла» политический смысл и вовсе однозначен:

«1) От преступления лэди Макбет прошло — 300 лет, от революции — 6 лет.

2) Лэди Макбет не спится — 300 лет,

Вл. Ходасевичу не спится — 6 лет.

3) Лэди Макбет не спится из-за совершенного ею преступления.

Требуется найти:

Из-за какого преступления не спится Вл. Ходасевичу?»².

В иных условиях такая выходка могла бы вызвать у Ходасевича иронию, но при советской власти она могла иметь совсем не шуточные последствия. При этом в заграничной печати на «Тяжелую лиру» появлялись совершенно иные отзывы — хотя бы те же статьи Андрея Белого и Глеба Струве. К ним стоит прибавить еще восторженный отзыв Юлия Айхенвальда в «Руле» от 12 января 1923 года (некогда Ходасевич беспощадно высмеял пушкиноведческие опусы известного критика, но в 1922 году в Берлине у них неожиданно установились добрые

¹ На посту. 1923. № 1. С. 154—159.

² Там же. «Тяжелая лира» вышла в декабре 1922 года, и тем же годом датируется анализируемое С. Родовым стихотворение.

отношения). Все это не могло не влиять на настроение поэта и на его намерения.

Были и личные причины, препятствовавшие возвращению. По переписке общаться с Анной Ивановной было хотя и трудно, но возможно. Но столкнуться с ее откровенным и беззащитным страданием лицом к лицу.. В письме от 1 августа 1923 года Ходасевич касается этого прямо: «Кроме советской, мне нужна *твоя* виза на въезд в Россию. <...> Подумай хорошенько и просто, спокойно, по-человечески скажи мне: сможем ли мы ужиться в Питере (в Москву я ехать не хочу. Терпеть ее не могу¹). <...> Можешь ли ты гарантировать, что наши встречи будут происходить в таком тоне, чтобы не сделаться предметом всеобщего поганого любопытства и злорадства? <...> Со своей стороны — даю слово, что ни тени, ни призрака невнимания, неуважения к тебе, ничего дурного ты не увидишь ни от меня, ни от Нины. <...> Постараюсь сделать так, чтобы никому не пришло в голову подшучивать, подсмеиваться и даже *жалеть* тебя².

Тем не менее, несмотря на все эти опасения, летом 1923 года Ходасевич всерьез подумывал о возвращении в Россию. Дело было, помимо прочего, в обстановке, сложившейся в Германии. Кроме экономических факторов его пугали политические треволнения в этой стране. В том же письме от 1 августа Ходасевич замечает: «Здесь могут случиться такие события, что из Германии придется уезжать. В воздухе пахнет 1914 годом, то есть европейской войной». Друзья поэта, как и значительная часть русского населения, начали постепенно покидать город. Андрей Белый уже все для себя решил; Гершензон, обливаясь потом (стояло необыкновенно жаркое лето), бегал по Берлину в хлопотах о советской визе.

Ходасевич тоже вскоре уехал — но в другом направлении.

¹ Примечательное признание — и оно в тесной связи с мотивами некоторых статей Ходасевича той поры. (См., например: Записки немца-опричника // Последние новости. 1925. 30 апреля. № 1538; О «Верстах» // Современные записки. 1926. Кн. XXIX.) Поэт настойчиво фиксирует общие черты советской — и московской, допетровской России, с ее провинциальным деспотизмом. В этом он совпадает со многими петербургскими поэтами — от Ахматовой до Вагинова. Казалось бы, сам Ходасевич — москвич. Почти вся его сознательная жизнь прошла в старой столице, и он долгое время с недоверием относился к «петербургскому лоску». Его духовной родиной, однако, была Москва «петербургского периода русской истории», город Пушкина, Чаадаева, Грибоедова — и славянофилов, если на то пошло; но не тот город, по которому славянофилы тосковали, о котором они мечтали — не пресловутый «Третий Рим». В начале 1920-х Ходасевич резко почувствовал, что его Москвы больше нет и не будет.

² РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 17—18.

Решив отправиться в Италию, где он некогда уже прожил много лет, Горький предложил Ходасевичу, как соредактору «Беседы», присоединиться к нему. Но итальянскую визу не в пример германской получить оказалось непросто — Муссолини был поосторожнее Эберта. В ожидании визы 4 ноября 1923 года Ходасевич и Берберова уехали в Прагу: Берлин стал им не по карману.

Столица Чехии, которая ныне по праву считается одним из красивейших городов мира и которая именно в те десятилетия порождала населившую ее высокими и низкими мифами словесность — от Кафки до Мейринка и от Мейринка до Гашека, Ходасевичу очень не понравилась. Не понравился не столько сам город, сколько местная эмигрантская среда, костяком которой были «русские профессора и писатели неолитического периода». Единственное его и Нины общество здесь составляли Цветаева, Эфрон и приятельствовавший с ними Роман Якобсон, второй филолог-формалист, с которым Ходасевичу пришлось лично познакомиться. Якобсон уговаривал Ходасевича остаться в Чехии, предлагая переводить местного классика Карела Маху, современника Мицкевича и Словацкого; Ходасевич не соблазнился.

Двадцать шестого ноября в Чехословакию приехал Горький, и вместе с ним и его близкими Ходасевич и Нина с 6 декабря поселились в Мариенбаде, излюбленном курорте для людей, страдающих излишним весом, к числу которых ни Ходасевич, ни Горький никак не относились. Зимой это было тихое, заброшенное место, занесенное татрскими снегами. Горький, его семья и Ходасевич с Берберовой занимали в гостинице четыре комнаты — остальные 58 номеров пустовали.

Как вспоминал позднее Ходасевич, «жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два — общий выезд в синематограф, вот и все»¹. Но именно здесь застало Горького и его друзей давно ожидавшееся историческое известие. «Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: “Владимир Ильич скончался, телеграфируй текст надписи на венке”. Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 363.

из комнаты»¹. Конечно, для Горького смерть старого друга, ставшего диктатором, тираном, но все равно по-своему любимого, совсем не была забавна. Близким не составило особого труда уговорить его написать воспоминания об «Ильиче» для советской печати.

В Чехии Ходасевич и Берберова прожили четыре месяца: поэту и его спутнице, которых не подозревали в намерении устроить в Италии коммунистическую революцию, готовы были выдать визы еще в январе, но у Владислава Фелициановича раскрошились зубы, и пришлось срочно делать протезы. (Мариенбадский врач сделал их плохо — летом 1924 года Ходасевич жаловался Анне Ивановне, что не может жевать пищу и из-за этого страдает катаром кишок.) Горький и его домочадцы все еще ждали своей очереди.

Тринадцатого марта 1924 года Ходасевич и Берберова уехали из Праги в Вену, оттуда — в Венецию. Там они провели восемь дней, до 23 марта, а потом отправились во Флоренцию, но «в поезде передумали и докатились до Рима»². Ходасевичу показалось, что «Венеция заметно одряхла за тринадцать лет. Первое впечатление — гнетущее: прах, пыль, кажется — любой дом можно легонько растереть между пальцами»³. Скорее всего, изменился не мир, а собственный взгляд поэта. Нина же была в Италии впервые и, конечно, испытала все полагающиеся эмоции.

Для Анны Ивановны весть о переезде мужа в Италию стала еще одним ударом: надежд на его возвращение оставалось все меньше. В ИРЛИ сохранились два черновика открытки, которую она собиралась отправить Владиславу Фелициановичу. Первый:

«Милый Владя!

Я живу, но живу плохо, — болят глаза и скверно на душе. Погода точно не итальянская. Удивляюсь твоим планам — если трудно в России, то не менее трудно в Италии. Пиши чаще. Благодарю за поздравления. А. Ходасевич. 31.X.1923.

Спасибо за деньги — получила»⁴.

Второй вариант (тот же день) — еще отчаяннее:

«Твой переезд в Италию меня удивляет — где же ты там будешь работать? Я живу плохо. <...> У меня очень болят глаза — от слез. Желая тебе быть здоровым»⁵.

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 363—364.

² Письмо М. О. Гершензону от 6 августа 1924 г. // De Visu. 1993. № 5/6. С. 34.

³ Там же.

⁴ ИРЛИ. Оп. 33. Ед. хр. 139. Л. 1.

⁵ Там же. Л. 2.

С каждым месяцем объяснения с женой становились все мучительнее, все напряженнее. Владиславу Фелициановичу было мучительно жаль многолетнюю верную подругу. Но он понимал, что ничем не сможет ей помочь больше, чем и так помогает, даже вернувшись в Россию. Скорее всего, к началу, самое позднее к весне 1924 года он уже принял решение насовсем остаться за границей, но пока боялся сам себе в этом признаться. 18 марта в письме Владимиру Лидину из Венеции Ходасевич задает такой эвфемистический вопрос: «Кстати: в Берлине, Праге, Мариенбаде и здесь видел я много домов, в которых родились или жили многие великие люди: Гёте, Байрон и т. д. Хотел бы я также повидать дом, в котором родился Герцен. Как по-Вашему: стоит? Спрашиваю не для ближайшего времени, а вообще»¹.

Каким был ответ Лидина, неизвестно. Характерна, однако, следующая деталь: летом 1923 года Ходасевич и Берберова, выбирая маршрут дальнейших странствий, не захотели ехать в Париж. Для них это означало бы окончательный выбор: Париж был одним из главных центров не полу-, а самой настоящей эмиграции. Но 13 апреля 1924 года, не дождавшись Горького и разминувшись с ним всего на день, Владислав Фелицианович и Нина Николаевна выезжают из Рима в Париж — в город, где им придется прожить долгие годы — в поисках литературного заработка. (К слову сказать, с Парижем ситуация была прямо противоположная: там в детстве бывала Нина — и никогда до 1924 года не был Ходасевич.)

Уже через десять дней после приезда в Париж, 24 апреля 1924-го, Владислав Фелицианович обращается к Анне Ивановне с просьбой подать заявление о расторжении их брака — гражданского («церковного не трогай»). «Надо, чтобы ты от меня отказалась в гражданском смысле. <...> Мои личные отношения здесь ни при чем. <...> Сделай это молча, никого из знакомых не посвящай. Нужно только, чтобы у тебя была *бумажка*, что ты начала развод, и чтобы я знал об этом»². На сей раз Ходасевич писал правду: и после развода с Анной Ивановной он и Нина не сочли необходимым оформлять свой брак официально, хотя считали себя мужем и женой и соответствующим образом воспринимались окружающими еще с 1922 года. Но обстоятельства складывались так, что Ходасевич не хотел оставлять в России заложников; развод давал ему свободу действий. Кроме жены в России у него оставались братья³ и од-

¹ Дом Герцена в Москве был в 1920-е годы превращен в писательский клуб.

² РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 28.

³ Константин был в 1924 году арестован и сослан; Михаил умер в 1925-м; о судьбе Виктора ничего не известно.

на из сестер, но непосредственной связи с ними Владислав Фелицианович, видимо, не поддерживал и за их судьбу в связи со своими зарубежными публикациями не опасался.

В Париже остановились на Шан-де-Марс, в шумном и гостеприимном доме Зиновия Гржебина, который еще не разорился и пока надеялся, что его книги вновь будут допущены в Россию. Почему-то воспользоваться гостеприимством издателя оказалось удобнее, хотя в Париж к тому времени переехала из Берлина сестра Ходасевича Евгения Нидермиллер и летом 1924 года, как и позднее, Владислав и Нина часто у нее бывали.

О жизни в гржебинском доме Берберова вспоминает так:

«В столовой с утра до поздней ночи ели, пили, спорили и хохотали присяжный поверенный Маргулиес, поэт Черняховский¹, Семен Юшкевич, эсеры, эсдеки, поэты, нахлебники всякого рода, балетная молодежь студии балерины Преображенской, бывшие великие князья, артисты бывших императорских театров, опереточные певцы, художники с именем, художники без имени, кабаретные певички, приезжие из Одессы безработные журналисты, приезжие из Киева безработные антрепренеры — всевозможные шумные полуголодные бездельники». Ходасевич и Нина жили в мансарде с видом на Эйфелеву башню, в комнате для прислуги: это и был тот самый «парижский чердак» где 18—23 июля родились хрестоматийные строки.

Их блуждания по мировой столице в те недели не ограничивались обычными достопримечательностями. Берберова вспоминала узкие, дурно пахнущие переулки Монмартра, омерзительно-притягательные дешевые варьете, какие-то полукабачки, полубалаганы, полубордели — весь тот чувственно-гротескный мир, который отразился в стихах «Европейской ночи».

Но были, конечно, и «Ротонда» — знаменитейшее из парижских артистических кафе (Ходасевич и Нина бывали здесь, судя по «камер-фурьерскому журналу», ежедневно), и общение в русских литературных кругах Парижа. В письме Горькому от 13 мая 1924 года Ходасевич пишет: «Мой русский Париж невелик: “Современные Записки”, Осоргин, Зайцев, Познер, Гржебин, Ремизов, еще 2—3 человека — и всё. Мережковские, Бунин, Куприн — вне меня — и вне себя от меня». Сторонился Ходасевич и просоветских русских парижан; в этом кругу центральной фигурой был Илья Эренбург. Среди новых знакомых его в эти месяцы появляется и несколько «желторотых поэтов» — в их числе Борис Поплавский и Борис Божнев.

В Париже Ходасевич изо всех сил пытается продать русским журналам и газетам (центристского, респектабельного харак-

¹ Так у Берберовой.

тера) как можно больше своих статей. К респектабельным парижским изданиям принадлежали прежде всего «Последние новости», редактируемые Милюковым. (Оставшийся пока в Берлине Керенский выпускал газету «Дни» — продолжение «Голоса России»; там же выходил «Руль», после гибели Владимира Набокова-отца редактировавшийся его ближайшим другом Иосифом Гессеном. Ведущие политики прежней России превратились в газетных редакторов.)

Напечатано было, однако, не так уж много. В числе этого немногочисленного — злая статья «Язык Ленина», появившаяся 7 августа 1924 года в «Последних новостях» под псевдонимом Г. Р. Эта статья стала первым резким вызовом, брошенным Ходасевичем формалистам, и надо сказать, что повод нашелся более чем удачный: Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов, Томашевский и другие опубликовали в «литературно-чехистском журнале „ЛЕФ“» (выражение Ходасевича) подборку статей, посвященных языку и ораторским приемам покойного вождя.

«Формалисты суть исследователи литературных приемов. Они в этом знают толк и придумали неплохой прием для статей о Ленине. Они вовсе не лгут. Они говорят правду. Но все же шарлатанство их состоит в том, что они тратят множество времени и бумаги, чадят и авгурствуют, чтобы “научно” открыть вещи, ясные каждому с первого взгляда. <...> То, что в просторечии звучало бы обидно, на языке науки вполне приемлемо и лояльно по отношению к советской власти.

Ленин груб, как в мысли, так и в ее выражении. Ленин ораторски примитивен. К этим основным мыслям приходят авторы статей один за другим. Но послушайте, как осторожно они выражаются. “Ленин — деканонизатор” (Шкловский). “Борьба с революционной фразой проходит через все статьи и речи Ленина” (Эйхенбаум)¹.

«Люди науки», которые в своем раболепстве идут на то, чтобы, с одной стороны, на истину намекнуть, с другой — ее спрятать», вызывают у Ходасевича презрение. Поставить себя на место тех же Шкловского и Эйхенбаума, учесть влияние и житейских обстоятельств, и гипноза окружающих настроений, и новой общественной этики он не был готов. Хотя кто поручится, что окажись Ходасевич в начале 1924 года в России, он и сам не отозвался бы на смерть Ленина хотя бы газетной заметкой, репортажем о похоронах, как Мандельштам или Булгаков?..

В то же время последняя фраза статьи — «продажные перья в конце концов приносят мало пользы тем, кто их покупает» —

¹ Ходасевич В. Язык Ленина // СС-2. Т. 2. С. 351.

в сочетании с цитатами из писем Ходасевича Анне Ивановне наводит на странные мысли. Как будто уже почти порвав с советским режимом, Ходасевич снова и снова пытается дать ему понять, что от таких как он, бескорыстных и независимых людей, этому режиму было бы больше толку, чем от продажных футуристов и формалистов («Беда стране, где раб и льстец / Одни приближены к престолу...»).

Пушкинские материалы, к радости Ходасевича, пользовались в русском Париже спросом — в связи с предстоявшей в июне 125-летней годовщиной со дня рождения поэта. В XIX и XX книгах «Современных записок» были напечатаны три «пушкинские» статьи Ходасевича: «Русалка», речь «О чтении Пушкина» (первоначально произнесенная на собрании памяти Пушкина в Сорбонне 12 июня 1924 года) и рецензионная заметка «Новые материалы по поводу дуэли и смерти Пушкина».

Именно в связи с Пушкиным у Ходасевича произошел в 1924 году в Париже единственный заметный конфликт.

Есть у Пушкина набросок:

В голубом эфира поле
Ходит Вечер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

Догаресса молодая...

Несколько русских поэтов (в том числе Аполлон Майков в 1888 году) попытались продолжить пушкинские строки. Ходасевич предложил собственный вариант продолжения, напечатанный 27 апреля 1924 года в парижских «Последних новостях» и одновременно — во втором номере московской «России». Майков, как и Сергей Головачевский в 1906 году, взял напрашивающийся мотив адюльтера. У Ходасевича, который, как можно предположить исходя из его исследовательских принципов, оглядывался на финал «Евгения Онегина» и на судьбу самого Пушкина, догаресса не изменяет дожу, а лишь равнодушна к нему.

Это довольно проходное стихотворение вызвало неожиданную реакцию со стороны писателя, чрезвычайно далекого от пушкинистики: от Александра Куприна. Владиславу Фелициановичу лично с ним сталкиваться приходилось лишь однажды. В 1911 году молодой поэт по какому-то издательскому делу посещал Куприна в Гатчине, и этот визит, по собственному свидетельству Ходасевича, оставил у него тягостные воспоминания. Три года спустя Ходасевич напечатал в «Русских ведомостях» (от 26 июня 1914 года) язвительную статью «А. Куприн и Европа» — рецензию на путевые заметки прозаика, где писал:

«Русская литература донныне была учительна. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Лев Толстой раскрывали перед читателем неведомые ему тайны, возводили на высоты, на которых он еще не бывал. <...> Теперь не то. У нас нарождается средний тип писателя-рассказчика — и ничего больше. Он сам не располагает большим внутренним и художественным опытом, чем его читатель. <...> Его наблюдения ни широтой, ни глубиной нисколько не отличаются от наблюдений обывательских. <...>

Русские писатели любили ездить за границу — но ездили по-другому. Прочтите письма Фонвизина к Панину. Вспомните Тургенева в литературных салонах Парижа. Жизнь Гоголя в Риме — целая поэма. А у Куприна все какие-то кабаки, боксеры, сутенеры, лавочники, извозчики, крупье».

И вот десять лет спустя Куприн вдруг обращается к Ходасевичу с открытым письмом на страницах «Русской газеты в Париже» (от 3 мая 1924 года), издания монархического по направлению и «желтого» по сути, в котором он был постоянным сотрудником. Начинается оно так:

«Я знал Тебя, Владек, в первую пору нашей жизни, помнишь, на Выселках в Петровско-Разумовском, где я часто посещал вашу дачу и вашу милую семью. Правда, я глядел на Тебя немного свысока. Ты был штатский, а я военный. Я был кадет, а Ты приготовишка-карандаш. Мне было пятнадцать лет, а Тебе — одиннадцать — громадная разница. Старший Твой брат Михаил был моим сверстником, а Тебя мы в свои секреты не допускали: молод еще».

Дальше Куприн (переходя наконец на «вы») вспоминает, как его юный знакомец вырос и стал «высоким, красивым мужчиной» и «недурным поэтом», правда, пишущим «несколько растрепё, в модном футуристическом темпе, с эпилептическими дерганиями, с презрением к труду, смыслу и музыкальности». И теперь, на правах старшего товарища, он корит «карандаша-приготовишку» за «грубую выходку с великой тенью Пушкина»:

«Каким тихим, скучным, неуклюжим ужасом веет от Вашей первой же строфы, запруженной четырьмя отрицаниями:

На супруга *не* глядит,
Белой грудью *не* вздыхая,
Ничего не говорит.

И разве эти две нижние строки — не гитарный перебор штабного писаря или не кусочек, выхваченный из “Конька-Горбунка”?»

Куприна возмущает все — обилие «шипящих и свистящих согласных», «ужасный канцелярский или поповский глагол “указует”». Да и сюжет стихотворения Ходасевича ему непонятен:

«И зачем Вам потребовалось исказить именно Пушкина? Правда, он был грозой плохих рифмачей. Нынешних поэтов он не тронул бы, потому что сразу признал бы их писания за то, что они есть: то есть за злую и дерзкую мистификацию, дурачащую нэповских модниц, снобов из ЧК и большевизанствующих приват-доцентов срока 1917 года».

Ходасевич ответил 18 мая в «Последних новостях». Заметив, что «еще в 1914... отзывался о Куприне как о писателе некультурном», он обращается к конкретным претензиям старого реалиста. Он пунктуально приводит примеры тройного, четверного и пятерного отрицания из Пушкина, причем из таких общеизвестных его произведений, как «Птичка Божия не знает...» или «Сказка о царе Салтане»; напоминает, что глагол «указует» используется в «Евгении Онегине», что Пушкин с горячим одобрением отозвался про сказку о Коньке-Горбунке и даже предложил для нее две первые строки. И завершает свои примеры так:

«Теперь Вы видите, Александр Иванович, что прежде, чем вступаться за Пушкина, надо его знать. <...> Чтобы быть писателем, надо быть человеком знающим, а не “птичкой Божией”. Надо учиться и работать. Это я говорил начинающим пролетарским писателям — то же вынужден сказать и Вам.

Боюсь, однако, что для учения у Вас слишком слабая память. <...> Вы, сверстник моего брата, родились в 1866 или 1867, а я в 1886. Когда Вам было пятнадцать лет, я еще не родился»¹.

Куприн пришел в ярость. 25 мая 1924 года в «Русской газете» появился его длинный текст под названием «Товарищ Ходасевич». Достаточно процитировать его завершение. Приведя фразу о «начинающих пролетарских писателях», сравнение с которыми должно было особенно его обидеть, Куприн пишет:

«С этим признанием я поздравляю товарища Ходасевича. Значит, он был в числе воспитателей и руководителей той семитысячной банды безграмотных сопляков с врожденной чесоткою языка, которая облаяла и оплевала все дорогое, чем духовно жила прежняя великая, интеллигентная Россия?..

Но если даже он обучал стихосложению этих ублюдков, то какая-то отдаленная жалостливая симпатия не позволяет мне

¹ На самом деле А. Куприн, родившийся в 1870 году, был на пять лет моложе Михаила Ходасевича, на год старше Виктора, на два — Константина. У Ходасевичей он действительно в 1880-е годы бывал, но воспоминания о них явно наложились на воспоминания о какой-то другой семье.

верить тому, что, исполняя долг службы и повинуюсь общему обычаю, Вл. Ходасевич писал оды по особо торжественным случаям: на пролетарский праздник, на выступление Троцкого, на проезд Дзержинского и на избавление Зиновьева от чирья. Нет, этого он не делал».

На это Ходасевич отвечать не стал, но конфликт не закончился. 11 июля Куприн в статье «Два юбилея», опубликованной все в той же «Русской газете», издевательски пишет о невероятной овации, которой на пушкинском вечере в Сорбонне было якобы встречено выступление Ходасевича — «начинающего, но высокоталантливого стихотворца»: «Тщетно более благоразумные зрители старались благоразумным шиканьем остановить пылких поклонников В. Ходасевича. Напрасно сам В. Ходасевич пробовал их урезонить: “Дамы и господа, я понимаю и ценю ваши восторженные чувства ко мне. Но будем все-таки приличными и справедливыми, вспомним, что сейчас не мой юбилей, а Пушкина. Поймите, что Пушкин отдельно, а я отдельно!” Нет, толпа не вняла голосу любимца. До конца речи она кричала и аплодировала. Видно было только, как шевелются губы и раскрывается рот славного стихотворца».

Удивительнее всего то, что спустя пять-шесть лет после подобного обмена любезностями Ходасевич и Куприн помирились и до конца жизни состояли в добрых отношениях.

5

В эти же месяцы мысли Ходасевича были заняты другой, несравнимо более серьезной полемикой, связанной с Пушкиным.

В 1923—1924 годах, в Саарове и позднее в Мариенбаде, Ходасевич решает написать книгу, в которой были бы собраны воедино его многолетние наблюдения над произведениями Пушкина. «Поэтическое хозяйство Пушкина» (такое название получил труд) частями публиковалось в «Беседе», а также в «Современных записках», «Русском современнике», «Воле России», «Днях», «Последних новостях». В начале 1924-го, еще не до конца дописав книгу, Ходасевич начал переговоры с издателями в России. Через Марию Будберг он связался с московско-ленинградским издательством «Книга»; но, не дожидаясь ответа, попросил Анну Ивановну на всякий случай поискать другого издателя. Для этого он передал ей оттиски из «Беседы» и копию рукописи одной ненапечатанной главы, посвященной «Русалке» Пушкина. Не поняв Ходасевича, Анна Ивановна предложила частному ленинградскому издательству «Мысль» (владелец Лев Вольфсон) недописанную книгу как готовую, а издатель сразу же купил ее и заплатил аванс.

Двадцать восьмого апреля 1924 года, узнав о случившемся, Владислав Фелицианович пишет бывшей жене:

«“Сердиться”, конечно, было бы глупо, потому что ты не хотела зла ни себе, ни мне. Но в очень трудное положение ты меня поставила. <...> Прошу несколько раз прочитать это письмо и поступить в точности, как я пишу. Итак:

1) Завтра я посылаю тебе рукопись *всей* книги. Посылаю на адрес Ионова¹. Сходи в Госиздат и заberi ee. <...>

2) *Предложи рукопись Ионову для Госиздата*. Если он возьмет, то верни аванс “Мысли”, получив из Госиздата. Если Ионов не возьмет книгу, то скажи “Мысли”, чтоб она издала книгу в том виде, который я посылаю, а не по твоему тексту. <...> Одни только “беседовые” заметки плюс “Русалка” — ничего не стоят. Мне будет за такую книгу стыдно. <...>

3) Кроме того, очень важно, чтобы книга набиралась не с листов, которые у тебя есть, а с посылаемых мною, т. к. в них много поправок и дополнений. <...>

5) Однако если “Мысль” категорически откажется печатать все 13 (или 13^{1/2}) листов, то *в крайнем* случае согласишься печатать те 9 (или 10) листов, которые ты ей продала. Но в этом случае я требую, чтобы на титульном листе стояло:

В. Ходасеви<ч>. “Поэтич<еское> хоз<яйство> Пушкина”. Часть первая»².

Ни одно из требований автора, кроме последнего, исполнено не было. Более того: к опечаткам «Беседы», пунктуально воспроизведенным «Мыслью», добавились новые; большая заметка о «Русалке» Пушкина, разделенная звездочками на мелкие фрагменты (числом 19), превратилась в 19 самостоятельных заметок; наконец, книга подверглась неграмотной редакции: чья-то рука вписывала в рукопись Ходасевича неуместные эпитеты и искаженные цитаты. Прочитать корректуру Анне Ивановне не дали: «Мысль» торопилась выпустить книгу к пушкинскому юбилею.

Все это привело Ходасевича в ярость. В сдвоенном шестом-седьмом номере «Беседы» он напечатал гневное письмо, в котором перечислил все эти безобразия и объявил, что вынужден «отказаться от всякой ответственности за книгу в этом виде»³. От гонорара он, однако, позволить себе отказаться не мог. Поскольку парижские заработки были очень скудны, поэт рассчитывал, что Анна Ивановна половину суммы передаст ему (речь

¹ *Илья Ионов* (Бернштейн) — заведующий ленинградским отделением Госиздата.

² РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 34—34 об.

³ Беседа. 1924. № 6—7. С. 378.

шла о 250—300 рублях; зарплата мелкого служащего в СССР в ту пору составляла 35—40 рублей в месяц), но, судя по всему, та уже привыкла воспринимать российские заработки бывшего мужа как законные алименты, и Владислав Фелицианович не стал настаивать. Картина мало походит на ту, что рисует Анна Ходасевич в своих мемуарах: «Я часто получала от него письма с какими-то реальными указаниями, где и когда можно получить деньги и посылки, но это как-то не всегда получалось. Единственное, что я получала какое-то время, — это паек из Дома ученых»¹. Но будем снисходительны к этой в самом деле несчастной и обиженной женщине: по крайней мере, *тогда*, в 1920-е годы, она никому из знакомых не говорила о «Владе» худого слова.

Хотя и куцая, безграмотно изданная книга эта вызвала немало критических откликов и породила довольно бурную дискуссию. Прежде, чем этой дискуссии касаться, следует сказать несколько слов о принципах и идеях Ходасевича-пушкиниста, какими сложились они к середине 1920-х; по существу, они являются развитием идей и принципов Гершензона.

Во-первых, Ходасевич использует гершензоновский метод *медленного чтения*, включающий углубленный и зачастую интертекстуальный анализ каждой фразы, строки, каждого элемента текста. Не исключено, что этот метод восходит к еврейской традиции изучения и толкования Торы, с которой Гершензон мог соприкоснуться в детстве, по крайней мере, на элементарном уровне. Неслучайно Льву Яффе московский пушкинист напомнил «раввина из местечка»: «С подвижничеством раввина корпел он над ученьем и работал, только его ученьем были российская история, декабристы, исследование пушкинской поэзии и проблематика русской литературы»². Другое дело, что в своем отношении к «учению» Гершензон был зачастую похож на дерзкого и вдохновенного хасидского цадика, больше полагающегося на свою интуицию, чем на традицию и рациональный анализ. Может быть, сказался и профессиональный опыт филолога-классика (Гершензон начинал свою научную деятельность с монографии об Аристотеле): для античников «медленное чтение» — норма.

Во-вторых, Ходасевич, как и Гершензон, был убежден в глубоко автобиографизме пушкинской поэзии, в неразрывной связи между творчеством поэта и его судьбой. О характере этой связи он говорит в речи «О чтении Пушкина»:

¹ Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. С. 406.

² Яффе Л. Владислав Ходасевич (Из моих воспоминаний) // Ходасевич В. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998. С. 17.

«Поэзия возникает для Пушкина не из произвольного воображения, не из абстрактного философствования. В основе поэзии лежит впечатление, то есть материал, извлекаемый вдохновением из действительности. <...> Иными словами — в основе поэтического творчества лежит автобиография поэта. <...> Поэзия есть проекция человеческого пути. <...>

Творчество Пушкина находится в полном соответствии с таким взглядом на поэзию и поэта. Всякий, кто хоть немного работал над Пушкиным, знает, с какой правдивостью, даже точностью пушкинская лирика воспроизводит “впечатления” и переживания автора. Известно и то, что конкретные события, отражаясь в большей или меньшей степени, играя то первенствующую, то второстепенную роль, преломляясь под разными углами, так или иначе вписаны в большинство и эпических его творений. С полной уверенностью можно говорить о той или иной дозе автобиографии в “Кавказском Пленнике”, в “Цыганах”, в “Евгении Онегине”, “Скупом Рыцаре”, “Каменном Госте”, “Русалке” и т. д. и т. д. <...> Если принято вообще говорить (и вполне справедливо), что для понимания писателя должно знать его эпоху и жизнь, то в отношении Пушкина это знание должно быть доведено до наибольшей точности. Только в этом случае понимание Пушкина может претендовать на полноту»¹.

Собственным вкладом Ходасевича в пушкинистику стала идея изучения автореминисценций, намеченная еще в статье про «Уединенный домик». Как пишет Ходасевич в предисловии к «Поэтическому хозяйству», в произведениях Пушкина «повторяются темы, приемы, образы, мысли, сопоставления, звуковые и ритмические ряды, эпитеты, рифмы и т. п. <...> Каждая группа таких автореминисценций выявляет какую-нибудь сторону в личности и творчестве Пушкина, выявляет частность малоизвестную или незамеченную вовсе. Самоповторения у художника не случайны, не могут быть случайны. <...> В сущности и здесь, как в точной науке, только повторность явления предохраняет от риска принять случайное за типическое»².

Изучение повторяющихся рифм, образов, эпитетов и т. д. позволило Ходасевичу сделать важные и нетривиальные выводы, касающиеся пушкинских «кошунств» (носящих, как полагает автор «Поэтического хозяйства», в основном литературно-пародийный характер) или отношения Пушкина к Наполеону.

¹ Ходасевич В. О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения) // СС-4. Т. 2. С. 118—119.

² Ходасевич В. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924. С. 113.

Есть у него и текстологические открытия: так, он предположил, что отрывки «Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» и «Куда же ты? — В Москву...» — части одного и того же недописанного стихотворения.

Часть книги Ходасевича, посвященная «самоповторениям», была принята сообществом пушкинистов во многом одобрительно. Даже Григорий Винокур, в своей рецензии охарактеризовавший книгу Ходасевича как «плохую», счел необходимым заметить, что она «могла бы занять видное и почетное место в нашей пушкинской литературе, если б автор верно следовал той задаче, которую ставил себе первоначально, если бы, собирая и изучая *самоповторения* в стихах Пушкина, не мечтал о психологии творчества»¹. Но для Ходасевича изучение автореминисценций не было самоцелью: оно было средством постижения глубинных связей, существующих, по его мысли, между жизненными впечатлениями и психологическим опытом Пушкина, с одной стороны, и его творчеством — с другой.

Принципиальное несогласие с принципом «медленного чтения», с Гершензоном и Ходасевичем высказал, кажется, лишь Борис Томашевский. В статье «Интерпретация Пушкина» он указывал, что медленное чтение ломает заданный автором темп художественного текста, и в результате «смыслы начинают копошиться там, где их не было»², что «в прочно построенном художественном произведении значение слова определяется всецело контекстом, который отсекает все паразитические ассоциации», а медленное чтение, ломая контекст, дает этим ассоциациям волю, что «в любом произведении есть масса словесного “упаковочного материала”», который порожден общим языком эпохи и не несет в себе ничего авторского, а «медленный читатель» этот материал не идентифицирует. Здесь Томашевский метит уже напрямую в Ходасевича, в его теорию автореминисценций. По мнению Томашевского, самоповторы — это «в первую очередь... самоповторяемость упаковочного материала. Если безразлично, какими словами дополнить фразу, то берутся самые банальные, самые незаметные, недействительные слова. <...> Другой источник самоповторений — это постоянная переработка собственных произведений». От этих возражений невозможно просто отмахнуться; но они исходят из очень уж рационалистических и механистических представлений о поэтическом творчестве, о чтении и понимании поэтического текста. Впрочем, и Томашевский в рецензии на

¹ Печать и революция. 1924. № 6. С. 223—224.

² Цит. здесь и далее по: *Томашевский Б.* Пушкин: Работы разных лет. М., 1990. С. 67—70.

«Поэтическое хозяйство Пушкина» отметил, что «если метод Ходасевича в интерпретации фактов отчетливо неудачен, то материал, собранный им, безусловно, интересен»¹.

Однако в центре внимания рецензентов оказались в первую очередь биографические реконструкции Ходасевича и его предположения о скрытых автобиографических мотивах во многих пушкинских произведениях. Если мысль о том, что в «Скупом рыцаре» отразились конфликты поэта с отцом, была еще приемлема для части пушкинистов, то статья о «Русалке» вызвала настоящую бурю и, увы, во многом заслонила все остальные, куда более обоснованные, удачные и глубокие изыскания Владислава Фелициановича.

Сюжет пушкинской неоконченной пьесы известен: князь бросает свою возлюбленную, дочь мельника; девушка топится; ее отец сходит с ума; но утопленница становится русалкой; в подводном царстве она рождает дочь — и ее встречей с отцом завершается написанная часть пьесы. Между тем внимание Ходасевича привлекло письмо Пушкина Вяземскому, датированное началом мая 1826 года, в котором речь идет о некоей «очень милой и доброй девушке, которую один из твоих друзей неосторожно обрухнул». Пушкин просит своего друга приютить девушку в Москве, отправить ее в Болдино и «позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик». В ответ Вяземский в письме от 10 мая 1826 года сообщил Пушкину, что девушка «едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда он назначен отцом твоим управляющим». Больше о девушке ничего не известно. Однако же Пушкин, как мы знаем, подолгу жил в Болдине в 1830-м (накануне свадьбы) и в 1833 годах, а в 1834-м думал вообще переехать туда с семейством. «Решительно немислимо допустить, чтобы Пушкин мог мечтать переселиться с женой и детьми в то самое Болдино, в котором, в качестве какой-нибудь птичницы, живет его бывшая любовница и “дворовым мальчиком” бегают его сын. Конечно, ни этой женщины, ни ребенка в Болдино давно уже не было», — пишет Ходасевич. И делает такой вывод: «Полагаю, что девушка погибла... возможно, что она покончила с собой — может быть, именно традиционным способом обманутых девушек, столько раз нашедшим отражение и в народной песне, и в книжной литературе: она утопилась»². Отца вряд ли постигло романтическое безумие, как пушкинского мельника; скорее всего, он просто спился и опустился. Пушкина преследовало чувство вины за эту трагедию, и оно отразилось в написанной в 1832—1834 го-

¹ Русский современник. 1924. № 3. С. 262.

² Ходасевич В. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924. С. 121.

дах «Русалке». Литературные источники пьесы Ходасевич тоже принимает в расчет: он упоминает либретто «Днепровской русалки» Николая Краснопольского (переделку пьесы «Дунайская нимфа» Карла Фридриха Генслера). Но — задается вопросом автор «Поэтического хозяйства» — «зачем же нужно было великому и знаменитому Пушкину заимствовать сюжет и даже некоторые подробности у безвестного и бездарного Краснопольского? <...> Значит, с этим сюжетом было для него связано нечто более интимное и существенное»¹.

Мы видим, сколько тут совершенно недоказуемых допущений — и поэтому вправе применить к Ходасевичу тот же метод, который применил он сам к Пушкину, и предположить, что на направление его мыслей повлияло чувство «мужской» вины перед Анной Ивановной, которое постоянно бередила и усиливала продолжающаяся переписка. Но пушкинистам не было до этого дела, и они в один голос отвергли и осмеяли версию Ходасевича. Даже Гершензон (в частном письме) с ним не согласился. «У меня сложное чувство, — писал он, — по общему чувству ваша догадка мне кажется вероятной, по размышлению нахожу ее ни на чем не основанной»². Но самый резкий удар нанес по гипотезе Ходасевича его старый знакомый Павел Щеголев, опубликовавший имевшиеся в его распоряжении материалы о той, кого Пушкин называл «своей Эдой», сопоставляя ее с несчастной «чухончкой» из поэмы Евгения Баратынского. Щеголев выяснил, что девушку звали Ольгой Калашниковой, что она была дочерью михайловского старосты и вовсе не утопилась, а, родив ребенка (недолго прожившего), получила впоследствии вольную и вышла замуж. Эти сведения позволили «семипудовому пушкинисту» сложить сентиментальную сагу о крепостной любви Пушкина, изложенную в одноименной статье.

Принципиальным, но корректным и уважительным противником Ходасевича и Гершензона выступил Викентий Вересаев. В статье «Об автобиографичности Пушкина» (1925) он, на примере книги Ходасевича, показывает, как зыбки биографические реконструкции, основанные на произведениях поэта, насколько велика пропасть, пролегающая между жизнью Пушкина, какой она предстает в документах и свидетельствах современников, и его творчеством, при всей насыщенности его конкретными житейскими реалиями: «Исходною точкою произведений Пушкина по большей части служат самые конкрет-

¹ Ходасевич В. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924. С. 118—119.

² Письмо М. О. Гершензона — В. Ф. Ходасевичу от 17 августа 1924 года // De Visu. 1993. № 5/6. С. 36.

ные, самые индивидуальные факты его жизни, настолько индивидуальные, что иногда, ничего не зная из других источников, просто не можешь даже понять, в чем дело. Но в дальнейшем мы никогда не можем быть уверены — оставил ли Пушкин в полной автобиографической неприкосновенности этот первоначальный, исходный факт... или переиначил его так, что от исходного факта осталась одна оболочка»¹. Впрочем, о сентиментальных фантазиях Щеголева Вересаев отзывался не менее жестко: хотя бы потому, что он, не привыкший «исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях», знал, что «Пушкин был человек очень сложный и не годился в герои нравоучительного романа»², что «Пушкин нередко относился к женщинам с исключительным цинизмом, что этому же он обучал своих молодых друзей и что именно такой характер, по всей видимости, носили и его отношения к тригорскому девичьему миру»³. В своей жесткой трезвости старого врача Вересаев часто бывал прав — по крайней мере, эмпирически. Для него, например, публикация дневника Алексея Вульфа не открыла ничего особенно нового о личной жизни Пушкина, но лишь подтвердила уже известное; для Гершензона же этот дневник стал, по свидетельству Ходасевича, источником потрясения.

Ходасевич позднее ответил Вересаеву — в рецензиях на его книги «Пушкин в жизни» (1927) и «В двух планах» (1929). В первой из этих рецензий Ходасевич подчеркивает, что «исследователь пушкинского творчества, ради “научности” отвергивающийся от биографии, похож на химика, который вздумал бы “не считаться” с физикой» — и наоборот: «Оторванный от своего творчества, состоящий только из “характера, настроений, наружности, одежды”, воспроизведенных по противоречивым, часто лживым, а еще чаще — близоруким записям современников, — Пушкин встает... вовсе не “совершенно как живой”, а, напротив, — совершенно как мертвый. Пушкин без творчества — живой труп. Никакие “настроения” и “привычки”, так же как “одежда”, не возместят отсутствие того, что было в нем главное и чем только он, в сущности, любопытен: его *творческой личности*»⁴. То, что Вересаев, восстанавливая пушкинскую биографию, целенаправленно отмечает все *поэтические* свидетельства, что он готов «прислушаться к кому угодно, будь то первый попавшийся враль или глупец — только не к Пушки-

¹ Вересаев В. В. В двух планах. Л., 1929. С. 90—91.

² Там же. С. 111.

³ Там же. С. 150.

⁴ Ходасевич В. «Пушкин в жизни»: (По поводу книги В. В. Вересаева) // СС-4. Т. 2. С. 141, 143.

ну, только не к поэту»¹, — все это было, на взгляд Ходасевича, непростительным грехом, укорененным в самом взгляде Вересаева на природу и смысл поэзии.

В то же время Ходасевич подчеркивал, что Вересаев, «в отличие от иных пушкинистов... полемизирует добросовестно, не всегда понимая противника, но и не прибегая к сознательному искажению его мыслей»². С «иными пушкинистами» (Томашевским, Модестом Гофманом³, тем же Щеголевым) дело у него доходило до резких взаимных выпадов, обвинений в плагиате, недобросовестной конкуренции и т. д. Впрочем, очень скоро всякая полемика с теми, кто остался по ту сторону границы, стала поневоле односторонней.

6

Первые стихи, написанные Ходасевичем за границей («Большие флаги над эстрадой...», «Гляжу на грубые ремесла...», «Ни петь, ни жить почти не стоит...»), были продолжением «Тяжелой лиры» и вошли в ее окончательную редакцию. Стихи, по духу близкие предыдущей книге, появлялись и позже. В их числе такой шедевр, как «Трудолюбивою пчелой...», датированный 5 февраля 1923 года. Но неслучайно это стихотворение не вошло в «Европейскую ночь» и в итоговое «Собрание стихотворений». Может быть, потому, что картина мира, отраженная в нем, показалась поэту слишком абстрактной в сравнении с другими его стихами этой поры и слишком внутренне благополучной. В центре стихотворения образ мысли «трудолюбивой пчелы», которая пытается «вщупаться, всосаться в таинственное бытие»:

...Срываешься вниз головой
В благоухающие бездны —
И вновь выходишь в мир подзвездный,
Запорошенная пыльюю.

И в свой причудливый киоск
Летишь назад, полухмельная,
Отягощаясь, накопляя
И людям — мед, и Богу — воск.

¹ Ходасевич В. Книги и люди: Этюды о русской литературе. М., 2002. С. 337.

² Там же. С. 336.

³ В случае М. Гофмана, обвинявшего В. Ходасевича в текстологическом плагиате, дошло даже до третейского суда (в Париже летом 1925 года). Судьями были юристы, которые не могли разобраться в сути профессионально-литературоведческого вопроса. В конце концов Ходасевич, которому ситуация не без основания казалась унижительной, от дальнейшего разбирательства отказался.

В каком-то смысле это стремление «вщупаться, всосаться» в мир пронизывает и «Европейскую ночь». Но теперь это не только и не столько высокое *таинственное бытие* души, сколько мерзкая и манящая внешняя жизнь — плотская, вещественная, та самая *пошлость таинственная*, о которой некогда говорил Блок.

Об этой эволюции писал и критик Владимир Вейдле в лучшей работе о Ходасевиче, опубликованной при его жизни: «Душевный опыт, легший в основу “Тяжелой лиры”, уступил место другому опыту. Та относительная прозрачность мира, которая сперва была ему присуща, сменилась непроницаемою тьмою. Все стало омерзительно вещественным»¹. И душа поэта устремлена в эту тьму, устремлена, несмотря на мучительное отвращение к ней и даже отчасти благодаря этому отвращению. Отношение Ходасевича «Европейской ночи» к реальности ближе к гоголевскому, но без гоголевского физиологичного юмора, и лермонтовскому, но без лермонтовской самомифологизации, чем к пушкинскому и тютчевскому. Отчужденный, влюбленно-ненавидящий взгляд на вещи дарует им ту диковинную выпуклость, которую позднее отмечал в рецензии на «Собрание стихотворений» Ходасевича Владимир Набоков:

Уродики, уродища, уроды
Весь день озерные мугили воды.

Теперь над озером ненастье, мрак,
В траве — лягушечий зеленый квак.

Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу,

А вдалеке, где всё затерла мгла,
Тупая граммофонная игла

Шатается по рытвинам царапин,
А из трубы еще рычит Шаляпин.

На мокрый мир нисходит угомон.
Лишь кое-где, топча сырой газон,

Блудливые невесты с женихами
Слипаются, накрытые зонтами,

А к ним под юбки лезит с фонарем
Полуслепой, широкоротый гном.

(«Дачное», 1923—1924)

¹ Вейдле В. Поэзия Ходасевича // Современные записки. 1928. Кн. XXXIV. С. 461. В. Вейдле, бывший доцент Санкт-Петербургского университета, впоследствии профессор истории искусств в Богословском институте в Париже, сотрудник множества эмигрантских журналов, был одним из наиболее близких и постоянных собеседников В. Ходасевича в 1920—1930-е годы.

Можно сопоставить этих «блудливых невест» с ищущими женихов «недоразвившимися блядьми» из письма Борису Дятроптову, а заодно припомнить, что Шалапин был для Ходасевича не только голосом на пластинке, но и живым человеком, с которым он выпивал в Герингсфорсе, и попытаться определить «угол отражения» (термин Ходасевича-пушкиниста), под которым реальные впечатления и чувства попадают в стихи «Европейской ночи». Но не менее, а может быть, и более интересны параллели с поэзией немецкого экспрессионизма, создававшейся тогда же и там же (вышеприведенное стихотворение «Дачное» вчерне написано в июне 1923-го в Саарове), но, видимо, совершенно Ходасевичу неизвестной.

Ходасевич пытается пробиться, прорваться сквозь плотный, цветной, пахучий и грузный мир Европы к тому инобытию, от которого прежде его отделяла лишь «прозрачная, но прочная плева». Он пытается нащупать в этом мире любую трещину, любую инверсию. Зеркальная реальность слепого, корова, / Ключья неба голубого — / Все, чего не видит он»; перевернутый мир того, «кто падает вниз головой»; лучи радио, пронизывающие людей и вещи; железный скрип жалюзи; лязг электрической пилы; даже «старик сутулый, но высокий», мастурбирующий в подземном сортире, — всё это болевые точки, вносящие в мир неопределенность и тревогу и нарушающие его непрозрачность. Именно в поисках таких «болевых зон» реальности поэт, скорее всего, и ходил в 1924-м по грязноватым парижским кабачкам, где «ведут сомнительные девы свой непотребный хоровод», — как в свое время Блок по подобным же заведениям Каменного острова.

В этом же ряду и «An Magieschen» с его жестокой и дикой с бытовой точки зрения мыслью:

Уж лучше бы — я еле смею
Подумать про себя о том —
Попастся бы тебе злодею
В пустынной роще, вечерком.

Уж лучше в несколько мгновений
И стыд узнать, и смерть принять,
И двух ислений, двух растлений
Не разделять, не разлучать.

Здесь уместно вспомнить еще одно стихотворение, тоже датируемое 1923 годом и провокативное уже настолько, что Ходасевич не счел возможным не только печатать его, но и переписывать набело. Это стихотворение «В кафе»:

Мясисто губы выдаются
С его щетинистой щеки,
И черной проволокой вьются
Волос крутые завитки.

.....
Ему противна до страданий
Арийских глаз голубизна,
Арийских башен и преданий
Готическая высота,

Сердце крылатая тревога,
Колоколов субботний звон.
Их упоительного Бога
Заочно презирает он.

Очевидно, что обладатель мясистых губ, щетинистых щек и курчавых волос, ненавидящий «арийский мир», — семит, обрисованный в духе расистских стереотипов той поры (если не газеты «Штюрмер», то Хьюстона Чемберлена). Но у Ходасевича этот карикатурный персонаж «славой некою оваян, он провозвестник, он поэт». Поэт-урбанист, поэт-революционер («Рифмует: кубы, клубы, трубы, / Дреднот, вперед, переворот»). Возможно, даже террорист: стихотворение заканчивается упоминанием о «каком-то свертке», который герой достает из кармана. Впрочем, судя по черновикам, в свертке не пистолет, не динамит, а статуэтка «негритянского божка», чей зад с обожанием целует враг арийского мира. Деталь неслучайная: увлечение африканским искусством было характерно для авангарда накануне и вскоре после Первой мировой. Однако у Ходасевича она обыгрывается на редкость гротескно. Описывая внешность героя, он подчеркивает именно те черты, которые объединяют стереотипного еврея с негром (лишь «щетинистые щеки» выпадают из ряда). И тут возникает неожиданная ассоциация: поэт с курчавой головой, негритянскими губами, густой растительностью на щеках, идентифицирующий себя с Африкой. Кого он напоминает нам — и на кого мог намекать пушкининец Ходасевич?

Перед нами — образ пугающе двусмысленный. С одной стороны, герой стихотворения заражен враждебным Ходасевичу духом «футуристического» варварства. С другой — ненависть к арийскому миру, миру европейской культуры является некой упрощенной проекцией того трагического разрушительного пафоса, который вдохновлял Льва Шестова и Михаила Гершензона. Поэтому Ходасевичу и понадобилась отсылка к одиозной уже в то время расистской мифологии. Воспользовавшись готовой и очевидно враждебной ему идеологической схемой, поэт вывернул ее наизнанку, изменив минус если не на плюс, то на сложное сочетание плюса и минуса.

И это неслучайно: Ходасевич устойчиво самоотождествляется с любой разрушительной силой, чуждой и враждебной ложному покою Европы. В цикле «У моря» это Каин «с экземою между бровей» (узнаваемая автобиографическая черта); это он в «семиверстных сапогах» шагает «через горы и реки» и заламывает руки «под европейской ночью черной», мрачный, неуязвимый, бессмертный. (Уж не двойник ли он или маска Вечного жида? Мотив бессмертия Каина в мифологии не распространен.)

Роль культуры в этой битве противоречива: достаточно сопоставить два «венцианских» стихотворения Ходасевича 1924 года. В одном из них, «хранилище», искусство, культурная память становятся таким же объектом нигилистического отвержения, как и всё остальное: «Претит от истин и красот»¹. Другое — «Интриги бирж, потуги наций...» — как будто напоминает мягкие и трогательные итальянские стихи 1911—1913 годов, но финал его несет в себе скрытый эсхатологический пафос:

И не без горечи сокрытой
Хожу и мыслью иногда,
Что Некто, мудрый и сердитый,
Однажды поглядит сюда,

Нечаянно развеселится,
Весь мир улыбкой озаря,
На шаль красотки заглядится,
Забудется, как нынче я, —

И все исчезнет невозвратно
Не в очистительном огне,
А просто — в легкой и приятной
Венцианской болтовне.

Даже безмятежная венцианская живопись и порожденное ею «веселье» Творца несет в себе возможность разрушения мира — и эта возможность по-своему радостна, хотя и «не без горечи сокрытой».

На поверхности все это может выглядеть как «антибуржуазный протест». Возникают ложные параллели с некоторыми лирическими жестами Цветаевой из произведений того же времени: «Крысолова», «Поэмы горы», «Поэмы конца» («Будут шлюхами ваши дочери и поэтами сыновья...»). Но Ходасевич далек от цветаевской романтической гибельности и априорного презрения к обывателю. Другие возможные аналогии выгля-

¹ М. Гершензон в письме Ходасевичу заметил, что эта строка могла бы стать хорошим эпиграфом к «Переписке из двух углов».

дят еще неожиданнее и у самого Ходасевича, несомненно, вызвали бы резкие возражения: так «Окна во двор» по структуре близки «Небоскребу в разрезе» Маяковского, написанному чуть позже. Это сходство усиливается отчужденной холодной шаржированностью изображения «житейской нормы», фиксации внимания на всем неблагополучном, некрасивом, некомфортном. Такой взгляд присущ не только Маяковскому, но и левым — в политическом и эстетическом смысле — сатирикам той поры, таким как Бертольд Брехт или Георг Гросс. Хотя, конечно, для Ходасевича отчужденность реальности и ее нестабильность являются в первую очередь условиями лирического задания.

Но определенная форма диалога с этой реальностью возникает. Когда Горький писал Ходасевичу про «стихи Марихен», что они «пронзительно человечны»¹, в этих словах, при всей их парадоксальности, был свой смысл. Как отмечал Вейдле, «переселившись в чужое... поэзия начинает говорить от имени или во имя этого чужого, чего в “Тяжелой лире” она никогда не делала. <...> Мир воспринимается более выпуклым, сгущенным, и уже не только ради его противопоставления поэзии и поэту, но ради него самого и живущих в нем людей»².

Ходасевич «Европейской ночи» действительно в гораздо большей степени «слышит» других людей, чувствует их боль и обиду, чем в «Тяжелой лире», в которой, кроме автора, в сущности, появляются (с края картины) лишь два живых персонажа — Елена Кузина (уже скорее символ, чем человек) и Лида (существо нимфического свойства, лишь наполовину человек). Можно сказать, что поэт на очередном витке спирали возвращается от космического демонизма предыдущей книги к человеческому измерению, которое явственно присутствовало в «Счастливом домике» и «Путем зерна». Но теперь он не умиляется бедной жизнью малых сих, а ненавидит ее; его сочувствие к этим «соседям» по ущербной жизни носит отчасти экстремистский характер, он мечтает избавить их от унижительного и тяжелого бытия, увести вместе с собой в пустоту, в тишину.

Иным становится и отношение к человеческому в себе. Земной опыт, разделяемый со всеми, больше не кажется ничтожным перед устремлением души, превращающейся в дух и выходящей «в ночь, не эту серенькую ночь». Этот опыт отчетлив и значителен, о нем говорится в полный голос, без снисходительности и умиления — но он страшен:

¹ Новый журнал. 1952. № 30. С. 189.

² Вейдле В. Поэзия Ходасевича // Современные записки. 1928. Кн. XXXIV. С. 463.

...Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?..

(«Перед зеркалом», 1924)

Существенно, что и рационалистическую поэтику Ходасевич отныне мотивирует именно своей человеческой природой:

...Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел, или демон.
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?..

(«Гостю», 1921)

И:

...Я — чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык...

(«Жив Бог! Умен, а не заумен... », 1923)

«Заумь» у Ходасевича понимается очень широко. Неслучайно Цветаева в письме Александру Бахраху от 25 июля 1923 года расценила это стихотворение как «прямой вызов Пастернаку и мне». Весь пафос этого стихотворного манифеста вызывает у Марины Ивановны ярость: «“Ангела, Богу предстоящего” я всегда предпочитаю человеку, а Ходасевич (можете читать хвостович!) вовсе и не человек, а маленький бесенок, змеёныш, удавёныш. Он остро-зол и мелко-зол, он — оса, или ланцет, вообще что-то насекомо-медицинское, маленькая отравка»¹. Несколькими месяцами раньше Ходасевич в Берлине знакомил Цветаеву с Белым, несколько месяцев спустя Цветаева и Ходасевич дружески встречаются в Праге, и Владислав Фелицианович, по-видимому, так и не узнал об этом всплеске заочной ненависти, который пришелся на промежуток в их общении.

¹ Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1997. Т. 6. Кн. 2. С. 579.

Несомненно, Цветаеву Ходасевич в виду не имел (к ее стихам у него в ту пору были иные претензии), но Пастернака он имел в виду точно, так же как Хлебникова. «Заумь» означала не устремление в запредельное, скорее — иррационализм, суггестивность. Был лишь один современный поэт, за которым Ходасевич в начале 1920-х готов был признать право на подобный путь. Речь идет о его примечательнейшей рецензии на книгу «Tristia» Мандельштама, напечатанной в «Днях» (13 ноября 1922 года):

«Зачинатели так называемого акмеизма манифестировали свой выход из символизма как войну против “превращения мира в химеру”. Они хотели вернуть вещам их первоначальный, простейший смысл. Последовательный акмеизм, конечно, стал бы натурализмом, если бы, отколовшись, не захватил с собою “символический прием”. Расстаться с символическим приемом акмеисты не сумели — или не решились. Как рудимент символистской двусмысленности, “двузначимости” реального мира, они сохранили любовь к метафоре. Этот метафоризм широко разросся в акмеизме, что вполне естественно, так как никакие другие задачи перед акмеистами не возникли. Поэзия Мандельштама — благородный образец чистого метафоризма.

Подобно Адаму (недаром сам акмеизм порой именовался “даммизмом”), поэт ставит главной своей целью — узнать и назвать вещи. Талант зоркого метафориста позволяет ему тешиться этой игрой и делать ее занимательной для зрителя. Поэзия Мандельштама — танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, — поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания: стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов — и нелегко поддающимися расшифровке. Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного. Теоретикам “заумной” поэзии следует глубоко почитать Мандельштама: он *первый*, и пока только *он один*, на собственном примере доказывает, что заумная поэзия имеет право на существование. Сделать это ему помогли поэтический дар, ум и образованность, то есть то, чего начисто лишены были бедные “мэтры” русского футуризма».

Контраст между этой рецензией и написанным годом раньше письмом Владимиру Лидину бросается в глаза. Блоку, до 1920 года Мандельштама не замечавшему, достаточно было услышать на большом вечере несколько стихотворений из «Tristia», чтобы оценить поэта; Ходасевичу, хорошо знавшему Мандельштама и много его читавшему, потребовалось прочи-

тать книгу, чтобы избавиться от ничем не оправданной снисходительности. В мандельштамовской «зауми» он теперь видит путь, альтернативный (и почти враждебный) собственному, но вызывающий уважение. Ходасевич, верный традициям символизма, пытается прорваться сквозь мир вещей и слов; Мандельштам, вышедший из «земного», «материального» акмеизма, «тешится игрой вещей» и погружается в «темные тайны» словесных корней.

(Примечательно, что Ходасевич, похоже, написал пародию на «Tristia» — таковой, по всей вероятности, является его стихотворение «Аполлиназм»:

«На Лая лаем лай! На Лая лаем лаял...
То пес, то лютый пес! Поспел, посмел!» То спел
Нам Демодок, медок в устах тая. И таял,
И Маем Майи маял. Маем Майи млел.

Ты, Демодок, медок (медовый ток) замелли!
Медовый ток лия — подли, помелли лить!
Сей страстный, сладный бред душе, душе не вред ли?
Душе, вдыхая вздох, — паря, не воспарить.

Характерен уже шестистопный ямб с перекрестной рифмовкой; в данном случае это размер мандельштамовской «Соломинки», с женской рифмой на первой и третьей строках и мужской — на второй и четвертой. Из «Соломинки» же — смелые звуковые ассоциации, которые Ходасевич, естественно, утрирует. Для многих стихотворений «Tristia» характерны смешения разнородных мифологических мотивов — здесь сталкиваются Лай, отец Эдипа, и певец Демодок из «Одиссеи». И наконец, узнаваемая тема льющегося меда...)

Но если Ходасевич и в последней книге верен своему рационализму, в других отношениях он от классической поэтики отходит: неслучайно «Жив Бог!..» соседствует в «Европейской ночи» с «Петербургом», со знаменитыми строками о «советском дичке», и с «Весенний лепет не разнежит...»: признанием в любви к «какофоническим мирам». Вейдле подчеркивает даже чисто ритмическое и эвфоническое изменение поэзии Ходасевича в 1922—1923 годах: «Стих становится несравненно более судорожным, порывистым, появляются захватывающие дух ускорения ритма, нагнетания прилагательных и глаголов, ранее невозможные»¹.

Стих и голос напрягаются до предела: «каждый стих гоня сквозь прозу», поэт стремится достичь — и достигает — *трудной* гармонии.

¹ Вейдле В. Поэзия Ходасевича // Современные записки. 1928. Кн. XXXIV. С. 463.

В Париже Ходасевич и Берберова провели три с половиной месяца. В июле 1924-го их пригласила в гости двоюродная сестра Нины, Наталья Михайловна Кук, с 1915 года жившая с мужем у него на родине, в Северной Ирландии.

Тридцать первого июля, получив британскую визу, Ходасевич и Берберова отправились в Лондон, где встретились, довольно холодно, с временно находившейся там Валентиной Ходасевич, а оттуда — в городок Холивуд, в окрестностях Белфаста, куда прибыли 2 августа. Там они прожили более полутора месяцев — до 26 сентября, на — как писал Ходасевич Анне Ивановне — «подножном корме». В письме Гершензону от 6 августа он так описывает свое здешнее житье-бытье: «Дом — огромный, на краю маленького приморского городка. Большой сад, много комнат, крахмальные салфетки, автомобиль, к обеду люди переодеваются. Из окна — залив и невысокие горы, немножко похоже на Крым возле Феодосии. Тихо до странности, очень зелено, поминутно то дождь, то солнце»¹.

С Ирландией познакомиться Ходасевичу не удалось — «по незнанию языка и отсутствию гида», как писал он во второй половине августа Горькому. К тому же большая часть острова с 1921 года стала независимым государством, в которое требовалась особая виза. Впрочем, Владислав Фелицианович сумел таки завести здесь одно литературное знакомство, причем важное — с Джеймсом Стивенсом, довольно крупным поэтом и прозаиком, а также известным гимнастом и активистом знаменитой националистической организации Шинн Фейн. 14 сентября Ходасевич в очередном письме спрашивает Горького, не подойдут ли для «Беседы» прозаические произведения Стивенса — «мистико-фантастические повести (очень кельтские)» и воспоминания о пасхальном восстании 1916 года. От Стивенса он мог услышать имена Уильяма Батлера Йейтса и Джеймса Джойса (с последним Стивенса связывала близкая дружба); но их разговор шел либо через переводчика, либо на том французском, на котором в состоянии были изъясняться собеседники, и едва ли он был особенно содержательным.

Самым сильным впечатлением Ходасевича от Ирландии стало посещение верфей Белфаста — вторых по величине в мире. Эти верфи были описаны им несколько месяцев спустя в очерке «Бельфаст», напечатанном 25 мая 1925 года в «Последних новостях»:

«Это целый город: в нем свои улицы, свои рельсы, по которым ползут поезда вагонов и вагонеток. Поразительно в нем

¹ De Visu 1993 № 5/6 С 34

разнообразие строений: кирпичные, каменные, деревянные, приземистые и низкие, то лишенные окон, то вовсе как бы стеклянные — все они резко разнятся друг от друга и внутри, и снаружи. Поразителен грандиозный размах и замысел этого города, похожего на самостоятельную республику. Здесь есть все нужное для ее своеобразной жизни, и все вырабатывается тут же. Здесь — свои мастерские, вырабатывающие все детали судов, от железных балок и скреп до фасонистых кресел и курительных столиков красного дерева. И в соответствии с разнообразием заданий — разнообразно, пестро, причудливо высятся разноликие здания, разнофасонные, высокие, низкие, толстые, тонкие трубы, выпускающие то дым, то пар, безмолвные и пыхтящие, свистящие и посапывающие. Лес труб, толпы каких-то башен и вышек, то каменных, то железных, то сплошных, то сквозных, точно сплетенных из проволоки. За ними и между ними — подъемные краны, лебедки, мосты, приземистые сараи, и снова какие-то башни, вышки, стеклянные купола и железные конуса. А где-то вдали — гигантские кубы лесов, окружающих строящиеся корабли, и оттуда — какой-то певучий металлический звон и жужжание.

О, бедные российские воспеватели горна и молота! Они славословят царевкокшайскую комячейку, которая в сотрудничестве с комсомолом, укомом и исполкомом в каких-нибудь три воскресника коллективно сконструировала две пары клещей и вычистила полфунта ржавых гвоздей! Они и во сне не видывали такой работы, как здесь, на полуумершей бельфастской верфи! О, скорбноглавые российские футуристы и урбанисты — единственный контингент, навербованный воистину «от сохи»! Что видали они, кроме тихого Замоскворечья да идиллической речки Смородинки, той самой, у которой Илья Муромец сиднем сидел тридцать три года!»

Этот последний абзац стал впоследствии одной из причин разрыва Ходасевича с Горьким. Пока этот разрыв ничто не предвещало. Писатели активно переписывались, и Горький вновь и вновь звал Ходасевича и Берберову в Сорренто. Ходасевич ответил, что приехать-то он рад, но лишь в случае, если Горький приютит их с Ниной у себя на вилле: денег на гостиницу нет и заработать их в Италии негде. Получив положительный ответ, по окончании срока «санаторной» жизни в Белфасте Владислав Фелицианович и Нина Николаевна, проведя шесть дней в Париже по паспортным делам и полтора дня в Риме, где они встретились с Павлом Муратовым и разминулись с Вячеславом Ивановым, 8 октября 1924 года прибыли в Сорренто.

Горького они застали в момент, когда будущий «пролетарский классик» был в СССР «на положении человека опально-

го». Эпопея с псевдоразрешением «Беседы» была в самом разгаре. Троцкий в одной из речей прямо назвал Горького «контрреволюционером»; ставки самого Троцкого были, правда, уже не так высоки — он явно проигрывал во внутривнутрипартийной борьбе, но победивший триумвират включал прямых горьковских врагов, Зиновьева и Каменева (а с третьим членом его, Сталиным, у Горького не было вражды, но не было и дружбы; да и вообще в тот период Сталин был еще «темной лошадкой»). Из кремлевских насельников с Горьким переписывался только Рыков. И все же Горький с каждым месяцем все меньше был готов к полному разрыву с Москвой. При появлении у него в доме гостей из СССР, дипломатов и знатных иностранцев он с более или менее деланным энтузиазмом говорил о советских делах и свершениях. В обществе Ходасевича Алексей Максимович был более откровенен, не боялся поругивать «наших олухов». Вместе с Ходасевичем и Берберовой Горький и его домашние выпускали рисованный юмористический журнал «Соррентийская правда», пародировавший и советскую, и эмигрантскую прессу. Как вспоминал Ходасевич, «сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором — ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот — Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлеклся изобличением его проделок»¹. Среди опубликованных в этом домашнем самиздате произведений — стихотворное сочинение Горького «Мечта о мировом уюте», где были, между прочим, такие строки (написанные под маской «беспартийного Т. Опарина»):

Всем тесно на своих местах;
Один в Бутырки крепко сел,
Другой давно сидит в Крестах
(За то, что красен или бел).

Но как создать для всех уют,
Сие одной Москве видней.
Вот почему отсюда шлюют
Одних — в Нарым, других в Сидней...²

Забавам, однако, подходил конец. В Сорренто все чаще навещивалась Екатерина Пешкова. В СССР заманивали Максима Пешкова, соблазняя его службой... на Лубянке. Добродушный

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 170.

² Цит. по: Потаенная литература: Исследования и материалы. Иваново, 2000. С. 142.

и не лишенный способностей, но до крайности легкомысленный вечный юноша, которого «по-настоящему увлекали... лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма»¹, несколько стыдился своей соррентийской праздности и готов был принять предложение. Кремлю нужен был, конечно, не Максим, а его отец, которого таким образом хотели выманить из Италии. Тем временем Екатерина Павловна из Сорренто направлялась в Прагу — по заданию Кремля она должна была обрабатывать колеблющуюся часть эмигрантов, внушая им «возвращенческие» настроения. Как раз подходил к концу трехлетний срок, на который формально были высланы в 1922 году антибольшевистски настроенные интеллектуалы: если бы кто-то из них начал ходатайствовать о въезде в СССР, это внесло бы раскол и разброд в ряды эмиграции. Общая цель была неизменна: часть «бывших», нужную в практических целях, перекупить или *перековать*, остальных уничтожить; но тактика все время менялась.

Быть свидетелем, а отчасти и невольным участником этих игр Ходасевичу не нравилось. Но это смягчалось милой соррентийской обстановкой, всякого рода невинными дурачествами, в которых участвовал и сам Дука, наездами старых друзей и знакомых — Муратова, Валентины Ходасевич. Единственной альтернативой был Париж, но ехать туда Ходасевич побаивался, точнее, стремился оттянуть отъезд до последнего дня. Как писал он 17 декабря 1924 года Гершензону, «“Русский” Париж... все безнадежнее погружает в чистейшем черносотенстве. Уже весной я пришелся там не весьма ко двору. Что же будет теперь, когда Н. А. Бердяев официально объединился с Коковцовым и они вместе строят “Сергиевское подворье”? (Сие следует понимать вполне буквально, отнюдь не метафорически.)»². С другой стороны, именно той, теплой, «апельсиновой», дождливой итальянской зимой дверь в СССР перед Ходасевичем и Берберовой захлопнулась окончательно. Произошло это как будто случайно — и неслучайно в то же время.

Среди гостей Горького в Италии был и советский писатель Андрей Соболев. В ходе разговора с ним зашла речь о Семене Родове, о его положении и роли в СССР. Ходасевич уже многое знал о карьере своего бывшего ученика. Став председателем Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), Родов со свойственной ему напористостью вел борьбу за при-

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 367.

² СС-4. Т. 4. С. 481.

вилегии для писателей, объявивших себя пролетарскими и признанных таковыми РАППом, против «эстетической критики», осмеливающейся судить пролетарских писателей по общей шкале. Писатели-«попутчики» и даже мало-мальски неортодоксальные коммунистические редакторы (такие, как Александр Воронский) ненавидели и боялись этого наглого и циничного человека. Сам Ходасевич не забыл его выходку в связи с «Тяжелой лирой». В ответ на рассказы Соболя о нынешней роли Родова Ходасевич вспомнил историю своего знакомства с будущим председателем ВАППа и решил изложить ее в виде статьи.

«Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому. <...> Велико же было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: “Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете”. — “Позвольте, — возразил я, — ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?” — “Но я же вас знаю”, — ответил Горький. — “Нет, Алексей Максимович, это не дело”.

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская “виза” появилась под статьей, напечатанной в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: “Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: ‘Сорренто’”. Я с радостью согласился, и статья “Господин Родов” появилась в “Днях” с этой пометкой¹.

Прими Ходасевич предложение Горького, это могло бы в ту или иную сторону повлиять на дальнейшие события; скорее всего — лишь затянуло бы неизбежную развязку. Ходасевич сделал уже достаточно, чтобы по ту сторону границы к нему относились с подозрением. Теперь он ввязывался во внутрисоветский конфликт, шансов на победу в котором у него было немного.

Статья, напечатанная в «Днях» 22 февраля 1925 года, началась рассуждением о доносах и доносчиках в советской литературе. Ходасевич писал:

«Особое рвение проявили как раз те, кому надо было застраховаться на случай, если обнаружится их не слишком коммунистическое прошлое. И вот печатными и словесными доносами занялись молодые и пожилые люди, за которыми в прошлом числятся такие вещи, как: служба в жандармерии, участие в организации патриотических шествий с портретами Николая II, писание погромных статей в “Земщине” (или “Вече”, не помню), работа в Осваге, работа у Колчака и т. д. и т. д.

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 366.

Так как доносы не прекращаются; так как от них страдает литература, ибо закрываются издательства и журналы; так как страдают оставшиеся в России писатели, более лояльные по отношению к советской власти, чем сами доносчики; так как мне все это надоело, то я решил по мере новых доносов печатно сообщать некоторые сведения об их авторах. Если будут молчать они, то, так и быть, промолчу и я».

Дальше следовала уже известная нам история о студенте-сионисте, ставшем пролетарским поэтом.

В Москве появление статьи произвело эффект разорвавшейся бомбы. Противники Родова постарались максимально использовать разоблачения. Над председателем ВАППа всерьез сгущались тучи, ему грозило исключение из партии. Но Родов мобилизовал всю свою энергию, изобретательность и способность к демагогии. В четвертом номере журнала «Октябрь» было напечатано его письмо в Отдел печати ЦК РКП(б).

Как утверждал Родов, «единственная правда в словах г-на Ходасевича состоит в том, что в свое время я в течение двух лет (1915—1916) состоял членом еврейской студенческой организации «Теховер», которая не была политической партией, но входила в общесионистскую организацию. <...> Но дальше, что ни слово, то у г-на Ходасевича — ложь». Родов уверял, что он, «несмотря на то, что в партию... официально вступил лишь в 1918 году», с апреля 1917-го «стал на точку зрения большевиков и вел усиленную большевистскую агитацию на тогдашних уличных митингах», что, получив службу во Всероссийском земском союзе, вел в его рядах «систематическую большевистскую агитационно-пропагандистскую и организационную работу», что принимал активное участие в октябрьском восстании в Москве, «вместе с моим младшим братом Л. Родовым, теперь закончившим Военную академию красным командиром»¹.

Родов подчеркивал, что «этот период моей работы знают различные товарищи»; подтвердить его слова вызвался один партиец, и это был — примечательное совпадение! — товарищ Александр Владимирович Григорьев, председатель Ассоциации художников революционной России, структуры, во многом параллельной ВАППу². Григорьев, также служивший в 1917 году в Земском союзе, в отдельном письме в правление ВАППа подтвердил, что Родов уже в начале лета 1917-го «активно вы-

¹ Октябрь. 1925. № 4. С. 167.

² А. Григорьев был личностью не столь однозначно одиозной, как С. Родов: у него на родине, в республике Марий Эл, его и сейчас помнят как живописца и культурного деятеля, основателя Козьмодемьянской картинной галереи.

ступал как сторонник большевистской точки зрения», что «в великие октябрьские дни тов. Родов в числе активных борцов за Советскую власть целые дни проводил в качестве большевистского разведчика, санитаря и т. д.»¹ и что поэму «Октябрь» он лично слышал от автора осенью 1917-го в ее окончательном виде.

Были ли все эти утверждения ложью с начала до конца? Многое в них настораживает (даже если оставить за скобками наше естественное желание верить Ходасевичу и не верить малоталантливым советским карьеристам). Например, санитар (а санитаром в октябре 1917-го Родов действительно был, что, собственно, видно из текста его поэмы) — лицо принципиально нейтральное (нельзя быть «санитаром на стороне большевиков»), а служба разведчика — секретная: желательное подтверждение от того, кто посылал данное лицо в разведку. Или книга Родова «Мой сев», в которой нет ни одного революционного стихотворения, но есть стихотворения пламенно-сионистские. По утверждению Родова, она «составлена в конце 1916-го» — но зачем убежденному большевику издавать эту книгу в 1918-м?

Лишь в одном случае не верить Родову и Григорьеву нельзя: они утверждают, что в ноябре—декабре 1917-го Родов был в числе тех лояльных новой власти служащих Всероссийского земского союза, которые сорвали его забастовку, и приведенные ими газетные сообщения полностью это доказывают. Но это имело место уже через несколько недель после переворота. Скорее всего, Родов в эти недели вел двойную игру, стараясь выслужиться перед большевиками и в то же время получить алиби на случай их падения. Докопаться до истины было не так трудно. Но, видимо, у председателя ВАППа нашлись влиятельные покровители и положение свое он сохранил — до поры до времени. В конце концов он был все же снят со всех должностей и переведен на низовую газетную работу в провинции — еще до расформирования ВАППа. Это, впрочем, спасло его от участи многих других руководителей пролетарской словесности: Родов уцелел в 1937 году и дожил до тихой старости.

Зато для Ходасевича эта история имела важные последствия: «Через несколько времени Соболев собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболеву свой советский паспорт, по которому уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболев отдал мне паспорт без

¹ Октябрь. 1925. № 4. С. 170.

пролонгации и сообщил, что секретарь полпредства ему сказал: “Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию”. На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболев был совершенно уверен, что, если бы секретарь приклепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся»¹.

Почему это случилось — только из-за Родова или по совокупности действий Ходасевича? Владислав Фелицианович подозревал, что свою роль сыграл и очерк о Валерии Брюсове, напечатанный в «Современных записках» (1925. Кн. XXIII) и впоследствии вошедший в «Некрополь». Но член коммунистической партии Брюсов не был неприкосновенной особой: он умер если не в опале, то в унижении; попытка Луначарского отметить пятидесятилетний юбилей символика орденом Красного Знамени и званием заслуженного деятеля культуры была пресечена печатным доносом все того же Родова и его присных.

К началу весны 1925 года Ходасевич и Берберова уже не жили по своим советским паспортам. Скорее всего, еще годом раньше в Париже они выправили себе «нансеновские паспорта» (так называлось удостоверение беженца, разработанное в 1922 году под руководством комиссара Лиги Наций по делам беженцев, в прошлом полярного исследователя Фритьофа Нансена). Именно в эти паспорта им и были поставлены итальянские и французские визы². Другими словами, юридически они уже были эмигрантами, но не афишировали этого, пока хотя бы теоретически существовала возможность «обратного хода». С апреля 1925-го такой возможности не стало — наступила определенность. Надо было ехать в Париж и как-то обустроить свою жизнь.

Восемнадцатого апреля Ходасевич и Берберова, истратив последние деньги, выехали из Сорренто. До Рима компанию им составила Валентина Ходасевич. В Риме провели три дня.

Перед самым отъездом из Сорренто, 13 апреля, Ходасевич — впервые за все время пребывания в Италии — съездил в нахо-

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 366—367.

² Жизнь с таким паспортом была сопряжена со множеством житейских неудобств. Не случайно Вячеслав Иванов, не собиравшийся возвращаться в СССР, тем не менее делал всё, чтобы не потерять советского гражданства прежде, чем получит итальянское. В течение двенадцати лет, до 1936 года, он ни разу не напечатался в эмигрантской прессе; у него была такая возможность, его кормили преподавание и научные статьи на иностранных языках.

дившуюся неподалеку Помпею. Об этой поездке он рассказал позднее в очерке «Помпейский ужас», напечатанном в «Последних новостях». Ужас в прямом, грубом, буквальном смысле слова — без малейшего намека на эстетизм, на романтику; ничего похожего на прорыв сквозь жизнь, в инобытие, о котором грезил автор «Тяжелой лиры»:

«Много здесь было публичных домов и кабаков, население крепко любило хорошо поесть, попить, выспаться. И погибла Помпея в час ужина.

Очень грубая, жирная, липкая жизнь перешла в такую же грубую, неблаголепную смерть. И не знаешь, что тягостнее: то ли, что сохранилось получше, или то, что сильнее разрушилось: там явственнее следы душевной жизни, здесь — душевной смерти. Здесь жили и умерли в полутемных, тесных клетушках, без окон, с единственной дверью».

Именно таким оказалось последнее впечатление поэта об Италии.

Утро 22 апреля Ходасевич и Берберова встретили в Париже.

Глава девятая
РУССКИЙ ПАРИЖАНИН

1

В Париже Ходасевич и Берберова, сменив несколько адресов в городе и пригородах, к весне 1926 года осели на улице Ламбларди в доме 14. Скитания закончились, наступила определенность.

Вот как описывает Берберова свои тогдашние ощущения: «Перемен не предвидится. Здесь мы живем теперь и во веки веков будем жить. Измениться ничего не может, — как не может измениться клеймо на наших паспортах»¹.

В случае Ходасевича так все и было. До конца жизни ему уже никуда не пришлось уезжать из Парижа. Разве что в летнее время в недорогие загородные пансионы в окрестностях города, в Версале или в Мёдоне, а в удачные, денежные годы (1927, 1928, 1930) — на Ривьеру.

А вот каков был каждодневный быт:

«Я не могу оставить Ходасевича больше чем на час: он может выброситься в окно, может открыть газ. Я не могу пойти учиться — на это прежде всего нет денег. Я думаю о том, что не в Сорбонну мне надо идти, а стать линотиписткой, наборщицей, научиться работать в типографии, но я не могу бросить его одного в квартире. Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию “Дней”. Возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в “Ротонде”»².

Почему Ходасевич был в таком неуравновешенном, сумрачном состоянии? Нищета не была ему внове; статус эмигранта был все же лучше той двусмысленной неопределенности, которая сопровождала его последние годы. Но слишком со многими и со многими ему приходилось расстаться навсегда.

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 263.

² Там же.

Первое время парижской жизни Ходасевич продолжал переписку с Горьким, но уже в августе наступил разрыв. Даже не разрыв, собственно: просто дружба сама собой прекратилась и почти сразу же перешла в жесткую отчужденность. Поводов было два.

Один — внешне вовсе ничтожный: недовольство Горького очерком Ходасевича о Белфасте и его верфи. 20 июля 1925 года Алексей Максимович писал Ходасевичу: «...несправедливо ставить это “учреждение” в упрек сов. власти. Германия, Франция технически богаче России, но Бельфаста и у них ведь нет. Это — нечто исключительное, верфь Бельфаста. Да и вообще несправедливо упрекать Москву в безделье — там работают и учатся работать»¹. 7 августа Ходасевич отвечает: «Я не о *сделанном* писал, а о *делании*. О воле к работе, которой в России нет. <...> От прожектерства до работы — не один шаг». На это Горький ответил 13 августа уже совсем сердито: «Я, конечно, не соглашусь, дорогой В<ладислав> Ф<елицианович>, с тем, что в России ныне (?) “нет воли к работе”, как Вы это утверждаете. Воли к работе у нас больше, чем где-либо в современной Европе; тут можно говорить и спорить не о наличии воли, а о наличии умения работать. <...> Думаю, что и осуждать людей за недостаток “воли к работе” Вам не следует, ведь это воля творящая, “прогресс”, а Вы, по Вашему же заявлению, не принадлежите к числу “любителей прогресса”»².

Горький имел в виду самую острую размолвку с Ходасевичем, которая до сих пор у него была: признание поэта в нелюбви к прогрессу однажды вывело Алексея Максимовича из равновесия так же, как готовность Марии Андреевой расстрелявать идейных противников. Сейчас Горький был задет суждениями Ходасевича о «воле к работе», как был бы задет верующий христианин, если бы его приятель-атеист принял публично судить о чужом благочестии и святости. Был и другой аспект: Горькому показалось, что Ходасевич статьей о североирландской верфи «поторопился заявить перед эмиграцией о своем благомыслии»³. В свою очередь, для Ходасевича ответ Горького стал еще одним подтверждением готовности писателя «на похабный мир, заключаемый по программе Мары (Будберг. — В. Ш.): пока можно тянуть — жить за границей, а средства для жизни получать из России»⁴.

Это было связано с другой, куда более важной коллизией, обсуждавшейся в этих же письмах. После прекращения изда-

¹ Новый журнал. 1952. № 31. С. 203.

² Там же. С. 204.

³ Горький М. Полное собрание сочинений: В 24 т. М., 1977. Т. 5. С. 694.

⁴ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 373.

ния «Беседы» и одновременного закрытия в Ленинграде «Русского современника», членом редколлегии которого Горький формально состоял, Ионов неожиданно предложил ему выпустить обновленную «Беседу» в Ленинграде, в Госиздате. Горький сообщил об этом Ходасевичу в том же письме от 20 июля. Реакция Ходасевича на это известие (в письме от 7 августа) была следующей:

«Вы говорите: “Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит”. — Напротив, *уже* ставит, и условие колоссального значения: печатать в Петербурге. Да ведь это же значит: “под цензурой!!!” Невозможно закрывать глаза на то обстоятельство, что подцензурная петербургская “Беседа” отнюдь не сможет почитаться продолжением свободной берлинской, ибо берлинская, как ни была смирна, — делала это добровольно. — И даже “журналом типа ‘Беседы’” предполагаемый журнал не будет, ибо самым “типичным” в “Беседе” было то, что над ней не было городского.

Умоляю Вас — будьте как можно осторожнее. Ставить людей в неловкое положение по отношению к товарищам — постоянная (и очень умная) тактика большевиков. А если Вы, один из редакторов закрытого *ими* “Русского современника”, согласитесь редактировать *их* новый журнал без бывших товарищей по редакции, то в какое положение поставите Вы себя перед Тихоновым, Замятиным, Чуковским и Эфросом? Вот мне и думается, что Вы можете согласиться только на одно из двух: или — на издание “Беседы” в Берлине, без малейшего контроля над рукописями, или — на возобновление в Петербурге “Русского современника” при прежнем составе редакции, но с любыми добавлениями, — например, с научным отделом. — Признаюсь, я думаю, что они не согласятся ни на то, ни на другое. Но — можете ли Вы согласиться на третье?»¹

Горький ответил, что «Русский современник» тоже возобновляется, что вся беллетристика будет отныне там, а «Беседа» станет «журналом критики и науки». И то и другое осталось, как и предполагал Владислав Фелицианович, пустыми посулами. Горький обманывал себя, чтобы облегчить себе неизбежный компромисс. Как далеко этот компромисс зайдет, под какими текстами будет стоять горьковская подпись — в 1925 году этого Ходасевич себе и представить не мог. Понимал он одно: если бы «Беседа» в самом деле стала издаваться в Петербурге (как по-прежнему называл город не только сам поэт, но и Горький в письмах к нему), если бы «Русский современник» возродился — все равно автору статьи «Господин Родов» и ряда дру-

¹ СС-4. Т. 4. С. 488.

гих, столь же крамольных текстов, написанных с ведома, одобрения, а иногда и по прямой наводке Горького, места в этих журналах уже не было бы.

В этих условиях Ходасевич делает свой выбор: «протрадав несколько дней», решает на письмо от 13 августа 1925 года Горькому не отвечать. «На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна»¹. Впрочем, и Ходасевичу продолжающиеся дружеские отношения с Горьким мешали бы обустроиться в эмигрантском Париже.

Прекращение дружбы обошлось без резкостей и взаимных выпадов, но обида осталась — во всяком случае, со стороны Горького. Ко второй половине 1925 года относится его дневниковая запись со следующей жесткой характеристикой Ходасевича:

«Странный человек. Умен, но есть в нем жалкая торопливость заявить о своем уме всему живущему, даже мухам. Талантливо, трогательно сочиняет очень хорошие стихи, весьма искусно соединяя в них Бодлера с Верленом. Но основным ремеслом своим сделал злое слово и весьма изощрился в этом. <...>

Убежден, что реальный мир ему, символисту по должности, враждебен и противен, но очень высоко ценит маленькие удобства и удовольствия мира сего.

Вне поисков цветов зла ум его ленив. В оценке людей и явлений жизни — беззаботен, тороплив, и часто беззаботность граничит у него с обывательским невежеством»².

Эта несправедливая, пристрастная характеристика человека, перед которым Горький еще недавно преклонялся, основана тем не менее на знании и понимании некоторых действительно уязвимых особенностей личности Ходасевича. Очень похожие вещи писал о Ходасевиче Андрей Белый, чья обида и злость тоже родились из перекипевшей «конкретной любви». Любовь самого Ходасевича к Белому при этом оставалась неизменной; в каком-то смысле, несмотря на злые слова, которые приходилось ему позднее говорить и писать, сохранилось у него и теплое чувство к Горькому.

Постепенно прерывается и эпистолярное общение со знаковыми в России. Их становится все меньше. В 1925 году умер Гершензон, в том же году пришел ложный слух о смерти Бориса Садовского. В 1925—1926 годах Ходасевич еще обменялся

¹ Ходасевич В. Горький // СС-4. Т. 4. С. 373—374.

² Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 567.

несколькими письмами с Борисом Диатроптовым, с Идой Наппельбаум и ее мужем Михаилом Фроманом, наконец, с Анной Ивановной, по-прежнему безденежной, больной и несчастной. 24 апреля 1925 года, сразу же по прибытии в Париж, он пишет ей: «Милая Анюта, меня угнетает твое нездоровье, но я совершенно беспомощен. Сейчас у меня в кармане 25 франков, т. е. меньше 2½ червонцев. Мне самому в Париже будет так трудно, что я и не знаю, как буду зарабатывать. Заработков нет никаких. <...> Однако буду посылать тебе книги, как обещал. Не думай, Бога ради, что я не хочу тебе помочь»¹. Все же бывшая жена помнит и о литературных делах мужа, просит присылать стихи, поздравляет Владислава Фелициановича с юбилеем — двадцатилетием первой публикации. Но в следующем году Ходасевич уже не рискует писать Анне Ивановне от своего имени. Три последних письма посланы с чужого адреса и за подписью В. Медведев («мышь» должна была понять, кто это такой). Третье письмо для пушей конспирации вообще адресовано «Соне» (то есть Софье Бекетовой). Ходасевич по-прежнему, теперь уже под маской, проявляет заботу о бывшей жене, беспокоится о получении Анной Ивановной каких-то причитающихся ему денег «из Союза» (вероятно, старых гонораров), пытается переслать ей подарок («что-нибудь из обуви» — но оказывается, что «теперь у Вас такие пошлости, что послать невозможно»²). О «Вашем бывшем муже» В. Медведев пишет в третьем лице — и настойчиво дает понять не всегда понятливой Анне Ивановне: «По-моему, Вам не стоит к нему ни с чем обращаться. Это, извините за откровенность, тип отпетый. Если что нужно, пишите мне»³.

Но и такая переписка заглохла: «занавес» становился все более непроницаемым. О дальнейшей судьбе друг друга бывшие супруги почти ничего не знали. О жизни Анны Ивановны Ходасевич и мы знаем мало. В начале 1930-х у нее был роман с каким-то человеком намного ее моложе, которого через некоторое время арестовали и посадили. Эдгар Гренцион стал актером, детское имя Гаррик стало его сценическим псевдонимом⁴. Дважды он снимался в кино: в «Петре I» (1938, в роли Карла XII) и в «Героях Шипки» (1954). Умер он от рака предположительно в 1957 году. Анна Ивановна пережила сына, ее не стало в 1964 году. В последние годы жизни она подрабатывала, перепечатывая за деньги стихи Ходасевича с хранившихся у нее рукописей.

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 52.

² Там же. Ед. хр. 124. Л. 2.

³ Там же.

⁴ Намек на знаменитого английского актера Дэвида Гаррика (1717—1779).

В Париже в 1925—1926 годах Ходасевич писал много — и главным образом не стихи.

«Для себя» он начал повесть и даже получил за нее аванс от «Современных записок». Судя по письмам автора знакомым и по фрагменту, напечатанному в «Возрождении» в 1931 году (14 апреля), этот замысел отпочковался от очерка о Брюсове; прототипами главных героев — писателя Гомборова, редактора журнала «Меркурий», и милой провинциалки Сонечки Мамоновой — были Валерий Брюсов и Надя Львова. Однако вокруг главного сюжета наслаивались боковые: Ходасевич задумал произведение, в котором отразились бы не только его воспоминания о символистском мире, но и существовавший в его сознании образ предвоенной России. Как будто он хотел бросить вызов Горькому, прозаику-реалисту, страстно мечтавшему написать за жизнь хотя бы одно по-настоящему хорошее стихотворение, да так и не написавшему, причем — на его же собственной территории:

«Человек хоронит отца, через погребальную контору Быстрова, за восемьдесят рублей — и все очень прилично. А через два года, когда приходится хоронить мать, тот же Быстров за такой же гроб, такие же свечи, дроги и прочее берет уже девяносто. Помилуйте, с какой стати? А с такой стати, что человек, ну, скажем, помощник податного инспектора Копылов, от похорон отца до похорон матери жил два года, нисколько не думая ни о Быстрове, ни об Александрове, даже едва замечая их просторные витрины, сияющие такою важною, такою непреодолимою красотой гробов. А меж тем съезд пчеловодов поднял цены на воск, и оттого вздорожали свечи; вздорожала парча, вздорожали шнуры и кисти, потому что с канительницами нет никакого сладу; овес — и тот вздорожал»¹.

Все это очень мало походит на прозу поэта — очень обстоятельно, солидно, с обязательной темой «маленького человека». Неудивительно, что работа не была доведена до конца: она противоречила писательской органике Ходасевича.

Для заработка он писал статьи в «Последние новости», «Современные записки», но особенно часто — в «Дни», которые с сентября 1925 года переехали в Париж и приняли Владислава Фелициановича в число своих постоянных сотрудников. Всего за два года в русских изданиях было напечатано около тридцати пяти его статей — и под своим именем, и за подписями Ф. Маслов, Ф. М., Г. Р. Писать приходилось на самые разные

¹ Ходасевич В. Из неоконченной повести // СС-4. Т. 3. С. 47.

темы: о подложности завещания патриарха Тихона; о воспоминаниях охранников Ленина в Горках; о записках немца-опричника, посвященных Москве времен Ивана Грозного; по поводу обвинений в коррупции, выдвигавшихся против Льва Каменева и его жены в связи со сбором средств в помощь голодающим в 1921 году, и предполагаемого уничтожения свидетелей их махинаций; об авторстве стихотворения, приписывавшегося одной из дочерей Николая П...

Из этих разномастных публикаций наибольший интерес представляет, пожалуй, фельетон «Чужие слова» (Дни. 1925. № 804. 14 сентября), в котором Ф. Маслов проявляет неожиданный талант тонкого наблюдателя-абсурдиста, фиксируя пленительную бессмыслицу и пошлость обычной болтовни и в то же время обаятельный гротеск уличной парижской жизни:

«На Плас Пигаль. Светает. Кое-где еще слышна музыка. На тротуарах — запоздалые проститутки. Несколько негров расходятся по домам. У подъездов стоят цинковые ящики с мусором. В одном, поверх всякой дряни, лежит вчерашний букет, не вполне увядший. Негр подходит, роется, отрывает красную розу, продевает ее в петлицу и идет дальше».

Но разумеется, главный интерес представляют статьи литературного содержания. Программный характер носит статья «Там или здесь?», напечатанная в «Днях» за 18 сентября (№ 808). В первый раз Ходасевич пытается определить для себя соотношение «здешней» (эмигрантской) и «тамошней» (советской) литератур; к этой теме он еще не раз вернется. Сейчас он пытается занять позицию «среднюю», объективную.

«Одни предсказывают смерть всему здешнему, другие — тамошнему. <...> И те и другие исходят из довольно правильного положения, что на зараженной почве здоровому растению не быть. Беда в том, что каждая сторона считает свою почву вполне здоровой, а вражескую — насквозь гнилой»¹.

Это — цитата из начала статьи. А вот ее завершение: «Литература русская рассечена надвое. Общим половинам больно, и обе страдают, только здешняя иногда не хочет стонать — из гордости (может быть, ложной). А тамошней и стонать не велено. И бахвалиться им друг перед другом нечем. И высчитывать, какая из них задохнется скорее — не надо, нехорошо. Бог даст — обе выживут»².

Но что же кажется поэту наиболее значительным в словесности по сю и по ту сторону границы? Ходасевич упоминает целый ряд имен: Пастернак, Мандельштам, Есенин, Клюев,

¹ Ходасевич В. Книжки и люди. Этюды о русской литературе. С. 305.

² Там же. С. 309.

Цветаева, Алданов, Муратов... И рядом с ними — такой заурядный автор, как Сергей Сергеев-Ценский. Ходасевич отмечает «дарования» Леонида Леонова и Константина Федина. Зато Исаак Бабель, Всеволод Иванов, Борис Пильняк оказываются у него в ряду «посредственностей» — наряду с Николаем Асеевым и Лидией Сейфуллиной. По мнению Ходасевича, «знаменитый Бабель — это третий сорт Горького, приправленный, смотря по сюжету, то Горбуновым, то Юшкевичем». Впрочем, неприятие Бабеля с Владиславом Фелициановичем разделяли многие близкие ему писатели, в том числе и Набоков — так же, как симпатии к Михаилу Зощенко и Юрию Олеше.

В 1926 году во втором выпуске рубрики «Парижский альбом», которую Ходасевич вел в «Днях» (№ 1027. 13 июня), ему пришлось высказаться еще об одном писателе из метрополии — Константине Вагинове. Это первый из множества отзывов Ходасевича об этом авторе, чаще всего — негативных, иногда — сдержанно-хвалебных. Первая книга стихов Вагинова, присланная в Париж Михаилом Фроманом и Идой Наппельбаум, разочаровала Ходасевича. «Хороший ямб» и «хороший язык» Вагинова не могли в глазах Ходасевича искупить «бессмыслицы» его стихов. «Дело поэта именно находить слова для выражения самых сложных и тонких вещей. Мы охотно прощаем ему те отдельные случаи, когда он бессилён выйти победителем в бореньях с трудностью. Но поэт, который *всегда* и *сплошь* оказывается побежден, который *никогда* не находит нужных и подходящих слов — явно берется не за свое дело». Право на то, что он сам называл «заумью», которое Ходасевич признал за Мандельштамом, он не готов был признать за Вагиновым. Зыбкие смысловые ходы, которые он прощал символистам, потому что чувствовал ту скрытую, невысказываемую реальность, которая стояла за их текстами, раздражали его у младших по возрасту поэтов.

Если неприятие вагиновской поэтики было естественным и вытекало из собственного творческого пути Ходасевича, то несколько труднее объяснить его неизменно доброжелательное отношение к творчеству Сергея Есенина, чье самоубийство было «главной сенсацией» литературного сезона 1925—1926 годов. Ходасевич никогда не любил «новокрестьянской» поэзии, из которой Есенин вышел; его, казалось бы, должны были раздражать есенинские эпатажные выходки имажинистского периода, как и «темная», витиеватая стилистика «Инонии» или «Пугачева»; его эстетическое чувство могли оскорблять надрывная банальность и стилистическая приблизительность некоторых поздних стихотворений Есенина — как оскорбляла она чувства акмеистов, особенно Ахматовой, сохранившей беском-

промиссное неприятие личности и поэзии Есенина до конца своей жизни. И тем не менее «искренность» трагически ушедшего из жизни поэта (в которой некоторые современные биографы Есенина и исследователи его жизни сомневаются) перевешивала для него все прочее. В письме Михаилу Фроману в начале 1926 года Ходасевич писал: «Жизнь его была цепью ужасных ошибок — религиозных, общественных, личных. Но одно, самое ценное, всегда было в нем верно: писание было для него не “литературой”, а делом жизни и совести. Перечитывая его стихи, вижу, что он всегда был правдив перед собой — до конца, как и должен, как только и может быть правдив настоящий поэт»¹. В этом же духе говорит Ходасевич о Есенине и в нескольких статьях и очерках, посвященных его памяти².

Симпатии Ходасевича к Есенину могло способствовать обстоятельство, что в статье Юрия Тынянова «Промежуток» к обоим поэтам предъявляются очень сходные претензии: в том, что они «отстают», отказываются от борьбы за обновление поэтического языка. У Ходасевича это «отход на пласт литературной культуры», Есенин же после «Пугачева» (которым Тынянов восхищается) погрузился в мир лирической банальности и начал писать «стихи для легкого чтения». Несомненно, Ходасевич обратил внимание на это соседство: в «Парижском альбоме» он хвалит Есенина за предсмертный «поворот к Пушкину», а в статье «Формализм и формалисты» защищает покойного поэта от представителей этого течения — правда, не от Тынянова, а от Шкловского. Если статья Тынянова в самом деле способствовала известной «солидарности» по отношению к Есенину со стороны Ходасевича, то реакция была взаимной: Есенин в последние дни жизни в разговорах с Вольфом Эрлихом с большой похвалой, даже с восхищением отзывался о некоторых стихотворениях Ходасевича («Звезды», «Елена Кузина»).

Высказывался Ходасевич и о пролетарских писателях — в рецензии на антологию их поэтических произведений, составленную Семеном Родовым (статья «Пролетарские поэты» в «Современных записках», кн. XXVI). Его итоговый диагноз безнадежен: «Когда один годовалый ребенок умеет говорить “папа”, а другой “папа” да еще “мама”, а третий — “папа”, “мама” да еще “няня” — то мы о нем говорим: ишь, какой молодчина! <...> Пока пролетарцы числились в учениках — можно было среди них различать более или менее одаренных. <...> Но те-

¹ СС-4. Т. 4. С. 496.

² См.: Парижский альбом. Вып. I // Дни. 1926. № 1019. 30 мая; О Есенине // Возрождение. 1936. 9 января; Есенин // Некрополь. Брюссель, 1939.

перь, когда школьники заявляют себя учителями, когда под их классными упражнениями значится не “Иванов Павел” и не “Сидоров Петр”, а “писатель такой-то”, — кончено: микрометрические приемы оценки к ним больше не применимы. Как художники законченные и даже претендующие на поэтическую гегемонию — все пролетарские поэты... ничтожны повально и одинаково». В том же духе отзывается Ходасевич о поэме Василия Казина «Лисья шуба и любовь» (Дни. 10 января) и о литературной деятельности Дмитрия Фурманова, некролог которому (Дни. 28 марта) заканчивается так: «Он умер чиновником, о котором не вспомнят, и писателем, которого никому не придет в голову перечитывать». Тут Ходасевич, как мы знаем, ошибся: недооценил роль «внелитературных факторов» в российской словесности XX века.

К этому стоит добавить обзоры советских журналов, которые Ходасевич эпизодически публиковал в «Днях», подписываясь псевдонимом Ф. Маслов; позднее такие же обзоры он будет регулярно вести на страницах другой газеты. Так получилось, что Ходасевич с самого начала в большей мере, чем многие другие эмигрантские писатели и критики, следил за литературным процессом по ту сторону границы. Остро ощущая мучительную расколотость русской литературы, он по-своему пытался ее преодолеть; но это не означало в его случае ни самоуничтожительного заискивания перед словесностью метрополии, ни стремления к политическому «наведению мостов». Чего стоит это наведение, кем и с какой целью оно инспирируется — это Владислав Фелицианович хорошо понял еще в Сорренто. У него не было надежд на «отрезвление» Москвы, на «новый культурный НЭП¹», которые возникали у самых разных людей — от Юлия Айхенвальда, Михаила Осоргина, Екатерины Кусковой до сменовеховцев. Информацию, полученную в неофициальном порядке от Горького, он не считал нужным скрывать. В 1926 году Ходасевич написал статью «К истории возвращенчества», посвященную разоблачению «миссии Пешковой» и оставшуюся неопубликованной.

Позиция Ходасевича была обоснованной, и последующие события вполне подтвердили его правоту. И все же в той ярости, с которой он боролся в 1925—1926 годах с большевизанскими настроениями части эмигрантов, было что-то чрезмерное. Вот характерное место из его письма историку Михаилу Карповичу от 7 апреля 1926 года:

¹ НЭп в экономике 1925—1926 годов еще продолжался; его аналогом в культурной политике считались 1922—1923 годы, время расцвета частного книгоиздательства, в том числе «полузарубежного».

«Помочь русскому народу, работая с большевиками, нельзя, ибо они сами “работают” ему во вред. Всякое сотрудничество с советской властью — по существу, направлено *против* русского народа. Всякая поддержка большевиков есть поддержка мучителей этого народа. Крошечная польза, которая в некоторых случаях могла бы при этом получиться для народа, — буквально крошечная: она дойдет до него в виде крошек с коммунистического стола. Ею голодные не насытятся, а сытые разжиреют»¹.

Это пишет человек, который еще пять лет назад сам деятельно сотрудничал с большевиками, который в годы красного террора был «в конце концов привержен Совдепии», занимал какой-никакой административный пост, бывал в Кремле; который в Германии сидел за одним столом и дружески беседовал с членом политбюро; который еще в конце 1923 года в письмах подчеркивал свою лояльность Кремлю. Слишком легко обвинить его в ренегатстве, в приспособлении к эмигрантским обстоятельствам, в стремлении стать святое папы римского, да еще, пожалуй, припомнить его родство с Яковом Брафманом, так горячо боровавшимся со своей прежней верой.

На самом деле резкая перемена позиции Ходасевича объяснялась очень нетривиально. В письме тому же Карповичу от 10 июля 1926 года есть примечательные слова: «Говорю не о Ч.-К. и всяких *кровавых* ужасах, которые — в прошлом и с этой точки зрения простить их можно. Говорю о *нынешней* России. <...> РСФСР 1922 года и эпохи “военного коммунизма” — либеральнейшая страна в сравнении с СССР 1926 года»². На первый взгляд это звучит странно: в 1926-м, в отличие от 1918 и 1922 годов, массовых казней не было и жизнь обывателя была не в пример комфортнее, чем во время Гражданской войны. Да и возможностей для литературной жизни, несмотря на все цензурные препоны, было все-таки не меньше, чем в дни бумажного дефицита. Но не забудем: Ходасевич был «правым» в эстетике, но «левым» в политике; не любя прогресса, он любил революцию, в которой видел прорыв жизненной ткани, выход в инобытие, в пространство абсолютной свободы — тот самый прорыв, к которому он стремился в своих стихах. Большевиков он осуждал не за революцию, а за ее предательство. Для многих сторонников большевизма это предательство было связано с победой Сталина над Троцким, но для Ходасевича уже и Троцкий воплощал мешанское, политиканское начало, поглотившее

¹ СС-4. Т. 4. С. 498.

² Письма В. Ф. Ходасевича М. М. Карповичу / Публ. Дж. Малмстада, Р. Хьюза // Oxford Slavonic Papers. Vol. XIX. P. 150—151.

революционный взрыв. И чем дальше уходил в прошлое этот взрыв, тем острее он ощущал рабство и уродство советской жизни, тем меньше готов был прощать коммунистам. Кровавые эксцессы времен Гражданской войны — прощал, рутинную, чиновничью несвободу мирного времени — нет.

Но при этом он волею вещей оказывался в одном лагере с людьми, которые были врагами революции изначально. Вместо одной мучительной ситуации возникала другая. И отсюда — та неприязнь, которую Ходасевич со всей страстностью своей природы испытывал к тем, для кого, как казалось ему, этих мучений и вовсе не было, кто легко менял станы и служил двум господам.

Для Ходасевича этот тип человека воплощал Илья Эренбург.

Уже в письме Горькому от 28 июня 1923 года Ходасевич язвительно пишет об этом писателе: «Сегодня вышел со мной анекдот. Я стал рассказывать одному человеку, как должен писать о самоубийстве на любовной почве “писатель”, желающий продать свое произведение в “Круг”¹. Герой самоубивается от любви. Тема не новая. Кто же герой? Он не может быть коммунист, ибо коммунист “стоит на страже”, а не стреляется из-за юбки. Он не белогвардеец, ибо нельзя занимать читателя сантиментами буржуазных сынков. Следовательно, — он нечто среднее (но *обладающее правами на ношение оружия*), т. е. получекист, полуконтрразведчик. Но тут меня перебили. Оказалось, что я рассказываю эренбурговский роман “Жизнь и гибель Николая Курбова”, которого, ей-Богу, не читал. Впрочем, эдакий чекист из бывших поручиков стал бессмысленным героем всей пильняческой словесности. <...> Но беда в том, что и автору приходится быть такою же смесью. Раньше такие лица звались провокаторами»².

В 1925 году у Ходасевича с Эренбургом происходит прямой конфликт. 27 сентября в «Днях» появилась статья Ходасевича «Вместо рецензии». Поводом для нее послужил следующий факт: при публикации романа Эренбурга «Рвач» была допущена опечатка и крайне отрицательный эпизодический персонаж, сахарозаводчик Гумилев, в одном месте был назван «Гумилёв». Ходасевич по этому поводу пишет:

«Вся эта выходка ставит И. Эренбурга и его произведение вне критики. С ней может сравниться разве только выходка известного “полу-милорда” Воронцова, о котором Пушкин написал стихи “Сказали раз царю...”. Но Воронцов не был писателем.

¹ Альманах Издательства писателей в Москве; выходил в 1922—1923 годах.

² СС-4. Т. 4. С. 460—461.

Надо указать, что у Эренбурга фамилия хама только при *первом* упоминании напечатана: Гумилёв. Далее, на двух страницах, идет Гумилов. Но разница между “Гумилёв” и “Гумилов” столь ничтожна, что если здесь и “опечатка”, то вполне намеренная и даже остроумная: ее цель — отчетливей подчеркнуть сходство (а в сущности — почти тождество) фамилий и тем вернее заслужить автору высочайшую улыбку убийц.

Эренбург ответил Ходасевичу на страницах газеты «Парижский вестник» (№ 127): «Я не знаю, бывают ли намеренные опечатки, но намеренная неправда — прием достаточно распространенный. Обидно только узнать, что к нему прибегает подлинный поэт». Дальше Эренбург напоминает Ходасевичу, что в свое время на страницах берлинского журнала «Русская книга» он «ясно и без обиняков» выразил свое отношение «к трагической кончине Н. С. Гумилёва».

Однако советская пресса не дала Эренбургу возможности с достоинством дезавуировать и в самом деле сомнительное обвинение Ходасевича. 13 октября 1925 года в ленинградском журнале «Жизнь искусства» (№ 41) была напечатана анонимная глумливая заметка:

«Влад. Ходасевич раз навсегда стал непременным черносоптенцем и глашатаем самодержавия. Сей муж в одном из последних номеров газеты “Дни” беззубо злорадствует по адресу известного писателя Эренбурга по поводу его новой книги “Рвач”. В чем дело? Оказывается, Эренбург одному из героев нового романа, сахарозаводчику, дал фамилию Гумилёв. Конечно, это все не по душе монархисту Ходасевичу. Ведь Гумилёв тоже был белогвардейцем! Бедный Эренбург! Что будет с Вами, если Вы в одном из своих романов одному из героев, такому же подлецу, контрреволюционеру и проходимцу, по типу сахарозаводчика Гумилёва, дадите фамилию В. Ходасевич? Очевидно, поэт Ходасевич решил никогда не вступать (*sic!* — В. Ш.) на территорию СССР. Тем и лучше. В нашей стране нет места подобным шарлатанам и негодьям».

Эренбург оказался в идиотском положении. Ходасевичу в очередной заметке «*Pro domo sua*»¹ (Дни. № 854. 15 ноября) оставалось лишь отметить, что «друзья Эренбурга посмотрели на его поступок с памятью Гумилёва именно как я», да еще припомнить сложные изгибы идейной биографии автора «Рвача», который успел побывать и пламенным католиком, и белогвардейским публицистом², — а коли так, «чего стоит ссылка на

¹ В свою защиту, «за свой дом» (*лат.*).

² О юношеском большевизме Ильи Лохматого и его дружбе с Надеей Львовой Ходасевич не знал.

журнал 1921 года», в котором Эренбург высказывается о расстреле Гумилёва? Финал же заметки звучит особенно издевательски: «Да, “очевидно, поэт Ходасевич решил никогда не вступать на территорию СССР”. Это правильное открытие. Но он искренне желает, чтобы “Жизни искусств” удалось, наконец, как-нибудь заманить на территорию СССР тех писателей, которые патриотически восхищаются советской республикой — а сами живут за границей».

Пятнадцатого декабря в «Жизни искусства» появился еще один текст, подписанный Г. А. (инициалы Гайка Адонца, редактора еженедельника) и названный «Ходасевич, Адамович, Иванов и К°»:

«Два года тому назад я обвинял группу поэтов Г. Иванова, Адамовича, Оцуа и др., которые, выехав из СССР по командировкам за границу, стали там проповедовать антисоветизм. <...> Вскоре к ним присоединился и Владислав Ходасевич. Впоследствии все они перешли в ряды черной реакции, под крылышко Куприных, Буниных, Арцыбашевых, Чириковых и К°. <...> А помните ли, гражданин Ходасевич, как вы в политпросвете уверяли, что вы — настоящий коммунист, хоть и не имеете партийного билета, что вы ведете рабочие лит. кружки, что вы — вернейший гражданин СССР? И благодаря вашему шулерству вы числились в Доме Искусств на правах нахлебника, получая помещение, освещение, пайки в годы голода и холода».

Возможно, Адонц или его консультанты из Иностранного отдела ОГПУ рассчитывали этими разоблачениями усложнить эмигрантскую жизнь Ходасевича. Однако никакого воздействия они не оказали: слишком многим было известно, что комната в ДИСКе и академический паек были не теми благами, за которые приходилось расплачиваться громогласными изъявлениями лояльности. Так или иначе, разрыв Ходасевича с Советами был теперь оформлен документально. Уже через некоторое время Ходасевич стал в глазах московских властей не просто белоэмигрантом, а одним из особо злостных и враждебных. Ольге Форш, которая в 1926 году в свой приезд в Париж поначалу дружески общалась с Владиславом и Ниной, через некоторое время в советском консульстве объяснили: с Ремизовым и Бердяевым встречаться, так уж и быть, можно, но с Ходасевичем — нет. Абрам Эфрос в сентябре 1927-го, встретив Ходасевича в парижском книжном магазине, предпочел его «не узнать» — и это стало поводом для печального «Письма», напечатанного 29 сентября в «Возрождении»: «Я принадлежу к числу “запретных” — и слава Богу: для меня было бы ужасно значиться в числе тех, встречи с которыми ГПУ разрешает и даже поощряет».

Ходасевич не догадывался, однако, что личная ссора с Эренбургом окажет не меньшее влияние на его литературную судьбу — но не прижизненную, а посмертную. Еще много лет ему придется сидеть за столиком в одних кафе с Ильей Григорьевичем, иногда на газетных страницах продолжая издеваться над его промежуточным загранично-советским бытием и извилистой идейной биографией, сравнивая писателя с чеховской Душечкой (этот образ Ходасевич использовал и в отношении Шагинян, но применительно к мужчине он, конечно, звучит оскорбительнее). Знал бы Владислав Фелицианович, что для советской молодежи 1960-х именно мемуары Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» будут главным источником сведений о прошедшей эпохе. Мандельштаму и Цветаевой в них посвящено по прочувствованной главе. «Поэт Ходасевич» походя упоминается один раз.

3

Отношения Ходасевича с русским Парижем заметно улучшились после разрыва с Горьким и перехода на «правильные» позиции. В письме Михаилу Карповичу от 7 апреля 1926 года поэт замечает: «Из людей здешних вижу всех, не дружу ни с кем, но и ни с кем не в ссоре, кроме Куприна, но его нигде не принимают». В «камер-фурьерском журнале» в 1925—1926 годах упоминаются самые разные имена. Чаще других — Борис Зайцев, Владимир Вейдле (который часто бывал у Ходасевича и Берберовой и обедал с ними в те дни, когда в их жилище на улице Ламбларди было всего три вилки: принимать можно было лишь одного гостя); Нина Петровская (она временами живет у Ходасевича и Берберовой по два-три дня — вплоть до своего самоубийства 23 февраля 1928 года); серапионов брат Владимир Познер и его отец, Соломон Познер, некогда видный петербургский журналист; молодой критик, бывший секретарь берлинского Клуба писателей Александр Бахрах. Встречается Ходасевич и с Муратовым, и с Цетлиными. Зимой 1926/27 года его и Берберову начинают принимать в доме Буниных. Однако ближе всего в первые парижские годы Ходасевич сходится — во многом неожиданно для себя — с четой Мережковских. 17 января 1926 года «Медведев» сообщает Анне Ивановне: «В последнее время чаще других вижу Зину и Диму. Она в особенности со мной мила и хвалит мои работы устно и письменно»¹. Сходные слова (но без конспиративной фамильярности)

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 124.

есть и в письме от 7 апреля Михаилу Карповичу. Надо сказать, что еще до приезда Ходасевича в Париж в статье «Поэзия наших дней» (Последние новости. 1925. 22 февраля) Зинаида Гиппиус превозносила Ходасевича, противопоставляя едва ли не всем другим поэтам его поколения — Есенину, Пастернаку, Мандельштаму.

Как отмечал позднее Глеб Струве, «для понимания эмигрантского периода деятельности Мережковских, в том числе литературной, надо иметь в виду... что в зарубежной дислокации политических сил они оказались как бы ни в тех, ни в сих. <...> Их отделяло от правых кругов эмиграции отчасти их прошлое (в том числе симпатии к Февральской революции, которые З. Н. Гиппиус во всяком случае продолжала афишировать), отчасти скептическое с самого начала отношение к Белому движению и неверие в реальную силу эмиграции, поскольку речь шла о свержении большевизма. С другой стороны, умеренно-левые и левые круги от них отталкивало их убеждение в желательности иностранной военной интервенции для ликвидации большевизма, а также наметившееся вскоре у Д. С. Мережковского тяготение к итальянскому фашизму»¹. Это межеумочное, внепартийное состояние давало Мережковским возможность общаться с самыми разными фракциями русского Парижа, но оно же порождало неуверенность в своем положении и еще усиливало ту суетливую вздернутость, которая всегда была присуща старейшей чете русского декаданса. Мгновенные переходы от патетических разговоров к изощренным литературным интригам и сплетням последнего разбора (например, о личной жизни Керенского и его якобы имевшем место романе с Цветаевой) — все это наполняет письма Гиппиус Ходасевичу; да и сам он, по своему характеру, с трудом сопротивлялся искушению позлословить о коллегах.

Иногда сплетни Зинаиды Николаевны рикошетом ударяли по нему самому. Так, рецензируя в 1925 году книгу воспоминаний Гиппиус «Живые лица», Ходасевич обнаружил в ней душевраздирающую историю о том, как она, Гиппиус, узнав, что Розанов не то бедствует, не то вообще расстрелян, написала гневное письмо Горькому, тот устыдился и «поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег». Ходасевич, который по просьбе Гершензона лично разговаривал с Горьким о судьбе Розанова и лично передавал для него деньги (отнюдь не ничтожные), вынужден был поправить свою приятельницу. Это стало темой нескольких писем

¹ Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж; М., 1996. С. 70—71.

Гиппиус Ходасевичу: своей неправоты Зинаида Николаевна так и не признала и извиниться перед Ходасевичем, которого невольно оскорбила титулом «горьковского приспешника», тоже нужным не сочла. Дружба, однако, пока что продолжалась.

Ходасевич был одним из завсегдатаев «воскресений» Мережковских, которые стали продолжением их прежнего, петербургского салона. Здесь бывали (еженедельно, с четырех до семи) многие гранды русского литературного Парижа: Бунин, Бердяев, Алданов, Вейдле, Зайцев, Маковский, Шестов, Георгий Федотов, Фондаминский, «гумилята» («Жоржики», Одоевцева, Оцуп) — а также многие молодые поэты и прозаики. Когда в 1927 году Мережковские решили сделать собрания — время от времени — более открытыми, полупубличными, создав общество «Зеленая лампа», Ходасевич, наряду с Мережковским и Фондаминским, выступил на первом заседании, состоявшемся 5 февраля в зале Русского торгово-промышленного союза. Речь Ходасевича, как признанного пушкиниста, была посвящена «нашей давней соименнице, той “Зеленой лампе”, которая существовала в Петербурге в первой четверти минувшего века»¹. Завершается эта речь так: «Ни ей в целом, ни кому-либо из ее участников не суждено было сыграть заметной роли в надвигавшихся событиях, имевших столь великие последствия для судеб России. Но несправедливо было бы не заметить, что зарождение этих событий совершалось где-то в непосредственной близости к ней. Роль “Зеленой лампы” бесконечно скромная, но все-таки “Вино кометы”² воодушевляло важные, роковые споры. Среди окружающей тупости, умственной лени и душевного покоя оно помогало беречь умы и оттачивать самое страшное, самое разительное оружие — мысль. Вот почему нам и не страшно и не кажется нескромным назваться “Зеленой лампой”. Мы тоже не собираемся перевернуть мир, но мы хотели бы здесь о многом поразмыслить, главным образом, — не страшась выводов»³.

В тот же день Ходасевич принял участие в дискуссии, посвященной ситуации в эмигрантской литературе. Основной доклад — «Русская литература в изгнании» — делала Гиппиус. Обличая и «общественников» из «Современных записок», «Последних новостей» и «Возрождения», и «эстетов» из «Звена» (еженедельного приложения к тем же «Последним ново-

¹ *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека: 1924—1974. Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 42.

² Вино урожая 1811 года, упоминающееся в неоконченном послании Пушкина товарищам по «Зеленой лампе» — «В кругу семей, в пирах счастливых...» (1821).

³ *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека. С. 47.

стям», которое Павел Милюков редактировал вместе со своим старым партийным соратником Максимом Винавером), она восклицала: «Эмигрантская литература не существует, поскольку в ней *внутренне* не отражается ни политическая русская катастрофа, ни опыт изгнания. И мы ничего не узнаем о духовной жизни эмиграции по тем писателям, старым и молодым равно, которые “дописывают”, “пописывают”, “расписывают”, “записывают” или “переписывают”»¹. Ходасевич постарался придать разговору более простой и конкретный смысл: беда эмигрантской литературы просто-напросто в том, что «редакторы-политики не разбираются в качестве того, что печатают»².

С годами все большую роль в «Лампе» играли «Жоржики» — те самые «эстеты из “Звена”», которых имела в виду Гиппиус и которые вскоре перестали быть такими уж «эстетам». Георгий Иванов был избран председателем общества и формально руководил собраниями, продолжавшимися до 1931 года. Обсуждались вопросы не только прямо литературные, но и общественные, и философические: «Мечта о царе», «Толстой и большевизм», «Противоречия между иудаизмом и христианством». Не то чтобы Ходасевича эти проблемы не беспокоили, но, как видно, та атмосфера, в которой они обсуждались, казалась ему все менее серьезной и достойной; во всяком случае, уже через несколько месяцев он утратил к «Зеленой лампе» интерес. В протоколах первых собраний, печатавшихся в журнале «Новый корабль» и воспроизведенных в книгах Юрия Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» и «Встречи», его реплики практически не попадают. Впрочем, и дружбе его с Мережковскими к началу 1930-х годов пришел конец. Отчасти это произошло потому, что интриги и сплетничество Зинаиды Николаевны зашли слишком далеко: она стала вмешиваться в отношения Ходасевича и Берберовой, настаивая их друг против друга.

Мережковский и Гиппиус были на поколение старше Ходасевича. В то же время в Париже существовала многочисленная плеяда поэтов и прозаиков более молодых, чем он. Многие из них ничего не успели напечатать в России. По большей части все они принадлежали к тем, кто, как когда-то написал Ходасевич, «безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы», чьим первым жизненным впечатлением были ужасы Гражданской войны. Теперь они жили в Париже. Некоторые зарабатывали на жизнь физическим трудом; другие, гнушав-

¹ Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. С. 56.

² Там же.

шиеся черной работы, прозябали в богемной нищете. Помимо основанного в 1925 году Союза молодых поэтов и писателей, первым председателем которого стал Юрий Терапиано, они собирались в знаменитом кафе «Клозери де Лиля», потом — на Монпарнасе, в кафе «Селект» и «Наполи», которые постепенно получили репутацию «русских». Здесь шли бесконечные разговоры о «последних вопросах» и об искусстве. Как вспоминал в своей книге «Встречи» Юрий Терапиано, «Пруст, Андре Жид, Джойс, Кафка, Гоголь, Достоевский, Толстой, Розанов, К. Леонтьев были постоянными предметами споров и обсуждений. <...> Вторая половина двадцатых и первая половина тридцатых годов явились воистину героическим периодом в жизни парижской молодой литературы. <...> Монпарнас тех лет был как бы орденом “Рыцарей бедных”, связанных общностью устремления и мироощущения»¹. Собственно поэтические собрания, с чтением и разбором стихов, имели место в кафе «Ла Боль». Наряду с молодежью здесь бывали и авторы, имевшие статус мэтров. Но, по словам Терапиано, «не было ни Вячеслава Иванова, ни Гумилёва, чтобы руководить прениями».

Граница между «мэтрами» и «молодыми» была довольно зыбкой. В 1926 году в четвертом «Парижском альбоме» (Дни. № 1039. 27 июня) Ходасевич разбирает книги двух «очень молодых» поэтов — Оцуа и Терапиано. Но первому было 32, а второму — 34 года. Оцуа от его ближайших друзей, Иванова и Адамовича, претендовавших на место в рядах литературных вождей эмиграции, отличал лишь более поздний дебют (хотя первая его книга, «Град», вышла еще в 1921 году в Петрограде).

Те четыре поэта, о которых подробно пишет в мемуарах Берберова, были помоложе — почти сверстниками самой Нины. Ближе всех сошелся с Ходасевичем и его женой Довид Кнут (Давид Миронович Фиксман), уроженец Кишинева, зарабатывавший в Париже на жизнь ремеслом красильщика тканей. Обычные эмигрантские мотивы, те по-своему обаятельные, но однообразные безвольно-ностальгические настроения, которые позднее получают наименование «Парижская нота», в его поэзии долгое время боролись с южным темпераментом, с памятью о родной Бессарабии, о «еврейско-русском воздухе».

«Сначала была в нем дерзость; Ходасевич говорил ему:

- Так по-русски не говорят.
- Где не говорят?
- В Москве.
- А в Кишиневе говорят.

¹ Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 95, 98.

Но очень скоро он понял, что в Кишиневе говорят по-русски не слишком хорошо, и в нем появилась меланхолия. Стихи его потеряли мужественное своеобразие... и вся фигура его приобрела образ постоянной печали»¹.

Можно ли сказать, что своим авторитетом Ходасевич помещал в полной мере реализоваться самобытному поэту? Но не исключено, что Кнуту Париж был попросту противопоказан. Может быть, в советской литературе той поры, с ее жовиальностью и интересом к диалектизмам, он сумел бы сделать больше. Исключить этого в его случае нельзя, как и в случае Антонина Петровича Ладинского, бывшего белогвардейца, чья мажорная и волевая поэзия, ныне полузабытая, в отличие от его исторических романов, по тону и духу так непохожа на творчество других парижан. Впрочем, в Советском Союзе развитие Кнута и Ладинского сковывали бы уже другие, самоочевидные факторы.

Зато Владимир Алексеевич Смоленский, тоже участник Гражданской войны, ставший впоследствии одним из самых популярных эмигрантских поэтов, был явно на своем месте. Его имидж «пьяного гения», не мешавший ему работать бухгалтером, его меланхолическая, благозвучная, но не особенно глубокая лирика — всё это идеально подходило к атмосфере русского Монпарнаса. Ходасевич любил Смоленского, легкого и тонкого человека, любил и его стихи, хотя его смущали их «некоторая напрасная красивость» и «налет какого-то тайного внутреннего благополучия, столь не идущего к неблагоприятной его тематике» (статья «Наедине» в «Возрождении» за 8 июля 1938 года).

Особняком стоял Борис Юлианович Поплавский, поэт и прозаик, легендарная фигура русского Парижа 1930-х годов. Родившийся в 1903-м, покинувший Россию в 16 лет, он полностью сформировался как поэт в отрыве от отечественной почвы. Едва ли этим объясняется тот неуверенный, бедный русский язык, который составляет слабое место поэзии Поплавского: эмигрантская среда была достаточно плотной, чтобы не забыть родную речь. Тем не менее в фантастическом мире, возникшем под пером этого поэта, и в его жуткой и нелепой судьбе было некое обаяние, которое заставляло Ходасевича прощать ему «бессмыслицу», «безвкусицу» и «глуповатость», которые он не готов был простить поэтам более крупным, культурным и глубоким.

Поплавский в большей мере, чем другие молодые поэты-эмигранты, испытал влияние французского сюрреализма, хо-

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 318.

тя оно было сугубо односторонним, как и все такого рода воздействия у поэтов «Парижской ноты». Времена, когда Брюсов дружил с Рене Гилем, а Гумилёв общался с unanimистами, ушли в прошлое. Французские интеллектуалы, по большей части левые в своих политических взглядах, не хотели знать о том культурном движении, которое происходило у них под боком; если их и интересовала современная русская литература, то прежде всего советская. Русским эмигрантам удавалось войти в круг их интересов, только если они меняли язык и становились французскими писателями, как Артюр Адамов или Натали Саррот.

Счет имен молодых русско-парижских поэтов шел на десятки: вспомнить хотя бы Анну Присманову, ее мужа Александра Гингера, Виктора Мамченко, Вадима Андреева. Немало было и прозаиков. В 1926 году была предпринята первая попытка объединения: возник журнал «Новый дом», в редколлегию которого, наряду с Кнутом, Терапиано и Всеволодом Фохтом, на какое-то время вошла и Берберова. Молодым авторам удалось привлечь в свое издание мэтров (Ходасевич напечатал там статью «Заметки» о трагических судьбах русских писателей и стихотворение «Бедные рифмы»), но это оказалось роковым — старшие писатели, прежде всего Мережковские, оттеснили молодежь, используя их журнал как свою трибуну. После третьего номера они и вовсе перехватили «Новый дом», переименовав его в «Новый корабль» и поручив редактирование своему молодому другу и секретарю Владимиру Злобину.

Вскоре настало время размежевания. Возникла группа «Перекресток», выпустившая в 1930 году два тома одноименного альманаха. Особенностью этой группы было то, что часть ее членов — Кнут, Смоленский, Терапиано, Юрий Мандельштам, Георгий Раевский (младший брат Оцуа) — находилась в Париже, а другая часть — Илья Голенищев-Кутузов, Алексей Дураков, Екатерина Таубер — в Белграде. Ходасевич хвалил этих авторов за «резкое отмежевание от людей, отравленных трупным ядом футуризма», но отмечал их зависимость от непосредственных предшественников. Эпигонство было проклятием второго поколения эмиграции, которое было и последним поколением Серебряного века. Впрочем, эта проблема стояла и перед их товарищами в метрополии. Источники подражания были отчасти теми же, отчасти другими; но и *там*, и *здесь* молодежь оказывалась между Сциллой подражательства и Харридой дикости, бескультурия. Формы, которые принимали эти опасности, были различны, разным было и соотношение между ними, и возможные способы реакции на них. Но было и общее.

Авторитет Ходасевича в русском литературном Париже трудно переоценить. Были, однако, группы и кружки, с которыми у него сложились отношения неприязненные. Что бы сам он ни говорил и ни писал, врагом его был не один только Куприн. Так, к 1926 году относится конфликт Ходасевича с представителями движения евразийцев. Это идейное течение, генетически связанное с поздним славянофильством, получило большое влияние в эмиграции в 1920-е годы. Евразийцы (князь Николай Трубецкой, Петр Сувчинский, Петр Савицкий) исходили из того, что «европейская культура не есть нечто абсолютное... а лишь создание ограниченной и определенной этнической или этнографической группы народов»¹, что у России есть собственный исторический путь, что судьба русского народа тесно связана с судьбой его тюркских соседей по Восточно-Европейской равнине. В политическом смысле их целью было «идеократическое государство» со смешанной экономикой («система государственно-частного хозяйства»). В отношении большевистской идеологии евразийцы занимали позиции, близкие к сменовеховским.

В середине 1920-х годов к евразийскому движению примкнули критик князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, сын царского министра внутренних дел (в 1904—1905 годах), поэт-царскосел, денкинский офицер, профессор Лондонского университета, сотрудник элиотовского журнала «*Criterion*» — на редкость богатая биография! В качестве евразийца Святополк-Мирский выступил инициатором издания альманаха «Версты». Соредакторами его были философ и музыковед Петр Сувчинский и Сергей Эфрон, также увлекшийся евразийством. На страницах первого номера «Верст» наряду с произведениями эмигрантских авторов (Цветаевой, Шестова, Ремизова) важное место занимали перепечатки ранее опубликованных произведений советских писателей (Пастернака, Сельвинского, Бабеля, Артема Веселого, Есенина). Критика была представлена, в частности, обзором вышедших номеров «Современных записок», принадлежавшим перу Святополк-Мирского. Авторы этого журнала бывший царскосел оценивал очень по-разному, но самые жесткие слова были сказаны именно о Ходасевиче: «маленький Баратынский из Подполья, любимый поэт всех, кто не любит поэзии»².

Ходасевич поднял перчатку. В XXIX книге «Современных записок» появилась его резкая статья, озаглавленная «О “Вер-

¹ *Трубецкой Н.* Наследие Чингисхана // Европа и человечество. М., 2000. С. 88—90.

² Версты. 1926. № 1. С. 208.

стах”». Начинается ответная рецензия во вполне «объективном» тоне:

«Евразийцы шумели немало, провозглашая свои “утверждения”. <...> Правда, в их новизне было много старого, в их настойчивой историософичности можно было найти немало историософистики, как в самом евразийстве — налет азиатства просто. <...> Но пожалуй, и в этих шатаниях и в недомолвках было кое-что ценно: они рождались из попыток найти новую, третью позицию, перенеся русскую проблему из области политики в область культуры. <...> Наряду с опасениями, на евразийство позволительно было возлагать и некоторые надежды.

Этим надеждам наносит тяжкий удар недавно явившийся в Париже журнал “Версты”».

Наносит удар — ибо евразийцы от историософии перешли к политике. Святополк-Мирский и его сподвижники часто говорят «о революции, как событии, полагающем острую грань между прошедшим и будущим России». Но что именно понимают они под революцией? — спрашивает Ходасевич. Тут следуют примечательнейшие слова, перекликающиеся с его письмом Михаилу Карповичу от 7 апреля 1926 года:

«Была февральская революция. Ее полу-незамечают “Версты” вполне презрительно.

Была эпоха октября и военного коммунизма, соблазнившая многих... романтической мечтою о великом сдвиге, о новой правде. <...> Но и к той страшной и соблазнительной революции никто из сотрудников “Верст” тоже касательства не имел. Одни, как, напр<имер>, Марина Цветаева, имели мужество ненавидеть ее открыто, другие — тайно. Один из редакторов, С. Я. Эфрон, с нею сражался оружием. <...>

Настала та гнусность, которую даже лживый язык Ленина не осмелился назвать революцией, а нарек ей хамское имя Нэпа. Пришла пора, когда вчерашние революционеры и “подлинные” чекисты засели в тресты, разделяясь без остатка на бездарных хозяйственников и талантливых воров; когда раздуватели мирового пожара стали в придворных ливреях являться к королям и в лакейских фраках — к банкирам. <...> когда остатки рабочих спаиваются рыковкой и расстреливаются за забастовки. <...>

Вот тогда и явились “Версты”: на словах вместе с большевиками воспевают Революцию, про себя зная: Нэп».

Те «люди новой России», на союз с которыми евразийцы уповают, — это «нэпманы всех мастей и профессий, люди с Лениным на языке и с аршином в кармане... смесь чека и охраны, партийного клуба и дубровинской чайной, черно-красная сотня, краса и гордость любой реакции. <...> Кремлевцы оши-

бочно считают ее надежным тормозом при их спуске от “мировой социалистической”. Сувчинский (кажется правильнее) ожидает, что “тяга к национальному делу” выльется у нее в славный еврейский погром». К этой последней фразе Ходасевич делает примечание: «Что не очень любезно в журнале, где один из редакторов — С. Я. Эфрон, а в числе сотрудников — Пастернак, Бабель, Л. И. Шестов и Артур Лурье». И — решительный вывод: «Разумеется, цели большевиков и Сувчинских не совпадают. <...> Но пока что — им по дороге: прочь от проклятой России Петра и Пушкина, от ненавистной интеллигенции — в азиатчину и реакцию. Этот путь они условно зовут Революцией, что очень удобно для обеих сторон».

Кажется, эта полемика — лучшее свидетельство того, насколько искренен был Ходасевич, какая внутренняя логика была в его политических метаниях. Но искренность не значит справедливость. Ходасевич допустил явные передержки по отношению к евразийцам: например, как ни оценивай идеологию Сувчинского, к еврейским погромам он не призывал, а лишь рассчитывал, что «интернациональная» большевистская элита сменится другой, «национальной». От этих обвинений, как и от утверждения, что композитор Артур Лурье, бывший начальник музыкального отдела Наркомпроса, присутствует в «Верстах» в качестве «хозяйского глаза», редакции «Современных записок» — после протеста редакции «Верст» — пришлось публично отмежеваться¹. Во многом несправедлив поэт был и по отношению к нэповской России, которой толком не знал. Но в своем романтическом экстремизме он и предвидел многое. Торжество черно-красной сотни было еще впереди, но оно действительно предстояло.

О литературной части журнала Ходасевич пишет немного. Касаясь выпадов Святополк-Мирского в свой персональный адрес, он язвительно замечает:

«Именно потому, что я не способен обидеться на кн. Святополк-Мирского, я пишу о нем со спокойной совестью. Его оценкам я не могу придавать значения, потому что они часто и по весьма очевидным поводам меняются. Недавно Святополк-Мирский объявил Марину Цветаеву великою поэтессой и радовался чести быть ее современником. А всего два года назад, в своей антологии “Русская лирика” он... вовсе не поместил ее стихов, заявив презрительно, что она — просто “безнадежно распушенная москвичка”».

¹ Члены редакции «Современных записок», отвергая примиренчество «Верст» в отношении большевизма, не были едины в своем отношении к евразийству как идеологии. Так, Илья Фондаминский во многом ему симпатизировал и в собственных статьях развивал сходные идеи.

Я не обижаюсь на него теперь, как не был польщен месяцев восемь тому назад, когда в журнале “Благонамеренный” он писал, что мои стихи “никогда не разочаровывают” и что “если бы у нас была Академия, никто не был бы более достоин войти в нее, чем... Владислав Ходасевич”. Увы! Все это слишком просто: тогда мы вместе с кн. Святополк-Мирским сотрудничали в “Благонамеренном”, а с тех пор наш критик вычитал в “ЛЕФе” и “Красной Нови”, как надлежит отзываться о Ходасевиче».

Интересно, что в своей «Истории русской литературы», появившейся на английском языке в том же самом 1926 году (а написанной, несомненно, раньше), Мирский дает Ходасевичу характеристику хоть и парадоксальную, но уважительную и не лишенную пронизательности: «Ходасевич мистический спиритуалист. Но в выражении своих интуитивных ощущений он иронист. Его поэзия есть выражение трагического и иронического противоречия между свободой бессмертной души и ее порабощенностью материей и необходимостью. Эта вечная тема выражена в его стихах с четкостью и изяществом, несколько напоминающими остроумие древних времен. Собственно, остроумие главная черта поэзии Ходасевича, и его мистические стихи обычно заканчиваются колкой эпиграммой»¹. Сам же Владислав Фелицианович во второй половине 1920-х годов не упускал случая пустить стрелу лично в князя: именовал его в частных письмах Святополком Окаянным, вспоминал его отца, который некогда обещал России «либеральную весну» (как его сын обещает обновление советского режима) — «весна» та закончилась Кровавым воскресеньем.

Что до Марины Цветаевой, участие которой было для «Верст» очень важным (журнал и назван был по ее давней книге), то ее в середине 1920-х усиленно с Ходасевичем ссорили, причём с двух сторон: Марину ненавидели в окружении Мережковских, Ходасевича — в евразийских и лефовских кругах (а лефовцы, в том числе Асеев, были большими поклонниками поэзии Цветаевой и поддерживали с ней связь через Пастернака). Это влияло на отношение Владислава Фелициановича к цветаевской поэзии, которое и без того было неровным.

В 1923 году, когда Ходасевич и Цветаева не раз общались, «Ф. Маслов» поместил в четвертом номере «Книги и революции» довольно противоречивую рецензию на цветаевские кни-

¹ Цит по: *Святополк-Мирский Д. П.* История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. М., 2008. С. 722. Первые издания: *Mirsky D. S.* Contemporary Russian Literature. 1881—1925. London, 1926; *Mirsky D. S.* A History of Russian Literature: From the Earliest Times to the Death of Dostoevsky (1881). London, 1927.

ги «Ремесло» и «Психея». С одной стороны, он отмечает, что «судьба одарила Марину Цветаеву завидным и редким даром: песенным» и что «поскольку природа поэзии соприкасается с природою музыки, поскольку поэзия и музыка где-то там сплетены корнями — постольку стихи Цветаевой всегда хороши». С другой — что «книги ее — точно бумажные “фунтики” ералаша, намешанного рукой взбалмошной: ни отбора, ни обработки», и что «в конце концов — со всех страниц “Ремесла” и “Психеи” на читателя смотрит лицо капризницы, очень даровитой, но всего лишь капризницы, может быть — истерички: явления случайного, частного, преходящего»¹. Два года спустя он восторженно отзываясь о «Молодце» (Последние новости. 1925. № 1573. 11 июня), причем хвалит Цветаеву за такие вещи, за которые не стал бы хвалить другого поэта:

«Народная песня в значительной мере является причитанием, радостным или горестным; в ней есть элемент скороговорки и каламбура — чистейшей игры звуками; в ней всегда слышны отголоски заговора, заклинания — веры в магическую силу слова; она всегда отчасти истерична — близка к переходу в плач или в смех, — она отчасти заумна.

Вот эту “заумную” стихию, которая до сих пор при литературных обработках народной поэзии почти совершенно подавлялась или отбрасывалась, Цветаева впервые возвращает на подбаюющее ей место».

Но уже в 1928 году, рецензируя книгу «После России» (Возрождение. 1928. № 1113. 19 июня), Ходасевич спорит со знаменитой цветаевской формулой «С этой безмерностью — в мире мер», настаивая, что «всякое искусство все-таки именно мир мер, соотношений, равновесий». Отвергает он и принципиальную затрудненность, усложненность цветаевской поэтической речи: «Цветаева возлагает на читателя не непосильный, а принципиально невозлагаемый труд — расшифровывать словесную темноту, фильтровать звук, восстанавливать и угадывать ненайденную автором гармонию между замыслом и осуществлением»². И все-таки он признается: «Сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады — люблю Цветаеву». Пожалуй, никто другой из поэтов-сверстников не удостоился от Ходасевича такого простого и обезоруживающего признания: Ахматову Ходасевич любил скорее благодаря родству поэтик, а не вопреки их различию, Мандельштама — ценил, не очень любя.

¹ Книга и революция. 1923. № 4. С. 72—73.

² К этому же времени относится и сдержанный отзыв о «Федре», в которой Ходасевичу понравился только «ритм стиха, взятый вполне самостоятельно, в полном отвлечении от смыслового содержания» (Возрождение. 1928. № 1213. 27 сентября).

Тем не менее добрые личные отношения между Ходасевичем и Цветаевой восстановились лишь к началу 1930-х. Во многом их долгое расхождение стало результатом смещения литературы и литературных интриг с политикой.

С Георгием Ивановым и Адамовичем у Ходасевича явных политических разногласий не было. Но они раздражали его лично. У него вызывала недоверие стремительная идейная и личностная эволюция Адамовича, его «омережкование»: «...прямо от орхидей и изысканных жирафов — к “вопросам Церкви” и прочему»¹ (письмо Юлию Айхенвальду от 22 марта 1928 года). Второй «Жоржик» должен был раздражать его еще больше. Между тем Адамович, избавившись от гумилёвского влияния, стал относиться к поэзии Ходасевича лучше — по крайней мере, глубже ее понял. Его эссе о старшем поэте, опубликованное в 130-м номере «Звена» (1925. 27 июня), весьма примечательно. Вот лишь две цитаты:

«Чистота стиля в стихах Ходасевича удивительна. <...> Каждое слово на месте, малейшее слово живет полной жизнью и во всем своем значении. <...> Мне часто вспоминается мое первое университетское впечатление — Марциал. Этот старый пройдоха ничуть не поэт, конечно, но стилистически какое волшебство — его эпиграммы, по сравнению с которыми даже Пушкин кажется писавшим “темно и вяло”. Не знаю, учился ли Ходасевич у римлян. Похоже, что да»².

«Стихи Ходасевича — в плоскости “что” — далеки от Пушкина настолько, насколько это вообще для русского поэта возможно. Прежде всего: Пушкин смотрит вокруг себя, Ходасевич — внутрь себя, и это решительно определяет его “гамлетовскую” природу, его боязнь мира, его обиду, его неуверенный вызов миру»³.

Очень многое из позднее написанного о Ходасевиче восходит к этой статье — от исследования Вейдле до оскорбительной формулы Святополк-Мирского: у Адамовича встречается слово «подполье», и он сомневается в том, «любит ли Ходасевич стихи».

В отношении к поэзии Ходасевича все было сложно. Гораздо проще дело обстояло в литературно-практических вопросах. «Гумилёв» заняли прочное положение в «Последних новостях» и особенно в «Звене». Как позднее язвительно вспоминал Ходасевич в письме писателю Виктору Ирещкому от 26 июля 1930 года, «в то время старик Винавер носился с идеей газеты, кото-

¹ СС-4. Т. 4. С. 508.

² Адамович Г. <В. Ходасевич> // Литературные беседы. СПб., 1998. С. 264.

³ Там же. С. 266.

рая служила бы *Звеном* между старой рус<ской> литературой и будущей, — эдаким хранилищем заветов. Когда наша честная компания здесь появилась, старик вообразил, что перед ним — “честная, отзывчивая молодежь”, “племя младое”, — по идейным причинам покинувшее сов<етскую> Россию. Они же все напирала на дружбу свою с Гумилёвым. Выходило, что и Жоржики чуть не погибли за родину. И вот Одоевцева и К^о стали поддерживать священный пламень, возжженный Радищевым»¹. Понятно, что Ходасевич в данном случае был прежде всего конкурентом. Это отчетливо проявилось в конце 1926 года, когда Владислав Фелицианович остался без работы.

4

Осенью 1926 года прекратилось сотрудничество Ходасевича в «Днях». Есть разные версии того, как и почему это случилось.

Берберова рассказывает, что в один прекрасный день по просьбе мужа заехала в «Дни», чтобы получить гонорар. «В “Днях” вышел ко мне Зензинов (эсер, в свое время упустивший Азефа) и, пугливо озираясь по сторонам, объяснил, что денег нет и не будет, что газета ликвидируется»². Сам Ходасевич в письме Юлию Айхенвальду от 28 октября 1926 года объясняет свой уход из меньшевистской газеты принципиальными причинами: «[Они] требовали от меня систематических перепечаток из советской литературы»³. Возможно, рассказывать об истинных обстоятельствах разрыва он считал для себя унизительным.

Газета в самом деле закрылась в январе 1927 года, потом, к концу года, возобновилась, но уже без Ходасевича. Большой (очередное обострение фурункулеза) поэт оказался перед угрозой голода. О нищете 1926 года он будет вспоминать до самого конца жизни.

Оставшись без работы, Ходасевич предложил себя в качестве постоянного обозревателя «Последним новостям», но Милюков твердо заявил, что Ходасевич газете «совершенно не нужен». Трудно сказать, стояли ли за этим какие-то личные или политические претензии бывшего лидера кадетов к поэту. Во всяком случае, и в милюковской газете, и в «Звене», с 1927 года ставшем из еженедельника журналом, о литературе писал Адамович и делиться куском хлеба ни с кем не собирався. Да-

¹ Ходасевич В. Письма В. Я. Ирецкому // Новое литературное обозрение. 2008. № 90.

² Берберова Н. Курсив мой. С. 268.

³ СС-4. Т. 4. С. 503.

же эпизодическое сотрудничество с «Последними новостями» с начала 1927-го прекратилось, ибо Ходасевич осел в конкурирующем издании¹.

Этим изданием была газета «Возрождение», с которой связаны последние 12 лет жизни поэта. Из уважаемых парижских газет она была самой правой, и потому участие в ней Ходасевича на первый взгляд парадоксально: его-то оппозиция большевикам была оппозицией *слева*. Но понятно, что найти в эмигрантском Париже печатный орган *по себе* Ходасевичу было трудно, а принципиальной разницы между «Последними новостями» и «Возрождением» для него не было, как не было в свое время разницы между кадетской и октябристской прессой в России.

Издателем «Возрождения» был Абрам Осипович Гукасов (Гукасянц), представитель семьи бакинских нефтяных магнатов, сумевший в годы революции сохранить свое состояние. Лев Любимов, обозреватель «Возрождения» в 1930-х годах, описывает Гукасова так:

«Резкими чертами лица, точеной бородкой и осанистой фигурой этот крепкий еще в те годы старик напоминал высеченного из камня ассирийского царя. Да и взгляд у него был какой-то каменный, неподвижный. <...> Едва ли не главным интересом этого нелюдимого, замкнутого человека была созданная им газета. <...>

Печать была его слабостью. Все утро Гукасов читал газеты. <...> Деньги у него были в Англии, и потому читал он исключительно английские газеты, притом консервативные. <...> Из своей конторы он поднимался в редакцию, находившуюся этажом выше, с целым ворохом вырезок (сам работал ножницами)»².

Первоначальная платформа «Возрождения» вполне соответствовала благородному британскому консерватизму. Первый редактор газеты, Петр Бернгардович Струве, экономист и философ, прошел сложную идейную эволюцию: в молодости марксист, соратник Ульянова-Ленина, один из основателей РСДРП, потом долгое время — кадет, затем один из авторов «Вех» и ведущий либерально-консервативный идеолог и публицист предвоенной России, редактор журнала «Русская мысль», а после 1917-го — советник Деникина и министр иностранных дел при Врангеле. В 1920-е годы его идеалом была

¹ Н. Берберова продолжала активно сотрудничать в милюковской газете, но под собственным именем с 1930-го в «Возрождении» не публиковалась. Ситуация забавная: семейные отношения Ходасевича и Берберовой ни для кого в обеих редакциях не были секретом.

² Любимов Л. Д. На чужбине. М., 1963. С. 189—190.

конституционная монархия с великим князем Николаем Николаевичем на престоле. Деятельными сотрудниками его газеты были философ Иван Ильин, гневно обличавший с ее страниц безответственных и самоуверенных «русских радикалов», которые довели дело до революции и отдали власть большевикам, и знаменитый политик и публицист Василий Шульгин, много писавший в «Возрождении» по «национальному вопросу». И вот Ходасевич, который еще недавно публично обличал Сувчинского, якобы мечтающего о еврейском погроме, сам стал писать в издании, на страницах которого Шульгин, известный автор книги «Что нам в них не нравится», предрекал печальную неизбежность массовой стихийной расправы с евреями в России после победы патриотических сил и подчеркивал, что лишь активное участие евреев в антибольшевистской борьбе поможет «направить шквал, локализовав его на евреях-коммунистах»¹. (Впрочем, в следующем номере «Возрождение» представляло слово оппоненту Шульгина — Даниилу Пасманику.)

В том, что касалось литературных страниц, Струве ориентировался прежде всего на своих сверстников, зубров дореволюционной словесности: Бунина, Куприна, Шмелева, Мережковских. Всем им было уже под шестьдесят, если не больше. Из более молодых авторов в газете писали Борис Зайцев, Сергей Маковский, стоявший во главе всего «культурного» департамента, Павел Муратов, из дебютировавших в эмиграции — Иван Лукаш. Но наряду с серьезной литературой газета, ориентированная на широкого читателя, должна была публиковать переводы копеечных детективов. Почти в каждом номере представлены были и незамысловатые стихотворные фельетоны Lolo (Леонида Мунштейна).

Приглашение Ходасевича было связано, возможно, с тем, что сын Струве был горячим поклонником его творчества. Протекцию ему мог составить и Муратов. Не исключено, что какую-то роль для Гукасова играли семейные связи Нины Берберовой (ее дядя, Рубен Иванович, был видной фигурой в деловых кругах эмиграции) и даже ее армянское происхождение.

Довольно скоро Петр Бернгардович вынужден был оставить редакторский пост — из-за разногласий с Гукасовым. Струве стремился с некоторым разбором печатать материалы о «большевистских зверствах», часто не вполне достоверные, и не устраивать рекламу любым «борцам с режимом», иные из которых оказывались провокаторами. Полемизируя с «Последними новостями» и другими левыми и «умеренными» газетами, он старался поддерживать в своем издании достойный интеллек-

¹ Возрождение. 1927. № 623. 15 февраля.

туальный уровень; издатель же обвинял его в «снобизме». В августе 1927 года Струве подал в отставку. Редактором стал Юлий Федорович Семенов, до революции — гимназический преподаватель и газетчик из Тифлиса, выдвинувшийся в Крыму при Врангеле. Семенов и другие члены новой редакции имели какие-то связи во французских политических кругах, вроде бы масонских. Впрочем, последующую эволюцию газеты в сторону радикализации предопределили не эти связи, а навязчивая вера ее издателя в возможность освободиться от большевиков с помощью иностранной интервенции.

Многие сотрудники «Возрождения» ушли вместе со Струве, но это не относилось к отделу культуры, который продолжал процветать и при новой редакции, а положение Ходасевича даже упрочилось. Теперь он должен был раз в две недели, по четвергам, писать газетный «подвал» на любую тему, по выбору. Некоторые из его статей печатались под постоянными рубриками: «Книги и люди», «Из петербургских воспоминаний», «Летучие листки». Кроме того, с 5 января 1928 года Ходасевич вместе с Берберовой, под общим псевдонимом Гулливер, вел «Литературную летопись» — обзоры советских журналов. По утверждению Берберовой, «Летопись» в основном писала она, а Владислав Фелицианович лишь редактировал и дописывал. Однако перед редакцией за рубрику отвечал Ходасевич, и в формулировках и оценках мы гораздо чаще слышим его голос¹. Порой короткая реплика по поводу той или иной книги в «Литературной летописи» вырастала в развернутый текст в «Книгах и людях» (дело доходило до текстуальных совпадений, на которые в 1990 году обратил внимание Джон Малмстад).

Все это требовало изрядных трудов, не оставляло времени на более серьезные статьи. Но в сравнении с тем положением, в котором Ходасевич находился годом раньше, такая работа была большой удачей.

Первой публикацией Ходасевича в «Возрождении» стала статья «Девяностая годовщина» (1927. № 618. 10 февраля); речь в ней шла о годовщине гибели Пушкина. Здесь немудрено было увидеть некий символ: как будто сам Пушкин, смолodu радикал, друг декабристов, а в зрелые годы консерватор, слуга царя, благословлял Ходасевича на новом поприще. Следующая статья, «О формализме и формалистах», опубликованная в № 645 (от 9 марта 1927 года), была также для поэта важной и принципиальной. В ней он бросает решительный вызов тому литературоведческому направлению, с которым находился в

¹ После смерти Ходасевича псевдоним, без упоминания Берберовой, был раскрыт в редакционном некрологе.

полувражде с начала 1920-х, причем речь теперь идет не о политическом поведении формалистов, как в «Языке Ленина», а о сути их теорий. Другое дело, что суть эту Ходасевич излагает так же поверхностно, как шестью годами раньше, сводя ее к примату «формы» над «содержанием»; он объединяет формалистов с футуристами, о которых говорит то же самое, что в десятке других статей типа «Декольтированной лошади», появившейся в «Возрождении» 10 сентября того же года. Создается впечатление, что на объективные методологические разногласия историков литературы накладывались воспоминания Ходасевича о личном общении со Шкловским и Якобсоном и — уж наверняка — его обиды на трехлетней давности строгие слова Тынянова. Но есть в статье «О формализме и формалистах» места по-хорошему язвительные (хотя и несправедливые):

«Прежде всего, среди формалистов довольно много неудачников из начинавших поэтов. <...> Испробовав некогда силы на поэтическом поприще и увидев, что дело безнадежно, люди порой с особым жаром принимаются за изучение поэтической механики: ими владеет вполне понятная надежда добратся-таки, наконец, до “секрета”, узнать, “в чем тут дело”, почему их собственная поэзия не удалась. <...>

Второй разряд составляют фанатические филологи, патриоты филологии. Как им не прилепиться душой к формализму? Ведь их дисциплину, по природе своей вспомогательную, формализм кладет во главу угла. <...>

Третья группа формалистов — люди, тяготеющие к анализу ради анализа, чувствующие себя уютно и прочно, пока дело ограничивается “строгой научной” “констатацией фактов”, люди подсчета и регистрации, лишенные способности к творчеству и обобщению, боящиеся всякой живой и самостоятельной мысли. <...>

К ним примыкают четвертые, понуждаемые к формализму не склонностью, но обстоятельствами. Это те, кто неминуемо подвергся бы преследованиям со стороны большевиков, если бы вздумал высказать свои мысли. Формализм позволяет им заниматься подсчетом и наблюдением, уклоняясь от обобщений и выводов».

К сожалению, Ходасевич не может удержаться от того, чтобы не упомянуть о пятой, якобы существующей категории формалистов: «Те, кто вместе с большевиками имеет ту или иную причину ненавидеть весь смысл и духовный склад русской литературы. Они быстро поняли, что игнорация содержания, замалчивание и отстранение “темы” — отличный способ для планомерного искоренения этого духа из народной памяти». Эта эмигрантская риторика была особенно неуместна в то

время, когда адепты формального метода подвергались в СССР яростной травле.

В этой статье сошлись две линии литературно-критической и публицистической деятельности Ходасевича в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Первая — историко-литературная. Поразительно то, какое место в «Возрождении», газете, ориентированной на эмигрантскую массу, уделялось прошлому российской словесности. Только в 1927 году Ходасевич напечатал в «Возрождении» статью к юбилею смерти Дмитрия Веневитинова, не самого крупного из поэтов пушкинской поры¹, четыре статьи собственно о Пушкине («Обывательский Пушкин», «Классовое самосознание Пушкина», «Забывтое стихотворение Пушкина», «Вокруг Пушкина») и одну — о Мицкевиче («Конрад Валленрод»). Некоторые из его пушкиноведческих статей этой и позднейшей поры могли быть интересны газетной аудитории — те, где шла речь о романах и дуэлях поэта, о его увлечении карточной игрой (о «Пушкине, известном банкете», Ходасевич, сам игрок, мог писать со знанием дела). Сюда же можно добавить и юбилейные статьи — такие, как «Щастливый Вяземский»². Но часто Ходасевич обсуждал на газетных страницах темы узкоспециальные. Редакция не возражала.

Вторая линия — борьба с футуризмом и его наследием. Здесь эстетический консерватизм Ходасевича смыкался с политическим консерватизмом газеты, в которой он писал, и Владислав Фелицианович — может быть, применяясь к своей аудитории — как будто нарочно поддерживал эту иллюзию. «У футуризма с большевизмом — ряд точек соприкосновения, — утверждал Ходасевич в статье «По поводу “Перекрестка”», — из которых главная — их разрушительный, а не созидательный характер. Большевизм подрывает национальное благосостояние России в политике и в экономике, футуризм — в литературе» (Возрождение. 1930. № 1864. 10 июля)³.

На самом деле эстетическая позиция Ходасевича и его политический выбор были в эти годы взаимосвязаны — только

¹ Возрождение. 1927. № 660. 24 мая. При этом в номере за 31 мая 1927 года была помещена другая, более комплиментарная статья о Веневитинове, принадлежащая Н. И. Кульману.

² Возрождение. 1928. 22 ноября. Загадочная статья: что заставило Ходасевича представить мрачного мизантропа, каким стал друг Пушкина к старости, автора трагических, безнадежных предсмертных стихов, во многом предсказывающих мотивы и тон самого Ходасевича, безмятежным домовитым счастливецом? Трудно не разделить недоумения, высказанного по этому поводу А. П. Зориним в предисловии к книге (Ходасевич В. Державин. М., 1988. С. 30).

³ Цит. по: Толмачев В. М. Владислав Ходасевич: Материалы к творческой биографии // Российский литературоведческий журнал (далее — РЛЖ). 1994. № 5—6. С. 223.

связь эта была тоньше и сложнее, чем может показаться. Это отчетливо видно по статье «Бесы», с которой начались его многолетние газетные споры с Георгием Адамовичем; хотя годом раньше им уже пришлось полемизировать из-за поэтического конкурса, объявленного «Звеном» (победителя должны были определить читатели большинством голосов — Ходасевич счел подобный способ определения качества стихотворных текстов неприемлемым).

На сей раз спор начался с очередной «литературной беседы» Адамовича, посвященной «Лейтенанту Шмидту» Пастернака и напечатанной в «Звене» за 3 апреля 1927 года. Отношение парижского критика к Пастернаку не было простым и однозначным: с одной стороны, он отмечал большой талант поэта, напоминал, как ценили его Гумилёв и Мандельштам¹, с другой — сводил его творчество к «черновикам» и опасался, что от него останется лишь «несколько строчек, в которых явно слышится подлинный редкий “голос”»². Были, однако, в статье Адамовича примечательные слова: «Пастернак явно не довольствуется пушкинскими горизонтами, которых хватает Ахматовой и которыми с удовлетворением ограничил себя Ходасевич. Пастернаку, по-видимому, кажутся чуть-чуть олеографичными пушкинские описания природы, чуть-чуть поверхностной пушкинская однообразная отчетливость в анализе чувств, в ходе мыслей. Некоторая правда в этом его ощущении, на мой взгляд, есть. Кажется, мир действительно сложнее и богаче, чем представлялось Пушкину. Пушкинская линия не есть линия наибольшего сопротивления. Не надо преувеличивать цену ясности, в которой не вся мировая муть прояснена»³.

Ходасевич ответил статьей «Бесы» (Возрождение. 1927. № 678. 11 апреля). Нетрудно было предположить, что именно он скажет: что есть другой Пушкин, не тот, «которого из десятилетия в десятилетие преподносили на гимназической, на университетской скамье, потом в пузатых историях литературы»⁴, а подлинный, «великий и мудрый, таинственный и “темный”»; что «не “мир сложнее и богаче, чем представлялось Пушкину”, а Пушкин сложнее и богаче, чем представлялось Адамовичу». Предсказуемы и уничижительные суждения о Пастернаке. Примечательны следующие слова из заключительной части статьи:

¹ Высказывания О. Мандельштама о Б. Пастернаке общеизвестны; что же до Н. Гумилёва, то, кроме этих слов Г. Адамовича, есть еще лишь одно свидетельство его благожелательного отношения к поэзии Пастернака — в мемуарах О. Мочаловой (*Мочалова О. Воспоминания о современниках. Дневниковая проза. М., 1994*).

² Цит. по: РЛЖ. С. 209.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 211.

«Петр и Екатерина были созидателями великой России. Державин, один из таких же созидателей великой русской литературы, был современником и сподвижником Екатерины. <...> Петровская эпоха отложилась в русской литературе позже, после Екатерины, в лице Пушкина, когда уже в государственном здании России намечались трещины. Но в литературе (“вослед Державину”, а не Радищеву) Пушкин еще продолжал дело, подобное петровскому и екатерининскому: дело закладывания основ, созидания, собирания. Как Петр, как Екатерина, он был силою собирающей, устрояющей, центростремительной. <...>

Развалу, распаду, центробежным силам нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися — существуют (и слышны громче их) разворачивающиеся, ломающие: пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость — и сумели стать “созвучны эпохе”¹.

Казалось бы — цельная консервативно-государственническая позиция, приличествующая автору «Возрождения». Но есть в ней важные нюансы: «центростремительная», созидательная миссия Пушкина восходит к Петровской эпохе, то есть к своего рода революции; «трещины в государственном здании России» в николаевскую эпоху, столь любимую другом Ходасевича Садовским, очевидно, связаны с ослаблением революционной воли; большевизм носит характер «мещанский» и в этом смысле антиреволюционный. Неприятие самодостаточного, «бездуховного» мещанского бытия — вот та точка, в которой левый радикализм у позднего Ходасевича смыкается с аристократическим консерватизмом. А каким был в эти годы его позитивный политический идеал? Единственное высказывание на сей счет — в интервью Натальи Городецкой «В гостях у Ходасевича», напечатанном в «Возрождении» от 22 января 1931 года: «Будущая Россия представляется мне страной деятельной, мускулистой, несколько американского типа, и очень религиозной — но уже не в американском духе». Как-то это перекликается с мечтами о «новой Америке», которые накануне Первой мировой занимали Блока².

¹ Там же. С. 212.

² Все это складывается в цельную картину сейчас. А в то время резкий переход Ходасевича в другой политический лагерь и в самой эмиграции воспринимался неоднозначно. Имел место по крайней мере один (слегка завуалированный) выпад против поэта со стороны левого крыла эмигрантов — в связи с заметкой «Максим Горький и СССР», напечатанной в «Возрождении» (20 октября 1927 года) под литерой М. Эта заметка, в которой Ходасевич, анализируя газетные известия о Горьком, делает вывод: болезнь писателя — лишь повод, позволяющий тому как можно дольше не возвращаться в СССР, вызвала возмущенную реплику журналиста В. Талина

Адамовичу все это было чуждо. Спор с Ходасевичем для него имел совершенно иной смысл: его интересовали не культурологические, не исторические, а исключительно человеческие аспекты. В очередных «Литературных беседах» (Звено. 1927. 17 апреля) он так уточняет свою мысль: «“Подозрительно” в Пушкине именно его совершенство. <...> Бедный, риторический Лермонтов, со всеми своими бесчисленными промахами, о чем-то помнил, чего не знал Пушкин. <...> Лермонтову по природе совершенство недоступно. Какие слова нашел бы он для “звуков небес”? Нет этих слов на человеческом языке. “Где-то”, “что-то”, “когда-то”, “когда-нибудь”. Пушкин с высот своего истинного классицизма усмехнулся бы — “темно и вяло”».

К этой теме поэтам-критикам предстояло еще не раз вернуться — в связи с разными авторами и текстами. И всякий раз бывший эстет-гумилёвец Адамович защищал «человеческое», «душевное», «несказанное», «небесное» — то, что для него выше художественного совершенства. Ходасевич же — сам о том не думая — продолжил линию не очень чтимого им Гумилёва: как и для Гумилёва, для него в духовном и человеческом смысле ничего не было *выше* пушкинской гармонии. Впрочем, ни один спор Ходасевича с Адамовичем не оставался простым диалогом. В разговор втягивались критики, живущие в разных городах, газеты, издающиеся в разных точках русского рассеяния, — берлинский «Руль», варшавский «Меч». Читатели тоже не оставались пассивны: редакции получали десятки писем. Как будто для «беспочвенной», но погрязающей в мелочных житейских заботах эмиграции сама возможность поговорить о литературе — о Пушкине, о Пастернаке, о ничтожной литературной новинке — была счастьем.

Вернемся, однако, к дискуссии о футуризме. Одним из ее ключевых эпизодов стал странный и этически уязвимый поступок Ходасевича. 14 апреля 1930 года покончил с собой Маяковский. «Возрождение» отозвалось на его смерть заметкой Александра Яблоновского. Ходасевичу не было нужды что бы то ни было писать по поводу трагической кончины своего вра-

(Португейса). На страницах «Последних новостей» за 23 октября 1927 года в заметке «Бей его, я его знаю (Записки журналиста)» Талин обвиняет М. в бестактном вмешательстве в личную жизнь Горького и прибавляет: «Не подлежит никакому сомнению: такое произведение может написать только бывший “друг”». Дальше следовали прямые оскорбления: «Отвратительная картина духовного уродства человека маленькой души и огромной мстительной злости». Чтобы не возникало никакой двусмысленности относительно объекта критики, Талин нашел повод упомянуть в заметке имя В. Ходасевича. Поэт, в свою очередь, ответил статьей «Нравственность г. Талина» (Возрождение. 1927. 27 октября)

га. Но он счел почему-то необходимым полностью, с небольшими дополнениями, перепечатать «Декольтированную лошадь». Статья — под названием «О Маяковском» — появилась в «Возрождении» от 24 апреля 1930 года.

Это не осталось незамеченным. Очень резко отозвался о поступке Ходасевича Роман Яacobсон в статье «О поколении, растратившем своих поэтов» (напечатанной под одной обложкой со статьей Святополка-Мирского «Две смерти: 1837—1930»¹):

«Помои ругани и лжи льет на погибшего поэта причастный к поэзии Ходасевич. Он-то разбирается в удельном весе, — знает, что клеветнически поносит одного из величайших русских поэтов. И когда язвит, что всего каких-нибудь пятнадцать лет поступи — “лошадиный век” — дано было М<аяковско>му, ведь это — самооплевывание, это пасквили висельника, измыселство над трагическим балансом своего же поколения. Баланс М<аяковско>го — “я с жизнью в расчете”; плюгая судьбенка Ходасевича — “страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души”»².

Очень грубо и зло, но Яacobсона можно понять: Ходасевич пнул ногой неостывший труп его трагически погибшего друга.

Критик и литературовед Альфред Людвигович Бем, профессор Карлова университета в Праге и неформальный глава пражской молодой поэтической школы, известной как «Скит поэтов», ответил Яacobсону и Ходасевичу на страницах «Руля» (1931. № 3220. 2 июля). Осудив филолога-формалиста за грубость, он поддержал его по существу:

«Статья В. Ходасевича *О Маяковском*, появившаяся после его смерти, была недопустима по своему характеру и объективно несправедлива. В моем представлении... она является в критической деятельности его несомненным срывом. <...> В. Ходасевич совершенно неверно сводит роль В. Маяковского к снижению словесного материала в поэзии, к ее нарочитому огрублению. Даже отбросив тот обидный смысл, который вкладывает В. Ходасевич в это утверждение, оно просто объективно неверно. В поэзии Маяковского меньше всего пошлости, есть в ней грубость, но эта грубость скорее литературный прием, чем факт биографии; может быть, нет в ней особенной изысканности и сложности, но есть несомненная сила непосредственной поэтичности».

¹ Яacobсон Р., *Святополк-Мирский Д.* Смерть Владимира Маяковского. Берлин, 1931.

² Цит по: Яacobсон Р., *Святополк-Мирский Д.* Смерть Владимира Маяковского. The Hague; Paris, 1975. С. 32.

Ходасевич попытался ответить обоим — и Якобсону, и Бему (Книги и люди. Отклики на статью о Маяковском // Возрождение. 1931. № 2249. 30 июля). Первому — бранью на брань («апологет формализма и заграничный литературный чиновник»), второму — по существу. Но что он мог сказать по существу? Что Маяковский был «крупным явлением», но «крупным злом», а «крупному злу не могу ни поклоняться, ни сочувствовать, ни даже любоваться его размахом»? Что покойник покойнику рознь и что у гроба «Ленина, Дзержинского, Азефа» можно и нарушить правило *de mortuis aut bene, aut nihil?*¹ Но и Дзержинского нелепо ставить в параллель с Азефом (слишком различны масштабы и мотивация) — и тем более странны эти сопоставления, когда речь идет о собрате по перу. Судя по всему, Ходасевич в глубине души чувствовал, что перегнул палку, но невротическое самолюбие не позволяло ему в этом признаться.

Напротив, он продолжал воевать и с мертвым Маяковским, восставая против всякой неоднозначности в оценке его жизни и творчества. Так, 12 марта 1931 года он напечатал в «Возрождении» статью «Баня», в которой решительно спорил с эмигрантскими критиками, увидевшими в предсмертной пьесе Маяковского свидетельства разочарования в советской власти. Для Ходасевича Маяковский был циником, который ни во что и не верил, а потому ни в чем не мог разочароваться. Он предлагает собственную, совершенно бездоказательную трактовку «Бани»: оказывается, это — пасквиль на опального Луначарского (который якобы и служит прототипом Победоносикова), написанный в угоду Сталину.

Ходасевич снова и снова пытается осознать и сформулировать для себя и для своих читателей — что именно происходит в литературе по ту сторону границы. Вероятно, статус Гулливера, отправляющегося, пусть мысленно, в страну лилипутов или йеху, был для него чем-то привлекателен, коль скоро он сам его выбрал. Что же искал он у советских авторов? Двух вещей: постоянно — свидетельства о жизни по ту сторону границы и изредка — высокого литературного качества. Второе он находил у Юрия Олеши в «Зависти», у Вениамина Каверина, чьи произведения рубежа 1920—1930-х годов («Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» и в особенности «Художник неизвестен») нравились ему. Высокую оценку у Ходасевича-критика получили «Шум времени» (но не «Египетская марка») Мандельштама, «Петр Первый» Алексея Толстого, «Вор» Леонида Леонова, «Города и годы» Константина Федина и даже, как ни

¹ О мертвых или хорошо, или ничего (*лат.*).

странно, «Разгром» Александра Фадеева. В 1932 году Ходасевич и Берберова составили список значительных, на их взгляд, произведений советской литературы для преподавательских нужд Михаила Карповича. Почти все перечисленные произведения отмечены в этом списке как «хорошие» или «очень хорошие».

Был по меньшей мере один случай, когда отзыв Ходасевича непосредственно повлиял на судьбу произведения и его автора. Речь идет о «Днях Турбиных» Михаила Булгакова. В статье «Смысл и судьба “Белой гвардии”» (Возрождение. 1931. № 2340. 29 октября) Ходасевич, споря с Адамовичем и другими, утверждал, что пьеса Булгакова — произведение не только не белогвардейское, но и не нейтральное, а прямо красное, демонстрирующее духовную бессодержательность белогвардейского движения, несмотря на личную привлекательность части героев-белогвардейцев, точнее, снисходительность их обрисовки. Но советские критики «набросились на автора пьесы, не поняв ее подлинного смысла», а публика ответила на травлю сочувствием опальной пьесе и ее автору. В результате «успех пьесы, направленной против врагов советской власти, силою вещей превратился в демонстрацию против самой власти». Этими утверждениями бывшего друга тут же воспользовался Горький, который в письме Сталину от 22 ноября 1931 года переслал ему статью Ходасевича со следующим колоритным комментарием: «Ходасевича я хорошо знаю: это — типичный декадент, человек физически и духовно дряхлый, но преисполненный мизантропией и злобой на всех людей. Он не может — не способен — быть другом или врагом кому или чему-нибудь, он “объективно” враждебен всему существующему в мире, от блохи до слона, человек для него — дурак, потому что живет и что-то делает. Но всюду, где можно сказать неприятное людям, он умеет делать это умно. И — на мой взгляд — он прав, когда говорит, что именно советская критика сочинила из “Братьев Турбиных” (так у Горького. — *В. Ш.*) антисоветскую пьесу»¹. К этому времени уже состоялся знаменитый телефонный разговор вождя народов с автором «Белой гвардии», но возобновлению пьесы во МХАТе в январе 1932 года письмо Горького и статья Ходасевича, вероятно, способствовали².

Конечно, очень многого в прозе, печатавшейся в советских журналах, Ходасевич не в состоянии был оценить. Иногда это было исторически закономерно, как в случае Андрея Платонова, чьи публикации несколько раз, и всегда уничижительно,

¹ Новый мир. 1997. № 9.

² В целом В. Ходасевич благожелательно относился к творчеству М. Булгакова, но «Белой гвардии» и ее инсценировке — «Дням Турбиных» предпочитал «Дьяволиаду» и «Роковые яйца».

поминаются в его обзорах. Иной мир, иной язык. Но порой Ходасевич просматривал и внутренне близких ему авторов. Так произошло в случае Константина Вагинова, чьи стихи не понравились ему. Совсем уж не понял Владислав Фелицианович («Гулливер») дебютный роман Вагинова «Козлиная песнь»: «Все действующие лица, так или иначе, развратничают и отличаются друг от друга только преимущественно “изысканными” пороками. Правда, автор временами иронизирует над ними, но настолько слабо, что у читателя остается ощущение полного удовольствия, испытываемого автором от поведения героев» (Возрождение. 1928. № 1269. 22 ноября). В трагическом произведении, основной мотив которого — гибель «аттической» культуры под напором нового варварства, Ходасевич не заметил ничего, кроме этих «изысканных пороков». Несколько щедрее оказался он к «Трудам и дням Свистонова»: «Повесть о писателе и его героях, очень капризная, очень своеобразная, которая была бы, конечно, значительно лучше, если бы не искусственность и болезненность вагиновского творчества» (Возрождение. 1929. № 1500. 11 июля). Более психологически понятно неприятие Ходасевичем творчества Юрия Тынянова. Впрочем, «Кюхлю» Владислав Фелицианович ценил. Но уже «Смерть Вазир-Мухтара» показалась ему неудачей: «Тынянов выдумал и Грибоедова, и Ермолова, и Паскевича, и всех их наделил чертами Шкловского» (Возрождение. 1928. № 1031. 29 марта). Еще меньше понравилась поэту «Восковая персона», изничтожению которой (прежде всего с точки зрения фабульного построения) он посвятил целую статью (Возрождение. 1931. № 2172. 14 мая). Мысль о том, что филологи, ставящие во главу угла «прием», сами художественными приемами владеют не блестяще и что именно в этой области он может их высмеять, явно грела его сердце.

Очень часто Ходасевич обращался к советской литературе как к источнику информации о быте и — что еще важнее — о психологии жителей страны, изменившейся за годы его отсутствия. Эту информацию он искал у самых разных авторов: от ценимого им Михаила Зощенко и лично ему малоприятного, но признаваемого талантливym Анатолия Мариенгофа, до уничижительно оцениваемого им Федора Гладкова или Валентина Катаева, чьей пьесе «Квадратура круга» Ходасевич посвятил статью «Энглизе с гаврилкой» (Возрождение. 1928. № 1171. 6 августа). В этой пьесе, художественно ничем не примечательной, Ходасевича поразило свидетельство о настроениях студентов-комсомольцев, в частности, «отчетливый дух идиотского вторжения “доктрины” и “принципа” в области, где ни доктринам, ни принципам нечего делать» — в сфере интимных

взаимоотношений и быта. Когда некая советская девушка, волею судеб ненадолго оказавшаяся в Париже, послала в газету письмо, где доказывала, что она и ее друзья ничуть не похожи на героев катаевской пьесы, Ходасевич ответил статьей «О молодежи» (Возрождение. 1928. № 1199. 13 сентября), где объяснял барышне: это — не о вас, ведь вы беспартийная, а «между коммунистическим и беспартийным студенчеством в России — пропасть, та самая, которая отделяет партию коммунистов от всей остальной России». В «Возрождении», как и в других эмигрантских газетах, верили в существование этой пропасти. Верил ли в нее сам Ходасевич? Вполне ли искренен был он, когда, основываясь на самых разных источниках — беллетристических, документальных, полудокументальных, — описывал СССР как безраздельное царство унылой тупости, мешанства и рабства, управляемое ненавидимой народом «обезьяньей бандой», когда отрицал всякие созидательные возможности и всякие успехи новой власти — или все же чувствовал, что упрощает реальность, подсознательно приспособляясь к линии газеты или пытаясь внутренне оправдать собственный выбор? Чтение советской литературы должно было создать у него несколько более сложную картину происходящего в СССР — хотя и не менее трагическую¹.

Особое место занимают высказывания Ходасевича (Гулливера) о советской поэзии. Здесь ему нравится немногое. Он не пропускает редких публикаций Мандельштама (что-то ему нравится, например, «Нет, никогда ничей я не был современник...»), что-то — нет, скажем, «Сегодня ночью, не солгу...»; злорадно замечает, что Пастернак перепечатывает старые стихи (заметьте: в новой редакции); сдержанно-одобрительно отзываясь о «Кротонском полдне» Лившица; из новых поэтов пишет о Багрицком, иногда — о Луговском, часто — о Вольфе Эрлихе; с энтузиазмом отмечает мелькнувшую в «Красной нови» подборку Константина Липскерова. Зато неизменны язвительные цитаты из нескольких особенно раздражающих Ходасевича стихотворцев, среди которых на первом месте Илья Сельвинский. Этого поэта, как и Николая Ушакова, Гулливер как будто намеренно не отделяет от явно бездарного Александра Безымен-

¹ Интересно, что Гулливер ни разу не упоминает о романах И. Ильфа и Е. Петрова, хотя они пользовались определенным успехом в эмиграции. См., например, письмо В. Ходасевича Н. Берберовой от 26 августа 1932 года: «Одна барышня читала русскую книжку недавно — года три тому назад. Очень хорошая книжка, большевистское сочинение, но смешное — про какую-то дюжину стульев». Как известно, среди поклонников «Двенадцати стульев» в русском зарубежье были не только барышни, но и В. Набоков.

ского, а формальные эксперименты, пусть тупиковые и глуповатые, — от явного неумения. Бывают и вовсе досадные случаи: Гулливер глумливо цитирует восемь поэтических строк (на самом деле — ярких, выразительных) и по-детски посмеивается над фамилией их автора, а фамилия эта — Оболдуев, и принадлежит она, как мы сейчас знаем, поэту не только значительному, но вполне «несозвучному», чудом прорвавшемуся в советскую печать.

Основную тенденцию, господствовавшую в советской поэзии на рубеже 1920—1930-х годов, Гулливер понимал так: «Стихи должны быть не только не “поэтичны” (этот лозунг был брошен еще десять официальных лет тому назад), они должны быть не только прозаичны (это полумера!), они должны быть ближе к *газетному* языку. <...> Если тот или иной смысл стихотворения только желателен... то форма поэзии уже обязательна: это должна быть *риторика*. Недаром не так давно один советский критик признался, что более, чем у Пушкина и Лермонтова, советские поэты должны учиться у Ломоносова» (Возрождение. 1928. № 1178. 23 августа). Несомненно, эта тенденция, проявлением которой Ходасевич считал творчество конструктивистов, воспринималась им как враждебная. Не менее враждебными были для него «центробежные» лингвистические силы, заявившие о себе в 1920-е годы, — увлечение диалектизмами, местными и профессиональными говорами, «сказом». Это, впрочем, относилось как к поэзии, так и к прозе.

Среди сюжетов, связанных с восприятием Ходасевичем поэзии метрополии, самый интересный — его отношение к творчеству Николая Заболоцкого. Начиная с 1929 года Гулливер регулярно поминает этого поэта. Поминает всегда издевательски, как курьез, но само количество упоминаний впечатляет. Наконец, в 1933 году Гулливер полностью посвящает свою «Летопись» его творчеству (Возрождение. 1933. № 2935. 15 июня). Почти вся заметка состоит из цитат, перемежающихся прозаическим пересказом стихотворений Заболоцкого (тех, которые Ходасевич и Берберова могли прочесть в журналах: «Меркнут знаки зодиака», «Цирк», «Торжество земледелия», «Лодейников», «Венчание плодами»), а завершение таково: «Трудно сказать, что такое Заболоцкий. Возможно, что он просто издевается над вершителями советских литературных судеб. А может быть, это чистосердечный кретин, сбитый с толку, нахватавшийся кое-каких познаний, уверовавший в коллективизацию Видоплясов, при всем том отнюдь не лишенный какого-то первобытного поэтического дара, как не был его лишен и Хлебников, у которого Заболоцкий, видимо, “учился”».

Создается впечатление, что Ходасевич, заставляя себя смотреть на «кретина» свысока, ничего не может поделаться с тем сильным впечатлением, которое производят на него строки Заболоцкого и «нелепые» сюжеты его стихотворений, и это противоречие его беспокоит, так же (и еще больше) как во время «нельдихенского» инцидента в 1921 году, когда он впервые, может быть, задумался об «уме» и «глупости» поэта. В 1927-м, мысленно возвращаясь к той истории, он пишет статью «Глуповатость поэзии» (Современные записки. Кн. XXX), в которой пытается растолковать — себе самому в первую очередь! — слова Пушкина про поэзию, которая должна быть глуповата. Сейчас он объясняет их себе так: «В мире поэзии автор, а вслед за ним и читатель вынуждены отчасти отказаться от некоторых мыслительных навыков, отчасти изменить их: в условиях поэтического бытия они оказываются неприменимы. <...> Начинают терять цену многие житейские представления, в сумме известные под именем здравого смысла. Оказывается, что мудрость поэзии возникает из каких-то иных, часто противоречащих “здравому смыслу” понятий, суждений и допущений. Вот это-то лежащее в основе поэзии отвлечение от житейского здравого смысла, это расхождение со здравым смыслом... и есть та *глуповатость*, о которой говорит Пушкин. В действительности это, конечно, не глуповатость, не понижение умственного уровня, но перенесение его в иную плоскость и соответственная перемена “точки зрения”».

Но у Заболоцкого «расхождение со здравым смыслом» и «перемена точки зрения» были уж слишком сильны, доходя до отказа от традиционной антропоцентрической картины мира. Более того: Заболоцкий, как и другие обэриуты, взламывал границы между серьезным высказыванием и пародией (причем куда последовательнее, чем тот же Нельдихен), намеренно самоотжествлялся с простодушным сознанием обывателя и с фантастическим мышлением «естественных мыслителей». Ходасевич был не единственным, кто не мог этого понять, но он, кажется, *чувствовал, что не понимает*, — и вновь и вновь обеспокоенно возвращался к предмету. Не зная, конечно, что Заболоцкого в Ленинграде иные сравнивают с капитаном Лебядкиным и что молодой поэт подчеркнуто не обижается на это сравнение, прибавляя, однако, что «мои стихи — не пародия». Ходасевич в 1931 году, как раз в период интереса к Заболоцкому, пишет статью «Поэзия Игната Лебядкина» (Возрождение. 1931. 10 февраля. № 2088). Наконец, в 1936 году он вспомнит Заболоцкого в статье «Ниже нуля».

Смог бы он понять больше, прочитав полностью «Столбцы», увидев их поразительные — местами — интонационные

и стилистические параллели с некоторыми собственными стихами, например, «Звездами»? И что было бы, познакомься Ходасевич с самим Заболоцким, человеком в быту, как известно, серьезным, напроць лишенным даже деланой «глуповатости»? Задаваться этими вопросами бессмысленно. Наверное, и к лучшему, что младший поэт, до конца жизни безоговорочно восхищавшийся «Европейской ночью», не знал, что писал о нем автор этой книги.

Еще одной темой, наряду с поэзией и прозой, которую постоянно затрагивал Ходасевич в своих обзорах, были историко-литературные работы советских ученых. Он не без зависти отмечал их заслуги в области «формальной истории литературы» (установления фактов, публикации рукописей) и негодовал, что эту «большую и действительно нужную работу, совершаемую на пользу русской литературе, здесь не замечают» (Летучие листки // Возрождение. 1928. № 1304. 27 декабря). Но интерпретации и идеи советских литературоведов всерьез не принимал. Отвергая формализм, он совершенно не оценил и попавшие ему в руки «Проблемы творчества Достоевского» Михаила Бахтина («Единственно интересное... — философско-лингвистическая часть, где трактуется проблема слова у Достоевского»¹). О «социологической школе» и говорить нечего: «Марксистские литературоведы... лишь постольку могут говорить о литературе, поскольку, отклоняясь от марксизма, попадают под влияние немарксистских воззрений. <...> Вот если владыкам душ и тел удастся выколотить из русского народа нечто литературообразное и при том не выражающее ничего, кроме “социальных оснований”, только тогда марксисты получат объект для своих исследований»².

Может создаться впечатление, что Ходасевич-критик намного больше писал и говорил о советской литературе, чем об эмигрантской. Это, конечно, не так. В 1927—1932 годах он пишет благожелательные и почтительные статьи о ведущих мастерах старшего поколения — Мережковском, Бунине, даже Куприне (о его «Юнкерах») и о своих сверстниках Муратове, Алданове, опекает молодых поэтов, фактически первым открывает Сирина (Набокова). Иных начинающих авторов он недооценивал (например, Гайто Газданова), но и о них писал с уважительным интересом. Более того, он оппонировал тем критикам эмиграции, кто, как Адамович или Бем, в те годы склонны были, на его взгляд, преувеличивать значение совет-

¹ Возрождение. 1929. № 1605. 19 октября.

² Ходасевич В. В поисках критики // Возрождение. 1929. № 1626. 14 ноября.

ской беллетристики. Неверию в принципиальную возможность эмигрантской литературы он противопоставлял исторические примеры: «Три эмиграции образовали три новых и великих литературы: Данте; вся классическая польская литература — Мицкевич, Словацкий и Красинский; у французов — Шатобриан и Сталь»¹. В ответе на анкету «Новой газеты» (1931. № 1) он называет тремя лучшими произведениями последних лет «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Защиту Лужина» Сирина и «Зависть» Олеси: две эмигрантские книги и одну советскую. Таков был на тот момент итоговый баланс, существовавший в его сознании.

«Изгнание» казалось Ходасевичу творчески более плодотворным, чем жизнь «под ярмом», но лишь при условии, что оно перестанет быть только *изгнанием* («Я не в изгнании, я в посылках») — эти строки Берберовой он не раз цитировал в своих статьях), что эмиграция станет *главным жизненным делом*, каким была она для Мицкевича, Словацкого, Красинского. Но такое понимание эмиграции — как жизни во имя и для грядущей России — предусматривало как раз напряженный интерес к тому, что происходит в метрополии. Поэтому суждения Ходасевича о советской (точнее: *подсоветской*) литературе особенно важны и интересны.

5

Еще 15 ноября 1925 года Ходасевич обмолвился в письме Борису Диатропову: «Нюра писала мне, что ей кто-то сказал, будто видел мою новую книгу стихов. Интересно мне, *кто* сказал, потому что я такой книги не видел. Подумываю о ней — это верно»². Но прежде, чем замысел воплотился, прошло полтора года.

С января 1925-го по январь 1927 года Ходасевич написал полтора десятка стихотворений, из которых счел достойными публикации всего восемь. Среди них — потрясающе экспрессивные «Звезды», классически ясные «Соррентийские фотографии», знаменитый «Петербург». Два стихотворения особенно интересны — не только по чисто художественным достоинствам (хотя они принадлежат к лучшему у поэта), но и по настроению. Это — «Баллада» и «Джон Боттом».

По существу, в этих стихотворениях содержится своеобразная антитеза стихам Ходасевича 1922—1924 годов. Земной че-

¹ Городецкая Н. В гостях у Ходасевича // Возрождение. 1931. № 1691. 22 января.

² СС-4. Т. 4. С. 492.

ловек, чья жизнь кажется поэту убогой и тягостной, предъявляет *свою* правду. И эта правда оказывается не «малой», а равноценной летучей правде художника; еще недавно вдохновлявший Ходасевича трагический экстремизм, замешанный на освободительной ненависти к миру, теперь подвергается иронической рефлексии:

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

Мне лиру ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло, —
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло...

(«Баллада», 1925)

«Идиотства Шарло» нуждаются в комментарии: с современной точки зрения фильма Чарли Чаплина, чье имя во Франции транскрибировалось на местный манер, — великие произведения искусства. Но для Ходасевича кинематограф как таковой был воплощением вульгарности. В 1926 году он принял участие в дискуссии о кинематографе, в которой оппонентами его выступили, в частности, Павел Муратов и Евгений Зноско-Боровский. Первый видел в кинематографе «антиискусство», явление, враждебное высокой культуре. Ходасевич, возражая ему, писал:

«Кинематограф и спорт суть формы примитивного зрелища, потребность к которым широкие массы ощущали всегда. Но в наше время эта потребность особенно возросла, потому что современная жизнь особенно утомительна и потому что ныне в одуряющую городскую жизнь и в одуряющий механизированный труд втянуты и относительно более широкие слои, и абсолютно большие массы людей.

Это с разных точек зрения прискорбно. <...> Но искусству как таковому кинематограф, по природе своей, не грозит ничем. <...> Посторонний искусству по природе, он становится “антиискусством” только с той минуты, как начинает трактоваться в качестве нового двигателя искусства. Кинематограф как антиискусство существует только в лице его поклонников и пропагандистов, стремящихся его художественно оправдать» (Последние новости. 1926. 14 июля).

Здесь налицо выпад против Шкловского, чья автобиографическая повесть «Третья фабрика», посвященная работе в Госкино, вышла незадолго до этого, в начале 1926 года. Вообще идея формалистов о том, что «низкие жанры» постепенно поднимаются и становятся высокими, что нечто, вчера бывшее

«примитивным зрелищем», завтра станет шекспировской драмой, должна была Ходасевича раздражать. О том, что отношение Ходасевича к кино как виду искусства осталось неизменным до конца, свидетельствует его рецензия на «Камеру обскуру» Набокова. Споря с критиками, говорящими о «кинематографичности» романа, Ходасевич пытается «реабилитировать» друга-писателя: «Сирин вовсе не изображает обычную жизнь приемами синематографа, а показывает, как синематограф, врываясь в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток, ее, так сказать, синематографирует. <...> *Синематографом пронизан и отравлен не стиль романа, а стиль самой жизни, изображенной в романе*» (Возрождение. 1934. 3 мая).

В данном случае человек, обреченный на «одурающий механизированный труд» и способный воспринимать лишь «примитивные зрелища», кажется явственно обездоленным. Но именно эта обездоленность — залог спасения его души, совсем в евангельском духе, а поэт за свою «жизнь надменную» обречен на адские муки. Таким образом, новая «Баллада» вступает в спор не только со стихами берлинского периода, но и с «Балладой» 1921 года («Сижу, освещаемый сверху»). Причем если здесь мотив морального превосходства «человека» над демоническим «художником» трактуется еще в ироническом, «гейневском» плане, то в «Дактилях», написанных на рубеже 1927—1928 годов и в «Европейскую ночь» не вошедших, иронией уже не пахнет. Антитезой судьбе поэта оказывается судьба его отца, добровольно отрекшегося от творчества ради «трудного и сладкого удела» обычного человека, который не созидает и не судит. Однако — подсознание поэта не обманешь! — обним его антагонистам присуща некая физическая странность/ущербность: символ трагической отмеченности. Один — Шестипалый, другой — Безрукий.

Безрукость — явный след Первой мировой войны, сравнительно мало отразившейся в русской поэзии. Ведь и в «Джоне Боттоме», который в «Европейской ночи» идет сразу за «Балладой», тема этой войны возникает в английском контексте, с явным налетом стилизации. Неслучайно Юлий Айхенвальд в своем восторженном отзыве об этом стихотворении вспоминал английскую балладу и «слепого музыканта Ивана Козлова». Тут можно поговорить о многом — в частности, о мотиве Неизвестного Солдата в русской литературе 1920—1930-х годов, о вдохновленном этим мотивом великом стихотворении Мандельштама 1937 года и о возможной связи его с «Джоном Боттомом» Ходасевича. Связь могла быть и прямой, и косвенной, через промежуточные звенья: «Джона Боттома» в СССР читали. Об этом свидетельствуют, в частности, произведения

нескольких близких в свое время к Ходасевичу писателей: Владимира Лидина, чью исполненную откровенной «клюквы» повесть «Могила неизвестного солдата» заметил Гулливер (Возрождение. 1930. № 2144. 16 апреля)¹; Михаила Фромана, чей «Рассказ о солдате Дармштадтского полка» настолько близок к «Джону Боттому» и тематически, и интонационно, и даже по строфике, что Ходасевич вынужден был мягко упрекнуть собрата за «недостаток уважения к чужой собственности» (Возрождение. 1935. № 3557. 28 февраля).

Но если рассматривать «Джона Боттома» в контексте творчества Ходасевича, то очевидно: баллада эта перекликается с написанным четырнадцатью годами раньше «Голосом Дженни». Только теперь горечь вечной разлуки не смягчается радостями посюстороннего мира. Этот мир опять значителен в глазах поэта, как в дни «Путем зерна», он едва ли достоин презрения, которым злоупотреблял Ходасевич еще недавно, но он дисгармоничен, в нем нет утешения.

Уже в первые месяцы работы в «Возрождении» Ходасевич получает от редакции предложение выпустить в качестве приложения к газете книгу, которая включала бы как новые, так и прежние стихи: этого требовали коммерческие соображения. Поэт предпочел не составлять избранное, а переиздать полностью, с некоторыми изменениями, два своих последних, наиболее значительных сборника. К ним был присоединен третий, составленный из стихов 1922—1927 годов и получивший название «Европейская ночь». Несмотря на то что «Европейская ночь» никогда не выходила отдельно, а только под одной обложкой с «Тяжелой лирой» и «Путем зерна», — несомненно, что это полноправная книга стихов. «Книга стихов» в русской поэзии — особый жанр, начавшийся с «Сумерек» Баратынского, предусматривающий некую концептуальную связанность текстов. Такая связанность в «Европейской ночи» есть: отбор текстов, predeterminedный этой концепцией, был строг: из примерно шестидесяти стихотворений, созданных Ходасевичем за пять лет, в книгу вошло двадцать девять. Название книги, взятое из цикла «У моря» («Под европейской ночью черной / Заламывает руки он»), возникло, судя по его письмам Анне Ивановне, еще в 1923 году.

После выхода в начале осени 1927 года «Собрания стихов» критика вновь обильно заговорила о Ходасевиче. Можно сказать, что это был — если говорить о внешнем признании —

¹ У В. Лидина французского Неизвестного Солдата (каковым оказался Евсей Давидовский из Иностранного легиона) время от времени откапывают и носят по стране; и это не единственная нелепо-выразительная подробность.

звездный час Ходасевича-поэта. Никогда прежде — и никогда после до 1939 года — разом не говорилось *такого* количества *таких* слов о его стихах, как в 1927—1928 годах.

Большую статью напечатала в «Возрождении» (№ 926. 15 декабря) Зинаида Гиппиус, под своим обычным псевдонимом Антон Крайний:

«“Обо всем в одних стихах не скажешь”, но стихами Ходасевича если не всё, то, пожалуй, многое скажешь. Он в них, прежде всего, *четок*; кристаллические стихи: подобно кристаллам, сложны они и ясны; ни одна линия не отъемлема, нужны все одинаково. <...>

Отчасти благодаря своей четкости, резкости прямых линий, поэзия Ходасевича не “обворожительна”. Магия его “сурово стиснутых стихов” — иного порядка. Обвораживают туманности и “несказанности” Блока. Не говорю о том, плюс или минус для поэзии эта “обворожительность”. Да и Ходасевича с Блоком не сравниваю, не занимаюсь вопросом, кто из них больше “поэт”, кто меньше (какой праздный вопрос!). Я просто отмечаю, что Блок “обворожителен”, Ходасевич — нет. <...>

Ходасевич принадлежит сегодняшнему дню, Блок — вчерашнему. Трагедия Блока — не то что менее глубока: но, при всех “несказанностях”, ее “механика” как-то проще. Сложнейшая трагедия внутреннего распада и постоянная борьба с этим распадом — воистину трагедия нашего часа¹.

Муж Антона Крайнего также чрезвычайно лестно отозвался в эти дни о Ходасевиче:

«Бог нам послал певца Ариона в наш обуреваемый челн. Кажется, после Александра Блока никто не говорил таких вещей слов о русской революции, как Ходасевич»².

Рецензия, напечатанная в «Руле» за 14 декабря 1927 года, принадлежала автору молодому — В. Сирину. В 1922 году Айхенвальд показывал Ходасевичу стихи Владимира Набокова-младшего, сына героически погибшего кадета; стихи были юношеские, подражательные и Ходасевича совсем не заинтересовали. К 1927 году он, судя по письмам тому же Айхенвальду, уже не помнил, кто скрывается под псевдонимом Сирин.

Цитируя в начале своей рецензии «Бренту», Сирин прибавлял:

«Если под *поэзией* в *стихах* понимать поэтические красоты, узкое традиционное поэтичество, то *проза* в *стихах* значит совершенную свободу поэта в выборе тем, образов и слов. Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (т. е. в неко-

¹ Цит. по: Гиппиус З. Чего не было и что было. М., 2002. С. 334—335.

² Мережковский Д. Захолустье // Возрождение. 1928. 26 января.

тором смысле несвободный) ритм и составляют особое очарование стихов Ходасевича».

Острота и оригинальность формального анализа (чего стоит хотя бы упоминание про «оптическое-аптекарско-химическо-анатомический налет» на многих стихах Ходасевича) заставили поэта примириться с демонстративным равнодушием Набокова к «человеческому содержанию» его лирики:

«Мастерство и острая неожиданность образов оказывают какое-то гипнотическое действие на читателя и, околдовывая его слух, поражая его внимание, мешают ему “переживать” вместе с поэтом, по-человечески сочувствовать тому или другому его настроению. <...> Так, в стихотворении “Окна во двор” (каждому окну уделено по строфе) изображается так называемая мещанская атмосфера. Однако так восхитительна стеклянная прелесть образов, что читатель просто не в состоянии проникнуться этой атмосферой, пожалеть этих убогих жителей, посетовать на их серую жизнь (и это хорошо)».

В ином случае это «эстетство» вывели бы Ходасевича из себя. Но рецензия Сирина ему понравилась, и он даже собирался написать неизвестному критику письмо¹.

Наконец, в книге XXXIV «Современных записок» (февраль 1928 года) появилась статья Владимира Вейдле «Поэзия Ходасевича», которую мы уже цитировали. Вскоре она вышла отдельным изданием, тиражом 100 экземпляров (ныне эта брошюра — библиографическая редкость).

Как и Гиппиус, Вейдле сравнивает Ходасевича с крупнейшим и любимейшим лириком предыдущей эпохи: «Чем сделались для нас в свое время стихи Блока... стали или должны были стать с тех пор стихи Ходасевича»². Но статья его — не просто набор комплиментов. Критик высказывает много важного о поэтике Ходасевича, во многом не соглашаясь с Андреем Белым, который давно жил в другом мире, среди других реалий и впечатлений, и не догадывался о полемике, которая ведется с его давними статьями в эмигрантских журналах. Белый связывает генезис Ходасевича преимущественно с Баратынским. Вейдле уточняет:

«Белый подчеркнул, что Ходасевич и Баратынский оба изображают мир не красками — светотенью, но он проглядел про-

¹ Ср.: «Я сначала хотел вам написать благодарственное письмо, — знаете, с трогательной ссылкой на незаслуженность и так далее, — но потом подумал, что это внесло бы нестерпимый человеческий душок в область свободного мнения. И потом, — если я что-нибудь хорошо сочинил, то я должен благодарить не вас, а себя, точно так же, как вы должны благодарить не меня, а себя за понимание этого хорошего, — правда» (В. Набоков «Дар»).

² Современные записки. 1928. Кн. XXXIV. С. 452.

тивоположность в этом сходстве, более глубокую, чем оно само, не заметив, что Баратынский поступает так потому, что воспринимает мир умозрительно, отвлеченно, Ходасевич потому, что видит его конкретным, но буднично-бескрасочным. В том же направлении излюбленные обоими поэтами отрицательные эпитеты (слова, начинающиеся с не-, без-, полу) имеют у них, чего не отметил Белый, совершенно разный смысл: у Баратынского метафизический, у Ходасевича эмоциональный»¹.

Вейдле кажется, что если по внешним чертам поэтики Ходасевич близок к Баратынскому, то в ее основах он ближе к Пушкину. Следует знаменитая чеканная формула: «Как Ходасевич связан с Пушкиным, так он не связан ни с каким другим русским поэтом, и так не связан с Пушкиным никакой другой русский поэт». Пушкинское у Ходасевича — «строгая боязнь преувеличений... ненависть к украшенности чувства, к неоправданной торжественности тона». К Пушкину восходит мелодика и склад его стиха. Но в своем мироощущении Ходасевич Пушкину глубоко чужд:

«Тема раздвоенности, просвечиванья *там* сквозь *здесь*, второго я, того, что смотрит со стороны на первое, тема души, обходящейся без мира, и мира, не населенного душой, тема, которая для Пушкина была бы не только неприемлема, но, что еще важнее, непонятна. <...> Существование пушкинских стихов предполагает космос, мир устроенный, прекрасный, нерушимый, тот самый мир, который, словно бумажную оболочку, подернутую бессмысленной синевой, Ходасевичу надо прорвать, чтобы стала возможна его поэзия»².

И вот этими «содержательными» сторонами поэзия Ходасевича ближе уже не к Пушкину, а к Тютчеву.

Статья Вейдле вызвала широкий резонанс в литературных кругах эмиграции. Терапиано она вдохновила на написанное несколькими годами позже почтительно-ироническое стихотворение «Арион русской эмиграции»:

Все, что хирет, что хромает,
Что, вечной скукою кривясь,
Чорт подымает и ломает
И вновь выбрасывает в грязь,

Я желчной губкой собираю
В науку будущим векам.
Смотрю в окно — и презираю:
Презрен весь мир, презрен я сам.

¹ Современные записки. 1928. Кн. XXXIV. С. 453—454.

² Там же.

Словами, мудрый теоретик,
Я взвесил вечности объем.
Работа трех чужих поэтик
Звенит на поясе моем.

И пусть не звучен я, не светел,
Пусть я не щедр и сух и мал —
Я Пушкину в веках ответил.
Как Вейдле некогда сказал¹.

Было бы странно, если бы громкие похвалы Гиппиус, Вейдле и других не вызвали в русской эмигрантской среде и неприязненной, раздраженной реакции. У Ходасевича были не только друзья.

Восьмого марта 1928 года в «Последних новостях» (№ 2542) появилась статья Георгия Иванова «В защиту Ходасевича». Защищал Иванов старшего поэта от славы — на его взгляд, незаслуженной:

«Можно только удивляться в стихах Ходасевича единственному в своем роде сочетанию ума, вкуса и чувства меры. И если бы значительность поэзии измерялась ее формальными достоинствами, Ходасевича следовало бы признать поэтом огромного значения. <...>

Но можно быть первоклассным мастером и остаться второстепенным поэтом. Недостаточно ума, вкуса, умения, чтобы стихи стали той поэзией, которая хоть и расплывчато, но хорошо все-таки зовется поэзией “Божьей милостью”. Ну конечно, прежде всего должны быть “хорошие ямбы”, как Рафаэль прежде всего должен уметь рисовать, чтобы “музыка”, которая есть у него в душе, могла воплотиться. Но одних ямбов мало. “Ямбами” Ходасевич почти равен Баратынскому. Но ясно все-таки “стотысячеверстное” расстояние между ними. С Баратынским нельзя расстаться, раз “узнав” его. С ним, как с Пушкиным, Тютчевым, узнав его, хочется “жить и умереть”. А с Ходасевичем...

Неожиданно для себя выступаю как бы “развенчивателем” Ходасевича. Тем более это неожиданно, что я издавна люблю его стихи (еще в России, где любивших Ходасевича можно было по пальцам пересчитать и в числе которых не было никого из нынешних его “прославителей”). Люблю и не переставал любить. Но люблю “трезво”, т. е. ценю, уважаю, безо всякой, конечно, “влюбленности”, потому что какая же влюбленность в “дело рук человеческих”, в мастерство. И нет, не развенчивать хочу, но, трезво любя, трезво уважая, даже преклоняясь, вижу в хоре “грубых” восхвалений — новую форму безразличия, непонимания. <...>

¹ Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 98.

Прежде: Борис Садовской, Макс Волошин, какой-нибудь там Эллис, словом, второй ряд модернизма — и Ходасевич.

Теперь: Арион эмиграции. Наш поэт после Блока. Наш певец.

В новой форме — то же искажение.

Как не вспомнить тут словцо одного “одиозного” критика: “Ходасевич — любимый поэт не любящих поэзии”. Пусть простят меня создатели вокруг имени Ходасевича “грубой славы”. Да, поэзии они, должно быть, не любят, к ней безразличны. Любили бы — язык не повернулся сопоставить Ходасевич — Блок. Не повернулся бы выговорить: Арион.

Но не любят, равнодушны, и поворачивается с легкостью».

Георгий Иванов впоследствии раскаялся в этой завистливой статье, считая, что она «подкосила» Ходасевича, трагически повлияла на его творческую судьбу. Никаких подтверждений этому нет: видимо, это была со стороны Иванова своего рода «мания величия». Но обиду Ходасевич, конечно, почувствовал. При этом второй «Жоржик» ответственности за выходку Иванова не нес: у него, можно сказать, было алиби. Еще в январе, в первом номере «Звена», Адамович поместил большую и прочувствованную рецензию на «Собрание стихов», во многом созвучную статьям Гиппиус и Вейдле. Между прочим, он подчеркивает отличие «Европейской ночи» от «Путем зерна»:

«По сравнению со стихами, написанными лет десять, восемь или шесть тому назад, его теперешние стихи выдают уже начавшееся исчезновение призраков, и вот “входит жизнь в свои права” и лишает поэта утешений. *Начинается расчет* — и, может быть, он закончится трагически. Всякие бывали концы. Примирение и просветление ничем не преуказано. Но только этот “конец”, каков бы он ни был, и будет воскресением, хотя бы коротким.

Сейчас для Ходасевича мир, от которого он хотел уйти и который его настиг, ужасен. И он рассказывает об этом с действительно неподражаемым искусством»¹.

Начинается расчет? Какой же? Казалось, поэт находится в своей вершинной точке. Но предсказание «полуврага» было не лишено смысла. Всегда есть точка, с которой нет уже пути наверх. А 40 лет — опасный возраст для поэта. В 1927—1928 годах многие большие поэты одного с Ходасевичем поколения выпустили последние в их жизни книги: Мандельштам, Цветаева, Бенедикт Лившиц, Клюев, Парнок. Многие из них переживали в эти годы затяжные приступы молчания. Но только для Ходасевича молчание стало пожизненным, а выход последней

¹ Адамович Г. Литературные беседы. С. 307.

книги — концом поэтического пути. За два года после «Собрания стихов» написалось еще девять законченных стихотворений, напечатано — восемь. Все эти стихи были хороши, хотя мало что меняли в творческом облике поэта. Лучше и значительнее всех — то, которое почему-то осталось в рукописи. Это был собственный «Памятник», с подразумеваемой отсылкой к Пушкину и Державину — и непосредственно к Горацию, чей «Памятник» Ходасевич помнил наизусть с гимназических лет:

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.

Сам еще не желая себе в этом признаться, 28 января 1928 года этими стихами Владислав Фелицианович по существу завершил свой «лирический корпус» и попрощался с поэзией.

1930 год был первым во взрослой (с семнадцати лет) жизни Ходасевича, когда он не написал ни одного стихотворения. Что произошло? Строки перестали рождаться в его сознании или он сам не давал им выхода, чувствуя, что отныне может лишь повторять себя — а этого не позволяла совесть и гордыня мастера? Трудно сказать. Когда-то, шесть лет назад, он в одном из стихотворений походя написал о том, «как упоительно и трудно привыкнув к слову — замолчать». Теперь предсказание сбывалось. Только едва ли в жизни без творчества было что-то упоительное.

6

Впрочем, было одно обстоятельство, смягчавшее эту «травму молчания». Именно на 1930 год падает основная работа над книгой «Державин», ставшей вершинным творением Ходасевича-прозаика, точнее — мастера *невывымышленной прозы, non-fiction*, говоря современным языком.

Работа продолжалась два года — с января 1929-го по январь 1931-го. Еще до завершения книги ее фрагменты появлялись в «Возрождении» и в «Современных записках»¹. Отдельным изданием «Державин» вышел в Париже в марте 1931 года².

¹ Возрождение. 1929. № 1433, 1591; 1930. № 1680, 1745, 1836, 1913, 1976, 1983, 2000, 2090. Современные записки. 1929—1930. Кн. XXIX—XLII.

² Ходасевич В. Державин. Париж, 1931.

Обращение Ходасевича к жанру биографии отвечало его собственным писательским интересам и складу (вспомним не-реализованный некогда замысел биографии Павла I), но в Париже конца 1920-х оно выглядело особенно логичным: французская литература переживала моду на биографии, которая затронула и русскую эмиграцию. К жанру биографических книг обратился, в частности, Мережковский, напечатавший в 1929 году своего «Наполеона», за которым последовали «Данте», «Лютер», «Жанна д'Арк», «Паскаль» и пр.¹ Книга Ходасевича была воспринята читателями во многом в этом контексте. 20 февраля 1930 года, после публикации первых фрагментов книги, он не без иронии пишет Берберовой: «Обо мне чушь какая-то, но восторги вдребезги. <...> Как верх похвал: “лучше, чем Моруа и Мориак”»². Одновременно интерес к биографическому жанру наблюдался и в СССР, но там в 1920-е годы возобладал жанр романизированной, беллетризированной биографии. Ходасевичу, несмотря на положительную оценку тыняновского «Кюхли» и толстовского «Петра Первого», этот путь не особенно нравился. В любом случае лично ему, как писателю, он был чужд.

«Державин» — прежде всего стилистический шедевр. У части рецензентов «пушкинский» слог книги вызывал сомнения: ведь в книге идет речь о другом времени и другом поэте. Но думается, Владислав Фелицианович подсознательно ориентировался на «Капитанскую дочку» (безоговорочного восхищения которой, кстати, не разделял)³ — он писал о величайшем поэте допушкинской архаики, поэте рассвета, из бесконечно продолжающегося пушкинского полдня, так же, как сам Пушкин писал о Петруше Гринева, державинском современнике. В любом случае, можно согласиться с Марком Алдановым: «...художественная прелесть приема вполне его оправдывает: победителей не судят»⁴.

«Державина» хочется цитировать — и очень трудно выбрать абзац для цитирования: все хороши. Ну вот, к примеру, описание впечатления, которое произвела на Екатерину «Фелица»:

«Чувствительность не была ей чужда; знавала она и сильные увлечения; случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею; но при всем этом здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновения. В частности, она очень трезво и просто смотрела на

¹ Позднее в этом жанре выступила Н. Берберова, создавшая биографии П. Чайковского и А. Бородина.

² РГАЛИ. Ф. 537. Ед. хр. 130. Л. 24—25.

³ См., например, отзыв В. Ходасевича о «Пушкине и Пугачеве» М. Цветаевой (Русские записки. II // Возрождение. 1937. № 4106. 12 ноября).

⁴ Современные записки. 1931. Кн. XLVI. С. 496.

собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлем Минервы был ей велик, одежды Фелицы пришлись как раз впору. Державин думал, что внешняя шутливость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла, наконец, поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В “Фелице” она увидала себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах, человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям, сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей и пристрастий! Словом, при всей идеальности, портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю — от больших добродетелей до маленьких слабостей. “Кто бы меня так хорошо знал?” — в слезах спрашивала она у Дашковой.

Даже такая, в сущности, мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставила ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе: она не хотела быть выше сравнений».

Но этот пассаж очень хорошо показывает и своеобразие жанра книги. Это — не роман: Ходасевич точно следует за своими источниками (биографией Державина, написанной Яковом Гротом, мемуарами самого поэта, воспоминаниями Ивана Дмитриева, Сергея Аксакова, трудами Николая Шильдера о Павле I и Александре I), часто прибегая к тонким психологическим реконструкциям, но ничего не додумывая фактически. Однако же эти реконструкции даются не в сослагательном, а в изъявительном наклонении. У Ходасевича есть собственное видение всех основных действующих лиц, их психологии, мотивов их действий, видение, которое читателю следует принять как данность. Никаких сомнений, неясностей, открытых вопросов.

Каким видит он Державина?

«Он вырос в глуши, воспитался в казарме, да на постоянном дворе, да в огне пугачевщины. С младенчества было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к тридцати годам, остались главным его мерилем. Добро и зло разделял он ясно, отчетливо; о себе самом всегда знал; вот это я делаю хорошо, это — дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главное в нем.

И это уже тогда было главное, за что любили его одни и не любили другие».

В сущности — Петруша Гринев, но доживший до старости и наделенный творческим гением. Впрочем, следующий абзац нарушает монументальную цельность этого образа:

«Себя он считал “горячим”. Горячность и была в нем. Но прежде всего он был просто нетерпелив. Видя вокруг лукавство и ложь, он нередко отчаивался в прямом пути, решал быть хитрым и скрытным, как все другие. Тогда любил уверять себя, будто действует пронизательно, предусмотрительно, трезво и хладнокровно. Но всего этого хватало лишь до тех пор, пока все шло гладко и пока, в сущности, ни хитрость, ни хладнокровие не подвергались настоящему испытанию. При первом препятствии, при первом же столкновении с ложью, с обидой, с несправедливостью, то есть как раз когда хитрость и хладнокровие действительно становились нужны, — Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячности».

Трудно представить более далеких друг от друга по складу людей, чем Державин и Ходасевич. Но при чтении писем и рецензий Владислава Фелициановича поневоле начинаешь подзревать, что в этих словах скрыт и некий автобиографический опыт. Как и Державин, Ходасевич всю жизнь пытался участвовать в каких-то сложных играх и интригах — только не придворных, а литературных, журналистских, отчасти и политических. Никогда у него это не выходило, в том числе из-за страстности и нетерпеливости нрава. Только в его случае это была не горячность казанского дворянина, а нервозность уязвленного разночинца. Точно так же, описывая разочарование автора «Фелицы» в Екатерине, Ходасевич не мог не думать о собственных разочарованиях: преждем — в революции и уже наметившемся — в эмиграции.

Отличия все же были сильнее сходства. Между Ходасевичем и Державиным лежала не меньшая культурно-антропологическая пропасть, чем между нами и людьми Золотого или Серебряного веков. Но Владислав Фелицианович не то не замечал ее, не то делал вид, что не замечает. Он невольно стилизовал своего героя и в то же время воспроизводил его собственный взгляд на реальность, никак его не корректируя. Особенно это бросается в глаза при описании завершающего этапа государственной деятельности Державина, когда стареющий Гаврила Романович противостоял реформам соратников Александра I:

«В Сенате он вслух критиковал указ о вольных хлебопашцах, говоря, что “в нынешнем состоянии народного просвещения не выйдет из того никакого блага” и что указ, сверх того, неисполним (что позже и было подтверждено событиями)».

Если учесть, что указ о вольных хлебопашцах мог — и, по замыслу его инициаторов, должен был стать первым шагом к отмене крепостного права, можно лишь согласиться с Алдановым, который мягко укорил Ходасевича за эту фразу. О решающей роли Державина в разработке ограничительных законов о евреях внук Якова Брафмана вообще ничего не пишет, хотя не знает об этом (хотя бы из тех же державинских мемуаров) не мог. Обходит он вниманием и позорную, на взгляд людей иного времени, оду на смерть графини Румянцевой, в которой Державин ставит одну из фавориток Петра I, отъявленную интриганку и маниакальную картежницу, в пример Екатерине Дашковой, умнейшей, образованнейшей, достойнейшей женщине своей эпохи. В сущности, за Державиным признаются лишь те сомнительные поступки, которые были бы простительны по меркам и пушкинской эпохи, и эпохи Ходасевича. Например, попал юный Гаврила Романович в шайку шулеров, в чем потом горько раскаялся; Владислав Фелицианович, сам заядлый картежник, описывает это с увлечением и знанием дела.

Но иногда монументально-жуткая реальность прорывается: «Придя в Малыковку, он тотчас нарядил следствие; троих мужиков, повинных в убиении казначея Тишина с женой и детьми (которым головы размозжили об угол), “по данной ему от генералитета власти, определил на смерть”. Замечательна смесь воображения и расчета, с коими он затем действовал. На другой день всех жителей, мужского и женского полу, согнали на близлежащую гору. Священнослужителям всех семи церквей малыковских приказано было облечься в ризы. Пушку, заряженную картечью, навели на толпу; двадцать гусар с обнаженными саблями разъезжали вокруг, чтобы рубить всякого, кто захочет бежать. На осужденных надели саваны, дали им в руки зажженные свечи и при погребальном звоне привели к месту казни. “Сие так сбившийся народ со всего села и из окружающих деревень устршило, что не смел никто рта разинуть”. Прочтя приговор, Державин велел этих троих повесить, а еще двести крестьян, тех самых, что осадили его недавно при переправе, — пересечь плетью. “Сие все совершили, и самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне”».

Можно вообразить, как отреагировал бы Ходасевич, если бы вдруг узнал о том, что кто-нибудь из его современников-поэтов во время Гражданской войны *лично* выносил смертные приговоры (пусть заслуженные) и присутствовал при их публичном исполнении, проявляя при этом «воображение и расчет». Но это еще не всё. Ходасевич не мог не знать хладнокровной фразы из примечаний к «Истории Пугачевского бунта»: «И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сних мужиков

более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости».

От обсуждения тех мрачных бездн, которые раскрываются при одной мысли об этом *поэтическом любопытстве*, Ходасевич уклонился. Ему нужен был Державин цельный, эпический, «бессмертный и домовитый», Поэт, для которого создание культуры неотъемлемо от устройства страны. И ему удалось этот монументальный образ создать.

О «Державине» писали много и хвалебно. В «Возрождении» — Павел Муратов, в «Руле» — Александр Кизеветтер, в «Последних новостях» — Словцов. «Современные записки» в одной XLVI книге поместили две рецензии — Петра Бицилли и Марка Алданова. Был отклик и во французской прессе¹. Злое слово было сказано лишь одно, но и оно в своем роде доставило Ходасевичу удовольствие, поскольку принадлежало Дмитрию Святополку-Мирскому. В 33-м номере еженедельной газеты «Евразия» (1929) он, отзываясь на публикацию первых фрагментов «Державина» в «Современных записках» (кн. XXXIX), писал: «Конечно, Ходасевич настоящий писатель, по уму и литературному уменью превосходящий всех представленных в этом номере. <...> Но какая утонченная извращенность, граничащая с садизмом, нужна была, чтобы самому мертвому и “трупному” из всех когда-нибудь живших писателей выбрать своей жертвой насквозь живого и здорового Державина». 21 августа 1929 года Ходасевич писал Марку Вишняку: «...хоть и самым мертвым и трупным, но все же “из *всех когда-нибудь живших*” писателей быть занятно. Четыре тысячи лет (на худой конец) человечество не производило ничего, подобного мне»². Сам Святополк-Мирский видел возрождение державинской линии в наиболее ценимых им современных авторах — Цветаевой, Маяковском. Обращение к этой теме Ходасевича казалось ему узурпацией. Но он был отчасти прав: Державин притягивал Ходасевича во многом как собственная противоположность.

7

К тому времени Ходасевич и Берберова уже покинули квартиру на Ламбларди. Теперь они жили на улице Катр-Шемине в Бийянкюре, фабричном пригороде Парижа, где в большом количестве обитали русские эмигранты. Здесь были русские ка-

¹ Заметка А. Левинсона в газете «Je Suis Partout» (1931. Mai 30).

² СС-4. Т. 4. С. 514.

баки, в которых пели цыгане и плясали безработные джигиты; здесь «врангелевская шпана» (по выражению Берберовой), ныне рабочие заводов Рено, со слезами вспоминала о Перекопе и Галлиполи; здесь в магазине мадам Пышман продавались консервы Киевского пищедреста. Здесь Берберова черпала материал для своих первых беллетристических произведений: талантливой, хотя и подражательной (главным образом, Зошенко) книги рассказов «Биянкурские праздники» и романа «Последние и первые» — халтурного, совершенно соцреалистического по поэтике сочинения про предпринимателя-доброхота, своего рода современного Костанжогло, приспособляющего эмигрантов к работе на земле, к выращиванию спаржи. Из писателей соседом Владислава Фелициановича и Нины Николаевны был Борис Зайцев. Ходасевич прожил в этом районе до конца своих дней.

Тем временем миновало 25 лет со дня первой публикации Ходасевича. По старым, дореволюционным обычаям это было поводом для юбилея. Двадцатилетний юбилей литературной деятельности бывшего мужа заметила лишь Анна Ивановна, но сейчас «Возрождение» решило оказать честь своему сотруднику.

В номере за 2 марта 1930 года были помещены большая фотография Ходасевича и статья о нем, написанная Владимиром Вейдле. Автор отмечал заслуги Ходасевича-критика, «чуткого... ко всякому греху против человечности, и потому... — враждебного футуризму, формализму, как попыткам оставить литературе одну литературную шелуху». Но прежде всего Вейдле писал о стихах Ходасевича:

«Тот ничего в них не поймет, кто их примет за ювелирные изделия. В том и состоит более высокое их совершенство, что они вообще не сделаны, что их поверхность неотличима от их глубины, что в них нет ничего внутри, что не находило бы пути наружу, нет ничего снаружи, что не было бы обусловлено внутри.

Такие стихи не каждому дано писать. Их не забудет русская поэзия. В годы, последовавшие за ее вторым расцветом, в годы ее быстрого оскудения послышался вдруг этот новый голос, не похожий на другие голоса. <...> Другие или недостаточно обновляют русскую преемственность, или совсем отрываются от нее; Ходасевич ей верен и в ней свободен, свободен именно потому, что верен ей. <...> Он сохранил жизнь русской поэзии, живой ритм русского стиха, без чего не полностью жива и сама Россия».

Организация чествования не обошлась без сложностей, поскольку Ходасевич был постоянным сотрудником изданий про-

тивоположной политической направленности. Тем не менее в ресторане «Монизетт», напротив «Клозери де Лиля», 4 апреля собрались и «возрожденцы», и «ближайшие сотрудники» «Современных записок», и эмигрантские живые классики Бунин, Мережковский, Зайцев, Куприн — всего человек сорок. Организацией юбилея ведала Берберова. Как записала в дневнике Вера Бунина, «юбиляр явился поздно, когда все были в сборе. Как всегда, изящен, немного насмешлив и, как редко, доволен». Бунин и Мережковский говорили речи, Вишняк прочел сочиненные в его честь стихи.

Кроме газеты и журнала, в которых сотрудничал Ходасевич, о его юбилее вспомнили в еврейских кругах русского Парижа. Возник замысел переиздания его уже ставших классическими переводов. Выбор остановился на никогда отдельным изданием не выходявшей «Свадьбе Эльки» Черниховского. Предполагалось выпустить книгу тиражом 260 экземпляров, с иллюстрациями Мане-Каца. К сожалению, издание так и не состоялось (для другого, тоже не доведенного до конца издания «Свадьбы Эльки» иллюстрации делал в те же годы — ирония судьбы! — Леонид Пастернак, отец вечного антагониста Владислава Фелициановича).

«Поднять престиж Ходасевича», о чем хлопотала Нина Берберова, казалось, удалось. Однако вскоре долгожданный праздник был омрачен, как и триумф после «Собрания стихов» — причем тем же самым человеком. На обеде в «Монизетт» в числе других присутствовали «Жоржики», Одоевцева, Оцуп. Для них 1930 год также был удачным. Возник журнал «Числа». После прекращения в 1928 году «Звена» у «гумилят» не было своего печатного органа. Сейчас им удалось обзавестись им благодаря тем же практическим талантам Оцупа, которые спасали их от голода в Петрограде. Спонсором и формальным соредактором нового журнала выступила теософка Ирма де Манциарли. Это позволило «Числам» объявить себя журналом чисто литературным, стоящим вне текущей политики. Понятно, что подобная позиция вызвала у собратьев по эмиграции обвинения в «эстетстве», возрождении традиций декаданса и даже в «советофильстве». Но Ходасевич мог «гумилятам» только позавидовать: зависимость эмигрантской литературы от некомпетентных редакторов-политиков была его постоянной головной болью. Позднее, когда помощь Манциарли прекратилась, «Числам» приходилось прибегать к разным способам финансирования, в том числе тем, что так язвительно описаны в рассказе Набокова «Уста к устам»: публиковать сочинения щедрых графоманов; тем не менее журнал дотянул лишь до десятого номера, причем два из них были сдвоенными.

«Числа» стали прибежищем литературной молодежи, которой трудно было проникнуть на страницы «Современных записок». Именно здесь сформировалась, под влиянием Георгия Иванова и под опекой Адамовича, та школа, которой дано было позднее название «Парижская нота». Здесь печаталась проза Юрия Фельзена, Сергея Шаршуна, Василия Яновского, статьи Сергея Лифаря о балете и Артура Лурье о музыке. Для молодых авторов было важно и то, что «Числа» не были так оторваны от общеевропейского литературного процесса, как другие эмигрантские журналы: здесь можно было прочесть о Прусте, о Джойсе, о сюрреализме. Из старших в «Числах» публиковались Мережковский, Гиппиус, Ремизов, Зайцев. Ходасевич к числу авторов «Чисел» не принадлежал; более того, уже во втором-третьем сдвоенном номере журнала ему был брошен резкий и скандальный вызов. В «Числах» появилась заметка под названием «К юбилею В. Ф. Ходасевича», подписанная неким А. Кондратьевым. Напечатана она была под рубрикой «Свободная трибуна» — редакция тем самым снимала с себя ответственность за этот «юбилейный» текст.

Уже начало статьи отдавало елейной издевкой:

«Чествование В. Ф. Ходасевича по случаю его двадцатипятилетнего юбилея явилось несколько неожиданным для широкой массы читателей. <...> Тем более, конечно, была своевременной и удачной мысль организовать это чествование, с одной стороны, напоминающее о четвертьвековой ценной и высокополезной деятельности писателя, к сожалению, долгое время принужденной видеть к себе недостаточное внимание, с другой — поясняющее тем из почитателей Ходасевича, которые были в этом недостаточно осведомлены, что перед ними не относительный новичок, а маститый писатель с четвертьвековым разнообразным стажем»¹.

Дальше А. Кондратьев описывал вехи «высокополезной деятельности» Ходасевича. Он не говорил ни одного худого слова, но почти каждая его фраза содержала болезненный удар:

«Первая книга Ходасевича “Молодость” вышла в 1908 году, и уже в этой прекрасной книге многие основные черты дарования поэта просвечивают с достаточной определенностью. Черты эти прежде всего выражаются в умении перенять структуру, тон, интонацию чужой, более мощной поэзии, но перенять с таким тонким искусством, что заимствование почти приобретает вес первоисточника и почти заставляет нас забывать о том, что оно светится не своим, а отраженным светом. <...>

¹ Кондратьев А. К юбилею В. Ф. Ходасевича. Привет читателя // Числа. 1930. № 2—3. С. 311—312.

С выходом “Счастливого домика” Ходасевича отзывами авторитетных критиков (Брюсова и др.) сразу ставят в один ряд с такими величинами, как С. Соловьев, Б. Садовской, Эллис, Тиняков-Одинокий, ныне полузабытыми, но в свое время подававшими большие надежды. Еще выше ставили Ходасевича поэты петербургской школы, и, например, покойный Гумилев неоднократно указывал на Ходасевича как на блестящий пример того, какого прекрасного результата можно достичь в стихотворном ремесле вкусом, культурностью и настойчивой работой. <...>

Более заметной становится деятельность Ходасевича только со времени большевистского переворота. Писатель становится близок к некоторым культурно-просветительным кругам (О. Каменевой и др.), занимает пост заведующего московским отделением издательства “Всемирная литература”, Госиздат издает его книги и проч. <...>

В 1922 г. В. Ходасевич уезжает в заграничную командировку и вступает в число ближайших сотрудников издаваемого Горьким журнала “Беседа”, где и появляется вскоре упомянутая выше статья Белого, давшая первый толчок к должному признанию ценной и высокополезной деятельности Ходасевича¹.

Пассаж про Ольгу Каменеву и Госиздат был, в условиях эмиграции, почти доносом; утверждение, что статья Белого о Ходасевиче была напечатана в «Беседе», — намек на использование Ходасевичем редакторского положения в личных целях и при этом прямая клевета. Заключением же статьи, перекликающимся с текстом двухлетней давности, автор (а им был Георгий Иванов) прямо себя раскрывал:

«Вслед за продолжительным периодом равнодушия и непонимания возникает опасность переоценки значения его творчества, вплоть до такой очевидной нелепости, как приравнение ценной и высокополезной, но скромной по самой своей природе поэзии Ходасевича чуть ли не к самому Блоку. <...> Преувеличение это следует отнести не только за счет нечуткости некоторых критиков, но и за счет наивного, продиктованного своеобразным эмигрантским патриотизмом желания иметь во что бы то ни стало “собственных Вольтеров и Рассинов”. К чести большинства истинных почитателей Ходасевича, истинных, потому что любящих его за то, что в нем есть, и не приписывающих ему то, чего он не имеет, — преувеличения отдельных лиц не изменили прочно установившейся в куль-

¹ Кондратьев А. К юбилею В. Ф. Ходасевича. Привет читателя // Число. 1930. № 2—3. С. 312—313.

турных кругах правильной оценки поэта, и сами собой сошли на нет»¹.

Скандалность ситуации усугублялась тем, что литератор по имени Александр Кондратьев, некогда второстепенный поэт-символист, действительно существовал, жил в Польше и сотрудничал с «Возрождением». Прошло несколько недель, прежде чем он узнал о том, что замешан против своей воли в неприятный инцидент. Лишь 23 октября 1930 года в «Возрождении» было помещено его письмо:

«Убедительно прошу вас не отказать в напечатании на страницах “Возрождения” о том, что помещенная за моей подписью в № 2—3 журнала “Числа” статья “К юбилею В. Ф. Ходасевича” написана не мной, и я протестую против того, чтобы фамилией моей (которой я подписываю свои произведения более 30 лет) пользовались, как псевдонимом, другие лица».

В свою очередь, редакция снабдила письмо примечанием:

«Как и следовало ожидать, А. А. Кондратьев, почтенный писатель... оказывается непричастным к авторству упомянутой статьи, содержащей ряд инсинуаций и передержек. Пользование чужим именем в качестве псевдонима есть прием, недопустимый в порядочном литературном органе. То обстоятельство, что материал помещен в отделе “Свободная трибуна”, не меняет дела. За весь материал, помещаемый под псевдонимом или вовсе без подписи, моральная и литературная ответственность всегда и всецело падает на редакцию — в данном случае на господу Манциарли и г. Оцупа».

Ходасевич, естественно, был в ярости. Гнев его распространился на всю «постгумилёвскую» компанию. В ответ на «инсинуации и передержки» он начал вспоминать весь, нынешним языком говоря, компромат, который был у него на Георгия Иванова и Адамовича. Вспомнил, в частности, «дело Кельсона» (в письме Виктору Ирецкому он просит напомнить подробности этого литературно-судебного скандала). Вспомнил о биржевом скандале, в который был замешан близкий к Иванову и Адамовичу прозаик Юрий Фельзен. Наконец, по Парижу одновременно поползли два слуха. Один (со ссылкой на Ходасевича) — об убийстве и ограблении, совершенных при участии Иванова, Адамовича и Оцупа в Петрограде в начале 1920-х. Второй — о том, что Горький застал Ходасевича рюющим в его бумагах и что именно это стало причиной разрыва писателей. Второй слух, явно исходящий от «Жоржиков», был лжив с начала до конца, но внешне более правдоподобен; первый — неправдоподобен, но основан на реальном факте, только ни Ива-

¹ Кондратьев А. К юбилею В. Ф. Ходасевича. Привет читателя // Числа. 1930. № 2—3. С. 314.

нов, ни Оцуп к факту этому отношения не имели. Судя по всему, на квартире, где жил Адамович и где прежде жил Иванов, в начале февраля 1923 года было совершено убийство (одним из многочисленных случайных приятелей Георгия Викторовича, ведшего в то время довольно легкомысленный образ жизни). Адамовичу поневоле пришлось принять участие в уничтожении трупа¹.

Какой слух был запущен прежде, кто кому отвечал, едва ли удастся выяснить, да не очень это важно. Можно лишь сожалеть, что полемика между большими поэтами приняла столь вульгарные формы. Как будто капризная женственность «Жоржиков» (у Иванова сочетававшаяся со смелым умом, у Адамовича — с душевной высотой, своеобразно проявившейся в дни Второй мировой войны, и у обоих — с незаурядным талантом), их завистливость, обидчивость, интриганство провоцировали подобные же проявления у Ходасевича. Впрочем, Ходасевич имел в 1930 году возможность ответить Иванову иначе — благородно, по-рыцарски, заступаясь не за себя, а за другого писателя. Дело в том, что еще прежде, чем Ходасевичу, «Числа» (и лично Иванов) бросили вызов Сирину. Ненависть Иванова к Набокову объяснялась просто: некоторое время назад Одоевцева подарила Владимиру Владимировичу свой новый роман, а тот счел возможным написать на подаренную книгу разгромную рецензию. Иванов решил «отомстить»: тут явственно проявилось свойственное «Жоржикам» и их кругу смешение литературы и «человеческих отношений»². Из статьи Иванова (как бы совокупной рецензии на все произведения Сирина от «Машеньки» до «Защиты Лужина») стоит привести лишь одну цитату:

«Автор “Защиты Лужина”, заинтриговавший нас мнимой случайностью своей мнимой духовной жизнью³, — ничуть не сложен, напротив, чрезвычайно “простая и целостная натура”. Этот знакомый нам от века тип способного, хлесткого пошляка-журналиста, “владеющего пером” на страх и удивление обывателю, которого он презирует и которого он есть плоть от плоти, “закручивает” сюжет “с женщиной”, выворачивает тему “как перчатку”, сыплет дешевыми афоризмами и бесконечно доволен. <...>

В кинематографе показывают иногда самозванца-графа, втирающегося в высшее общество. На нем безукоризненный

¹ См.: *Арьев А. Ю.* Когда замрут отчаянье и злоба // Звезда. 2008. № 8.

² См. об этой истории, например: *Бойд Б.* Владимир Набоков: Русские годы. СПб., 2010. С. 409—410.

³ Так у Г. Иванова. Несомненно, это грубая редакторская ошибка, обесмысливающая текст. Следует читать: «мнимой сложностью своей мнимой духовной жизни».

фрак, манеры его “верх благородства”, его вымышленное генеалогическое древо восходит к крестоносцам. Однако все-таки он самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд»¹.

Одиннадцатого октября 1930 года, уже после выхода романа Набокова в виде книги, Ходасевич помещает в «Возрождении» рецензию на него, которая завершается следующим образом:

«Молодого писателя надо поздравить с большою удачею. Недаром еще до выхода книги, когда роман по частям печатался в “Современных записках”, вокруг него уже раздались презренные речи зависти».

Это была небрежная пощечина Иванову, которая стоила гораздо больше, чем беспомощное соревнование в сплетнях и интригах. Не стоит забывать того, как была воспринята «Защита Лужина» в эмигрантской среде. Это была не просто литературная сенсация, не просто акт рождения большого писателя. Это был «патент на благородство» молодой эмиграции, испытывавшей зависть к «Зависти»: хотя бы один ее представитель сумел превзойти своих сверстников в Советской России. Предположение о низких мотивах выпада Иванова выглядело убедительно (на самом деле им двигали мотивы если не низкие — нельзя же назвать так избыточную супружескую любовь! — то глупые).

Но в рецензии на «Защиту Лужина», кроме похвал автору и выпадов в адрес его хулителя, есть и несколько фраз, очень многое говорящих о мироощущении Ходасевича и — косвенно — о тех мыслях и страхах, которые не давали ему покоя осенью 1930 года:

«Художник обречен пребыванию в двух мирах: в мире реальном и в мире искусства, им самим создаваемом. Подлинный мастер всегда находится на той принадлежащей обоим мирам линии, где их плоскости пересекаются. Отрыв от реальности, целостное погружение в мир искусства, где нет полета, но есть лишь бесконечное падение, — есть безумие. Оно грозит честному дилетанту, но не грозит мастеру, обладающему даром находить и уже никогда не терять линию пересечения. Гений есть мера, гармония, вечное равновесие.

Лужин не гений. Он, однако ж, и не бездарность. Он не более как талант. При первых шагах этого достаточно: в качестве вундеркинда он безответственно, но безгрешно имитирует гения, как ребенок имитирует взрослого. Но дальше путь для него закрыт, катастрофа неминуема... Судьба Лужина совершает-

¹ Иванов Г. В. Сирин. «Машенька». «Король, дама, валет». «Защита Лужина» «Возвращение Чорба» // Числа. 1930 № 1. С. 234—235.

ся. Гармония им не найдена. Водолаз без водолазного снаряда, “сосуд скудельный”, дерзнувший на путь истинного творчества, запретный талант и посильный лишь гению, вундеркинд, заглянувший в “шахматные бездны”, — он оказывается ими поглощен.

Безумие есть его законный удел, в котором есть нечто возвышенное, как есть возвышенное в падении Фазтона. Лужин заслужил честь назваться жертвой искусства. Вероятно, в безумии, в непрестанном падении сквозь шахматные бездны, обрел бы он и своеобразное счастье: он вполне приспособлен для благополучного обитания в этом неблагоприятном мире. Но его вылечили, извлекли оттуда — на новые мытарства. Проходить тяжкий путь воплощения заставили его вторично».

Ходасевич, думается, верил в свою гениальность. Но теперь он чувствовал, что гений его покинул, а значит, равновесие, в котором находилась его жизнь, нарушено. Что же ему предстоило — безумие или мука «вторичного воплощения»?

Был лишь один человек, который мог ему помочь. Но равновесие исчезло и в личной жизни. Еще недавно казалось, что его союзу с Ниной не угрожает ничего. В «своей Галатее» (как назвали Нину Николаевну в одном из тостов на юбилее Ходасевича) он обрел то, чего в Анне Ивановне обрести не мог: не просто верную и любящую спутницу жизни, но товарища, соратника, равного. Последнее стихотворение, написанное перед молчанием, было посвящено ей — «К Лиле» (псевдоперевод с латинского):

Скорее челюстью своей
Поднимет солнце муравей;
Скорей вода с огнем смешится;
Кентаврова скорее кровь
В бальзам целебный обратится, —
Чем наша кончится любовь.

Но уже через год стало очевидно, что семейная жизнь дает трещину.

Вот как рассказывает об этом Нина Берберова: «Что-то медленно, едва заметно начало портиться, изнашиваться, сквозить, сначала во мне, потом, в течение почти двух лет, — вокруг меня, между ним и мною. То, что было согласием, осторожно начало оборачиваться привычкой к согласию, то, что было утешением, постепенно стало приобретать свойства автоматичности. То, что было облегчением, поворачивалось механически, включалось и выключалось по желанию. <...>

Я иногда больше не чувствовала себя живой, я чувствовала себя надломленной внутри, всеми этими годами, этой жизнью, всем, что случилось со мной. “Да, я сломалась, — думала я, —

и теперь я никому не нужна, а главное — себе не нужна и, конечно, ему”. И мелочи раздражали меня, пустяки, о которых не стоило и думать, которых я раньше не замечала. И кажется, они раздражали и его, но он этого не показывал. Может быть, я и сама раздражала его?»¹

Нет ни одного счастливого человека и ни одной счастливой пары, которые не знали бы таких периодов. Но в данном случае кризис не проходил, а напротив, все разрастался. Нина была слишком самодостаточна, слишком эгоцентрична и, по собственным словам, «любила победителей больше, чем побежденных»: она не могла помочь человеку, погружавшемуся во тьму. Раньше она заряжала Ходасевича своей молодой энергией. Теперь он заражал ее депрессией. Когда он уезжал в версальский пансион работать над очередной главой «Державина», когда она уезжала к Мережковским в Торран или к подруге детства в Пэри-Канну — ей сразу же становилось легче. Даже дома они общались все меньше и меньше: Ходасевич работал ночью, ложился в шесть, вставал в два. Нина в это время уходила в библиотеку или в редакцию. Вечера они проводили в разных кафе: он — в «Мюрате», где играл в бридж, она — в «Селекте» или «Наполи», с поэтами. Редкие совместные часы проходили в молчании: Владислав Фелицианович раскладывал бесконечные пасьянсы, как его отец под старость, стараясь уйти от тревожных мыслей.

И наконец, Нина приняла решение. Она решила уйти «в никуда» — прежде, чем в ее жизни появится новая любовь. Ей казалось, что так будет проще Ходасевичу. Было ли ему проще?

О расставании он знал заранее. Шли трезвые домашние разговоры, безо всякой мелодрамы: о деньгах, о быте. Нина перед отъездом «сварила борщ на три дня и перештопала все носки». И лишь однажды — как раз когда она варила этот борщ — Владислав Фелицианович, выйдя на кухню, спокойно спросил: «Не открыть ли газик?» Это не было пустой угрозой: все десять лет совместной жизни Нина всерьез боялась его самоубийства. Но сейчас остановить ее это не могло, как когда-то, десять лет назад, никакое раскаяние и никакой страх за Анну Ивановну не могли остановить Ходасевича.

Двадцать шестого апреля 1932 года Владислав Фелицианович записывает в «камер-фурьерском журнале»: «В 5 час. 10 мин. Н. уехал». «Н.» — Ниник. Так, в мужском роде, ласково звал ее он иногда.

Это расставание стало завершением первой, более счастливой и плодотворной, половины парижского периода.

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 394—395.

Глава десятая
ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ

1

Ходасевич остался в Бийянкуре, в обществе кота Наля, сменившего своего предшественника, умершего в феврале 1931 года Мурра. Нина Берберова поселилась пока что в Отель дю Министер, перенеся туда свое личное имущество — одежду и книги. Ходасевич на следующий день навестил ее, и они вместе отобедали. В последующие месяцы они встречались раз в две недели, разговаривали о литературе, играли в бильярд в кафе. У них оставалось общее дело — «Литературная летопись». Свои чувства Ходасевич оставлял при себе — теперь у него это получалось.

В эти недели он попробовал бросить последний вызов судьбе, вторично взявшись за когда-то оборванную биографию Пушкина. Если бы ему — теперь, с опытом «Державина» — удалось довести эту работу до конца, она стала бы главным делом жизни, наравне со стихами.

Начальные главы он решил писать заново. На сей раз в них было меньше анализа и размышлений, больше фактов и описаний. Описания были местами великолепны:

«Был у Сергея Львовича старший брат, Василий Львович. Наружностью они были схожи, только Сергей Львович казался немного получше. Оба имели рыхлые пузатые туловища на жидких ногах, волосы редкие, носы тонкие и кривые; у обоих острые подбородки торчали вперед, а губы сложены были трубочкой. У Василия Львовича были вдобавок редкие и гнилые зубы.

Внешнему сходству отвечало внутреннее: Василий Львович выказывал ту же легкость мыслей, что и Сергей Львович, хотя сам не замечал этого. Он даже любил философствовать и избрал себе поприще литературное. <...>

Среди литераторов относились к нему с насмешливым покровительством; его любили за хороший характер. Тут была разница между братьями: Сергей Львович любил побрюзжать, легко мог вспылить и был человек недобрый. Василий Льво-

вич, напротив, был весь — воплощенное добродушие и доверчивость. То и дело его мистифицировали, но дружеские насмешки сносил он с трогательным смирением и, кажется, только один раз в жизни сообразил, что надо обидеться»¹.

Но увы — написано было лишь два авторских листа; из них удалось выжать связного текста на два «подвала» в «Возрождении» (1932. 30 апреля и 4 июня).

Девятнадцатого июля 1932 года из пансиона в Арти Ходасевич пишет Берберовой: «Последние вспышки болезни и отчаяния были вызваны прощанием с Пушкиным. Теперь на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь нет у меня *ничего*»². В следующем письме, от 23 июля, он так объяснял свои слова: «“Крест” на Пушкине значит очень простое: в нынешних условиях писать его у меня нет времени. Нечего тешить себя иллюзиями. Но, с другой стороны, условия могут измениться»³.

Владислав Фелицианович все еще надеялся, что условия изменятся. Но было другое препятствие, непреодолимое: отсутствие доступа в отечественные архивы и недостаток книг. А пожалуй, еще и третье: нехватка внутренних сил, которые еще были во время работы над «Державиным». Несколько раз до конца жизни Ходасевич пытался снова взяться за биографию Пушкина — и всякий раз отступал. В 1933 году он все же завершил и напечатал в «Возрождении» (четырьмя «подвалами») третью главу. Она оказалась последней.

Кроме «Пушкина» был еще один большой замысел — автобиографическая книга «Младенчество», которую Ходасевич начал в 1933 году. Осенью (12, 15, 19 октября) отрывки из нее появились в «Возрождении». Дальше произошло следующее: «“Левая” часть эмигрантской общественности была возмущена: кому интересны его воспоминания детства? Что он, Лев Толстой, что ли? Давление было столь сильным, что ему пришлось бросить начатую книгу»⁴. Логика этого возмущения не совсем ясна, но совсем уж непонятна чувствительность к нему Ходасевича. Судя по всему, у него еще хватало дыхания на великолепное начало («Младенчество» — прекрасная проза, мы обильно цитируем ее во второй главе нашей книги), а на цельную книгу — уже нет. Впрочем, в 1930-е рождается множество небольших мемуарных текстов: Ходасевичу нужно было чем-то заполнять «подвалы» «Возрождения» (заодно он оказывал неоценимую помощь своему будущему биографу). Часто повод к

¹ Ходасевич В. Из книги «Пушкин» // СС-4. Т. 3 С. 62—63.

² СС-4. Т. 4. С. 520—521.

³ Там же. С. 521.

⁴ Берберова Н. Курсив мой. С. 403.

мемуарам давало известие о смерти знакомого. Такие известия приходили все чаще.

В письме Ходасевича Берберовой от 23 июля 1932 года есть важные слова: «Отныне (согласен — поздненько) я буду жить *для себя* и руководствоваться *своими* нуждами»¹. Но что это значило теперь — жить для себя? Не было уже ни стихов, ни больших замыслов в прозе. В остатке — полунищий и болезненный немолодой холостяк, заслуженный литературный поденщик, газетный критик и публицист.

Нина по-прежнему занимала его мысли. Ходасевич стремился так же выстроить отношения с ней, как прежде с Анной Ивановной — превратить былую любовь в дружбу, в которой он занимал бы положение «старшего», мудрого наставника и советчика. На сей раз это отчасти получилось, потому что любящим и брошенным был он, а Берберова, находясь в «сильной» позиции, старалась щадить его чувства, может быть, отчасти ему подыгрывала. Но без недоразумений не обходилось. Очень характерно письмо Ходасевича Нине, относящееся к весне 1933 года:

«Ася² сказала правду о моем недовольстве “консьержным” способом сообщения между нами. Но если она сказала, что я “стараюсь узнать” что-нибудь о тебе от кого бы то ни было, — тут она либо просто выдумала, либо (это вернее) — меня не поняла. Что я знаю о тебе, я знаю *от тебя*, и *только* от тебя. Неужели ты думаешь, что я могу о тебе сплетничать с Феклами? Поверь, я для этого слишком хотя бы самолюбив — ведь это очень унизило бы *меня*. Это во-первых. А во-вторых — ни одна из них этого и не посмеет — мой характер слишком известен, и на сей раз эта известность служит мне хорошую службу. <...>

Этого мало. О каких сплетнях может идти речь? Допустим, завтра в газетах будет напечатано, что ты делаешь то-то и то-то. Какое право я имею предписывать тебе то или иное поведение? Или его контролировать? Разве хоть раз попрекнул я тебя, когда сама ты рассказывала мне о своих, скажем, романах? Я недоволен <не> твоим *поведением*. Я говорил Асе, что меня огорчает твое безумное легковерие, твое увлечение людьми, того не стоящими (*обоего пола, вне всяких любовей!*), и такое же твое стремительное швыряние людьми. Это было в тебе всегда, я всегда это тебе говорил, а сейчас, очутившись одна, ты просто до экстаза какого-то, то взлетая, то ныряя, купаешься в людской гуще. Это, на мой взгляд, должно тебя разменивать — дай Бог, чтобы я ошибся. <...>

¹ СС-4. Т. 4. С. 521.

² Двоюродная сестра Н. Берберовой.

Милый мой, ничто и никак не может изменить того большого и важного, что есть у меня в отношении тебя. Как было, так и будет: ты слишком хорошо знаешь, как я поступал с людьми, которые дурно относились к тебе или пытались загнать клин между нами»¹.

Тем не менее уже начиная с весны 1932 года в «камер-фурьерском журнале» все чаще упоминается другое женское имя. Сестры Марголины, родственницы Марка Алданова и Леонида Каннегисера, появились рядом с Ходасевичем и Берберовой в их последнюю совместную зиму. Одна из них, сорокалетняя незамужняя Ольга, сблизилась с ними особенно тесно.

Ольга Борисовна Марголина родилась в 1890 году в Петербурге. Дочь преуспевающего ювелира, она получила воспитание, характерное для богатой ассимилированной еврейской семьи, живущей в столице, — включая поездки в Швейцарию и уроки тенниса. Сейчас, в эмиграции, она жила так же, как многие другие: нуждалась, зарабатывала на жизнь вязанием шапочек. Берберова описывает ее так: «У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыбку необычайно привлекательной. <...> Небольшого роста, ходила тихо и говорила тихо. <...> Я вспоминаю, что когда я бывала с ней, у меня было такое чувство, будто я слон, который вдвинулся в посудную лавку и сейчас все раздавит кругом, а заодно и самое хозяйку лавки»².

Еще в отрочестве Ольга случайно забрела в православную церковь во время службы и там «пережила какое-то особенное чувство смирения и подъема и несколько незабвенных минут, которые навсегда изменили ее»³. С годами она «постепенно пришла к убеждению, что ей надо креститься. Она говорила, что в еврейской религии женщине как-то нечего делать, ей нет там места. Еврейская вера — мужская вера»⁴. Но формальный переход Марголиной в православие состоялся лишь осенью 1939 года, после смерти Ходасевича.

Первые письма Ходасевича Ольге относятся к июню—июлю 1932-го. В это время у Ходасевича обострился фурункулез, он нуждался в уходе и переселился на несколько дней к Сумскому — тому самому, что когда-то был издателем «Беседы». Из Арти он уже писал обеим — Нине и Ольге, с равной регулярностью. К Марголиной он обращается «милый друг». 21 августа, в письме из Парижа — уже уменьшительное имя и нежно-шутливый тон: «Целую Ваши лапки — все четыре. <...> Наль Вас це-

¹ СС-4. Т. 4. С. 522—523.

² Берберова Н. Курсив мой. С. 414.

³ Там же.

⁴ Там же.

лует особливо, с большой нежностью. Он все время о Вас спрашивает, даже надоело»¹. Марголины отдыхали в Сент-Илере и туда же зазвали Ходасевича (он выехал из Парижа 25 августа).

В апреле 1933 года Ходасевич пришел к Нине, чтобы в последний раз спросить ее: не вернется ли она. После отрицательного ответа он сообщил Берберовой, что женится. Нина была счастлива: и потому, что женой Владислава Фелициановича будет ее подруга, и потому, что только теперь она могла почувствовать себя вполне свободной («романы», впрочем, были и прежде). Вскоре она связала свою жизнь с художником и искусствоведом Николаем Макеевым.

Восьмого апреля 1933 года Ольга Марголина переехала в Бийанкур, а через два дня брак был официально оформлен. Почему Ходасевич, который так никогда и не расписался с Берберовой, считая это никчемной формальностью, теперь так торопился с этим шагом? Думается, ответ очевиден: он хотел разом обрубить все канаты, не оставляя себе обратного хода.

Своей мягкостью и заботой Ольга Марголина-Ходасевич скрасила последние годы жизни мужа. Но она не могла занять в его душе места Нины. Из пяти стихотворений, написавшихся у Ходасевича в 1930-е годы (не считая шуточных и приписанных Василию Травникову), два связаны с Берберовой. Одно — реквием их коту Мурру, написанный, видимо, в 1934 году, мягкое, идиллическое стихотворение:

В забавах был так мудр и в мудрости забавен —
Друг утешительный и вдохновитель мой!
Теперь он в тех садах, за огненной рекой,
Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин.

О, хороши сады за огненной рекой,
Где черни подлой нет, где в благодатной лени
Вкушают вечности заслуженный покой
Поэтов и зверей возлюбленные тени!

Когда ж и я туда? Ускорить не хочу
Мой срок, положенный земному лихолетью,
Но к тем, кто выловлен таинственной сетью,
Всё чаще я мечтой приверженной лечу.

Но в черновике был другой вариант третьей строфы:

И верится тогда: под элизейской сетью
Дерев невянущих — мы встретимся опять,
Два друга любящих, две тени, чтобы третью,
Равно нам милую, спокойно поджидать.

¹ «Целую Ваши лапки — все четыре». Письма В. Ф. Ходасевича к О. Б. Марголиной / Публ. Дж. Малмстада // На рубеже двух столетий. М., 2009. С. 384.

Иным теням в этом «раю» места не было. В «элизейских» полях поэт хотел встретить время своего, пусть небезоблачно-го, счастья — 1920-е годы.

Второе стихотворение написано в июне 1937-го под впечатлением от фильма «Мария Шотландская» (1936), в котором Марию Стюарт играла Кэтрин Хепбёрн, внешне похожая на Берберову. Поэт, вдруг забывший про свое презрение к «сине-матографу», мысленно обращается к актрисе:

Нет, не шотландской королевой
Ты умирала для меня:
Иного, памятного дня,
Иного, близкого напева
Ты в сердце оживила след...¹

Но так или иначе, новый семейный очаг поэт обрел. Формально жизнь вошла в обычную колею. Ходасевич продолжал писать для «Возрождения» (благо, теперь это было его единственной работой), зарабатывая 300—400 франков в неделю. Вечера, а порою и ночи он проводил за карточным столом в «Мюрате»; среди партнеров его были и некоторые литературные противники, в том числе Адамович, тоже заядлый игрок. Он стал религиозен, часто бывал в костеле. Летом, если были деньги, уезжал с женой в загородные пансионы. Так шли годы.

2

Тем временем в идейном направлении газеты, в которой работал Ходасевич, произошли существенные изменения.

Еще в 1920-е годы на страницах «Возрождения» не раз сочувственно, хотя и не без оговорок, писалось об итальянском фашизме и его вожде Бенито Муссолини. Тогда в этом не было ничего странного или стыдного: раннему Муссолини симпатизировали такие выдающиеся либерально-консервативные по-

¹ В 1997 году М. Безродный отметил параллель между этим стихотворением В. Ходасевича и «Сонетами к Марии Стюарт» (1974) И. Бродского. Парадоксальное полусовпадение лирических сюжетов (в стихотворении Ходасевича актриса, играющая Марию Стюарт, напоминает герою о его бывлой возлюбленной; у Бродского актриса в фильме, который герой видит мальчиком, оказывается похожей на его будущую любовь) тем более неожиданно, что речь идет о разных фильмах: у Бродского — о немецком фильме 1940 года. «Сердце королевы» с Сарой Леандр в главной роли. См.: *Безродный М.* Соловьев поединок: Бродский и Ходасевич // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 277—278; см. также: *Ранчин А. А.* Еще раз о Бродском и Ходасевиче // Новое литературное обозрение. 1998. № 30.

литики, как Уинстон Черчилль и Владимир Жаботинский. Были у него поклонники и среди писателей, в том числе русских; Мережковский даже удостоился аудиенции у дуче и издал на средства итальянского правительства свою книгу о Данте.

Но в начале 1930-х уже в другой европейской стране, Германии, громко заявила о себе национал-социалистическая партия, в январе 1933 года пришедшая к власти. «Возрождение» помещало очень много материалов о новой Германии, НСДАП и канцлере *Хитлере* (в газете была принята такая транскрипция). Сперва — нейтральных, затем — нейтрально-благожелательных, потом — не без восторженного пафоса. Причина была очевидной: редакция наконец увидела в Европе политика, готового вторгнуться в Россию и сокрушить большевиков. Лев Любимов так передает рассуждения главного редактора «Возрождения» Юлия Семенова:

«Поймите, освободить Россию может только война. Кто бы ни нанес удар — немцы, японцы или англо-французы, все равно. Но немцы, пожалуй, всего вернее. <...> Чтобы укрепить свою власть, Гитлеру нужно повести немецкий народ в легкий победоносный поход. Значит, свергнуть советскую власть ему предназначено самой судьбой. Вот она — высшая слава без особых жертв! Гитлер, как трезвый политик, конечно, не пожелает чрезмерного унижения России. Мало ли что он там написал в “Майн Кампф”...»¹

Любимов забывает лишь упомянуть, что сам он и был ведущим политическим обозревателем газеты и главным проводником ее прогерманского курса.

В том, что война Германии с Россией будет легкой и обойдется без больших жертв, в «Возрождении» не сомневались, так как не верили в экономические успехи Советов и полагали, что весь народ без исключения ненавидит большевиков и не станет их защищать. Заплатить освободителям готовы были репарациями и территориальными уступками.

Внутреннюю политику Гитлера Семенов и его сотрудники одобряли не во всем; о наиболее скользких вопросах (расовые законы, принудительная эвтаназия «дефективных» и психически неполноценных людей, стерилизационная программа, позднее — «хрустальная ночь») или совсем не писали, или делали упор на «борьбу с перегибами» — то есть вели себя в точности так же, как в сходных случаях поступала большевизанская эмигрантская пресса. Антисемитизм позднему «Возрождению» был не чужд, но — умеренный, «просвещенный», со множеством оговорок, ни в коем случае не расовый — так сказать,

¹ Любимов Л. На чужбине. С. 193.

шульгинского пошиба. Среди постоянных сотрудников газеты были евреи, например, поэт Юрий Мандельштам (ученик Ходасевича, участник «Перекрестка»), на страницах ее появлялись большие статьи о Бялике (Ходасевича) и о Шестове (Мандельштама). Идеологически Семенову были ближе всего «нацмальчики» — члены Национального союза нового поколения (позднее переименованного в Народно-трудовой союз), сторонники идей солидаризма и корпоративного государства.

А Ходасевич — как он ко всему этому относился? По словам Любимова, как-то, «наслушавшись семеновских поручений... сказал, выходя из редакторского кабинета:

— Беда с этим человеком! Логика железная, а точка отправления дурацкая»¹.

По крайней мере, в писания самого Ходасевича никто не вмешивался. Однако и уйти от соприкосновения с основной, политической частью издания никакой возможности не было: ведь там работали, в числе прочих, люди, близкие ему по духу. Одним из главных публицистов «Возрождения» был Павел Муратов. Любимов тоже был не просто политическим журналистом: он великолепно разбирался в истории искусств, ставшей впоследствии его профессией, интересовался русской историей, написал книгу о тайне старца Федора Кузьмича, которую Ходасевич отрецензировал. Георгий Александрович Мейер, также высказывавшийся на политические темы, в том числе и по «еврейскому вопросу», был видным мыслителем, знатоком Достоевского и поклонником поэзии Ходасевича.

Вероятно, Ходасевич старался не задумываться над политическими аспектами своего сотрудничества в «Возрождении» — выбора все равно никакого не было. Но ко всему прочему в газете стали хуже платить. Начало 1930-х годов было по всему миру экономически трудным временем. К середине десятилетия дела во французской экономике (а значит, и у русских эмигрантов) улучшились — но к этому времени русскоязычная аудитория во Франции стала сокращаться по естественным причинам: старшее поколение начало редеть, молодежь стремительно ассимилировалась. Конкуренция двух главных русско-парижских газет обострялась. Несмотря на то что по программе «Возрождение» было ближе к настроениям большинства эмигрантов, чем «Последние новости», гукасовская газета проигрывала милюковской из-за меньшего профессионализма. Гукасов терпел убытки и постепенно сокращал гонорары (за глаза его звали «Сократом»). С 1936 года «Возрождение» превратилось в еженедельник.

¹ Любимов Л. На чужбине. С. 193.

При этом взгляд Ходасевича на тот предмет, которому была посвящена большая часть его статей, на настоящее русской литературы *здесь* и там, становился все более мрачным. Уже в статье «Литература и власть в Советской России» (1931), написанной, по собственному утверждению, «для одного иностранного журнала», но напечатанной в «Возрождении» (№ 2382—2396), Ходасевич констатировал: после периода «военного коммунизма», с централизованным распределением бумаги и типографских мощностей, с привилегиями пролетарским писателям и футуристам, после краткого периода полусвободы в 1921—1923 годы, после середины 1920-х, когда однообразно-бездарная «напостовская» словесность сосуществовала с разнообразной, в том числе талантливой «попутнической», — наступило время идеологического террора, связанное с появлением нового типа литераторов: «молодых марксистов, получивших ускоренную подготовку для критической и редакционной деятельности». В статье «В поисках критики» Ходасевич называет их имена: Дмитрий Горбов, Леопольд Авербах, Осип Бескин, Анатолий Тарасенков... Эти люди начали травлю не только писателей-«попутчиков», но и марксистов старшего поколения, а затем — друг друга, и в результате, как писал Ходасевич, «всеобщий спор быстро превратился в сеть политических доносов».

Как следствие — уже к началу 1930-х годов проза в СССР стала увядать. В это время получает распространение «литература факта» — производственные репортажи, беллетризованная журналистика. «Уже два года журналы заполнены описаниями поездок по всевозможным заводам, фабрикам, по диким местам, где производятся работы, предусмотренные пятилетним планом»¹. В глазах Ходасевича, это знак окончательного художественного вырождения советской литературы. Позднее это поветрие сходит, однако очень немногие беллетристические произведения советских писателей, опубликованные после 1931 года, привлекли внимание Гулливера. В их числе — проза молодого Юрия Германа: «Наши знакомые» и «Лапшин». Эта повесть и понравилась Ходасевичу и Берберовой, и шокировала их: «маленький человек», чьи переживания описаны с чеховской тонкостью, — не акцизный чиновник, а сотрудник уголовного розыска и — как попутно выясняется — бывший чекист, лично расстреливавший врагов революции. «Тут-то кончается Чехов и начинается нечто такое, почему от талантливой, мягкой, идилической... повести Германа воротит душу.

¹ Ходасевич В. Литература и власть в Советской России // Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. С. 249.

Сознает ли сам Герман эту отвратность? Порою кажется — сознает, порою — нет, все это в него уже впиталось. А между тем это и загадка о нынешних подсоветских людях, и эту загадку мы не можем отсюда решить, как ни бьемся» (Возрождение. 1938. № 4121. 11 марта).

С поэзией в СССР дело обстояло еще хуже. Теперь Гулливер уже скучал по былым эскападам «графомана» Сельвинского, которые были «глупы, но оригинальны». Новые советские поэты вызывали у него либо отвращение (кровавые киплинггианские стихи бывшего чекиста Александра Прокофьева), либо скуку. Правда, неожиданно ему стал нравиться Пастернак — новый, неоклассический Пастернак «Второго рождения». «Никого не будет в доме...» в «Литературной летописи» приводится почти полностью со следующим комментарием: «Таких стихов в советской России сейчас не пишет никто, по крайней мере, не печатает» (Возрождение. 1931. № 2333. 22 октября). Новый Мандельштам заинтересовал: прочитав в «Звезде» «С миром державным...», Гулливер отмечает «некоторую перемену» в голосе поэта и жалеет, что им «не издана книга стихов последнего времени» (Возрождение. 1931. № 2228. 9 июля). Но стихотворение «Там, где купальни, бумагопрядильни...» напомнило ему Северянина; и он просто не заметил напечатанного на соседней странице в шестом номере «Нового мира» за 1932 год «Ламарка». Между тем это не только одна из вершин поэзии Мандельштама, но и стихотворение, в котором он, пожалуй, по мироощущению и пластике ближе всего к Ходасевичу. Со сдержанной теплотой поминаются Гулливером предсмертные и посмертные публикации «талантливого и печального» Вагинова, не без одобрения — некоторые стихи Павла Васильева.

Любопытно, что в том же четвертом номере «Звезды» за 1931 год, где напечатался Мандельштам, Ходасевич со сложным чувством обнаружил собственное имя. «Под европейской ночью черной заламывает руки он» — эти строки из «Европейской ночи» служили эпиграфом к стихотворению Николая Брауна «Русский иностранец». Приведем несколько строк из этого произведения:

...А в глухом зарубежном вое,
В бой подначивая сердца,
Околачивается воин
Николаевского образца.

Это брякнет усами ржавыми,
Выпрямляя лампасы штанин,
Императорской державы
Верноподданный гражданин.

Это он, потертый, понурый,
Чужеземную злость вороша,
Продается до нитки, до кожи —
Дело швах: не взять ни шиша.

Там, на родине, в щелы разбито корыто —
Ни стены, ни слуги, ни души,
Там шныряют по зарослям быта,
Гнезда затхлые разворошив,

Там выживают начисто
Зарубежных дел ходоков...
По ночам его сон таков:
С хлебом-солью стоит кулачество...

Дальше в шестидесяти пяти (!) строчках описывается, как автор, «запевала и горлопан», расправляется с этим презренным белогвардейцем:

...Я вяжу твои руки нечистые,
Я иду заодно и до тла —
С зачинателями, Чекистами,
Выметателями барахла.
.....
Я следы твои смрадные — вот,
Видишь — сбегиваю в расход.

Ходасевич так откомментировал стихи Брауна: «Лет десять тому назад он вращался среди молодых учеников Гумилёва. <...> Обыкновенный интеллигентный мальчик, по крови немец. И вот — теперь он в одной “шеренге” с чекистами и мечтает вывести в расход миллиона полтора зарубежных людей. Не думаю, чтобы все тут было лишь ложью и приспособленчеством. Вероятно, шупленькая душа молодого человека и впрямь изуродована, загрязнена кровавой мечтой о расправах, расстрелах, пытках. <...> Сегодня несчастный Браун лает и воет на нас — завтра с пушей яростью бросится на самих “зачинателей и чекистов”»¹. И все же то, что его помнят и читают *там*, что его стихи — хотя бы так! — цитируются в советской печати, могло доставить Ходасевичу известное удовольствие.

Владислав Фелицианович, видимо, так и не узнал, что три года спустя Браун упомянул его в своем выступлении на Первом съезде писателей СССР, по существу призвав собратьев по перу учиться технике и силе выражения у таких «враждебных нам поэтов», как Гумилёв и Ходасевич. Последний «в невероятных злых и обреченных стихах от стихотворения к стихотворению... раскрывает свое отношение к миру, отношение субъективиста, индивидуалиста, идеалиста». С таким же мас-

¹ Сын поэта Н. Л. Брауна поэт Н. Н. Браун ныне — председатель Имперского клуба Санкт-Петербурга.

терством должны советские поэты раскрывать противоположное мироощущение¹.

Как и прежде, наибольший интерес у Ходасевича вызывала исследовательская, литературоведческая, публикаторская деятельность по ту сторону границы. Он внимательно следил за деятельностью ленинградского издательства «Academia» — своего рода заповедника культуры в мире первой и второй пятилеток. Вероятно, он ставил себя на место людей, сотрудничавших с этим издательством, среди которых попадались и его бывлые друзья (например, Эфрос), думал о том, что, может быть, по ту сторону границы «формальная история литературы» стала бы его убежищем. Лучшее это было бы или хуже поденщины в «Возрождении»? Ходасевич, конечно, обратил внимание и на то, что во главе «Academia» был поставлен в 1933-м полуопальный Каменев. Когда год спустя, сразу же после убийства Кирова, бывший хозяин Москвы был арестован и объявлен организатором этого теракта, Ходасевич писал: «Жалеть о прекращении его культурной работы не приходится, но все-таки можно опасаться, что его опала будет иметь неприятные последствия для словесности. Без всякого деятельного участия Каменева, но под его официальным руководством и под его ответственностью составлялись планы издательства, распределялась работа, принимались рукописи. Весьма возможно, что новый бездельник, который окажется на его месте, начнет ломку “каменевского наследства”» (Возрождение. 1935. № 3550. 21 февраля). Что книги, в которых фигурирует имя Каменева, будут просто изъяты из библиотек, Ходасевич предположить, разумеется, не мог. Другим проектом — на сей раз рожденным просветительской энергией Горького — стала серия «Библиотека поэта», которой Ходасевич посвятил статью под названием «Научный камуфляж»:

¹ Бывало, что Ходасевича упоминали в СССР и в нейтральном тоне — например, в статье В. Рождественского «О молодых поэтах» (Звезда. 1936. № 3). О том, что творчество Ходасевича сохраняло актуальность и после его смерти, свидетельствует статья В. Друзина «Пути молодой поэзии» (Звезда. 1947. № 5), автор которой, обличая (во многом в связи с недавним постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”») акмеизм, неожиданно вспоминает и цитирует, рядом с Мандельштамом и Ахматовой, «белоэмигранта Ходасевича», который «не входил в состав группы акмеистов, но некоторые его стихи звучали как программные именно для акмеистического направления». В статье Друзина полностью приводится — в качестве наглядной иллюстрации — стихотворение Ходасевича «Ни розового сада...». Возможно, это сближение связано с тем, что в статье Друзина критикуются поэты, входившие в кружок А. Гитовича, в том числе В. Шефнер и В. Лившиц. По свидетельству поэта Льва Лосева, сына Лившица, эти авторы зачитывались как акмеистами, так и Ходасевичем и ориентировались на них в своем творчестве. Примечательно, что в финальной части статьи подвергается критике и Браун — за безыдейность.

«Произведения многих замечательных или выдающихся русских поэтов давно нуждались в переиздании. <...> Совершенно естественно, что среди поэтов и историков литературы, живущих в России, возникла мысль к такому переизданию приступить. Для осуществления этого замысла было необходимо получить от большевиков разрешение и материальные средства, что, разумеется, невозможно, если большевики не будут заинтересованы в предприятии. По этой части у оставшихся в России деятелей науки и литературы давно сложился известный опыт. Большевики охотно идут навстречу культурным начинаниям при соблюдении трех условий: во-первых, самое начинание должно быть хотя бы сколько-нибудь им полезно в агитационном отношении; во-вторых, оно должно быть задумано широко, громоздко, в большом масштабе; в-третьих, следует сделать так, чтобы кто-нибудь из крупных большевиков казался его вдохновителем и руководителем, — иными словами, чтобы тут же создалась для такого большевика новая синекура.

Следы такой организации дела совершенно явственно проступают и в “Библиотеке поэта”. На переиздание просто нескольких выдающихся авторов они не пошли бы. Державины и Денисы Давыдовы им не нужны, отчасти даже противны. Но если к Державину и Денису Давыдову присоединить всевозможную стихотворную заваль, если извлечь из забвения давно похороненную революционную и подпольную литературу, если придать, таким образом, минувшей русской поэзии такой колорит, каким она в действительности не обладала, но какой ее хотели бы видеть большевики, то получится затея, в достаточной мере агитационная и в достаточной степени “грандиозная”. Так и сделали. Составили план, по которому настоящие поэты будут переизданы в ряду всевозможных подпольщиков и под их прикрытием. Боратынского переиздадут, прикрыв его Курочкиным, а Дельвига — поэтами “Искры”. <...> Так составил план “Библиотеки поэта”. В качестве вдохновителя и руководителя привлекли Горького. Горький значится на первом месте среди редакторов. Горький написал общее предисловие о целях издания. <...> Работать по-настоящему, то есть рыться в архивах, в библиотеках, устанавливать тексты, писать вводные статьи и сопроводительные примечания, он, конечно, не будет. Работать будут другие» (Возрождение. 1933. № 3040. 28 сентября).

Думается, что социокультурную сторону явления Ходасевич описывает несколько упрощенно (речь шла не просто о примитивной агитации, а — как метко выразился сам же Владислав Фелицианович в другой статье — об «обынтеллигентчиваньи» масс, о механическом усвоении и приспособлении ко внеположным целям знаний, приемов и форм былых культур, кото-

рое составляло важнейшую сторону советской цивилизации). Но в том, что касалось издательских планов «Библиотеки поэта», он был прав. Внимание его закономерно привлек том Державина, составленный Григорием Гуковским. Ходасевич в целом благожелательно оценил его работу, проявив, правда, забавную рассеянность: он упорно именует Гуковского — Ямпольским (литературовед с такой фамилией составил том поэтов «Искры»).

Разочарование Ходасевича касалось, однако, не только советской, но и эмигрантской литературы. В сущности, оно было частью разочарования в эмиграции в целом, которое стало естественным результатом завышенных ожиданий, пришедших, в свою очередь, на смену первоначальному высокомерному неприятию. Впервые о кризисе эмигрантской словесности Ходасевич заговорил в статье «Литература в изгнании» (Возрождение. 1933. 22 апреля; 27 апреля; 4 мая). В начале этой статьи Ходасевич еще и еще раз подчеркивает принципиальную *возможность* эмигрантской литературы. В качестве примера он, кроме польской, приводит еврейскую литературу, от Галеви до Бялика и Черниховского. Но, по его суровому мнению, русская эмигрантская литература не дала подобных свершений. В этом Ходасевич обвиняет прежде всего писателей старшего поколения, которые «принесли с собой из России готовый круг образов и идей — тех самых, которые некогда создали им известную репутацию, и запас приемов, к которым они привыкли. Творчество их в изгнании пошло по привычным рельсам, не обновляясь ни с какой стороны. Рассеянные кое-где проклятия по адресу большевиков да идиллические воспоминания об утраченном благополучии не могли образовать новый, соответствующий событиям идейный состав их писаний». Этой косности Ходасевич противопоставляет собственную культурологическую платформу, которую он только теперь сформулировал так отчетливо, но которая может служить характеристикой всей его четвертьвековой литературной деятельности: «Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления. В этих условиях сохранение литературной традиции есть не что иное, как наблюдение за тем, чтобы самые взрывы происходили ритмически правильно, целесообразно и не разрушали бы механизма. Таким образом, литературный консерватизм ничего не имеет общего с литературной реакцией. Его цель — вовсе не прекращение тех маленьких взрывов или революций, которыми литература движется, а как раз наоборот — сохранение тех условий, в которых такие взрывы могут происходить безостановочно, беспрепятственно и целесообразно. Литературный консерватор есть вечный поджигатель: хранитель огня, а не его угаситель».

Один из главных грехов старшего поколения писателей-эмигрантов — это, по мнению Ходасевича, равнодушие к литературной молодежи, которой «старики» не смогли послужить ни образцом, ни поддержкой. К этой теме он возвращается два года спустя в связи с событием, потрясшим литературную эмиграцию, — гибелью Бориса Поплавского. 9 октября 1935 года Поплавский умер от передозировки наркотика вместе со своим случайным знакомым Сергеем Ярхо, сыном гимназического приятеля Ходасевича. По наиболее распространенной версии, Ярхо решил таким образом покончить с собой и искал «попутчика». В статье, опубликованной после смерти Поплавского, Ходасевич красочно описал ту атмосферу, в которой проходила жизнь значительной части молодых русско-парижских писателей: «Отчаяние, владеющее душами Монпарнаса, в очень большой степени питается и поддерживается оскорблением и нищетой. <...> За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра, потому что ночевать негде» (Возрождение. 1935. 17 октября). После смерти Поплавского наиболее благополучные «старики» обратили внимание на материальное положение младших товарищей: в их пользу объявлялись подписки, да и печатали их с середины 1930-х годов куда охотнее, чем раньше — отчасти по причине появления вакансий. Но «отчаяние» было разлито в воздухе. Тот особый дух, который сложился в литературе русского Монпарнаса и который отразился в лирике «Парижской ноты», стал одной из тем публичной полемики, которую в 1930-е годы вел Ходасевич с коллегами, прежде всего с Георгием Адамовичем и Зинаидой Гиппиус.

3

Если говорить об основной линии этой полемики, ее можно обозначить так: поздний Ходасевич постоянно выступает как ревнитель дисциплины, мастерства, гармонии, структуры, которую стремится противопоставить надрыву, самоуверенному дилетантизму, доморощенной философии и навязчивой «искренности».

Характерна его реакция на «горгуловское дело».

Шестого мая 1932 года русский эмигрант Павел Горгулов, врач, промышлявший подпольными абортами, и истеричный литератор-графоман (псевдоним Павел Бред), убил президента Франции Поля Думера. При аресте он выкрикивал свой любимый лозунг, содержащийся во многих его произведениях:

«Фиалка победит машину!» По собственным словам, Горгулов мстил Думеру за то, что Франция не предпринимает интервенции против Советов. Для Москвы он воплощал белогвардейскую реакцию, в глазах многих эмигрантов был тайным агентом Коминтерна, адвокаты настаивали на его невменяемости. В своих путанных сочинениях он выступал апологетом «скифства», одухотворенной славянской *дичи*, противостоящей западному рационализму. Ходасевич, которому книгу Павла Бреда накануне, в качестве курьеза, подарил Владимир Смоленский, увидел в Горгулове воплощение российского «идейного самоуправства и интеллектуального бесчинства», склонности «по прозрению, по наитию судить о предметах первейшей важности»¹, которые стали оборотной стороной интеллектуальной свободы и возвышенного мессианства русской культуры.

«В эмиграции, — добавляет поэт, — нет, конечно, людей, разделяющих несчастную “идею” Павла Горгулова. В этом отношении мы можем от него отмежеваться со спокойною совестью. Но от горгуловщины как метода мысли и творчества нам отмежеваться труднее. <...>

Надо поменьше и поосторожней пророчествовать самим, чтобы не плодить пророчества идиотские и поступки страшные. Публичные сборища, в которых каждый олух и каждый неуч, заплатив три франка “на покрытие расходов”, может участвовать в обсуждении “последних тайн” и в пророчествованиях апокалипсического размаха, — такие сборища нам решительно вредны. Они нам в умственном смысле не по карману. Нам нужней и доступней — школы грамотности, “эмигркульты” — подобие пролеткультов. Надо учить невежд элементарным вещам и внушать им идеи старые и простейшие, а не надеяться (впрочем, довольно лицемерно и демагогически), будто они помогут нам высидеть идеи новейшие и сложнейшие».

Здесь необходимо существенное уточнение. Книгу Бреда Ходасевич взял неслучайно: она необходима была ему для лекции «обратной поэзии», тех потрясающих воображение колоритных графоманских творений, до которых Владислав Фелицианович всегда был так охоч. Часть этой коллекции послужила материалом для статьи «Ниже нуля» (Возрождение. 1936. 23 января). Сальери в нем хмурился — а Моцарт не мог не остановиться и не послушать «скрыпача». Скрыпачи бывали разные: от некоего почтенного члена московского Литературно-художественного кружка, автора евангельской поэмы, в которой «Повис Иуда на осине — сперва весь красный, после синий», до господина Вонсовича, философического лирика

¹ Ходасевич В. О горгуловщине // Возрождение. 1932. 11 августа.

(«Мысль — жизненное ядро // Средь протоплазмы слов»); от выдающегося шахматиста, гроссмейстера Савелия Тартаковера, сочинившего на досуге целую «антологию лунной лирики» (среди лунных поэтов — Никшуп, Вотномрел и т. д.), до монструозного Алексея Посажного, который некогда служил в черных гусарах вместе с Гумилёвым и который колоритно описан в произведениях Эренбурга. Советская литература такого материала, как сам Ходасевич признавался, дать не могла: сказывалась тенденция к усреднению. А с Заболоцким Ходасевич сам все еще не разобрался — *прямая* это поэзия или *обратная*...

Однако любая попытка вторжения этого милого хаоса в мир большой литературы, большой мысли и тем более жизненной практики вызвала у Ходасевича раздражение и страх. Выстрел Горгулова позволил ему ощутить ту меру агрессии, которая может исходить из этих «неокультуренных» сфер сознания и социума, если начать воспринимать их всерьез. Но даже не в агрессии дело. Горгулов был прежде всего неистребимо пошл. Эту же пошлость, плоскость Ходасевич внезапно увидел и в разрушительном пафосе другого, менее одиозного и более знаменитого террориста — Бориса Савинкова. Вот цитата из его рецензии на книгу Савинкова, изданную с предисловием Зи-наиды Гиппиус:

«З. Н. Гиппиус находит, что если стихи Савинкова “несовершенны” (определение слишком мягкое), то это неважно. Напротив — важно до чрезвычайности. Представьте себе рисунок: домик с тремя окошечками, с трубой, из окошек и из трубы спиралями валит дым: рисунок изображает пожар. Для детской тетради — мило. Но если окажется, что это — художественная исповедь Герострата, если тут выражена его душа, — то что же сказать о Герострате? Савинков-поэт компрометирует Савинкова — политического деятеля. Претенциозная, но беззвучная, непринужденная, но неопытная форма его стихов (разумею метрику, инструментовку, словарь и т. д.) соответствует содержанию: тут трагедия террориста низведена до истерики среднего неудачника»¹.

Спор о Савинкове был частью спора более широкого — о «человеческом документе», о праве на существование художественно несовершенных текстов, несущих информацию о важных, вызывающих сочувствие и будящих мысль переживаниях их автора. Ходасевич был убежден: «Человеческий документ, изложенный в форме плохих стихов, неизбежно утрачивает свою внутреннюю значительность». Спор шел в связи не только со стихами, но и с прозой, причем зачастую принадлежащей

¹ Современные записки. 1932. Кн. XLIX. С. 448—450.

перу лиц куда менее исторически примечательных, чем Савинков и даже Горгулов.

С Адамовичем у Ходасевича разгорелась целая дискуссия о романе Екатерины Бакуниной «Тело»¹. Обозреватель «Последних новостей» признает, что роман (автобиографический и весьма откровенный) «до крайности неровен»: «Попадают страницы ужасающие. <...> Нет ничего тягостнее эротики, которую пытаются украсить картинными и аляповатыми сравнениями, пышными образами и прочей дребеденью, рассчитанной на то, чтобы создать впечатление какой-то доморощенной “Песни песней”». Но — «есть строки незабываемые... будто безошибочно найденные в каком-то лунатическом вдохновении, полностью заменившем мастерство и вкус». А главное — глубокая искренность женщины, которая «перебирает в своем воображении все, чем жизнь ей платит за всепоглощающее, страстное, душевно-телесное влечение к ней»². А вот — лишь один абзац из ответной статьи Ходасевича: «Обыденности своей сексуальной истории эта героиня отнюдь не осознает, в то время как обыденностью своего быта томится до чрезвычайности. Между тем эта обыденность, данная автором как бытовой фон, составляет в действительности самую интересную и даже единственно интересную сторону книги. <...> Страницы, посвященные хождению на рынок, стирке белья и приготовлению пищи, выходят у нее несравненно содержательнее, чем страницы, посвященные теме любви. <...> Тут ей суждены даже некоторые озарения. Ее мысль о необходимости делать полы на кухне несколько показными, чтобы вода при мытье стекала — чрезвычайно удачна»³.

Не меньшую язвительность, чем «душевно-телесные» переживания героини Бакуниной, вызывают у Ходасевича мистические искания другой дамы, Татьяны Манухиной⁴, написавшей и опубликовавшей под псевдонимом Т. Таманин роман

¹ Бакунина Е. Тело. Берлин: Парабола, 1933.

² Последние новости. 1933. 9 марта; цит. по: РЛЖ. С. 238—239.

³ Возрождение. 1933. № 2090. 9 мая; цит. по: Там же. С. 232.

⁴ Ходасевичу был чужд литературный мужской шовинизм, но засилье экзальтированных дам в эмигрантской словесности не могло его не раздражать. В статье «Женские стихи» (Возрождение. 1931. № 2214. 25 июня), посвященной творчеству, в частности, Ирины Кнорринг и Екатерины Бакуниной, он замечает: «Женщины особенно расположены к непосредственным излияниям дам области личных переживаний, значительность которых они склонны измерять степенью их напряженности и правдивости. <...> Отсюда почти неизбежная интимизация женского стихотворчества, так же как его формальный дилетантизм». (Все это относилось, разумеется, к массовой женской поэзии.) В неофициальных беседах Ходасевич был резче. Юрий Терапиано приписывает ему «неаккуратную» эпиграмму «Сквозь журнальные барьеры / И в Париже, как везде, / Дамы делают карьеры, / Выезжая на метле».

«Отечество». Однако критические стрелы его направлены прежде всего против Гиппиус, которая «расточает всевозможные похвалы» автору художественно беспомощной книги, ибо пронизывающая ее тенденция «как нельзя лучше совпадает с религиозными и политическими воззрениями самого критика». По мнению Ходасевича, с таким подходом к литературе вполне гармонирует «ужасающая тенденциозность собственных писаний» Антона Крайнего. Тон полемики — свидетельство безнадежно испорченных личных отношений, хотя формального разрыва не было: Владислав Фелицианович и Зинаида Николаевна продолжали здороваться и при встречах «болтали дружески». Ходасевич готов был многое держать в себе. Но неугомонная Гиппиус подливала масла в огонь, обвиняя всех своих конкурентов — Ходасевича, Адамовича, Бема — в неискренности и стоворе, жалуясь на редакторов, якобы лишающих ее «свободы высказывания», втягивая других критиков в бесконечные выяснения отношений, неизбежно провоцирующие резкости.

С Адамовичем в этом отношении было проще. Он никогда не был Ходасевичу другом, но и никогда не допускал в своих статьях выпадов, которые делали бы невозможным дальнейшее общение. Разумеется, у Ходасевича не было иллюзий. Он не сомневался, что Адамович был в курсе выходок Георгия Иванова, и, конечно, обе стороны не забыли обмен сплетнями в 1930 году. В кругу друзей Владислав Фелицианович, по некоторым свидетельствам, продолжал недобро шутить, положим, по поводу гомосексуальности Адамовича, именуя своего оппонента «Содомовичем». И все же внешние отношения были корректны, и это давало возможным сохранять принципиальный характер полемики. Как писал Ходасевич в 1938 году, «мы с Адамовичем нередко спорим, но не с целью “насолить” друг другу, а по иному, гораздо более серьезным и достойным причинам. <...> Адамович порою оценивает писателей не по качеству их произведений, а по напряжению чувств, с которым они садятся за перо. Такой подход я считаю принципиально ошибочным и практически опасным, потому что он талантливых людей сбивает с пути, а бездарных оболешает несбыточными надеждами» (Возрождение. № 4148. 9 сентября).

Основным поводом для спора была молодая поэзия русского зарубежья. В свое время Адамович сурово оценил покровительствуемых Ходасевичем поэтов «Перекрестка». «Пожертвуйте, господа, вашим классицизмом и строгостью, вашим пушкинизмом, напишите два слова так, будто до них вы ничего не знали»¹, — призывал он их. К середине десятилетия во-

¹ Числа. 1930. № 2—3. С. 240.

круг Адамовича сложился кружок молодых поэтов, которые после прекращения в 1934 году «Чисел» заявили о себе на страницах варшавского журнала «Меч». Черты, характерные для русско-парижской лирики, — формальная аморфность, аристократическая вялость, ностальгическая сентиментальность, — у этих авторов (среди которых наиболее заметны были Лидия Червинская и Анатолий Штейгер) доводились до логического завершения. Более того, эти черты стали в их глазах знаком хорошего тона, «столичности», которая позволяла им свысока относиться к русским поэтам-эмигрантам, жившим в других европейских и неевропейских странах.

Ходасевич впервые выступил строгим судьей этих поэтов в статье «Новые стихи», напечатанной в «Возрождении» под рубрикой «Книги и люди»:

«Их любимый лиризм страдает тем пороком, что он уныл, а не трагичен. В основе его лежит не трагедия, а только неудача — личная или социальная. Наш “столичный” поэт напоминает не Эдипа, не Прометея, не Манфреда, а всего лишь массового неудачника, замученного личными или классовыми неприятностями. <...> В конечном итоге среди мировых поэтов он — несомненный провинциал, и не ему упрекать в провинциализме кого бы то ни было. <...>

Гегемонские притязания наших поэтов основаны на той высокой оценке, которую они придают эмоциональной окраске своих стихов. Это обстоятельство самым прискорбным образом мешает развитию их поэзии вообще и их индивидуальных способностей в частности (ибо среди них есть одаренные). Среди них царит совершенно ложная мысль о том, что в поэзии труд убивает внутреннюю ценность. <...> Они стремятся выказать пренебрежение к литературной стороне поэзии, как бы нарочно стараясь высказать неудачную жизнь в неудачных стихах» (1935. № 3561. 28 марта).

«Унынию» своих младших современников Ходасевич противопоставляет пушкинскую печаль, которая «светла» — ибо «возможность создать нечто из своего отчаяния, из распада — уже есть гарантия против окончательного отчаяния и распада». Подлинный поэт обретает свет в самом своем творчестве. И Ходасевич видит молодых эмигрантских поэтов, сформировавшихся вдалеке от Парижа, которые противостоят этой эпидемии бессилия и безволия: Илья Голенищев-Кутузов, Алла Головина (родная сестра Анатолия Штейгера), Раиса Блох (ее «Чужими городами», обязанными своим хрестоматийным статусом песне Александра Вертинского, заканчивается статья Ходасевича).

Адамович ответил статьей «Жизнь и “жизнь”», в которой, признавая недостатки стихов многих своих протеже, переводил разговор на метафизический уровень:

«Пушкин действительно писал законченные гармонические стихи: так, по крайней мере, кажется нам теперь. Но если при чудесной, несравненной его правдивости это было возможно, то лишь потому, что за стихами в его сознании еще держалось законченное, гармоническое представление о человеке. <...> А что произошло с человеком за эти десятилетия? Мало-мальски пристальное вглядыванье в европейскую культуру, мало-мальски отчетливое сознание финальной в ней заинтересованности, своей к ней принадлежности убеждает в глубокой болезни личности, в мучительном ее распаде и разложении. Да, совершенно верно: сами по себе парижане не имеют никакого права претендовать на “столичность” перед пражанами, рижанами и хотя бы шанхайцами. Это все те же осколки старой России, случайно оказавшиеся там или здесь. Но то, что именно в Париже, а не в Шанхае, этот ореол “столичности” возник, далеко не случайно, ибо именно здесь, в настоящей столице мировой цивилизации, русские вошли в тесное ежедневное соприкосновение с драмой этой цивилизации, в ее остром, горячем состоянии, как бы при сорокаградусной температуре. <...>

Тема распада, конечно, плохая и опасная тема. Но тема жизни, которая не есть жизнь, тема кукольной безмятежности, игрушечного совершенства, музейного благополучия, другим словом, творческого обмана — еще гораздо хуже и опаснее. Когда-то Ходасевич помнил, что на земле все живое идет “путем зерна”» (Последние новости. 1935. 4 апреля).

Почти ничто, казалось, не объединяло былого эстет-а-гумилёвца Адамовича с нынешним поборником «человечности», кроме одного — страстного преклонения перед европейской *столичностью* и перед символизирующим ее Парижем. Продолжая полемику, Ходасевич в статье «Жалость и “жалость”» (Возрождение. 1935. 11 апреля) отвергает подобный взгляд: европейская культура, по его словам, утрачивает свою «религиозную основу» и «по существу умирает»:

«Поскольку Париж становится одним из центров, из которых распространяется по географическому телу Европы это умирание, постольку и он сам в свою очередь перестает быть “одним из центров мировой духовной культуры”. Столицами же в духовном смысле оказываются те центры, в которых остатки былой, подлинно европейской, религиозной культуры еще живы». Уязвимость этого утверждения состояла в том, что Ходасевич современную европейскую литературу знал слабо. Едва ли он мог бы что-то ответить, попроси его оппонент (чи-

тавший Валери и Клоделя, переводивший, хотя и без особого понимания и увлечения, Сен-Жон Перса) назвать, какие значимые остатки подлинно европейской религиозной культуры живы в Риге или в Белграде, не говоря уже о Харбине.

Гораздо острее был другой его упрек Адамовичу: Ходасевич считал, что духовный вождь молодых парижских поэтов сам не верит в их способность создать что-нибудь по-настоящему художественно значительное. Вот он и призывает их просто-напросто зафиксировать свой душевный распад в «человеческих документах» — пусть когда-нибудь другие воспользуются ими, создавая подлинное искусство. Но ведь это, замечал Ходасевич, «не путь зерна, которое само умирает и само же прорастает, а в лучшем случае путь чернозема, перегноя».

Эта дискуссия возобновлялась еще несколько раз, например, в 1937 году, в связи со сборником «Круг». На сей раз Владислава Фелициановича (его рецензия напечатана в «Возрождении» за 12 ноября) поразил не только самодостаточный «интимизм» лирики учеников Адамовича, но и избыток дневниковой, исповедальной прозы — а также то, что в сборнике, изданном в «пушкинский» год, имя Пушкина даже не упоминается, хотя присутствуют десятки имен других писателей — от Андре Жида до Юрия Германа, от Льва Толстого до Луи Фердинанда Селина и от Стендаля до самого Ходасевича. Ответ Адамовича был предсказуем: он утверждал, что книги никогда не были «интересны помимо личности автора», что в наше время «“хороший” рассказ — большей частью дурной, мертвый рассказ, что “хорошие” стихи — большей частью дурные, мертвые стихи»¹ и что цель литературы — свидетельствовать о драме современного человека.

Сквозной мотив жизни и творчества Ходасевича — противостояние *малой* и *большой* правды, земного и небесного, человеческого и космического — вдруг обретает новое звучание. Прежде казалось, что высота несет в себе «дыхание распада», разрушая самодостаточный мир малых сих. А теперь вдруг оказывается, что в известных условиях именно без этой высоты «только человеческий» мир обречен на распад, что как раз сверхличностные ценности (причем здесь оказываются неразделимы религиозные переживания и «языческая» пушкинская гармония) и спасают его от разложения и отчаяния. Друзей юности Ходасевича (Муни, Нину Петровскую, Гофмана) погубил пафос безжалостной декадентской исключительности. Но теперь Владислав Фелицианович видел людей, живших без всякого пафоса и непрерывно себя жалевших, однако точно так

¹ Последние новости. 1937. 25 ноября.

же медленно погибающих. Червинская была экзальтированной богемной алкоголичкой того же рода, что и Петровская, хотя творчески поталантливее. С одной стороны, были мистические горгульвы: это было страшно и мерзко. С другой — вялые цветы русского Монпарнаса, которые тоже глаз не радовали.

Если спор с Адамовичем носил характер принципиальный, то между Ходасевичем и Георгием Ивановым (с которым он в 1936 году формально помирился) стояли личные счеты. Выход в 1937 году книги избранных стихотворений Иванова «Отплытие на остров Цитеру» дал Ходасевичу повод высказаться:

«Не было и нет ни одного автора, не подпадавшего тому или иному влиянию, воздействию других авторов. Но вот что примечательно: в то время как авторы, наиболее одаренные самобытностью, не боятся прямых, открытых заимствований *материала* (то есть, повторяю, сюжетов, фабул, отдельных образов), авторы, самобытностью наделенные не столь щедро или обделенные вовсе, как раз таких “материальных”, легко обнаруживаемых заимствований избегают. Зато — невольно они повторяют то, что *нематериально*, что с трудом уловимо, но что составляет, однако же, душу другого автора, внутренний лад и стиль его»¹.

Находя у Иванова влияния Блока, Кузмина, Ахматовой, Гумилёва, Гиппиус, даже Петра Потемкина, Ходасевич подчеркнуто не делает разницы между ранним, до середины 1920-х, в самом деле подражательным Ивановым и автором «Роз», вышедших в 1931 году. Упреки его выглядели неубедительно уже потому, что прежде нечто сходное писал про него, пусть еще более несправедливо, сам Иванов: казалось, что поэты в очередной раз «обмениваются любезностями». И совсем уж в неловкое положение поставил себя Ходасевич тем примером, который он выбрал, чтобы продемонстрировать подражательность Иванова: он сравнивает собственное стихотворение «Друзья мои, быть может, скоро...» и стихотворение Иванова «В глубине, на самом дне сознания...». Поэт, уличающий других в подражании себе, всегда выглядит уязвимо — тем более что в данном случае факт подражания не очевиден, а если он и есть, то заимствован как раз материал, а не стиль.

Конечный вывод елейно-снисходителен — но и снисходительность эта позаимствована из ивановских статей «В защиту Ходасевича» и «К юбилею Ходасевича»:

«В его стихах чувствуется нечто незаимствованное, неповторимое, действительно данное ему свыше. Этот дар, сам по себе, может быть, не великий, не решающей ценности, но он

¹ Возрождение. 1937. № 4080. 28 мая.

присущ Георгию Иванову в высшей степени. Я говорю о замечательном, непогрешимом вкусе. <...> Обработывая материал, однажды уже обработанный, он нередко имеет возможность сгладить слишком грубые следы резца, работавшего над первоначальным материалом. <...>

Я бы даже решился сказать, что это никогда не изменяющее Иванову чувство изящного почти возмещает ту самобытность, ту поэтическую первозданность, которой ему недостает».

Более принципиальный характер носит отзыв Ходасевича о «поэме в прозе» Иванова «Распад атома» (Возрождение. 1938. 28 января). Но и здесь за неприятием «монпарнасских» настроений и претензиями сугубо художественного порядка чувствуется то раздражение, которое вызывала у Ходасевича личность Иванова и которое не позволяло с должным доверием отнестись к глубине и серьезности переживаний его героя:

«Когда он стонет: “Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?” — так и кажется, что не слышали бы мы этих стихов, если бы изменчивая обладательница “синего платья” любила его и если бы мог он устроить жизнь по ее вкусу — так, чтобы налицо были “танцы, мороженое, прогулки, шелковые банты, праздники, именины”, — чтобы год состоял “из трехсот шестидесяти пяти праздничков”, а месяц — “из тридцати именин”»¹.

В этой борьбе — имевшей и высокий, и житейский аспекты — у Ходасевича были союзники. К их числу принадлежала Цветаева, которая в 1933 году первая написала Ходасевичу, положив тем самым конец восьмилетней ссоре. Со свойственной ей горячностью Марина Ивановна теперь закидывала его письмами, делясь жизненными впечатлениями, обсуждая текущие литературные дела и уговаривая вернуться к поэзии — так, как будто это зависело от его воли: «Нет, надо писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, ни Вишнякам, ни “бриджам”, ни всем и так далеем — этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта — прозаика, а из прозаика — покойника. Вам (нам!) дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки (которых — нет)»². Потом напор ослабел, но теплота осталась. В течение всех

¹ Отзыв Ходасевича на появление «Распада атома» был одним из немногих: эмигрантская печать предпочла не заметить это сочинение Г. Иванова, содержащее шокирующие натуралистические описания. В инициации этого «бойкота» обвиняли Владислава Фелициановича, который якобы написал в «Последние новости» возмущенное письмо от имени «русской матери». Сам по себе этот нелепый слух характеризует сохранявшуюся между поэтами степень напряжения и недоверия.

² Письмо датируется маем 1934 года.

1930-х Ходасевич с неизменным доброжелательством говорит о стихах и прозе Цветаевой. Очень многое из опубликованного ею в эти годы было связано с Пушкиным, и хотя цветаевский романтический «мой Пушкин», отвергающий «меру и грань», был не похож на того Пушкина, которому поклонялся Ходасевич, — все же она не отрекалась от пушкинского солнца, как Адамович и его монпарнасцы. В статье «Два поэта» (1936) Ходасевич противопоставил рано погибшего цветаевского ученика Николая Гронского не Анатолию Штейгеру (которому Марина Ивановна, впрочем, посвятила свои «Стихи сироте»), не Лидии Червинской, а Борису Поплавскому, заявив: «Равно сожалея о гибели обоих поэтов, не могу не признаться, что если бы им суждено было литературное будущее, — у Гронского, на мой взгляд, оно сложилось бы здоровей и счастливей, чем у Поплавского»¹. Гронский воплощал для Ходасевича тот тип поэта, который он пытался противопоставить эпигонам «Парижской ноты»: поэта, видящего в жизни «высокую трагедию», а не «слезную драму», целенаправленно работающего с языком и формой. Цветаева писала о своем молодом друге в очень похожем тоне.

К Ходасевичу, а не к Адамовичу, тяготели и те поэты, которые с середины 1930-х годов стали перебираться в Париж из Берлина, в котором им — по причине неарийского происхождения или политических взглядов — неуютно жилось при *Хитлере*. Среди них были Раиса Блох и ее будущий муж Михаил Горлин. (На бракосочетание этой пары в 1935 году, трогательной и несколько экзотической, — ибо жених был десятью годами моложе невесты, — Ходасевич написал милые шуточные стихи; даже такого рода стихотворчество было для него в 1930-е годы редкостью.) Но прежде всего для Ходасевича было чрезвычайно важно появление в Париже Владимира Набокова.

Личная встреча двух писателей, ранее знакомых лишь заочно, произошла 23 октября 1932 года в бийанкурской квартире Ходасевича, который в то время жил один. На встречу с берлинским гостем Владислав Фелицианович пригласил Берберову, Терапиано, Вейдле и Смоленского. Компания была великовата — тем не менее Ходасевич Набокову понравился, «несмотря на мрачную обстановку, на несмешные шутки и на то, как собеседник выщелкивал слова»². Потом был еще один визит. По словам Берберовой, «в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком происходили те прозрачные, огненные, волшебные

¹ Ходасевич В. Два поэта // СС-4. Т. 2. С. 377.

² Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы: Биография. М.; СПб., 2001. С. 458; биограф пересказывает неопубликованное письмо В. Набокова жене — Вере Слоним.

беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы “Дара”, в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева»¹. Конечно же, образ Кончеева, старшего по возрасту поэта, перед которым благоговееет Годунов-Чердынцев, связан с Ходасевичем, но набоковский плавильный тигель слишком сложен, чтобы можно было говорить о прототипе. Беседы Годунова-Чердынцева с Кончеевым (проходящие лишь в воображении главного героя) — это прежде всего строгий и влюбленный суд над старой русской литературой, от Пушкина до Лескова. По ходу дела поминается, кстати, «Русалка» — как пример пушкинской неудачи. Набоковедом остается гадать, как отразились здесь бийянкурские беседы. Несомненно, и они могли пойти в ход — в числе другого сырья.

Так или иначе, между писателями постепенно завязалась та особенная, интеллектуальная, с соблюдением дистанции, дружба, на которую только и был сейчас способен Ходасевич, уставший даже от такого общения, и которая вполне соответствовала складу личности Набокова. Они встречались всякий раз, когда Набоков приезжал в Париж вплоть до окончательного его переселения туда в 1938 году. В письме Берберовой от 21 июня 1937 года Ходасевич пишет: «Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому... и к Сирину»². Сам Набоков позднее, в английской версии своих мемуаров «Speak, Memory!» вспоминал: «Я сильно привязался к этому ядовитому, выкованному из иронии и отзывающегося металлом дара, болезненному человеку с презрительными ноздрями и густыми бровями, поэзия которого представляет собою чудо не менее сложное, чем поэзия Тютчева и Блока, и сколько бы я ни вызывал его в воображении, он никогда не встает со стула, на котором сидит со скрещенными худыми ногами, поблескивая злорадными, умными глазами и вправляя длинными пальцами половинку “Зеленого Капоралья” в мундштук»³.

Ходасевич отзывался на все романы Набокова — всегда благожелательно, но и взискательно, как подобает говорить одному мастеру о другом. Он с похвалой пишет о «Камере обскуре», высоко оценивает «Отчаяние». Итогом наблюдений за творчеством младшего собрата стала статья «О Сирине» (Возрождение. 1937. 13 февраля), представляющая собой переработанный текст доклада, прочтенного на парижском вечере Набокова 24 января 1937 года.

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 310.

² СС-4. Т. 4. С. 530.

³ Пер. с англ. С. Ильина. В «Других берегах» это место лаконичнее.

В глазах Ходасевича Сирин «по преимуществу художник формы, писательского приема». Он «не только не маскирует, не прячет своих приемов, как чаще всего поступают все... — но напротив: <...> сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес». Единственное «человеческое содержание», которое готов видеть он в набоковских романах, — это трагедия творца, мастера, трагедия таланта или бездарности, «жизнь художника и жизнь приема в сознании художника». Когда-то в этом (и только в этом) аспекте воспринял он «Защиту Лужина». Это же видит Ходасевич в «Отчаянии» и «Соглядатае» — произведениях, которые воспринимаются им как история художественной неудачи. Однако прежде всего его внимание привлекает «Приглашение на казнь». Тот гуманистический, антитоталитарный аспект этого романа, который очевиден для нынешних интерпретаторов, Ходасевича вообще не занимает. Цинциннату Ц., на его взгляд, пред- и противостоят не внешние силы, а призраки, рожденные его собственным творческим сознанием:

«Цинциннат не казнен и не не-казнен, потому что на протяжении всей повести мы видим его в воображаемом мире, где никакие реальные события невозможны. В заключительных строках двухмерный, намалеванный мир Цинцинната рушился, и по упавшим декорациям “Цинциннат пошел, — говорит Сирин, — среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему”. Тут, конечно, представлено возвращение художника из творчества в действительность. Если угодно, в эту минуту казнь совершается, но не та и не в том смысле, как ее ждали герой и читатель: с возвращением в мир “существ, подобных ему”, пресекается бытие Цинцинната-художника».

Пожалуй, только рассказ «Облако, озеро, башня» заставил Ходасевича усомниться в таком одностороннем взгляде на движущие мотивы и темы набоковского творчества. Может быть, его взгляд стал бы шире, успей он написать задуманную статью о «Даре» (публиковавшемся в «Современных записках» в 1937—1938 годах). Однако вот что важно: именно *такой, так понятый* Набоков Ходасевичу оказывается в конце 1930-х близок. Много лет он боролся за «человеческое» в искусстве, против «эстетизма» (которому, как верил он, не будет места «в России новой, но великой»), против «формализма», а сейчас демонстрирует подход к искусству, очень близкий воззрениям Шкловского и Эйхенбаума начала 1920-х. *Формализм* и *эстетизм*, не самодовлеющие, но подчиненные структурообразующей духовной задаче (о которой, однако же, вовсе не обязательно кри-

чать на каждом углу), теперь противостоят самодовольному душевному тлению¹.

В 1936 году, 8 февраля, Ходасевич и Сирин устроили совместное чтение в Париже, в обществе «Мюзэ Сосьяль» на улице Ла Каз. (Вечеру предшествовал небольшой скандал: в объявлении, помещенном в «Последних новостях», имя Ходасевича, сотрудника конкурирующей газеты, было напечатано меньшим шрифтом, чем имя Сирина.) Набоков читал рассказы, Ходасевич — «Жизнь Василия Травникова», замечательное в своем роде произведение, созданное вчерне еще в 1931 году (о чем свидетельствует «Камер-фурьерский журнал»), но, видимо, дописанное и обработанное специально для этого вечера. История мрачного и эксцентричного поэта, якобы умершего в 1820 году, своеобразного *alter ego* Ходасевича («Впоследствии более других приближаются к Травникову Боратынский и те русские поэты, которых творчество связано с Боратынским. Быть может, те, кого принято считать учениками Боратынского, в действительности учились у Травникова?»²), была воспринята слушателями как документальное повествование. Ходасевича поздравляли с новым успехом в жанре литературной биографии. Адамович с волнением писал: «Травников был одареннейшим человеком, новатором, учителем: достаточно прослушать одно его стихотворение, чтобы в этом убедиться. К Ходасевичу архив Травникова, вернее, часть его архива попала случайно. Надо думать, что теперь историки нашей литературы приложат все усилия, чтобы разыскать, изучить и обнародовать рукописи этого необыкновенного человека» (Последние новости. 1936. 13 февраля). Мистификация удалась.

Разоблачение, несомненно, доставило Ходасевичу удовольствие. Но «Василием Травниковым» он и сам себе доказал нечто: рассказ был его первой и единственной удачей в области беллетристики. Одноногий анахорет и мизантроп Травников получился живым. Мы не знаем, откуда взялись отрывки из стихотворений вымышленного стихотворца. Один из них принадлежит Муни; два других могли быть написаны Ходасевичем специально для рассказа или взяты из черновых тетрадей. Если первое, то эти стилизованные, но «настоящие» стихи — одна из очень немногих побед над сковавшей поэта на рубеже 1930-х годов немотой:

Кто их знает, у забора
Злого духа или вора
Окликали петухи?

¹ Интересно, что при этом Ходасевич практически никогда не высказывался о поэзии В. Набокова.

² Ходасевич В. Жизнь Василия Травникова // СС-4. Т. 3. С. 115.

Но взошли лучи багряны,
И на росные поляны
Скот выводят пастухи.

Под напевами свирели,
Затихая, присмирели
Холмы, рощи и поля, —
Но обманчивая тихость
Затаила злость и лихость
Изнурительного дня.

Тем временем Ходасевичу исполнилось 50 лет. Дореволюционная традиция предусматривала широкое празднование юбилеев с начала творческой деятельности, а не со дня рождения. Тем не менее писатели-эмигранты по подписке дали 30 мая 1936 года в честь Ходасевича обед в одном из парижских ресторанов; по словам Цветаевой, которая подарила Владиславу Фелициановичу блокнот «с пожеланием писать стихи», она встретила там «весь Монпарнас»; из старшего поколения пришел Бунин. Естественно, была в ресторане и Нина с Макеевым. По окончании обеда Ходасевич в компании Адамовича, молодого прозаика Василия Яновского и еще нескольких молодых авторов отправился, как обычно, на Монпарнас — играть в бридж.

Из печатных изданий дату заметили лишь в журнале «Наш Союз» — органе «Союза возвращения на Родину», проплачивавшемся и курировавшемся НКВД. Статья была менее враждебная, чем можно было ожидать: «возвращенцы» вспоминали, что некогда юбиляр был близок с Горьким и симпатизировал советской власти, но, «сделав разбег для прыжка в иную — большую жизнь, Ходасевич задержался на полдороге, а задержавшись, свалился под бременем своего “я”, снова упал “в себя” и одновременно в эмиграцию. Падение было страшное, стремительное, на самое дно, в “возрожденческую” трясину»¹.

4

Между тем в отношениях Ходасевича с советской властью и «эмигрантским болотом» как раз в это время все было не просто.

О непростоте этой свидетельствует уже цитировавшееся его письмо Берберовой от 21 июня 1937 года, начинающееся так:

¹ Сикорин Д. Эмигрантские судьбы. Владислав Ходасевич. К пятидесятилетию поэта // Наш Союз [Париж]. 1936. № 5—6. С. 22.

«Это ты, милый мой, уезжаешь не чихнув, — а я-то бы с тобой простился. Однако ставить вопросы в этой плоскости весьма преждевременно. Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее “духовных вождях”, за ничтожными исключениями) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал недели за три. Из этого “представители элиты” вывели мой скорый отъезд. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен “в душе”, что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то *должны* отнестись положительно). Впрочем, тихохонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, а непременно, и крепко, и много нахлопал бы дверями, так чтобы ты услышала»¹.

Задумаемся: Ходасевич, который многие годы был пламенным борцом с «возвращенчеством» и «большевизанством», который сотрудничал в самой правой из солидных эмигрантских газет, в разгар большого террора признается, что всерьез размышляет о возвращении на родину! Чтобы понять этот парадокс, необходимо осознать всю толщину, непроходимость стены, отделявшей к этому времени эмиграцию от метрополии. Из-за этой стены многое виделось иначе. Ходасевич к тому же судил о советской реальности в основном по литературным журналам, газеты попадали ему в руки редко. Общее впечатление его в 1930-е годы было безотраднo. Но были и важные нюансы.

Процесс затягивания гаек в Советском Союзе был, начиная, по крайней мере, с 1923 года, неуклонным, но неравномерным. Были периоды «микрооттепелей», и часто ужесточение политики в одной сфере сопровождалось временным смягчением в другой. Ходасевич не мог не обратить внимания на разгром РАППа и изменение отношения к «попутчикам» накануне и во время учредительного съезда Союза советских писателей, как и на то, что в советских журналах опять стала появляться какая-никакая лирика, а не только рифмованная публицистика. Даже антиформалистическая кампания 1936 года чем-то ему улыбнулась — в печати обличались бывшие стихи лэфовцев и конструктивистов, и Гулливер удовлетворенно отмечал: «Когда мы, грешные, над такими стихами смеялись, нас называли рутинерами, белогвардейцами, врагами человечества, а то и похуже»².

¹ СС-4. Т. 4. С. 529—530.

² Возрождение. 1937. № 4095. 13 августа.

Чем сильнее разочаровывался Ходасевич в эмиграции, тем сильнее был соблазн увидеть во всем этом признаки того, что худшие дни в советской литературе позади, что началось медленное возвратное движение.

К середине 1937 года многие из наиболее одиозных советских критиков — Леопольд Авербах, Николай Свирина, Ефим Добин, Георгий Горбачев, Иван Гронский, Илларион Вардин (Мгеладзе) — были «отстранены от литературы». У Ходасевича это вызвало если не энтузиазм, то осторожную надежду. Правда, вскоре он убедился, что «травлей Авербаха и прочих “троцкистов” заняты сейчас такие же литературные незнакомцы, как они сами. <...> Голодные бездельники спешат вытеснить напивавшихся, чтобы занять их места»¹. Однако же это была не холодная констатация факта. Ходасевич тут же прибавлял: «Советская литература нуждается в глубоких внутренних реформах, которые не могут быть заменены никакими персональными перетасовками, смещениями и другими мерами. К вопросу о том, как подобные реформы могут быть проведены в существующих условиях, мы еще надеемся вернуться». Это явно слова человека заинтересованного, не стороннего. Где же он собирался обсуждать эти реформы — на страницах газеты, для которой вся советская Россия со всей своей литературой была зловредным мороком, подлежащим упразднению? Или он сам собирался каким-то образом участвовать в этих реформах, рассчитывая, что сталинский режим «примет во внимание многие важные обстоятельства», а именно, что враги писателя Ходасевича оказались врагами советского народа?

Поразительный памятник этих настроений — некролог Евгению Замятину, напечатанный в «Возрождении» за 10 апреля 1937 года (№ 4072). Поэт-эмигрант ставит в заслугу советскому гражданину Замятину то, что тот, покинувший отечество, не общался с эмигрантами, не сотрудничал в их прессе и умер в нищете: «Его несчастье заключалось в том, что он не дождался до тех, быть может, уже недалеких дней, когда в советской России кончится лже-революционное мракобесие, с которым он боролся. Теперь, когда его уже нет, в самом СССР должны бы призвать к ответу тех “критиков”, которые выпихнули его за границу, лишив страну — честного человека, а литературу — талантливого работника». Ходасевич как будто проецировал судьбу Замятина на себя — десять лет назад, и завидовал его стойкости. Но он смотрел на ситуацию как будто «изнутри» советской литературы, что прежде было невозможно.

¹ Возрождение. 1937. № 4095. 13 августа.

Не будем осуждать поэта, который издалека принял окончательное и кровавое торжество черно-красной сотни за предвещие ее поражения. Вскоре его иллюзии рухнули. Статья Ходасевича «О советской литературе» — мрачный постскрипtum к десятилетним наблюдениям Гулливера: «За советской литературой становится невозможно “следить”, потому что следить в ней уже не за чем». В обществе, претендующем на достижение всеобщего счастья и всеведения, художнику места нет. «Кроме славословия, поскольку последний идеал еще не достигнут, советский писатель может заниматься “выкорчевыванием проклятого наследия”, исправлением “маленьких недостатков механизма” и проклятиями по адресу “врагов народа”. Но и тут, всеведущий среди всеведущих, не может он сказать ничего нового, да и говорить, в сущности, не стоит, потому что заранее известно, и никто сомневаться не смеет, что наследие будет ликвидировано, недостатки исправлены, а троцкисты и бухаринцы расточатся, как полагается демонам» (Возрождение. 1938. 20 мая).

На первый взгляд — очередное полемическое преувеличение. Но в оценке основной тенденции развития советской литературы, возобладавшей к концу 1930-х, Ходасевич весьма проницателен: «Происходит скольжение с линии Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского примерно на линию Надсона, Горького, беллетристов-народников, а там, глядишь, и Мамина-Сибиряка. Весь очеркизм, а за ним пресловутый социалистический реализм вышли из этого скольжения». В такой литературе делать ему было нечего.

Одним из факторов, обусловивших эти метания Ходасевича, стало празднование пушкинского юбилея. В Париже еще в 1935 году был образован по этому поводу Центральный Пушкинский комитет. Программа его работы была широка: издание собрания сочинений Пушкина, установка памятника ему в Париже, проведение разного рода юбилейных мероприятий, из которых самой заметной стала Пушкинская выставка в зале Плейель, организованная рачением Сергея Лифаря. Комитет состоял в основном из представителей «общественности». Достаточно сказать, что председателем его стал видный юрист-кадет В. А. Маклаков (когда-то, лет сорок назад, он был женихом Нины Петровской), а среди трех его «товарищей» был лишь один писатель — Бунин (два других — Милюков и бывший управляющий Министерством промышленности и торговли Михаил Федоров). Ходасевич был одним из немногих специалистов, включенных в Комитет. 6 ноября 1935 года он писал Альфреду Бему: «Дело в том, что в комитете сидит человек со-

рок, из которых читали Пушкина четверо: Гофман, Лозинский, Кульман и Ваш покорный слуга. Читали его, впрочем, еще двое: Бурцев и Тыркова, — но от этого у них в головах произошел только совершенный кавардак»¹. Владимир Львович Бурцев, журналист, прославившийся разоблачением агентов охранки, в том числе Азефа, в эмиграции занимался пушкинской текстологией. Об уровне его квалификации свидетельствует следующий факт — Владимир Львович призывал печатать известную строку «Памятника» так: «Жив будет хоть один поэт», ибо слово «пиит» устарело. Ариадна Тыркова-Вильямс, деятельница Партии народной свободы, в эмигрантские годы выпустила двухтомную биографию Пушкина, которая переиздается и поныне — однако Ходасевич и ее ученость не принимал всерьез. Не очень высоко оценивал он и пушкиноведческие познания включенных в Комитет коллег-писателей, среди которых были Цветаева, Адамович и Гиппиус.

Как могла выглядеть работа такого комитета? Вот как обсуждалось предстоящее издание собрания сочинений Пушкина: «Шмелев и Зайцев объявили, что без “Вишни” они Пушкина не мыслят. М. М. Федоров заявил, что даже те стихотворения, которые Пушкину заведомо не принадлежат, но к которым “мы привыкли, как к пушкинским”, — должны быть включены. Милюков сказал: “Не печатать же полностью какие-нибудь ‘Повести Белкина’: довольно и парочки”. Самый вопрос о принадлежности Пушкину тех или иных вещей он же предложил решать по демократическому принципу — большинством голосов»². Ходасевича, с его тогдашней нервозностью и болезненным отношением ко всему, что связано с Пушкиным, эти бесплодные заседания диких в пушкинистике людей доводили до бешенства. Бему он признавался, что его все подмывает «предложить, чтобы почтили вставанием память кн<язя> М. А. Дондукова-Корсакова. Боюсь только, что не поймут, в чем дело, да и согласятся»³.

Ходасевичу принадлежит эпиграмма, в которой обыгрывается все тот же «дондуковский» мотив:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Почему такая честь?
Потому что ж... есть!
А в Париже тридцать шесть!!!

¹ Цит. по: *Толстой И.* Ненужный Пушкин // *Русская жизнь.* 2007. № 17. 21 декабря.

² Там же.

³ Там же.

Тридцать шесть членов осталось в Комитете под конец, после всех пертурбаций¹.

Язвительность Ходасевича проявилась и в его письме от 22 августа 1935 года секретарю комитета Григорию Леонидовичу Лозинскому, брату переводчика Михаила Лозинского и соавтору франкоязычной истории русской литературы; он был одним из тех четырех членов, кто, по мнению Владислава Фелициановича, понимал дело:

«Покойный генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал родом был из той части Абиссинии, где ефиопы в глубокой древности смешались с иудеями. Многие родичи славного сего места и по сей день исповедают веру иудейскую.

Наивозможнейшим почитаю, что и сам генерал-аншеф оную исповедовал прежде крещения своего, в 1707 году в гор. Вильне воспоследовавшего. Опять же, нынешнее государство Абиссинское официально исповедает веру христианскую, близкую обрядами к православию. Следственно, Милостивый Государь! редакция почтенных “Последних Новостей” ничто другое собой не являет, как сию Абиссинию в приятном миниатюре. Сие-то нас и обязывает прямо взять позицию ефиополобивую! Ради снабжения сих храбрых воинов всем потребным для ведения войны оружием полагаю желательным устроить и второй концерт, с участием славной чернойкожей курвы Жозефины Беккер² и какого-либо из доблестных наших хоров балалаечных. Признаюсь, для сего концерта я и сам разбудил дремлющую свою Музу и заказал ей Оду, коей первые стихи уже и готовы:

О чем шумите вы, фашисты, по Европам?
Зачем анафемой грозите ефиопам?³

За оду сию уповаю не без ордена царя Соломона остаться. Беседовал я также с ваятелем А. С. Головиным о составлении проекта монументу, имеющему быть в гор. Аддис-Абебе воз-

¹ Н. Богомолов в статье «Юмор Владислава Ходасевича» (Знамя. 2008. № 2) приводит другой вариант эпиграммы:

В Академии Наук
Заседает князь Дундук —
А у нас их <тридцать> штук.
Отчего же их в Европе
Стало столько заседать?
Оттого, что каждой ж-е
Нужно было место дать.

² *Жозефина Беккер* (1906—1975) — американская джазовая певица (и разведчица), жившая в Париже.

³ Намек на итало-эфиопскую войну 1935—1936 годов.

двигнуту: А. П. Ганнибал, из черной бронзы отлитый, руку подает П. Н. Милокову, отлитому из бронзы светлой. Красоту сей аллюзии Вы, Государь мой, конечно, постигнете без усилия. Барельефы на постаменте, помимо приличных случаю Гениев и тому подобного, могут изображать славные события из истории отечественной, како: прибытие А. П. Ганнибала в Санкт-Петербурх — и отбытие П. Н. Милокова из оногo. Сверх того — аллегориями и атрибутами обильно украшенные портреты: в Бозе почивающего ИМПЕРАТОРА Петра Великого — и А. М. Кулишера; царя Соломона (со свитком Екклезиаста) — и М. А. Алданова; царицы Савской — и А. В. Тырковой; А. С. Пушкина — и Дон-Аминадо. К монументу должна вести аллея, по обеим сторонам уставленная бюстами: П. В. Анненкова, П. И. Бартенева, Л. А. Майкова, И. Д. Якушкина¹, П. А. Ефремова, П. О. Морозова, С. А. Венгерова, С. М. Лифаря, М. Л. Гофмана, всех прочих членов Комитета Нашего и барона Ж. Дантеса. (Наших с Вами бюстов по нашей скромности мы попросим не воздвигать.)»².

Идея о возможном происхождении Ганнибала от фалашей (эфиопских иудеев) в самом деле приходила Ходасевичу в голову (он обсуждал этот вопрос в 1937 году с приезжавшим в Париж Черниховским), но в целом письмо хорошо характеризует степень серьезности отношения поэта к эмигрантским юбилейным затеям. Единственный смысл, который он видел в своей участии в Комитете, — это получить официальный оплаченный заказ на пушкинскую биографию. Из этого ничего не вышло, как и из подписки, объявленной поэтом в 1935 году. Вскоре он вовсе отошел от дел Комитета, принципиально не принимал участия «ни в каких заседаниях, собраниях, концертах, ни в каких “пушкинских” номерах газет и журналов» (письмо Альфреду Бему от 4 февраля 1937 года).

Все же издательство «Петрополис», одним из учредителей и руководителей которого был Григорий Лозинский, выпустило книгу Ходасевича «О Пушкине» — сокращенное и переработанное переиздание «Поэтического хозяйства». Ходасевич выбросил часть статей (в том числе и ту, злополучную, о «Русалке»), а пять новых, напечатанных после 1924 года в газетах, добавил. Одна из них, впервые опубликованная в 1926 году в «Звене» (№ 197. 7 ноября), содержала очередную смелую гипотезу о том, что два знаменитых поздних стихотворения Пуш-

¹ Пушкиниста Вячеслава Евгеньевича Якушкина, чье имя по праву упомянуто в ряду славных коллег, Ходасевич перепутал с его дедом, декабристом Иваном Дмитриевичем Якушкиным.

² *Толстой И.* Ненужный Пушкин // Русская жизнь. 2007. № 17. 21 декабря.

кина — «Когда за городом, задумчив, я брожу...» и «Пора, мой друг, пора...» — фрагменты одного недописанного текста. С Ходасевичем почти никто не согласился — от Адамовича до Бема, не согласился даже его друг и поклонник Вейдле. Но серьезной дискуссии не получилось: почти все «действующие» пушкинисты жили в СССР. Книга Ходасевича удостоилась в эмигрантской печати немалых похвал (например, Юрий Манделъштам утверждал, что она «перевешивает всю пушкинскую литературу юбилейного года — по обе стороны рубежа»¹), но подлинным событием не стала.

И вот в этой ситуации Владислав Фелицианович по-особенному, ревниво следил за ситуацией по ту сторону границы. Конечно, официальное сталинское празднование выглядело еще чудовищнее, чем риторика парижских публицистов. И все-таки сочинения московских и ленинградских коллег, научные и полубеллетристические, обильно появлявшиеся в тот год в журналах, вызывали у него не только интерес, но и своего рода зависть: эти люди имели доступ к библиотекам и архивам, их труды, посвященные Пушкину, были востребованы и адекватно оплачивались. Не все ему нравилось: например, к тыняновскому «Пушкину» он предъявил, по существу, те же претензии, что некогда князь Вяземский к «Войне и миру», обвинив Тынянова в «принижении» людей начала XIX столетия, в клевете на них. Трудно сказать, что Ходасевич имел в виду: в его набросках пушкинской биографии Сергей и Василий Львовичи выглядят не лучше. Кислую реакцию вызвала у него и биография Пушкина, начатая и не законченная Георгием Чулковым, а вот другой пушкинский биограф, тоже не доведший свою работу до конца, удостоился его похвал — и это был не кто иной, как Святополк-Мирский, из евразийца ставший коммунистом и в 1932 году вернувшийся на родину. Конечно, мысль о том, что замысел, пронесенный им через всю жизнь, исполняет, и не без блеска, его давний личный враг, должна была вызывать у Ходасевича особого рода тоску. Он, конечно, не мог представить себе, что вскоре князь-большевикан окажется на Колыме.

Среди откликов на пушкинский юбилей, которых Ходасевич не знал и знать не мог, были «Рассказы о Пушкине» Даниила Хармса. Тем интереснее, что очень похожий текст сошел с пера самого Ходасевича пятью-шестью годами раньше. Речь идет о юмореске «День русской культуры», вошедшей в цикл «Подслушанные разговоры», который был опубликован в парижском «Сатириконе» (1931. № 16):

¹ Возрождение. 1937. 7 мая.

«— Нет, что ни говорите, а великий был человек. Я “Полтаву” его, почитай, наизусть знал. Ну, теперь-то забыл, конечное дело. А то, бывало, как пойду чесать: трррр... И до чего же он остроумный был — удивительно. Раз это одевается он у себя, а тут входит одна курсисточка. А он, понимаете, в одной рубашонке. Так он что сделал? Взял конец рубашонки в зубы, да так перед ней и стоит. Да еще говорит: “Извиняюсь, — говорит, — я без галстучка”. Я много чего про него знаю, и всю его жизнь знаю очень хорошо. Выпивоха был, между прочим, отчаянный, — все с гусарами пил. День и ночь пьет, бывало. А только вот вы подумайте, до чего был скор на стихи, трезвый ли, пьяный ли — все одно. Ему нипочем. Вот один раз какой был достоверный факт. Напился это он и валяется на дороге. А Лермонтов-то идет. Увидал его да и говорит, стихами, само собой разумеется:

Чье это безжизненное тело
Лежит на моем пути?

А он, хоть и пьян, как колода, а враз ему прямо из лужи и отвечает:

А тебе какое дело?
Пока морда цела — проходи.

Ну, тут Лермонтов ему сразу первое место и уступил».

Бийанкурское бытие давало Ходасевичу достаточное представление о том, как соотносится его Россия (восемь томов в дорожном мешке) с внутренним миром эмигрантского «пролетариата» (или мещанства), чей голос он здесь фиксирует. Но и элита эмигрантская была не на высоте своих задач.

Поэт ощущал себя чужим *здесь* — а *там* был уж вовсе потусторонний и враждебный мир. Выхода не оставалось. Но ко всему прочему эти миры не находились в покое. Реальность, и без того некомфортная, грозила сделаться еще более страшной и невыносимой. Но до самого страшного Ходасевич не дожил.

5

К концу 1938 года новой европейской войной запахло куда сильнее, чем в то время, когда об этом писалось в письме Анне Ивановне. Только теперь Ходасевич был иной — нездоровый, стареющий, уставший, — и сердце его не «играло, как проснувшийся младенец» при виде раскрывшейся бездны. 21 сентября 1938 года в письме Берберовой Ходасевич так комментировал грядущее Мюнхенское соглашение: «Ну, душенька, будем на-

деяться, что мы с тобой переволновались понапрасну: кажется, всеблагие хотят нас избавить от присутствия на их очередной пирушке. Это очень мило с их стороны. Не люблю роковых минут и высоких зрелищ»¹. Но, видимо, какое-то предчувствие продолжало его томить — 29 января 1939-го он снова возвращается к теме предстоящей войны: «У меня душа в пятках — не хочу воевать. В сущности, только об этом и думаю, а что-то пишу и хлопочу, — как сквозь сон»².

Год, начинавшийся с таких тревожных ожиданий, был еще и годом юбилея — для Ходасевича не менее важного, чем пушкинский, но — тайного, малоинтересного широкой публике: двухсотлетие русского ямба, который — и это было последнее, во что поэт еще верил — «крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен». В 1739 году Ломоносов в Германии, во Фрайберге написал оду на взятие русскими войсками турецкой крепости Хотин. Для Владислава Фелициановича это стало стимулом, побудившим его обратиться к поэзии — нечасто с ним это сейчас происходило:

...Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала...

(«Не ямбом ли четырехстопным...», 1938)

Поэт, разумеется, не видел в этом строгом, классическом, несколько стилизованном стихотворении ту «отчетливую оду», в которой должен излиться его «предсмертный стон». Ода, однако же, оказалась оборвана на полуслове, и слова: «Ему один закон — свобода, в его свободе есть закон» — оказались последними стихотворными строками Ходасевича; и потому, в ретроспективе, они звучат как автохарактеристика поэта, перекликающаяся с давней набоковской рецензией на «Собрание стихотворений».

Как раз в это время Ходасевич получил от «Петрополиса» предложение издать книгу воспоминаний. Он составил ее из очерков, писавшихся и печатавшихся в течение пятнадцати лет — составил с большим искусством: не книгу о литературе,

¹ Письма В. Ходасевича — Н. Берберовой / Публикация Д. Бетеа // Минувшее. Париж, 1988. № 5. С. 234.

² Там же.

не книгу о знаменитостях, но книгу о мертвых, прославленных и безвестных. О тех из них, с кем он был связан особенно тесно: дружбой, как с Белым, Муни или Петровской, дружбой-враждой, как с Брюсовым, поворотом судеб, как с Горьким, а то и вовсе странной, рационально неопределимой, раздражающей связью, как с Гумилёвым. «Некрополь» мог многих заворожить и многих обидеть. Но толком отреагировать на книгу не успели. Почти одновременно с ее выходом стало известно о тяжелой болезни писателя. Словно герои этой автобиографической прозы Ходасевича пришли за ее автором.

Еще в конце января 1939-го Ходасевич почувствовал боли в животе. Сперва диагностировали закупорку желчных путей. В конце января он еще гостил, вместе с Ольгой, у Берберовой и Макеева, незадолго до того переехавших в парижский пригород Лоншан. К марту состояние больного резко ухудшилось, начались сильные боли в брюшине и в спине. О дальнейшем развитии событий Берберова вспоминает так:

«На пасхальной неделе он поехал к Левену (известный французский врач), показаться. Левен начал лечить кишечник. Мы опасались, что это рак кишок.

Весь апрель он жестоко страдал и худел (потерял кило 9). Волосы у него отрасли — полуседые; он брился редко, борода была совсем седая. Зубов уже вовсе не надевал. Кишечные боли мучили его и днем, и ночью; иногда живший по соседству врач приходил ночью, впрыскивать морфий. После морфия он бредил — три темы бреда: Андрей Белый (встреча с ним), большевики (за ним гонятся) и я (беспокойство, что со мной). Однажды ночью страшно кричал и плакал: видел во сне, будто в автомобильной катастрофе я ослепла (в тот год я училась водить автомобиль). До утра не мог успокоиться, а когда я днем пришла — то опять разрыдался»¹.

Судя по всему, на смертном одре Ходасевич ни разу не вспомнил ни Анны Ивановны, ни Муни. И он больше тревожился о молодой, сильной Берберовой, чем о женщине, скрасившей его последние дни и без него, в самом деле, уязвимой и беззащитной.

Тем временем известие о тяжелой болезни Ходасевича заставило всполошиться его знакомых. Гиппиус после долгого перерыва написала ему теплое письмо; он успел ей ответить. Набоков был у него дважды, 28 января (с женой) и 7 апреля; 21-го Ходасевич уже не смог его принять. С посторонними — даже приятелями — он старался держаться с достоинством. Юрий Мандельштам, почтительный, не хватавший звезд с неба уче-

¹ Берберова Н. Курсив мой. С. 416

ник, в своих по свежим следам написанных воспоминаниях восхищался «необыкновенной жизненной силой этого слабого от природы человека»: «Едва отпускали его жесточайшие боли, в нем просыпался его острый юмор, потребность развлечься, посмеяться...» Две женщины, ухаживавшие за Ходасевичем, — Ольга и Нина — знали цену этому юмору.

В мае уже новый доктор, Абрами, усомнился, что дело в кишечнике, и предположил рак поджелудочной железы. Ходасевича положили для обследования в госпиталь Бруссе — городскую больницу для бедноты (на частный госпиталь денег не было, хотя больному Ходасевичу помогали многие — и сестра, и разные эмигрантские фонды). Берберовой она показалась адом:

«Он лежал в стеклянной клетке, завешанной от других палат — соседних — простынями. В клетку светило яркое, жаркое солнце; негде было повернуться. Голодный до дрожи, он накидывался на то, что ему приносили (в госпитале кормили дурно, и он там почти ничего не ел), острил над собой и потом сразу потухал, ложился, стонал, иногда плакал.

Ванны (которые ему облегчали чесотку при желтухе) ему не давали, так как «он был недостаточно грязен», грелку ночью не приносили. Сестры были шумливы, равнодушны и грубы. Абрами являлся в сопровождении пятнадцати студентов. Когда ему брали кровь для исследования, то обрызгали кровью всю комнату, и ему было до вечера больно.

Жесткая койка; с трудом выпрошенная вторая подушка; госпитальное белье и суровое «тюремное» одеяло, а на дворе — жаркие июньские дни, которые так и ломаются в комнату. Он говорил:

— Сегодня ночью я ненавидел всех. Все мне были чужие. Кто здесь, на этой койке, не пролежал, как я, эти ночи, как я, не спал, мучился, пережил эти часы, тот мне никто, тот мне чужой. Только тот мне брат, кто, как я, прошел эту каторгу».

И даже на этой каторге он пытался работать — готовил к печати свою переписку с Горьким¹.

После мучительных исследований решено было делать операцию, хотя опухоли так и не нашли, а непроходимость желчных путей не подтвердилась. Ходасевич мог отказаться, но альтернативой была медленная и мучительная смерть. 8 июня Ходасевича выпустили домой. На следующий день он простился с Берберовой. Надежд на успешный исход операции у него не было.

¹ Частично опубликована Н. Н. Берберовой в 1952 году в США. См.: Письма Максима Горького к В. Ф. Ходасевичу // Новый журнал. 1952. № 29—31.

Двенадцатого июня его снова положили в госпиталь; сутки он провел в палате на двоих, причем соседом его был соотечественник — русский еврей, торговец подтяжками с Монпарнаса. 13-го в три часа дня хирург Боссэ сделал операцию. Из печени Ходасевича было извлечено два огромных камня; желчные проходы в самом деле были забиты — камнями, кровью и гноем. До раковой опухоли (которая действительно была) хирург так и не добрался. Больному обещали не больше суток жизни.

В семь вечера в госпиталь ненадолго пришли Берберова и Макеев. Ночь Владислав Фелицианович провел без сознания, в обществе медсестры и «совершенно обезумевшей Оли». Уже в момент агонии Ольга Борисовна окликнула мужа — и он улыбнулся ей. Можно сказать, что это была ее «победа» над лучшей подругой, предшественницей и соперницей.

Четырнадцатого июня 1939 года, в шесть утра, Владислав Ходасевич ушел из мира, в котором он прожил 53 года и 17 дней. Здесь, по эту сторону, остались окоченевшее измученное тело и мед стихов, скопленный душой-пчелой.

6

Тем временем началась похоронно-некроложная суета.

В половине восьмого пришла Берберова. Она срезала с покойника прядь волос — ту самую, которую потом пыталась подарить Набокову — к ужасу последнего.

Отпевание состоялось через два дня, 16-го, в русской католической церкви восточного обряда на улице Франсуа-Жерар, 39, в 1 час 45 минут пополудни; похороны — на Булонском кладбище в три. Было несколько сотен человек: все «возрожденцы» во главе с Гукасовым и Семеновым, вся редакция «Современных записок», литературные друзья (включая Сирина, Смоленского, Ладинского, Кнута, Блох, Горлина), литературные враги и полувраги (Георгий Иванов, Адамович, Одоевцева, Червинская, Модест Гофман, даже несчастная Бакунина, сочинительница романа «Тело»), Мережковские, Маковский. За гробом шли три женщины: Нина, Ольга и — Женечка, уже старая, 63-летняя Евгения Фелициановна Нидермиллер. Вместе с зятем Нидермиллером гроб несли Владимир Вейдле, Николай Макеев, Георгий Раевский, Владимир Смоленский, Юрий Мандельштам.

«Возрождение» 16 июня отвело под некрологи целую полосу. Официальное редакционное извещение гласило: «На протяжении четырнадцати лет борьбы и работы смерть вырвала из

наших рядов немало сотрудников: А. И. Куприна, А. А. Яблоновского, А. В. Амфитеатрова, Н. Н. Чебышева, В. Я. Светлова и других, скончавшихся на своем посту. Все они внесли свой вклад в общее дело и, каждый в своей области, оставили след в духовной жизни русского зарубежья. Этот вклад не пропадет. Выбывают отдельные люди, но общее дело, дело борьбы за Россию и за русскую национальную культуру, продолжается». С «газетной» точки зрения Ходасевич оказывался в ряду с людьми, чьи имена (кроме Куприна и Амфитеатрова) ныне известны лишь узким специалистам по истории журналистики.

Все же Семенов Ходасевичу цену понимал, хотя бы отчасти. Он лично написал небольшой некролог, в котором припоминал, как Вячеслав Иванов в разговоре с ним в 1937 году назвал Ходасевича лучшим современным русским поэтом. Заканчивался его текст так: «В Париже Ходасевич до конца чувствовал себя чужим и тяготился жизнью изгнанника. Мы, соратники Ходасевича по редакции, в день его смерти можем находить утешение в том, что, обеспечив ему полную свободу для работы, этим смягчили его тоску по России».

Другие некрологи были эмоциональнее и многословнее. Приведем несколько фрагментов:

«К написанному слову, своему и чужому, покойный был немолимо строг и требователен, но зато ведал ему истинную цену, ведал, какими усилиями, какой душевной мукой добывается оно. Как поэту подлинного вдохновения, было ведомо Владиславу Ходасевичу еще и другое: он знал, что если слишком часто наше слово расходится с делом, то еще безнадежнее расходится оно с последней глубиной наших чувств, с нашим внутренним опытом» (Георгий Мейер).

«Рыхлая масса сантиментов и душевности, расплывающаяся по всем швам форма — все эти качества, неизменно сопутствующие улице, “демократии” и ее пишущим фаворитам, не могут не видеть в творчестве художников, подобных Ходасевичу, “пушечное жерло, направленное прямо им в физиономию” (Чехов). От этого жерла заслоняются — кто бульварным романом “с английского”, кто стихами какой-нибудь домашне-кружковой знаменитости, кто откровенной советчиной» (Владимир Ильин).

«Буду помнить его худую, цепкую руку мальчика, как он потирал сухой подбородок, буду помнить его острый взгляд из-под блистающих очков. В глубине, всегда, как бы горькое изумление, и как хорошо веселели эти серые глаза. <...>

В эмиграцию — и к белым, и в “Возрождение” — Ходасевич пришел дальней дорогой. И к белым, и в “Возрождение” он пришел по одному тому, что был настоящим литератором: Хо-

дасевич знал, как затерзала, как погасила настоящую русскую литературу революция» (Иван Лукаш).

Лукаш был талантливым и умным писателем, но и он, вместе с другими «возрожденцами», пытался политически присвоить поэта. И если Мережковский, хваливший Ходасевича за «крепкое, ясное, непоколебимое отношение к “тамошнему”», толком не разговаривал с ним лет десять — то Лукаш хорошо знал (хотя бы по статьям Ходасевича), что тот ненавидел большевизм, но не революцию (в своем понимании), и белым по настоящему не был.

Юрий Мандельштам напечатал в том же номере «Возрождения» извещение о болезни и смерти Ходасевича. В следующем номере, за 23 июня, была опубликована его статья о творчестве учителя — «Тяжелый дар» и фрагментарные воспоминания о «живых чертах» покойного.

Помянули поэта и другие газеты русского зарубежья.

Адамович, подписавшись криптонимом, поместил в «Последних новостях» краткий некролог и воспоминания о литературных суждениях своего вечного оппонента — под псевдонимом Сизиф. Но посмертного примирения не вышло, спор продолжился. Выдержав два с лишним месяца, Адамович напечатал — таки 24 августа неоднозначную рецензию на «Некрополь»; отзыв свой он снабдил предупреждением, в котором объяснял полугодовую задержку заботой о самочувствии больного поэта: «При крайней, постоянной его нервности, при крайней чувствительности к суждениям о его творчестве было невозможно писать о “Некрополе” свободно и беспристрастно».

Сохранился черновик яростного письма Ольги Марголиной-Ходасевич: «Хорошим или плохим поэтом и писателем был В. Ф. — не знаю, но пошляком он не был. <...> В. Ф. относился к критике своего творчества абсолютно холодно». Дальше следовали довольно нелепые выпады против «безответственных», «неправдивых», «с социальным заказом» писаний Адамовича. Несчастливая женщина слишком живо вошла в роль писательской вдовы — может быть, чтобы заглушить свою боль.

В варшавской газете «Меч» поэта помянул Владимир Унковский. Заметка его изобиловала неуместными медицинскими подробностями, а чуть не главной заслугой Ходасевича почиталось то, что, когда в парижском «Профессиональном союзе русских писателей» произошел раскол и большая часть сотрудников «Возрождения» перешла в новый, более правый (и менее «еврейский») Национальный союз писателей¹, Владислав Фелицианович остался в прежнем Союзе.

¹ Поводом для конфликта стало исключение из этого объединения Л. Любимова.

В «Новой России» за 12 июля поместил заметку Александр Керенский, в очередной раз блеснувший своим знаменитым красноречием: «Опустело кресло в той Академии избранных, куда входят только по собственному праву, а не по количеству избирательных записок». В первый и пока в последний раз в истории России глава государства (хотя бы даже и бывший) собственноручно написал некролог поэту.

Сразу несколько поминальных заметок поместила рижская газета «Сегодня». Их авторами были известный дореволюционный газетчик Петр Пильский и молодой Андрей Седых (Яков Цвибак) — тоже впоследствии знаменитый газетчик, но уже совсем другой эпохи (прототип Боголюбова в «Ремесле» Сергея Довлатова и Моисея Бородатых в американских рассказах Эдуарда Лимонова); когда-то, в 1931 году, он брал у Ходасевича короткое интервью для своей газеты.

Ходасевича помянули и в польской, и в еврейской прессе. В Тель-Авиве воспоминания о внуке Якова Брафмана, переводившем еврейскую поэзию, опубликовали Лев Яффе и Саул Черниховский.

«Современные записки» в большей, чем какое-либо другое издание, степени оказались на высоте положения: высказаться о Ходасевиче в первую очередь доверили тем, кто был способен сделать это и имел на это право — Берберовой и Сирину. В книге LXIX этого журнала Нина Николаевна делилась личными воспоминаниями, пыталась вывести литературную генеалогию поэта, основываясь на собственных его свидетельствах («от прозаизмов Державина, от некоторых наиболее “жестоких” стихов Тютчева, через “очень страшные” стихи Случевского о старухе и балалайке и “стариковскую интонацию” Анненского»), и так определяла место Ходасевича в русской поэзии:

«Есть десять имен, без которых — нет русской поэзии. Пусть пять из них (Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев) будут бесспорны — о других пяти будет вечный спор. Одни назовут Блока и Ахматову, другие — Пастернака и Анненского. Но больше десяти все равно не наберется. Ходасевич сумел стать одиннадцатым». По-разному можно понять эти слова: с одной стороны, не один из «золотой десятки», а — одиннадцатый, словно на приставном стуле; с другой — постоянный и несомненный «бессмертный», о котором спора нет.

Набоков, вольно или невольно, отпевая друга и в чем-то учителя, подхватывал незаконченные тем споры:

«В России и талант не спасает; в изгнании спасает только талант. Как бы ни были тяжелы последние годы Ходасевича, как бы его ни томила наша бездарная эмигрантская судьба, как бы старинное, добротное человеческое равнодушие ни содей-

ствовало его человеческому угасанию, Ходасевич для России спасен — да и сам он готов признать, сквозь желчь и шипящую шутку, сквозь холод и мрак наставших дней, что положение он занимает особое: счастливое одиночество недоступной другим высоты. Тут нет у меня намерения кого-либо задеть кадиллом: кое-кто из поэтов здешнего поколения еще в пути и — как знать — дойдет до вершин искусства, коль не загубит себя в том второсортном Париже, который плывет с легким креном в зеркалах кабаков, не сливаясь никак с Парижем французским, неподвижным и непроницаемым. <...>

В сравнении с приблизительными стихами (т. е. прекрасными именно своей приблизительностью — как бывают прекрасны близорукие глаза — и добивающимися ее также способом точного отбора, какой бы сошел при других, более красочных обстоятельствах стиха за “мастерство”) поэзия Ходасевича кажется иному читателю не в меру чеканной — употребляю умышленно этот неаппетитный эпитет. Но все дело в том, что ни в каком определении “формы” его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой подлинной поэзии.

На этих *чеканных* словах и стоит закрыть «некроложную» тему. В сущности, поразительно: Ходасевича как раз успели по-настоящему оплакать. Умри он несколькими неделями позже, русским парижанам было бы не до него. Война, которой он так боялся, началась через два с половиной месяца после его смерти. Немцы вошли в Париж 14 июня 1940 года — ровно в годовщину смерти Ходасевича, день в день.

Несомненно, Владислав Фелицианович немало удивился бы, узнай он, как повернутся судьбы многих его знакомых. Например, что четверка «гумилят» расколется: 48-летний, глубоко штатский Адамович вступит в Иностраннный легион, чтобы сражаться с Гитлером; Оцуп, единственный в четверке еврей, попадет в концлагерь, бежит из него, будет участвовать в итальянском Сопротивлении; а Иванов и Одоевцева тем временем будут мечтать о «культурной работе» на освобожденных от коммунизма территориях России. Или о легендарной речи Мережковского по парижскому радио, в которой фюрер сравнивался с Жанной д'Арк. Или о том, что Илья Фондаминский, за несколько дней до ареста перешедший в православие, но отказавшийся от побега (чтобы «умереть с евреями, но христианином»), будет канонизирован православной церковью Константинопольского патриархата вместе с матерью Марией. Или о том, что Лев Любимов, всю войну проработавший в коллаборационистской прессе, внезапно «сменит вехи», станет «советским патриотом» и после ряда, вероятно, не только журналистских услуг, оказанных родине, вернется в СССР; там он в

1957 году опубликовал книгу «На чужбине», в которой несколько страниц посвящено Ходасевичу; примечательно, что Анна Ивановна Ходасевич впервые узнала какие-то подробности о последних годах жизни бывшего мужа именно из книги Любимова (а может быть, и не она одна)¹.

Но прежде всего Ходасевич был бы потрясен судьбой своих близких.

С самого начала войны Ольга Борисовна переехала из Бийянкура к Берберовой и Макееву в Лоншан, потом — к сестре. Вместе с Марианной она и была арестована немцами 16 июля 1942 года. Пока она находилась в пересыльном лагере в Дранси, Берберова и Макеев хлопотали о ее освобождении, упирая на то, что госпожа Ходасевич — православная и была замужем «за арийцем и католиком» (правда, в справке, выданной для этой цели священником, предательски поминалась девичья фамилия матери «арийца»). Суть окончательного решения была одинакова по всей контролируемой рейхом территории, но формы различны: в белорусском местечке хватало одной пулеметной очереди прямо на главной площади, а в Париже о судьбе Ольги Ходасевич ходатайствовал адвокат (сам с желтой звездой на одежде), и благодаря его хлопотам удалось отсрочить отправку Ольги из Дранси в Аушвиц на два месяца. Больше никто ее не видел. Часть архива Ходасевича из ее разгромленной квартиры Нина успела унести.

До конца оккупации не дожили Раиса Блох, Михаил Горлин, Юрий Фельзен, Юрий Мандельштам: все они были депортированы и погибли, скорее всего, в газовых камерах. Берберова и Макеев почти не выезжали из Лоншана, не сотрудничали ни в какой пронемецкой прессе, но в конце войны были обвинены в коллаборационизме: им инкриминировалась перепродажа картин, реквизированных у жертв. Неизвестно, были ли эти обвинения справедливы; но все та же «любовь к победителям» одно время повлияла на умонастроения Нины Николаевны: в этом сомнений нет. 30 сентября 1945 года она сочла необходимым написать письмо Марку Алданову, в котором так рассказала о своей идейной эволюции:

«Да, в 40-м году, вплоть до осени, то есть месяца три до разгрома библиотек и первых арестов, я (как и девять десятых

¹ Книга «На чужбине» неоднократно переиздавалась, кроме того, Любимову принадлежат популярные книжки по истории живописи, поныне имеющие успех. Попытка вступить в Союз советских писателей почему-то провалилась: секретарь Союза В. Ильин, представлявший в писательской организации КГБ, принес на собрание вырезки из «Возрождения». Вероятно, чем-то Лев Дмитриевич «не угодил», может быть, в чем-то вышел из повиновения. Из близких Ходасевичу авторов в СССР вернулись А. Лалинский и И. Голенищев-Кутузов.

французской интеллигенции) считала возможным в не слишком близком будущем кооперацию с Германией. <...> Мы были слишком разочарованы парламентаризмом, капитализмом, третьей республикой, да и Россия была с Германией в союзе, это тоже обещало что-то новое. <...> Мы увидели идущим в мир не экономический марксизм и даже не грубый материализм. Когда же через год выяснилось, что все в национал-социализме — садизм и грубый империализм, то отношение стало другим, и только тогда во Франции появилось Соппротивление. Так судила я, так судили многие вместе со мной».

Копии этого письма были разосланы предусмотрительной Берберовой и другим видным деятелям русского зарубежья, занимавшим во время войны антинацистские позиции.

Пережив несколько непростых лет, Нина переехала в Америку; там началась ее новая — писательская, журналистская, профессорская — жизнь.

В 1961 году она за свой счет издала ограниченным тиражом «Собрание стихов» Ходасевича — его первую посмертную книгу¹. Однако потребовалось еще 20 лет, прежде чем появились первые сколько-нибудь полные собрания его сначала стихотворного, а затем и прозаического наследия. Эти собрания — парижское, под редакцией Юрия Колкера, в 1982—1983 годах, и американское, Джона Малмстада и Роберта Хьюза, в 1983-м и 1990-м, — вышли за границу². В СССР официальный запрет на имя и творчество Ходасевича был снят лишь в годы перестройки. (Точнее, полузапрет: была все же публикация подборки стихотворений Ходасевича в пятом номере журнала «Москва» в 1967 году, стоившая, правда, редакции немалых неприятностей; была статья о поэте в книге Владимира Орлова «Пути и судьбы», вышедшей в 1963-м.) Но и неофициальная репутация его сложилась далеко не сразу.

Вторичная канонизация Ходасевича произошла уже на наших глазах, в 1980—1990-е годы. Исторический парадокс заключается в том, что в конце XX столетия именно этот поэт, казавшийся современникам (и себе) консерватором, зазвучал гораздо острее и современнее многих авангардистов. Оказалось, что именно он острее всего почувствовал антропологический и языковой опыт, актуальный для нас. И даже то, что, может быть, в течение десятилетий отталкивало от него широкого читателя — жесткий, некомфортный, антиромантический взгляд на человека в сочетании со строгостью и требовательностью к себе и миру — для подлинных его поклонников ценнее всего.

¹ Ходасевич В. Собрание стихов: 1913—1939. München, 1961.

² Ходасевич В. Собрание стихов: В 2 т. Paris, 1982—1983; Собрание сочинений: В 2 т. Ann Arbor, 1983, 1990.

С другой стороны, Ходасевич стал для нынешних его читателей одним из самых ярких свидетелей литературы своего времени. На личности очень многих его современников мы смотрим его глазами, настолько убедительны его описания. И хотя его литературно-критические оценки порою оказывались пристрастны и однобоки — этого нельзя сказать о его глобальных эстетических концепциях.

Ходасевич, «чающий и говорящий», — не просто автор нескольких десятков драгоценных стихотворений (хотя это, конечно, главное). Отношение к его памяти и его наследию проверяет и измеряет многое в русской культуре. И если он не пребывает в том «счастливом одиночестве», о котором писал Набоков, — то лишь благодаря исключительному богатству русской поэзии последних двух веков.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

- 1886, 16 (28) мая — в Москве, в Камергерском переулке, в семье купца 2-й гильдии Фелициана Ивановича Ходасевича и его супруги Софьи Яковлевны, урожденной Брафман, родился сын Владислав. Осень — семья переехала на Большую Дмитровку, 14.
- 1890—1893 — увлечение Владислава балетом; первые стихотворные опыты.
- 1894 — начинает посещать частное училище Л. Н. Валицкой на Маросейке.
- 1896, весна — сдает экзамены в Третью московскую гимназию.
Июнь—июль — первое посещение Петербурга. Живет с родителями на даче в Сиверской. Встреча с А. Н. Майковым.
- Начало 1900-х — увлечение танцами, систематическое посещение танцевальных вечеров.
Знакомство с «декадентской» литературой. Сближение с Г. И. Ярхо, Г. А. Малицким, А. Я. Брюсовым, братом поэта; личное знакомство с В. Я. Брюсовым.
- 1902 — сближение с В. В. Гофманом. Знакомство с С. А. Соколовым и Н. И. Петровской.
6 сентября — отец Ходасевича исключен из купечества 2-й гильдии и причислен к московским мещанам.
- 1903 — Владислав переезжает от родителей к брату Михаилу. Написан первый сохранившийся литературно-теоретический текст — гимназическое сочинение «Правда ли, что стремиться лучше, чем достигать».
- 1904 — сочинены первые сохранившиеся стихи.
Май — заканчивает учебу в гимназии.
Сентябрь — поступает на юридический факультет Московского университета.
Осень — начинает посещать «среды» В. Я. Брюсова. Знакомство с Андреем Белым.
Вторая половина года — знакомство и начавшийся роман с М. Э. Рындиной.
Декабрь — живет в Лидине, имении И. А. Тарлецкого, дяди Рындиной.
- 1905 — дебютирует в печати как поэт (Альманах «Гриф», № 3) и как критик («Весы», № 5; «Искусство», 1905, № 4—6). Исполняет обязанности секретаря у своего брата Михаила.
17 апреля — женится на М. Э. Рындиной.
Май—август — живет в Лидине.
Сентябрь — переводится в университете на историко-филологический факультет.
Конец года — знакомится с С. В. Киссиным.
- 1906 — сотрудничает в журнале «Золотое руно» и безуспешно пытается устроиться туда секретарем.
Конец года — работает секретарем в журнале «Перевал». Сближается с С. В. Киссиным.
- 1907, апрель — знакомство М. Э. Ходасевич-Рындиной с С. К. Маковским; начало семейного кризиса.
Июнь—июль — живет в Лидине.
Август—октябрь — уезжает из Лидина в Рославль, затем живет в Петербурге; возвращается в Москву вместе с Андреем Белым.
Сентябрь — исключен из университета за невнесение платы.
30 декабря — разъезжается с женой.

- 1908 — поселяется в меблированных комнатах «Балчуг». Переводит прозу с польского языка для издательства «Польза». Начинает систематическое сотрудничество в газетах «Руль», «Московская газета», «Утро России», «Северный вестник», «Раннее утро» и др.
Февраль — выходит книга стихов «Молодость», вызвавшая ряд разноречивых рецензий.
Октябрь — восстанавливается на историко-филологическом факультете университета.
- 1909 — возобновление общения с А. Я. Брюсовым. Знакомство с А. И. Гренцион (урожденной Чулковой). Разрыв с С. А. Соколовым-Кречетовым.
- 1910, *апрель* — знакомство и начало романа с Е. В. Муратовой.
Сентябрь — вновь исключен из университета за невнесение платы.
20 декабря — официальный развод с М. Э. Рындиной.
Конец года — заболевает туберкулезом.
- 1911, *июнь—август* — путешествие в Италию для лечения; живет в Нерви с Е. В. Муратовой, затем в Венеции.
20 сентября — в дорожном происшествии погибает мать.
Октябрь — А. И. Гренцион переезжает к Ходасевичу в «Балчуг».
8 ноября — В. Я. Брюсов посещает Ходасевича и Гренцион и представляет им Н. И. Львову.
9 ноября — провожает Н. И. Петровскую, которая навсегда уезжает за границу.
24 ноября — смерть отца.
- 1912 — сближается с Б. А. Садовским.
Май — начинает работу над переводом с польского языка собрания сочинений З. Красинского для издательства К. Некрасова (издание не состоялось).
Декабрь — начинает вести литературную хронику в газете «Русская молва».
- 1913, *весна* — работает над биографией Павла I (осталась не осуществленной).
Сентябрь — начинает работу как автор скетчей для театра «Летучая мышь».
24 ноября — самоубийство Н. И. Львовой.
Декабрь — по истечении трехлетней епитимьи после развода с первой женой венчается с А. И. Гренцион.
- 1914, *февраль* — выходит книга стихов «Счастливый домик», вызвавшая многочисленные отклики в прессе.
29 апреля — статьей «Игорь Северянин и футуризм» начинает сотрудничество с газетой «Русские ведомости».
Первая половина года — выходит составленная Ходасевичем антология «Русская лирика».
19 июля — начало Первой мировой войны. Вскоре А. Я. Брюсов и С. В. Киссин призываются на военную службу. Последний получает должность чиновника санитарного ведомства.
Конец лета — начало осени — А. И. Ходасевич устраивается на службу в Московскую городскую управу.
- 1915 — переводит стихи для «инородческих» антологий.
Начало года — выходит составленная Ходасевичем антология «Война в русской лирике».
Март — публикует в третьем номере «Аполлона» свою первую пушкиноведческую статью «Петербургские повести Пушкина».
Май—июнь — знакомство с М. О. Гершензоном.

- Июнь—июль* — живет с пасынком Гарриком и семьей брата Михаила в Раухале (Финляндия).
- 17 сентября* — на дне рождения поэтессы Л. Н. Столицы получает травму, приводящую к болезни позвоночника.
- 1916, *весна* — Ходасевичу ставят диагноз «туберкулез позвоночника».
- 22 марта* — самоубийство С. В. Киссина.
- Апрель—май* — скандал, связанный с публикациями А. И. Тинякова в «Земшине», и переписка по этому поводу с Б. А. Садовским.
- Май* — собирает деньги для лечения в Крыму.
- 4—5 июня* — отправляется из Москвы в Симферополь, а оттуда в Коктебель, где встречается с О. Э. Мандельштамом и М. А. Волошиным.
- 21 июня* — поселяется в коктебельском доме Волошина. Знакомится с Ю. О. Оболенским, С. Я. Эфроном; участвует в поэтических чтениях в Феодосии; пишет статью «Державин».
- Начало июля* — улучшение состояния здоровья; свпаторийский врач Кархов констатирует отсутствие туберкулеза.
- Август* — А. И. Ходасевич приезжает в Коктебель к мужу.
- Сентябрь* — возвращение в Москву; поселяется в полуподвале на Плющихе, в 7-м Ростовском переулке.
- 1917, *март* — участвует в организационных собраниях Московского клуба писателей.
- 29 мая — конец августа* — отдыхает в Коктебеле с пасынком, затем и с женой.
- Сентябрь* — в качестве редактора и одного из переводчиков начинает работать над «Еврейской антологией».
- 27 октября — 2 ноября* — уличные бои между сторонниками Временного правительства и большевиков, отразившиеся в стихотворении Ходасевича «2-е ноября».
- Декабрь* — переживает денежные затруднения; М. О. Гершензон и А. Н. Толстой организуют в пользу Ходасевича литературный вечер.
- 1918, *первая половина года* — служит секретарем третейских судов при комиссариате труда Московской области, затем по заданию В. П. Ногина занимается подготовкой материалов для трудового кодекса.
- Весна* — принимает участие в вечерах еврейской культуры в Москве.
- Июль* — выходит «Еврейская антология».
- Лето* — участвует в создании Союза писателей; выступает в числе соучредителей Книжной лавки при Союзе писателей.
- Лето—осень* — служит в театральном отделе Моссовета, затем Наркомпроса.
- Осень* — начинает преподавать в Пролеткульте.
- Октябрь* — поездка в Петроград. Знакомится с М. Горьким и Н. С. Гумилёвым. Назначается заведующим московским отделением издательства «Всемирная литература».
- 1919, *начало лета* — болеет «испанкой».
- Июль* — Ходасевичей пытаются «уплотнить»; поэт обращается за помощью к Л. Б. Каменеву.
- Ноябрь* — возглавляет московское отделение Всероссийской книжной палаты.
- 1920, *январь* — первое издание поэтического сборника «Путем зерна».
- Весна* — тяжело болеет фурункулезом. Пытается с помощью Каменева найти новое помещение для Книжной палаты и «Всемирной литературы».

Конец июня — московское отделение Всероссийской книжной палаты упразднено.

Июль—сентябрь — отдыхает в «здравнице для переутомленных работников умственного труда» в 3-м Неопалимовском переулке.

Сентябрь — призывается в армию; с помощью А. М. Горького освобожден от призыва. Получает предложение переехать в Петроград.

Октябрь — посылает жену в Петроград «на разведку». Переписывается с П. Е. Шеголевым о возможности работы в Пушкинском Доме.

17 ноября — уезжает с семьей в Петроград.

Ноябрь—декабрь — живет в Петрограде на Садовой, 13, у антиквара Савостина.

1921, *январь* — поселяется в Доме искусств на Мойке. Участвует в третьем Цехе поэтов.

Февраль — включен в состав правления Союза поэтов. Выходит из Цеха поэтов. Участвует в пушкинских вечерах в Доме литераторов и в университете.

14 февраля — произносит в Доме литераторов речь «Колеблемый треножник».

3 августа — уезжает в писательскую колонию Холмки-Бельское Устье под Псковом.

7 августа — смерть Блока.

25 августа — предполагаемая дата расстрела Гумилёва.

Конец сентября — возвращение Ходасевича в Петроград. Угроза, нависшая над петроградским Союзом поэтов из-за панихиды по Гумилёву.

1—16 октября — поездка в Москву.

Вторая половина октября — по предложению Ходасевича ликвидируется петроградский Союз поэтов.

21 ноября — знакомство Ходасевича с Н. Н. Берберовой в салоне Напельбаумов.

Декабрь — второе издание сборника «Путем зерна».

Первая декада декабря — А. И. Ходасевич уезжает в Детское Село в санаторий.

27 декабря — Ходасевич входит в совет петроградского Дома литераторов.

1922, *январь* — начало романа Ходасевича с Берберовой.

Между 21 и 24 января — А. И. Ходасевич-Гренцион возвращается в Петроград.

Конец января — 17 февраля — Ходасевич находится в Москве.

7 мая — уезжает в Москву вместе с Берберовой. Ведет переговоры о заграничной командировке.

20 мая — письмо жене с предложением расстаться.

18 июня — возвращается в Петроград.

22 июня — вместе с Берберовой уезжает в Берлин.

Конец июня — начало ноября — живет в Берлине; тесно общается с Андреем Белым; несколько раз навещает Горького в Герингсдорфе; знакомится с Ш. Черниховским. В Издательстве З. И. Гржебина выходят книги «Из еврейских поэтов» и второе издание «Счастливого домика».

Начало ноября — Ходасевич и Берберова переезжают в Сааров.

Декабрь — выходит сборник «Тяжелая лира».

1923, *январь* — в СССР появляются резкие рецензии на «Тяжелую лиру» (Н. Асеев в «ЛЕФе» и С. Родов в «На посту»).

Июль — начинает выходить журнал «Беседа» «при ближайшем участии» Горького, Ходасевича, А. Белого, В. Шкловского, Б. Адлера и Ф. Брауна.

Октябрь — возвращение А. Белого в Россию; во время прощального обеда между ним и Ходасевичем происходит ссора, приведшая к прекращению отношений.

4 ноября — Ходасевич и Берберова уезжают в Прагу, где общаются с М. Цветаевой и Р. Якобсоном.

6 декабря — Ходасевич, Берберова и Горький с семьей поселяются в Мариенбаде.

В течение года — выходит третье издание «Счастливого домика» и второе издание «Из еврейских поэтов». Работает над переводом поэмы Ш. Черниховского «Свадьба Эльки».

1924, *январь* — Ходасевич начинает переговоры об издании «Поэтического хозяйства Пушкина».

13 марта — Ходасевич и Берберова уезжают из Праги в Вену, оттуда — в Венецию.

23 марта — из Венеции отправляются в Рим.

13 апреля — уезжают в Париж, где живут у З. И. Гржебина.

24 апреля — Ходасевич обращается к А. И. Ходасевич с просьбой подать заявление о расторжении их брака.

Апрель—май — предположительно в это время Ходасевич и Берберова выправляют «нансеновские» паспорта, сохраняя и советские. *Конец апреля* — *июль* — резкая газетная полемика с А. И. Куприным. В ленинградском издательстве «Мысль» выходит неполное издание «Поэтического хозяйства Пушкина».

31 июля — Ходасевич и Берберова уезжают из Парижа в Лондон, отсюда в Северную Ирландию.

2 августа — прибывают в Холливуд, в окрестностях Белфаста, где поселяются у Н. М. Кук, двоюродной сестры Берберовой.

Август—сентябрь — Ходасевич знакомится с Д. Стивенсом; посещает верфи Белфаста.

26 сентября — Ходасевич и Берберова уезжают на материк; шесть дней проводят в Париже, затем прибывают в Рим.

8 октября — приезжают в Сорренто, где поселяются одним домом с Горьким.

1925, *22 февраля* — в газете «Дни» публикуется статья Ходасевича «Господин Родов», вызвавшая бурную реакцию в СССР.

Март — прекращается издание «Беседы» (на № 6—7).

Начало апреля — советское полпредство в Риме отказывается продлевать Ходасевичу и Берберовой заграничные паспорта.

18 апреля — уезжают из Сорренто в Париж.

25 мая — в газете «Последние новости» появляется очерк «Бельфаст», ставший поводом для эпистолярной полемики с Горьким.

Август — прекращает переписку с Горьким.

Сентябрь — становится постоянным сотрудником «Дней».

Октябрь—декабрь — полемика с И. Эренбургом в связи с «намеренной опечаткой» в его романе «Рвач». В ходе полемики Ходасевич официально объявляет о нежелании возвращаться в СССР.

В течение года — сближение с В. В. Вейдле, Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус.

1926, *январь* — Ходасевич и Берберова поселяются на улице Ламбларди, 14 (Париж).

- Январь—февраль* — последние письма в Ленинград к А. И. Ходасевич (за подписью В. Медведев).
- Октябрь* — прекращается сотрудничество Ходасевича в «Днях». В «Современных записках» (кн. XXIX) печатает резкий отзыв о журнале «Версты» и евразийском движении, вызвавший длительную полемику.
- Конец года* — начинает общаться с И. А. Буниным.
- 1927, 5 *февраля* — выступает на учредительном собрании общества «Зеленая лампа».
- 10 *февраля* — статьей «Девяностая годовщина» начинает сотрудничество в газете «Возрождение».
- 11 *апреля* — со статьи «Бесы» начинается многолетняя полемика Ходасевича и Г. В. Адамовича.
- 30 *июля* — 21 *августа* — Ходасевич и Берберова отдыхают в Каннах.
- Август* — смена редакции «Возрождения»; Ходасевич получает собственный газетный «подвал» два раза в месяц.
- Сентябрь* — выходит «Собрание стихов».
- Октябрь* — резкая полемика с В. Далиным из-за заметки Ходасевича «Максим Горький и СССР».
- 14 *декабря* — рецензия В. Сирина (В. В. Набокова) на «Собрание стихов» в «Руле».
- 15 *декабря* — рецензия З. Гиппиус на «Собрание стихов» в «Возрождении».
- 1928, *февраль* — в «Современных записках» (кн. XXXIV) появляется статья В. Вейдле «Поэзия В. Ходасевича».
- 8 *марта* — в «Последних новостях» появляется статья Г. В. Иванова «В защиту Ходасевича» — завуалированный памфлет против поэта.
- 1 *июля* — 29 *августа* — отдыхает с Берберовой в окрестностях Канн. Посещает Буниных в Грассе.
- Осень* — Ходасевич и Берберова переезжают в Биянкур.
- 1929, *январь* — начинает работу над книгой «Державин». В течение этого и следующего года публикует фрагменты в «Возрождении» и «Современных записках».
- 1930 — первый год, когда Ходасевич не написал ни одного стихотворения.
- 2 *марта* — «Возрождение» публикует статью В. Вейдле в связи с 25-летием литературной деятельности Ходасевича.
- 4 *апреля* — Ходасевича чествуют в кафе «Клозери де Лиля».
- 24 *апреля* — выходит статья Ходасевича «О Маяковском», вызвавшая резкую реакцию.
- Июнь* — живет в русском пансионе в Арти (*Arthies*) к северо-западу от Парижа; выезжает туда же в следующие два года.
- Август* — Ходасевич и Берберова отдыхают на Ривьере (вместе с Вейдле). В журнале «Числа» (№ 2—3) напечатана статья А. Кондратьева (Г. В. Иванова) «К юбилею В. Ходасевича», вызвавшая литературный скандал.
- 11 *октября* — помещает в «Возрождении» рецензию на «Защиту Лукина» В. Набокова, содержащую резкий выпад против Г. В. Иванова.
- 1931, *февраль* — умирает Мурр, любимый кот Ходасевича.
- Март* — выходит «Державин».
- Апрель* — начинает работать над «Жизнью Василия Травникова».

- 1932, 26 апреля — Берберова покидает Ходасевича.
Апрель—июль — работает (в Париже и в Арти) над биографией Пушкина, но прекращает работу из-за недостатка времени, необходимой литературы и других источников. Публикует первые главы в «Возрождении» (26 апреля и 4 июня).
Июнь—июль — начало переписки с О. Б. Марголиной.
25 августа — 15 сентября — отдыхает в Сент-Илере с Марголиными.
23 октября — личное знакомство с В. В. Набоковым.
- 1933, 8 апреля — О. Б. Марголина переезжает к Ходасевичу в Бийянкур.
10 апреля — заключен официальный брак с Марголиной.
12—19 октября — начало мемуарной книги «Младенчество», над которой Ходасевич работает в течение года, публикуется в «Возрождении».
- 1935, февраль — входит в состав Центрального Пушкинского комитета в Париже, но вскоре прекращает участие в его работе.
Март — апрель — дискуссия с Г. В. Адамовичем о поэзии «Парижской ноты».
- 1936, 8 февраля — выступает вместе с В. В. Набоковым в обществе «Мюзесосьяль»; читает «Жизнь Василия Травникова».
30 мая — обед по подписке в честь пятидесятилетия Ходасевича.
- 1937, февраль — выходит книга Ходасевича «О Пушкине».
Ноябрь — последняя дискуссия с Адамовичем (в связи со сборником «Круг»).
- 1938 — последнее стихотворение («Не ямбом ли четырехстопным...»).
- 1939, январь — начало предсмертной болезни (рак печени).
Весна — выходит «Некрополь».
Май — обследование в госпитале Бруссе.
8 июня — выписан из госпиталя.
12 июня — вновь госпитализирован из-за необходимой операции.
13 июня — операция.
14 июня — Владислав Фелицианович Ходасевич умирает, не приходя в сознание.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Ходасевич В.* Собрание сочинений: В 2 т. Ann Arbor, 1983, 1990.
Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996—1997.
Ходасевич В. Собрание стихов: В 2 т. Париж, 1982—1983.
Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989.
Ходасевич В. Стихотворения. СПб., 2001.
Ходасевич В. Белый коридор. Омск, 1991.
Ходасевич В. Господин Родов // Дни (Париж). 1925. 22 февраля.
Ходасевич В. Державин. М., 1988.
Ходасевич В. Загадки. Пг., 1922.
Ходасевич В. Из еврейских поэтов. Берлин, 1923.
Ходасевич В. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998.
Ходасевич В. Избранная проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1980.
Ходасевич В. Камер-фурьерский журнал. М., 2002.
Ходасевич В. Книги и люди: Этюды о русской литературе. М., 2002.
Ходасевич В. Колеблемый треножник. М., 1991.
Ходасевич В. Куприн и Европа // Русские ведомости (М.). 1914. 26 июля.
Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. М., 1996.
Ходасевич В. Ф. Письма К. Ф. Некрасову // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. М., 1994. Вып. V.
Ходасевич В. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924.
Ходасевич В. Пушкин и поэты его времени: В 3 т. Oakland, 1999—2003.
Ходасевич В. Шесть писем к И. Н. Голенищеву-Кутузову (1932—1936). *Curriculum vitae* // Русская литература (СПб.). 1996. № 2.
Адамович Г. Ходасевич В. Некрополь: [Рецензия] // Последние новости (Париж). 1939. 24 августа.
Адамович Г. Ходасевич В. Путем зерна: [Рецензия] // Цех поэтов (СПб.). 1922. № 3.
Адамович Г. Владислав Ходасевич // Последние новости (Париж). 1939. 22 июня.
Адамович Г. Полное собрание стихотворений. СПб., 2005.
Адамович Г. Собрание сочинений: Комментарии. СПб., 2000.
Адамович Г. Собрание сочинений: Литературные заметки. СПб., 2002.
Адамович Г. Собрание сочинений: Одиночество и свобода. СПб., 2002.
Андреева И. Неуловимое создание: Встречи. Воспоминания. Письма. М., 2000.
Анненский И. Ф. О современном лиризме // Аполлон (СПб.). 1909. № 1.
Арьев А. Жизнь Георгия Иванова: Документальное повествование. СПб., 2009.
Арьев А. Когда замрут отчаянье и злоба // Звезда (СПб.). 2008. № 8.
Асеев Н. Ходасевич В. Путем зерна: [Рецензия] // ЛЕФ (М.). 1923. № 1.
Асеев Н. По морю бумажному // Красная Новь (М.). 1922. № 4.
Ашукин Н., Щербаков Р. Валерий Брюсов. М., 2006. (Серия «ЖЗЛ».)
Басинский П. Горький. М., 2005. (Серия «ЖЗЛ».)
Безродный М. Соловьев поединок: Бродский и Ходасевич // НЛО (М.). 1997. № 27.
Белый А. Между двух революций. М., 1990.
Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989.
Белый А. Начало века. М., 1990.
Белый А. Рембрандтова правда в поэзии наших дней // Записки мечтателей (Пг.). 1922. № 5.

- Берберова Н.* Памяти Ходасевича // *Современные записки* (Париж). 1939. Кн. LXIX.
- Беседа: Журнал литературы и науки. Берлин, 1922—1924. № 1—7.
- Блок А. А.* Дневник. М., 1989.
- Богомолов Н. В. Ф.* Ходасевич в московском и петербургском литературном быту // *Вопросы литературы* (М.). 1996. № 4.
- Богомолов Н.* Георгий Иванов и Владислав Ходасевич // *Русская литература* (М.). 1990. № 3.
- Богомолов Н.* Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // *Вопросы литературы* (М.). 1988. № 3.
- Богомолов Н.* Рецепция поэзии пушкинской эпохи в лирике В. Ф. Ходасевича // *Пушкинские чтения* (Таллин). 1990.
- Богомолов Н.* Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999.
- Бочаров С.* «Памятник» Ходасевича // *Бочаров С. Г.* Сюжеты русской литературы. М., 1999.
- Брафман Я.* Еврейские братства, местные и всемирные. Вильно, 1868. [*Брафман Я.*] Книга Кагала: Материалы для изучения еврейского быта: В 2 т. Вильно, 1869.
- Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. М., 1927.
- Брюсов В.* Среди стихов. 1894—1924. М., 1990.
- Брюсов В.* Стихи Нелли. М., 1913.
- Бялик Х. Н.* Песни и поэмы. СПб., 1995.
- В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы: Сборник документов и материалов. М., 2008.
- Валерий Брюсов, Нина Петровская. Переписка: 1904—1913. М., 2004.
- Варжапетян В.* «Исповедь антисемита», или К истории одной статьи: Повесть в документах // *Литературное обозрение* (М.). 1991. № 1.
- Вейдле В.* Поэзия Ходасевича // *Современные записки* (Париж). 1928. Кн. XXXIV.
- Вересаев В.* В двух планах. Л., 1929.
- Вересаев В.* Пушкин в жизни. Л., 1927.
- Версты: [Альманах]. Париж, 1926—1928. № 1—3.
- Винокур Г.* Ходасевич В. Поэтическое хозяйство Пушкина: [Рецензия] // *Печать и революция* (М.). 1924. № 6.
- Возрождение: [Газета]. Париж, 1927—1939. Все номера.
- Война в русской лирике: [Антология] / Сост. В. Ходасевич. М., 1915.
- Воспоминания о Серебряном веке. М.; СПб., 1993.
- Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в документах ВЧК—ГПУ. 1921—1923. М., 2005.
- Гальский В. [Шершеневич В.]* Ходасевич В. Счастливейший домик: [Рецензия] // *Свободный журнал* (Пг.; М.). 1914. № 11.
- Гарзто Э.* Жизнь и смерть Нины Петровской // *Минувшее* (Париж). 1989. № 8.
- Герасимов М.* Железные цветы. М., 1919.
- Гершензон М.* Избранное. М.; Иерусалим, 2000.
- Гиларовский В.* Сочинения: В 4 т. М., 1989. Т 4. «Москва и москвичи».
- Гиппиус З.* Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978.
- Гиппиус З.* Чего не было и что было. М., 2002.
- Горький А. М.* Письма к В. Ф. Ходасевичу // *Новый журнал* (Нью-Йорк). 1952. № 30.
- Горький М.* Полное собрание сочинений: В 24 т. М., 1977. Т. 5.

- Гофман В. Ходасевич В. Молодость: [Рецензия] // Русская мысль (М.). 1908. № VII.*
- Демин В. Андрей Белый. М., 2007.*
- Дни: [Газета]. Париж, 1925—1926. Все номера.*
- Еврейская антология: Сборник молодой еврейской поэзии. М., 1918.*
- Ежов И., Шамурин Е. Антология русской лирики первой четверти XX века. М., 1925.*
- «Жму вашу руку, дорогой товарищ»: Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина // Новый мир (М.). 1997. № 9.*
- Иванов Г. Ходасевич В. Путем зерна: [Рецензия] // Дом искусств (Пг.). 1921. № 2.*
- Иванов Г. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1994.*
- Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925—1938) // Минувшее (Париж). 1987. № 3. Из переписки Н. И. Петровской // Минувшее (М.; СПб.). 1993. № 14.*
- История Московского университета: В 2 т. М., 1955.*
- Киссин С. Легкое бремя: Стихи и проза. Переписка с В. Ф. Ходасевичем. М., 1999.*
- Красинский З. Иридион / Пер. с польск. В. Ходасевича. М., 1910.*
- Крейд В. Георгий Иванов. М., 2007. (Серия «ЖЗЛ».)*
- Кречетов С. Ходасевич В. Счастливый домик: [Рецензия] // Утро России (М.). 1914. 22 февраля.*
- Круглов А. Вечерние досуги: Сборник рассказов и стихотворений. СПб., 1894.*
- Курприн А. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. М., 2006.*
- Лавров А. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007.*
- Ледницкий В. Литературные заметки и воспоминания // Опыты (Нью-Йорк). 1953. № 2.*
- Липскеров К. Песок и розы. М., 1916.*
- Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940): В 4 т. М., 1997—2006.*
- Литературное наследство. Т. 70. М., 1963.*
- Луниц Л. Обезьяны идут. СПб., 2003.*
- Львова И. Старая сказка: Стихи 1911—1912 гг. М., 1913.*
- Малмстад Дж. Единство противоположностей: История взаимоотношений Ходасевича и Пастернака // Литературное обозрение (М.). 1990. № 2.*
- Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990.*
- Милашевский В. Вчера, позавчера...: Воспоминания художника. М., 1989.*
- Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов: Дневники. Письма. Статьи. М., 2005.*
- Муромцева-Булнина В. Жизнь Бунина: Беседы с памятью. М., 1989.*
- На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова. М., 2009.*
- Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1990.*
- Нельдихен С. Органиное многоголосье. Пг., 1922.*
- Нельдихен С. Основы литературного синтетизма. М., 1929.*
- Парнок С. Собрание стихотворений. СПб., 1998.*
- Парнок С. Стихотворения. М., 1916.*
- Переписка В. Ф. Ходасевича и М. О. Гершензона // De Visu (М.). 1993. № 5 (6).*
- Петровская И. Sanctus amor. М., 1908.*

- Письма В. Ходасевича к Н. Берберовой // Минувшее (Париж). 1988. № 5.
- Письма В. Ф. Ходасевича к В. Я. Ирецкому // Новое литературное обозрение (М.). 2008. № 90.
- Письма В. Ф. Ходасевича к В. Г. Лидину // Минувшее (СПб.). 1993. № 14.
- Письма В. Ф. Ходасевича Б. А. Садовскому. Ann Arbor, 1983.
- Письма В. Ф. Ходасевича к А. И. Тинякову // Континент (Париж). 1986. № 50.
- Письма В. Ф. Ходасевича к М. А. Цявловскому // Русская литература (СПб.). 1999. № 2.
- Полемика Г. В. Адамовича и В. Ф. Ходасевича (1927—1937) // Российский литературоведческий журнал (М.). 1994. № 4.
- Потаенная литература: Исследования и материалы. Иваново, 2000.
- Похороны С. Я. Ходасевич // Московская газета (М.). 1911. 23 сентября.
- Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе русских поэтов. М., 1916.
- Пролетарские писатели: Антология пролетарской литературы. М., 1924.
- Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977—1979.
- Пишбышевский С.* Дети горя / Пер. с польск. В. Ходасевича. М., 1915.
- Пяст В.* Ходасевич В. Счастливый домик: [Рецензия] // Отклики [приложение к газете «День»]. СПб., 1914. № 14.
- Ранчин А.* Еще раз о Бродском и Ходасевиче // Новое литературное обозрение (М.). 1998. № 30.
- Реймонт В. С.* Мужики. Современная повесть / Пер. с польск. В. Ходасевича. М., 1910—1912.
- Родов С.* Мой сев. М., 1918.
- Родов С.* «Оригинальная» поэзия Госиздата // На посту (М.). 1923. № 1.
- Родов С.* Письмо в отдел печати ЦК ВКП(б) // Октябрь (М.). 1925. № 4.
- Родов С.* Сверенный взлет: Стихи и поэмы. М., 1924.
- Русские писатели (1800—1917): Биографический словарь: В 5 т. М., 1989—2007.
- Сад поэтов: Сборник стихов. Полтава, 1916.
- Садовской Б.* Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы. СПб., 2001.
- Садовской Б.* Ходасевич В. Счастливый домик: [Рецензия] // Северные записки (СПб.). 1914. № 3.
- Святополк-Мирский Д.* История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. Новосибирск, 2006.
- Святополк-Мирский Д.* Современные записки. № 39: [Рецензия] // Евразия (Париж). 1929. 10 августа. № 33.
- Скляр О.* Об одном «неудавшемся» стихотворении Владислава Ходасевича // Вестник ПСТГУ. Филология (М.). 2007. № 4 (10).
- Струве Г.* Дневник читателя: Г. Иванов, В. Ходасевич и А. Кондратьев // Русская мысль (Париж). 1969. 30 января.
- Струве Г.* Письма о русской поэзии // Русская мысль (Париж). 1923. № 2—3.
- Струве Г.* Русская литература в изгнании. М.; Париж, 1996.
- Сурат И.* Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994.
- Талин В.* Бей его, я его знаю: Записки журналиста // Последние новости (Париж). 1927. 20 октября.
- Тарковский А.* Собрание сочинений: В 3 т. М., 1991.
- Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк, 1953.
- Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж; Нью-Йорк, 1987.

Тетмайер К. Марина из Грубого: Татрская повесть / Пер. с польск. В. Ходасевича. М., 1910.

Тетмайер К. Орлицы: Татрские рассказы / Пер. с польск. В. Ходасевича. М., 1910.

Тетмайер К. Яносек Нендза Летмановский / Пер. с польск. В. Ходасевича. М., 1918.

Тимофеев А. Литературные портреты: В. Ходасевич // Руль (М.). 1908. 23 апреля.

Тиняков А. (Одинокий). Стихотворения Томск, 1998.

Томашевский Б. В. Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина: [Рецензия] // Русский современник (Л.). 1924. № 3.

Томашевский Б. Пушкин: Работы разных лет. М., 1990.

Трубецкой И. Европа и человечество. М., 2000.

Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. М., 1990.

Ходасевич В. М. Портреты словами. М., 1987.

Чуковский К. И. Дневник. 1901—1929. М., 1991.

Чуковский Н. О том, что видел. М., 2005.

Чулков Г. Ходасевич В. Счастливый домик: [Рецензия] // Современник (СПб.). 1914. № 7.

Шагинян М. Ходасевич В. Путем зерна: [Рецензия] // Петербург (Пг.). 1922. № 2.

Шагинян М. Ходасевич В. Счастливый домик: [Рецензия] // Приазовский край (Ростов). 1914. № 71.

Шагинян М. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1986. Т. 1.

Шипова Т. Фотографы Москвы (1839—1930): Биографический словарь-справочник. М., 2006.

Шубинский В. Николай Гумилёв: Жизнь поэта. СПб., 2004.

Шеголев П. Крепостная любовь Пушкина // Новый мир (М.). 1927. № 10.

Янгиров Р. «Живые черты Ходасевича»: Из откликов современников // Солнечное сплетение (М.; Иерусалим). 2003. № 24—25.

Янгиров Р. «Пример тавтологии»: Заметки о войне Владимира Набокова с Георгием Ивановым // Диаспора. Новые материалы. СПб.; Париж, 2005. Т. 7.

Янгиров Р. Пушкин и пушкинисты: По материалам из чешских архивов // Новое литературное обозрение (М.). 1999. № 37.

Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. М., 2000.

«Я очень слежу за вашими отзывами...»: Письма В. Ф. Ходасевича Ю. И. Айхенвальду // Встречи с прошлым: Сборник материалов ЦГАЛИ. Вып. 7. М., 1990.

СОДЕРЖАНИЕ

Несколько вступительных слов	5
<i>Глава первая. Истоки</i>	7
<i>Глава вторая. Младенчество</i>	20
<i>Глава третья. Молодость</i>	53
<i>Глава четвертая. Бедный Орфей</i>	97
<i>Глава пятая. В счастливом домике</i>	136
<i>Глава шестая. Трудовой элемент</i>	223
<i>Глава седьмая. Вестница в цветах</i>	273
<i>Глава восьмая. Через горы и реки</i>	333
<i>Глава девятая. Русский парижанин</i>	395
<i>Глава десятая. Жить для себя</i>	463
Основные даты жизни и творчества В. Ф. Ходасевича	511
Библиография	518

Шубинский В. И.

Ш 95 Владислав Ходасевич: Чающий и говорящий / Валерий Шубинский. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 523[5] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1334).

ISBN 978-5-235-03479-2

Поэзия Владислава Ходасевича (1886—1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостоивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Шубинский Валерий Игоревич

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ: ЧАЮЩИЙ И ГОВОРЯЩИЙ

Редактор **Л. С. Калужная**

Художественный редактор **И. И. Суслов**

Технический редактор **В. В. Пилкова**

Корректоры **Е. В. Марченко, Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Сдано в набор 29.09.2011. Подписано в печать 27.02.2012. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newtop». Усл. печ. л. 27,72+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 1205000.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru/> E-mail: dssel@gvardiya.ru

arvato

япк

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета

в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03479-2

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

издательства

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Оформить заказ
можно на нашем сайте:

<http://gvardiya.ru/shop/>

или по телефону:

+7 (495) 787-95-59

(с 10-00 до 17-30 в будние дни)

Заказанные книги

можно получить по адресу:

г. Москва, ул. Суцеская, д.21, подъезд 1

или воспользоваться курьерской

и почтовой службой доставки

Наши книги
доступны всем регионам России!

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Матонин
«БРОЗ ТИТО»

А. Васькин
«МОСКОВСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ
XIX ВЕКА»

И. Курукин
«АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА»

В. Есипов
«ШАЛАМОВ»

Г. Чернявский
«ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ»

С. Даншен
«ЭЛВИС ПРЕСЛИ»

Л. Анисарова
«НОВИКОВ-ПРИБОЙ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://gvardiya.ru>, dset@gvardiya.ru

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. Ивченко
«КУТУЗОВ»

А. Сергеева-Клятис
«БАТЮШКОВ»

Ф. Бедарида
«ЧЕРЧИЛЛЬ»

Д. Олейников
«НИКОЛАЙ I»

А. Ливергант
«СОМЕРСЕТ МОЭМ»

А. Архангельский
«АЛЕКСАНДР I»

В. Филимонов
«АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://gvardiya.ru>. dset@gvardiya.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

*Склад
издательства «Молодая гвардия»
находится в центре Москвы
по адресу:
Сущевская ул., д. 21
ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»*



**В отделе реализации действует
гибкая система скидок**



**Доставка книг по территории
Москвы и Московской области
БЕСПЛАТНО**

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ

8(495) 787-64-20

8(495) 787-62-92

ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА

8(495) 787-65-39 8(495) 787-63-64